



ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ

Трое в одной лодке, не считая собаки.
Трое на четырех колесах. Рассказы



Библиотека Всемирной Литературы



Серия основана издательством
«ЭКМО» в 2002 году

ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ
Трое в одной лодке,
не считая собаки
Трое на четырех колесах
Рассказы

Перевод с английского

Москва



2005

УДК 82(1-87)
ББК 84(4)Вел)
Д 40

Перевод с английского

Вступительная статья *С. Маркиша*

Оформление серии художника *А. Бондаренко*

В оформлении суперобложки использованы
работы художника *Чарльза Марча Гере*

Джером Дж. К.
Д 40 Трое в одной лодке, не считая собаки. Трое на четырех колесах. Рассказы: Повести, рассказы /Пер. с англ.; Вступ. ст. С. Маркиша. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 800 с. — (Библиотека Всемирной Литературы).

УДК 82(1-87)
ББК 84(4)Вел)

© Вступительная статья С. Маркиша.
Наследники, 2005
© Перевод М. Салье. Наследники, 2005
© Перевод И. Бернштейн, 2005
© Перевод В. Маяцк, 2005
© Перевод В. Хинкиса. Наследники, 2005
© Оформление. А. Бондаренко, 2005
©¹ Издание на русском языке.
©ОО «Издательство «Эксмо», 2005

ISBN 5-699-07331-0

Содержание

ДЖЕРОМ КЛАПКА ДЖЕРОМ. *С. Маркис*

17

ТРОЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ

Перевод М. Салье

35

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

37

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Трое инвалидов. – Страдания Джорджа и Гарриса. – Жертва ста семи смертельных недугов. – Полезные рецепты. – Средства против болезней печени у детей. – Мы сходимся на том, что переутомились и что нам нужен отдых. – Неделя в море? – Джордж предлагает путешествие по реке. – Монморенси выдвигает возражение. – Первоначальное предложение принято большинством трех против одного.

38

ГЛАВА ВТОРАЯ

Обсуждение плана. – Прелести ночевки под открытым небом в хорошую погоду. – То же – в дульную погоду. – Принимается компромиссное решение. – Первые впечатления от Монморенси. – Не слишком ли он хорош для этого мира? – Опасения отброшены как необоснованные. – Заседание откладывается.

47

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

План уточняется. – Метод работы Гарриса. – Пожилой отец семейства вешает картину. – Джордж делает разумное замечание. – Прелести утреннего купанья. – Запасы на случай аварии.

53

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Продовольственный вопрос. – Отрицательные свойства керосина. – Преимущества путешествия в компании с сыром. – За-

5

мужняя женщина бросает свой дом. – Дальнейшие меры на случай аварии. – Я укладываюсь. – Зловредность зубных щеток. – Джордж и Гаррис укладываются. – Чудовищное поведение Монморенси. – Мы отходим ко сну.

60

ГЛАВА ПЯТАЯ

Миссис П. будит нас. – Джордж – лентяй. – Надувательство с предсказанием погоды. – Наш багаж. – Испорченный мальчишка. – Вокруг нас собирается толпа. – Мы торжественно отбываем и приезжаем на вокзал Ватерлоо. – Блаженное неведение слушающих Юго-Западной дороги касательно столь светлых вопросов, как отправление поездов. – По волнам, по волнам, мы плывем в открытой лодке!..

70

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Кингстон. – Полезные сведения из ранней истории Англии. – Поучительные рассуждения о резном дубе и о жизни вообще. – Печальная судьба Стивингса-младшего. – Размышления о древности. – Я забываю, что правлю рулем. – Интересные последствия этого. – Хэмптон-Кортский лабиринт. – Гаррис в роли проводника.

78

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Река в праздничном наряде. – Как одеваться для путешествия по реке. – Удобный случай для мужчин. – Отсутствие вкуса у Гарриса. – Фуфайка Джорджа. – День с барышней из модного журнала. – Могила миссис Томас. – Человек, который не любит могил, гробов и черепов. – Гаррис приходит в бешенство. – Его мнение о Джордже, банках и лимонаде. – Он показывает акробатические номера.

88

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Шантаж. – Какую политику следует при этом проводить. – Себялюбивая грубость земельного собственника. – «Объявления». – Нехристианские чувства Гарриса. – Как Гаррис поет комические

6

куплеты. — Культурная вечеринка. — Постыдное поведение двух порочных молодых людей. — Бесполезные сведения. — Джордж покупает банджо.

97

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Джорджа запрягают в работу. — Дурные инстинкты бече-
вы. — Неблагодарное поведение четырехвесельной лодки. — Влеку-
щие и влекомые. — Новое занятие для влюбленных. — Странное ис-
чезновение пожилой дамы. — Постыдишь — людей насмешишь. —
На бечеве за девушками — сильное ощущение. — Пропавший шлюз,
или Закалдованная река. — Музыка. — Спасены!

108

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Первая ночевка. — Под брезентом. — Призыв о помощи. — Уп-
рямство чайника; как его преодолеть. — Ужин. — Как почувство-
вать себя добродетельным. — Требуется уютно обставленный, хо-
рошо осушенный необитаемый остров, предпочтительно в южной
части Тихого океана. — Забавное происшествие с отцом Джорд-
жа. — Беспокойная ночь.

117

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

О том, как Джордж однажды встал рано. — Джордж, Гар-
рис и Монморенси не любят вида холодной воды. — Героизм и ре-
шительность Джея. — Джордж и его рубашка. — История с нраво-
учением. — Гаррис в роли повара. — Историческая реминисценция,
включенная специально для детей школьного возраста.

126

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Генрих Восьмой и Анна Болейн. — Неудобства пребывания в
одном доме с влюбленными. — Трудные времена для английского на-
рода. — Ночные поиски красоты. — Бесплодные и бездомные. —
Гаррис готовится умереть. — Появление ангела. — Влияние внезап-
ной радости на Гарриса. — Легкий ужин. — Завтрак. — Полмира
за банку горчицы. — Ужасная битва. — Мэйденхед. — Под паруса-
ми. — Трое рыбаков. — Нас осыпают проклятьями.

135

7

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Марло. – Бишемское аббатство. – Монахи из Медменхэма. – Монморенси намеревается убить старого кота, но потом решает оставить его в живых. – Постыдное поведение фокстерьера в универсальном магазине. – Отъезд из Марло. – Внушительная процессия. – Паровые баркасы. – Полезные советы: как им досадить и помешать. – Мы отказываемся выпить реку. – Спокойный пес. – Странное исчезновение Гарриса с пирогом.

147

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Уоргрэв. – Восковые фигуры. – Соннинг. – Ирландское рагу. – Монморенси настроен саркастически. – Битва Монморенси с чайником. – Джордж учится играть на банджо. – Это не встречает одобрения. – Трудности на пути музыканта-любителя. – Изучение игры на волынке. – Гаррису становится грустно после ужина. – Мы с Джорджем совершаем прогулку и возвращаемся мокрые и голодные. – С Гаррисом творится что-то странное. – Удивительная история про Гарриса и лебедей. – Гаррис проводит беспокойную ночь.

159

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Хозяйственные обязанности. – Любовь к работе. – Старый гребец, его дела и рассказы. – Скептицизм молодого поколения. – Первые воспоминания о поездках на лодке. – Управление плотом. – Стильная гребля Джорджа. – Старый лодочник и его метода. – Неторопливость и спокойствие. – Новичок. – Плавание с шестом. – Печальное происшествие. – Радости дружбы. – Мой первый опыт с парусом. – Почему мы не утонули.

169

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Рэдинг. – Нас ведет на буксире паровой баркас. – Нахальное поведение маленьких лодок. – Как они мешают паровым баркасам. – Джордж и Гаррис снова уклоняются от работы. – Одна банальная история. – Стрители и Горинг.

182

8

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Стирка. – Рыба и рыбаки. – Об искусстве уженья. – Добросовестный удильщик на муху. – Рыбацкая история.

185

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Шлюзы. – Меня и Джорджа фотографируют. – Уоллингфорд. – Дорчестер. – Эбингдон. – Отец семейства. – Здесь удобно тонуть. – Трудный участок реки. – Дурное влияние речного воздуха.

192

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Оксфорд. – Представление Монморенси о рае. – Наемная лодка, ее прелести и преимущества. – «Гордость Темзы». – Погода меняется. – Река в разных видах. – Не слишком веселый вечер. – Стремление к недостижимому. – Оживленная болтовня. – Джордж исполняет пьесу на банджо. – Унылая мелодия. – Снова дождливый день. – Бегство. – Легкий ужин, заканчивающийся тостом.

198

ТРОЕ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ

Перевод М. Жаринцовой

207

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Желание переменить образ жизни. – Нравоучительный случай, доказывающий, что обманывать не стоит. – Нравственное малодушие Джорджа. – Идеи Гарриса. – Рассказ об опытном моряке и неопытном спортсмене. – Веселая команда. – Опасность плавания при береговом ветре. – Невозможность плавания при морском ветре. – Дух противоречия у Этельберты. – Гаррис предлагает путешествие на велосипедах. – Джордж сомневается насчет ветра. – Гаррис предлагает Шварцвальд. – Джордж сомневается насчет гор. – План Гарриса относительно подъема на горы. – Миссис Гаррис прерывает беседу.

209

ГЛАВА ВТОРАЯ

Щекотливое дело. – Что должна была сказать Этельберта. – Что она сказала. – Мнение миссис Гаррис. – Наш разговор с Джорджем. – Отъезд назначен на среду. – Джордж указывает на возможность развить наш ум. – Мы с Гаррисом сомневаемся. – Кто больше работает в тандеме? – Мнение человека, сидящего сзади. – Мнение человека, сидящего спереди. – О том, как Гаррис потерял свою жену. – Здравый смысл моего дяди Поджера. – Начало истории о человеке с мешком.

220

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Единственный недостаток Гарриса. – Патентованная велосипедная фара. – Идеальное седло. – Механик-любитель. – Его орлиный взор. – Его приемы. – Его веселый характер. – Его непритязательность. – Как от него отделаться. – Джордж в роли пророка. – Джордж в роли исследователя человеческой природы. – Джордж предлагает эксперимент. – Его осторожность. – Согласие Гарриса при известных условиях.

231

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Объяснение, почему в доме Гарриса не нужны будильники. – Общительность юного поколения. – Бдительный страж. – Его таинственность. – Его суетливость. – Занятия до завтрака. – Добрая овца и паршивая овца. – Печальная судьба добродетели. – Новая печь Гарриса. – Как дядя Поджер выходил из дома. – Почтенные деловые люди в роли скороходов. – Мы приезжаем в Лондон. – Мы разговариваем на языке путешественников.

241

ГЛАВА ПЯТАЯ

Необходимое отступление от темы. – Поучительная история. – Достоинство этой книжки. – Журнал, который не совсем удался. – Его программа. – Еще одно достоинство этой книжки. – Старая тема. – Третье достоинство этой книжки. – «Какой это был лес?» – Описание Шварцвальда.

254

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как мы попали в Ганновер. – О том, что делают за границей лучше, чем у нас. – Разоблачение одной тайны. – «Коренной француз» как предмет развлечений. – Отцовские чувства Гарри-са. – Искусство поливать улицы. – Патриотизм Джорджа. – Что Гаррис должен был сделать. – Что Гаррис сделал. – Мы спасаем Гаррису жизнь. – Город, в котором не спят. – Извозчицья лошадь с критическими наклонностями.

265

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Недогадливость Джорджа. – Любовь к порядку. – Воспитанные птицы и фарфоровые собаки. – Их преимущества. – О том, какой должна быть горная долина. – Август Сильный. – Гаррис дает представление. – Равнодушные публики. – Джордж, его тетя, подушка и три барышни.

276

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Мистер и мисс Джонс из Манчестера. – Достоинства какао. – Способ достижения всеобщего мира. – Окна как соблазнительное средство для доказательства прав. – Проводник, его пороки. – Судьба любителей немецкого пива. – Гаррис и я делаем доброе дело. – Обыкновенная статуя. – Идеальное место – без перца. – Женщина и город.

286

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Гаррис нарушает закон. – Опасности, ожидающие услужливых людей. – Преступления Джорджа. – Рай земной с точки зрения молодого англичанина. – Разочарования, ожидающие его в Англии. – Обилие развлечений в Германии. – Закон о тюфяках. – Воспитанная собака. – Невоспитанный жук. – Люди, которые делают то, что должны делать. – Дети, которые делают то, что должны делать, и другие дети. – Ограниченная свобода.

297

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Баден-Баден с точки зрения путешественника. – Раннее утро – каким оно представляется накануне. – Расстояние на карте и на практике. – Джордж идет на компромисс со своей совестью. – Велосипеды – на объявлениях. – Велосипедисты на дороге. – Выводка фениксов. – Самолубивый пес. – Наказанная лошадь.

310

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Домик в Шварцвальде. – Его «общительность». – Его атмосфера. – Джордж не хочет спать. – Дорога, на которой нельзя заблудиться. – Мой особенный природный инстинкт. – Неблагодарность товарищей. – Гаррис и наука. – План Джорджа. – Мы каемся. – Немецкий кучер. – Человек, который распространяет английский язык по всему миру.

320

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Мы огорчены низменными инстинктами немцев. – Великолепный вид. – Мнение континентальных жителей об англичанах. – Улыбый путник с кирпичом. – Погоня за собакой. – Неудобный для жизни город. – Обилие фруктов. – Веселый человек. – Джордж находит, что поздно, и удаляется. – Гаррис следует за ним, чтобы показать ему дорогу. – Я не хочу оставаться один и следую за ними. – Выговор, предназначенный для иностранцев.

331

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Некоторые нравы и обычаи немецких студентов. – Мензура; ее «ненужная польза», по мнению импрессиониста. – Вкусы немецких барышень. – Salamander. – Совет иностранцам. – История, которая могла закончиться печально: о двух мужьях, двух женах и одном холостяке.

343

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Несколько серьезных мыслей на прощанье. – Немец с англосаксонской точки зрения. – Горидовой. – Инстинкт командования и подчинения. – Купец. – Новая женщина. – Единственный упрек, который можно сделать немцам. – «Виттел» окончен.

356

РАССКАЗЫ

367

ИЗ СБОРНИКА «МИР СЦЕНЫ»
(1888)

ГЕРОЙ

Перевод В. Маяц

369

ЗЛОДЕЙ

Перевод В. Маяц

374

ГЕРОИНЯ

Перевод В. Маяц

378

АДВОКАТ

Перевод В. Маяц

382

РЕБЕНОК

Перевод И. Манечок

386

КРЕСТЬЯНЕ

Перевод С. Дзенин

391

СТАРИЧОК

Перевод В. Маяц

394

ИЗ СБОРНИКА «ДНЕВНИК ОДНОГО
ПАЛОМНИЧЕСТВА И ШЕСТЬ ОЧЕРКОВ» (1891)

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Перевод А. Ройзен

396

ЧАСЫ

Перевод З. Журавской

405

ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ ПОСЛЕ УЖИНА (1891)

Перевод И. Бернштейн

416

ИЗ КНИГИ «НАБРОСКИ ДЛЯ РОМАНА» (1891)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Перевод И. Красногорской

446

ГЛАВА ВТОРАЯ

Перевод И. Красногорской

466

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Перевод В. Маяц

482

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Перевод В. Маяц

494

ИЗ СБОРНИКА «ДЖОН ИНГЕРФИЛД
И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ» (1894)

ПАМЯТИ ДЖОНА ИНГЕРФИЛДА И ЖЕНЫ ЕГО АННЫ

Перевод В. Хинкиса

511

АРЕНДА «СКРЕЩЕННЫХ КЛЮЧЕЙ»

Перевод И. Красногорской

537

ИЗ СБОРНИКА «НАБРОСКИ ЛИЛОВЫМ, ГОЛУБЫМ
И ЗЕЛЕНЫМ»

(1897)

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ РУКОВОДИТЬ

Перевод В. Тамохина

542

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СБИЛСЯ С ПУТИ

Перевод В. Артемова

549

14

РАССЕЯННЫЙ

Перевод Н. Ромм

557

ПАДЕНИЕ ТОМАСА ГЕНРИ

Перевод Н. Ромм

563

ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ

Перевод В. Хинкиса

568

ИЗ СБОРНИКА «ЕЩЕ ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ»
(1898)

О ВЕЛИКОЙ ЦЕННОСТИ ТОГО,
ЧТО МЫ НАМЕРЕВАЛИСЬ СДЕЛАТЬ

Перевод Н. Дыгник

580

О ТОМ, ЧТО НЕ НАДО СЛУШАТЬСЯ ЧУЖИХ
СОВЕТОВ

Перевод В. Тамохина

599

ИЗ СБОРНИКА «НАБЛЮДЕНИЯ ГЕНРИ» (1901)

ДУХ МАРКИЗЫ ЭПЛФОРД

Перевод И. Бернштейн

616

СЮРПРИЗ МИСТЕРА МИЛБЕРРИ

Перевод Каяндера

629

ИЗ КНИГИ «ТОММИ И К°» (1904)

КАК ЗАРОДИЛСЯ ЖУРНАЛ ПИТЕРА ХОУПА

Перевод З. Журавской

639

МИСТЕР КЛОДД НАЗНАЧАЕТ СЕБЯ ИЗДАТЕЛЕМ
ЖУРНАЛА

Перевод З. Журавской

663

МЛАДЕНЕЦ ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД

Перевод З. Журавской

681

ИЗ СБОРНИКА «ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ» В 1905 Г. (1905)

СЛЕДУЕТ ЛИ ЖЕНАТОМУ ЧЕЛОВЕКУ ИГРАТЬ В ГОЛЬФ?

Перевод В. Хинкиса

709

ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ ГОВОРИТЬ ТО, ЧТО ДУМАЕМ, И ДУМАТЬ ТО, ЧТО ГОВОРИМ?

Перевод И. Бернштейн

715

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЛЮБИМ ИНОСТРАНЦЕВ?

Перевод В. Хинкиса

721

ИЗ СБОРНИКА «ЖИЛЕЦ С ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА» (1907)

ДУША НИКОЛАСА СНАЙДЕРСА,

ИЛИ СКРЯГА ИЗ СААРДАМА

Перевод В. Ногина

729

МИССИС КОРНЕР РАСПЛАЧИВАЕТСЯ

Перевод В. Артемова

745

ЧЕГО СТОИТ ОКАЗАТЬ ЛЮБЕЗНОСТЬ

Перевод Н. Дынкин

759

ИЗ СБОРНИКА «МАЛЬВИНА БРЕТОНСКАЯ»
(1916)

УЛИЦА ГЛУХОЙ СТЕНЫ

Перевод В. Лифшиц

768

ЛАЙКОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

Перевод Е. Семеновой

791

ДЖЕРОМ КЛАПКА ДЖЕРОМ

Читая то немногое, что было написано о Джероме на разных языках, удивляешься, как много злых слов сумели сказать о нем критики. Его книги называли вздорными, его творчество энергично и недвусмысленно определялось как позор английской литературы, как попытка протащить в нее какой-то «новый юмор». «Джером, — писала одна лондонская газета, — это печальный пример того, чем угрожает Англии чрезмерное образование низших классов». Даже сравнительно недавно, уже много лет спустя после смерти Джерома, его имя поминалось с прибавлением эпитетов, далеко не лестных: он-де и пошляк, и бестактный, и наблюдательность его — наблюдательность мещанина-обывателя, а «Трое в одной лодке» — шедевр вагонной литературы.

Но если хотя бы половина этих нападок справедлива, то за что же тогда любили и любят Джерома читатели? Почему еще в 1894 году его считали самым распространенным автором во всех англоязычных странах? Почему на обложках приложения к русскому журналу «Вокруг света» за 1912 год значится: «Собрание сочинений неподражаемого английского юмориста Джерома К. Джерома»? Неужели книги Джерома действительно «читиво», а популярность их сродни популярности «Джека Потрошителя»?.. И невольно приходят на память слова, с которыми один древний мудрец обращался к своим ученикам. «Свойственно многим, — говорил он, — подходя к незнакомым людям, прежде всего обращать внимание на недостатки: этот, мол, кос, тот горбат, а вон тот косноязычен. Вы же старайтесь прежде всего заметить и отыскать в человеке хорошее, ценное, доброе, а недостатки и пороки его от ваших взоров не укроются».

Только одни слабости (а их и в самом деле было немало) и замечали у Джерома суровые критики. Мы тоже не бу-

дем закрывать глаза на эти слабости, но прежде всего попробуем рассказать о писателе просто и доброжелательно; главное — доброжелательно, с тем сочувственным пониманием и симпатией, какие неизменно питал Джером к своим героям, — качество, которое не решились поставить под сомнение даже самые строгие и придирчивые из критиков.

* * *

Джером К. Джером родился 2 мая 1859 года в Уолсоле, небольшом городке графства Стаффордшир, центральная Англия. (Второе имя, Клапка, было дано ему в честь друга семьи Джеромов — венгерского эмигранта Дьердя Клапки.) Его отец был архитектором, но беспокойный, непоседливый характер не давал Джерому-старшему заниматься своим делом. Ко времени появления на свет младшего сына, будущего писателя, он окончательно забросил архитектуру и стал владельцем нескольких угольных шахт, но уже в следующем, 1860 году разорился и был вынужден переехать в Лондон. Вскоре в столицу перебралась и вся семья. Джеромы поселились в Попларе, восточном пригороде Лондона, примыкавшем к трущобам Ист-Энда. Отец занялся сбытом скобяного товара. Ему не везло, дела шли далеко не блестяще. Семье приходилось трудно, однако отец не терял бодрости и надежды на лучшее будущее. От него, вероятно, и унаследовал Джером неистощимый запас энергии, оптимизма и любви к жизни, так же как и склонность к нравоучительным рассуждениям: Джером-старший был страстным и неутомимым проповедником.

Свои школьные годы Джером вспоминает без особенной теплоты. Друзей он в школе не приобрел, занятия не увлекали его. Зато он много и жадно читал, обшаривая одну за другой маленькие частные библиотеки Поплара. Он полюбил прогулки по лондонским пригородам. Школа находилась далеко от дома, мальчику купили сезонный билет, и это значительно расширило круг его «странствий». Самые разнообразные картины подмечал и запечатлевал в памяти наблюдательный взор Джерома. Он видел и зеленые сельские улочки предместий Лондона, мало чем отличавшихся от деревни, и мрачные грязные закоулки Ист-Энда; видел мужество, доброту, трудолюбие простого люда, а рядом —

отвратительные пьяные драки, истязания детей, издевательства над слабыми и немощными, слышал веселые шутки и гнусную площадную брань. Это были первые встречи с жизнью, с ее контрастами нищеты и богатства, горя и радости.

В 1871 году Джером-старший умер, а два года спустя четырнадцатилетний Джером-младший навсегда расстается с учением. Друг покойного отца устроил мальчика клерком в железнодорожную контору. Еще через год умерла и мать. Детство кончилось, пришла пора самому заботиться о себе и о своем будущем. Впрочем, будущее уже, по-видимому, обеспечено. Джером служит, жалованье постепенно растет — чего же еще? Так казалось сестрам, а может быть, поначалу и самому Джерому. Но в нем был жив беспокойный дух отца. Один приятель, клерк из Сити, заразил Джерома любовью к театру, и у него появляется желание попробовать свои силы на сцене. Не бросая службы, он вступает в труппу некоего Вуда, игравшую в помещении цирка неподалеку от Вестминстерского моста. Понятно, роли ему поручают самые скромные, говоря театральным языком — «держат на выходах», но новичок рад и этому. Ему мерещится карьера великого трагика, и вот в один осенний день он бросает свою железнодорожную контору (где получал уже 70 фунтов в год) и поступает в бродячую труппу.

Три года провел Джером на сцене. Немало городов и местечек объездил он, сыграл много ролей. «Я переиграл в «Гамлете» все роли, за исключением лишь Офелии», — писал он впоследствии. Актерская жизнь оборачивалась к нему всеми своими ликами — и светлыми, и темными. Но тяготы бродячего существования не пугали его. Огорчался он из-за другого. Товарищи по труппе находили у него «все-го-навсего» талант комика. «Я мог бы стать хорошим актером. Согласись я довольствоваться смехом и аплодисментами, я бы пошел далеко», — признается Джером в книге «Моя жизнь и моя эпоха». Но ему казалось, что потешать и смешить — дело недостойное. Он хотел волновать людей, приводить их в трепет и в умиление. И вот он бросает театр и едет в Лондон с тридцатью шиллингами в кармане.

Если прежде, в детстве, нищета начиналась сразу же за порогом его дома, то теперь она переступила этот порог. Джером сам сделался частицей Ист-Энда, слился с безли-

кой толпой его обитателей — людей с испытанными лицами и потухшими глазами, которые когда-то окружали мальчика во время его бесцельных блужданий по предместьям. «Это было то окружение, в котором прошло мое детство и которое, по-видимому, наградило меня невеселым и задумчивым характером. Я различаю в вещах их забавные стороны и при случае радуюсь шутке; но куда бы я ни взглянул, во всем я вижу больше печали, чем радости». (Эти меланхолические слова написаны Джеромом уже в старости.) Прославление «честной бедности» не было свойственно Джерому, который слишком близко видел ужасы нищеты в большом капиталистическом городе, и поэтому романтика «дна» и пустого желудка навсегда останется чуждой писателю: «Господа литераторы охотно и много пишут о «дне». Я готов согласиться, что там можно обнаружить и юмор, и пафос, и даже романтику. Но для того, чтобы открыть все прелести «дна», нужно самому находиться на поверхности».

Стремясь выбиться «на поверхность», Джером сменил много профессий. Он был и репортером — из тех, что получали пенни за строку, — и школьным учителем, и секретарем у подрядчика, и агентом-комиссионером, снабжавшим своих индийских клиентов всем необходимым («Это была забавная работа: я ощущал себя своего рода всеобщим дядюшкой»), и клерком в конторе стряпчего. И одновременно — писал, много и непрерывно писал.

Еще в детстве он мечтал о литературной славе и с волнением прислушивался к словам матери, часто говорившей о высоком призвании писателя. Поступая на сцену, он надеялся приобрести опыт, необходимый драматургу, а теперь, расставшись с театром, засыпал издателей и редакции журналов трогательными и возвышенными рассказами, очерками, повестями и пьесами. Но журналы не торопились познакомить читателя с новым светочем английской литературы. Они упорно возвращали Джерому рукописи, и только однажды газета «Ламп» тиснула его сентиментальную аллегорию о девушке, превратившейся в водопад. (Заметим вскользь, что через несколько дней после этого знаменательного события газета прекратила свое существование.) Неудачи заставляют наконец Джерома задуматься: ведь невозможно, чтобы все кругом были слепы и не способны оценить его литературное дарование, скорее что-нибудь не-

ладно в его писаниях. И он решительно отказывается от псевдоромантической, слезливой патетики. Хватит с него надуманных девиц-водопадов, теперь он напишет о том, что видел и испытал сам. «Я должен рассказать миру историю героя по имени Джером, который однажды бросил все и поступил на сцену». Так родился замысел первой книги Джерома «На сцене и за кулисами» (1885).

Но вот вопрос: о чем расскажет он читателю — о нищете, страданиях и обидах? О несправедливости, которая так больно ранит в юности? О процессиях безработных, проходивших с заунывной песней под окнами их дома в Попларе? Нет, он напишет «о забавных и трогательных вещах, которые с ним приключились». Забавное и трогательное — в этих двух словах программа Джерома, которой он придерживался довольно последовательно. Не то чтобы он нарочито, умышленно отворачивался от мрака и ужасов жизни — мы уже видели, что он всегда помнил о них, и даже троим друзьям, беззаботно плывущим по Темзе в лодке, он покажет тело утопленницы, заставив их задуматься над бессмысленной жестокостью «респектабельного» общества, единодушно отвергнувшего «грешницу»... Но он считал, что жизнь не переделаешь. Один из героев его романа «Пол Келвер» (1902), врач, рассказывает: «На днях я навещался узнать, жив ли еще один из моих пациентов. Жена его стирала белье в передней. «Что ваш муж?» — спрашиваю. «Кажется, помер», — отвечает женщина. Потом, не прерывая работы, кричит: «Джим, как ты там?» Ответа не последовало. «Кончился», — объявила она, выжимая чулок... Я не одобряю ее, но и не осуждаю. Не я создал мир, и не я за него в ответе». Сам Джером рассуждал, вероятно, менее резко, но и он не пытался докопаться до корней зла, ничего не пытался объяснить ни другим, ни даже самому себе. Правда, зло всегда отталкивало его, но он принимал жизнь такую, какой видел ее или, может быть, какой хотел ее видеть. «Я встречал больше честных и хороших людей, чем злых, — писал он, — и потому предпочитаю думать о первых». А если людям скверно, тяжело, их надо подбодрить веселой шуткой, и им станет теплее, уютнее.

Что говорить, позиция ограниченная, сужающая творческие возможности художника. Но при всей односторонности Джерома ему нельзя отказать в глубокой искренно-

сти, неподдельной человечности. Больше того: вне этих двух качеств нам не понять правильно его юмора.

Талант юмориста проявился у Джерома очень рано. Еще школьником он славился среди товарищей как остроумный рассказчик. Юмор неизменно оживлял и его репортерские заметки: «Я выхватывал забавные словечки из пламени пожара, выжимал оригинальность из уличных побоищ, извлекал веселость из самых ужасных катастроф». Он любит смеяться, чувство юмора глубоко присуще его натуре, и он не считает нужным подавлять его, прикидываться серьезным: «Чувства наши от нас не зависят, и я никогда не мог понять, какой смысл вызывать в себе чувство, которого на самом деле не испытываешь». Джером постепенно приходит к твердому убеждению, что, смеясь и потешая, он доставляет людям ту радость, которая скрашивает их трудное существование.

Книга «На сцене и за кулисами» была написана за три месяца (Джером вообще работал очень быстро) и вышла в 1885 году. Издатель принял рукопись на кабальных условиях: за полученный гонорар Джером должен был отказаться от дальнейших авторских прав на нее. Книга не залежалась на магазинных полках. Зато критики встретили ее в штыки. Такого обескураживающего приема это бесхитростное и в меру веселое повествование, разумеется, не заслуживало, однако и громкой славы автору оно не принесло — так же, впрочем, как и вторая его книга — «Мир сцены», увидевшая свет в 1889 году (бывший актер осмел в ней осточертевшие и зрителям и артистам театральные штампы). Но именно этому году суждено было стать решающим в литературной судьбе Джерома: в 1889 году появились его «Праздничные мысли лентяя» и «Трое в одной лодке».

«Праздничные мысли лентяя» печатались сначала, очерк за очерком, в ежемесячном журнале «Home Chimes» («Домашний благовест»). Отдельное издание имело неслыханный успех и в Англии, и в Соединенных Штатах. Книгу, по словам самого Джерома, расхватывали, «как горячие пирожки». Еще более восторженно были приняты «Трое в одной лодке». Джером становится одним из самых популярных авторов. Но популярность и признание — не одно и то же: критики единодушно и непримиримо осуждали повесть Джерома. Писатель Израэль Зангвиль, друг Джерома, в од-

ной из своих статей вспоминает: «Когда «Грое в одной лодке» вышли из печати, почтенные теологи и мужи науки останавливали меня на улице и, истерически хохоча, заставляли выслушивать страницу за страницей; позже те же самые господа присоединились к хору негодующих воплей и вздрагивали, услышав имя Джерома». А сам Джером пишет в «Моей жизни и моей эпохе»: «Почему в Англии, единственной из всех стран мира, юмор, хотя бы даже в новых одеждах, всегда ошибочно принимают за незнакомца и встречают градом камней — этого я не в состоянии понять».

Главное обвинение, предъявленное писателю критиками, состояло в том, что его юмор по своему характеру не соответствует духу и традициям английской литературы. Так ли это? Действительно ли порывал Джером с традициями английской юмористики?

Принято различать два основных вида или типа юмора — юмор положений и юмор характеров. Писатель, в произведениях которого преобладает юмор положений (таким писателем был Джером), подметив в своем герое какую-то одну черточку, строит вокруг нее целую серию забавных происшествий. Каждое из них непременно должно быть связано с этой черточкой (которая сама по себе далеко не всегда бывает смешной), вытекать из нее естественно и непринужденно, иначе комизм превратится в бездушное, механическое рассмеивание. О знаменитом дяде Поджере мы знаем только одно: он полон жажды деятельности, и ничего смешного здесь еще нет. Но Джером, увидев пожилого полнеющего джентльмена, энергично проталкивающегося через толпу, сумел придумать десяток ситуаций, в которых бьющая через край энергия джентльмена найдет себе самое неожиданное и самое нелепое применение.

Нередко стержнем повествования служит даже не эта единственная, отмеченная автором черточка в характере героя, а какой-нибудь случай или обстоятельство, привлекающее внимание писателя. Хозяин дарит под Рождество своему служащему гуся. «Ну, вот еще, опять слащавый рассказик о добром хозяине!» — с досадой думает читатель. Но он ошибается: для Джерома это отличная завязка, его фантазия пририсует к ней превосходное комическое продолжение. Да и вообще для такого мастера сюжета и такого неис-

черпаемого «выдумщика», каким был Джером, завязкой могло служить любое, самое незаметное, самое обыденное происшествие.

Юмор характеров более психологичен и в то же время менее остер сюжетно. Автор создает комический характер, смешной во всех своих сторонах и проявлениях, и тогда источником комизма оказывается уже не ситуация, а сам герой, одно воспоминание о котором вызывает у читателя улыбку. Замечательные образцы юмора характеров — молодой и старый Уэллеры в «Записках Пиквикского клуба» Ч. Диккенса. Мистер Уэллер-старший — это тип старого чудака, а его сын — тип так называемого «кокни», самоуверенного, сметливого и бойкого столичного жителя, непоколебимо убежденного в величайшем превосходстве лондонцев над всеми остальными представителями рода человеческого. В поведении отца и сына нет, казалось бы, ничего абсурдного, напротив, оно строго мотивировано и, следовательно, вполне разумно. Но стоит им появиться на страницах романа — и мы начинаем смеяться; мы смеемся их шуткам, их манерам, позам, жестам, их нехитрой житейской философии. Понятно, что создание истинно комических характеров требует от писателя подлинного мастерства психолога и глубокого знания жизни. С известными оговорками было бы справедливым признать, что юмор характеров выше юмора положений.

И все же юмор положений никак не чужд английской литературе. Он присущ, например, комедиографии второй половины XVII и первой половины XVIII века. Рядом с юмором характеров он встречается и у Филдинга, и у Смоллета, и у Шеридана, и даже у Диккенса. Следовательно, нельзя согласиться с теми, кто безапелляционно объявлял юмор Джерома К. Джерома «новым», идущим вразрез с традициями английской юмористики. Вернее другое, а именно: у великих английских юмористов смешное служило высоким идейным и социальным целям, тогда как юмор Джерома не возвышается над довольно поверхностной наблюдательностью, и писателю чуждо стремление к большим обобщениям.

Джером почти не писал о том, чего не видел и не знал по собственному опыту. Великосветское общество было так же чуждо ему, как экзотика колоний и тайны лондонского

«дна». Его неизменный герой — это средний англичанин, трезвый, рассудительный, немного неповоротливый и тяжелый на подъем, наделенный хорошим чувством юмора. Его жизнь знакома писателю во всех подробностях, в его доме Джером чувствует себя не гостем, а хозяином. Этот средний англичанин балагурит и разглагольствует в «Праздных мыслях лентяя», плывет по Темзе в обществе двух друзей и собаки, удаляется от городского шума на лоно природы (повесть «Они и я») — одним словом, не покидает Джерома на всем протяжении его писательской жизни.

Есть одна особенность, унаследованная Джеромом от Диккенса: это добродушие его юмора. Писатель не просто смеется над своими героями — он любит их, но это не исключает осмеяния тех или иных недостатков в комическом персонаже. Благожелательность Джерома почти беспредельна, и только лицемерие приводит его в ярость, делает беспощадным его перо.

Но забавное — только половина программы, неотделимая от другой ее половины — трогательного. Еще мгновение назад Джером смеялся, но вот он задумался, и уже потоком текут размышления, а иногда и нравоучительные наставления. Каждый из очерков в «Праздных мыслях лентяя» получил свою порцию морали и сентиментальности. Даже «Троим в одной лодке» пришлось потесниться и взять на свое суденышко проповедника. Посмотрите, как в конце десятой главы этот чувствительный джентльмен «вылезает из-под парусины на берег», с умилением глядит на звезды, думая о всеутешающей силе ночи, и рассказывает притчу о рыцаре, заблудившемся в лесу, имя которому — Горе. Такая смесь юмора с нравоучением — не новость в английской литературе. Элемент комического нередко служил приманкой, «заманивающей» читателя в ловушку проповеди, — примерно так же, как это делает Джером в рассказе «Часы». Однако если в лучших произведениях Джерома чувство меры, в общем, не изменяло ему и мы без раздражения выслушиваем не слишком глубокомысленные и оригинальные, но зато идущие от самого сердца поучения, то сколько хороших замыслов юмориста погубили они в других его книгах! Можно найти у Джерома сентиментальность и не скрашенную юмором. Сентиментальным по преимуществу представляется нам роман «Пол Келвер» —

первая из вещей Джерома, встреченная критикой благо-склонно, которую и сам Джером считал своим шедевром.

Вот каков был этот «новый юморист», в оценке которого читатели так резко разошлись с критиками.

В предисловии к одному из очередных изданий «Троих в одной лодке» Джером говорит: «Я писал книги, которые кажутся мне более умными, книги, на мой взгляд, более юмористические. Но публика упорно продолжает видеть во мне именно автора «Троих в одной лодке, не считая собаки». Случись Джерому дожить до наших дней, он мог бы повторить эти слова и сегодня.

«Трое в одной лодке» вовсе не были задуманы как юмористическое произведение. В своих мемуарах Джером сообщает: «Книге нужны были «юмористические подпорки», а вообще-то говоря, ей надлежало вылиться в «Рассказ о Темзе» с пейзажами и историей реки. Но этого почему-то не получилось. Я только что вернулся из свадебного путешествия, и у меня было такое чувство, будто все неприятности и огорчения на земле миновали. С «юмористическими подпорками» трудностей не было никаких, и с них я решил начать... А потом, говорил я себе, когда я снова сумею трезво судить о вещах, возьмусь за пейзаж и историю. Но до этого дело на дошло. Получались сплошные «юмористические подпорки»... Перед самым концом мне удалось написать с десяток серьезных мест и вмонтировать их по одному в каждую главу. Но Ф.В. Робинсон, который печатал книгу по частям в журнале «Homo Chimes», ни минуты не задумываясь, почти все до одного выбросил в корзину. С самого начала он возражал против заглавия и настаивал на том, чтобы я придумал какое-нибудь другое. И вот, сделав уже добрую половину работы, я наконец попал в самую точку — «Трое в одной лодке»: любое название, кроме этого, казалось неподходящим».

И в самом деле, это легкая, светлая и неприязательная книга, шумный, веселый фарс с бесконечным разнообразием комических положений, написанный (как верно замечает один писатель) молодым человеком для молодежи, а также и для тех пожилых людей, которые не забыли, как радостно и беззаботно смеются в молодости.

Своих героев Джером увидел как-то раз в поезде: трое средних лет джентльменов, возвращаясь в Лондон, вспоми-

нали свои приключения и маленькие злоключения. А так как сам Джером с двумя друзьями не раз путешествовал на лодке по Темзе, предпочитая этот вид спорта всякому другому, ему было нетрудно припомнить то, что он видел и слышал во время этих прогулок. И лишь Монморенси писатель выдумал, но, по его глубокому убеждению, собака была необходима: «Я полагаю, что в каждом англичанине есть что-то от собаки». Нам остается только поблагодарить Джерома за такую выдумку: если он и был в чем-нибудь неподражаем, то именно в рассказах о животных — особенно о кошках и собаках. Недаром же он так часто и так охотно возвращался к этой теме.

Несмотря на литературные успехи, Джером оставался в конторе стряпчего еще целых три года, готовясь совместить карьеру юриста с литературным трудом. Вероятно, слишком силен был гипноз «постоянной службы» и «постоянного заработка»: даже в 1892 году Джером расстался со своей должностью лишь потому, что был приглашен редактором и соиздателем в новый юмористический журнал, «*Idler*» («Лентяй») был затеей одного энергичного издателя, искавшего популярное имя, которое могло бы привлечь интерес и внимание публики. Сделанный им выбор определил и характер журнала, и само название, сразу же извещавшее читателя, что ему предстоит встретиться с тем самым лентяем, праздные мысли которого так позабавили всех несколько лет назад. Впрочем, с читателем «лентяй» Джером не часто встречался в эти годы: обязанности редактора оставляли ему так мало досуга, что за пять лет своей издательской работы он не написал почти ничего. Зато уж редактором и организатором он был великолепным. Он сумел собрать вокруг своего журнала и талантливую молодежь, и известных уже писателей. С «*Idler*» охотно сотрудничали не только английские, но и американские авторы. Все это были не просто сотрудники, а друзья Джерома, который, щедро расточая другим свою доброту, умел вызывать в людях ответное чувство симпатии. Раз в неделю, по пятницам, литературный Лондон приходил к «Лентяю» в гости на чашку чая. Эти вечера, известные под названием «Лентяй у себя дома», неизменно привлекали писателей, художников, артистов. Тут бывали Томас Гарди, Стивенсон, Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Израэль Зангвиль, романист и дра-

матург Барри Пэйн и много других известных, мало известных и совсем неизвестных литераторов. Кое-кого из них Джером «открыл» и ввел в литературу, например Джекобса, впоследствии известного юмориста.

Но ежемесячника Джерому не хватало. Ему хотелось более тесной и постоянной связи с читателем, хотелось создать что-то среднее между журналом и газетой. И вот в 1893 году начинает выходить еженедельник «Today» («Сегодня»). По мнению многих (его разделял и сам издатель), это был один из лучших еженедельных журналов в Англии. Среди художников, иллюстрировавших журнал, были Обри Бердслей и Фил Мэй.

Конец наступил в 1897 году. Некий биржевой делец, о темных махинациях которого с неодобрением отзывался «Today», затеял клеветнический процесс против его издателя. Правда, истец дело проиграл, но процесс разорил Джерома. Он был вынужден продать паи и уйти из обоих изданий. Джерому-писателю это было не только полезно, но и необходимо: после долгого перерыва он мог наконец снова вернуться к собственным рукописям, вместо того чтобы без конца читать и править чужие. В том же 1897 году выходит из печати сборник «Наброски лиловым, голубым и зеленым». Рассказы, вошедшие в эту книгу, были и в самом деле «разноцветными» — от очень смешных и откровенно «рассмеивающих» («Человек, который хотел руководить») до таких полностью лишенных юмористической окраски новелл, как «Портрет женщины». Впрочем, и с тем и с другим Джеромом мы уже встречались, и только рассказ «Человек, который сбился с пути» кажется чем-то необычным. История веселого, доброго и щедрого «грешника», превратившегося в жестокого, скупого «праведника», так сатирически остра, что не сразу узнаешь Джерома. Но выше мы уже говорили о ненависти писателя к лицемерию, а религиозное ханжество, прикрывающее холод сердца и презрение к людям, представлялось ему куда более опасным, чем, скажем, обычное равнодушие под маской светской любезности. Хочется вспомнить еще о рассказе «Кот Дика Данкермена». Это своего рода притча о таланте и богатстве, которое губит талант (почти тридцать лет спустя Джером написал: «Бедность — вот единственно надежный покровитель литературы»).

Европа очень любила Джерома, и он отвечал ей тем же. В пору своей безвестности и службы у стряпчего он проводил лето то в Голландии, то в Бретани, то в Германии, а позже часто и подолгу жил за границей и всегда охотно откликался на приглашение посетить страну, где прежде не бывал. Больше всего прожил он в Германии и много писал о ней. Среди книг Джерома о немцах известная повесть «Трое на велосипедах» (1900), рассказывающая о путешествии трех наших старых знакомых — Джорджа, Гарриса и автора — по Германии. И в этой книге, и в других, отдавая должное трудолюбию, одаренности, честности германского народа, писатель с тревогой говорит о прусском духе муштры и рабского подчинения, о шовинизме, который может принять формы, опасные для других народов Европы.

Посетил Джером и Россию, где его хорошо знали и высоко ценили. «Русский человек, — писал он, возвратившись в Лондон, — одно из самых очаровательных существ на земном шаре». Но вместе с тем его поразила затхлость жизни в царской России и в особенности фантастическое взяточничество. «Тупая покорность народа иссякает, — говорит он далее, — революция неизбежна, она будет кровавой и страшной, но, унеся многие, многие жизни, она растопчет заодно несправедливость и невежество... Мы свысока называем русских нецивилизованными, но они еще молоды... Мир будет доволен Россией, когда она приведет себя в порядок».

В Америке он побывал трижды, выступая там с публичными чтениями своих рассказов. Ему понравилось гостеприимство американцев, их откровенность, широта натуры, энергия. Масштабы Нью-Йорка поразили его, но как одинок человек в этом огромном городе, который всех перекраивает и переиначивает по одному шаблону, где стандартизируется все, даже мысль! «Каждый в Америке свободен высказывать свое мнение, но лишь до тех пор, пока он кричит вместе с толпой». Однако ничто не возмутило и не потрясло его сильнее, чем дискриминация негров, — это, по его словам, позорное пятно на совести человечества, еще более позорное, чем испанская инквизиция. Джером был неизменно верен себе: он далеко не всегда замечал зло, но уж если видел его, то не молчал и не отходил, зажмурившись, в сторону.

Мы уже говорили, что лицемерие писатель считал страшным злом, хорошо зная, как часто скрывается за ним насилие. Может быть, именно поэтому он так горячо и непримиримо обрушивался на тех, кто произносил пышные речи о великой миссии европейцев. Одна из главок книги «Праздные мысли в 1905 году» носит характерное название: «Так ли уж тяжело бремя белого человека?» Говоря о том, как кипит и бурлит Восток, пробуждаясь от сна, Джером пишет: «Нынешнее тревожное положение на Востоке никогда не создало бы, если бы не восторженная готовность европейцев нести на себе тяготы других народов. То, что мы называем «желтой опасностью», основывается единственно на нашей боязни, как бы желтолицы не вздумали в конце концов попросить нас, чтобы мы сложили со своих плеч их ношу: ведь они могут когда-нибудь разглядеть, что мы несем их имущество, и пожелают нести его сами». Ненависть к колониальному рабству, которое так пылко и с такой романтической приподнятостью отстаивали иные из соотечественников Джерома, — разве это малое доказательство моральной чистоты и мужества писателя?

Не менее остры и язвительны насмешки Джерома в сборнике «Ангел, автор и другие» (1908). И здесь он сражается все с тем же врагом — лицемерием в разных видах и формах. Вот главка вторая — «Философия и демон» (имеется в виду некий внутренний голос, якобы наставлявший на путь истинный древнегреческого философа Сократа): «Я люблю пофилософствовать, в особенности после обеда, сидя в удобном кресле, с хорошей сигарой в зубах. В такие минуты я нахожу, что человек зачастую огорчается совсем попусту. Чем расстраиваться из-за мизерных заработков, пусть бы каждый рабочий вспоминал те радости и удобства, которые сопряжены с его положением. Разве не избавлен он от мучительных забот о том, как бы повернее пристроить капитал?.. И зачем огорчаться сельскому труженику, когда его голодные дети просят хлеба? Разве не в порядке вещей, чтобы дети бедняков кричали о хлебе? Так уж заведено мудрыми богами. Пусть лучше «демон» этого работника хорошенько поразмыслит о пользе дешевого труда для общества в целом и пусть почаще созерцает мировое добро».

Когда-то, в дни юности, писатель с недоверием и даже враждебно относился к социалистическим идеям, отожде-

ствляя социализм с грубейшей уравнильностью. В зрелые годы он симпатизировал социалистам, соглашаясь с их критикой некоторых пороков капитализма, но позитивная часть социалистической программы вызывала у него лишь скептическую усмешку.

Демократизм в тесном переплетении с индивидуализмом окрашивал все взгляды и убеждения Джерома. Он верил в непреходящую ценность человеческой личности («Именно на личность следует всегда рассчитывать»), в возможность нравственного возрождения и совершенствования независимо от богатства, знатности, расы или любых других условий. Этой мыслью пронизана самая известная из пьес Джерома «Жилец с третьего этажа» (1908).

Для театра Джером работал много и охотно. Его пьесы, начиная с первой — «Барбара», написанной еще в 1885 году, ставились многими театрами Англии и Америки. Очень хорошо принимали зрители комедию «Мисс Гоббс» (1900), которая шла, между прочим, и на русской сцене. Но ничто не сравнимо с тем поистине огромным успехом, который выпал на долю «Жильца с третьего этажа». Изображенный в пьесе частный пансион — это, по мысли Джерома, целое общество в миниатюре. Все его члены поражены моральным недугом: и бывший джентльмен, опустившийся и забывший о своем человеческом достоинстве; и циничный, жестокий делец, который за деньги покупает все — любовь, красоту, молодость; и безуспешно молодящаяся, полупомешанная старая дева, без конца толкующая о своих несуществующих великосветских связях; хозяйка, обирающая своих жильцов; мать, хлопочущая о том, как бы повыгоднее продать свою дочь... Но вот в пансионе появляется новый жилец — Незнакомец и разгоняет, рассеивает удушающий мрак их существования. Он никого и ни в чем не убеждает, ничего не доказывает, он только заставляет каждого заглянуть в глубь собственной души и увидеть все хорошее, что спрятано на ее дне. Имя Незнакомца (на протяжении всей пьесы ни разу не упоминающееся) — Иисус Христос. Основная слабость пьесы — в слащавой сентиментальности, особенно неприятной и назойливой в последнем акте, где все уже исправилось и возлюбил друг друга. Глубокий психологизм в сочетании с моралью, понятной и близкой зрите-

лю, — в этом, по всей видимости, и был секрет успеха пьесы.

В 1926 году, вспоминая о времени, предшествовавшем Первой мировой войне, Джером писал: «Германия продавала по дешевым ценам свои товары и в самой Англии, и в тех странах, где прежде торговали только мы одни. Поэтому возник вопрос о сердечном согласии с Францией, которая ничего не бросала на демпинговый экспорт... Оказалось, что и Россия даже вполтину не так плоха, как мы о ней прежде думали; во всяком случае, демпингов она не устраивала». Но двенадцатью годами раньше Джером не мог похвастаться столь трезвой оценкой сложившейся ситуации. Военный отар опьянял и его. Вскоре после начала боевых действий он отправился в пропагандистское турне по Америке, призывая американцев поддержать Англию в этой войне. Вернувшись, Джером несколько раз пытался вступить в действующую армию, несмотря на то что ему уже было пятьдесят пять лет и он не подлежал призыву. Наконец осенью 1916 года французское командование зачислило его в особое санитарное подразделение, сплошь состоявшее из добровольцев-англичан, и Джером сел за руль санитарной машины. Кровавые и грязные будни войны быстро отрезвили его. Он понял, что «в сравнении с профессией солдата ремесло мусорщика в наши дни — это развлечение, а занятия крысолова куда больше соответствуют инстинктам джентльмена». Запаса пацифизма, который он приобрел на фронте, ему хватило до конца дней. Вернувшись весной 1917 года в Лондон, Джером примкнул к многочисленной группе близких к лейбористам общественных деятелей, которые призывали к «разумному миру».

Во время войны вышел сборник «Мальвина Бретонская». Эта книга показывает, как с годами идет на убыль джеромовская веселость. Ничего смешного, в духе «Троих в одной лодке», мы в сборнике не обнаружим. Зато, кроме давно известного нам «трогательного», мы найдем здесь и рассказ с острым детективным сюжетом, и мистическую историю с переселением душ. Лучший рассказ сборника — «Лайковые перчатки». В этом рассказе о несмелой любви двух людей, которые знают друг о друге немногим больше, чем знаем о них мы, читатели, звучит несвойственная Джерому тема — тема одиночества. Так социально изолирова-

ны, так бесконечно одиноки герои в огромном городе, который шумит и ликует за оградой тихого парка, что рассказ не просто «трогает» нас, но глубоко, по-настоящему волнует.

Из послевоенных книг Джерома наиболее значительны роман «Антони Джон» (1923) и уже неоднократно упоминавшийся том мемуаров «Моя жизнь и моя эпоха» (1926). Последний роман Джерома — серьезная, задумчивая книга, подводящая итоги жизненного опыта и наблюдений писателя. Антони Джон — талантливый и энергичный человек из народа, проложивший себе дорогу к вершинам богатства и почета. Он человек дела, который не хочет ждать революций или парламентских биллей, но берет мир таким, каков он есть, чтобы сделать его как можно лучше своими, ему, Антони Джону, доступными средствами. Эгоизм не только аморален, не только опасен для общества, он губителен и для самого себялюбца: «Благосостояние человека столько же зависит от его товарищей, сколько от собственных его усилий. Страдания одного всегда, рано или поздно, отражаются на судьбе всех». И Антони Джон вкладывает все свои силы и деньги в деятельность, направленную, как ему кажется, на благо общества: он улучшает условия труда своих рабочих, повышает их доходы, строит для них новые, светлые жилища, театр... Но все бесполезно: люди живут так же серо, скудно и убого, как раньше, как всегда. План «улучшения существующего» рухнул, иных путей Антони не видит, и он отказывается от богатства — на этот раз уже не для общественного блага, а ради собственного спасения и успокоения. И все же ни Джером, ни его герой не падают духом. Они оба простолюдины, и оба чувствуют, что надо трудиться не покладая рук: «Если мир должен быть спасен, он будет спасен лишь тогда, когда каждый человек будет работать». Выше этого Джером подняться не мог.

Последние годы жизни Джером провел на своей ферме Монкс Корнер (графство Букингэмшир). В старости он сохранил, по словам одного интервьюера, «тот вкус к жизни, который свойственен очень молодым людям». Он был «из числа тех, кого жизнь не сумела ограбить».

Умер Джером 14 июня 1927 года.

Незадолго до смерти он вспоминал, каким был мир пятьдесят лет назад и как он изменился за эти полстолетия: исчезли старые дилижансы, двухместные кебы и пароконные омнибусы вместе со своими кучерами — забияками и остроусловами; их место заняли велосипеды и автомобили, а в годы войны появились и самолеты; Лондон стал больше и шумнее, зато жизнь в нем сделалась куда менее уютной; ничего не осталось от патриархальных нравов, когда считалось вполне естественным, что зрители во время театрального представления жуют жареный картофель, пьют пиво и болтают; мыться начали в особых ваннных комнатах, тогда как прежде это делалось в спальне; женщины закурили, укоротили себе юбки и превратились в суфражисток, открытых или тайных; брюки со складкой вытеснили панталоны; в быт вошли электрическое освещение и телефон; морозы зимой стали слабее — вот, пожалуй, и все.

Да, он многого, слишком многого не заметил, а из замеченного многого не понял. Но у него была та любовь к людям и та ненависть к злу, которые позволяют нам сегодня применить к нему древние и вечно живые слова — человек доброй воли. И, право, это не так уж мало.

С. МАРКИШ

ТРОЕ В ОДНОЙ
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Прелесть этой книги не столько в литературном стиле или полноте и пользе заключающихся в ней сведений, сколько в безыскусственной правдивости. На страницах ее запечатлелись события, которые действительно произошли. Я только слегка их приукрасил, за ту же цену. Джордж, Гаррис и Монморенси не поэтический идеал, но существа вполне материальные, особенно Джордж, который весит около двенадцати стоунов¹. Некоторые произведения, может быть, отличаются большей глубиной мысли и лучшим знанием человеческой природы; иные книги, быть может, не уступают моей в отношении оригинальности и объема, но своей безнадежной, неизлечимой достоверностью она превосходит все до сих пор обнаруженные сочинения. Именно это достоинство скорее, чем другие, сделает мою книжку ценной для серьезного читателя и придаст больший вес назиданиям, которые можно из нее почерпнуть.

¹ Стоун — около 6,35 килограмма.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Трое инвалидов. – Страдания Джорджа и Гарриса. – Жертва ста семи смертельных недугов. – Полезные рецепты. – Средство против болезней печени у детей. – Мы сходимся на том, что переутомились и что нам нужен отдых. – Неделя в море? – Джордж предлагает путешествие по реке. – Монморенси выдвигает возражение. – Первоначальное предложение принято большинством трех против одного.

Нас было четверо — Джордж, Уильям Сэмюэль Гаррис, я и Монморенси. Мы сидели в моей комнате, курили и рассуждали о том, как мы плохи, — плохи с точки зрения медицины, конечно.

Мы все чувствовали себя не в своей тарелке и очень из-за этого нервничали. Гаррис сказал, что на него по временам нападают такие приступы головокружения, что он едва понимает, что делает. Джордж сказал, что у него тоже бывают приступы головокружения и он тогда тоже не знает, что делает. Что касается меня, то у меня не в порядке печень. Я знал, что у меня не в порядке печень, потому что недавно прочитал проспект, рекламирующий патентованные пилюли от болезней печени, где описывались различные симптомы, по которым человек может узнать, что печень у него не в порядке. У меня были все эти симптомы.

Это поразительно, но всякий раз, когда я читаю объявление о каком-нибудь патентованном лекарстве, мне приходится сделать вывод, что я страдаю именно той болезнью, о которой в нем говорится, и притом в наиболее злокачественной форме. Диагноз в каждом случае точно совпадает со всеми моими ощущениями.

Помню, я однажды отправился в Британский музей почитать о способах лечения какой-то пустяковой болезни,

которой я захворал, — кажется, это была сенная лихорадка. Я выписал нужную книгу и прочитал все, что мне требовалось; потом, задумавшись, я машинально перевернул несколько страниц и начал изучать всевозможные недуги. Я забыл, как называлась первая болезнь, на которую я наткнулся — какой-то ужасный бич, насколько помню, — но не успел я и наполовину просмотреть список предварительных симптомов, как у меня возникло убеждение, что я схватил эту болезнь.

Я просидел некоторое время, застыв от ужаса, потом с равнодушием отчаяния снова стал перелистывать страницы. Я дошел до брюшного тифа, прочитал симптомы и обнаружил, что я болен брюшным тифом — болен уже несколько месяцев, сам того не ведая. Мне захотелось узнать, чем я еще болен. Я прочитал о пляске святого Вигта и узнал, как и следовало ожидать, что болен этой болезнью. Заинтересовавшись своим состоянием, я решил исследовать его основательно и стал читать в алфавитном порядке. Я прочитал про атаксию и узнал, что недавно заболел ею и что острый период наступит недели через две. Брайтовой болезнью я страдал, к счастью, в легкой форме и, следовательно, мог еще прожить многие годы. У меня был дифтерит с серьезными осложнениями, а холерой я, по-видимому, болен с раннего детства.

Я добросовестно проработал все двадцать шесть букв алфавита и убедился, что единственная болезнь, которой у меня нет, — это воспаление коленной чашечки.

Сначала я немного огорчился — это показалось мне незаслуженной обидой. Почему у меня нет воспаления коленной чашечки? Чем объяснить такую несправедливость? Но вскоре менее хищные чувства взяли верх. Я подумал о том, что у меня есть все другие болезни, известные в медицине, стал менее жадным и решил обойтись без воспаления коленной чашечки. Подагра в самой зловредной форме поразила меня без моего ведома, а общим предрасположением к инфекции я, по-видимому, страдал с отроческих лет. Это была последняя болезнь в лечебнике, и я решил, что все остальное у меня в порядке.

Я сидел и размышлял. Я думал о том, какой интерес я представляю с медицинской точки зрения, каким приобретением я был бы для аудитории. Студентам не было бы нуж-

ды «обходить клиники». Я один представлял собой целую клинику. Им достаточно было бы обойти вокруг меня и затем получить свои дипломы.

Потом я решил узнать, долго ли я проживу. Я попробовал себя обследовать. Я пощупал свой пульс. Сначала я совсем не мог найти пульса. Потом внезапно он начал биться. Я вынул часы и стал считать. Я насчитал сто сорок семь ударов в минуту. Я попытался найти свое сердце. Я не мог найти у себя сердца. Оно перестало биться. Теперь-то я полагаю, что оно все время оставалось на своем месте и билось, но объяснить, в чем дело, я не могу. Я похлопал себя спереди, начиная с того, что я называю талией, до головы и немного захватил бока и часть спины, но ничего не услышал и не почувствовал. Я попробовал показать себе язык. Я высунул его как можно дальше и зажмурил один глаз, чтобы глядеть на него другим. Я увидел лишь самый кончик языка, и единственное, что это мне дало, была еще большая уверенность, что у меня скарлатина.

Счастливым, здоровым человеком вошел я в эту читальню, а вышел из нее разбитым инвалидом.

Я отправился к своему врачу. Это мой старый товарищ, и когда мне кажется, что я болен, он щупает мне пульс, смотрит мой язык и разговаривает со мной о погоде — все, конечно, даром. Я решил, что сделаю доброе дело, если пойду к нему сейчас. «Все, что нужно врачу, — подумал я, — это иметь практику. Он будет иметь меня. Он получит от меня больше практики, чем от тысячи семисот обычных больных с одной или двумя болезнями».

Итак, я прямо направился к нему. Он спросил:

— Ну, чем же ты болен?

Я ответил:

— Я не стану отнимать у тебя время, милый мой, рассказывая о том, чем я болен. Жизнь коротка, и ты можешь умереть раньше, чем я кончу. Но я скажу тебе, чем я не болен. У меня нет воспаления коленной чашечки. Почему у меня нет воспаления коленной чашечки, я сказать не могу, но факт остается фактом — этой болезни у меня нет. Зато все остальные болезни у меня есть.

И я рассказал ему, как мне удалось это обнаружить. Тогда он расстегнул меня и осмотрел сверху донизу, потом взял меня за руку и ударил в грудь, когда я меньше всего

этого ожидал — довольно-таки подлая выходка, по моему мнению, — и вдобавок боднул меня головой. Затем он сел, написал рецепт, сложил его и отдал мне. Я положил рецепт в карман и ушел.

Я не развертывал рецепта. Я отнес его в ближайшую аптеку и подал. Аптекарь прочитал рецепт и отдал мне его обратно. Он сказал, что не держит таких вещей.

Я сказал:

— Вы аптекарь?

Он сказал:

— Я аптекарь. Если бы я совмещал в себе универсальный магазин и семейный пансион, то мог бы услужить вам. Но, будучи всего лишь аптекарем, я в затруднении.

Я прочитал рецепт. Он гласил:

*«1-фунтовый бифштекс и 1 пинта горького пива
каждые 6 часов.*

1 десятимильная прогулка ежедневно по утрам.

1 кровать ровно в 11 ч. вечера.

И не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь».

Я последовал этим указаниям с тем счастливым результатом — если говорить за себя, — что моя жизнь была спасена и я до сих пор жив.

Теперь же, возвращаясь к проспекту о пилюлях, у меня, несомненно, были все симптомы болезни печени, главный из которых — «общее нерасположение ко всякого рода труду».

Сколько я перестрадал в этом смысле — не расскажешь словами! С самого раннего детства я был мучеником. В отроческом возрасте эта болезнь не покидала меня ни на один день. Никто не знал тогда, что все дело в печени. Медицинской науке многое в то время было еще неизвестно, и мой недуг приписывали лени.

— Эй ты, чертенок, — говорили мне, — встань и займись чем-нибудь, что ли!

Никто, конечно, не знал, что я нездоров.

Мне не давали пилюль, мне давали подзатыльники. И, как это ни покажется странным, эти подзатыльники часто излечивали меня на время. Я знаю, что один подзатыльник лучше действовал на мою печень и сильнее побуждал

меня сразу же, не теряя времени, встать и сделать то, что нужно, чем целая коробка пилюль. Так часто бывает: простые старомодные средства сплошь и рядом оказываются более действенными, чем целый аптекарский арсенал.

Мы просидели с полчаса, описывая друг другу свои болезни. Я объяснил Джорджу и Уильяму Гаррису, как я себя чувствую, когда встаю по утрам, а Уильям Гаррис рассказал, как он себя чувствует, когда ложится спать. Джордж, стоя на каминном коврике, дал нам ясное, наглядное и убедительное представление о том, как он чувствует себя ночью.

Джордж воображает, что он болен. На самом деле у него всегда все в порядке.

В это время постучалась миссис Попетс, чтоб узнать, не расположены ли мы поужинать. Мы обменялись грустными улыбками и сказали, что нам, пожалуй, следовало бы попробовать съесть что-нибудь. Гаррис сказал, что некоторое количество пищи в желудке часто предохраняет от болезни. Миссис Попетс внесла поднос, мы подсади к столу и скушали по кусочку бифштекса с луком и пирога с ревенем.

Я, вероятно, был очень слаб в то время, так как примерно через полчаса потерял всякий интерес к еде — вещь для меня необычная — и отказался от сыра.

Исполнив эту обязанность, мы снова наполнили стаканы, набили трубки и возобновили разговор о состоянии нашего здоровья. Никто из нас не знал наверное, что с ним, но общее мнение сводилось к тому, что наша болезнь, как ее ни называй, объясняется переутомлением.

— Все, что нам нужно, — это отдых, — заявил Гаррис.

— Отдых и полная перемена обстановки, — сказал Джордж. — Перенапряжение мозга вызвало общее ослабление нервной системы. Перемена среды и отсутствие необходимости думать восстановят умственное равновесие.

У Джорджа есть двоюродный брат, который обычно значится в полицейских протоколах студентом-медиком. Поэтому Джордж всегда выражается, как домашний врач.

Я согласился с Джорджем и предложил отыскать где-нибудь уединенное старосветское местечко, вдали от шумной толпы, и помечтать с неделку в его сонной тишине. Какой-нибудь забытый уголок, спрятанный феями от глаз суетного света, гнездо орлиное, что внесено на времени утес, куда еле доносится шум бурных волн девятнадцатого века.

Гаррис сказал, что, по его мнению, там будет страшная скука. Он знает эти места, где все ложатся спать в восемь часов вечера; спортивной газеты там не достанешь ни за какие деньги, а чтобы раздобыть табачку, надо пройти десять миль.

— Нет, — заявил он, — если вы хотите отдыха и перемены, ничто не сравнится с прогулкой по морю.

Я энергично восстал против морской прогулки. Путешествие по морю приносит пользу, если длится месяца два, но одна неделя — это сплошное зло.

Вы выезжаете в понедельник с твердым намерением доставить себе удовольствие. Вы весело машете рукой друзьям, оставшимся на берегу, закуриваете самую длинную свою трубку и гордо разгуливаете по палубе с таким видом, словно вы капитан Кук, сэр Фрэнсис Дрейк и Христофор Колумб в одном лице. Во вторник вы начинаете жалеть, что поехали. В среду, четверг и пятницу вы жалеете, что родились на свет. В субботу вы уже в состоянии проглотить немного бульона, посидеть на палубе и с бледной, кроткой улыбкой отвечать на вопросы сердобольных людей о вашем самочувствии. В воскресенье вы снова начинаете ходить и принимать твердую пищу. А в понедельник утром, когда вы с чемоданом и с зонтиком в руке стоите у поручней, собираясь сойти на берег, поездка начинает вам по-настоящему нравиться.

Помню, мой зять однажды предпринял короткое путешествие по морю для поправления здоровья. Он взял билет от Лондона до Ливерпуля и обратно, а когда он приехал в Ливерпуль, его единственной заботой было продать свой билет.

Мне рассказывали, что он предлагал этот билет по всему городу с огромной скидкой и в конце концов продал его какому-то молодому человеку, больному желтухой, которому его врач только что посоветовал проехаться по морю и заняться гимнастикой.

— Море! — говорил мой зять, дружески всовывая билет в руку молодого человека. — Вы получите его столько, что вам хватит на всю жизнь. А что касается гимнастики, то сядьте на это судно, и у вас будет ее больше, чем если бы вы непрерывно кувыркались на суше.

Сам он вернулся обратно поездом. Он говорил, что Северо-Западная железная дорога достаточно полезна для его здоровья.

Другой мой знакомый отправился в недельное путешествие вдоль побережья. Перед отплытием к нему подошел буфетчик и спросил, будет ли он расплачиваться за каждый обед отдельно или же уплатит вперед за все время. Буфетчик рекомендовал ему последнее, так как это обойдется значительно дешевле. Он сказал, что посчитает с него за неделю два фунта пять шиллингов. По утрам подается рыба и жареное мясо; завтрак бывает в час и состоит из четырех блюд; в шесть — закуска, суп, рыба, жаркое, птица, салат, сладкое, сыр и десерт; в десять часов — легкий мясной ужин.

Мой друг решил остановиться на двух фунтах пяти шиллингах (он большой любитель поесть).

Второй завтрак подали, когда пароход проходил мимо Ширнесса. Мой приятель не чувствовал особого голода и потому довольствовался куском вареной говядины и земляникой со сливками. Днем он много размышлял, и иногда ему казалось, что он несколько недель не ел ничего, кроме вареной говядины, а иногда — что он годами жил на одной землянике со сливками.

И говядина, и земляника со сливками тоже чувствовали себя неважно.

В шесть часов ему доложили, что обед подан. Это сообщение не вызвало у моего приятеля никакого энтузиазма, но он решил, что надо же отработать часть этих двух фунтов и пяти шиллингов, и, хватаясь за канаты и другие предметы, спустился вниз. Приятный аромат лука и горячего окорока, смешанный с благоуханием жареной рыбы и овощей, встретил его у подножия лестницы. Буфетчик, масляно улыбаясь, подошел к нему и спросил:

— Что прикажете принести, сэр?

— Унесите меня отсюда, — последовал еле слышный ответ.

И его быстро подняли наверх, уложили с подветренной стороны и оставили одного.

Последующие четыре дня мой знакомый вел жизнь скромную и безупречную, питаясь только сухариками и содовой водой. К субботе он, однако, возомнил о себе и отважился на слабый чай и поджаренный хлеб, а в понедельник

уже наливался куриным бульоном. Он сошел на берег во вторник, и когда пароход отвалил от пристани, проводил его грустным взглядом.

— Вот он плывет, — сказал он. — Плывет и увозит на два фунта стерлингов пищи, которая принадлежит мне и которую я не съел.

Он говорил, что, если бы ему дали еще один день, он, пожалуй, мог бы поправить это дело.

Поэтому я восстал против морского путешествия. Не из-за себя, как я тут же объяснил. Меня никогда не укачивает. Но я боялся за Джорджа. Джордж сказал, что с ним все будет в порядке и морское путешествие ему даже нравится, но он советует мне и Гаррису не помышлять об этом, так как уверен, что мы оба заболеем. Гаррис сказал, что для него всегда было тайной, как это люди ухитряются страдать морской болезнью, — наверное, они делают это нарочно, просто прикидываются. Ему часто хотелось заболеть, но так ни разу и не удалось.

Потом он рассказал нам несколько случаев, когда он переплывал Ла-Манш в такую бурю, что пассажиров приходилось привязывать к койкам. Гаррис с капитаном были единственными на пароходе, кто не болел. Иногда здоровым оставался, кроме него, помощник капитана, но, в общем, всегда был здоров только Гаррис и еще кто-нибудь. А если не Гаррис и кто-нибудь другой, то один Гаррис.

Любопытная вещь — никто никогда не страдает морской болезнью на суше. В море вы видите множество больных людей — полные пароходы, но на суше мне еще не встречался ни один человек, который бы вообще знал, что такое морская болезнь. Куда скрываются, попадая на берег, тысячи не выносящих качки людей, которыми кишит каждое судно, — это для меня тайна.

Будь все люди похожи на того парня, которого я однажды видел на пароходе, шедшем в Ярмут, эту загадку было бы довольно легко объяснить. Помню, судно только что отошло от Саусэндского мола, и он стоял, высунувшись в иллюминатор, в очень опасной позе. Я подошел к нему, чтобы попытаться его спасти, и сказал, тряся его за плечо:

— Эй, осадите назад! Вы свалитесь за борт!

— Я только этого и хочу! — раздалось в ответ. Больше я ничего не мог от него добиться, и мне пришлось оставить его в покое.

Три недели спустя я встретил его в кафе одного отеля в Бате, он рассказывал о своих путешествиях и с воодушевлением говорил о том, как он любит море.

— Не укачивало? — воскликнул он, отвечая на полный зависти вопрос какого-то кроткого молодого человека. — Должен признаться, один раз меня немного мутило. Это было у мыса Горн. На следующее утро корабль потерпел крушение.

Я сказал:

— Не вы ли однажды немного заболели у Саусэндского мола и мечтали о том, чтобы вас выбросило за борт?

— Саусэндский мол? — повторил он с изумленным видом.

— Да, на пути в Ярмут, три недели назад, в пятницу.

— Ах, да, да, — просиял он, — теперь вспоминаю. В тот день у меня болела голова. Это от пикулей, знаете. Самые паскудные пикули, какие мне приходилось есть на таком в общем приличном пароходе. А вы их пробовали?

Что касается меня, то я нашел превосходное предохранительное средство против морской болезни. Вы становитесь в центре палубы и, как только судно начинает качать, тоже раскачиваетесь, чтобы сохранить равновесие. Когда поднимается нос парохода, вы наклоняетесь вперед и почти касаетесь собственным носом палубы, а когда поднимается корма, вы откидываетесь назад. Все это прекрасно на час или на два, но нельзя же качаться взад и вперед неделю!

Джордж сказал:

— Поедем вверх по реке.

Он пояснил, что у нас будет и свежий воздух, и моцион, и покой. Постоянная смена ландшафта займет наши мысли (включая и те, что найдутся в голове у Гарриса), а усиленная физическая работа вызовет аппетит и хороший сон.

Гаррис сказал, что, по его мнению, Джорджу не следует делать ничего такого, что укрепляло бы его склонность ко сну, так как это было бы опасно. Он сказал, что не совсем понимает, как это Джордж будет спать еще больше, чем теперь, ведь сутки всегда состоят из двадцати четырех часов, независимо от времени года. Если бы Джордж действитель-

но спал еще больше, он с равным успехом мог бы умереть и сэкононить таким образом деньги на квартиру и стол.

Гаррис добавил, однако, что река удовлетворила бы его «на все сто». Я не знаю, какие это «сто», но они, видимо, всех удовлетворяют, что служит им хорошей рекомендацией.

Меня река тоже удовлетворяла «на все сто», и мы с Гаррисом оба сказали, что Джорджу пришла хорошая мысль. Мы сказали это с таким выражением, что могло показаться, будто мы удивлены, как это Джордж оказался таким умным.

Единственный, кто не пришел в восторг от его предложения, — это Монморенси. Он никогда не любил реки, наш Монморенси.

— Это все прекрасно для вас, друзья, — говорил он. — Вам это нравится, а мне нет. Мне там нечего делать. Виды — это не по моей части, а курить я не курю. Если я увижу крысу, вы все равно не остановитесь, а если я засну, вы, чего доброго, начнете дурачиться на лодке и плюхнете меня за борт. Спросите меня, и я скажу, что вся эта затея — сплошная глупость.

Однако нас было трое против одного, и предложение было принято.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Обсуждение плана. — Прелести ночевки под открытым небом в хорошую погоду. — То же — в дурную погоду. — Принимается компромиссное решение. — Первые впечатления от Монморенси. — Не слишком ли он хорош для этого мира? — Опасения отброшены как необоснованные. — Заседание откладывается.

Мы вытащили карты и наметили план.

Было решено, что мы тронемся в следующую субботу от Кингстона. Я отправлюсь туда с Гаррисом утром, и мы поднимем лодку вверх до Чертси, а Джордж, который может выбраться из Сити только после обеда (Джордж спит в каком-то банке от десяти до четырех каждый день, кроме субботы, когда его будят и выставляют оттуда в два), встретится с нами там.

Где мы будем ночевать — под открытым небом или в гостиницах?

Я и Джордж стояли за то, чтобы ночевать на воздухе. Это будет, говорили мы, так привольно, так патриархально...

Золотое воспоминание об умершем солнце медленно блекнет в сердце холодных, печальных облаков. Умолкнув, как загрустившие дети, птицы перестали петь, и только жалобы болотной курочки и резкий крик коростеля нарушают благоговейную тишину над пеленою вод, где умирающий день испускает последнее дыхание.

Из потемневшего леса, подступившего к реке, неслышно ползут призрачные полчища ночи — серые тени. Разогнав последние отряды дня, они бесшумной, невидимой поступью проходят по колышущейся осоке и вздыхающему камышу. Ночь на мрачном своем престоле окутывает черными крыльями погружающийся во мрак мир и безмолвно царит в своем призрачном дворце, освещенном бледными звездами.

Мы укрыли нашу лодку в тихой бухточке, поставили палатку, сварили скромный ужин и поели. Вспыхивают огоньки в длинных трубках, звучит негромкая веселая болтовня. Когда разговор прерывается, слышно, как река, плескаясь вокруг лодки, рассказывает диковинные старые сказки, напевает детскую песенку, которую она поет уже тысячи лет и будет петь, пока ее голос не станет дряхлым и хриплым. Нам, которые научились любить ее изменчивый лик, которые так часто искали приюта на ее волнуемой груди, — нам кажется, что мы понимаем ее, хотя и не могли бы рассказать словами повесть, которую слушаем.

И вот мы сидим у реки, а месяц, который тоже ее любит, склоняется, чтобы приложиться к ней братским лобзанием, и окутывает ее нежными серебристыми объятиями; мы смотрим, как струятся ее воды и все поют, все шепчут, устремляясь к владыке своему — морю; наконец голоса наши замирают, трубки гаснут, и нас, обыкновенных, достаточно пошлых молодых людей, переполняют мысли печальные и милые, и нет у нас больше охоты говорить.

И наконец, рассмеявшись, мы поднимаемся, выколачиваем погасшие трубки и со словами «спокойной ночи» засыпаем под большими тихими звездами, убаюканные плеском воды и шелестом деревьев, и нам грезится, что мир снова молод, молод и прекрасен, как была прекрасна земля до того, как столетия смут и волнений избороздили морщинами ее лицо, а грехи и безумства ее детей состарили ее

любящее сердце, — прекрасна, как в былые дни, когда, словно молодая мать, она баюкала нас, своих сыновей, на широкой груди, пока коварная цивилизация не выманила нас из ее любящих объятий и ядовитые насмешки искусственности не заставили нас устыдиться простой жизни, которую мы вели с нею, и простого величавого обиталища, где столько тысячелетий назад родилось человечество.

Гаррис спросил:

— А как быть, если пойдет дождь?

Гарриса ничем не проймешь. В Гаррисе нет ничего поэтического, нет безудержного порыва к недостижимому. Гаррис никогда не плачет, «сам не зная почему». Если глаза Гарриса наполняются слезами, можно биться об заклад, что он наелся сырого луку или намазал на котлету слишком много горчицы. Если бы вы очутились с Гаррисом ночью на берегу моря и сказали ему: «Чу! Слышишь? Это, наверное, русалки поют в морской глубине или печальные духи читают псалмы над бледными утопленниками, запутавшимися в цепких водорослях», Гаррис взял бы вас за локоть и сказал бы: «Я знаю, что с тобой такое, старина. Ты простудился. Идем-ка лучше со мной. Я нашел здесь за углом одно местечко, где можно выпить такого шотландского виски, какого ты еще не пробовал. Оно мигом приведет тебя в чувство».

Гаррис всегда знает местечко за углом, где можно получить что-нибудь замечательное в смысле выпивки. Я думаю, что, если бы Гаррис встретился вам в раю (допустим на минуту такую возможность), он бы приветствовал вас словами:

— Очень рад, что вы здесь, старина! Я нашел за углом хорошее местечко, где можно достать первосортный нектар.

Но в данном случае, в отношении ночевки под открытым небом, его практический взгляд на вещи послужил нам весьма своевременным предупреждением. Ночевать на воздухе в дождливую погоду неприятно.

Вечер. Вы промокли насквозь, в лодке добрых два дюйма воды, и все вещи отсырели. Вы находите на берегу место, где как будто поменьше луж, выволакиваете палатку на сушу и вдвоем с кем-нибудь начинаете ее устанавливать.

Палатка вся пропиталась водой и стала очень тяжелой. Она хлопает краями и валится на вас или обвивается вокруг вашей головы и приводит вас в бешенство. А дождь

льет не переставая. Палатку достаточно трудно укрепить и в сухую погоду, но когда идет дождь, эта задача по плечу одному Геркулесу. Вам кажется, что ваш товарищ, вместо того чтобы помогать, просто валяет дурака. Только вам удалось замечательно укрепить свою сторону, как он дергает за свой конец, и все идет насмарку.

— Эй, что ты там делаешь? — спрашиваете вы.

— А ты что делаешь? — отвечает он. — Пусты же!

Вы кричите:

— Не тяни, это ты все испортил, глупый осел!

— Нет, не я! — орет он в ответ. — Отпусти свой конец!

— Говорю тебе, ты все запутал! — кричите вы, жалея, что не можете до него добраться, и с такой силой дергаете за веревки, что с его стороны вылетают все колышки.

— Что за идиот! — слышится шепот. После этого следует отчаянный рывок — и ваша сторона падает.

Вы бросаете молоток и идете в обход палатки к вашему товарищу, чтобы высказать ему все, что вы об этом думаете. В это время он тоже пускается в путь в том же направлении, чтобы изложить вам свою точку зрения. И вы ходите кругом друг за другом и переругиваетесь, пока палатка не падает бесформенной кучей, а вы стоите над ее развалинами, глядя друг на друга, и в один голос негодуяще восклицаете:

— Ну вот! Что я тебе говорил!

Между тем третий ваш товарищ, который, вычерпывая из лодки воду, налил себе в рукав и уже десять минут без передышки сылет проклятиями, спрашивает, какую вы там, черт побери, затеяли игру и отчего эта паскудная палатка до сих пор не стоит как следует.

Наконец она с грехом пополам установлена, и вы начинаете переносить вещи. Пытаться развести костер бесполезно. Вы зажигаете спиртовку и располагаетесь вокруг нее. Основной предмет питания на ужин — дождевая вода. Хлеб состоит из воды на две трети, пирог с мясом чрезвычайно богат водой, варенье, масло, соль, кофе — все соединилось с нею, чтобы превратиться в похлебку.

После ужина выясняется, что табак отсырел и курить нельзя. К счастью, у вас имеется бутылка с веществом, которое, будучи принято в должном количестве, опьяняет и ве-

селит, и вы снова начинаете достаточно интересоваться жизнью, чтобы улечься спать.

И вот вам снится, что на вас сел слон и что извержение вулкана бросило вас на дно моря вместе со слонем, который спокойно спит у вас на груди. Вы просыпаетесь и приходите к убеждению, что действительно случилось что-то ужасное. Прежде всего вам кажется, что пришел конец света, но потом вы решаете, что это невозможно и что на палатку напали воры или убийцы или, может быть, случился пожар. Вы выражаете эту мысль обычным способом, но помощь не приходит, и вы чувствуете, что вас пинают ногами тысячи людей и что вас душат. Кто-то другой, кроме вас, тоже, кажется, попал в беду. Из-под кровати доносятся его слабые крики. Решив дорого продать свою жизнь, вы начинаете отчаянно бороться, раздавая во все стороны удары ногами и руками и непрерывно испуская дикие вопли. Наконец что-то подается, и ваша голова оказывается на свежем воздухе. В двух футах от себя вы смутно различаете какого-то полуодетого негодяя, готового вас убить, и намереваетесь завязать с ним борьбу не на жизнь, а на смерть, как вдруг вам становится очевидно, что это Джим.

— Ах, это ты, — говорит он, узнавая вас в ту же самую минуту.

— Да, — говорите вы, протирая глаза. — Что случилось?

— Проклятую палатку, кажется, сдуло, — отвечает Джим.

— Где Билл?

Вы оба кричите: «Билл!» — и почва под вами ходит ходуном, а заглушенный голос, который вы уже слышали, отвечает из-под развалин:

— Слезьте с моей головы, черти!

И Билл выбирается на поверхность — грязный, истоптанный, жалкий, измученный и чересчур воинственно настроенный. По-видимому, он твердо убежден, что вся эта шутка подстроена нарочно.

Утром вы все трое без голоса, так как ночью схватили сильную простуду. К тому же вы стали очень раздражительны и в продолжение всего завтрака переругиваетесь хриплым шепотом.

Итак, мы решили, что будем спать под открытым небом только в хорошую погоду, а в дождливые дни или про-

сто для разнообразия станем ночевать в гостиницах, трактирах и постоялых дворах, как порядочные люди.

Монморенси отнесся к этому компромиссу весьма одобрительно. Романтика одиночества его не прельщает. Ему нужно что-нибудь шумное, а если развлечение чуточку грубовато, что ж, тем веселей. Посмотрите на Монморенси — и вам покажется, что это ангел, по каким-то причинам, скрытым от человечества, посланный на землю в образе маленького фокстерьера. Монморенси глядит на вас с таким выражением, словно хочет сказать: «О, как испорчен этот мир и как бы я желал сделать его лучше и благороднее»; вид его вызывает слезы на глазах набожных старых дам и джентльменов.

Когда Монморенси перешел на мое иждивение, я никак не думал, что мне удастся надолго сохранить его у себя. Я сидел, смотрел на него (а он, сидя на коврике у камина, смотрел на меня) и думал: эта собака долго не проживет. Ее вознесут в колеснице на небо — вот что с ней произойдет. Но когда я заплатил за дюжину растерзанных Монморенси цыплят; когда он, рыча и брыкаясь, был вытащен мною за шиворот из сто четырнадцатой уличной драки; когда мне предъявили для осмотра дохлую кошку, принесенную разгневанной особой женского пола, которая обозвала меня убийцей; когда мой сосед подал на меня в суд за то, что я держу на свободе свирепого пса, из-за которого он больше двух часов просидел, как пришпиленный, в холодную ночь в своем собственном сарае, не смея высунуть нос за дверь; когда, наконец, я узнал, что мой садовник выиграл тридцать шиллингов, угадывая, сколько крыс Монморенси убьет в определенный промежуток времени, — я подумал, что его, может быть, и оставят еще немного пожить на этом свете.

Слоняться возле коңюшен, собрать кучу самых отпетых собак, какие только есть в городе, и шествовать во главе их к трушобам, готовясь к бою с другими отпетыми собаками, — вот что Монморенси называет «жизнью». Поэтому, как я уже сказал, упоминание о гостиницах, трактирах и постоялых дворах вызвало у него живейшее одобрение.

Когда вопрос о ночевках был, таким образом, решен ко всеобщему удовольствию, оставалось обсудить лишь одно: что именно нам следует взять с собой. Мы начали было рас-

суждать об этом, но Гаррис заявил, что с него хватит разговоров на один вечер, и предложил пойти промочить горло. Он сказал, что нашел неподалеку от площади одно место, где можно получить глоток стоящего ирландского виски.

Джордж заявил, что чувствует жажду (я не знаю случая, когда бы он ее не чувствовал), и так как у меня тоже было ощущение, что некоторое количество виски — теплого, с кусочком лимона — принесет мне пользу, дебаты были с общего согласия отложены до следующего вечера, члены собрания надели шляпы и вышли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

План уточняется. — Метод работы Гарриса. — Пожилой отец семейства вешает картину. — Джордж делает разумное замечание. — Прелести утреннего купанья. — Запасы на случай аварии.

Итак, на следующий день вечером мы снова встретились, чтобы обо всем договориться и обсудить наши планы. Гаррис сказал:

— Во-первых, нужно решить, что нам брать с собой. Возьми-ка кусок бумаги, Джей, и записывай. А ты, Джордж, достань прейскурант бакалейной лавки. Пусть кто-нибудь даст мне карандаш, и я составлю список.

В этом сказался весь Гаррис: он так охотно берет на себя всю тяжесть работы и перекладывает ее на плечи других.

Он напоминает мне моего бедного дядю Поджера. Вам в жизни не приходилось видеть в доме такой суматохи, как когда дядя Поджер брался сделать какое-нибудь полезное дело. Положим, от рамочника привезли картину и поставили в столовую в ожидании, пока ее повесят.

Тетя Поджер спрашивает, что с ней делать. Дядя Поджер говорит:

— Предоставьте это мне. Пусть никто из вас об этом не беспокоится. Я все сделаю сам.

Потом он снимает пиджак и принимается за работу. Он посылает горничную купить гвоздей на шесть пенсов и шлет ей вдогонку одного из мальчиков, чтобы сказать ей,

какой взять размер. Начиная с этой минуты он постепенно запрягает в работу весь дом.

— Принеси-ка мне молоток, Уилл! — кричит он. — А ты, Том, подай линейку. Мне понадобится стремянка, и табуретку, пожалуй, тоже захватите. Джин, сбегай-ка к мистеру Гогглсу и скажи ему: «Папа вам кланяется и надеется, что нога у вас лучше, и просит вас одолжить ваш ватерпас». А ты, Мария, никуда не уходи: мне будет нужен кто-нибудь, чтобы подержать свечку. Когда горничная воротится, ей придется выйти еще раз и купить бечевки. Том! Где Том? Пойди сюда, ты мне понадобишься, чтобы подать мне картину.

Он поднимает картину и роняет ее. Картина вылетает из рамы, дядя Поджер хочет спасти стекло, и стекло врезается ему в руку. Он бегает по комнате и ищет свой носовой платок. Он не может найти его, так как платок лежит в кармане пиджака, который он снял, а он не помнит, куда дел пиджак. Домочадцы перестают искать инструменты и начинают искать пиджак; дядя Поджер мечется по комнате и всем мешает.

— Неужели никто во всем доме не знает, где мой пиджак? Честное слово, я никогда еще не встречал таких людей! Вас шесть человек, и вы не можете найти пиджак, который я снял пять минут тому назад. Эх вы!

Тут он поднимается и видит, что все время сидел на своем пиджаке.

— Можете больше не искать! — кричит он. — Я уже нашел его. Рассчитывать на то, что вы что-нибудь найдете, — все равно что просить об этом кошку.

Ему перевязывают палец, достают другое стекло и приносят инструменты, стремянку, табуретку и свечу. На это уходит полчаса, после чего дядя Поджер снова берется за дело. Все семейство, включая горничную и поденщицу, становится полукругом, готовое прийти на помощь. Двое держат табуретку, третий помогает дяде Поджеру взлезть и поддерживает его, четвертый подает гвоздь, пятый — молоток. Дядя Поджер берет гвоздь и роняет его.

— Ну вот, — говорит он обиженно, — теперь гвоздь упал.

И всем нам приходится ползать на коленях и разыскивать гвоздь. А дядя Поджер стоит на табуретке, ворчит и спрашивает, не придется ли ему торчать там весь вечер.

Наконец гвоздь найден, но тем временем дядя Поджер потерял молоток.

— Где молоток? Куда я девал молоток? Великий Боже! Вы все стоите и глазеее на меня и не можете сказать, куда я положил молоток!

Мы находим ему молоток, а он успевает потерять заметку, которую сделал на стене в том месте, куда нужно вбить гвоздь. Он заставляет нас всех по очереди взлезать к нему на табуретку и искать ее. Каждый видит эту отметку в другом месте, и дядя Поджер обзывает нас одного за другим дураками и приказывает нам слезть. Он берет линейку и мерит снова. Оказывается, что ему необходимо разделить тридцать один и три восьмых дюйма пополам. Он пробует сделать это в уме и приходит в неистовство. Мы тоже пробуем сделать это в уме, и у всех получается разный результат. Мы начинаем издеваться друг над другом и в пылу ссоры забываем первоначальное число, так что дяде Поджеру приходится мерить еще раз.

Теперь он пускает в дело веревочку; в критический момент, когда старый чудаκ наклоняется на табуретке под углом в сорок пять градусов и пытается отметить точку, находящуюся на три дюйма дальше, чем он может достать, веревочка выскальзывает у него из рук, и он падает прямо на рояль. Внезапность, с которой он прикасается головой и всем телом к клавишам, создает поистине замечательный музыкальный эффект.

Тетя Мария говорит, что она не может позволить детям стоять здесь и слушать такие выражения.

Наконец дядя Поджер находит подходящее место и приставляет к нему гвоздь левой рукой, держа молоток в правой. Первым же ударом он попадает себе по большому пальцу и с воплем роняет молоток прямо кому-то на ногу. Тетя Мария кротко выражает надежду, что когда дяде Поджеру опять захочется вбить в стену гвоздь, он заранее предупредит ее, чтобы она могла поехать на недельку к матери, пока он будет этим заниматься.

— Вы, женщины, всегда поднимаете из-за всего шум, — бодро говорит дядя Поджер. — А я так люблю поработать.

Потом он предпринимает новую попытку и вторым ударом вгоняет весь гвоздь и половину молотка в штукатурку.

Самого дядю Поджера стремительно бросает к стене, и он чуть не расплющивает себе нос.

Затем нам приходится снова отыскивать веревочку и линейку, и пробивается еще одна дырка. Около полуночи картина наконец повешена — очень криво и ненадежно, и стена на много ярдов вокруг выглядит так, словно по ней прошились граблями. Мы все выбились из сил и злимся — все, кроме дяди Поджера.

— Ну, вот видите! — говорит он, тяжело спрыгивая с табуретки прямо на мозоли поденщице и с явной гордостью любуясь на произведенный им беспорядок. — А ведь некоторые люди пригласили бы для такой мелочи специального человека.

Я знаю — Гаррис будет таким же, когда вырастет. Я сказал ему это и заявил, что не могу позволить, чтобы он взял на себя столько работы.

— Нет, — сказал я, — ты принесешь бумагу и карандаш, Джордж будет записывать, а я сделаю остальное.

Первый наш список пришлось аннулировать. Было ясно, что в верхнем течении Темзы нельзя проплыть на лодке, достаточно большой, чтобы вместить все то, что мы считали необходимым. Мы разорвали список и молча переглянулись. Джордж сказал:

— Мы на совершенно ложном пути. Нам следует думать не о тех вещах, которыми мы как-нибудь обойдемся, но о тех, без которых нам никак не обойтись.

Джордж, оказывается, может иногда быть разумным. Это даже удивительно. Я бы сказал, что в его словах заключается подлинная мудрость, приложимая не только к настоящему случаю, но и ко всей нашей прогулке по реке жизни вообще. Сколь многие, рискуя затопить свой корабль, нагружают его всякими вещами, которые кажутся им необходимыми для удовольствия и комфорта в пути, а на самом деле являются бесполезным хламом.

Как они загромождают свое утлое суденышко по самые мачты дорогими платьями и огромными домами, бесполезными слугами и множеством светских друзей, которые ни во что их не ставят и которых сами они не ценят, дорогостоящими увеселениями, которые никого не веселят, условностями и модами, притворством и тщеславием и — самый грузный и нелепый хлам — страхом, как бы сосед чего не

подумал; роскошью, приводящей к пресыщению, удовольствиями, которые через день надоедают, бессмысленной пышностью, которая, как во дни оны железный венец преступников, заливая кровью наболевший лоб и доводит до обморока того, кто его носит!

Хлам, все хлам! Выбросьте его за борт! Это из-за него так тяжело вести лодку, что гребцы вот-вот свалятся за мертво. Это он делает судно таким громоздким и неустойчивым. Вы не знаете ни минуты отдыха от тревог и беспокойства, не имеете ни минуты досуга, чтобы отдаться мечтательному безделью, у вас нет времени полюбоваться игрой теней, скользящих по поверхности реки, солнечными бликами на воде, высокими деревьями на берегу, глядящими на собственное свое отражение, золотом и зеленью лесов, лилиями, белыми и желтыми, темным колышущимся тростником, осокой, ятрышником и синими незабудками.

Выбросьте этот хлам за борт! Пусть ваша жизненная ладья будет легка и несет лишь то, что необходимо: уютный дом, простые удовольствия, двух-трех друзей, достойных называться друзьями, того, кто вас любит и кого вы любите, кошку, собаку, несколько трубок, сколько нужно еды и одежды и немножко больше, чем нужно, напитков, ибо жажда — опасная вещь.

Вы увидите, что тогда лодка пойдет свободно и не так легко опрокинется, а если и опрокинется — неважно: простой, хороший товар не боится воды. У вас будет время не только поработать, но и подумать, будет время, чтобы упицаться солнцем жизни и слушать эолову музыку, которую божественный ветерок извлекает из струн нашего сердца, будет время...

Извините, пожалуйста! Я совсем забыл...

Итак, мы предоставили список Джорджу, и он принял ся за работу.

— Палатки мы не возьмем, — предложил Джордж. — У нас будет лодка с навесом. Это гораздо проще и к тому же удобней.

Мы нашли, что это хорошая мысль, и приняли ее. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь штуку, которую я имею в виду. По всей длине лодки укрепляют железные воротца, на них натягивают брезент и привязывают его со всех сторон от кормы до носа так, что лодка превращается в ма-

ленький домик. В нем очень уютно, хотя и душновато, но все ведь имеет свои теневые стороны, как сказал человек, у которого умерла теща, когда от него потребовали денег на похороны.

Джордж сказал, что в таком случае нам нужно взять каждому по пледу, одну лампу, головную щетку и гребень (на троих), зубную щетку (по одной на каждого), умывальную чашку, зубной порошок, бритвенные принадлежности (не правда ли, это похоже на упражнение из учебника французского языка?) и пару больших купальных полотенец. Я заметил, что люди всегда делают колоссальные приготовления к купанью, когда собираются ехать куда-нибудь поближе к воде, но не очень много купаются, приехав на место.

То же самое происходит, когда едешь на море. Обдумывая свои планы в Лондоне, я неизменно решаю, что буду рано вставать и окунаюсь перед завтраком, и благоговейно укладываю в чемодан трусы и купальное полотенце. Я всегда покупаю красные трусы. Я нравлюсь себе в красных трусах. Они очень идут к моему цвету лица...

Но, оказавшись на берегу моря, я почему-то не чувствую больше такой потребности в утреннем купанье, какую чувствовал в городе. Я испытываю скорее желание как можно дольше оставаться в постели, а потом сойти вниз и позавтракать. Однако один раз добродетель восторжествовала. Я встал в шесть часов, наполовину оделся и, захватив трусы и полотенце, меланхолически побрел к морю. Но купанье не доставило мне радости. Когда я рано утром иду купаться, мне кажется, что для меня нарочно приберегли какой-то особенно резкий восточный ветер, выкопали и положили сверху все треугольные камешки, заострили концы скал, а чтобы я не заметил, прикрыли их песком; море же увели на две мили, так что мне приходится, дрожа от холода и кутаясь в собственные руки, долго ковылять по глубине в шесть дюймов. А когда я добираюсь до моря, оно ведет себя грубо и совершенно оскорбительно.

Сначала большая волна приподнимает меня и елико возможно бесцеремоннее бросает в сидячем положении на скалу, которую поставили здесь специально для меня. Не успею я вскрикнуть «ух!» и сообразить, что случилось, как волна возвращается и уносит меня на середину океана. Я отчаянно бью руками, порываясь к берегу, спрашиваю себя,

увидю ли я еще родной дом и друзей, и сожалею, что в детстве так жестоко дразнил свою младшую сестру. Но в тот самый момент, когда я теряю всякую надежду, волна вдруг уходит, а я остаюсь распластанным на песке, точно медуза. Я поднимаюсь, оглядываюсь и вижу, что боролся за свою жизнь на глубине в два фута. Я ковьяляю назад, одеваюсь и иду домой, где мне приходится делать вид, что купанье мне понравилось.

В настоящем случае мы все рассуждали так, словно собирались каждое утро подолгу купаться. Джордж сказал, что очень приятно проснуться свежим утром на лодке и погрузиться в прозрачную реку. Гаррис сказал, что ничто так не возбуждает аппетита, как купанье перед завтраком. У него это всегда вызывает аппетит. Джордж заметил, что если Гаррис станет от купанья есть больше, чем обыкновенно, то он, Джордж, будет протестовать против того, чтобы Гаррис вообще лез в воду. Он сказал, что везти против течения количество пищи, необходимое для Гарриса, и так достаточно тяжелая работа.

Я доказывал Джорджу, что гораздо приятней будет иметь Гарриса в лодке чистым и свежим, даже если придется захватить на несколько центнеров больше провизии; Джордж принял мою точку зрения и взял обратно свой протест против купанья Гарриса.

Наконец мы уговорились захватить с собой не два, а три купальных полотенца, чтобы не заставлять друг друга ждать.

Что касается платья, то Джордж сказал, что двух фланелевых костюмов будет достаточно, так как мы сами можем стирать их в реке, когда они запачкаются. На наш вопрос, пробовал ли он когда-нибудь стирать в реке фланелевые костюмы, Джордж ответил:

— Нельзя сказать, чтобы я стирал их сам, но я знаю людей, которые стирали. Это не так уж и трудно.

Мы с Гаррисом были достаточно наивны, чтобы вообразить, что он знает, о чем говорит, и что три молодых человека, не пользующихся влиянием и положением в обществе и не имеющих опыта в стирке, действительно могут с помощью куска мыла вымыть свои рубашки и брюки в реке Темзе. В последующие дни, когда было уже поздно, нам пришлось убедиться, что Джордж — подлый обманщик, ко-

торый, видимо, и понятия не имел об этом деле. Если бы вы видели нашу одежду после... Но, как говорится в дешевых уголовных романах, мы забегаем вперед.

Джордж уговорил нас взять с собой смену нижнего белья и достаточное количество носков на тот случай, если мы опрокинемся и потребуется переодеться. А также побольше носовых платков, которые пригодятся, чтобы вытирать разные вещи, и кожаные башмаки вдобавок к резиновым туфлям, они нам понадобятся, если мы перевернемся.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Продовольственный вопрос. – Отрицательные свойства керосина. – Преимущества путешествия в компании с сыром. – Заблуждения женщины бросает свой дом. – Дальнейшие меры на случай аварии. – Я укладываюсь. – Зловредность зубных щеток. – Джордж и Гаррис укладываются. – Чудовищное поведение Монморенси. – Мы отходим ко сну.

Потом мы начали обсуждать продовольственный вопрос. Джордж сказал:

– Начнем с утреннего завтрака. (Джордж всегда так практичен!) Для утреннего завтрака нам понадобится сковорода (Гаррис сказал, что она плохо переваривается, но мы предложили ему не быть ослом, и Джордж продолжал), чайник и спиртовка. Ни капли керосина, – сказал Джордж многозначительно, и мы с Гаррисом согласились.

Один раз мы взяли с собой керосинку, но больше – никогда! Целую неделю мы как будто жили в керосиновой лавке. Керосин просачивался всюду. Я никогда не видел, чтобы что-нибудь так просачивалось, как керосин. Мы держали его на носу лодки, и оттуда он просочился до самого руля, пропитав лодку и все ее содержимое. Он растекся по всей реке, заполнил собой пейзаж и отравил воздух. Иногда керосиновый ветер дул с запада, иногда с востока, а иной раз это был северный керосиновый ветер или, может быть, южный, но, прилетал ли он из снежной Арктики, или зарождался в песках пустыни, он всегда достигал нас, насыщенный ароматом керосина.

Этот керосин просачивался все дальше и портил нам закат. Что же касается лучей луны, то от них просто разлило керосином.

Мы попытались уйти от него в Марло. Чтобы избавиться от керосина, мы оставили лодку у моста и пошли по городу пешком, но он неотступно следовал за нами. Весь город был полон керосина. Мы проходили по кладбищу, и нам казалось, что покойников закопали в керосин. Главная улица провоняла керосином; мы не могли понять, как на ней можно жить. Милую за милей проходили мы по Бирмингемской дороге, но бесполезно: вся местность пропиталась керосином.

В конце концов мы сошлись в полночь в безлюдном поле, под сожженным молнией дубом, и дали страшную клятву (мы уже и так целую неделю кляли керосин в обычном обывательском стиле, но теперь это было нечто грандиозное), — страшную клятву никогда больше не брать с собой в лодку керосин, разве только на случай болезни.

Итак, на этот раз мы ограничились спиртом. Это тоже достаточно плохо. Приходится есть спиртовой пирог и спиртовое печенье. Но спирт, принимаемый внутрь в больших количествах, полезнее, чем керосин.

Из прочих вещей Джордж предложил взять для первого завтрака яйца с ветчиной, которые легко приготовить, холодное мясо, чай, хлеб с маслом и варенье. Для второго завтрака он рекомендовал печенье, холодное мясо, хлеб с маслом и варенье, но только не сыр. Сыр, как и керосин, слишком много о себе воображает. Он хочет захватить для себя всю лодку. Он проникает сквозь корзину и придает всему привкус сыра. Вы не знаете, что вы едите, — яблочный пирог, сосиски или клубнику со сливками. Все кажется вам сыром. У сыра слишком много запаха.

Помню, один мой друг купил как-то в Ливерпуле пару сыров. Чудесные это были сыры — выдержанные, острые, с запахом в двести лошадиных сил. Он распространялся минимум на три мили, а за двести ярдов валил человека с ног. Я как раз был тогда в Ливерпуле, и мой друг попросил меня, если я ничего не имею против, отвезти его по покупке в Лондон. Он сам вернется туда только через день-два, а этот сыр, как ему кажется, не следует хранить особенно долго.

— С удовольствием, дружище, — ответил я. — С удовольствием.

Я заехал за сыром и увез его в кебе. Это была ветхая колымага, влекомая кривоногим запаленным лунатиком, которого его хозяин в минуту увлечения, разговаривая со мной, назвал лошадью. Я положил сыр наверх, и мы тронулись со скоростью, которая сделала бы честь самому быстрому паровому катку в мире. Все шло весело, как на похоронах, пока мы не повернули за угол. Тут ветер ударил запахом сыра прямо в ноздри нашему рысаку. Это пробудило его, и, фыркнув от ужаса, он ринулся вперед с резвостью трех миль в час. Ветер продолжал дуть в его сторону, и мы еще не достигли конца улицы, как наш конь уже стлался по земле, делая почти четыре мили в час и оставляя за флагом всех калек и толстых пожилых дам.

Чтобы остановить его у вокзала, потребовались усилия двух носильщиков и возницы. Я думаю, что даже они не могли бы это сделать, если бы одному из носильщиков не пришлось в голову накинуть на морду лошади носовой платок и зажечь у нее под носом кусок оберточной бумаги.

Я взял билет и, гордо неся свои сыры, вышел на платформу; народ почтительно расступался передо мной. Поезд был битком набит, и мне пришлось войти в отделение, где уже и так сидело семь человек пассажиров. Один сварливый старый джентльмен запротестовал было, но я все же вошел, положил свои сыры в сетку, втиснулся на скамью и с приятной улыбкой сказал, что сегодня тепло. Прошло несколько минут, и старый джентльмен начал беспокойно ерзать на месте.

— Здесь очень душно, — сказал он.

— Совершенно нечем дышать, — подтвердил его сосед.

Потом оба потянули носом и, сразу попав в самую точку, встали и молча вышли. После них поднялась старая дама и сказала, что стыдно так обращаться с почтенной замужней женщиной. Она взяла чемодан и восемь свертков и ушла. Четыре оставшихся пассажира некоторое время продолжали сидеть, но потом какой-то сумрачный господин в углу, принадлежавший, судя по одежде и внешнему облику, к классу гробовщиков, сказал, что ему невольно вспомнились мертвые дети. Тут остальные три пассажира сделали попытку выйти из двери одновременно и ушиблись о косяки.

Я улыбнулся мрачному джентльмену и сказал, что мы, кажется, останемся в отделении вдвоем. Он добродушно засмеялся и заметил, что некоторые люди любят поднимать шум из-за пустяков. Но когда мы тронулись, он тоже пришел в какое-то подавленное состояние, так что по приезде в Кру я предложил ему пойти со мной выпить. Он согласился, и мы с трудом пробились в буфет, где с четверть часа кричали, стучали ногами и махали зонтиками. Наконец к нам подошла барышня и спросила, чего бы мы хотели.

— Что будем пить? — обратился я к моему спутнику.

— Мне, пожалуйста, на полкроны чистого бренди, мисс, — сказал он.

А потом, выпив свое бренди, он незаметно удалился и сел в другой вагон, что я расценил как низость.

От Кру я ехал в отделении один, хотя поезд был набит до отказа. Когда он подходил к станциям, публика, видя пустое купе, бросалась к дверям. «Сюда, Мария, иди сюда, масса мест!» — «Прекрасно, Том, мы сядем здесь!» И они бежали, таща свои тяжелые чемоданы, и толкались у дверей, чтобы войти первыми. Кто-нибудь открывал дверь и поднимался на ступеньки, но сейчас же, шатаясь, падал на руки соседа. За ним входили остальные и, потянув носом, тут же соскакивали и втискивались в другие вагоны или доплачивали разницу и ехали в первом классе.

С Юстонского вокзала я отвез сыры на квартиру моего приятеля. Его жена, войдя в комнату, понюхала воздух и спросила:

— Что случилось? Скажите мне все, даже самое худшее.

Я ответил:

— Это сыр. Том купил его в Ливерпуле и просил меня привезти его к вам. Надеюсь, вы понимаете, — прибавил я, — что сам я здесь ни при чем.

Она сказала, что уверена в этом, но что, когда Том вернется, она с ним еще поговорит.

Мой приятель задержался в Ливерпуле дольше, чем думал. Когда прошло три дня и он не вернулся, его жена явилась ко мне. Она спросила:

— Что говорил Том насчет этих сыров?

Я ответил, что он рекомендовал держать их в не очень сухом месте и просил, чтобы никто к ним не прикасался.

— Сомнительно, чтобы кто-нибудь прикоснулся к ним, — сказала жена Тома. — А он их нюхал?

Я выразил предположение, что да, и прибавил, что он, видимо, очень дорожит этими сырами.

— Как вы думаете, Том очень огорчится, если я дам кому-нибудь соверен и попрошу унести эти сыры и закопать их в землю? — спросила жена Тома.

Я ответил, что, по моему мнению, он после этого ни разу больше не улыбнется.

Ей пришла в голову новая идея. Она сказала:

— Не согласитесь ли вы подержать их у себя до приезда Тома? Позвольте мне прислать их к вам.

— Сударыня, — ответил я, — что касается меня лично, то я люблю запах сыра и путешествие с этими сырами из Ливерпуля всегда буду вспоминать как счастливое завершение приятного отпуска. Но на нашей земле приходится считаться с другими. Дама, под кровом которой я имею честь обитать, вдова и, насколько я знаю, сирота. Она энергично, я бы даже сказал — красноречиво, возражает против того, чтобы ее, по ее выражению, «обижали». Наличие в ее доме сыров вашего мужа — я это инстинктивно чувствую — она воспримет как обиду. А я не допущу, чтобы про меня говорили, будто я обижаю вдов и сирот.

— Прекрасно, — сказала жена Тома и встала. — Тогда мне остается одно: я заберу детей и перееду в гостиницу на то время, пока этот сыр не будет съеден. Я отказываюсь жить с ним под одной кровлей.

Она сдержала слово и оставила квартиру на попечение служанки. Последняя, на вопрос, может ли она выносить этот запах, ответила: «Какой запах?» — а когда ее подвели близко к сыру и предложили хорошенько понюхать, сказала, что чувствует легкий запах дыни. Из этого был сделан вывод, что такая атмосфера не принесет служанке особого вреда, и ее оставили в квартире.

Счет из гостиницы составил пятнадцать гиней, и мой приятель, подытожив все расходы, выяснил, что сыр обошелся ему по восемь шиллингов и шесть пенсов фунт. Он сказал, что очень любит съесть иногда кусочек сыра, но что это ему не по средствам, и решил от него избавиться. Он выбросил сыр в канал, но его пришлось оттуда выудить, так как лодочники подали жалобу. Они сказали, что им делает-

ся дурно. После этого мой приятель в одну темную ночь отнес свой сыр в покойницкую при церкви. Но коронер¹ обнаружил сыр и поднял ужасный шум. Он сказал, что это заговор, имеющий целью лишить его средств к существованию путем оживления мертвецов.

В конце концов мой приятель избавился от своего сыра: он увез его в один приморский город и закопал на пляже. Это создало городу своеобразную славу. Приезжие говорили, что только теперь заметили, какой там бодрящий воздух, и еще много лет подряд туда толпами съезжались слабогрудые и чахоточные.

Поэтому хоть я и очень люблю сыр, но считаю, что Джордж был прав, отказываясь взять его с собою.

— Чай мы пить не будем, — сказал Джордж (лицо у Гарриса вытянулось), — но мы будем основательно, плотно, шикарно обедать в семь часов. Это будет одновременно и чай, и обед, и ужин.

Гаррис несколько повеселел. Джордж предложил взять с собой мясные и фруктовые пироги, холодное мясо, помидоры, фрукты и зелень. Для питья мы запаслись какой-то удивительно липкой микстурой, изготовленной Гаррисом, которую смешивают с водой и называют лимонадом, достаточным количеством чая и бутылкой виски — на случай аварии, как сказал Джордж.

Мне казалось, что Джордж слишком уж много говорит об аварии. Это не дело — пускаться в путь с такими мыслями.

Но все же хорошо, что мы захватили с собою виски.

Вина и пива мы с собою не взяли. Пить их на реке — большая оплошность. От них становишься грузным и сонливым. стакан пива вечером, когда вы бродите по городу, глаза на девушек, — это еще ничего. Но не пейте, когда солнце припекает вам голову и вам предстоит тяжелая работа.

Прежде чем разойтись, мы составили список вещей, которые нужно было захватить, — довольно длинный список! На следующий день, в пятницу, мы собрали все вещи в одно место, а вечером сошлись, чтобы уложиться. Мы достали большой чемодан для белья и платья и две корзины под

¹ Коронер — следователь, производящий дознание в случаях скоропостижной смерти, позволяющей заподозрить убийство.

провизию и посуду. Стол мы отодвинули к окну, вещи свалили в кучу посреди пола и, усевшись в кружок, долго смотрели на них.

— Я буду укладывать, — сказал я.

Я горжусь своим умением укладывать. Это одно из многих дел, которые я, по моему глубокому убеждению, умею делать лучше всех на свете (меня самого иногда удивляет, сколько существует таких дел). Я убедил в этом Джорджа и Гарриса и сказал, что лучше всего будет предоставить всю эту работу мне одному. Они приняли это предложение с удивительной готовностью. Джордж зажег трубку и улегся в кресло. Гаррис закурил сигару и развалился в другом кресле, закинув ноги на стол.

Это было не совсем то, чего я ожидал. Я предполагал, разумеется, что Гаррис и Джордж будут действовать по моим указаниям, а сам собирался только руководить работой, то и дело отталкивая их и прикрикивая: «Эх вы! Дайте-ка я сам сделаю. Видите, как это просто!» Я думал, так сказать, о роли учителя. То, что они поняли это иначе, раздражало меня. Ничто меня так не раздражает, как вид людей, которые сидят и ничего не делают, когда я работаю.

Мне как-то пришлось жить с одним человеком, который доводил меня таким образом до бешенства. Он часами валялся на диване и смотрел, как я тружусь; его взор следовал за мной, куда бы я ни направился. Он говорил, что ему прямо-таки полезно смотреть, как я работаю. Он понимает тогда, что жизнь — это не праздные мечты, не сплошная скука и зевота, но благородное дело, в котором главное — чувство долга и суровый труд. Он, по его словам, часто удивлялся, как ему удалось прожить до встречи со мной, когда он не имел возможности смотреть на кого-нибудь, кто работает.

Ну а я совсем другой человек. Я не могу спокойно сидеть и смотреть, как кто-нибудь трудится. Мне хочется встать и распоряжаться, расхаживать по комнате, заложив руки в карманы, и указывать, что надо делать. Такая уж у меня деятельная натура.

Тем не менее я не сказал ни слова и начал укладывать. Эта работа потребовала больше времени, чем я предполагал, но наконец я уложил чемодан и, сев на него, начал затягивать ремни.

— А сапоги ты не будешь укладывать? — спросил Гаррис.

Я оглянулся и увидел, что забыл уложить сапоги. Это очень похоже на Гарриса. Он, конечно, не вымолвил ни слова, пока я не уложил чемодан и не затянул ремни. Джордж засмеялся своим раздражающим, тупым, бессмысленным, неприятным смехом. Как они оба меня бесят!

Я раскрыл чемодан и уложил сапоги. Когда я собирался его закрыть, мне вдруг пришла в голову ужасная мысль: уложил ли я свою зубную щетку. Непонятно почему, но я никогда не знаю, уложил ли я свою зубную щетку.

Когда я путешествую, зубная щетка преследует меня, как кошмар, и превращает мою жизнь в сплошную муку. Мне снится, что я ее не уложил, и я просыпаюсь в холодном поту и начинаю ее разыскивать. А утром я укладываю ее, еще не почистив зубы, и вынужден снова распаковывать вещи, и щетка всегда оказывается на самом дне чемодана. Потом я укладываюсь снова и забываю щетку, и мне приходится в последний момент мчаться за нею наверх и везти ее на вокзал в носовом платке.

Мне, разумеется, и теперь пришлось выверотить из чемодана все вещи до последней, и, разумеется, я не нашел щетки. Я привел наши пожитки приблизительно в такое состояние, в каком они, вероятно, были до сотворения мира, когда царил первобытный хаос. Конечно, мне восемнадцать раз попадались под руку щетки Джорджа и Гарриса, но своей щетки я найти не мог. Я переложил одну за другой все вещи, поднимая их и встряхивая. Наконец я нашел мою щетку в одном из башмаков. Я уложил чемодан снова.

Когда я кончил, Джордж спросил, уложено ли мыло. Я ответил, что мне наплевать, уложено мыло или нет, и, с шумом захлопнув чемодан, затянул ремни. Но оказалось, что я запаковал туда мой кисет с табаком, и мне пришлось открывать чемодан еще раз.

В десять часов пять минут вечера он был окончательно закрыт, и теперь предстояло только уложить корзинки с провизией. Гаррис сказал, что до отъезда осталось меньше полусуток и что ему с Джорджем, пожалуй, следует взять оставшуюся работу на себя. Я согласился и сел, а они принялись за дело.

Начали они весело, намереваясь, по-видимому, показать мне, как надо укладываться. Я не делал никаких замечаний, я просто ждал.

Когда Джорджа повесят, Гаррис будет самым плохим укладчиком в мире. Я смотрел на груды тарелок, чашек, кастрюль, бутылок, банок, пирогов, спиртовок, бисквитов, помидоров и пр. и предвкушал великое наслаждение.

Надежды мои оправдались. Прежде всего Гаррис с Джорджем разбили чашку. Они сделали это лишь для того, чтобы показать, на что они способны, и вызвать к себе интерес.

Затем Гаррис положил банку с клубничным вареньем на помидор и раздавил его. Помидор пришлось извлекать чайной ложкой. Затем настала очередь Джорджа, и он наступил на масло. Я не сказал ни слова, я только подошел ближе и, усевшись на край стола, наблюдал за ними. Я чувствовал, что это раздражает их больше, чем самые колкие слова. Они волновались, нервничали; они роняли то одно, то другое, без конца искали вещи, которые сами же перед тем ухитрились спрятать. Они запихивали пироги на дно и клали тяжелые вещи сверху, так что пироги превращались в месиво. Все, что возможно, они посыпали солью, а что касается масла, то я никогда не видел, чтобы два человека столько возились с куском масла стоимостью в четырнадцать пенсов.

Когда Джордж отскреб масло от своей туфли, они попробовали запихнуть его в котелок. Но оно не входило, а то, что уже вошло, не хотело вылезать. Наконец они выскребли его оттуда и положили на стул, а Гаррис сел на этот стул, и масло прилипло к его брюкам, и они принялись его искать по всей комнате.

— Готов присягнуть, что я положил его на этот стул, — сказал Джордж, тараща глаза на пустое сиденье.

— Я сам это видел минуту назад, — подтвердил Гаррис.

Они снова обошли всю комнату в поисках масла и, сойдясь посередине, уставились друг на друга.

— Это просто поразительно, — сказал Джордж.

— Настоящая загадка! — сказал Гаррис.

Наконец Джордж обошел вокруг Гарриса и увидел масло.

— Оно же все время было здесь! — с негодованием воскликнул Джордж.

— Где? — вскричал Гаррис, круто поворачиваясь на каблуках.

— Стой смирно! — завопил Джордж, устремляясь за Гаррисом. Они отскребли масло от брюк и уложили его в чайник.

Монморенси, разумеется, принимал во всем этом участие.

Жизненный идеал Монморенси состоит в том, чтобы всем мешать и выслушивать брань по своему адресу. Лишь бы втереться куда-нибудь, где его присутствие особенно нежелательно, всем надоест, довести людей до бешенства и заставить их швырять ему в голову разные предметы — тогда он чувствует, что провел время с пользой.

Высшая цель и мечта этого пса — попасть кому-нибудь под ноги и заставить проклинать себя в течение целого часа. Когда ему это удастся, его самомнение становится совершенно нестерпимым.

Монморенси садился на разные предметы в тот самый момент, когда их нужно было укладывать, и не сомневался ни минуты, что, когда Гаррис или Джордж протягивают за чем-нибудь руку, им нужен его холодный, влажный нос. Он совал лапу в варенье, разбрасывал чайные ложки и делал вид, что думает, будто лимоны — это крысы. Ему удалось проникнуть в корзину и убить их целых три штуки, пока наконец Гаррис не изловчился попасть в него сковородкой. Гаррис сказал, что я науськиваю собаку. Я ее не науськивал. Такая собака не нуждается в науськивании. Ее толкает на все эти проделки врожденный инстинкт, так сказать, первородный грех.

В двенадцать пятьдесят укладка была окончена. Гаррис сел на корзину и выразил надежду, что ничто не окажется разбитым. Джордж заметил, что если чему-нибудь было суждено разбиться, то это уже случилось, и такое соображение, по-видимому, его утешило. Он добавил, что не прочь поспать. Мы все были не прочь поспать. Гаррис должен был ночевать у нас, и мы втроем поднялись наверх.

Мы кинули жребий, кому где спать, и вышло, что Гаррис ляжет со мной.

— Как ты больше любишь, Джей, — внутри или с краю? — спросил он.

Я ответил, что вообще предпочитаю спать внутри постели.

Гаррис сказал, что это старо.

Джордж спросил:

— В котором часу мне вас разбудить?

— В семь, — сказал Гаррис.

— Нет, в шесть, — сказал я. Мне хотелось еще написать несколько писем. Мы с Гаррисом немного повздорили из-за этого, но в конце концов разделили спорный час пополам и сошлись на половине седьмого.

— Разбуди нас в шесть тридцать, Джордж, — сказали мы. Ответа не последовало, и, подойдя к Джорджу, мы обнаружили, что он уже некоторое время спит. Мы поставили рядом с ним ванну, чтобы он мог утром вскочить в нее прямо с постели, и тоже легли спать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Миссис П. будит нас. — Джордж — лентяй. — Надувательство с предсказанием погоды. — Наш багаж. — Испорченный мальчишка. — Вокруг нас собирается толпа. — Мы торжественно отбываем и приезжаем на вокзал Ватерлоо. — Блаженное неведение слушающих Юго-Западной дороги касательно столь светлых вопросов, как отправление поездов. — По волнам, по волнам, мы плывем в открытой лодке!..

Разбудила меня на следующее утро миссис Попетс. Она сказала:

— Знаете ли вы, сэр, что уже девять часов?

— Девять чего? — закричал я, вскакивая.

— Девять часов, сэр, — ответила она через замочную скважину. — Я уже подумала, как бы вам не проспаться.

Я разбудил Гарриса и сообщил ему, в чем дело.

Он сказал:

— Ты же хотел встать в шесть?

— Ну да, — ответил я. — Почему ты меня не разбудил?

— Как же я мог тебя разбудить, если ты не разбудил меня? — возразил Гаррис. — Теперь мы попадем на реку не раньше двенадцати. Не понимаю, зачем ты вообще собрался вставать.

— Гм! Твое счастье! — заметил я. — Не разбуди я тебя, ты бы так и пролежал все две недели.

Мы еще несколько минут огрызались друг на друга, как вдруг нас прервал вызывающий храп Джорджа. Впервые с тех пор, как нас разбудили, этот звук напомнил нам о его существовании. Вот он лежит — тот, кто спрашивал, когда ему разбудить нас, лежит на спине, рот разинут, колени торчком.

Не знаю почему, но вид человека, который спит, когда я уже встал, приводит меня в неистовство. Меня возмущает, что драгоценные часы нашей жизни, эти чудесные мгновения, которые никогда уже не вернуться, бесцельно тратятся на скотский сон. Вот и Джордж, поддавшись отвратительной лени, проматывает неоценимый дар времени — его драгоценная жизнь, за каждую секунду которой ему придется впоследствии держать ответ, уходит от него неиспользованная. Он мог бы сейчас набивать свою утробу грудинкой с яйцами, дразнить пса или заигрывать с горничной, а он вместо того валяется здесь, погруженный в мертвящее душу забытьё.

Это была ужасная мысль. И Гарриса и меня она, видимо, поразила одновременно. Мы решили спасти Джорджа, и это благородное намерение заставило нас забыть нашу размолвку. Мы ринулись к Джорджу и стянули с него одеяло. Гаррис отвесил ему шлепок туфлей, я крикнул ему в ухо, и Джордж проснулся.

— Что такое? — спросил он, садясь на постели.

— Вставай, дубина ты этакая! — заорал Гаррис. — Уже без четверти десять.

— Что! — взвизгнул Джордж, соскакивая с постели прямо в ванну. — Кто это, черт побери, поставил сюда эту гадость?

Мы сказали ему, что нужно быть дураком, чтобы не заметить ванны.

Мы кончили одеваться, но, когда дело дошло до тонкостей туалета, оказалось, что зубные щетки и головная щетка с гребнем уложены. Эта зубная щетка когда-нибудь сведет меня в могилу. Пришлось идти вниз и выуживать их из чемодана. Когда мы с этим покончили, Джорджу вдруг понадобился бритвенный прибор. Мы сказали, что сегодня ему придется обойтись без бритвы, так как мы не намерены

еще раз развязывать чемодан для него или для кого-нибудь ему подобного.

— Не говорите глупостей, — сказал Джордж. — Как я могу пойти в Сити в таком виде?

Это, конечно, было довольно жестоко по отношению к Сити, но что нам за дело до человеческих страданий? Как выразился со своей обычной пошлой грубостью Гаррис, Сити от этого не убудет.

Мы спустились завтракать. Монморенси пригласил еще двух собак проводить его, и они, чтобы скоротать время, дрались на ступеньках крыльца. Мы успокоили их зонтиком и принялись за котлеты и холодное мясо.

— Великое дело — хорошо позавтракать, — сказал Гаррис. Он начал с пары бараньих котлет, заявляя, что хочет съесть их, пока они горячие, а говядина может подождать.

Джордж завладел газетой и прочитал нам сообщение о несчастных случаях с лодками и предсказание погоды, которое гласило: «Холод, дождь с последующим прояснением (все, что может быть наиболее ужасного в области погоды), местами грозы, ветер восточный, общее понижение давления в районе центральных графств (до Лондона и Ла-Манша), барометр падает».

По-моему, из всей той бессмысленной чепухи, которой досаждают нам жизнь, надувательство с «предсказанием погоды», пожалуй, наиболее неприятно. Нам «предсказывают» в точности то, что произошло вчера или третьего дня, и совершенно противоположное тому, что произойдет сегодня.

Я припоминаю, как испортили прошлой осенью мой отпуск известия о погоде в местной газете.

«Сегодня ожидаются ливни и проходящие грозы», — сообщила эта газета в понедельник, и мы отменяли намеченный пикник и сидели в комнате, ожидая дождя. А мимо нашего дома проезжали в колясках и шарабанах веселые, оживленные компании, солнце сияло вовсю, и на небе не было видно ни облачка.

— Ага, — говорили мы, стоя у окна и смотря на них. — Ну и промокнут же они сегодня!

Мы ухмылялись, думая о том, в каком виде они вернуться, и, усевшись у камина, помешивали огонь и приводили в порядок собранные нами образцы водорослей и ракушек. В

полдень солнце заливало всю комнату, жара становилась невыносимой, и мы спрашивали себя, когда же наконец начнутся эти ливни и проходящие грозы.

— Увидите, они разразятся после обеда! — говорили мы друг другу. — Ну и вымочит же их там на пикнике. Вот забавно!

В час приходила хозяйка и спрашивала, не пойдём ли мы гулять, ведь на дворе такая хорошая погода.

— Нет, нет, — говорили мы, хитро улыбаясь. — Мы-то не пойдём. Нам не хочется вымокнуть — о нет!

А когда день почти миновал и все еще не было и признака дождя, мы попытались развеселить друг друга мыслью, что он начнется неожиданно, как раз в ту минуту, когда гуляющие тронутся в обратный путь и будут далеко от всякого жилья и промокнут до костей. Но с неба так и не упало ни капли, и этот великолепный день миновал, сменившись чудесным вечером.

Наутро мы прочли, что будет «теплый, ясный день, жара». Мы оделись полегче и пошли гулять; через полчаса после того, как мы вышли, начался сильный дождь, поднялся резкий, холодный ветер. И то и другое продолжалось до вечера. Мы вернулись домой простуженные, с ревматизмом во всем теле и легли спать.

Погода — выше моего разумения. Я никогда не могу разобрататься в ней. Барометр бесполезен. Он так же обманывает, как предсказания газет.

В одной гостинице в Оксфорде, где я жил прошлой весной, висел барометр. Когда я приехал туда, он стоял на «ясно». На дворе лило как из ведра, и дождь продолжался целый день. Это было непонятно. Я постучал по барометру, и стрелка перескочила на «великую сушь». Коридорный, проходивший мимо, остановился и сказал, что, по его мнению, имеется в виду завтрашний день. Я решил, что, может быть, барометр вспоминает о прошлой неделе, но коридорный сказал: «Нет, не думаю». На другой день утром я снова постучал по барометру, и он поднялся еще выше, а дождь лил все сильнее и сильнее. В среду я подошел и ударил его снова, и стрелка пошла кругом через «ясно», «жара» и «великая сушь», пока не остановилась у шпеныка, не будучи в состоянии двинуться дальше. Она старалась, как могла, но инструмент был сделан на совесть и не мог предвещать хоро-

шую погоду еще более энергично. Ему явно хотелось идти дальше и предсказывать засуху, водяной голод, солнечный удар, самум и прочие подобные вещи, но шпенек препятствовал этому, и барометру пришлось удовольствоваться указанием на банальную «великую сушь»!

Между тем дождик лил потоками. Нижнюю часть города затопило, так как река вышла из берегов.

Коридорный сказал, что, очевидно, когда-нибудь наступит продолжительный период великолепной погоды, и прочитал стихи, написанные на верхней части прорицателя:

За долгий срок предскажешь — так долго и продлится,

А скажешь незадолго — так быстро прекратится.

Хорошая погода так и не наступила в то лето. Я думаю, этот метеорологический прибор имел в виду будущую весну.

Существуют еще барометры новой формации — такие высокие, прямые. Я никогда не мог ничего в них разобрать. Одна сторона у них служит для десяти утра минувшего дня, другая для десяти утра на сегодня, но не всегда ведь удастся подойти к барометру так рано. Он поднимается и падает при дожде и хорошей погоде, с сильным или слабым ветром; на одном конце его стоит «Вос», на другом — «Сев» (при чем тут сев, скажите, пожалуйста?), а если его постукивать, все равно ничего не узнаешь. Приходится еще вносить поправку на уровень моря и переводить градусы на шкалу Фаренгейта, и даже тогда не знаешь, чего следует ожидать.

Но кому нужно знать погоду заранее? И без того плохо, когда она портится, зачем же еще мучиться вперед? Прорицатель, приятный нам, — это старичок, который в какое-нибудь совсем уже мрачное утро, когда нам особенно необходима хорошая погода, опытным глазом оглядывает горизонт и говорит:

— О нет, сэр, я думаю, прояснится. Погода будет хорошая, сэр.

— Ну, он-то знает, — говорим мы, дружески прощаясь с ним и пускаясь в путь. — Удивительно, как эти старички знают все приметы.

И мы испытываем к этому человеку расположение, на которое нисколько не влияет то обстоятельство, что погода не прояснилась и дождь непрерывно лил весь день.

«Он сделал все, что мог», — думаем мы.

К человеку же, который предвещает плохую погоду, мы, наоборот, питаем самые злобные, мстительные чувства.

— Ну как по-вашему, прояснится? — весело кричим мы ему, проезжая мимо.

— Нет, сэр. Боюсь, что дождь зарядил на весь день, — отвечает он, качая головой.

— Старый дурак! — бормочем мы про себя. — Много он понимает! — И если его пророчества сбываются, мы, возвращаясь домой, еще больше злимся на него, думая про себя, что и он тоже отчасти тут виноват.

В день нашего отъезда было слишком ясно и солнечно, чтобы леденящие кровь сообщения Джорджа о «падении барометра», о «циклонах, проходящих над южной частью Европы», и «усиливающемся давлении» могли особенно нас расстроить. Видя, что он не в силах нагнать на нас уныние и только попусту тратит время, Джордж стащил папироску, которую я так любовно скрутил для себя, и ушел.

После этого мы с Гаррисом, прикончив то небольшое, что оставалось на столе, вынесли наши пожитки на крыльцо и стали ждать извозчика. Когда весь багаж сложили вместе, его оказалось достаточно. Большой чемодан, ручной сак, две корзины, объемистый сверток пледов, четыре или пять плащей и накидок, столько же зонтиков, дыня в отдельном мешке (она была слишком громоздкой, и ее некуда было засунуть), фунта два винограду (тоже в отдельном мешке), японский бумажный зонтик и сковорода. Она оказалась чересчур длинной, чтобы уложить ее куда-нибудь, и мы просто завернули ее в бумагу.

В общем, вещей на вид было довольно много, и мы с Гаррисом чувствовали себя несколько смущенно, хотя я сам не понимал, чего нам было стыдиться. Вблизи не было видно ни одного экипажа. Зато уличных мальчишек было сколько угодно. Зрелище, видимо, заинтересовало их, и они начали останавливаться.

Первым к нам подошел Биггсов мальчишка. Биггс — это наш зеленщик. Его главный талант заключается в том, что он где-то выкапывает и берет к себе на работу самых распущенных и безнравственных мальчишек, каких только создала цивилизация. Если по соседству случалась какая-нибудь особенно гнусная шалость, мы так уже и знали, что это натворил последний Биггсов мальчишка. Говорят, что когда

произошло убийство на Грейт-Корам-стрит, все обитатели нашего квартала быстро пришли к заключению, что это дело рук тогдашнего Биггсова мальчишки. Не будь он в состоянии доказать свое полное алиби при строгом допросе, которому его подверг жилец дома № 19, когда он зашел за заказами, Биггсову мальчишке пришлось бы круто.

Я в то время не знал этого мальчика, но, судя по поведению его преемников, я не придал бы особого значения этому «алиби».

Как я уже сказал, Биггсов мальчишка вышел из-за угла. Он, видимо, очень спешил, когда впервые появился в поле нашего зрения, но, заметив нас с Гаррисом, Монморенси и наши вещи, сбавил ход и уставился на нас. Мы с Гаррисом сурово посмотрели на него. Это могло бы обидеть более чуткое существо, но мальчишки от Биггса, как правило, не отличаются чувствительностью. Он остановился на расстоянии ярда от наших дверей, выбрал себе соломинку для жеванья и, опершись на перила, устремил на нас глаза. По-видимому, он решил досмотреть весь спектакль до конца.

Через минуту на другой стороне улицы появился мальчик от бакалейщика. Биггсов мальчишка крикнул ему:

— Эй, нижние из сорок второго переезжают!

Мальчик от бакалейщика перешел через дорогу и занял позицию с другой стороны крыльца. Потом возле Биггсова мальчишки остановился молодой человек из сапожного магазина, а надсмотрщик за пустыми жестянками из «Голубой столба» занял самостоятельную позицию у обочины.

— Они, видать, не помрут с голоду, а? — заметил юноша из сапожного магазина.

— Ты бы тоже небось захватил с собой кое-что, если бы вздумал переплыть океан на маленькой лодочке, — возразил «Голубой столб».

— Они не собираются переплывать океан, они будут искать Стэнли¹, — вмешался Биггсов мальчишка.

К этому времени вокруг нас собралась целая толпа, и люди спрашивали друг друга, что случилось. Некоторые (юная и легкомысленная часть присутствующих) придерживались мнения, что это свадьба, и указывали на Гарриса как

¹ Стэнли Генри Мортон (1841–1904), англичанин, исследователь Африки.

на жениха. Более пожилые и серьезные люди склонялись к мысли, что происходит похороны и что я, по всей вероятности, брат покойника.

Наконец оказался пустой кеб (на нашей улице пустые кебы, когда они не нужны, попадаются, как правило, по три в минуту). Мы кое-как втиснули в него наши вещи и самих себя, сбросив со ступенек нескольких друзей Монморенси, которые, видимо, дали клятву никогда не расставаться с ним, и поехали, сопровождаемые приветственными кликами толпы и морковкой, которую Биггсов мальчишка пустил нам вслед «на счастье».

В одиннадцать часов мы приехали на вокзал Ватерлоо и спросили, откуда отправляется поезд 11.05. Никто, разумеется, этого не знал. На вокзале Ватерлоо никто никогда не знает, откуда отходит какой-нибудь поезд, куда он идет, если уже отошел, и тому подобное. Носильщик, несший наши вещи, высказал предположение, что он отойдет с платформы № 2. Но другой носильщик, с которым он обсуждал этот вопрос, имел сведения, будто наш поезд тронется с платформы № 1. Дежурный по вокзалу, со своей стороны, был уверен, что поезд 11.05 отправляется с пригородной платформы.

Чтобы покончить с этим вопросом, мы поднялись наверх и спросили начальника движения. Он сказал, что только что встретил человека, который говорил, будто видел наш поезд на третьей платформе. Мы пошли на третью платформу, но местные власти сообщили нам, что, по их мнению, это был скорее саутгемптонский экспресс или же кольцевой виндзорский. Там были твердо убеждены, что это не поезд на Кингстон, хотя и не могли сказать, почему именно они в этом уверены.

Тогда носильщик сказал, что наш поезд, вероятно, на верхней платформе и что он узнает этот поезд. Мы отправились на верхнюю платформу, пошли к машинисту и спросили его, не едет ли он в Кингстон. Машинист ответил, что он, конечно, не может утверждать наверняка, но думает, что едет, во всяком случае, если он не 11.05 на Кингстон, то он уже наверное 9.32 на Виргиния-Уотер или десятичасовой экспресс на остров Уайт или куда-нибудь в этом направлении, и что мы все узнаем, когда приедем на место. Мы сунули ему в руку полкроны и попросили его сделаться 11.05 на Кингстон.

— Ни одна душа на этой линии никогда не узнает, кто вы и куда вы направляетесь, — сказали мы. — Вы знаете дорогу, так трогайтесь потихоньку и езжайте в Кингстон.

— Ну что ж, джентльмены, — ответил этот благородный человек. — Должен же какой-нибудь поезд идти в Кингстон. Я согласен. Давайте сюда полкроны.

Так мы попали в Кингстон по Лондонской Юго-Западной железной дороге.

Впоследствии мы узнали, что поезд, который нас привез, был на самом деле экзетерский почтовый и что на вокзале Ватерлоо несколько часов искали его и никто не знал, что с ним случилось.

Наша лодка ожидала нас в Кингстоне, чуть ниже моста. Мы направили к ней свои стопы, погрузили в нее свои вещи, заняли в ней каждый свое место.

— Все в порядке, сэр? — спросил лодочник.

— Все в порядке! — ответили мы и — Гаррис на веслах, я на руле и Монморенси, глубоко несчастный и полный самых мрачных подозрений, на носу — поплыли по реке, которая на ближайшие две недели должна была стать нашим домом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Кингстон. — Полезные сведения из ранней истории Англии. — Поучительные рассуждения о резном дубе и о жизни вообще. — Печальная судьба Стиввингса-младшего. — Размышления о древности. — Я забываю, что правлю рулем. — Интересные последствия этого. — Хэмптон-Кортский лабиринт. — Гаррис в роли проводника.

Стояло великолепное утро в конце весны или в начале лета — как вам больше нравится, когда нежная зелень травы и листьев приобретает более темный оттенок и природа, словно юная красавица, готовая превратиться в женщину, охвачена непонятным, тревожным трепетом.

Старинные переулки Кингстона, спускающиеся к реке, выглядели очень живописно в ярких лучах солнца; сверкающая река, усеянная скользящими лодками, окаймленная лесом дорога, изящные виллы на другом берегу, Гаррис в своей красной с оранжевым фуфайке, с криканием взмахи-

вающий веслами, старый серый замок Тюдоров, мелькающий вдалеке, представляли яркую картину, веселую и спокойную, полную жизни, но в то же время столь мирную, что, хотя было еще рано, меня охватила мечтательная дремота, и я впал в задумчивость.

Я думал о Кингстоне, или Кинингестоуне, как его называли некогда, в те дни, когда саксонские «кинги» — короли — короновались в этом городе. Великий Цезарь перешел здесь реку, и римские легионы стояли лагерем на склонах ближних холмов. Цезарь, как впоследствии Елизавета, останавливался, по-видимому, всюду, но только он был человек более строгих правил, чем добрая королева Бесс, — он не ночевал в трактирах.

Она обожала трактиры, эта королева-девственница! Едва ли найдется хоть один сколько-нибудь замечательный кабачок на десять миль вокруг Лондона, где бы она когда-нибудь не побывала или не провела ночь.

Я часто спрашиваю себя: если, допустим, Гаррис начнет новую жизнь, станет достойным и знаменитым человеком, попадет в премьер-министры и умрет, прибьют ли на трактирах, которые он почтил своим посещением, доски с надписью: «В этом доме Гаррис выпил стакан пива»; «Здесь Гаррис выпил две рюмки холодного шотландского летом 1888 года»; «Отсюда Гарриса вытолкали в декабре 1886 года»?

Нет, таких досок было бы слишком много. Прославились бы скорее те трактиры, в которые Гаррис ни разу не заходил. «Единственный кабачок в южной части Лондона, где Гаррис не выпил ни одной рюмки». Публика валом валит в это заведение, чтобы посмотреть, что в нем такого особенного.

Как бедный слабоумный король Эдви должен был ненавидеть Кинингестоун! Пиршество после коронации оказалось ему не по силам. Может быть, кабанья голова, начиненная леденцами, не очень ему нравилась (мне бы она наверняка пришлось не по вкусу) и он выпил достаточно браги и меда, — как бы то ни было, он покинул шумный пир, чтобы украдкой погулять часок при свете луны со своей возлюбленной Эльдживой.

Быть может, стоя рука об руку, они любовались из окна игрой лунного света на реке, внимая шуму пиршества, смут-

но доносившемуся из отдаленных покоев. Затем буйный Одо и Сент-Дустен грубо врываются в тихую комнату, осыпая ругательствами яснолицую королеву, и уводят бедного Эдди к разгулявшимся пьяным крикунам.

Через много лет под грохот боевой музыки саксонские короли и саксонские пирушки были погребены в одной могиле. И слава Кингстона померкла на время, чтобы снова засиять в те дни, когда Хэмптон-Корт сделался резиденцией Тюдоров и Стюартов, и королевские лодки покачивались у причалов, и юные щеголи в разноцветных плащах сходили по ступеням к воде и громко звали перевозчиков.

Многие старые дома в городе напоминают о том времени, когда Кингстон был местопребыванием двора и вельможи и сановники жили там, вблизи своего короля. На длинной дороге, ведущей к дворцовым воротам, целый день весело бряцала сталь, ржали гордые кони, шелестели шелк и атлас и мелькали прекрасные лица. Большие, просторные дома с их решетчатыми окнами, громадными каминами и стрельчатыми крышами напоминают времена длинных чулок и камзолов, шитых жемчугом жилетов и замысловатых клятьв. Люди, которые возвели эти дома, умели строить. Твердый красный кирпич от времени стал лишь крепче, а дубовые лестницы не скрипят и не стонут, когда вы пытаетесь спуститься по ним бесшумно.

Кстати о дубовых лестницах. В одном доме в Кингстоне есть замечательная лестница из резного дуба. Теперь в этом доме на рыночной площади помещается лавка, но некогда в нем, очевидно, жил какой-нибудь вельможа. Мой приятель, живущий в Кингстоне, однажды зашел туда, чтобы купить себе шляпу, и в минуту рассеянности опустил руку в карман и тут же на месте заплатил наличными.

Лавочник (он знаком с моим приятелем), естественно, был сначала несколько потрясен, но быстро взял себя в руки и, чувствуя, что необходимо что-нибудь сделать, чтобы поддержать такие стремления, спросил нашего героя, не желает ли он полюбоваться на красивый резной дуб. Мой приятель согласился, и лавочник провел его через магазин и поднялся с ним по лестнице. Перила ее представляют замечательный образец столярного мастерства, а стены вдоль всей лестницы покрыты дубовыми панелями с резьбой, которая сделала бы честь любому дворцу.

С лестницы они вошли в гостиную — большую светлую комнату, оклеенную несколько неожиданными, но веселенькими обоями голубого цвета. В комнате не было, однако, ничего особенно замечательного, и мой приятель не понимал, зачем его туда привели. Хозяин дома подошел к обоям и постучал об стену. Звук получился деревянный.

— Дуб, — объяснил лавочник. — Сплошь резной дуб, до самого потолка. Такой же, как вы видели на лестнице.

— Черт возьми! — возмутился мой приятель. — Неужели вы хотите сказать, что заклеили резной дуб голубыми обоями?

— Конечно, — последовал ответ. — И это обошлось мне недешево. Ведь сначала пришлось обшить стены досками. Но зато комната имеет веселый вид. Раньше здесь было ужасно мрачно.

Не могу сказать, чтобы я считал лавочника кругом виноватым (это, несомненно, доставляет ему большое облегчение). С его точки зрения — с точки зрения среднего домовладельца, стремящегося относиться к жизни как можно легче, а не какого-нибудь помешанного на старине чудака, — поступок его имеет известный смысл. На резной дуб очень приятно смотреть, приятно даже иметь его у себя дома в небольшом количестве. Но нельзя отрицать, что пребывание среди сплошного резного дуба действует несколько угнетающе на людей, которые к этому не расположены. Это все равно что жить в церкви.

Печально во всей этой истории лишь то, что у лавочника, которого это ничуть не радовало, была целая гостиная, обшитая резным дубом, в то время как другие платят огромные деньги, чтобы его раздобыть. По-видимому, в жизни всегда так бывает. У одного человека есть то, что ему не нужно, а другие обладают тем, что он хотел бы иметь.

Женатые имеют жен и, видимо, не дорожат ими, а молодые холостяки кричат, что не могут найти жену. У бедняков, которые и себя-то едва могут прокормить, бывает по восемь штук веселых ребят, а богатые пожилые супруги умирают бездетными и не знают, кому оставить свои деньги.

Или вот, например, барышни и поклонники. Барышни, у которых они есть, уверяют, что не нуждаются в них. Они говорят, что предпочли бы обходиться без них, что молодые люди им надоели. Почему бы им не поухаживать за

мисс Смит или мисс Браун, которые стары и дурны и не имеют поклонников? Им самим поклонники не нужны. Они не собираются выходить замуж.

Грустно становится, когда думаешь о подобных вещах!

У нас в школе был один мальчик, которого мы называли Сэндфорд и Мертон¹. Настоящая его фамилия была Стиввингс. Я никогда не встречал более удивительного мальчика. Он действительно любил учиться. С ним происходили ужасные неприятности из-за того, что он читал в постели по-гречески, а что касается французских неправильных глаголов, то его просто невозможно было оторвать от них. У него была целая куча странных и противоестественных предрассудков, вроде того, что он должен делать честь своим родителям и служить украшением школы; он жаждал получать награды, скорее вырасти и стать умным, и вообще он был начинен разными дурацкими идеями. Да, это был диковинный мальчик, притом безобидный, как неродившийся младенец.

Ну, так вот этот мальчик раза два в неделю заболел и не мог ходить в школу. Ни один школьник не умел так хворать, как этот самый Сэндфорд и Мертон. Если за десять миль от него появлялась какая-нибудь болезнь, он схватывал ее, и притом в тяжелой форме. Он болел бронхитом в самый разгар лета и сенной лихорадкой на Рождество. После шестинедельной засухи он вдруг сваливался, пораженный ревматизмом, а выйдя из дому в ноябрьский туман, падал от солнечного удара.

В каком-то году беднягу усыпили веселящим газом, вырвали у него все зубы и поставили ему две фальшивые челюсти, до того он мучился зубной болью. Потом она сменилась невралгией и колотьем в ухе. Он всегда страдал насморком, кроме тех девяти недель, когда болел scarlatinой, и вечно что-нибудь отмораживал. В большую эпидемию холеры в 1871 году в нашей округе почему-то совсем не было заболеваний. Известен был только один больной во всем приходе — это был молодой Стиввингс.

¹ «Сэндфорд и Мертон» — нравоучительная детская книжка Томаса Дэя (1783 г.) про плохого богатого мальчика Томми Мертона и хорошего бедного мальчика Гарри Сэндфорда.

Когда он болел, ему приходилось оставаться в кровати и есть цыплят, яблоки и виноград, а он лежал и плакал, что у него отнимают немецкую грамматику и не позволяют делать латинские упражнения.

А мы, мальчишки, охотно бы пожертвовали десять лет школьной жизни за то, чтобы проболеть один день, и не давали нашим родителям ни малейшего повода гордиться нами — и все-таки не болели. Мы бегали и шалили на сквозняке, но это приносило нам лишь пользу и освежало нас. Мы ели разные вещи, чтобы захворать, но только жирели и приобретали аппетит. Что бы мы ни придумали, заболеть не удавалось, пока не наступали каникулы. Зато в последний день учения мы схватывали простуду, коклюш и всевозможные другие недуги, которые длились до начала следующей четверти. А тогда, какие бы ухищрения мы ни пускали в ход, здоровье вдруг возвращалось, и мы чувствовали себя лучше, чем когда-либо.

Такова жизнь, и мы все — только трава, которую срезают, кладут в печь и жгут.

Возвращаясь к вопросу о резном дубе, надо сказать, что наши предки обладали довольно-таки развитым чувством изящного и прекрасного. Ведь все теперешние сокровища искусства три-четыре века тому назад были банальными предметами повседневного обихода. Я часто спрашиваю себя, действительно ли красивы старинные суповые тарелки, пивные кружки и щипцы для снятия нагара со свечей, которые мы так высоко ценим, или только ореол древности придает им прелесть в наших глазах. Старинные синие тарелки, украшающие теперь стены наших комнат, несколько столетий тому назад были самой обычной домашней утварью, а розовые пастушки и желтенькие пастушки, которыми с понимающим видом восторгаются все наши знакомые, в восемнадцатом веке скромно стояли на камине, никем не замечаемые, и матери давали их пососать своим плачущим младенцам.

А чего ждать в будущем? Всегда ли дешевые безделушки прошлого будут казаться сокровищами? Будут ли наши расписные обеденные тарелки украшать каминные вельмож двадцать первого столетия?

А белые чашки с золотым ободком снаружи и великолепным золотым цветком неизвестного названия внутри,

которые без всякого огорчения бьют теперь наши горничные? Не будут ли их бережно склеивать и устанавливать на подставки, с тем чтобы лишь хозяйка дома имела право стирать с них пыль?

Вот, например, фарфоровая собачка, которая украшает спальню в моей меблированной квартире. Эта собачка белая. Глаза у нее голубые, нос нежно-розовый с черными крапинками. Она держит голову мучительно прямо и всем своим видом выражает приветливость, граничащую со слабоумием. Я лично далеко не в восторге от этой собачки. Как произведение искусства она меня, можно сказать, раздражает. Мои легкомысленные приятели глумятся над ней, и даже квартирная хозяйка не слишком ею восхищается, оправдывая ее присутствие тем, что это подарок тетки.

Но более чем вероятно, что через двести лет эту собачку — без ног и с обломанным хвостом — откуда-нибудь выкопают, продадут за старый фарфор и поставят под стекло. И люди будут ходить вокруг и восторгаться ею, удивляясь теплой окраске носа, и гадать, каков был утраченный кончик ее хвоста.

Мы в наше время не сознаем прелести этой собачки. Мы слишком привыкли к ней. Она подобна закату солнца и звездам: красота их не поражает нас, потому что наши глаза уже давно к ней пригляделись.

Так и с этой фарфоровой собачкой. В 2288 году люди будут приходить от нее в восторг. Производство таких собачек станет к тому времени забытым искусством. Наши потомки будут ломать себе голову над тем, как мы ее сделали. Нас будут с нежностью называть «великими мастерами, которые жили в девятнадцатом веке и делали таких фарфоровых собачек».

Узор, который наша старшая дочь вышла в школе, получит название «гобелена эпохи Виктории» и будет цениться очень дорого. Синие с белым кружки из придорожных трактиров, щербатые и потрескавшиеся, будут усердно разыскивать и продавать на вес золота, богатые люди будут пить из них крошон. Японские туристы бросятся скупать все сохранившиеся от разрушения «подарки из Рамгета» и «сувениры из Маргета» и увезут их в Токио как старинные английские редкости.

В этом месте Гаррис вдруг бросил весла, приподнялся, покинул свое сиденье и упал на спину, задрав ноги вверх. Монморенси взвыл и перекувыркнулся через голову, а верхняя корзина подскочила, вытряхивая все свое содержимое.

Я несколько удивился, но не потерял хладнокровия. Достаточно добродушно я сказал:

— Алло! Это почему?

— Почему?! Ну!..

Нет, я лучше не стану повторять то, что сказал Гаррис. Согласен, я, может быть, был несколько виноват, но ничто не оправдывает резких слов и грубости выражений, в особенности если человек получил столь тщательное воспитание, как Гаррис. Я думал о другом и забыл, как легко может понять всякий, что правлю рулем. Последствием этого явилось то, что мы пришли в слишком близкое соприкосновение с берегом. В первую минуту было трудно сказать, где кончаемся мы и начинается графство Миддл-Эссекс, но через некоторое время мы в этом разобрались и отделились друг от друга.

Тут Гаррис заявил, что он достаточно поработал, и предложил мне сменить его. Поскольку мы были у берега, я вышел, взялся за бечеву и потащил лодку мимо Хэмптон-Корта.

Что за чудесная старая стена тянется в этом месте вдоль реки! Проходя мимо нее, я всякий раз испытываю удовольствие от одного ее вида. Яркая, милая, веселая старая стена! Как чудесно украшают ее ползучий лишайник и буйно растущий мох, стыдливая молодая лоза, выглядывающая сверху, чтобы посмотреть, что происходит на реке, и темный старый плющ, вьющийся немного ниже. Любые десять ярдов этой стены являют глазу пятьдесят нюансов и оттенков. Если бы я умел рисовать и писать красками, я бы, наверное, создал прекрасный набросок этой старой стены. Я часто думаю, что с удовольствием жил бы в Хэмптон-Корте. Здесь, видимо, так тихо, так спокойно, в этом милом старом городе, и так приятно бродить по его улицам рано утром, когда вокруг еще мало народу.

Но все же, мне кажется, я бы не очень хорошо себя чувствовал, если бы это действительно случилось. В Хэмптон-Корте, должно быть, так мрачно и уныло по вечерам, когда лампа бросает неверные тени на деревянные панели стен, когда шум отдаленных шагов гулко раздается в каменных

коридорах, то приближаясь, то замирая вдали, и лишь биение нашего сердца нарушает мертвую тишину.

Мы, мужчины и женщины, — создания солнца. Мы любим свет и жизнь. Вот почему мы толпимся в городах и поселках, а деревни с каждым годом все больше пустеют. При свете солнца, днем, когда природа живет и все вокруг нас полно деятельности, нам нравятся открытые склоны гор и густые леса. Но ночью, когда мать-земля уснула, а мы бодрствуем, — о, мир кажется таким пустынным, и нам страшно, как детям в безлюдном доме. И мы сидим и плачем, тоскуя по улицам, залитым светом газа, по звукам человеческих голосов и бурному биению жизни. Мы кажемся себе такими беспомощными, такими маленькими в великом безмолвии, когда темные деревья шелестят от ночного ветра, вокруг так много призраков и их тихие вздохи нагоняют на нас грусть. Соберемся же в больших городах, зажжем огромные костры из миллионов газовых рожков, будем кричать и петь все вместе и чувствовать себя смелыми.

Гаррис спросил, бывал ли я когда-нибудь в Хэмптон-Кортском лабиринте. Сам он, по его словам, заходил туда один раз, чтобы показать кому-то, как лучше пройти. Он изучал лабиринт по плану, который казался до глупости простым, так что жалко было даже платить два пенса за вход. Гаррис полагал, что этот план был издан в насмешку, так как он ничуть не был похож на подлинный лабиринт и только сбивал с толку. Гаррис повел туда одного своего родственника из провинции. Он сказал:

— Мы только зайдем ненадолго, чтобы ты мог сказать, что побывал в лабиринте, но это совсем несложно. Даже нелепо называть его лабиринтом. Надо все время сворачивать направо. Походим минут десять, а потом отправимся завтракать.

Попав внутрь лабиринта, они вскоре встретили людей, которые сказали, что находятся здесь три четверти часа и что с них, кажется, хватит. Гаррис предложил им, если угодно, последовать за ним. Он только вошел, сейчас повернет направо и выйдет. Все были ему очень признательны и пошли за ним следом. По дороге они подобрали еще многих, которые мечтали выбраться на волю, и наконец поглотили всех, кто был в лабиринте. Люди, отказавшиеся от всякой надежды снова увидеть родной дом и друзей, при виде Гарриса и его компании воспряли духом и присоеди-

нились к процессии, осыпая его благословениями. Гаррис сказал, что, по его предположению, за ним следовало в общем человек двадцать; одна женщина с ребенком, которая пробыва в лабиринте все утро, непременно пожелала взять Гарриса под руку, чтобы не потерять его.

Гаррис все время поворачивал направо, но идти было, видимо, далеко, и родственник Гарриса сказал, что это, вероятно, очень большой лабиринт.

— Один из самых обширных в Европе, — сказал Гаррис.

— Похоже, что так, — ответил его родственник. — Мы ведь уже прошли добрых две мили.

Гаррису и самому это начало казаться странным. Но он держался стойко, пока компания не прошла мимо валявшейся на земле половины пышки, которую Гаррисов родственник, по его словам, видел на этом самом месте семь минут тому назад.

— Это невозможно, — возразил Гаррис, но женщина с ребенком сказала: «Ничего подобного», так как она сама отняла эту пышку у своего мальчика и бросила ее перед встречей с Гаррисом. Она прибавила, что лучше бы ей никогда с ним не встречаться, и выразила мнение, что он обманщик. Это взбесило Гарриса. Он вытащил план и изложил свою теорию.

— План-то, может, и неплохой, — сказал кто-то, — но только нужно знать, в каком месте мы сейчас находимся.

Гаррис не знал этого и сказал, что самое лучшее будет вернуться к выходу и начать все снова. Предложение начать все снова не вызвало особого энтузиазма, но в части возвращения назад единодушие было полное. Все повернули обратно и потянулись за Гаррисом в противоположном направлении. Прошло еще минут десять, и компания очутилась в центре лабиринта. Гаррис хотел сначала сделать вид, будто он именно к этому и стремился, но его свита имела довольно угрожающий вид, и он решил расценить это как случайность. Теперь они хотя бы знают, с чего начать. Им известно, где они находятся. План был еще раз извлечен на свет Божий, и дело показалось проще простого, — все в третий раз тронулись в путь.

Через три минуты они опять были в центре.

После этого они просто-таки не могли оттуда уйти. В какую бы сторону они ни сворачивали, все пути приводили их в центр. Это стало повторяться с такой правильностью,

что некоторые просто оставались на месте и ждали, пока остальные прогуляются и вернуться к ним. Гаррис опять извлек свой план, но вид этой бумаги привел толпу в ярость. Гаррису посоветовали пустить план на папильотки. Гаррис, по его словам, не мог не сознавать, что до некоторой степени утратил популярность.

Наконец все совершенно потеряли голову и во весь голос стали звать сторожа. Сторож пришел, взобрался на стремянку снаружи лабиринта и начал громко давать им указания. Но к этому времени у всех в головах была такая путаница, что никто не мог ничего сообразить. Тогда сторож предложил им постоять на месте и сказал, что придет к ним. Все собрались в кучу и ждали, а сторож спустился с лестницы и пошел внутрь. На горе, это был молодой сторож, новичок в своем деле. Войдя в лабиринт, он не нашел заблудившихся, начал бродить взад и вперед и наконец сам заблудился. Время от времени они видели сквозь листву, как он метался где-то по ту сторону изгороди, и он тоже видел людей и бросался к ним, и они стояли и ждали его минут пять, а потом он опять появлялся на том же самом месте и спрашивал, куда они пропали.

Всем пришлось дожидаться, пока не вернулся один из старых сторожей, который ходил обедать. Только тогда они наконец вышли.

Гаррис сказал, что, насколько он может судить, это замечательный лабиринт, и мы сговорились, что на обратном пути попробуем завести туда Джорджа.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Река в праздничном наряде. — Как одеваться для путешествия по реке. — Удобный случай для мужчин. — Отсутствие вкуса у Гарриса. — Фуфайка Джорджа. — День с барышней из модного журнала. — Могила миссис Томас. — Человек, который не любит могил, гробов и черепов. — Гаррис приходит в бешенство. — Его мнение о Джордже, банках и лимонаде. — Он показывает акробатические номера.

Когда Гаррис рассказывал мне о своих переживаниях в лабиринте, мы проходили Маулсейский шлюз. Это заняло много времени, так как наша лодка была единственная,

а шлюз велик. Насколько мне помнится, я еще ни разу не видел, чтобы в Маулсейском шлюзе была всего одна лодка. Мне кажется, это самый оживленный из всех шлюзов на реке, не исключая даже Баултерского. Мне иногда приходилось наблюдать его в такие минуты, когда воды совсем не было видно под множеством ярких фуфаяк, пестрых шапочек, нарядных шляп, зонтиков всех цветов радуги, шелковых накидок, плащей, развевающихся лент и изящных белых платьев. Если смотреть с набережной, этот шлюз можно было принять за огромный ящик, куда набросали цветов всех оттенков, которые заполнили его до самых краев.

В погожее воскресенье река имеет такой вид почти весь день. За воротами, и вверх и вниз по течению, стоят, ожидая своей очереди, длинные вереницы лодок; лодки приближаются и удаляются, так что вся сверкающая река от дворца вплоть до Хэмптонской церкви усеяна желтыми, синими, оранжевыми, белыми, красными, розовыми точками. Все обитатели Хэмптона и Маулси, разодевшись полетнему, гуляют вокруг шлюза со своими собаками, любезничают, курят и смотрят на лодки. Все это вместе — куртки и шапочки мужчин, красивые цветные платья женщин, снующие собаки, движущиеся лодки, белые паруса, приятный ландшафт и сверкающие воды — представляет одно из самых красивых зрелищ, какие можно видеть близ нашего унылого старого Лондона.

Река дает возможность одеться как следует. Хоть здесь мы, мужчины, можем показать, каков наш вкус в отношении красок, и если вы меня спросите, я скажу, что получается совсем не так плохо. Я очень люблю носить что-нибудь красное — красное с черным. Волосы у меня, знаете, такие золотисто-каштановые — довольно красивый оттенок, как мне говорили, — и темно-красное замечательно к ним идет. И еще, по-моему, сюда очень подходит голубой галстук, юфтяные башмаки и красный шелковый шарф вокруг пояса — шарф выглядит ведь гораздо лучше, чем ремень.

Гаррис всегда предпочитает различные оттенки и комбинации оранжевого и желтого, но я с ним не согласен. Для желтого у него слишком темный цвет лица. Желтое ему не идет, в этом нет сомнения. Лучше бы он избрал для фона голубой цвет и к нему что-нибудь белое или кремовое.

Но поди ж ты! Чем меньше у человека вкуса в вопросах туалета, тем больше он упрямится. Это очень жаль, потому что он никогда не достигнет успеха. В то же время существуют цвета, в которых он выглядел бы не так уж плохо, если бы надел шляпу.

Джордж купил себе для этой прогулки несколько новых принадлежностей туалета, и они меня огорчают. Его фуфайка «кричит». Мне не хотелось бы, чтобы Джордж знал, что я так думаю, но, право, для нее нет более подходящего слова. Он принес и показал нам эту фуфайку в четверг вечером. Мы спросили его, какого она, по его мнению, цвета, и он ответил, что не знает. Для такого цвета, по его словам, нет названия. Продавец сказал ему, что это восточная расцветка.

Джордж надел свою фуфайку и спросил, как мы ее находим. Гаррис заметил, что она вполне годится для того, чтобы вешать ее ранней весной над цветочными грядками — отпугивать птиц, но от одной мысли, что это предмет одежды, предназначенный для какого бы то ни было человеческого существа, кроме разве бродячего певца-негра, ему делается плохо. Джордж надулся, но Гаррис совершенно правильно сказал, что, если Джордж не хотел выслушать его мнение, незачем было и спрашивать.

Нас же с Гаррисом беспокоит лишь одно — мы боимся, что эта фуфайка привлечет к нашей лодке всеобщее внимание.

Девушки тоже производят в лодке весьма недурное впечатление, если они хорошо одеты. На мой взгляд, нет ничего более привлекательного, чем хороший лодочный костюм. Но «лодочный костюм» — хорошо бы все дамы это понимали! — есть нечто такое, что следует носить, находясь в лодке, а не под стеклянным колпаком. Если с вами едет публика, которая все время думает не о прогулке, а о своих платьях, вся экскурсия будет испорчена. Однажды я имел несчастье отправиться на речной пикник с двумя дамами такого сорта. Ну и весело же нам было!

Обе были разряжены в пух и прах — шелка, кружева, ленты, цветы, изящные туфли, светлые перчатки. Они оделись для фотографии, а не для речного пикника. На них были «лодочные костюмы» с французской модной картин-

ки. Сидеть в них поблизости от настоящей земли, воды и воздуха было просто нелепо.

Прежде всего эти дамы решили, что в лодке грязно. Мы смахнули пыль со всех скамей и стали убеждать наших спутниц, что теперь чисто, но они не верили. Одна из них потерла подушку пальцем и показала его другой, обе вздохнули и уселись с видом мучениц первых лет христианства, старающихся устроиться поудобнее на кресте.

Когда гребешь, случается иногда плеснуть веслом, а капля воды, оказывается, может совершенно сгубить дамский туалет. Пятно ничем нельзя вывести, и на платье навсегда остается след.

Я был кормовым. Я старался как мог. Я поднимал весла вверх на два фута, после каждого удара делал паузу, чтобы с лопастей стекла вода, и выскивал, опуская их снова, самое гладкое место. (Носовой вскоре сказал, что не чувствует себя достаточно искусным, чтобы грести со мной, и предпочитает, если я не против, сидеть и изучать мой стиль гребли. Она очень интересуется его.) Но, несмотря на все мои старания, брызги иногда залетали на платья девушек. Девушки не жаловались, а только крепче прижимали друг к другу и сидели, плотно сжав губы. Всякий раз, как их касалась капля воды, они поджимались и вздрагивали. Зрелище их молчаливых страданий возвышало душу, но оно совершенно расстроило мне нервы. Я слишком чувствителен. Я начал грести яростно и беспокойно, и чем больше я старался не брызгать, тем сильнее брызгал.

Наконец я сдался и сказал, что пересяду на нос. Носовой тоже нашел, что так будет лучше, и мы поменялись местами. Дамы, видя, что я ухожу, испустили невольный вздох облегчения и на минуту просияли. Бедные девушки! Им бы следовало лучше примириться со мной.

Юноша, который достался им теперь, был веселый, легкомысленный, толстокожий и не более чувствительный, чем щенок ньюфаундленда. Вы могли метать в него молнии целый час подряд, и он бы этого не заметил, а если бы и заметил, то не смутился.

Он шумно, наотмашь, ударил веслами, так что брызги фонтаном разлетелись по всей лодке, и вся наша компания тотчас же застыла, выпрямившись на скамьях. Вылив на платья барышень около пинты воды, он с приятной улыб-

кой говорил: «Ах, простите, пожалуйста» — и предлагал им свой носовой платок.

— О, это неважно, — шептали в ответ несчастные девичьи и украдкой закрывались пледом и пальто или пытались защищаться от брызг своими кружевными зонтиками.

За завтраком им пришлось очень плохо. Их заставляли садиться на траву, а трава была пыльная; стволы деревьев, к которым им предлагали прислониться, видимо, не были чищены уже целую неделю. Девушки разостлали на земле носовые платки и сели на них, держась очень прямо. Кто-то споткнулся о корень, неся в руках блюдо с мясным пирогом, и пирог полетел на землю. К счастью, он не попал на девушек, но этот прискорбный случай открыл им глаза на новую опасность и взволновал их. После этого, когда кто-нибудь из нас нес что-нибудь, что могло упасть и запачкать платье, барышни со все возрастающим беспокойством провожали его глазами, пока он снова не садился на место.

— А ну-ка, девушки, — весело сказал наш друг носовой, когда с завтраком было покончено, — теперь вымойте посуду.

Сначала они его не поняли. Потом, усвоив его мысль, они сказали, что не умеют мыть посуду.

— Это очень забавно! Сейчас я вас научу! — закричал юноша. — Лягте на... я хочу сказать, свесьтесь с берега и положите посуду в воде.

Старшая сестра сказала, что не уверена, подходят ли их платья для подобной работы.

— Ничего с ними не сделается, — беспечно объяснил носовой. — Подоткните их.

И он заставил-таки девушек вымыть посуду! Он сказал, что в этом главная прелесть пикника. Девушки нашли, что это очень интересно.

Теперь я иногда спрашиваю себя, был ли этот юноша так туп, как мы думали? Или, может быть, он... Нет, невозможно! У него был такой простой, детски-наивный вид!

Гаррису захотелось выйти в Хэмптон-Корте и посмотреть могилу миссис Томас.

— Кто такая миссис Томас? — спросил я.

— Почем я знаю, — ответил Гаррис. — Это дама, у которой интересная могила, и я хочу ее посмотреть.

Я возражал против этого. Не знаю, может быть, я не так устроен, как другие, но меня как-то никогда не влекло к надгробным плитам. Я знаю, что первое, что подобает сделать, когда вы приезжаете в какой-нибудь город или деревню, — это бежать на кладбище и наслаждаться видом могил, но я всегда отказываю себе в этом развлечении. Мне неинтересно бродить по темным, холодным церквам вслед за каким-нибудь астматическим старцем и читать надгробные надписи. Даже вид куска потрескавшейся бронзы, вделанной в камень, не доставляет мне того, что я называю истинным счастьем.

Я шокирую почтенных причетников невозмутимостью, с какой смотрю на трогательные надписи, и полным отсутствием интереса к генеалогии обитателей данной местности. А мое плохо скрываемое стремление поскорее выбраться из церкви кажется им оскорбительным.

Однажды золотистым солнечным утром я прислонился к невысокой стене, ограждающей маленькую сельскую церковь, и курил, с глубокой, тихой радостью наслаждаясь безмятежной картиной: серая старинная церковь с деревянным резным крыльцом, увитая гирляндами плюща, белая дорога, извивающаяся по склону горы между рядами высоких вязов, домики с соломенными крышами, выглядывающие из-за аккуратно подстриженных изгородей, серебристая река в ложбине, покрытые лесом горы вдали...

Чудесный пейзаж! В нем было что-то идиллическое, поэтичное, он вдохновлял меня... Я казался себе добрым и благородным. Я чувствовал, что не хочу больше быть грешным и безнравственным. Мне хотелось поселиться здесь, никогда больше не поступать дурно и вести безупречную, прекрасную жизнь; мне хотелось, чтобы седина посеребрила мне волосы, когда я состарюсь, и т. д. и т. д.

В эту минуту я прощал всем моим друзьям и знакомым их греховность и дурной нрав и благословлял их. Они не знали, что я их благословляю. Они шли своим дурным путем, не имея понятия о том, что я делал для них в этой далекой мирной деревне. Но я все же делал это, и мне хотелось, чтобы они это знали, так как я желал сделать их счастливыми.

Такие возвышенные, добрые мысли мелькали у меня в голове, и вдруг моя задумчивость была прервана тоненькими, пронзительными возгласами:

— Все в порядке, сэр! Я иду, иду. Все в порядке, сэр! Не спешите.

Я поднял глаза и увидел лысого старика, который ковылял по кладбищу, направляясь ко мне; в руках у него была огромная связка ключей, которые тряслись и гремели при каждом его шаге.

С молчаливым достоинством я махнул ему рукой, чтобы он уходил. Но старик все приближался, неумолчно крича:

— Я иду, сэр, иду! Я немного хромаю. Теперь я уже не такой прыткий, как раньше. Сюда, сэр!

— Уходи, о несчастный старец, — сказал я.

— Я торопился изо всех сил, сэр! — продолжал старик. — Моя хозяйка вот только сию минуту заметила вас. Идите за мной, сэр!

— Уходите, — повторил я, — оставьте меня, пока я не перелез через стену и не убил вас.

Старик, видимо, удивился.

— Разве вы не хотите посмотреть могилы? — спросил он.

— Нет, — ответил я. — Не хочу. Я хочу стоять здесь, приклонившись к этой старой крепкой стене. Уходите, не мешайте мне. Я доверху полон прекрасными, благородными мыслями и хочу остаться таким, ибо чувствую себя добрым и хорошим. Не болтайте же здесь и не бесите меня. Вы рассеете все мои добрые чувства вашими нелепыми могильными камнями. Уходите и найдите кого-нибудь, кто похоронит вас за дешевую цену, а я оплачу половину расходов.

На минуту старик растерялся. Он протер глаза и пристально посмотрел на меня. Снаружи я был достаточно похож на человека. Старик ничего не понимал.

— Вы приезжий? — спросил он. — Вы не живете здесь?

— Нет, не живу, — сказал я. — Если бы я жил здесь, вы бы здесь не жили.

— Ну, значит, вы хотите посмотреть могилы, — сказал старик. — Гробницы, знаете ли, закопанные люди, памятники.

— Вы обманщик, — ответил я, начиная раздражаться. — Я не хочу смотреть ваши могилы. Зачем это мне? У нас есть свои могилы — у нашей семьи. Могилой моего дяди Поджера на кладбище Кенсел-Грин гордится вся округа; гробница

моего дяди в Бау может принять восемь постояльцев, а моя двоюродная бабушка Сюзен покоится в кирпичной гробнице на кладбище в Финчли; надгробный камень ее украшен барельефом в виде кофейника, а вдоль всей могилы тянется шестидюймовая ограда из лучшего белого камня, которая стоила немалых денег. Если мне требуются могилы, я хожу в те места и наслаждаюсь ими. Мне не нужны чужих могил. Когда вас самого похоронят, я приду и посмотрю на вашу могилу. Это все, что я могу для вас сделать.

Старик залился слезами. Он сказал, что на одной из могил лежит камень, про который говорят, будто это все, что осталось от изображения какого-то мужчины, а на другом камне вырезаны какие-то слова, которых никто еще не мог разобрать.

Я продолжал упорствовать, и старик сказал сокрушенным тоном:

— Может быть, вы посмотрите надгробное окно?

Я не согласился даже на это, и старик выпустил свой последний заряд. Он подошел ближе и хрипло прошептал:

— У меня есть там внизу, в склепе, пара черепов. Посмотрите на них. Идемте же, посмотрите черепа. Вы молодой человек, вы путешествуете и должны доставить себе удовольствие. Пойдемте, посмотрите черепа.

Тут я обратился в бегство и на бегу слышал, как старик кричал:

— Посмотрите черепа! Вернитесь же, посмотрите черепа!

Но Гаррис упивается видом могил, гробниц, эпитафий и надписей на памятниках, и от мысли, что он может не увидеть могилы миссис Томас, он совершенно свихнулся. Он заявил, что предвкушал возможность увидеть эту могилу с того момента, как была задумана наша прогулка, и что не присоединился бы к нам, не будь у него надежды увидеть могилу миссис Томас.

Я напомнил Гаррису о Джордже и о том, что мы должны доставить лодку к пяти часам в Шеппертон и встретить его, и Гаррис принялся за Джорджа. Чего это Джордж целый день болтается и заставляет нас одних таскать эту громоздкую старую перегруженную лодку вверх и вниз по реке и встречать его! Почему Джордж не мог сам прийти и поработать? Почему он не взял себе свободный день и не по-

ехал с нами? Провалился этот банк! Какая польза банку от Джорджа?

— Когда бы я туда ни пришел, — продолжал Гаррис, — я ни разу не видел, чтобы Джордж что-нибудь делал. Он весь день сидит за стеклом и притворяется, будто чем-то занят. Что пользы от человека, который сидит за стеклом? Я должен работать, чтобы жить. Почему же он не работает? Зачем он там нужен и какой вообще толк от всех этих банков? Они берут у вас деньги, а потом, когда вы выпишиваете чек, возвращают его, испещрив во всех направлениях надписями: «Исчерпан. Обратитесь к чекодателю». Какой во всем этом смысл? Этот фокус они проделали со мной на прошлой неделе дважды. Я не намерен долго терпеть подобные вещи. Я закрою свой счет. Будь Джордж здесь, мы могли бы посмотреть могилу. Я вообще не верю, что он в банке. Просто он где-нибудь шляется, а нам приходится работать. Я выйду и пойду чего-нибудь выпью.

Я указал Гаррису, что мы находимся на расстоянии многих миль от трактира, и Гаррис принялся ругать реку. Какая польза от этой реки, и неужели всякий, кто отдыхает на реке, должен умереть от жажды? Когда Гаррис в таком настроении, лучше всего ему не мешать. В конце концов он выдыхается и сидит потом спокойно.

Я напомнил ему, что в корзине есть концентрированный лимонад, а на носу стоит целый галлон воды. Надо только смешать одно с другим, и получится вкусный, освежающий напиток.

Тут Гаррис накинулся на лимонад и «всякую — по его выражению — бурду, годную лишь для школьников», вроде имбирного пива, малинового сиропа и т.д. Все они расстраивают желудок, губят тело и душу и являются причиной половины преступлений, совершаемых в Англии.

Но все же, заявил он, ему необходимо чего-нибудь выпить. Он влез на скамью и наклонился, чтобы достать бутылку. Она лежала на самом дне корзины, и ее, видимо, было нелегко найти. Гаррису приходилось наклоняться все больше и больше; пытаясь при этом управлять лодкой и видя все вверх дном, он потянул не за ту веревку и вогнал лодку в берег. Толчок опрокинул его, и он нырнул прямо в корзину и стоял в ней головой вниз, судорожно вцепившись руками в борта лодки и задрал ноги кверху. Он не отважился

шевелинуться, чтобы не полететь в воду, и ему пришлось стоять так, пока я не вытянул его за ноги, отчего он еще больше взбесился.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Шантаж. — Какую политику следует при этом проводить. — Себялюбивая грубость земельного собственника. — «Объявления». — Нехристианские чувства Гарриса. — Как Гаррис поет комические куплеты. — Культурная вечеринка. — Постыдное поведение двух порочных молодых людей. — Бесплезные сведения. — Джордж покупает банджо.

Мы остановились у Хэмптон-парка, под ивами, и стали завтракать. Это приятная местность: вдоль берега здесь тянется веселый зеленый луг, осененный ивами. Мы только что взяли за третье блюдо — хлеб с вареньем, как появился какой-то джентльмен без пиджака и с короткой трубкой и осведомился, известно ли нам, что мы вторглись в чужие владения. Мы ответили, что не уделили еще этому вопросу достаточного внимания, чтобы иметь возможность прийти к определенному выводу, но, если он поручится честным словом джентльмена, что мы действительно вторглись в чужие владения, мы готовы без дальнейших колебаний ему поверить.

Джентльмен с короткой трубкой дал нам требуемое заверение, и мы поблагодарили его. Но он продолжал ходить вокруг нас и, по-видимому, был недоволен, так что мы спросили, чем еще мы можем ему служить. Гаррис, человек по натуре компанейский, даже предложил ему кусок хлеба с вареньем. Но этот джентльмен, вероятно, принадлежал к какому-нибудь обществу, члены которого поклялись воздерживаться от хлеба с вареньем; во всяком случае, он довольно-таки грубо отклонил предложение Гарриса, словно обиженный тем, что его пытаются соблазнить, и прибавил, что его обязанность — выставить нас отсюда.

Гаррис сказал, что, если такова его обязанность, она должна быть выполнена, и спросил, какие средства, по его мнению, являются для этого наилучшими. А Гаррис, надо сказать, хорошо сложен и роста вполне приличного и про-

изводит впечатление человека жилистого и крепкого. Джендльмен смерил его взглядом сверху донизу и сказал, что пойдет посоветоваться со своим хозяином, а потом вернется и сбросит нас обоих в реку.

Разумеется, мы его больше не видели, и разумеется, все, что ему было нужно, — это один шиллинг. На побережье попадаются подобные хулиганы, которые сколачивают за лето порядочное состояние, болтаясь по берегу и шантажируя таким образом слабохарактерных дурачков. Они выдают себя за уполномоченных землевладельца. Лучшая политика в этом случае — сказать свое имя и адрес и предоставить хозяину, если он действительно имеет отношение к этому делу, вызвать вас в суд и доказать, что вы нанесли вред его земле, посидев на ней. Но большинство людей до того лениво и робко, что им приятнее поощрять это насилие, уступая ему, чем прекратить его, проявив некоторую твердость характера.

В тех случаях, когда действительно виноваты хозяева, их следует разоблачать. Эгоизм прибрежных землевладельцев усиливается с каждым годом. Дай им волю, они бы совсем заперли реку Темзу. Они уже фактически делают это в притоках и каналах. Они вбивают в дно реки столбы, протягивают от берега до берега цепи и приколачивают к каждому дереву огромные доски с предупреждениями. Вид этих досок пробуждает во мне самые дурные инстинкты. Мне хочется сорвать их и до тех пор барабанить ими по голове человека, который их повесил, пока он не умрет. Потом я его похороню и положу доску ему на могилу вместо надгробного памятника.

Я поделился своими чувствами с Гаррисом, и Гаррис сказал, что с ним дело обстоит еще хуже. Ему хочется не только убить человека, который велел повесить доску, но перерезать всю его семью, друзей и родственников и потом сжечь его дом. Такая жестокость показалась мне несколько чрезмерной, и я высказал это Гаррису. Но Гаррис возразил:

— Ничего подобного. Так им и надо. Я еще спел бы на развалинах куллеты.

Меня огорчило, что Гаррис настроен так кровожадно. Никогда не следует допускать, чтобы чувство справедливости вырождалось в простую мстительность. Потребовалось много времени, чтобы убедить Гарриса принять более хри-

стианскую точку зрения, но наконец это удалось. Он обещал, во всяком случае, пощадить друзей и родственников и не петь на развалинах куплетов.

Если бы вам хоть раз пришлось слышать, как Гаррис поет комические куплеты, вы бы поняли, какую услугу я оказал человечеству. Гаррис одержим навязчивой идеей, будто он умеет петь комические куплеты. Друзья Гарриса, которым довелось его слышать, наоборот, твердо убеждены в том, что он не умеет и никогда не будет уметь петь и что ему нельзя позволять это делать.

Когда Гаррис сидит где-нибудь в гостях и его просят спеть, он отвечает: «Вы же знаете — я пою только комические куплеты», причем говорит это с таким видом, будто их-то он во всяком случае поет так, что достаточно один раз его услышать — и можно спокойно умереть.

— Ну вот и хорошо, — говорит хозяйка дома. — Спойте что-нибудь, мистер Гаррис.

И Гаррис поднимается и идет к роялю с широкой улыбкой добряка, который собирается сделать кому-нибудь подарок.

— Теперь, пожалуйста, тише, — говорит хозяйка, оглядываясь по сторонам. — Мистер Гаррис будет петь куплеты.

— Ах, как интересно! — слышится шепот.

Все спешат из зимнего сада, спускаются с лестницы, собирают людей со всего дома и толпой входят в гостиную. Потом все садятся в кружок, заранее улыбаясь.

И Гаррис начинает.

Конечно, для пения куплетов не требуется особых голосовых данных. Вы не ожидаете точности фразировки или чистоты звука. Неважно, если певец на середине ноты вдруг обнаруживает, что забрался слишком высоко и рывком съезжает вниз. Темп тоже не имеет значения. Мы простим певцу, если он обогнал аккомпанемент на два такта и вдруг останавливается посреди строки, чтобы обсудить этот вопрос с пианистом, а потом начинает куплет снова. Но мы ждем слов. Мы не готовы к тому, что певец помнит только три строки первого куплета и повторяет их до тех пор, пока не приходит время вступить хору. Мы не думали, что он способен вдруг остановиться на полуслове и с глупым хихиканьем сказать, что как это ни забавно, но черт его побери, если он помнит, как там идет дальше. Потом он пробует со-

чинить что-нибудь от себя и после этого, дойдя уже до другого куплета, вдруг вспоминает и без всякого предупреждения останавливается, чтобы начать все снова и немедленно сообщить вам забытые слова. Мы не думали...

Но лучше я попробую показать вам, что такое пение Гарриса, и тогда судите сами.

Гаррис (*стоя перед фортепиано и обращаясь к публике*). Боюсь, что это слишком старо, знаете ли. Вам всем, наверное, известна эта песня. Но это единственное, что я пою. Это песня судьбы из «Передника», то есть, я хочу сказать, не из «Передника», а... Ну, да вы знаете, что я хочу сказать. Ну, из той, другой оперетки. Вы все будете подпевать хором, разумеется.

Радостный шепот — всем хочется петь хором. Блестяще исполненное взволнованным пианистом вступление к песне судьбы из «Суда присяжных». Гаррису пора начинать. Гаррис не замечает этого. Нервный пианист снова начинает вступление. Гаррис в ту же минуту принимается петь и одним духом выпаливает две начальные строки песенки Первого лорда из «Передника». Нервный пианист пробует продолжать вступление, сдается, пытается догнать Гарриса, аккомпанируя песне судьбы из «Суда присяжных», видит, что это не подходит, пытается сообразить, что он делает и где находится, чувствует, что разум изменяет ему, и смолкает.

Гаррис (*ласково, желая его ободрить*). Прекрасно! Вы замечательно аккомпанируете. Продолжайте.

Нервный пианист. Боюсь, что где-то произошла ошибка. Что вы поете?

Гаррис (*быстро*). Как что? Песню судьбы из «Суда присяжных». Разве вы не знаете?

Один из приятелей Гарриса (*из глубины комнаты*). Да нет! Ты поешь песню адмирала из «Передника».

Продолжительный спор между Гаррисом и его приятелем о том, что именно поет Гаррис. Приятель наконец говорит, что это несущественно, лишь бы Гаррис вообще что-нибудь пел. Гаррис, которого явно терзает чувство ос-

корбленной справедливости, просит пианиста начать снова. Пианист играет вступление к песне адмирала. Гаррис, выбрав подходящий, по его мнению, момент, начинает:

Когда в дни юности я адвокатом стал...

Общий хохот, принимаемый Гаррисом за знак одобрения. Пианист, вспомнив о жене и детях, отказывается от неравной борьбы и уходит. Его место занимает человек с более крепкими нервами.

Новый пианист (*весело*). Ну, старина, начинайте, а я пойду следом. Не стоит возиться со вступлением.

Гаррис (*который постепенно уяснил себе причину всего происходящего, со смехом*). Ах, Боже мой! Извините, пожалуйста! Ну, конечно, я перепутал эти песни. Это Дженкинс меня смутил. Ну, валяйте! (*Поет. Его голос звучит как из погребца и напоминает первые предвестники приближающегося землетрясения.*)

В дни юности в конторе я служил,
Рассыльным у поверенного был.

(*В сторону, пианисту.*) Слишком низко, старина. Начнем еще раз, если не возражаете.

Снова поет те же две строчки, на сей раз высоким фальцетом. Публика удивлена. Нервная старая дама у камина начинает плакать, и ее приходится увести.

Я окна мыл, и пол я натирал,
Я...

Нет, нет, «я стекла на парадной начищал и пол до блеска натирал». Нет, черт побери, извините, пожалуйста! Вот забавно! Не могу вспомнить эту строчку. «Я... я...» Ну, ладно, попробуем прямо перейти к припеву. (*Поет.*)

И я, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Теперь во флоте королевском адмирал.

Ну же, хор, повторяйте последние две строчки!

Хор.

И он, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Теперь во флоте королевском адмирал.

А Гаррис так и не понимает, в каком он оказался дурацком положении и как он надоел людям, которые не сделали ему ничего дурного. Он искренне думает, что доставил им удовольствие, и обещает спеть после ужина еще.

В связи с куплетами и вечеринками я вспомнил один любопытный случай, которому я был свидетелем. Он бросает яркий свет на процесс человеческого мышления и потому, думается мне, должен быть упомянут в этой книге.

Нас собралось несколько человек, очень светских и высококультурных. Мы надели свои лучшие костюмы, вели тонкие разговоры и были очень довольны — все, кроме двух молодых студентов, только что вернувшихся из Германии. Это были самые обыкновенные юноши, и они чувствовали себя как-то беспокойно и неуютно, словно находя, что время тянется слишком медленно. Дело в том, что мы были для них чересчур умны. Наш блестящий, но утонченный разговор и наши изысканные вкусы были им недоступны. В нашей компании они были явно не к месту. Им вообще не следовало быть здесь. Впоследствии все пришли к этому выводу.

Мы играли произведения старинных немецких композиторов. Мы рассуждали о философии, об этике. Мы с изящным достоинством занимались флиртом. Мы даже острили — в светском тоне. После ужина кто-то прочитал французские стихи, и мы нашли их прекрасными. Потом одна дама спела чувствительную балладу по-испански, и некоторые из нас даже заплакали, до того она была трогательна.

И вдруг один из этих молодых людей поднялся и спросил, слышали ли мы когда-нибудь, как герр Шлоссен-Бошен (он только что приехал и сидел внизу в столовой) поет немецкую комическую песню. Никому из нас как будто не приходилось ее слышать. Молодые люди сказали, что это самая смешная песня на свете и что, если угодно, они попросят герра Шлоссен-Бошена, с которым они хорошо знакомы, спеть ее. Это такая смешная песня, что когда герр Шлоссен-Бошен спел ее германскому императору, его (германского императора) пришлось увести и уложить в постель.

Никто не может спеть эту песню так, как герр Шлоссен-Бошен, говорили они. Исполняя ее, герр Шлоссен-Бошен все время так глубоко серьезен, что может показаться,

будто он играет трагедию, и от этого все становится еще смешнее. Он не показывает голосом или поведением, что поет что-то смешное, — это бы все испортило. Именно его серьезный, почти патетический тон и делает пение таким бесконечно забавным.

Мы заявили, что жаждем его услышать, что испытываем потребность в здоровом смехе. Молодые люди спустились вниз и привели герра Шлоссен-Бошена.

Он, по-видимому, был рад нам спеть, потому что пришел немедленно и, не говоря ни слова, сел за рояль.

— Вот это будет забава! Вы посмеетесь, — шепнули нам молодые люди, проходя через комнату, и скромно заняли места за спиной профессора.

Герр Шлоссен-Бошен аккомпанировал себе сам. Вступление не предвещало особенно смешной песни. Это была медленная, полная чувства мелодия, от которой по спине пробегал холодок. Но мы шепнули друг другу, что это немецкий способ смешить, и приготвилились наслаждаться.

Сам я не понимаю по-немецки. Я изучал этот язык в школе, но забыл все до последнего слова через два года после ее окончания и с тех пор чувствую себя значительно лучше. Все же я не хотел обнаружить перед присутствующими свое невежество. Поэтому я прибегнул к хитрой уловке: я не спускал глаз с молодых студентов и следовал их примеру. Когда они хихикали, я тоже хихикал, когда они хохотали, я тоже хохотал. Кроме того, я по временам слегка улыбался, словно отмечая смешную черточку, которой они не уловили. Этот прием я считал особенно удачным.

Через некоторое время я заметил, что многие из присутствующих, как и я, не сводили глаз с молодых людей. Они тоже хихикали, когда те хихикали, и хохотали, когда те хохотали. И так как эти молодые люди хихикали, хохотали и ржали почти непрерывно во время всей песни, дело шло замечательно.

Тем не менее немецкий профессор не казался довольным. Сначала, когда мы захохотали, его лицо приняло крайне удивленное выражение, словно он меньше всего ожидал, что его пение встретят смехом. Мы сочли это очень забавным и подумали, что в серьезности профессора — половина его успеха. Малейший намек на то, что он знает, как он

смешон, погубил бы все. Мы продолжали смеяться, и его удивление сменилось негодованием и досадой. Он окинул яростным взглядом нас всех, кроме тех двух студентов, которых он не видел, так как они сидели сзади. Тут мы прямо покатались со смеху. Мы говорили друг другу, что эта песня нас уморит. Одних слов было бы достаточно, чтобы довести нас до припадка, а тут еще эта притворная серьезность. Нет, это уже чересчур!

В последнем куплете профессор превзошел самого себя. Он опалил нас взглядом, полным такой сосредоточенной ярости, что, не будь мы предупреждены о германской манере петь смешные песни, нам бы стало страшно. В его странной мелодии зазвучал такой вопль страдания, что мы бы заплакали, если бы не знали, что песня смешная.

Когда профессор кончил, все прямо визжали от смеха. Мы говорили, что в жизни не слышали ничего смешнее этой песни. Нам казалось очень странным, что, несмотря на подобные песни, в публике существует мнение, будто немцы лишены чувства юмора. Мы спросили профессора, почему он не переведет эту песню на английский язык, чтобы все могли понимать слова и узнали бы, что такое настоящая комическая песня.

Тут герр Шлюссен-Бошен встал и разразился. Он ругал нас по-немецки (мне кажется, это исключительно подходящий язык для такой цели), приплясывал, потрясал кулаками и обзывал нас всеми скверными английскими словами, какие знал. Он говорил, что его еще никогда в жизни так не оскорбляли.

Оказалось, что эта песня вовсе не комическая. В ней говорилось про одну молодую девушку, которая жила в горах Гарца и пожертвовала жизнью, чтобы спасти душу своего возлюбленного. Он умер и встретил в воздухе ее дух, а потом, в последнем куплете, он изменил ее духу и удрал с другим духом. Я не совсем уверен в подробностях, но знаю, что это было что-то очень печальное. Герр Бошен сказал, что ему пришлось однажды петь эту песню в присутствии германского императора, и он (германский император) рыдал, как дитя. Он (герр Бошен) заявил, что эта песня вообще считается одной из самых трагических и чувствительных в немецкой музыкальной литературе.

Мы были в тяжелом, очень тяжелом положении. Отвечать, казалось, было нечего. Мы поискали глазами двух молодых людей, которые нас так подвели, но они незаметным образом скрылись, едва только песня была окончена.

Таков был конец этого вечера. Я никогда не видел, чтобы гости расходились так тихо, без всякой суеты. Мы даже не попрощались друг с другом. Мы спускались вниз поодиночке, стараясь ступать бесшумно и придерживаясь неосвещенной стороны. Мы шепотом просили лакея подать нам пальто, сами открывали двери, выскальзывали и поскорее сворачивали за угол, избегая смотреть друг на друга. С тех пор я уже никогда не проявлял особого интереса к немецким песням.

В половине четвертого мы подошли к шлюзу Санбери. Река здесь полна очарования, и отводной канал удивительно красив, но не пробуйте подняться по нему на веслах.

Однажды я попробовал это сделать. Я сидел на веслах и спросил приятелей, которые правили рулем, можно ли подняться вверх по течению. Они ответили: да, разумеется, если я очень постараюсь. Когда они это сказали, мы были как раз под пешеходным мостиком, переброшенным между двумя дамбами.

Я собрался с силами, налег на весла и начал грести.

Я греб великолепно. У меня скоро выработался непрерывный ритмический мах. Я действовал руками, ногами, спиной. Я греб быстро и красиво, работал в блестящем стиле. Приятели говорили, что смотреть на меня — чистое удовольствие. Когда прошло пять минут, я решил, что мы должны быть уже близко от запруды, и поднял глаза. Мы стояли под мостом, на том самом месте, с которого я начал, а мои два идиота хохотали так, что рисковали заболеть. Я, оказывается, лез из кожи, чтобы удержать лодку на одном месте, под мостом. Пусть теперь другие пробуют ходить на веслах по отводным каналам против сильного течения!

Мы поднялись вверх до Уолтона. Это одно из сравнительно больших местечек на побережье. Как и во всех прибрежных городах, только крошечный уголок Уолтона спускается к реке, так что с лодки может показаться, что это деревушка, состоящая из какого-нибудь десятка домиков. Кроме Виндзора и Эдингтона, между Лондоном и Оксфордом

нет ни одного города, который был бы виден с реки целиком. Все остальные прячутся за углом и выглядывают на реку только какой-нибудь одной улицей. Спасибо им за то, что они так деликатны и предоставляют берега лесам, полям и водопроводным станциям.

Даже Рэдинг, хотя он изо всех сил старается изгадить, загрязнить и обезобразить как можно более обширный участок реки, достаточно добродушен, чтоб спрятать значительную часть своего некрасивого лица.

У Цезаря, разумеется, было именьице также и около Уолтона: лагерь, укрепление или что-то в этом роде. Цезарь ведь был большой любитель рек. Королева Елизавета тоже бывала здесь. От этой женщины никуда не скроешься. Кромвель и Брэдшо (не автор путеводителя, а судья, приговоривший к смерти короля Карла) тоже сюда заглядывали. Веселенькая, вероятно, была компания.

В Уолтонской церкви хранится железная «узда для сварливых». В прежнее время эти предметы употребляли, чтобы обуздать женщинам языки. Теперь от таких попыток отказались. Вероятно, железа стало мало, а всякий другой материал для этого слишком мягок. В той же церкви есть несколько интересных могил, и я боялся, что мне не удастся оттащить от них Гарриса. Но он, видимо, о них не думал, и мы продолжали путь. Выше моста река удивительно извилиста. Это придает ей живописность, но действует раздражающе на тех, кто гребет или тянет бечеву, и вызывает споры между гребцом и рулевым.

На правом берегу расположен Отлэндс-парк. Это знаменитое старинное поместье. Генрих VIII украл его у кого-то, не помню у кого, и поселился там. В парке есть грот, который можно осматривать за плату. Он считается очень интересным, но я лично не нахожу в нем ничего особенного. Покойная герцогиня Йоркская, которая жила в этом поместье, очень любила собак и держала их несметное количество. Она устроила особое кладбище, чтобы хоронить собак, когда они околеют, и теперь их лежит там штук пятьдесят, и над каждой поставлен надгробный камень с надписью.

Ну что же, сказать по правде, они заслуживают этого в такой же мере, как любой заурядный христианин.

У Корузэй-Стэйкса — первой излучины после Уолтонского моста — произошла битва между Цезарем и Кассивелау-

ном. Кассивелаун, ожидая прихода Цезаря, понатыкал в реку столбов (и, наверное, прибил к ним доски с надписями). Но Цезарь все же перешел на другой берег. Цезаря нельзя было отогнать от этой реки. Вот кто бы нам теперь пригодился, чтобы воевать с приречными землевладельцами!

Хэлифорд и Шеппертон — красивые местечки в той части, где они подходят к реке, но в них нет ничего примечательного. На шеппертонском кладбище есть, правда, могила, на которой воздвигнут камень со стихами, и я опасался, как бы Гаррис не пожелал выйти и побродить вокруг нее. Я увидел, с какой тоской он смотрел на пристань, когда мы подъезжали, и ловким движеньем сбросил его кепку в воду. Хлопоты, связанные с ее выуживанием, и гнев на мою неловкость заставили Гарриса позабыть о своих любимых могилах.

Близ Уэйбриджа река Уэй (симпатичная речонка, по которой можно проплыть в небольшой лодке до самого Гилдфорда; я давно собираюсь исследовать ее, но так и не собрался), Берн и Бэзингетокский канал сливаются и вместе впадают в Темзу. Шлюз находится как раз напротив городка, и первое, что мы заметили, когда он стал виден, была фуфайка Джорджа у одного из ворот шлюза. Ближайшее исследование выяснило, что она облекала тело своего обладателя. Монморенси поднял дикий лай, я завопил, Гаррис заорал. Джордж крикнул нам в ответ. Сторож шлюза выбежал с драгой в руках, уверенный, что кто-нибудь упал в воду, и был явно раздосадован, убедившись в своей ошибке.

Джордж держал в руках какой-то странный пакет, завернутый в клеенку. Он был круглый и плоский на конце, и из него торчала длинная прямая ручка.

— Что это такое? — спросил Гаррис. — Сковородка?

— Нет, — ответил Джордж, поглядывая на нас с каким-то опасным блеском в глазах. — В этом году это очень модно. Все берут их с собой на реку. Это — банджо.

— Вот не знал, что ты играешь на банджо! — вскричали мы с Гаррисом в один голос.

— Я и не играю, — ответил Джордж. — Но это, говорят, очень легко. Кроме того, у меня есть самоучитель.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Джорджа запрягают в работу. — Дурные инстинкты бечевы. — Неблагодарное поведение четырехвесельной лодки. — Влекущие и влекомые. — Новое занятие для влюбленных. — Странное исчезновение пожилой дамы. — Постешишь — людей насмешишь. — На бечеве за девушками — сильное ощущение. — Пропавший шлюз, или Заколдованная река. — Музыка. — Спасены!

Заполучив наконец Джорджа, мы заставили его работать. Джорджу, конечно, не хотелось работать — это само собой разумеется. Ему порядком пришлось потрудиться в Сити, объяснил он. Гаррис, человек по натуре черствый и не склонный к жалости, сказал:

— Ах вот как! Ну а теперь тебе придется для разнообразия потрудиться на реке. Перемена полезна всякому. Выходи-ка!

По совести (даже при такой совести, как у Джорджа), Джорджу было нечего возразить, хотя он высказал мнение, что, может быть, ему лучше остаться в лодке и приготовить чай, в то время как мы с Гаррисом будем тянуть бечеву. Ведь приготовление чая — очень утомительное занятие, а мы с Гаррисом, видимо, устали. Вместо ответа мы передали ему бечеву, и он взял ее и вышел из лодки.

У бечевы есть некоторые странные и необъяснимые свойства. Вы сматываете ее так терпеливо и бережно, словно задумали сложить новые брюки, а пять минут спустя, подняв ее с земли, видите, что она превратилась в какой-то ужасный, отвратительный клубок. Я не хочу никого обидеть, но я твердо убежден, что если взять обыкновенную бечеву, растянуть ее посреди поля и на полминуты отвернуться, то окажется, что она за это время собралась в кучу, скрутилась, завязалась в узлы и превратилась в сплошные петли, а оба ее конца куда-то исчезли. Чтобы распутать ее, вам придется добрых полчаса просидеть на траве, непрерывно ругаясь.

Таково мое мнение о бечевках вообще. Конечно, могут быть достойные исключения, я не говорю, что их нет. Может быть, существуют бечевки, делающие честь своему словию, — добросовестные, почтенные бечевки, которые не изображают из себя вязальных ниток и не пытаются

превратиться в салфеточки, как только их предоставят самим себе. Повторяю, подобные бечевки, может быть, и существуют. Я искренно надеюсь, что это так. Но мне не пришлось с ними встречаться.

Нашей бечевкой я занялся самолично, незадолго до того, как мы подъехали к шлюзу. Я не позволил Гаррису прикасаться к ней, потому что Гаррис небрежен. Я медленно и старательно смотал ее, завязал посредине, сложил пополам и тихонько опустил на дно лодки; Гаррис по всем правилам искусства поднял ее и вложил в руку Джорджа. Джордж крепко держал бечеву, отставил руку подальше и начал ее разматывать с такой осторожностью, словно распеленывал новорожденного младенца. Но не успел он раскрутить и десяти ярдов, как она уподобилась плетенному коврику, сделанному неумелыми руками новичка.

Так бывает всегда, и это неизменно влечет за собой одинаковые последствия. Человек на берегу, который пытается размотать бечеву, думает, что во всем виноват тот, кто ее сматывал. А когда человек на берегу реки что-нибудь думает, он высказывает это без обиняков.

— Что ты сделал с этой бечевой? Хотел сплести из нее рыбачью сеть? Здорово же ты ее запутал! Неужели нельзя было свернуть ее по-человечески, дуралей ты этакий!

Не переставая ворчать, он ведет отчаянную борьбу с бечевой, растягивает ее на дороге и бегаёт вокруг, стараясь найти ее конец.

Со своей стороны человек, который сматывал бечеву, думает, что основной виновник — тот, кто пытается ее раскрутить.

— Когда ты ее взял, она была в порядке! — с негодованием восклицает он. — Надо же думать о том, что делаешь! У тебя всегда все выходит кое-как. Ты ухитришься завязать узлом строительную балку!

Оба до того разгневаны, что каждому хочется повесить другого на этой самой бечеве. Проходит еще десять минут — и человек на берегу издает пронзительный вопль и впадает в бешенство. Он начинает плясать вокруг веревки и, желая ее распутать, тянет первую попавшуюся петлю. Разумеется, бечева от этого запутывается еще больше. Тогда его товарищ вылезает из лодки и хочет ему помочь, но они только толкаются и мешают друг другу. Оба хватаются за

один и тот же кусок веревки и тянут его в разные стороны, не понимая, почему он не поддается. В конце концов они распутывают веревку и, обернувшись к реке, убеждаются, что их лодку отнесло от берега и гонит к запруде.

Мне самому пришлось быть свидетелем такого случая. Это произошло утром у Бовени, в довольно ветреную погоду. Мы гребли вниз по течению и, обогнув небольшой мыс, увидели на берегу двух человек. Они смотрели друг на друга с таким растерянным и беспомощно-огорченным выражением, какого я ни прежде, ни после не видел на человеческом лице. Каждый держал в руке конец длинной бечевы. Было ясно, что что-то случилось, мы замедлили ход и спросили их, в чем дело.

— Нашу лодку угнало, — ответили они негодующим тоном. — Мы только вышли, чтобы распутать бечеву, а когда мы оглянулись, лодка исчезла. Они были явно оскорблены таким низким и неблагодарным поступком своей лодки. Мы нашли беглянку — она застряла в камышах на полмили ниже — и привели ее назад. Бьюсь об заклад, что после этого они целую неделю не давали ей случая поплавать на свободе. Я никогда не забуду, как эти двое ходили взад и вперед по берегу с бечевой в руках и разыскивали свою лодку.

Много забавных картинок можно наблюдать на реке! Часто приходится видеть, как двое быстро идут по берегу, таща за собой лодку и оживленно беседуя, а пассажир, в сотне ярдов позади них, тщетно кричит им, чтобы они остановились, и отчаянно размахивает веслом. У него что-то неладно — либо сломался руль, либо багор упал в воду, или шляпа слетела с головы и быстро плывет вниз по течению. Он просит товарищей остановиться, сначала кротко и вежливо.

— Эй, постойте-ка минутку! — весело кричит он. — Я уронил за борт шляпу.

Потом уже менее добродушно:

— Эй, Том, Дик, не слышите вы, что ли?!

Затем:

— Эй, черт вас возьми, идиоты вы этакие, стойте! Ах, чтоб вас!..

Тут он вскакивает и начинает метаться по лодке, багровея от крика и ругая все и вся. Мальчишки на берегу останавливаются, хохочут и кидают в него камнями, а он про-

носится мимо них со скоростью четырех миль в час и не может выйти.

Многих подобных неприятностей было бы легко избежать, если бы те, кто тянет лодку, помнили, что они ее тянут, и почаще оглядывались на своего спутника. Лучше, чтобы бечеву тянул кто-нибудь один. Если это делают двое, они, заболтавшись, забывают обо всем на свете, а лодка, которая оказывает весьма небольшое сопротивление, не может им напомнить, чем они заняты.

Как пример того, до какой степени двое людей, тянущих лодку, могут забыть о своем деле, Джордж рассказал нам вечером, когда мы разговаривали на эту тему, одну очень любопытную историю.

Однажды под вечер, рассказывал Джордж, ему пришлось вместе с тремя другими гребцами вести тяжело нагруженную лодку вверх по реке от Мэйденхеда. Несколько выше Кукхэмского шлюза они заметили какого-то человека и девушку, которые шли по дороге, видимо поглощенные интересным разговором. В руках у них был багор, а от багра тянулась привязанная к нему бечева, конец которой скрылся под водой. Но лодка отсутствовала, лодки нигде не было видно. Когда-то к этой бечеве, несомненно, была привязана лодка. Но что с ней случилось, какая ужасная судьба постигла ее и тех, кто в ней сидел, — это было окутано тайной.

Несчастье с лодкой, каково бы оно ни было, видимо, не очень беспокоило молодого человека и барышню. Веревка и багор были при них, и это, очевидно, казалось им вполне достаточным.

Джордж хотел было крикнуть и разбудить их, но вдруг у него в голове мелькнула блестящая идея, и он промолчал. Схватив багор, он наклонился и подтянул к себе конец веревки; спутники Джорджа сделали на нем петлю и накинули ее на свою мачту, а потом подобрали весла, уселись на корме и закурили трубки.

И молодой человек с барышней проволокли тяжелую лодку и этих четырех увесистых нахалов до самого Марло.

По словам Джорджа, он никогда не видел в чьем-либо взоре столько задумчивой грусти, как у этих молодых людей, когда, достигнув шлюза, они убедились, что целые две мили тянули на бечеве чужую лодку. Джордж подумал, что,

если бы не сдерживающее влияние кроткой женщины, юноша, пожалуй, не удержался бы от резких выражений.

Девушка опомнилась первой и, ломая руки, воскликнула отчаянным голосом: «Генри, а где же тетя?!»

— Что же, нашли они свою престарелую родственницу? — спросил Гаррис.

Джордж отвечал, что не знает этого.

Другой случай отсутствия духовной связи между влекущими и влекомыми пришлось однажды наблюдать мне самому вместе с Джорджем около Уолтона. Это было в том месте, где дорога отлого спускается к воде. Мы сидели на другом берегу и смотрели на реку.

Через некоторое время в виду показалась небольшая лодка. Она во весь опор мчалась по воде, влекомая могучей лошадью, на которой сидел очень маленький мальчик. В лодке мирно дремали в спокойных позах пять человек, особенно безмятежный вид был у рулевого.

— Хотел бы я, чтобы он потянул не за ту веревку, — проворчал Джордж, когда лодка плыла мимо.

И сейчас же рулевой сделал это — и лодка налетела на берег с таким треском, словно кто-то разорвал сразу сорок тысяч полотняных простынь. Два человека, корзина и три весла немедленно вылетели из лодки с бабборта и рассыпались по берегу; полторы секунды спустя еще двое покинули ее со штирборта и плюхнулись наземь среди крюков, парусов, мешков и бутылок. Последний пассажир проехал двадцатью ярдами больше и в конце концов вылетел головой вперед.

Это, видимо, облегчило лодку, и она пошла много быстрее; мальчик гикнул и пустил коня вскачь. Путники приподнялись и уставились друг на друга. Прошло несколько секунд, прежде чем они сообразили, что случилось; поняв это, они начали яростно кричать мальчишке, чтобы он остановился, но мальчишка был занят своей лошадью и ничего не слышал. Мы смотрели, как они мчались за ним следом, пока расстояние не скрыло их от нас.

Нельзя сказать, чтобы мне было их жалко. Наоборот, я желал бы, чтобы все болваны, которые заставляют тащить свои лодки таким способом (а это делают очень многие), испытали подобное же несчастье. Не говоря о риске, которому подвергаются они сами, их лодка представляет

опасность и неудобство для других. Идя таким ходом, они не могут свернуть в сторону и лишают других возможности посторониться. Их бечева цепляется за вашу мачту и перевертывает вас или задевает кого-нибудь из сидящих в лодке и либо сбрасывает его в воду, либо раскраивает ему физиономию. Самое правильное в таких случаях стойко держаться и быть готовым встретить их нижним концом мачты.

Из всех переживаний, связанных с бечевой, самое волнующее — когда ее тянут девушки. Это ощущение должен узнать всякий. Для того чтобы тянуть бечеву, всегда требуются три девушки: две тянут, третья бежит вокруг них и хохочет. Начинается обычно с того, что веревка обвивается у них вокруг ног, и им приходится садиться на дорогу и распутывать друг друга. Потом они наматывают веревку себе на шею и едва избегают удушения. В конце концов дело налаживается, и девушки бегом пускаются в путь с прямо-таки опасной скоростью. Через сто ярдов они, естественно, уже выдохлись и, внезапно остановившись, со смехом садятся на траву, а вашу лодку, прежде чем вы успели сообразить, в чем дело, и схватиться за весло, выносит на середину реки и начинает крутить. Девушки встают на ноги и громко удивляются.

— Посмотрите-ка, — говорят они, — он выехал на самую середину.

После этого они некоторое время тянут довольно прилежно. Вдруг одна из них вспоминает, что ей необходимо подколоть платье. Девушки замедляют ход, и лодка садится на мель.

Вы вскакиваете, сталкиваете лодку и кричите барышням, чтобы они не останавливались.

— Что? Что случилось? — кричат они вам в ответ.

— Не останавливайтесь! — вопите вы.

— Что?! Что?!

— Не останавливайтесь! Идите вперед! Вперед!

— Пойди, Эмили, узнай, что им нужно? — говорит одна из девушек.

Эмили возвращается назад и спрашивает, в чем дело.

— Что вам нужно? — спрашивает она. — Что-нибудь случилось?

— Нет, все в порядке, — отвечаете вы. — Только идите вперед, не останавливайтесь.

- Почему?
- Если вы будете останавливаться, мы не сможем править. Вы должны держать лодку в движении.
- Держать в чем?
- В движении. Лодка должна двигаться.
- Ладно, я им скажу. Что, хорошо мы тянем?
- Да, очень мило. Только не останавливайтесь.
- Это, оказывается, вовсе не трудно. Я думала, что это много тяжелей.
- Нет, это очень просто. Надо только все время тянуть. Вот и все.
- Понимаю. Достаньте мне мою красную шаль. Она под подушкой.

Вы отыскиваете шаль и подаете ее Эмили. В это время подходит другая девушка и тоже высказывает желание взять шаль. На всякий случай они берут шаль и для Мэри, но Мэри она, оказывается, не нужна, так что девушки приносят ее обратно и берут вместо нее гребень. На все это уходит минут двадцать. Наконец девушки снова трогаются в путь, но на следующем повороте они видят корову — и приходятся вылезать из лодки и прогонять корову.

Джордж через некоторое время наладил бечеву и провёл нас, не останавливаясь, до Пентон-Хука. Там мы принялись обсуждать важный вопрос о ночлеге. Мы решили провести эту ночь в лодке, и нам предстояло сделать привал либо здесь, либо уже выше Стэйнса. Укладываться сейчас, когда солнце еще светило, было рановато. Поэтому мы решили проплыть еще три мили с четвертью до Раннимиды. Это тихий лесистый уголок на реке, где можно найти надежный приют.

Впоследствии мы все, однако, жалели, что не остановились у Пентон-Хука. Проплыть три или четыре мили вверх по течению утром суший пустяк, но к концу дня это трудное дело. Окружающий ландшафт вас уже не интересует. Вам больше не хочется болтать и смеяться. Каждая полумиля тянется, как две. Вы не верите, что находитесь именно там, где находитесь, и убеждены, что карта врет. Протаскиваясь, как вам кажется, по крайней мере десять миль и все еще не видя шлюза, вы начинаете серьезно опасаться, что кто-нибудь стащил его и удрал. Я помню, однажды на реке меня совсем перевернуло (в переносном смысле, ко-

нечно). Я катался с одной барышней, моей кузиной по материнской линии, и мы плыли вниз по течению к Горингу. Мы слёгка опаздывали, и нам хотелось (барышне, по крайней мере, хотелось) поскорее вернуться домой. Когда мы доплыли до Бенсонского шлюза, было половина седьмого. Надвигались сумерки, и барышня начала волноваться. Она заявила, что ей надо быть дома к ужину. Я заметил, что тоже чувствую стремление не опоздать к этому событию, и вынул карту, чтобы удостовериться, далеко ли нам еще плыть. Я убедился, что до следующего шлюза — Уоллингфордского — остается ровно полторы мили, а оттуда до Клива — пять.

— Все в порядке, — сказал я. — Ближайший шлюз мы пройдем еще до семи, а там останется еще только один — и все. — И я налег на весла.

Мы миновали мост, и скоро после этого я спросил, видит ли она шлюз. Она ответила, что не видит. Я сказал: «А-а» — и продолжал грести. Через пять минут я опять задал ей тот же вопрос.

— Нет, — сказала она, — я не вижу никаких признаков шлюза.

— А ты... ты знаешь, что такое шлюз? — спросил я нерешительно, опасаясь, как бы она не обиделась.

Она и вправду обиделась и предложила мне убедиться самому. Я положил весла и оглянулся. Река, окутанная сумерками, была видна примерно на милю вперед, но ничего похожего на шлюз я на ней не заметил.

— А мы не могли заблудиться? — спросила моя спутница.

Я отмел такую возможность, хотя и допустил гипотезу, что мы могли каким-то образом попасть в боковое русло и сейчас приближаемся к водопаду.

Эта мысль не доставила ей радости, и она заплакала. Она сказала, что мы оба утонем и что это ей наказание за то, что она поехала со мной.

Мне такое наказание показалось чрезмерно строгим, но кузина моя стояла на своем и хотела только, чтобы все кончилось поскорее.

Я пытался успокоить ее, уговаривал не смотреть на дело так мрачно. Просто я, значит, гребу медленнее, чем мне казалось. Теперь-то уж мы скоро доберемся до шлюза. И я прогреб еще с милю.

После этого я уже сам начал нервничать. Я снова посмотрел на карту. Вот он, Уоллингфордский шлюз, ясно отмечен в полутора милях ниже Бенсонского. Это была хорошая, надежная карта, и, кроме того, я сам помнил этот шлюз. Я проходил его дважды. Где мы находимся? Что с нами произошло? Я начал думать, что все это сон, что на самом деле я сплю в своей кровати и через минуту проснусь и мне скажут, что уже одиннадцатый час.

Я спросил мою кузину, не думает ли она, что это сон. Она ответила, что только что собиралась задать мне тот же вопрос. Потом мы решили, что, может быть, мы оба спим, но в таком случае кто же из нас действительно видит сон, а кто представляет собой лишь сновиденье? Это становилось даже интересно.

Я продолжал грести, но шлюза по-прежнему не было. Река под набегающей тенью ночи становилась все сумрачней и таинственней, и все предметы казались загадочными и необычными. Я начал думать о домовых, леших, блуждающих огоньках и о тех грешных девушках, которые по ночам сидят на скалах и заманивают людей своим пением в водовороты и омуты. Я раскаивался, что не вел себя лучше и не выучил побольше молитв. И вдруг посреди этих размышлений я услышал благословенные звуки песенки «Он их надел», скверно исполняемой на гармонике, и понял, что мы спасены.

Обычно звуки гармоники не вызывают у меня особого восхищения. Но до чего прекрасной показалась нам обоим эта музыка в ту минуту! Много, много прекрасней, чем голос Орфея, или лютня Аполлона, или что-нибудь им подобное. Небесная мелодия при нашем тогдашнем состоянии духа лишь еще более расстроила бы нас. Трогательную, хорошо исполняемую музыку мы сочли бы вестью из потустороннего мира и потеряли бы всякую надежду. Но в судорожных, с произвольными вариациями, звуках «Он их надел», извлекаемых из визгливой гармошки, было что-то необыкновенно человеческое и успокоительное.

Эти сладкие звуки слышались все ближе и ближе, и вскоре лодка, с которой они доносились, уже стояла бок о бок с нашей.

В ней находилась компания деревенских кавалеров и барышень, выехавших покататься при лунном свете (луны

не было, но это уж не их вина). Никогда в жизни не видел я людей столь привлекательных и милых моему сердцу. Окликнув их, я спросил, не могут ли они указать мне дорогу к Уоллингфордскому шлюзу, и объяснил, что уже целых два часа ищу его.

— Уоллингфордский шлюз! — отвечали они. — Господи Боже мой, сэръ, вот уже больше года, как с ним разделались. Нет уже больше Уоллингфордского шлюза, сэръ! Вы теперь недалеко от Клива. Провалиться мне на этом месте, Билл, если этот джентльмен не ищет Уоллингфордский шлюз!

Такая возможность не приходила мне в голову. Мне хотелось броситься им всем на шею и осыпать их благословениями, но течение было слишком сильно и не допускало этого, так что пришлось ограничиться холодными словами признательности. Мы благодарили этих людей несчетное число раз. Мы сказали, что сегодня чудесная ночь, и пожелали им приятной прогулки. Я, кажется, даже пригласил их на недельку в гости, а моя кузина сказала, что ее мать будет страшно рада их видеть. Мы запели хор солдат из «Фауста» и в конце концов все-таки успели домой к ужину.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Первая ночевка. — Под брезентом. — Призыв о помощи. — Утрачье чайника; как его преодолеть. — Ужин. — Как почувствовать себя добродетельным. — Требуется уютно обставленный, хорошо осушенный необитаемый остров, предпочтительно в южной части Тихого океана. — Забавное происшествие с отцом Джорджа. — Беспокойная ночь.

Нам с Гаррисом начало казаться, что с Бель-Уирским шлюзом разделались точно таким же образом. Джордж вел нас на бечеве до Стэйнса, там мы сменили его. Нам представлялось, что мы тянем за собой пятьдесят тонн и прошли сорок миль. Когда мы кончили тянуть, было уже половина восьмого. Мы все уселись в лодку и подъехали к левому берегу, ища места, где бы высадиться. Первоначально мы предполагали пристать к острову Великой Хартии, в тихом, красивом месте, где река вьется по ровной, покрытой зеленью долине, и заночевать в одном из живописных

заливчиков, которых так много у этого островка. Но почему-то теперь мы не испытывали такого повышенного стремления к живописному, как утром. Водное пространство между угольной баржей и газовым заводом вполне удовлетворило бы нас в эту ночь. Нам не хотелось красивых пейзажей — нам хотелось поужинать и лечь спать. Тем не менее мы подгребли к мысу (он называется Мыс пикников) и остановились в приятном уголке, под могучим вязом, к широко разросшимся корням которого мы привязали нашу лодку.

После этого мы намеревались поужинать, но Джордж сказал: нет! Сначала, пока не совсем стемнело и еще видишь, что делаешь, нам следует натянуть брезент. Тогда с работой будет покончено, и мы с легким сердцем примемся за еду.

Но натягивание брезента оказалось более длительным делом, чем мы предполагали. В теории это выглядит очень просто. Вы берете пять железных дужек, похожих на гигантские ворота для крокета, устанавливаете их вдоль всей лодки, потом натягиваете на них брезент и привязываете его. Это займет минут десять, не больше, думали мы.

Но мы ошиблись.

Мы взяли дужки и начали вставлять их в приготовленные для них гнезда. Никто бы не подумал, что это опасная работа, но теперь, оглядываясь назад, я удивляюсь лишь тому, что все мы живы и еще можем об этом рассказывать. Это были не дужки — это были дьяволы. Сначала они вообще отказывались влезать в гнезда, так что нам пришлось прыгать по ним, бить их ногами и колотить багром. Когда они наконец влезли, оказалось, что мы вставили их в неправильном порядке, и их пришлось вынимать обратно.

Но они не хотели вылезать. С каждой двое из нас мучились по пять минут, после чего они внезапно выскакивали и пытались сбросить нас в воду и утопить. У них были посередине шарниры, и стоило нам отвернуться, как они шипали нас этими шарнирами за чувствительные места. Пока мы сражались с одной стороной дужки и пытались убедить ее выполнить свой долг, другая предательски подбиралась к нам сзади и ударила нас по голове.

Наконец мы вставили дужки, и нам осталось только натянуть на них брезент. Джордж развернул его и укрепил

один конец на носу. Гаррис встал посредине, чтобы взять его у Джорджа, а я держался на корме, готовясь поймать свой конец. Он долго не доходил до меня. Джордж сделал все, что нужно, но для Гарриса эта работа была внове, и он все испортил.

Как это ему удалось, я не знаю, Гаррис и сам не мог этого объяснить. Но после десятиминутных сверхчеловеческих усилий он хитрил совершенно закатать себя в парусину. Он до такой степени плотно закутался и завернулся в нее, что не мог высвободиться. Разумеется, он начал отчаянно бороться за свою свободу — природное право каждого англичанина — и во время борьбы (как я узнал после) сбил с ног Джорджа. Джордж, осыпая Гарриса ругательствами, тоже начал барахтаться и сам завернулся и закутался в парусину.

В то время я ничего об этом не знал. Я совершенно не понимал, в чем дело. Мне было велено стоять на месте и ждать, и мы с Монморенси стояли и ждали тихо и смиренно. Мы видели, что парусину сильно бьет и толкает во все стороны, но считали, что так и полагается, и не вмешивались.

До нас доносились из-под брезента приглушенные ругательства. Мы поняли, что работа, которой заняты Гаррис и Джордж, причиняет им некоторые неудобства, и решили, прежде чем присоединиться к ним, дать им немного успокоиться.

Мы подождали еще несколько минут, но положение, видимо, запутывалось все больше. Наконец из-под брезента высунулась винтообразным движением голова Джорджа и проговорила:

— Помоги же нам, балда ты этакая! Видишь, что мы оба здесь задыхаемся, а сам стоишь как мумия, болван!

Я никогда не оставался глух к призыву о помощи, и тотчас распутал их. Это было вполне своевременно, так как лицо у Гарриса уже совсем почернело.

Нам потребовалось еще полчаса тяжелого труда, чтобы натянуть парусину как следует, после этого мы принялись за ужин. Мы поставили чайник на спиртовку на носу лодки, а сами ушли на корму, делая вид, что не обращаем на него внимания, и стали доставать остальное.

На реке это единственный способ заставить чайник вскипеть. Если он заметит, что вы с нетерпением этого

ожидаете, он даже не зашумит. Вам лучше отойти подальше и начать есть, как будто вы вообще не хотите чаю. На чайник не следует даже оглядываться. Тогда вы скоро услышите, как он булькает, словно умоляя вас поскорее заварить чай.

Если вы очень торопитесь, то хорошо помогает громко говорить друг другу, что вам совсем не хочется чая и что вы не будете его пить. Вы подходите к чайнику, чтобы он мог вас услышать, и кричите: «Я не хочу чая! А ты, Джордж?» И Джордж отвечает: «Нет, я не люблю чай, выпьем лучше лимонаду. Чай плохо переваривается». После этого чайник сейчас же перекипает и заливает спиртовку.

Мы применили эту безобидную хитрость, и в результате, когда все остальное было готово, чай уже ожидал нас. Тогда мы зажгли фонарь и сели ужинать.

Этот ужин был нам крайне необходим. В течение тридцати пяти минут во всей лодке не было слышно ни звука, кроме звона ножей и посуды и непрерывной работы четырех пар челюстей. Через тридцать пять минут Гаррис сказал: «Уф!» — вынул из-под себя левую ногу и заменил ее правой. Спустя пять минут Джордж тоже сказал: «Уф!» — и выбросил свою тарелку на берег. Еще через три минуты Монморенси выказал первые признаки удовлетворения, с тех пор как мы тронулись в путь, лег на бок и вытянул ноги, а потом я сказал: «Уф!» — откинул назад голову и ударился ею об одну из дужек, но не обратил на это никакого внимания. Я даже не выругался.

Как хорошо себя чувствуешь, когда наешься! Как доволен бываешь самим собой и всем миром! Некоторые люди, ссылаясь на собственный опыт, утверждают, что чистая совесть делает человека веселым и довольным, но полный желудок делает это ничуть не хуже, и притом дешевле и с меньшими трудностями. После основательного, хорошо переваренного приема пищи чувствуешь себя таким великодушным, снисходительным, благородным и добрым человеком!

Странно, до какой степени пищеварительные органы властвуют над нашим рассудком. Мы не можем думать, мы не можем работать, если наш желудок не хочет этого. Он управляет всеми нашими страстями и переживаниями. После грудинки с яйцами он говорит: работай; после биф-

штекса и портера: спи; а после чашки чаю (две ложки на каждую чашку, настаивать не больше трех минут) он повелевает мозгу: теперь поднимайся и покажи, на что ты способен. Будь красноречив, глубок и нежен. Смотри ясным оком на природу и на жизнь. Раскинь белые крылья трепещущей мысли и лети, как богоподобный дух, над шумным светом, устремляясь меж длинными рядами пылающих звезд к вратам вечности.

После горячих пышек он говорит: будь туп и бездушен, как скотина в поле, будь безмозглым животным с равнодушным взором, в котором не светится ни жизнь, ни воображение, ни надежда, ни страх, ни любовь. А после бренди, употребленного в должном количестве, он повелевает: теперь дури, смейся и пляши, чтобы смеялись твои ближние; болтай чепуху, издавай бессмысленные звуки; покажи, каким беспомощным пентюхом становится несчастное существо, ум и воля которого потоплены, как котятка, в нескольких глотках алкоголя.

Все мы — жалкие рабы желудка. Не стремитесь быть нравственными и справедливыми, друзья! Внимательно наблюдайте за вашим желудком, питайте его с разумением и тщательностью. Тогда удовлетворение и добродетель воцарятся у вас в сердце без всяких усилий с вашей стороны; вы станете добрым гражданином, любящим мужем, нежным отцом — благородным, благочестивым человеком.

Перед ужином мы с Джорджем и Гаррисом были сварливы, раздражительны и дурно настроены; после ужина мы сидели и широко улыбались друг другу, мы улыбались даже нашей собаке. Мы любили друг друга, мы любили всех.

Гаррис, расхаживая по лодке, наступил Джорджу на мозоль. Случись это до ужина, Джордж высказал бы множество разных пожеланий о судьбе Гарриса в здешней и будущей жизни, от которых содрогнулся бы всякий мыслящий человек. Теперь же он сказал только: «Тише, старина! Легче на поворотах». А Гаррис, вместо того чтобы обозлиться и заявить, что нормальному человеку просто невозможно наступить на какую-либо часть ноги Джорджа, передвигаясь на расстоянии десяти ярдов от того места, где он сидит, или намекнуть, что Джорджу вообще не следовало бы, имея ноги такой длины, садиться в лодку обычных размеров, и посоветовать ему свесить ноги за борт — все это он,

несомненно, высказал бы до ужина, теперь сказал: «Виноват, старина, надеюсь, я не сделал тебе больно?» И Джордж ответил, что нет,нисколько, что он сам виноват, а Гаррис возразил, что виноват он.

Было прямо-таки приятно их слушать.

Джордж спросил, почему мы не можем всегда быть такими, пребывать вдали от света, с его соблазнами и пороками, и вести мирную, воздержанную жизнь, творя добро. Я сказал, что я сам часто испытывал стремление к этому, и мы стали обсуждать, нельзя ли нам, всем четверым, удалиться на какой-нибудь удобный, хорошо обставленный необитаемый остров и жить там среди лесов.

Гаррис сказал, что, насколько ему известно, главное неудобство необитаемых островов состоит в том, что там очень сыро. Джордж ответил, что, если они хорошо осушены, это ничего.

Мы заговорили об осушении, и это напомнило Джорджу одну очень смешную историю, которая произошла с его отцом. Его отец путешествовал с одним человеком по Уэльсу, и однажды они остановились на ночь в маленькой гостинице. Там были еще другие постояльцы, и отец Джорджа с товарищем присоединились к ним и провели с ними вечер.

Время прошло очень весело. Все поздно засиделись, и, когда настало время идти спать, наши двое (отец Джорджа был тогда еще очень молод) были слегка навеселе. Они (отец Джорджа и его приятель) должны были спать в одной комнате с двумя кроватями. Взяв свечу, они поднялись наверх. Когда они входили в комнату, свечка ударилась о стену и погасла. Им пришлось раздеваться и разыскивать свои кровати в темноте. Так они и сделали, но, вместо того чтобы улечься на разные кровати, они оба, не зная того, влезли в одну и ту же, один лег головой к подушке, а другой забрался с противоположной стороны и положил на подушку ноги.

С минуту царило молчание. Потом отец Джорджа сказал:

— Джо!

— Что случилось, Том? — послышался голос Джо с другого конца кровати.

— В моей постели лежит еще кто-то, — сказал отец Джорджа, — его нога у меня на подушке.

— Это удивительно, Том, — ответил Джо, — но черт меня побери, если в моей постели тоже не лежит еще один человек.

— Что же ты думаешь делать? — спросил отец Джорджа.

— Я его выставлю, — ответил Джо.

— И я тоже, — храбро заявил отец Джорджа.

Произошла короткая борьба, за которой последовали два тяжелых удара об пол. Затем чей-то жалобный голос сказал:

— Эй, Том!

— Что?

— Ну, как дела?

— Сказать по правде, мой выставил меня самого.

— И мой тоже. Ты знаешь, эта гостиница мне не очень нравится. А тебе?

— Как называлась гостиница? — спросил Гаррис.

— «Свинья и свиток», — ответил Джордж. — А что?

— Нет, значит, это другая, — сказал Гаррис.

— Что ты хочешь сказать? — спросил Джордж.

— Это очень любопытно, — пробормотал Гаррис. — Точно такая же история случилась с моим отцом в одной деревенской гостинице. Я часто слышал от него этот рассказ. Я думал, что это, может быть, та же самая гостиница.

В этот вечер мы улеглись в десять часов, и я думал, что, утомившись, буду хорошо спать, но вышло иначе. Обычно я раздеваюсь, кладу голову на подушку, и потом кто-то колотит в дверь и кричит, что уже половина девятого; но сегодня все, казалось, было против меня: новизна всего окружающего, твердое ложе, неудобная поза (ноги у меня лежали под одной скамьей, а голова на другой), плеск воды вокруг лодки и ветер в ветвях не давали мне спать и волновали меня.

Наконец я заснул на несколько часов, но потом какая-то часть лодки, которая, по-видимому, выросла за ночь (ее, несомненно, не было, когда мы тронулись в путь, а с наступлением утра она исчезла) начала буравить мне спину. Некоторое время я продолжал спать и видел во сне, что проглотил соверен и что какие-то люди хотят провертеть у меня в спине дырку, чтобы достать монету. Я нашел это

очень неделикатным и сказал, что останусь им должен этот соверен и отдам его в конце месяца. Но никто не хотел об этом и слышать, и мне сказали, что лучше будет извлечь соверен сейчас, а то нарастут большие проценты. Тут я совсем рассердился и высказал этим людям, что я о них думаю, и тогда они вонзили в меня бурав с таким вывертом, что я проснулся.

В лодке было душно, у меня болела голова, и я решил выйти и подышать воздухом в ночной прохладе. Я надел на себя то, что попало под руку — часть одежды была моя, а часть Джорджа и Гарриса, — и вылез из-под парусины на берег.

Ночь была великолепная. Луна зашла, и затихшая земля осталась наедине со звездами. Казалось, что, пока мы, ее дети, спали, звезды в тишине и безмолвии разговаривали с нею о каких-то великих тайнах; их голос был слишком низок и глубок, чтобы мы, люди, могли уловить его нашим детским ухом.

Они пугают нас, эти странные звезды, такие холодные и ясные. Мы похожи на детей, которых их маленькие ножки привели в полуосвященный храм божества... Они привыкли почитать этого бога, но не знают его. Стоя под гулким куполом, осеняющим длинный ряд призрачных огней, они смотрят вверх, и боясь, и надеясь увидеть там какой-нибудь грозный призрак.

А в то же время ночь кажется исполненной силы и утешения. В присутствии великой ночи наши маленькие горести куда-то скрываются, устыдившись своей ничтожности. Днем было так много суеты и забот. Наши сердца были полны зла и горьких мыслей, мир казался нам жестоким и несправедливым. Ночь как великая, любящая мать положила свои нежные руки на наш пылающий лоб и улыбается, глядя в наши заплаканные лица. Она молчит, но мы знаем, что она могла бы сказать, и прижимаемся разгоряченной щекой к ее груди. Боль прошла.

Иногда наше страданье подлинно и глубоко, и мы стоим перед ней в полном молчании, так как не словами, а только стоном можно выразить наше горе. Сердце ночи полно жалости к нам: она не может облегчить нашу боль. Она берет нас за руку, и маленький наш мир уходит далеко-далеко; вознесенные на темных крыльях ночи, мы на ми-

нута оказываемся перед кем-то еще более могущественным, чем ночь, и в чудесном свете этой силы вся человеческая жизнь лежит перед нами, точно раскрытая книга, и мы создаем, что Горе и Страданье — ангелы, посланные богом.

Лишь те, кто носил венец страдания, могут увидеть этот чудесный свет. Но, вернувшись на землю, они не могут рассказать о нем и поделиться тайной, которую узнали.

Некогда, в былые времена, ехали на конях в чужой стране несколько добрых рыцарей. Путь их лежал через дремучий лес, где тесно сплелись густые заросли шиповника, терзавшие своими колючками всякого, кто там заблудится. Листья деревьев в этом лесу были темные и плотные, так что ни один луч солнца не мог пробиться сквозь них и рассеять мрак и печаль.

И когда они ехали в этом лесу, один из рыцарей потерял своих товарищей и отбился от них и не вернулся больше. И рыцари в глубокой печали продолжали путь, оплакивая его как покойника.

И вот они достигли прекрасного замка, к которому направлялись, и пробыли там несколько дней, предаваясь веселью. Однажды вечером, когда они беззаботно сидели у огня, пылающего в зале, и осушали один кубок за другим, появился их товарищ, которого они потеряли, и приветствовал их. Он был в лохмотьях, как нищий, и глубокие раны зияли на его нежном теле, но лицо его светилось великой радостью.

Рыцари стали его спрашивать, что с ним случилось, и он рассказал, как, заблудившись в лесу, проплутал много дней и ночей и наконец, окровавленный и истерзанный, лег на землю, готовясь умереть.

И когда он уже был близок к смерти, вдруг явилась ему из мрачной тьмы величавая женщина и, взяв его за руку, повела по извилистым тропам, неведомым человеку. И наконец во тьме леса засиял свет, в сравнении с которым сияние дня казалось светом фонаря при солнце, и в этом свете нашему измученному рыцарю предстало видение. И столь прекрасным, столь дивным казалось ему это видение, что он забыл о своих кровавых ранах и стоял как очарованный, полный радости, глубокой, как море, чья глубина не ведома никому. И видение рассеялось, и рыцарь, преклонив коле-

ни, возблагодарил святую, которая в этом дремучем лесу увлекла его с торной дороги, и он увидел видение, скрытое в нем.

А имя этому лесу было Горе; что же касается видения, которое увидел в нем добрый рыцарь, то о нем нам поведать не дано.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

О том, как Джордж однажды встал рано. – Джордж, Гаррис и Монморенси не любят вида холодной воды. – Героизм и решительность Джея. – Джордж и его рубашка. – История с нравоучением. – Гаррис в роли повара. – Историческая реминисценция, включенная специально для детей школьного возраста.

На следующее утро я проснулся в шесть часов и обнаружил, что Джордж тоже проснулся. Мы оба повернулись на другой бок и попробовали опять заснуть, но это не удалось. Будь у нас какая-либо особая надобность не спать, а сейчас же встать и одеться, мы бы, наверное, упали на подушки, едва взглянув на часы, и прохрапели бы до десяти. Но так как не было решительно никаких оснований встать раньше, чем через два часа, и подняться в шесть часов было бы совершенно нелепо, мы чувствовали, что пролежать еще пять минут для нас равносильно смерти. Такова уж извращенность человеческой природы.

Джордж сказал, что нечто подобное, но только много хуже, случилось с ним года полтора назад, когда он снимал комнату у некоей миссис Гиппингс.

Однажды вечером, рассказывал он, его часы испортились и остановились в четверть девятого. В то время он не заметил этого, так как забыл почему-то завести часы, когда ложился спать (случай для него необычный), и повесил их над головой, даже не взглянув на циферблат.

Случилось это зимой, перед самым коротким днем и к тому же в туманную погоду. То обстоятельство, что утром, когда Джордж проснулся, было совершенно темно, не могло послужить ему указанием. Он поднял руку и потянул к себе часы. Было четверть девятого.

— Святители небесные, спасите! — воскликнул Джордж. — Мне ведь нужно к девяти часам быть в банке! Почему меня никто не разбудил? Какое безобразие!

Он бросил часы, выскочил из постели, принял холодную ванну, умылся, оделся, побрился холодной водой — горячее ждать было некогда — и еще раз взглянул на часы. То ли от сотрясения при ударе о постель, то ли по какой-нибудь иной причине — этого Джордж сказать не мог, — но так или иначе, часы пошли и теперь показывали без двадцати девять. Джордж схватил часы и бросился вниз по лестнице. В гостиной было темно и тихо. Камин не топили, завтрака не было. Джордж подумал, что это позор для миссис Г., и решил высказать ей свое мнение, когда вернется. Потом он ринулся за своим пальто и шляпой, схватил зонтик и устремился к выходной двери. Дверь была на засове. Джордж обозвал миссис Г. старой лентяйкой и нашел очень странным, что люди не могут подняться своевременно, в подобающий порядочным англичанам час. Он отодвинул засов, отпер дверь и выбежал на улицу.

Четверть мили он бежал со всех ног, и лишь после этого ему начало казаться странным и непонятным, что на улице так мало народа и все магазины заперты. Утро было, конечно, очень темное и туманное, но нельзя же все-таки по этой причине прекращать все дела. Ему же, например, надо идти на работу! С какой стати другие лежат в постели только потому, что темно и на улице туман?

Наконец он дошел до Холборна. Все ставни опущены, нигде ни одного омнибуса. В поле зрения Джорджа были три человека, из них один полисмен, да еще воз с капустой и обшарпанный кеб. Джордж вынул часы и посмотрел — было без пяти девять. Он остановился и сосчитал свой пульс. Потом наклонился и пощупал свои ноги. Затем, не выпуская часы из рук, подошел к полисмену и спросил, не знает ли он, который час.

— Который час? — спросил полисмен, окидывая Джорджа явно подозрительным взглядом. — Послушайте, сейчас пробьет.

Джордж прислушался, и ближайшие уличные часы удовлетворили его любопытство.

— Но они пробили только три! — воскликнул Джордж обиженным тоном, когда часы кончили бить.

— А сколько же вы хотите, чтобы они били? — спросил констебль.

— Как сколько? Девять, — ответил Джордж, показывая на свои часы.

— Знаете вы, где вы живете? — строго спросил его блюститель порядка.

Джордж подумал и дал свой адрес.

— Ах, так вы вот где проживаете! — сказал полисмен. — Послушайте моего совета: идите себе спокойно домой, заберите с собой ваши часы и больше так не делайте.

И Джордж в задумчивости отправился домой и вошел в свою квартиру.

Придя к себе, он хотел было раздеться и снова лечь спать, но, подумав, что придется второй раз одеваться, бриться и принимать ванну, решил не раздеваться и поспать в кресле.

Но он не мог спать: никогда в жизни он не чувствовал себя таким бодрым.

Он зажег лампу, достал шахматы и сыграл сам с собой партию. Это его тоже не развлекло и показалось ему скучным. Он бросил шахматы и попробовал читать. Однако он был, видимо, не способен заинтересоваться чтением и потому снова надел пальто и вышел пройтись.

На улице было пустынно и мрачно. Все полисмены, попадавшиеся Джорджу навстречу, поглядывали на него с нескрываемым подозрением, освещали его своим фонарем и шли за ним следом. В конце концов это так подействовало на Джорджа, что ему стало казаться, будто он и вправду что-то такое натворил. Он шел крадучись по переулкам и, услышав тяжелые шаги полисменов, прятался в темные подворотни. Разумеется, такое поведение только усугубило недоверие полицейских: они подошли, обыскали Джорджа и спросили, что он тут делает. Когда он ответил, что ничего и что он просто вышел прогуляться (дело было в четыре часа утра), ему явно не поверили, и два констебля в штатском платье проводили его до дому, чтобы убедиться, что он действительно проживает там, где сказал. Увидев, что у него есть свой ключ, полицейские заняли позицию напротив дома и начали за ним наблюдать.

Джордж решил затопить камин и приготовить себе завтрак — просто так, чтобы убить время. Но что бы он ни взял в руки, будь то совок с углями или чайная ложка, все

падало на пол; он поминутно обо что-нибудь спотыкался и при этом страшно шумел. Его охватил смертельный ужас при мысли, что миссис Г. проснется, подумает, что это воры, раскроет окно и крикнет: «Полиция!» — и те два сыщика ворвутся в дом, закроют его в наручники и отведут в участок.

Постепенно Джордж пришел в болезненно-нервное состояние. Ему представлялось, что идет суд, что он пытается объяснить присяжным обстоятельства дела, но никто ему не верит. Его приговаривают к двадцати годам каторги, и его мать умирает с горя. Поэтому он бросил готовить завтрак, завернулся в пальто и просидел в своем кресле, пока миссис Г., в половине восьмого, не спустилась вниз.

Джордж сказал, что с тех пор он ни разу не поднимался так рано. Это послужило ему хорошим уроком.

Пока Джордж рассказывал эту правдивую историю, мы оба сидели, завернувшись в пледы. Когда он кончил, я принялся будить Гарриса веслом. Ткнув его в третий раз, я достиг цели. Гаррис повернулся на другой бок и сказал, что он сию минуту спустится и хотел бы получить свои штиблеты со шнуровкой.

Однако с помощью багра мы скоро дали ему понять, где он находится, и Гаррис внезапно сел прямо, отбросив на противоположный конец лодки Монморенси, который спал на его груди сном праведника.

Потом мы приподняли парусину, высунули все вместе головы за борт, посмотрели на воду и поежились. Накануне вечером мы предполагали встать рано поутру, сбросить наши пледы и одеяла и, откинув парусину, с веселым криком броситься в воду, чтобы вдоволь поплавать. Но почему-то, когда наступило утро, эта перспектива представилась нам менее соблазнительной. Вода казалась сырой и холодной, ветер прямо пронизывал.

— Ну, кто же прыгнет первый? — спросил наконец Гаррис.

Особой борьбы за первенство не было. Джордж, поскольку это касалось его лично, решил вопрос, удалившись в глубину лодки и надев носки. Монморенси невольно взвыл, как будто одна мысль о купанье внушала ему ужас. Гаррис сказал, что слишком уж трудно будет влезть обратно в лодку, и стал разыскивать в грудке платья свои штаны.

Мне не очень хотелось отступать, хотя купанье меня тоже не прельщало. В воде могут быть коряги или водорос-

ли, думал я. Я решил избрать средний путь: подойти к краю берега и побрызгать на себя водой. Я взял полотенце, вышел на сушу и подобрался к воде по длинной ветке дерева, которая спускалась прямо в реку.

Было очень холодно. Ветер резал, как ножом. Я подумал, что обливаться, пожалуй, не стоит, лучше вернуться в лодку и одеться. Я повернул обратно, чтобы выполнить свое намерение, но в эту минуту глупая ветка подломилась — и я вместе с полотенцем с оглушительным плеском плюхнулся в воду. Еще не успев сообразить, что случилось, я очутился посередине Темзы, и в желудке у меня был целый галлон речной воды.

— Черт возьми, старина Джей полез-таки в воду! — услышал я восклицанье Гарриса, когда, отдуваясь, всплыл на поверхность. — Я не думал, что у него хватит храбрости. А ты?

— Ну что, хорошо? — пропел Джордж.

— Прелестно, — ответил я, отплеываясь. — Вы дураки, что не выкупались. Я бы ни за что на свете не отказался от этого. Почему бы вам не попробовать? Нужно только немного решимости.

Но я не смог их уговорить.

В это утро во время одеванья случилась одна довольно забавная история. Когда я вернулся в лодку, было очень холодно, и, торопясь надеть рубашку, я нечаянно уронил ее в воду. Это меня ужасно разозлило, особенно потому, что Джордж стал смеяться. Я не находил в этом ничего смешного и сказал это Джорджу, но Джордж только громче захохотал. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так смеялся. Наконец я совсем рассердился и высказал Джорджу, какой он сумасшедший болван и безмозглый идиот, но Джордж после этого заржал еще пуще.

И вдруг, вытаскивая рубашку из воды, я увидел, что это вовсе не моя рубашка, а рубашка Джорджа, которую я принял за свою. Тут комизм положения дошел наконец и до меня, и я тоже начал смеяться. Чем больше я смотрел на мокрую Джорджеву рубашку и на самого Джорджа, который покачивался со смеху, тем больше это меня забавляло, и я до того хохотал, что снова уронил рубашку в воду.

— Ты не собираешься ее вытаскивать? — спросил Джордж, давясь от хохота.

Я ответил ему не сразу, такой меня разбирал смех, но наконец между приступами хохота мне удалось выговорить:

— Это не моя рубашка, а твоя.

Я в жизни не видел, чтобы человеческое лицо так быстро из веселого стало мрачным.

— Что! — взвизгнул Джордж, вскакивая на ноги. — Дурак ты этакий! Почему ты не можешь быть осторожнее? Почему, черт возьми, ты не пошел одеваться на берег? Тебя нельзя пускать в лодку, вот что! Подай багор.

Я попытался объяснить ему, как все это смешно, но он не понял. Джордж иногда плохо чувствует шутку.

Гаррис предложил сделать на завтрак яичницу-болтушку и взялся сам ее приготовить. По его словам выходило, что он большой мастер готовить яичницу-болтушку. Он часто жарил ее на пикниках и во время прогулок на яхте. Он прямо-таки прославился этим. Гаррис дал нам понять, что люди, которые хоть раз отведали его яичницы, никогда уже не ели никакой другой пищи и чахли и умирали, если не могли получить ее.

После таких разговоров у нас потекли слюнки. Мы выдали Гаррису спиртовку, сковороду и те яйца, которые еще не разбились и не залили всего содержимого корзины, и предложили ему приступить к делу.

Разбить яйца Гаррису удалось не без хлопот. Трудно было не столько их разбить, сколько попасть ими на сковороду и не вылить их на брюки или на рукава. В конце концов Гаррис все же ухитрился выпустить на сковородку с полдюжины яиц, потом он сел перед спиртовкой на корточки и начал размазывать яйца вилкой.

Нам с Джорджем со стороны казалось, что это довольно изнурительная работа. Всякий раз, когда Гаррис подходил к сковороде, он обжигался, ронял что-нибудь и начинал танцевать вокруг спиртовки, щелкая пальцами и проклиная яйца. Когда только мы с Джорджем на него ни взглядывали, он неизменно исполнял этот номер. Мы даже подумали, что это необходимая часть его кулинарных приготовлений.

Мы не знали, что такое яичница-болтушка, и думали, что это, должно быть, кушанье краснокожих индейцев или обитателей Сандвичевых островов, изготовление которого требовало плясок и заклинаний. Монморенси один раз подошел к сковороде и сунул в нее нос. Его обожгло брызгами жира, и он тоже начал танцевать и ругаться. В общем, это

была одна из самых интересных и волнующих процедур, которые я когда-либо видел. Мы с Джорджем были прямо-таки огорчены, когда она кончилась.

Результат оказался не столь удачным, как ожидал Гаррис. Плоды работы были уж очень незначительны. На сковородке было шесть штук яиц, а получилось не больше чайной ложки какой-то подгоревшей, неаппетитной бурды.

Гаррис сказал, что виновата сковородка, все вышло бы лучше, будь у нас котелок для варки рыбы и газовая плита. Мы решили не пытаться больше готовить это блюдо, пока у нас не будет вышеназванных хозяйственных принадлежностей.

Когда мы кончили завтракать, солнце уже порядком пригревало. Ветер стих, и более очаровательного утра нельзя было пожелать. Мало что вокруг нас напоминало о девятнадцатом веке. Глядя на реку, освещенную утренним солнцем, можно было подумать, что столетия, отделяющие нас от незабываемого июньского утра 1215 года, отошли в сторону и что мы, сыновья английских йоменов, в платье из домотканого сукна, с кинжалами за поясом, ждем здесь, чтобы увидеть, как пишется та потрясающая страница истории, значение которой открыл простым людям через четырехста с лишком лет Оливер Кромвель, так основательно изучивший ее.

Прекрасное летнее утро — солнечное, теплое и тихое. Но в воздухе чувствуется нарастающее волнение. Король Иоанн стоит в Данкрафт-Холле, и весь день накануне городок Стэйнс оглашался бряцанием оружия и стуком копыт по мостовой, криком командиров, свирепыми проклятиями и грубыми шутками бородатых лучников, копейщиков, алебардчиков и говорящих на чужом языке иностранных воинов с пиками.

В город въезжают группы пестро одетых рыцарей и оруженосцев, они покрыты пылью дальних дорог. И весь вечер испуганные жители должны поспешно открывать двери, чтобы впустить к себе в дом беспорядочную гурьбу солдат, которых надо накормить и разместить, да наилучшим образом, не то горе дому и всем, кто в нем живет, ибо в эти бурные времена меч — сам судья и адвокат, истец и палач, за взятое он платит тем, что оставляет в живых того, у кого берет, если, конечно, захочет.

Вечером и до самого наступления ночи на рыночной площади вокруг костров собирается все больше людей из войска баронов, они едят, пьют и орут буйные песни, играют в кости и ссорятся. Пламя отбрасывает причудливые тени на кучи оружия и на неуклюжие фигуры самих воинов. Дети горожан подкрадываются к кострам и смотрят — им очень интересно, и крепкие деревенские девушки подвигаются поближе, чтобы перекинуться трактирной шуткой и посмеяться с лихими вояками, так непохожими на деревенских парней, которые понуро стоят в стороне с глупой усмешкой на широких растерянных лицах. А кругом в поле виднеются слабые огни отдаленных костров, здесь собрались сторонники какого-нибудь феодала, а там французские наемники вероломного Иоанна притаились, как голодные бездомные волки.

Всю ночь на каждой темной улице стояли часовые, и на каждом холме вокруг города мерцали огни сторожевых костров. Но вот ночь прошла, и над прекрасной долиной старой Темзы наступило утро великого дня, чреватого столь большими переменами для еще не рожденных поколений.

Как только занялся серый рассвет, с ближайшего из двух островов, чуть повыше того места, где мы сейчас стоим, послышался шум голосов и звуки стройки. Там ставят большой шатер, привезенный еще вчера вечером, плотники сколачивают ряды скамеек, а подмастерья из Лондона прибыли с разноцветными материями и шелками, золотой и серебряной парчой.

И вот смотрите! По дороге, что вьется вдоль берега, от Стэйнса к нам направляются, смеясь и разговаривая гортанным басом, около десяти дюжих мужчин с алебардами — это люди баронов; они остановились ярдов на сто выше нас на противоположном берегу и, опершись о свое оружие, стали ждать.

И каждый час по дороге подходят все новые группы и отряды воинов, в их шлемах и латах отражаются длинные косые лучи утреннего солнца, пока вся дорога, насколько видит глаз, не кажется плотно забитой блестящим оружием и пляшущими конями. Всадники скачут от одной группы к другой, небольшие знамена лениво трепещут на теплом ветерке, и время от времени происходит движение — ряды раздвигаются, и кто-нибудь из великих баронов, окружен-

ный свитой оруженосцев, проезжает на боевом коне, чтобы занять свое место во главе своих крепостных и вассалов.

А на склоне Купер-Хилла, как раз напротив, собрались изумленные селяне и любопытные горожане из Стэйнса, и никто не знает толком причину всей этой суматохи, но каждый по-своему объясняет, что привлекло его сюда; некоторые утверждают, что события этого дня послужат на благо всем, но старые люди покачивают головами, они слышали подобные сказки и раньше.

А вся река до самого Стэйнса усеяна черными точками лодок и лодочек и крохотных плетушек, обтянутых кожей, последние теперь не в моде, и они в ходу только у очень бедных людей. Через пороги, там, где много лет спустя будет построен красивый шлюз Бэл Уир, их тащили и тянули сильные гребцы, а теперь они подплывают как можно ближе, насколько у них хватает смелости, к большим крытым лодкам, которые стоят наготове, чтобы перевезти короля Иоанна к месту, где роковая Хартия ждет его подписи¹.

Полдень. Мы вместе со всем народом терпеливо ждем уже много часов, но разносится слух, что неуловимый Иоанн опять ускользнул из рук баронов и убежал из Данкрафт-Холла вместе со своими наемниками и что скоро он займется делами поинтереснее, чем подписывать хартии о вольности своего народа.

Но нет! На этот раз его схватили в железные тиски, и напрасно он извивается и пытается ускользнуть. Вдали на дороге поднялось небольшое облачко пыли, оно приближается и растет, стук множества копыт становится громче, и от одной группы выстроившихся солдат к другой продвигается блестящая кавалькада ярко одетых феодалов и рыцарей. Впереди, и сзади, и с обеих сторон едут йомены баронов, а в середине — король Иоанн.

Он подъезжает к тому месту, где наготове стоят лодки, и великие бароны выходят из строя ему навстречу. Он приветствует их, улыбаясь и смеясь, и говорит приятные, лас-

¹ Имеется в виду подписание английским королем Иоанном Безземельным Великой Хартии Вольностей, ограничивающей права короля и дающей привилегии рыцарству и крестьянской верхушке.

ковые слова, будто приехал на праздник, устроенный в его честь. Но когда он приподнимается, чтобы слезть с коня, он бросает быстрый взгляд на своих французских наемников, выстроенных сзади, и на угрюмое войско баронов, окружившее его.

Может быть, еще не поздно? Один сильный, неожиданный удар по рядом стоящему всаднику, один призыв к его французским войскам, отчаянный натиск на готовые к отпору ряды впереди — и эти мятежные бароны еще пожалеют о том дне, когда они посмели расстроить его планы! Более смелая рука могла бы изменить ход игры даже в таком положении. Будь на его месте Ричард, чаша свободы, чего доброго, была бы выбита из рук Англии и она еще сотню лет не узнала бы, какова эта свобода на вкус!

Но сердце короля Иоанна дрогнуло перед суровыми лицами английских воинов, его рука падает на повод, он слезает с лошади и садится в первую лодку. Бароны входят следом за ним, держа руки в стальных рукавицах на рукоятях мечей, и отдается приказ к отправлению.

Медленно отплывают тяжелые разукрашенные лодки от Раннимиды. Медленно прокладывают они свой путь против течения, с глухим стуком ударяются о берег маленького острова, который отныне будет называться островом Великой Хартии. Король Иоанн сходит на берег, мы ждем, затаив дыхание, и вот громкий крик потрясает воздух, и мы знаем, что большой краеугольный камень английского храма свободы прочно лег на свое место.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Генрих Восьмой и Анна Болейн. — Неудобства пребывания в одном доме с влюбленными. — Трудные времена для английского народа. — Ночные поиски красоты. — Бесприютные и бездомные. — Гаффрис готовится умереть. — Появление ангела. — Влияние внезапной радости на Гаффриса. — Легкий ужин. — Завтрак. — Полмира за банку горчицы. — Ужасная битва. — Мэйденхед. — Под парусами. — Трое рыбаков. — Нас осыпают проклятиями.

Я сидел на берегу, вызывая в воображении эти сцены, когда Джордж сказал, что, может быть, я достаточно отдохнул и не откажусь принять участие в мытье посуды.

Возвращенный из времен славного прошлого к прозаическому настоящему со всеми его несчастьями и грехами, я спустился в лодку и вычистил сковороду палочкой и пучком травы, придав ей окончательный блеск мокрой рубашкой Джорджа.

Мы отправились на остров Великой Хартии и обозрели камень, который стоит там в домике и на котором, как говорят, был подписан этот знаменитый документ. Впрочем, я не могу поручиться, что он был подписан именно там, а не на противоположном берегу, в Раннимиде, как утверждают некоторые. Сам я склонен отдать предпочтение общепринятой островной теории. Во всяком случае, будь я одним из баронов тех времен, я настоятельно убеждал бы моих товарищей переправить столь ненадежного клиента, как король Иоанн, на остров, чтобы оградить себя от всяких неожиданностей и фокусов.

Около Энкервик-Хауса, неподалеку от Мыса пикников, сохранились развалины старого монастыря. Возле этого старого монастыря Генрих Восьмой, говорят, поджидал и встречал Анну Болейн. Он встречался с нею также у замка Хивер в графстве Кент и еще где-то около Сент-Олбенса. В те времена жителям Англии было, вероятно, очень трудно найти такое местечко, где эти беспечные молодые люди не крутили бы любовь.

Случалось ли вам когда-нибудь жить в доме, где есть влюбленная парочка? Это очень мучительно. Вы хотите посидеть в гостиной и направляетесь туда. Открывая дверь, вы слышите легкий шум, словно кто-то вдруг вспомнил о неотложном деле; когда вы входите в комнату, Эмили стоит у окна и с глубоким интересом рассматривает противоположную сторону улицы, а ваш приятель Джон Эдвардс, сидя в другом углу, весь ушел в изучение фотографий чьих-то родственников.

— Ах, — говорите вы, останавливаясь у двери. — Я и не знал, что тут кто-нибудь есть.

— Вот как? — холодно отвечает Эмили, явно давая понять, что она вам не верит.

Поболтавшись немного в комнате, вы говорите:

— Здесь очень темно. Почему вы не зажгли газ?

Джон Эдвардс восклицает:

— Ах, я и не заметил!

А Эмили говорит, что папа не любит, когда днем зажигают газ.

Вы сообщаете им последние новости и высказываете свои взгляды и мнения об ирландском вопросе, но это, по-видимому, не интересует их. На любое ваше замечание они отвечают: «Ах, вот как?», «Правда?», «Неужели?», «Да?», «Не может быть!». После десяти минут разговора в таком стиле вы пробираетесь к двери и выскальзываете из комнаты. К вашему удивлению, дверь немедленно закрывается и захлопывается сама, без всякого вашего участия.

Полчаса спустя вы решаете спокойно покурить в зимнем саду. Единственный стул в этом помещении занят Эмили, а Джон Эдвардс, если можно доверять языку одежды, явно сидел на полу. Они ничего не говорят, но взгляд их выражает все, что можно высказать в цивилизованном обществе. Вы быстро ретируетесь и закрываете за собой дверь.

После этого вы боитесь сунуть нос в какую бы то ни было комнату. Побродив некоторое время вверх и вниз по лестнице, вы направляетесь в свою спальню и сидите там. Скоро это вам надоедает, вы надеваете шляпу и выходите в сад. Вы идете по дорожке и, проходя мимо беседки, заглядываете туда, и, конечно, эти идиоты уже сидят там, забившись в угол. Они тоже замечают вас и думают, что у вас есть какие-то свои гнусные причины их преследовать.

— Завели бы, что ли, особую комнату для такого времяпрепровождения, — бормочете вы. Вы бегом возвращаетесь в переднюю, хватаете зонтик и уходите.

Нечто похожее, вероятно, было и тогда, когда этот легкомысленный юноша, Генрих Восьмой, ухаживал за своей маленькой Анной. Обитатели Бэкингемшира неожиданно натыкались на них, когда они бродили вокруг Виндзора и Рэйсбери, и восклицали: «Ах, вы здесь!» Генрих, весь вспыхнув, отвечал: «Да, я приехал, чтобы повидаться с одним человеком», а Анна говорила: «Как я рада вас видеть! Вот забавно! Я только что встретила на дороге мистера Генриха Восьмого, и он идет в ту же сторону, что и я».

И бэкингемширцы уходили, говоря про себя: «Лучше убраться отсюда, пока они здесь целуются и милуются. По-едем в Кент».

Они ехали в Кент, и первое, что они видели в Кенте, были Генрих с Анной, которые слонялись вокруг замка Хивер.

— Черт бы их побрал, — говорили бэкингемширцы. — Давайте-ка уедем. Это, наконец, невыносимо. Поедем в Сент-Олбенс. Там тихо и спокойно.

Они приезжали в Сент-Олбенс, и, разумеется, эта несчастная парочка уже была там и целовалась под стенами аббатства. И тогда эти люди уходили прочь и поступали в пираты на все время до окончания свадебных торжеств.

Участок реки от Мыса пикников до старого Виндзорского шлюза очень красив. Тенистая дорога, застроенная хорошенькими домиками, тянется вдоль берега вплоть до гостиницы «Ауслейские колокола». Эта гостиница очень живописна, как и большинство прибрежных гостиниц, и там можно выпить стакан превосходного эля. Так, по крайней мере, говорит Гаррис, а в этом вопросе на мнение Гарриса можно положиться. Старый Виндзор — в своем роде знаменитое место. У Эдуарда Исповедника был здесь дворец, и именно здесь славный граф Годвин был обвинен тогдашними судьями в убийстве брата короля. Граф Годвин отломил кусок хлеба и взял его в руку.

— Если я виновен, — сказал граф, — пусть я подавлюсь этим хлебом.

И он положил хлеб в рот и подавился — и умер.

За старым Виндзором река не очень интересна и снова становится красивой, только когда вы приближаетесь к Бовени. Мы с Джорджем провели лодку бечевою мимо Домашнего парка, который тянется по правому берегу от моста Альберта до моста Виктории. Мы проходили по Дэтчету, и Джордж спросил, помню ли я нашу первую прогулку по реке, когда мы высадились в Дэтчете в десять часов вечера и нам хотелось спать.

Я ответил, что помню. Такое не скоро забывается!

Дело было в субботу, в августе. Мы, то есть наша троица, устали и проголодались. Добравшись до Дэтчета, мы взяли корзину, оба саквояжа, пледы, пальто и другие вещи и отправились на поиски логовища. Нам попалась на пути очень милая маленькая гостиница с крылечком, увитым

ползучими розами. Но там не было жимолости, а мне почему-то очень хотелось жимолости, и я сказал:

— Не стоит заходить сюда. Пойдем дальше и посмотрим, нет ли где-нибудь гостиницы с жимолостью.

Мы пошли дальше и вскоре увидели еще одну гостиницу. Это тоже была очень хорошая гостиница, и на ней даже вилась жимолость — за углом, сбоку, но Гаррису не понравилось выражение лица мужчины, который стоял, прислонившись к входной двери. По мнению Гарриса, это был неприятный человек, и к тому же на нем были некрасивые сапоги. Поэтому мы отправились дальше. Мы прошли порядочное расстояние и не увидели ни одной гостиницы. Наконец нам повстречался какой-то прохожий, и мы попросили его указать нам хороший отель.

— Да вы же оставили их позади, — сказал этот человек. — Поворачивайте и идите назад — вы придете к «Оленю».

— Мы там были, и он нам не понравился, — сказали мы. — Там нет жимолости.

— Ну тогда, — сказал он, — есть еще «Помещичий дом» — он как раз напротив. Вы туда заходили?

Гаррис ответил, что туда он не хочет — ему не понравился вид человека, который стоял у дверей. Не понравился цвет его волос и сапоги.

— Ну, не знаю тогда, что вам и делать, — сказал прохожий. — Здесь больше нет гостиниц.

— Ни одной? — воскликнул Гаррис.

— Ни одной, — ответил прохожий.

— Как же нам быть? — вскричал Гаррис.

Тут взял слово Джордж. Он сказал, что мы с Гаррисом можем, если нам угодно, распорядиться, чтобы для нас построили новую гостиницу и наняли персонал. Что касается его, то он возвращается в «Олень».

Даже величайшие умы никогда и ни в чем не достигают своего идеала. Мы с Гаррисом повздыхали о суетности всех земных желаний и последовали за Джорджем.

Мы внесли наши пожитки в «Олень» и сложили их в вестибюле.

Хозяин подошел к нам и сказал:

— Добрый вечер, джентльмены.

— Добрый вечер, — сказал Джордж. — Будьте так добры, нам нужны три кровати.

— Очень сожалею, сэр, — ответил хозяин, — но боюсь, что мы не можем это устроить.

— Ну что же, не беда, — сказал Джордж. — Хватит и двух. Двое из нас могут спать в одной постели, не так ли? — продолжал он, обращаясь ко мне и к Гаррису.

— О, конечно, — ответил Гаррис. Он думал, что мы с Джорджем можем свободно проспать в одной постели.

— Очень сожалею, сэр, — повторил хозяин. — У нас нет ни одной свободной кровати. Мы уже и так укладываем по два, а то и по три человека на одну постель.

Это несколько обескуражило нас.

Но Гаррис, старый путешественник, оказался на высоте положения. Он весело засмеялся и сказал:

— Ну что же, ничего не поделаешь. Придется пойти на неудобства. Устройте нас в бильярдной.

— Очень сожалею, сэр, но трое джентльменов уже спят на бильярде и двое в кафе. Никак не могу принять вас на ночь.

Мы взяли свои вещи и пошли в «Помещичий дом». Это была очень славная гостиница. Я сказал, что мне, наверное, понравится в ней больше, чем в «Олене»; Гаррис воскликнул: «О да, все будет прекрасно, а на человека с рыжими волосами можно не смотреть. К тому же бедняга ведь не виноват, что он рыжий».

Гаррис так разумно и кротко говорил об этом!

В «Помещичьем доме» нас и слушать не стали. Хозяйка встретила нас на крыльце и приветствовала заявлением, что мы четырнадцатая компания за последние полтора часа, которой ей приходится отказать. Наши робкие намеки на конюшню, бильярдную или погреб были встречены презрительным смехом. Все эти уютные помещения уже давно были захвачены.

Не знает ли она какой-нибудь дом, где можно найти ночлег?

— Если вы согласны примириться с некоторыми неудобствами, — имейте в виду, я вам этого не рекомендую, — то в полумиле отсюда по Итонской дороге есть одна маленькая пивная...

Не слушая дальше, мы подхватили нашу корзину, саквояжи, пальто, пледы и свертки и помчались. Бежать при-

шло скорее мило, чем полмили, но наконец мы достигли цели и, задыхаясь, влетели в пивную.

Хозяева пивной были грубы. Они просто-напросто высмеяли нас. В доме имелось всего три постели, и в них уже спало семь холостых джентльменов и три супружеских четы. Какой-то сострадательный лодочник, находившийся случайно в пивной, высказал, однако, мнение, что нам стоит толкнуться к бакалейщику рядом с «Оленем», и мы вернулись назад.

У бакалейщика все было полно. Одна старушка, которую мы встретили в его лавке, любезно предложила нам пройти с ней четверть мили, к ее знакомой, которая иногда сдает мужчинам комнаты.

Старушка шла очень медленно, и, чтобы добраться до ее знакомой, нам потребовалось минут двадцать. В пути эта женщина развлекала нас рассказами о том, как и когда у нее болит спина.

Комнаты ее знакомой оказались сданы. От нее нас направили в дом № 27. Дом № 27 был полон, и нас послали в № 32. № 32 тоже был полон.

Тогда мы вернулись на большую дорогу. Гаррис сел на корзину с провизией и сказал, что дальше он не пойдет. Здесь, кажется, тихо и спокойно, и ему бы хотелось тут умереть. Он попросил меня и Джорджа передать поцелуй его матери и сказать всем его родственникам, что он простил их и умер счастливым.

В этот момент появился ангел в образе маленького мальчика (более удачно ангел не может замаскироваться). В одной руке у него был бидон с пивом, а в другой — какой-то предмет, привязанный к веревочке, которым он ударял о каждый встречный камень и затем снова дергал его вверх, чем вызывал исключительно неприятный жалобный звук.

Мы спросили этого посланца небес, каковым он оказался, не знает ли он уединенного дома, обитателя которого слабы и немногочисленны (старым дамам и паралитикам предпочтение) и могут под влиянием страха отдать на одну ночь свои постели троим готовым на все мужчинам; а если не знает, то не укажет ли нам какой-нибудь пустой хлев, или заброшенную печь для обжига извести, или что-нибудь в этом роде. Мальчик не знал ни одного такого места, по

крайней мере поблизости, но сказал, что мы можем пойти с ним — у его матери есть свободная комната.

Мы тут же, при свете луны, бросились ему на шею и осыпали его благословениями. Это зрелище было бы прекрасно, если бы мальчик не оказался до того подавлен нашим волнением, что не мог выдержать и сел на землю, увлекая нас за собой. Гаррис от радости почувствовал себя дурно и, схватив бидон мальчика, наполовину осушил его. После этого он пришел в себя и пустился бежать, предоставив нам с Джорджем нести вещи.

В маленьком коттедже, где жил мальчик, было четыре комнаты, и его мать — добрая душа — дала нам на ужин горячий грудинки, которую мы без остатка съели всю целиком (пять фунтов), и сверх того — пирога с вареньем и два чайника чаю, после чего мы пошли спать. В спальне стояло две кровати: складная кровать длиной в два фута и шесть дюймов — на ней спали мы с Джорджем, привязав себя друг к другу простыней, чтобы не упасть, и кровать мальчика, которую получил в полное владение Гаррис. Утром оказалось, что из нее на два фута торчат его голые ноги, и мы с Джорджем, умываясь, использовали их как вешалку для полотенца.

В следующий наш приезд в Дэтчет мы уже не были так привередливы по части гостиниц.

Но вернемся к нашей теперешней прогулке. Ничего интересного не произошло, и мы продолжали усердно тянуть лодку. Немного ниже Обезьяньего острова мы подвели ее к берегу и позавтракали. Мы вынули холодное мясо и увидели, что забыли взять с собой горчицу. Не помню, чтобы мне когда-нибудь в жизни, до или после этого, так отчаянно хотелось горчицы. Вообще-то я не любитель горчицы и очень редко ее употребляю, но в тот день я бы отдал за нее полмира.

Не знаю, сколько это в точности составляет — полмира, но всякий, кто бы принес мне в эту минуту ложку горчицы, мог получить эти полмира целиком.

Я готов на любое безрассудство, когда хочу чего-нибудь и не могу раздобыть.

Гаррис сказал, что он тоже отдал бы за горчицу полмира. Прибыльный был бы день для человека, который поя-

вился бы тогда в этом месте с банкой горчицы. Он был бы обеспечен мирами на всю жизнь.

Впрочем, мне кажется, что и я и Гаррис, получив горчицу, попытались бы отказаться от этой сделки. Такие сумасбродные предложения делаешь сгоряча, но потом, подумав, соображаешь, до какой степени они нелепы и не соответствуют ценности нужного предмета. Я слышал, как однажды в Швейцарии один человек, восходивший на гору, сказал, что отдал бы полмира за стакан пива. А когда этот человек дошел до маленькой избушки, где держали пиво, он поднял страшный скандал из-за того, что с него потребовали пять франков за бутылку «Мартовского». Он сказал, что это грабеж, и написал об этом в «Таймс».

Отсутствие горчицы подействовало на нас угнетающе, и мы ели говядину в полном молчании. Жизнь казалась пустой и неинтересной. Мы вспоминали дни счастливого детства и вздыхали. Но, перейдя к яблочному пирогу, мы несколько воспрянули духом, а когда Джордж вытащил со дна корзины банку ананасовых консервов и выкатил ее на середину лодки, нам начало казаться, что жить все же стоит.

Мы все трое любим ананасы. Мы рассматривали рисунков на банке, мы думали о сладком соке, мы обменивались улыбками. А Гаррис даже вытащил ложку.

Потом мы начали искать нож, чтобы вскрыть банку. Мы перерыли все содержимое корзины, вывернули чемоданы, подняли доски на дне лодки. Мы вынесли все наши вещи на берег и перетрясли их. Консервного ножа нигде не было.

Тогда Гаррис попробовал вскрыть банку перочинным ножом, но только сломал нож и сильно порезался. Джордж пустил в ход ножницы; ножницы выскочили у него из рук и чуть не выкололи ему глаза. Пока они перевязывали свои раны, я попробовал пробить в этой банке дырку острым концом багра, но багор соскользнул, и я оказался между лодкой и берегом, в грязной воде. А банка, невредимая, покадилась и разбила чайную чашку.

Тут мы все разъярились. Мы снесли эту банку на берег, Гаррис пошел в поле и притащил большой острый камень, а я вернулся в лодку и приволок мачту. Джордж придерживал банку, Гаррис приложил к ней острый конец камня, а я

взял мачту, поднял ее высоко в воздух и, собравшись с силами, опустил ее.

Джорджу в тот день спасла жизнь его соломенная шляпа. Он до сих пор хранит эту шляпу (или, вернее, то, что от нее осталось). В зимние вечера, когда трубки раскурены и друзья рассказывают всякие небылицы об опасностях, которые им пришлось пережить, Джордж приносит свою шляпу, пускает ее по рукам и еще раз рассказывает эту волнующую повесть, неизменно украшая ее новыми преувеличениями.

Гаррис отделался легкой раной.

После этого я сам принялся за банку и до тех пор колодил ее мачтой, пока не выбился из сил и не пришел в полное уныние. Тогда меня сменил Гаррис.

Мы расплющили банку, мы превратили ее в куб, мы придавали ей всевозможные очертания, встречающиеся в геометрии, но не могли пробить в ней дыру. Наконец за банку взялся Джордж, под его ударами она приняла такую дикую, нелепую, чудовищно уродливую форму, что Джордж испугался и отбросил мачту. Тогда мы все трое сели в кружок на траву и стали смотреть на банку. На верхушке ее образовалась длинная впадина, которая походила на насмешливую улыбку. Она привела нас в такое бешенство, что Гаррис бросился к банке, схватил ее и кинул на середину реки. Пока она тонула, мы осыпали ее проклятиями, потом сели в лодку и, взявшись за весла, гребли без отдыха до самого Мэйденхеда.

Мэйденхед слишком фешенебельное место, чтобы быть приятным. Это убежище речных франтов и их разряженных спутниц, город шикарных отелей, посещаемых преимущественно светскими щеголями и балетными танцовщицами. Это кухня ведьм, из которой выходят злые духи реки — паровые баркасы. У всякого герцога из «Лондонской газеты» есть «домик» в Мэйденхеде, а героини трехтомных романов всегда обедают там, когда отправляются кутить с чужими мужьями.

Мы быстро проехали мимо Мэйденхеда, а потом сбавили ход и не торопясь проплыли замечательный участок реки между Боултерским и Кукхэмским шлюзами. Кливлендский лес был одет в свой прекрасный весенний убор и склонялся к реке сплошным рядом зеленых ветвей всевозможных от-

тенков. В своей ничем не омраченной прелести это, пожалуй, одно из самых красивых мест на реке, и нам не хотелось уводить оттуда нашу лодку и расставаться с его мирной тишиной.

Мы остановились в заводи, чуть не доходя Кукхэма, и напильсь чаю. Когда мы миновали шлюз, был уже вечер. Поднялся довольно свежий ветерок — к нашему удивлению, попутный. Обычно на реке ветер всегда бывает встречный, в какую бы сторону вы ни шли. Он дует вам в лицо утром, когда вы выезжаете прогуляться на целый день, и вы долго гробете, думая, как легко будет идти обратно под парусом. Но потом, после чаю, ветер круто меняет направление, и вам приходится всю дорогу грести против него.

Если вы вообще забыли взять с собой парус, ветер неизменно благоприятен вам в обе стороны. Что делать! Земная жизнь ведь всего лишь испытание, и так же как искрам суждено лететь вверх, так и человек обречен на невзгоды.

Но в этот вечер, по-видимому, произошла ошибка, и ветер дул нам в спину, а не в лицо. Боясь дохнуть, мы быстро подняли парус, прежде чем ошибка была замечена. Потом мы в задумчивых позах разлеглись в лодке, парус надулся, поворчал на мачту, и лодка полетела вперед.

Я правил рулем.

Я не знаю ничего более увлекательного, чем идти под парусом. Это наибольшее приближение к полету, по крайней мере наяву. Быстрые крылья ветра как будто уносят вас вперед, неведомо куда. Вы больше не похожи на слабое, неуклюжее создание, медленно извивающееся на земле, — вы слиты с природой. Ваше сердце бьется в лад с ее сердцем, ее прекрасные руки обнимают вас и прижимают к груди. Духом вы заодно с нею, члены ваши легки. Голоса атмосферы звучат для вас. Земля кажется маленькой и далекой. Облака над головой — ваши братья, и вы протягиваете к ним руки.

Мы были на воде одни. Лишь в отдалении посреди реки виднелась рыбацья плоскодонка, в которой сидело трое рыбаков. Мы скользили вдоль лесистых берегов, никто не произносил ни слова.

Я правил рулем.

Приближаясь к плоскодонке, мы увидели, что эти трое рыбаков — пожилые, серьезные на вид люди. Они сидели

на стульях и внимательно наблюдали за своими удочками. Багряный закат озарял воды реки мистическим светом, зажигая огнем величавые деревья и озаряя золотым блеском гряды облаков. Это был волшебный час восторженной надежды и грусти. Маленький парус вздымался к пурпурному небу; лучи заката окутывали мир многоцветными тенями, а позади нас красалась ночь.

Казалось, мы — рыцари из старой легенды и плывем по таинственному озеру в неведомое царство сумерек, в великую страну заката.

Однако мы не попали в царство сумерек, но со всего размаху врезались в плоскодонку, с которой удили эти три старика. Мы не сразу сообразили, что случилось, так как парус мешал нам видеть. Но по выражениям, огласившим вечерний воздух, мы поняли, что пришли в соприкосновение с людьми и что эти люди раздражены и сердиты.

Гаррис опустил парус, и мы увидели, что произошло. Мы сбили этих трех джентльменов со стульев, и они кучей лежали на дне лодки, медленно и мучительно стараясь разделиться и стряхивая с себя рыбу. При этом они ругали нас не обычными безобидными ругательствами, а длинными, тщательно продуманными, всеобъемлющими проклятиями, которые охватывали весь наш жизненный путь, вводили в отдаленное будущее и затрагивали всех наших родных и все, что было связано с нами. Это были добротные, основательные ругательства.

Гаррис сказал рыбакам, что они должны быть благодарны за маленькое развлечение после целого дня рыбной ловли. Нас смущает и огорчает, прибавил он, что люди в их возрасте так поддаются дурному расположению духа. Но это не помогло.

Джордж сказал, что теперь он будет править. Он заявил, что мозги вроде моих не могут всецело отдаться управлению рулем, уж лучше, пока мы еще не утонули, предоставить наблюдение за лодкой простому смертному. И он взял за веревки и довел нас до Марло.

В Марло мы оставили лодку у моста, а сами пошли ночевать в гостиницу «Корона».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Марло. – Бишемское аббатство. – Монахи из Медменхэма. – Монморенси намеревается убить старого кота, но потом решает оставить его в живых. – Постыдное поведение фокстерьера в универсальном магазине. – Отъезд из Марло. – Внушительная процессия. – Паровые баркасы. – Полезные советы: как им досадить и помешать. – Мы отказываемся выпить реку. – Спокойный пес. – Странное исчезновение Гарриса с пирогом.

Марло — одно из самых красивых прибрежных местечек, какие я знаю. Это оживленный, хлопотливый городок; в общем он, правда, не слишком живописен, но в нем можно найти много причудливых уголков — уцелевшие своды разрушенного моста Времени, помогающие нашему воображению перенестись назад в те дни, когда господином поместья Марло был Эльгар Саксонский. Потом Вильгельм Завоеватель захватил его и передал королеве Матильде, а позже оно перешло к графам Уорвикским и к многоопытному лорду Пэджету, советнику четырех королей.

Если после катания на лодке вы любите пройтись, то в окрестностях Марло вы найдете прелестные места, но и сама река здесь всего лучше. Участок ее до Кукхэма, за лесом Куэрри и лугами, очень красив. Милый старый лес! На твоих крутых тропинках и прогалинах до сей поры витает так много воспоминаний о солнечных летних днях! Твои тенистые просеки наполнены призраками смеющихся лиц, в твоих шелестящих листьях так нежно звучат голоса прошлого.

От Марло до Соннинга река, пожалуй, еще красивей. Величественное старинное Бишемское аббатство, которое служило когда-то приютом Анне Клевской и королеве Елизавете и в чьих каменных стенах раздавались возгласы рыцарей-храмовников, высится на правом берегу, ровно полумилей выше Марлоуского моста. В Бишемском аббатстве много мелодраматического. Там есть спальня, обтянутая коврами, и потайная комната, скрытая в толще стены. Призрак леди Холли, которая до смерти забила своего маленького сына, все еще бродит там, стараясь отмыть в призрачной чаше свои призрачные руки.

Здесь покоится Уорвик — тот, что возвел на престол столько королей, а теперь не заботится уже больше о таких пустяках, как земные цари и земные царства; и Солсбери, хорошо послуживший при Пуатье. Невдалеке от аббатства, у самого берега реки, стоит Бишемская церковь, и если вообще есть смысл осматривать какие-нибудь гробницы, то это гробницы и памятники в Бишемской церкви. Именно здесь, плавая в своей лодке под буками Бишема, Шелли, который жил тогда в Марло (его дом и теперь еще можно видеть на Западной улице), написал «Восстание ислама».

У Хэрлейской плотины, несколько выше по течению, я бы мог, кажется, прожить месяц и все же не наслаждался бы досыта красотой пейзажа. Деревня Хэрлей, в пяти минутах ходьбы от шлюза, — одно из самых старинных местечек на реке и существует, выражаясь языком тех времен, «со дней короля Соберта и короля Оффы». Сейчас же за плотиной (вверх по реке) находится Датское поле, где вторгшиеся в Британию датчане стояли лагерем во время похода на Глостершир; а еще подальше, укрытые в красивой излучине реки, высятся остатки Медменхэмского аббатства.

Знаменитые медменхэмские монахи составили братство, или, как его обычно называли, «Адский клуб», девизом которого было: «Поступайте, как вам угодно». Это предложение еще красуется на его разрушенных воротах. За много лет до основания этого мнимого аббатства, населенного толпой нечестивых шутников, на том же самом месте стоял более суровых нравов монастырь, монахи которого несколько отличались от кутил, пришедших через пятьсот лет им на смену.

Монахи-цистерциане, основавшие здесь аббатство в тринадцатом веке, носили вместо одежды грубые балахоны с клобуками и не ели ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Спали они на соломе и в полночь вставали, чтобы служить обедню. Они проводили весь день в трудах, чтении и молитве. Всю жизнь их осеняло мертвое молчание, ибо никто из них никогда не говорил.

Мрачное это было братство, и мрачную оно вело жизнь в этом прелестном местечке, которое Господь создал таким веселым. Странно, что голоса окружавшей их природы — нежное пение струй, шепот речной травы, музыка шелестящего ветра — не внушили этим монахам более правильного

взгляда на жизнь. Целыми днями они в молчании ожидали голоса с неба, а этот голос весь день и в торжественной тиши ночи говорил с ними тысячами звуков, но они его не слышали.

От Медменхэма до прелестного Хэмблдонского шлюза река полна мирной красоты, но за Гринлендом — малоинтересной резиденцией моего газетчика (этого спокойного, непритязательного старичка можно часто видеть здесь в летние месяцы энергично работающим веслами или добродушно беседующим с каким-нибудь старым сторожем шлюза) — и до конца Хэнли она несколько пустынна и скучна.

Утром в понедельник в Марло мы встали довольно рано и перед завтраком пошли выкупаться. На обратном пути Монморенси сваял страшного дурака. Единственное, в чем мы с Монморенси не сходимся во мнениях, — это кошки. Я люблю кошек, Монморенси их не любит.

Когда я вижу кошку, я говорю: «Киса, бедная!» — и нагибаюсь и щекочу ее за ушами, а кошка поднимает хвост, твердый, как железо, выгибает спину и трется носом о мои брюки. Все полно мира и спокойствия. Когда Монморенси видит кошку, об этом узнает вся улица, и количества ругательств, которые расточаются здесь за десять секунд, любому порядочному человеку хватило бы при бережном расходовании на всю жизнь.

Я не порицаю моего пса (довольствуясь обычно тем, что бросаю в него камни и щелкаю по голове). Я считаю, что это у него в природе. У фокстерьеров примерно в четыре раза больше врожденной греховности, чем у других собак, и нам, христианам, понадобится немало терпения и труда, чтобы сколько-нибудь заметно изменить хулиганскую психологию фокстерьеров.

Помню, однажды я находился в вестибюле хэймаркетского универсального магазина. Меня окружало множество собак, ожидавших возвращения своих хозяев, которые делали покупки. Там сидел мастиф, два-три колли, сенбернар, несколько легавых и ньюфаундлендов, овчарка, французский пудель с множеством волос вокруг головы, но потерявший в середине, бульдог, несколько левреток величиной с крысу и пара йоркширских дворняжек.

Они сидели мирные, терпеливые, задумчивые. Торжественная тишина царила в вестибюле. Его наполняла атмосфера покоя, смирения и тихой грусти.

И тут вошла красивая молодая дама, ведя за собой маленького, кроткого на вид фокстерьера, и оставила его на цепи между бульдогом и пуделем. Он сел и некоторое время осматривался. Потом он поднял глаза к потолку и, судя по выражению его морды, стал думать о своей матери. Потом он зевнул. Потом оглядел других собак, молчаливых, важных, полных достоинства. Он посмотрел на бульдога, который безмятежно спал справа от него. Он взглянул на пуделя, сидевшего надменно выпрямившись слева, и вдруг, без всякого предупреждения, без всякого видимого повода, он укусил этого пуделя за ближайшую переднюю лапу, и вопль страдания огласил тихий полумрак вестибюля.

Результат этого первого опыта показался фокстерьеру весьма удовлетворительным, и он решил действовать дальше и всех расшевелить. Перескочив через пуделя, он энергично атаковал одного из колли. Колли проснулся и немедленно завязал яростный и шумный бой с пуделем. Наш фоксик вернулся на свое место и, схватив бульдога за ухо, попробовал свалить его с ног. Тогда бульдог, исключительно нелицеприятное животное, набросился на всех, кого мог достать, включая швейцара, что дало возможность маленькому терьеру без помехи наслаждаться дракой со столь же расположенной к этому дворняжкой.

Всякий, кто знает собачью натуру, легко догадается, что к этому времени все собаки в вестибюле дрались с таким увлечением, словно от исхода боя зависело спасение их жизни и имущества. Большие собаки дрались друг с другом, маленькие дрались между собой и в свободную минуту кусали больших за ноги.

Вестибюль превратился в сущий ад, и шум был страшный. Снаружи собралась толпа, все спрашивали, не митинг ли здесь, а если нет, то кого тут убили и почему. Пришли какие-то люди с шестами и веревками и пробовали растащить собак, послали за полицией.

В самый разгар потасовки вернулась милая молодая дама, подхватила своего дорогого фоксика на руки (тот вывел дворняжку из строя по крайней мере на месяц, а сам теперь прикидывался новорожденным ягненком), осыпала его по-

целуями и спросила, не убит ли он и что ему сделали эти гадкие, грубые собаки. А фокс притаился у нее на груди и смотрел на нее с таким видом, словно хотел сказать: «Как я рад, что вы пришли и унесете меня подальше от этого возмутительного зрелища!»

Молодая дама сказала, что хозяева магазина не имеют права допускать больших и злых собак в такие места, где находятся собаки порядочных людей, и что она очень подумывает подать кое на кого в суд.

Такова уж природа фокстерьеров, поэтому я не браню Монморенси за его склонность ссориться с кошками. Но в то утро он сам пожалел, что не вел себя скромнее.

Как я уже говорил, мы возвращались с купанья, когда на главной улице из одной подворотни впереди нас выскочила кошка и побежала по мостовой. Монморенси издал радостный крик — крик сурового воина, который увидел, что его противник отдан судьбой ему в руки, — такой крик, должно быть, испустил Кромвель, когда шотландцы спустились с горы, — и кинулся следом за своей добычей. Жертвой Монморенси был большой черный кот. Я никогда не видел такого огромного и непрезентабельного кота. У него не хватало половины хвоста, одного уха и значительной части носа. Это было длинное жилистое животное. Вид у него был спокойный и самодовольный.

Монморенси мчался за этим бедным котом со скоростью двадцати миль в час, но кот не торопился: ему, видимо, и в голову не приходило, что его жизнь в опасности. Он трусил мелкой рысцой, пока его возможный убийца не оказался на расстоянии одного ярда. Тогда он обернулся и сел посреди дороги, глядя на Монморенси с кротким любопытством, словно хотел сказать: «В чем дело? Вы ко мне?»

У Монморенси нет недостатка в храбрости. Но в поведении этого кота было нечто такое, от чего остыла бы смелость самого бесстрашного пса. Монморенси сразу остановился и тоже посмотрел на кота.

Оба молчали, но легко было себе представить, что между ними происходит такой разговор:

Кот. Вам что-нибудь нужно?

Монморенси. Нет... благодарю вас.

Кот. А вы, знаете, не стесняйтесь, говорите прямо.

Монморенси (*отступая по главной улице*). О нет, что вы... Конечно... Не беспокойтесь... Я... боюсь, что я ошибся. Мне показалось, что мы знакомы... Простите за беспокойство.

Кот. Не за что! Рад служить! Вам действительно ничего не нужно?

Монморенси (*продолжая отступать*). Нет, нет... Спасибо, нет... вы очень любезны. Всего хорошего.

Кот. Всего хорошего.

После этого кот поднялся и пошел дальше, а Монморенси тщательно спрятал то, что он называет своим хвостом, в соответствующую выемку, вернулся к нам и занял незаметную позицию в тылу.

И теперь еще, если вы скажете: «Кошка!» — он вздрагивает и жалобно взглядывает на вас, будто говоря: «Пожалуйста, не надо».

После завтрака мы сделали покупки и наполнили лодку провизией на три дня. Джордж сказал, что надо взять с собой овощей. Это вредно для здоровья — не есть овощей. Он заявил, что их нетрудно варить и что он берет это на себя. Поэтому мы купили десять фунтов картошки, бушель гороху и несколько кочанов капусты. В гостинице мы достали мясной пирог, несколько пирогов с крыжовником и баранью ногу; за фруктами, печеньем, хлебом, маслом, вареньем, грудинкой, яйцами и прочим нам пришлось ходить по городу.

Отбытие из Марло я рассматриваю как одно из наших высших достижений. Не будучи демонстративным, оно было в то же время полно достоинства и внушительно. Заходя в какую-нибудь лавку, мы везде объясняли, что забираем покупку немедленно. И никаких: «Хорошо, сэр! Я отошлю их сейчас же. Мальчик будет на месте раньше вас, сэр!» — после чего приходится топтаться на пристани, дважды возвращаться обратно в магазин и скандалить. Мы ждали, пока уложат корзины, и захватывали рассыльных с собой.

Применяя эту систему, мы обошли порядочное количество лавок, в результате, когда мы закончили, за нами следовала такая замечательная коллекция рассыльных с корзинками, какой только можно пожелать. Наше последнее шествие по главной улице к реке являло, должно быть, внушительное зрелище, уже давно не виданное в городе Марло.

Порядок процессии был следующий:

Монморенси с палкой во рту.

Две подозрительные дворняги, друзья Монморенси.

Джордж, нагруженный пальто и пледами, с короткой трубкой в зубах.

Гаррис, пытающийся идти с непринужденной грацией, неся в одной руке пузатый чемодан, а в другой — бутылку с лимонным соком.

Мальчик от зеленщика и мальчик от булочника, с корзинами.

Коридорный из гостиницы, с большой корзиной.

Мальчик от кондитера, с корзинкой.

Мальчик от бакалейщика, с корзинкой.

Мальчик от торговца сыром, с корзинкой.

Случайный прохожий, с мешком в руке.

Друг-приятель случайного прохожего, с руками в карманах и трубкой во рту.

Мальчик от фруктощика, с корзиной.

Я сам, с тремя шляпами и парой башмаков и с таким видом, будто я их не замечаю.

Шесть мальчишек и четыре приبلудных пса.

Когда мы пришли на пристань, лодочник сказал:

— Позвольте, сэръ, у вас был баркас или крытый бот?

Услышав, что у нас четырехвесельная лодка, он был, видимо, удивлен.

В это утро у нас было немало хлопот с паровыми баркасами. Дело было как раз перед Хэнлейскими гонками, и баркасы сновали по реке в великом множестве — иные в одиночку, другие с крытыми лодками на буксире. Я ненавижу паровые баркасы, я думаю, их ненавидит всякий, кому приходилось грести. Каждый раз, как я вижу паровой баркас, я чувствую, что мне хочется заманить его в пустынное место и там, в тиши и уединении, задушить.

В паровом баркасе есть что-то наглое и самоуверенное, отчего во мне просыпаются самые дурные инстинкты, и я начинаю жалеть о добром старом времени, когда можно было высказывать всякому свое мнение о нем на языке топора и лука со стрелами. Уже одно выражение лица человека, который стоит на корме, засунув руки в карманы, и курит сигару, само по себе служит достаточным поводом для нарушения общественного спокойствия, а властный свисток,

повелевающий вам убираться с дороги, обеспечил бы, я уверен, справедливый приговор за «законное человекоубийство» при любом составе присяжных из жителей побережья.

А им пришлось-таки посвистеть, чтобы заставить нас убраться с дороги. Не желая прослыть хвастуном, я могу честно сказать, что наша лодочка за эту неделю причинила встречным баркасам больше неприятностей, хлопот и задержек, чем все остальные суда на реке, вместе взятые.

«Баркас идет!» — кричит кто-нибудь из нас, завидя вдали врага, и в одно мгновение все готово к встрече. Я сажусь за руль, а Гаррис с Джорджем усаживаются рядом со мной, тоже спиной к баркасу, и лодка медленно выплывает на середину реки.

Баркас, свистя, надвигается, а мы плывем. На расстоянии примерно в сотню ярдов он начинает свистеть как бешеный, и все пассажиры, перегнувшись через борт, кричат на нас, но мы их не слышим. Гаррис рассказывает нам какой-нибудь случай, происшедший с его матерью, и мы с Джорджем жадно ловим каждое его слово. Тогда баркас испускает последний вопль, от которого чуть не лопается котел, дает задний ход и контрпар, делает полный поворот и садится на мель. Все, кто есть на борту, сбегаются на нос, публика на берегу кричит нам что-то, другие лодки останавливаются и впутываются в это дело, так что вся река на несколько миль в обе стороны приходит в неистовое возбуждение. Тут Гаррис прерывает на самом интересном месте свой рассказ, с кротким удивлением поднимает глаза и говорит Джорджу:

— Смотри-ка, Джордж, кажется, там паровой баркас.

А Джордж отвечает:

— Да, знаешь, я тоже как будто что-то слышу.

После этого мы начинаем волноваться и нервничать и не знаем, как убраться с дороги. Люди на баркасе толпятся у борта и учат нас:

— Гребите правым, идиот вы этакий! Левым — назад! Нет, нет, не вы, тот, другой... Оставьте руль в покое, черт побери! Ну, теперь обоими сразу! Да не так! Ах, вы...

Потом они спускают лодку и приходят нам на помощь. После пятнадцатиминутных усилий нас начисто убирают с дороги, и баркас получает возможность продолжать путь.

Мы рассыпаемся в благодарностях и просим взять нас на буксир. Но они не соглашаются.

Мы нашли и другой способ раздражать аристократические паровые баркасы: мы делаем вид, что принимаем их за плавучий ресторан, и спрашиваем, от кого они — от господ Кьюбит или от Бермондсейских Добрых Рыцарей, и просим одолжить нам кастрюлю.

Старые дамы, не привычные к реке, очень боятся паровых баркасов. Помню, я однажды плыл из Стэйнса в Виндзор (этот участок реки особенно богат подобного рода механическими чудовищами) с компанией, где были три такие дамы. Это было очень интересно. При первом появлении баркаса дамы настоятельно пожелали выйти на берег и посидеть на скамейке, пока баркас снова не скроется из виду. Они сказали, что им очень жаль, но мысль об их семьях не позволяет им рисковать собой.

В Хэмблдоне оказалось, что у нас нет воды. Мы взяли кувшин и отправились за водой к сторожу при шлюзе. Джордж был нашим парламентаром. Он пустил в ход самую вкрадчивую улыбку и спросил:

— Скажите, не могли бы вы выделить нам немного воды?

— Пожалуйста, — ответил старик. — Возьмите, сколько вам нужно, а остальное оставьте.

— Очень вам благодарен, — пробормотал Джордж, осматриваясь. — Где... где вы ее держите?

— Она всегда на одном и том же месте, молодой человек, — последовал неторопливый ответ. — Как раз сзади вас.

— Я ее не вижу, — сказал Джордж, оборачиваясь.

— Где же у вас глаза, черт возьми? — сказал сторож, повертывая Джорджа кругом и широким жестом указывая на реку. — Вон сколько воды, а вы не видите?

— А-а! — воскликнул Джордж, поняв, в чем дело. — Но не можем же мы выпить всю реку!

— Нет, но часть ее — можете, — возразил сторож. — Я, по крайней мере, пью из нее вот уже пятнадцать лет.

Джордж сказал, что его внешний вид — неважная реклама для фирмы и что он предпочел бы воду из колодца.

Мы достали воды в одном домике, немного выше по течению. Скорее всего, это была тоже речная вода. Но мы не спрашивали, откуда она, и все обошлось прекрасно. Что не видно глазу, то не огорчает желудка.

Однажды, позднее, мы попробовали речной воды, но это вышло неудачно. Мы плыли вниз по реке и сделали остановку в заводи недалеко от Виндзора, чтобы напиться чаю. Наш кувшин был пуст, и нам предстояло либо остаться без чая, либо взять воду из реки. Гаррис предложил рискнуть. Он говорил, что, если мы вскипятим воду, все будет хорошо. Все микробы, какие есть в воде, будут убиты кипячением.

Итак, мы наполнили котелок водой из реки Темзы и вскипятили ее. Мы очень тщательно проследили за тем, чтобы она вскипела.

Чай был готов, и мы только что уютно уселись и хотели за него приняться, как Джордж, который уже поднес был чашку к губам, воскликнул:

— Что это?

— Что именно? — спросили мы с Гаррисом.

— Вот это! — ответил Джордж, указывая пальцем на запад.

Гаррис и я проследили за его взглядом и увидели собаку, которая плыла к нам, увлекаемая медленным течением. Это была самая спокойная и мирная собака, какую я когда-либо видел. Я никогда не встречал собаки, которая казалась бы столь удовлетворенной и невозмутимой. Она мечтательно покачивалась на спине, задрав все четыре лапы в воздух. Это была, что называется, основательная собака с хорошо развитой грудной клеткой; она приближалась к нам, безмятежная, полная достоинства и спокойная, пока не поравнялась с нашей лодкой. Тут, в камышах, она остановилась и уютно устроилась на весь вечер.

Джордж сказал, что ему не хочется чаю, и выплеснул свою чашку в воду. Гаррис тоже не чувствовал жажды и последовал его примеру. Я уже успел выпить половину своей чашки, но теперь пожалел об этом.

Я спросил Джорджа, как он думает, будет ли у меня тиф.

Джордж сказал: «О нет!» По его мнению, у меня были большие шансы уцелеть. Впрочем, через две недели я узнаю, будет у меня тиф или нет.

Мы поднялись по каналу до Уоргрэва. Это сокращенный путь, который срезает правый берег полумилей выше шлюза Марш, и им стоит пользоваться: там красиво, тенисто, и вдобавок расстояние сокращается почти на полмили.

Вход в канал, разумеется, утыкан столбами, увешан цепями и окружен надписями, которые грозят всевозможными пытками, тюрьмой и смертью всякому, кто отважится по нему плавать. Удивительно, как это еще прибрежные зубры не заявляют претензий на воздух над рекой и не грозят каждому, кто им дышит, штрафом в сорок шиллингов! Но столбы и цепи при некоторой ловкости легко обойти, а что касается вывесок с надписями, то если у вас имеется пять минут свободного времени и поблизости никого нет, вы можете сорвать две-три штуки и бросить в воду.

Пройдя до половины канала, мы вышли на берег и позавтракали. Во время этого завтрака мы с Джорджем испытали сильное потрясение.

Гаррис тоже испытал потрясение, но оно и в сравнение не идет с тем, что пережили я и Джордж.

Дело было так. Мы сидели на лугу, ярдах в десяти от реки, и только что расположились поудобнее, собираясь питаться. Гаррис зажал между колен мясной пирог и разрезал его, мы с Джорджем ждали, держа наготове тарелки.

— Есть у вас ложка? — сказал Гаррис. — Мне нужна ложка для подливки.

Корзина стояла тут же, сзади нас, и мы с Джорджем одновременно обернулись, чтобы достать ложку. Когда мы снова повернули головы, Гаррис и пирог исчезли.

Мы сидели в широком открытом поле. На сто ярдов вокруг не было ни деревца, ни изгороди, Гаррис не мог свалиться в реку, потому что мы были ближе к воде и ему бы пришлось перелезть через нас, чтобы это сделать.

Мы с Джорджем посмотрели во все стороны. Потом мы взглянули друг на друга.

— Может быть, ангелы унесли его на небо? — сказал я.

— Они вряд ли взяли бы с собой пирог, — заметил Джордж.

Это возражение показалось мне веским, и небесная теория была отвергнута.

— Все дело, я думаю, в том, — сказал Джордж, возвращаясь к житейской прозе, — что произошло землетрясение. — И прибавил с оттенком печали в голосе: — Жаль, что он как раз в это время резал пирог!

Глубоко вздохнув, мы вновь обратили взоры к тому месту, где в последний раз видели пирог и Гарриса. И вдруг кровь застыла у нас в жилах и волосы встали дыбом: мы

увидели голову Гарриса — одну только его голову, которая торчала среди высокой травы. Лицо его было очень красно и выражало сильнейшее негодование.

Джордж опомнился первым.

— Говори! — вскричал он. — Скажи нам, жив ты или умер и где твое остальное тело!

— Не будь ослом, — сказала голова Гарриса. — Небось вы это сделали нарочно.

— Что сделали? — вскричали мы с Джорджем.

— Да посадили меня на это место. Чертовски глупая шутка. Нате, берите пирог.

И из самого центра земли — по крайней мере так нам казалось — поднялся пирог, жестоко истерзанный и помятый. Следом за ним вылез Гаррис, мокрый, грязный, взъерошенный.

Он, оказывается, не заметил, что сидел на самом краю канавы, скрытой густой травой, и, откинувшись назад, полетел в нее вместе с пирогом.

По его словам, он в жизни еще не был так изумлен, как когда почувствовал, что падает, и притом не имеет ни малейшего представления, что случилось. Сначала он решил, что настал конец света.

Гаррис до сих пор думает, что мы с Джорджем подстроили все это нарочно. Так несправедливое подозрение преследует даже самых праведных; ведь сказал же поэт: «Кто избегает клеветы?»

И правда, кто?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Уоргрэв. — Восковые фигуры. — Соннинг. — Ирландское рагу. — Монморенси настроен саркастически. — Битва Монморенси с чайником. — Джордж учится играть на банджо. — Это не встречает одобрения. — Трудности на пути музыканта-любителя. — Изучение игры на волынке. — Гаррису становится грустно после ужина. — Мы с Джорджем совершаем прогулку и возвращаемся мокрые и голодные. — С Гаррисом творится что-то странное. — Удивительная история про Гарриса и лебедей. — Гаррис проводит беспокойную ночь.

После завтрака мы воспользовались небольшим ветерком, и он медленно понес нас мимо Уоргрэва и Шиплэка. В мягких лучах сонного летнего дня Уоргрэв, притаившийся в излучине реки, производит впечатление приятного старинного города. Эта картина надолго остается в памяти.

Гостиница «Святой Георгий и дракон» в Уоргрэве может похвалиться замечательной вывеской. Эту вывеску написал с одной стороны Лесли, член Королевской академии, а с другой — Ходжсон. Лесли изобразил сражение, Ходжсон — сцену после битвы, когда Георгий, сделав свое дело, наслаждается пивом.

В Уоргрэве жил и — к вящей славе этого городка — был убит Дэй, автор «Сэндфорда и Мертона».

В уоргрэвской церкви стоит памятник миссис Саре Хилл, которая завещала ежегодно на Пасху делить один фунт стерлингов из оставленных ею денег между двумя мальчиками и двумя девочками, «которые никогда не были непочтительны с родителями, никогда не ругались, не лгали, не воровали и не били стекол». Отказаться от всего этого ради пяти шиллингов в год? Право, не стоит!

Старожилы утверждают, что однажды, много лет тому назад, объявился один мальчик, который действительно ничего такого не делал — по крайней мере его ни разу не уличили, а это все, что требовалось, — и удостоился венца славы. После этого он три недели подряд красовался для всеобщего обозрения в городской ратуше под стеклянным колпаком.

Что случилось с деньгами потом, никто не знает. Говорят, что их каждый год передают ближайшему музею восковых фигур.

Шиплэк — хорошенькая деревня, но ее не видно с реки, так как она стоит на горе. В шиплэкской церкви венчался Теннисон.

Вплоть до самого Соннинга река вьется среди множества островов. Она очень спокойна, тиха и безлюдна. Только в сумерках по ее берегам гуляют редкие парочки влюбленных. Чернь и золотая молодежь остались в Хэнли, а до унылого, грязного Рэдинга еще далеко. Здесь хорошо помечтать о минувших днях и канувших в прошлое лицах и

о том, что могло бы случиться, но не случилось, черт его побери!

В Соннинге мы вышли и пошли прогуляться по деревне. Это самый волшебный уголок на реке. Здесь все больше похоже на декорацию, чем на деревню, выстроенную из кирпича и известки. Все дома утопают в розах, которые теперь, в начале июня, были в полном цвету. Если вы попадете в Соннинг, остановитесь в гостинице «Бык», за церковью. Это настоящая старая провинциальная гостиница с зеленым квадратным двором, где вечерами собираются старики и, попивая эль, сплетничают о деревенских делах; с низкими, точно игрушечными комнатами, с решетчатыми окнами, неудобными лестницами и извилистыми коридорами.

Мы пробродили по милому Соннингу около часа. Миновать Рэдинг мы в этот день уже не успели бы, а потому решили вернуться на один из островов около Шиплэка и заночевать там. Когда мы устроились, было еще рано, и Джордж сказал, что, раз у нас так много времени, нам представляется великолепный случай устроить шикарный, вкусный ужин. Он обещал показать нам, что можно сделать на реке в смысле стряпни, и предложил приготовить из овощей, холодного мяса и всевозможных остатков ирландское рагу.

Мы горячо приветствовали эту идею. Джордж набрал хворосту и разжег костер, а мы с Гаррисом принялись чистить картошку. Я никогда не думал, что чистка картофеля — такое сложное предприятие. Это оказалось самым трудным делом, в каком я когда-либо участвовал. Мы начали весело, можно даже сказать — игриво, но все наше оживление пропало к тому времени, как была очищена первая картофелина. Чем больше мы ее чистили, тем больше на ней было кожицы; когда мы сняли всю кожу и вырезали все глазки, от картофелины не осталось ничего, достойного внимания. Джордж подошел и посмотрел на нее. Она была не больше лесного ореха. Джордж сказал:

— Это никуда не годится. Вы губите картофель. Его надо скоблить.

Мы принялись скоблить, и это оказалось еще труднее, чем чистить. У них такая удивительная форма, у этих кар-

тофелин. Сплошные бугры, впадины и бородавки. Мы прилежно трудились двадцать пять минут и очистили четыре штуки. Потом мы забастовали. Мы заявили, что нам понадобится весь вечер, чтобы очиститься самим.

Ничто так не пачкает человека, как чистка картофеля. Трудно поверить, что весь тот мусор, который покрывал меня и Гарриса, взялся с каких-то четырех картофелин. Это показывает, как много значат экономия и аккуратность.

Джордж сказал, что нелепо класть в ирландское рагу только четыре картошки, и мы вымыли еще штук пять-шесть и бросили их в котел неочищенными. Мы также положили туда кочан капусты и фунтов пять гороху. Джордж смешал все это и сказал, что остается еще много места. Тогда мы перерыли обе наши корзины, выбрали оттуда все объедки и бросили их в котел. У нас оставалось полпирога со свиной и кусок холодной вареной грудинки, а Джордж нашел еще полбанки консервированной лососины. Все это тоже пошло в рагу.

Джордж сказал, что в этом главное достоинство ирландского рагу: сразу избавляешься от всего лишнего. Я выудил пару разбитых яиц, и мы присоединили их к прочему. Джордж сказал, что соус станет от них гуще. Я уже забыл, что мы еще туда положили, но знаю, что ничто не пропало даром. Под конец Монморенси, который проявлял большой интерес ко всей этой процедуре, вдруг куда-то ушел с серьезным и задумчивым видом. Через несколько минут он возвратился, неся в зубах дохлую водяную крысу. Очевидно, он намеревался предложить ее как свой вклад в общую трапезу. Было ли это издевкой или искренним желанием помочь — мне неизвестно.

У нас возник спор, стоит ли пускать крысу в дело. Гаррис сказал, почему бы и нет, если смешать ее со всем остальным, каждая мелочь может пригодиться. Но Джордж сослался на прецедент: он никогда не слышал, чтобы в ирландское рагу клали водяных крыс, и предпочитает воздержаться от опытов.

Гаррис сказал:

— Если никогда не испытывать ничего нового, как же узнать, хорошо оно или плохо? Такие люди, как ты, тормо-

зят прогресс человечества. Вспомни о немце, который первым сделал сосиски.

Наше ирландское рагу имело большой успех. Я, кажется, никогда ничего не ел с таким удовольствием. В нем было что-то такое свежее, острое. Наш язык устал от старых, избитых ощущений; перед нами было новое блюдо, не похожее вкусом ни на какое другое.

Кроме того, оно было очень сытно. Как выразился Джордж, материал был неплохой. Правда, картофель и горох могли бы быть помягче, но у всех у нас были хорошие зубы, так что это не имело значения. Что же касается соуса, то это была целая поэма. Быть может, он был слишком густ для слабого желудка, но зато питателен.

Мы закончили ужин чаем и пирогом с вишнями, а Монморенси вступил в бой с чайником и вышел из него побежденным.

С самого начала нашего путешествия чайник возбуждал у Монморенси величайшее любопытство. Он сидел и с озадаченным видом наблюдал, как чайник кипит, время от времени пытаясь раздражить его ворчанием. Когда чайник начинал брызгаться и пускать пар, Монморенси принимал это за вызов и хотел вступить в бой, но в эту самую минуту кто-нибудь из нас подбегал и уносил его добычу, не дав ему времени схватить ее.

В этот день наш пес решил опередить всех. Не успел чайник зашуметь, как он, громко ворча, поднялся и с грозным видом направился к чайнику. Это был небольшой чайник, но он был полон отваги и начал фыркать и плевать на Монморенси.

— Ах вот как! — зарычал пес, оскалив зубы. — Я научу тебя прилично вести себя с почтенной, работающей собакой, жалкий, длинноносый, грязный негодяй. Выходи!

И он бросился на бедный маленький чайник и схватил его за носик.

И сейчас же в вечерней тишине прозвучал леденящий душу вопль, и Монморенси выскочил из лодки и трижды полным ходом обежал вокруг острова, время от времени останавливаясь и зарываясь носом в прохладную грязь.

С этих пор Монморенси смотрел на чайник с почтением, недоверием и страхом. При виде его он ворчал и быстро, поджавши хвост, пятился прочь. Когда чайник ставили

на спиртовку, он моментально вылезал из лодки и сидел на берегу до самого конца чаепития.

После ужина Джордж вытащил свое банджо и хотел поиграть, но Гаррис запротестовал. Он сказал, что у него болит голова и он не чувствует себя достаточно крепким, чтобы выдержать игру Джорджа. Джордж возразил, что музыка может ему помочь — музыка ведь часто успокаивает нервы и прогоняет головную боль, — и взял две-три гнусавые ноты, на пробу. Но Гаррис сказал, что предпочитает головную боль.

Джордж так до сих пор и не научился играть на банджо. Он встретил слишком мало поддержки у окружающих. Два или три раза, по вечерам, когда мы были на реке, он пробовал упражняться, но это всегда кончалось неудачей. Одних выражений Гарриса было бы достаточно, чтобы обескуражить кого угодно, а тут еще Монморенси был не переставая все время, пока Джордж играл. Где уж тут было научиться!

— С чего это он всегда воеет, когда я играю? — возмущенно восклицал Джордж, прицеливаясь в Монморенси башмаком.

— А ты чего играешь, когда он воеет? — говорил Гаррис, перехватывая башмак на лету. — Оставь собаку в покое. Она не может не выть. У нее музыкальный слух, как же ей не взвыть от твоей игры.

Джордж решил отложить занятия музыкой до возвращения домой. Но и дома ему не удалось упражняться. Миссис П. стучала ему в дверь и говорила, что просит прощения: ей самой приятно его слушать, но дама наверху в интересном положении, и доктор боится, как бы это не повредило ребенку.

Тогда Джордж попробовал уносить банджо по ночам из дому и упражняться на площади. Но окрестные жители пожаловались в полицию, и однажды ночью Джорджа выследили и схватили. Улики против него были очевидны, и его обязали не нарушать тишины в течение шести месяцев.

После этого Джордж, видимо, потерял вкус к музыке. Правда, когда шесть месяцев прошли, он сделал одну или две слабые попытки снова приняться за банджо, но ему по-прежнему приходилось бороться с холодностью и недостатком сочувствия со стороны окружающих. Через некото-

рое время он совсем отчаялся и дал объявление о продаже своего инструмента «за ненадобностью» с большой скидкой, а сам начал учиться показывать карточные фокусы.

Должно быть, малоприятное занятие — учиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Казалось бы, обещество ради своего же блага должно всемерно помочь человеку овладеть искусством играть на чем-нибудь, но это не так.

Я знавал одного молодого человека, который учился играть на волынке. Прямо удивительно, какое сопротивление ему приходилось преодолевать. Даже от членов своей собственной семьи он не получал, так сказать, активной поддержки. Его отец был с самого начала ярким противником этого дела и говорил о нем безо всякой чуткости.

Мой знакомый сначала вставал и упражнялся спозаранку, но ему пришлось отказаться от этой системы из-за своей сестры. Она была женщина религиозная и заявила, что начинать день таким образом — свыше ее сил.

Тогда он стал играть по ночам, после того как его родные ложились спать. Но из этого тоже ничего не вышло, так как его дом приобрел дурную репутацию. Запоздалые прохожие останавливались, прислушиваясь, а наутро рассказывали по всему городу, что в доме мистера Джефферсона произошло ночью ужасное убийство. Они утверждали, будто слышали крики жертвы, грубые ругательства и проклятия убийцы, мольбы о пощаде и предсмертный хрип.

Тогда моему знакомому разрешили упражняться днем на кухне, закрыв все двери. Но, несмотря на эти предосторожности, наиболее удачные пассажи были все же слышны в гостиной и доводили его мать чуть ли не до слез.

Она говорила, что это напоминает ей о ее несчастном отце (беднягу проглотила акула, когда он купался у берегов Новой Гвинеи. Почему звуки волынки вызывали в ее памяти именно этот образ, она не могла объяснить).

Наконец молодому Джефферсону скотили хибарку в самом дальнем конце сада, примерно за четверть мили от дома, и он должен был таскать туда свою махину, когда хотел подзаняться. Но иногда к ним приходил какой-нибудь знакомый, который ничего не знал об этом, и его забывали осведомить и предостеречь. Он выходил прогуляться по саду и вдруг, не будучи подготовлен и не зная, в чем дело,

оказывался в пределах слышимости волынки. Люди с сильной волей отделялись при этом обмороком, субъекты с нормальным темпераментом сходили с ума.

Нельзя не признать, что человек, пробуящий научиться играть на волынке, вызывает горестное чувство. Я сам испытал это, слушая моего молодого друга. Прежде чем начать, нужно запастись воздухом на всю пьесу — так, по крайней мере, казалось мне, когда я смотрел на Джефферсона.

Начинал он великолепной, яростной, вызывающей нотой, которая прямо-таки будоражила слушателя. Но чем дальше, тем звук становился тише, и последний куплет обычно замирал на середине, переходя в бульканье и шипенье.

Надо обладать железным здоровьем, чтобы играть на волынке.

Молодой Джефферсон выучился играть всего одну пьесу, но я ни разу не слышал ни от кого жалобы на бедность его репертуара. Эта пьеса называлась: «Ведет нас Кэмпбел в бой, ура, ура!». Так, по крайней мере, говорил мой приятель, хотя его отец всегда утверждал, что это «Шотландские колокольчики». Никто, по-видимому, не знал в точности, какая это пьеса, но все говорили, что в ней есть что-то шотландское.

Незнакомым разрешалось угадывать три раза, причем большинство каждый раз называло другую пьесу.

После ужина Гаррис пришел в дурное настроение. Вероятно, его расстроило рагу — он не привык к роскошной жизни. Мы с Джорджем оставили его в лодке и решили прогуляться по Хэнли. Гаррис сказал, что он удовольствуется стаканом виски и трубкой и приготовит лодку на ночь. Когда мы вернемся, нам стоит лишь крикнуть — и он приплывет с острова и заберет нас.

— Смотри только не засни, старина, — говорили мы, уходя.

— Заснешь тут, когда это рагу еще действует, — проворчал Гаррис и вернулся на остров.

Хэнли готовился к гонкам яхт и был полон оживления. Мы встретили в городе знакомых, и время в приятном обществе прошло быстро. Было уже около одиннадцати, когда мы пустились в четырехмильный переход обратно к дому (к этому времени мы уже привыкли называть так нашу лодочку).

Ночь была унылая и холодная, моросил дождь. Мы плелись по темным, безмолвным полям и разговаривали вполголоса, не зная, верно мы идем или нет. Мы думали о нашей уютной лодке, о ярком свете фонаря, пробивающемся сквозь туго натянутую парусину, о Гарриесе, Монморенси и вискис, и нам хотелось быть у цели.

Усталые и проголодавшиеся, мы видели себя в лодке, видели темную реку, бесформенные деревья и под ними наше милое суденышко, похожее на огромного светляка, такое уютное, теплое и веселое. Мы воображали, что сидим за ужином и пожираем холодное мясо, передавая друг другу огромные ломти хлеба. Мы слышали веселый стук ножей и оживленные голоса, оглашающие мрак ночи. И мы спешили, чтобы увидеть все это наяву.

Наконец мы вышли на реку, и это развеселило нас. До этого мы не знали, приближаемся мы к реке или уходим от нее, а когда устанешь и хочется спать, такие сомнения раздражают.

Когда мы проходили через Скиплэк, часы пробили без четверти двенадцать. Вскоре после этого Джордж задумчиво спросил:

— Ты не помнишь, у которого острова мы остановились?

— Нет, не помню, — ответил я, тоже становясь серьезным. — А сколько их вообще?

— Всего четыре, — ответил Джордж. — Если он не спит, все будет в порядке.

— А если спит? — спросил я.

Но мы прогнали от себя такие мысли.

Поравнявшись с первым островом, мы крикнули, но ответа не было. Тогда мы перешли ко второму и повторили свою попытку. Результат был тот же.

— Ах да, я вспомнил, — сказал Джордж. — Это третий остров.

Полные надежд, мы побежали к третьему острову и крикнули.

Никакого ответа.

Положение становилось серьезным. Дело было за полночь. Гостиницы в Скиплэке и Хэнли, несомненно, переполнены. Не могли же мы ходить по городу и стучаться посреди ночи к жителям, спрашивая, не сдадут ли они комна-

ту. Джордж предложил вернуться в Хэнли и напасть на полисмена, это обеспечит нам ночлег в участке. Но у нас возникло опасение: а вдруг полисмен просто даст нам сдачи и откажется нас арестовать?

Мы не могли всю ночь драться с полисменами. Кроме того, нам не хотелось перехватить через край и получить шесть месяцев тюрьмы.

В отчаянии мы подошли к тому, что казалось в темноте четвертым островом, но результат был не лучше. Дождь полил сильнее и, видимо, зарядил надолго. Мы промокли до нитки, озябли и совсем пали духом. Нам начало казаться, что, может быть, островов не четыре, а больше, что мы находимся вовсе не у островов, а за милю от того места, где нам следует быть, или даже в другой части реки. В темноте все выглядело так странно и незнакомо. Мы начали понимать переживания детей, заблудившихся в лесу.

И вот, когда мы уже потеряли всякую надежду... Да, я знаю, в сказках и в романах все перемены происходят именно в этот момент, но я ничего не могу поделать. Приступая к этой книге, я решил быть строго правдивым во всем и не изменю этому, даже если бы мне пришлось прибегать к избитым оборотам. Это действительно случилось тогда, когда мы потеряли надежду, и я должен так выразиться.

Итак, когда мы потеряли всякую надежду, я внезапно заметил несколько ниже нас какой-то странный, необычный огонек, который мерцал среди деревьев на противоположном берегу реки. Сначала я подумал о духах — это был такой призрачный, загадочный огонек, — но через минуту меня осенила мысль, что это наша лодка, и я испустил дикий вопль, от которого, наверное, сама ночь перевернулась в постели.

Мы ждали затаив дыхание, и вдруг — о божественная музыка ночи! — послышался ответный лай Монморенси. Мы снова крикнули — достаточно громко, чтобы разбудить семь спящих отроков¹ (кстати, я никогда не мог понять, почему требуется больше шума, чтобы разбудить семь спя-

¹ Древняя легенда рассказывает о семи благородных юношах из Эфеса, которые, спасаясь от преследования римского императора Деция, нашли убежище в пещере, где проспали двести лет.

щих, чем одного), и через пять минут, которые показались нам вечностью, мы увидели, что освещенная лодка тихо ползет во мраке, и услышали сонный голос Гарриса, который спрашивал, где мы.

С Гаррисом творилось что-то странное. Это было нечто большее, чем обычная усталость. Он подвел лодку к берегу в таком месте, где нам совершенно невозможно было в нее сесть, и немедленно заснул. Потребовалось много крику и возни, чтобы снова разбудить его и несколько привести в разум. Но наконец нам это удалось, и мы благополучно влезли в лодку.

Тут мы заметили, что лицо у Гарриса грустное. Он был похож на человека, который пережил крупные неприятности. Мы спросили, не случилось ли чего, и Гаррис сказал:

— Лебеди.

Оказывается, наша лодка была причалена возле гнезда лебедей, и, после того как мы с Джорджем ушли, прилетела самка и подняла скандал. Гаррис прогнал ее, и она скрылась и вскоре возвратилась со своим мужем. По словам Гарриса, он выдержал с этой парой лебедей настоящую битву. Но в конце концов храбрость и искусство взяли верх, и он обратил их в бегство. Спустя полчаса они возвратились, и с ними еще восемнадцать лебедей. Судя по рассказу Гарриса, сражение было ужасно. Лебеди пытались вытащить его и Монморенси из лодки и утопить. Он четыре часа героически отбивался и подшиб всех лебедей, и они уплыли, чтобы умереть спокойно.

— Сколько, ты говоришь, было лебедей? — спросил Джордж.

— Тридцать два, — сонно ответил Гаррис.

— Ты только что сказал — восемнадцать, — заметил Джордж.

— Ничего подобного, — проворчал Гаррис, — я сказал, двенадцать. Ты что, думаешь, я не умею считать?

Истинную правду об этих лебедях мы так никогда и не узнали. Утром мы спрашивали об этом Гарриса, но Гаррис сказал: «Какие лебеди?» — и, по-видимому, решил, что нам с Джорджем это приснилось.

О, как приятно было после всех наших испытаний и страхов чувствовать себя в безопасности на лодке! Мы с Джорджем основательно поужинали и охотно выпили бы

грогу, если бы могли найти виски. Но мы не нашли его. Мы спросили Гарриса, что он с ним сделал, но Гаррис, видимо, не понимал, что означает слово «виски» и о чем мы вообще говорим. Монморенси сидел с таким видом, будто он что-то знает, но не хочет сказать.

Эту ночь я спал хорошо, и мог бы спать еще лучше, если бы не Гаррис. Я смутно помню, что просыпался за ночь не меньше десяти раз из-за Гарриса, который ходил по лодке с фонарем и разыскивал свое платье. Он, видимо, всю ночь беспокоился о своем платье.

Два раза он расталкивал меня и Джорджа, чтобы посмотреть, не лежим ли мы на его брюках. На второй раз Джордж пришел прямо-таки в бешенство.

— Зачем тебе, черт возьми, понадобились посреди ночи брюки? — с негодованием воскликнул он. — Чего ты не спишь?

Проснувшись в следующий раз, я увидел, что Гаррис не может найти свои носки. Последнее, что я смутно помню, это ощущение, что меня перекатывают с боку на бок, и бормотание Гарриса, который не мог понять, куда запропастился его зонтик.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Хозяйственные обязанности. — Любовь к работе. — Старый гребец, его дела и рассказы. — Скептицизм молодого поколения. — Первые воспоминания о поездках на лодке. — Управление плотом. — Стильная гребля Джорджа. — Старый лодочник и его метода. — Неторопливость и спокойствие. — Новичок. — Плавание с шестом. — Печальное происшествие. — Радости дружбы. — Мой первый опыт с парусом. — Почему мы не утонули.

Утром мы проснулись поздно и по настоящему требованию Гарриса удовольствовались незатейливым завтраком, «без деликатесов». Потом мы вымыли посуду и все убрали на место (эта ежедневная работа как будто помогает мне разрешить вопрос, который часто ставил меня в тупик: каким образом женщина, имеющая на руках всего одну квартиру, ухитряется убить время?). В десять часов мы

пустились в дорогу, решив пройти за день как можно больше.

Мы сговорились идти с утра на веслах, вместо того чтобы тянуть бечеву. Гаррис высказал мнение, что лучше всего будет, если я и Джордж станем грести, а он — править рулем. Я сказал, что Гаррис проявил бы больше благодарности, если бы взялся вместе с Джорджем поработать, а мне дал бы отдохнуть. Мне казалось, что я работаю больше, чем мне по справедливости полагается, и я глубоко это переживал.

Мне всегда кажется, что я работаю больше, чем следует. Не думайте, что я уклоняюсь от работы. Я люблю работу. Работа увлекает меня. Я часами могу сидеть и смотреть, как работают. Мне приятно быть около работы: мысль о том, что я могу лишиться ее, сокрушает мое сердце.

Мне нельзя дать слишком много работы — набирать работу сделалось моей страстью. Мой кабинет до того завален работой, что там не осталось ни дюйма свободной площади. Мне скоро придется пристраивать новый флигель.

Я очень бережно отношусь к моей работе. Часть работы, которая лежит у меня теперь, находится в моем кабинете уже многие годы, и на ней нет ни пятнышка. Я очень горжусь моей работой. Иногда я снимаю ее с полки и сметаю с нее пыль. Я, как никто, забочусь о ее сохранности.

Но хотя я жажду работы, мне все же хочется быть справедливым. Я не прошу больше того, что приходится на мою долю. А мне дают больше — так мне, по крайней мере, кажется, и это меня огорчает. Джордж говорит, что мне не стоит об этом тревожиться. Он считает, что только моя чрезмерная щепетильность заставляет меня бояться, что я имею больше работы, чем нужно. На самом деле мне не достается и половины того, что следует. Вероятно, он говорит это для того, чтобы меня утешить.

Я заметил, что в лодке каждый член команды уверен, что он один все и делает. Гаррис сказал, что работает один он, а мы с Джорджем его обманываем. Джордж, наоборот, высмеивал Гарриса, утверждая, что тот только ест и спит, и был твердо уверен, что именно он, Джордж, выполняет всю работу, о которой стоит говорить.

Он заявил, что никогда еще не плавал с такими лентяями, как я и Гаррис.

Это позабавило Гарриса.

— Вы только послушайте! Старина Джордж рассуждает о работе, — смеялся он. — Да после получаса работы он испустил бы дух. Видел ты когда-нибудь, чтобы Джордж работал? — обратился он ко мне.

Я согласился с Гаррисом, что не видел, — во всяком случае, с тех пор, как началась наша прогулка.

— Право, не понимаю, откуда ты можешь об этом знать, — возразил Джордж Гаррису. — Черт меня побери, если ты не проспал всю дорогу. Видел ты когда-нибудь, чтобы Гаррис не спал, если только он в это время не ел? — спросил он, обращаясь ко мне.

Любовь к истине заставила меня поддержать Джорджа. От Гарриса с самого начала было мало пользы.

— Но все-таки я, черт возьми, работал больше, чем старина Джей! — продолжал Гаррис.

— Трудно было бы работать меньше, — заметил Джордж.

— Джей, наверное, считает себя здесь пассажиром, — не унимался Гаррис.

Вот какова была их благодарность за то, что я тащил их и эту несчастную лодку от самого Кингстона, все для них устроил, и организовал, и заботился о них, и выбивался из сил. Так всегда бывает на этом свете!..

В данном случае мы вышли из затруднения, сговорившись, что Джордж и Гаррис будут грести до Рэдинга, а отсюда я потащу лодку на бечеве. Тащить тяжелую лодку против сильного течения не так уж весело. Было время, когда я рвался к тяжелой работе, теперь я предпочитаю уступать место молодежи.

Я заметил, что большинство старых гребцов тоже охотно ступешивается, когда предстоит хорошо поработать веслами. Старого лодочника всегда можно узнать по тому, как он лежит на подушке на дне лодки и подбадривает гребцов, рассказывая им, какие он совершал чудеса в прошлом году.

— И это вы называете трудной работой? — тянет он, самодовольно попыхивая трубкой и обращаясь к двум измученным юношам, которые уже полтора часа стойко гребут против течения. — Вот мы с Джеком и Джимом Биффлсом проплыли прошлым летом от Марло до Горинга в один день, без единой остановки. Ты помнишь, Джек?

Услышав этот вопрос, Джек, который устроил себе на носу постель из всех пальто и пледов, какие мог собрать, и уже два часа спит, наполовину просыпается и вспоминает все подробности знаменательного дня. Он помнит даже, что течение было необычайно сильное и дул резкий встречный ветер.

— Мы прошли примерно тридцать четыре мили, — говорит рассказчик, подкладывая себе под голову еще одну подушку.

— Ну-ну, Том, не преувеличивай, — укоризненно бормочет Джек. — Самое большее — тридцать три.

И Джек с Томом, обессилив от этого напряженного разговора, засыпают снова. А доверчивые юноши на веслах чувствуют себя страшно гордыми, что им позволили везти таких замечательных гребцов, как Джек и Том, и стараются пуще прежнего.

Я сам в молодости слушал эти рассказы старших, впитывал их, глотал, переваривал каждое слово и просил еще. Но новая смена, видимо, не обладает наивной верой былых времен. Мы трое — Джордж, я и Гаррис — как-то взяли с собой прошлым летом такого «молокососа» и всю дорогу начинали его обычными небылицами о чудесах, которые мы якобы совершили. Мы угощали его всеми подходящими анекдотами и освященными временем сказками, которые вот уже много лет честно служат гребцам, и прибавили еще семь совершенно оригинальных историй, которые выдумали сами. Одна из них была вполне правдоподобна и основывалась на почти истинном случае, который в слегка измененном виде произошел несколько лет назад с нашими знакомыми. Любой ребенок мог поверить этой истории, не роняя своего достоинства.

А этот юноша только издевался над нами и требовал, чтобы мы тут же на месте повторили свои подвиги, и бился об заклад, что мы не согласимся.

В то утро мы разговорились о случаях из нашей гребной практики и начали вспоминать свои первые опыты в искусстве гребли. Самое раннее, что я помню в связи с лодкой, — это то, как пять мальчишек, и я в том числе, пожертвовали каждый по три пенса и спустили на озеро в Риджент-парке какой-то нелепый плот, после чего нам всем пришлось сушиться в парковой сторожке.

Впоследствии я почувствовал влечение к воде и много плавал на плотках по различным загородным прудам. Это занятие гораздо более интересно и увлекательно, чем кажется с первого взгляда, в особенности когда вы находитесь посредине пруда, а на берегу внезапно появляется с большой палкой в руке владелец материалов, из которых построен плот.

При виде этого джентльмена у вас прежде всего появляется чувство, что вам почему-то не хочется быть в обществе и разговаривать и что, если бы не боязнь показаться невежливым, вы бы охотно уклонились от встречи с ним. Поэтому вы ставите себе целью добраться до противоположного берега и быстро и бесшумно уйти домой, притворяясь, что не видите вашего врага. Но тот, напротив, прямо-таки жаждет взять вас за руку и поговорить с вами. Выясняется, что он близко знаком с вами и знает вашего отца, но это не привлекает вас к нему. Он кричит, что научит вас, как брать его доски и связывать из них плот, но, поскольку вы и так умеете это делать, предложение кажется вам излишним, и вам не хочется его принимать — зачем же затруднять человека!

Однако стремление этого джентльмена с вами встретиться несколько не ослабевает от вашего равнодушия; неутомимость, которую он проявляет, бегая по берегу пруда, чтобы своевременно оказаться на месте и приветствовать вас, может прямо-таки польстить каждому. Если это человек толстый и склонный к одышке, вам сравнительно легко уклониться от его любезности; если же он худощав и длинноног, встреча неизбежна. Свидание, однако, заканчивается быстро, причем разговор ведет главным образом владелец досок. Ваше участие в нем ограничивается односложными восклицаниями, и, как только представляется возможность вырваться из его рук, вы удираете.

Я посвятил плаванью на плотках примерно три месяца и, приобретя достаточный опыт в этой отрасли искусства, решил заняться собственно греблей, для чего записался в один из клубов реки Ли. Походив на лодке по этой реке, особенно в субботу после обеда, вы вскоре приобретаете достаточную ловкость в обращении с веслами и увертливость при столкновениях с баржами и баркасами. Это предоставляет также достаточные возможности научиться

изяжно растягиваться на дне лодки, чтобы не быть выкинутым в реку чьей-нибудь бечевой.

Но стилия гребли здесь не выработать. Стил я приобрел лишь на Темзе. Мой стиль гребли вызывает теперь общее восхищение. Все находят его очень своеобразным.

Джордж не подходил к воде, пока ему не исполнилось шестнадцать лет. После этого он и еще восемь джентльменов примерно того же возраста всей компанией отправились однажды в субботу в Кью, намереваясь нанять там лодку и проплыть до Ричмонда и обратно. Один из них, лохматый юнец по фамилии Джоскинс, который раз или два плавал на лодке по Серпентайну¹, уверял их, что это очень весело.

Когда они пришли на пристань, был час отлива и течение было довольно быстрое. С реки дул резкий ветер. Но это ничуть их не смутило, и они начали выбирать лодку.

На пристани сушилась гоночная восьмерка. Она понравилась им. «Вот эту, пожалуйста», — сказали они. Лодочника на пристани не было, его заменял его маленький сын. Мальчик попробовал охладить их влечение к восьмерке и показал им две или три другие лодки уютного семейного типа, но они не подошли нашим юношам. Подавай им восьмерку — в ней они будут выглядеть лучше всего.

Мальчик спустил ее на воду, молодые люди скинули куртки и начали рассаживаться. Мальчик выразил мнение, что Джорджу, который уже и в то время был в любой компании тяжелее всех, лучше всего сесть четвертым. Джордж сказал, что он рад быть четвертым, и, быстро подойдя к месту носового, занял его, сев спиной к корме. В конце концов его усадили как следует, и остальные тоже заняли свои места.

Рулевым назначили одного молодого человека с необычайно слабыми нервами. Джоскинс изложил ему основы управления рулем, а сам сел за гребным. Он объяснил всем, что это очень просто: пусть делают то же, что и он.

Все заявили, что они готовы, и мальчик на пристани взял багор и оттолкнул их от берега.

Что было дальше — этого Джордж рассказать не может. Он смутно помнит, что сейчас же после старта получил

¹ Цепь прудов в Гайд-парке, в Лондоне.

сильный удар в поясницу рукояткой весла номера пятого и почувствовал, что скамья, словно по волшебству, ускользает из-под него и он сидит на дне. Тут же он с интересом отметил, что номер второй в эту минуту лежал на спине, задрал ноги вверх, очевидно, в обмороке.

Они прошли под мостом Кью бортом вперед со скоростью восьми миль в час, причем Джоскинс был единственным, кто работал веслом. Джордж, усевшись снова на свое место, попробовал было ему помочь, но когда он опустил весло в воду, это весло, к его величайшему удивлению, исчезло под лодкой и едва не увлекло его за собой.

Потом рулевой бросил обе веревки за борт и залился слезами.

Как они вернулись назад, Джордж не помнит, но на это потребовалось ровно сорок минут. Густая толпа с большим интересом наблюдала с моста это зрелище, каждый давал свои указания. Трижды нашим юношам удавалось выйти из-под пролета, и трижды их снова увлекало под пролет. Всякий раз, как рулевой взглядывал вверх и видел над собой мост, он снова разражался рыданиями.

Джордж говорил, что не думал в ту минуту, что когда-нибудь полюбит катанье на лодке.

Гаррис — тот больше привык грести на море, чем на реке. Он говорит, что как гимнастика это нравится ему больше. Я с ним не согласен.

Помню, прошлым летом я нанял в Истборне маленькую лодочку. Много лет назад мне приходилось ходить на веслах по морю, и я думал, что все будет хорошо. Оказалось, однако, что я совершенно разучился грести. Когда одно весло погружалось глубоко в воду, другое нелепо било по воздуху. Чтоб зачерпнуть воду обоими сразу, мне приходилось вставать на ноги. На набережной было полно всякой знати, и мне пришлось плыть мимо них в этом смешном положении. На полдороге я пристал к берегу и, чтобы вернуться назад, прибег к услугам старого лодочника.

Я люблю смотреть, как гребут старые лодочники, особенно когда их нанимают по часам. В их гребле есть что-то такое спокойное, неторопливое. Она совершенно лишена той суетливой спешки, волнения и напряженности, которая все больше и больше заражает новое поколение. Опытный лодочник ничуть не старается кого-нибудь обогнать.

Если его самого обгоняет чья-нибудь лодка, это не раздражает его. Собственно говоря, его обгоняют все лодки — все те, что идут в его сторону. Некоторых это бы могло раздражать. Величественное спокойствие, которое проявляет при этом наемный лодочник, может послужить прекрасным уроком для людей честолюбивых и чванных.

Простая, обычная гребля, с единственной целью двигать лодку вперед, — не особенно трудное искусство, но требуется большая практика, чтобы чувствовать себя непринужденно, когда гребешь и на тебя смотрят девушки. Неопытного юнца больше всего смущает «такт». «Просто смешно, — говорит он, стараясь в двадцатый раз за последние пять минут отцепить свои весла от ваших, — когда я один, я отлично управляюсь».

Очень забавно смотреть, как два новичка стараются грести в такт. Носовой никак не может разойтись с кормовым, потому что кормовой, мол, гребет как-то странно. Кормовой ужасно возмущен этим и объясняет, что он вот уже десять минут пытается приспособить свой метод гребли к ограниченным способностям носового. Тогда носовой в свою очередь обижается и просит кормового не беспокоиться о нем, но посвятить все внимание разумной гребле на корме.

— А может быть, мне сесть на твое место? — говорит он, явно намекая, что это сразу исправило бы дело.

Они шлепают веслами еще сотню ярдов с весьма умеренным успехом, потом кормового вдруг осеняет, и тайна их неудачи становится ему ясна.

— Вот в чем дело — у тебя мои весла, — кричит он носовому. — Передай-ка их мне.

— То-то я удивлялся, что у меня ничего не выходит, — говорит носовой, сразу повеселев и с охотой соглашаясь на обмен. — Теперь дело пойдет на лад.

Но дело не идет на лад даже теперь. Кормовому, чтобы достать свои весла, приходится вытягивать руки во всю длину, а носовой при каждом взмахе больно ударяет себя веслами в грудь. Они снова меняются, приходят к выводу, что лодочник дал им не тот набор весел, и, наперебой ругая его, проникаются друг к другу самыми теплыми чувствами.

Джордж говорит, что ему давно хочется для разнообразия поплавать на плоскодонке с шестом. Плавать на плоскодонке не так легко, как кажется. Как и при гребле, вы быст-

ро обучаетесь двигаться вперед и управляться с лодкой, но требуется большой опыт, чтобы делать это с достоинством, не заливая всего себя водой.

С одним моим знакомым юношей, когда он впервые плыл на плоскодонке, произошел очень печальный случай. Дело шло у него так хорошо, что он стал совсем нахалом и гулял по лодке, действуя шестом с таким небрежным изяществом, что прямо приятно было смотреть. Он подходил к носу лодки, втыкал свой шест и отбегал на другой конец, словно заправский моряк. Это было великолепно!

Так же великолепно все бы и кончилось, если бы этот юноша, любясь пейзажем, не отбежал ровно на один шаг дальше, чем нужно, и не сошел с лодки совсем. Шест глубоко вонзился в тину, и юноша остался висеть на нем, а лодку понесло по течению. Его поза была явно лишена достоинства, и какой-то дерзкий мальчишка на берегу сейчас же крикнул своему отставшему товарищу: «Эй, беги посмотри — вон живая обезьяна на палке».

Я не мог помочь моему товарищу, потому что мы, как назло, не позаботились взять с собой запасной шест. Я мог только сидеть и смотреть на него. Никогда не забуду, какое у него было лицо, пока шест медленно клонился набок. Оно было полно задумчивости.

Я наблюдал, как он тихо опустился в воду, видел, как он вылез на берег, грустный и вымокший. Он был так смешон, что я не мог не расхохотаться. Еще долго я посмеивался про себя, и вдруг меня осенила мысль, что мне, в сущности, должно быть не до смеху. Я ведь сижу один на плоскодонке, без шеста и беспомощно несусь по течению, вероятнее всего к плотине.

Я очень рассердился на моего приятеля за то, что он шагнул за борт и так подвел меня. Он мог бы по крайней мере оставить мне шест.

Меня несло с четверть мили, а потом я заметил другую плоскодонку, стоящую на якоре посреди реки, и в ней двух старых рыбаков. Они увидели, что я мчусь прямо на них, и крикнули, чтобы я свернул в сторону.

— Не могу! — закричал я в ответ.

— Да вы и не пробуете! — крикнули они.

Подплыв ближе, я объяснил им, в чем дело, и они поймали меня и дали мне шест. Плотины была от меня в пятидесяти ярдах. Я рад, что эти рыбаки оказались тут.

Первый раз я собирался выехать на плоскодонке с тремя другими молодыми людьми. Они должны были мне показать, как с ней управляться. Мы почему-то не могли выйти вместе, и я сказал, что пойду вперед и спущу лодку на воду, а потом поболтаюсь немного на реке и поупражняюсь, пока они придут.

Мне не удалось получить плоскодонку — все были заняты. Поэтому мне ничего не оставалось, как сидеть на берегу и смотреть на реку, ожидая моих товарищей.

Вскоре мое внимание привлек один молодой человек на плоскодонке, у которого, как я с удивлением заметил, была такая же куртка и кепи, как у меня. Это, видимо, был новичок, и смотреть на него было очень интересно. Никак нельзя было угадать, что случится, когда он опустит шест, — видимо, он и сам не знал этого. Иногда его бросало вверх по течению, иногда сносило вниз, а чаще всего он просто крутился волчком на одном месте, объезжая кругом шеста. При любом исходе дела он казался одинаково удивленным и огорченным.

Люди на берегу очень увлеклись этим зрелищем и держали пари, чем кончится каждый следующий толчок.

Между тем мои приятели пришли на другой берег и тоже стали наблюдать за этим юношей. Он стоял к ним спиной, и они видели только его куртку и кепи. Разумеется, они сейчас же решили, что это я, их возлюбленный друг, изображаю тут идиота, и радость их не имела границ. Они принялись немилосердно издеваться над бедным юношей.

Я не сразу догадался об их ошибке и подумал: «До чего невежливо с их стороны так насмеяться, да еще над неизвестным». Но прежде чем я успел их остановить, мне все стало ясно, и я спрятался за деревом.

С каким наслаждением эти балбесы высмеивали несчастного! Добрых пять минут они стояли на берегу и кричали ему всякий вздор, издеваясь, насмехаясь и глумясь над ним. Они бомбардировали его старыми остротами, они даже придумали несколько новых, которые тоже выпали ему на долю. Они осыпали его разными семейными шутками, употреблявшимися в нашем кругу и совершенно непонятными

для постороннего. Наконец, не в силах больше выносить их зубоскальство, юноша обернулся, и они увидели его лицо.

Мне приятно было отметить, что у моих приятелей хватило стыда, чтобы почувствовать себя круглыми дураками. Они объяснили юноше, что приняли его за своего приятеля, и выразили надежду, что он не считает их способными оскорблять так кого-нибудь, кроме друзей и знакомых.

Разумеется, то, что они сочли этого юношу за знакомого, служит им некоторым оправданием. Помню, Гаррис как-то рассказал мне один случай, который произошел с ним в Булони во время купанья. Он плывал недалеко от берега и вдруг почувствовал, что кто-то схватил его за шею и потянул под воду. Гаррис яростно отбивался, но нападающий, видимо, был настоящий Геркулес, и все усилия Гарриса оказались тщетными. Наконец он перестал брыкаться и попробовал настроиться на торжественный лад, но тут его противник неожиданно выпустил его. Гаррис стал на ноги и оглянулся, ища своего возможного убийцу. Тот стоял рядом и весело хохотал. Но, увидев над водой лицо Гарриса, он отшатнулся, и вид у него был крайне смущенный.

— Извините, пожалуйста, — сконфуженно пробормотал он. — Я принял вас за своего приятеля.

Гаррис подумал, что ему еще повезло: если б его сочли за родственника, ему наверняка пришлось бы утонуть.

Чтобы ходить под парусом, тоже требуется умение и опыт, хотя в детстве я думал иначе. Мне казалось, что этому учишься походя, как игре в мяч или в пятнашки. У меня был приятель, который придерживался тех же взглядов, и в один ветреный день мы вздумали испробовать свои силы. Мы жили тогда в Ярмуте и решили прокатиться по реке Яр. Мы наняли парусную лодку на лодочной станции, возле моста, и пустились в путь.

— Сегодня довольно ненастная погода, — сказал лодочник, когда мы отчаливали. — Как зайдете за поворот, возьмите риф да лавируйте получше.

Мы ответили, что непременно так и сделаем, и уехали, весело крикнув лодочнику: «До свидания!» — и спрашивая себя, как это «лавируют», и откуда нам взять риф, и что мы будем с ним делать, когда его достанем.

Мы грести до тех пор, пока город не скрылся из виду. Когда перед нами открылась широкая полоса воды, над ко-

торой ураганом носился ветер, мы решили, что пора приступить к действию.

Гектор — так, кажется, звали моего товарища — продолжал грести, и я начал развертывать парус. Это оказалось нелегким делом, но в конце концов я справился с ним, и тут возник вопрос, который конец паруса верхний.

Следуя врожденному инстинкту, мы, разумеется, решили, что верх — это низ, и принялись ставить парус вверх ногами. Но нам потребовалось много времени, чтобы вообще как-нибудь прикрепить его. Парус, видимо, решил, что мы играем в похороны и что я покойник, а сам он изображает саван.

Обнаружив свою ошибку, он ударил меня по голове и решил вообще ничего не делать.

— Намочи его, — сказал Гектор. — Брось его за борт, пусть намокнет.

Он сказал, что матросы на кораблях всегда мочат паруса, прежде чем их ставить.

Я намочил парус, но от этого дело только ухудшилось. Если вокруг вас обвивается и бьет вас по ногам сухой парус, это достаточно неприятно, но когда парус мокрый, становится уж совсем обидно.

Наконец нам удалось общими усилиями поставить парус не совсем вверх ногами, а, скорее, боком, и мы привязали его к мачте фалинем, который отрезали для этой цели.

Лодка не опрокинулась — я просто констатирую этот факт. Почему она не опрокинулась, этому я не могу предложить никакого объяснения. Впоследствии я часто думал об этом, но мне так и не удалось удовлетворительно объяснить это обстоятельство.

Возможно, что такой результат есть следствие естественного упрямства всего существующего. Наблюдая наше поведение, лодка, возможно, пришла к выводу, что мы в это утро выехали на реку с целью самоубийства, и решила нам помешать. Это единственное объяснение, которое я могу придумать.

Уцепившись обеими руками за планшир, мы ухитрились не вылететь из лодки, но это была тяжелая работа. Гектор сказал, что пираты и другие люди, привыкшие ходить по морю, в сильную бурю привязывают к чему-то руль и спускают кливер, и предложил попробовать сделать

что-нибудь в этом роде. Но я стоял за то, чтобы предоставить лодке идти по ветру.

Последовать моему совету было легче всего, и мы в конце концов так и сделали. Лодка неслась по реке примерно милью с такой скоростью, с какой мне с тех пор ни разу не довелось ходить, да, по правде сказать, и не хотелось бы. Потом, на повороте, она так накренилась, что парус наполовину ушел в воду. Потом каким-то чудом выпрямилась и понеслась прямо на длинную плоскую отмель.

Эта отмель спасла нас. Лодка врезалась в нее до половины и остановилась. Почувствовав, что нас не бросает больше из стороны в сторону, словно горошины в мешке, и что мы можем двигаться по своему произволу, мы подползли к парусу и срезали его.

Мы уже довольно поплавали под парусом. Нам не хотелось злоупотреблять этим развлечением и пресытиться им.

Мы совершили хорошую, волнующую, интересную поездку под парусом и теперь решили разнообразия ради немного погрести.

Мы взяли весла и попробовали столкнуть лодку с отмели. При этом мы сломали одно весло. Мы повторили свою попытку, на этот раз с большей осторожностью, но оба весла явно никуда не годились, и второе разлетелось еще скорее, чем первое, оставив нас безоружными.

Перед нами тянулась отмель примерно ярдов на сто, а сзади нас была вода. Единственное, что нам оставалось делать, — это сидеть и ждать, пока кто-нибудь не проедет мимо.

Погода была не такая, чтобы привлечь людей на реку, и прошло три часа, прежде чем в поле зрения появилось первое человеческое существо. Это был старый рыбак; ему с невероятным трудом удалось наконец нас выручить, и мы были самым позорным образом доставлены на буксире к пристани.

Вознаграждение человеку, который нас выручил, расплата за сломанные весла и пользование лодкой в течение четырех с половиной часов — все это поглотило изрядное количество наших карманных денег на много недель вперед. Но мы приобрели опыт, а за это, как говорят, ничего не жалко отдать.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

*Рэдинг. — Нас ведет на буксире паровой баркас. — Нахальное поведение маленьких лодок. — Как они мешают паровым баркасам. — Джордж и Гаррис снова уклоняются от работы. — Одна ба-
нальная история. — Стритли и Горинг.*

Мы подъехали к Рэдингу часов около одиннадцати. Река в этом месте грязная и унылая. В окрестностях Рэдинга не хочется задерживаться надолго.

Рэдинг — старинный, знаменитый городок, основанный в далекие дни короля Этельреда, когда датчане поставили свои военные корабли в бухте Кеннет и, основавшись в Рэдинге, совершали набеги на Эссекс. Тут Этельред со своим братом Альфредом дали датчанам бой и разбили их, причем Этельред главным образом молился, а Альфред сражался.

В более поздние годы на Рэдинг, по-видимому, смотрели как на приятное местечко, куда можно было бежать, когда в Лондоне становилось скверно. Парламент обычно переезжал в Рэдинг всякий раз, как в Вестминстере объявлялась чума. В 1625 году юстиция последовала его примеру, и все заседания суда происходили в Рэдинге. На мой взгляд, лондонцам стоило претерпеть какую-нибудь пустяковую чуму, чтобы разом избавиться и от юристов, и от парламента.

Во время борьбы парламента с королем Рэдинг был осажден графом Эссексом, а четверть века спустя принц Оранский разбил под Рэдингом войска короля Иакова.

Генрих Первый похоронен в Рэдинге, в Бенедиктинском аббатстве, которое он сам основал и развалины которого сохранились до наших дней. В этом же самом аббатстве славный Джон Гонт был обвенчан с леди Бланш.

У Рэдингского шлюза мы поравнялись с паровым баркасом, принадлежащим одним моим знакомым, и нас подвезли на буксире почти до самого Стритли. Это очень приятно — идти на буксире за баркасом. Лично мне это нравится гораздо больше, чем гребля. Поездка была бы еще приятнее, если бы не множество маленьких лодчонок, которые все время сновали вокруг нашего баркаса. Чтобы не утопить их, нам то и дело приходилось замедлять ход и останавливаться. У этих веселых лодок пренеприятная привычка пугаться на реке перед паровыми баркасами. Против

них необходимо принять какие-то меры. И они к тому же еще такие нахальные, эти лодки. Чтобы они соблаговолили поторопиться, приходится так свистеть, что котел чуть не лопается. Будь на то моя воля, я бы время от времени топил парочку лодок, чтобы хорошенько их проучить.

Выше Рэдинга река становится очень приятной. У Тайлхерста ее несколько портит железная дорога, но от Мэплдерхэма до Стритли вид прямо великолепный. Несколькo выше шлюза стоит Хардвик-Хаус, где Карл Первый играл в шары. Окрестности Пэнгборна, где находится прелестная гостиница «Лебедь», вероятно, столь же хорошо знакомы завсегдатаям картинных выставок, как и обитателям этой местности.

Мы отцепились от баркаса моих знакомых, немного не доезжая грота, и Гаррис принялся доказывать, что теперь моя очередь грести. Это показалось мне совершенно необоснованным. Утром мы условились, что я проведу лодку на три мили выше Рэдинга. Но ведь теперь мы были выше Рэдинга на десять миль! Конечно, грести надо было опять Гаррису и Джорджу.

Однако я не мог склонить ни того, ни другого к своей точке зрения и, чтобы не спорить напрасно, взялся за весла. Не успел я проработать и минуту, как мы увидели на реке какой-то черный предмет и приблизились к нему. Джордж наклонился и схватил этот предмет, но тотчас же с криком отшатнулся, бледный как полотно.

Это было тело мертвой женщины. Оно легко плыло по воде, и лицо утопленницы было кротко и спокойно. Его нельзя было назвать красивым, это лицо. Оно преждевременно состарилось, высохло и исхудало. Но это было милое и приятное лицо, несмотря на следы нужды и бедности, и на нем лежал отпечаток безмятежного спокойствия, которое мы часто видим на лице больных, когда их страдания наконец прекращаются.

На наше счастье — нам вовсе не хотелось таскаться по судам и следователям, — какие-то люди на берегу тоже заметили утопленницу и взяли на себя заботу о ней.

Впоследствии мы узнали историю этой женщины. Разумеется, это была обыкновенная, пошлая трагедия. Она любила и была обманута или сама обманулась. Так или иначе, она согрешила — это со многими из нас случается, — и ее

знакомые и родные, охваченные справедливым негодованием, захлопнули перед ней двери своих домов.

Вынужденная бороться с судьбой одна, неся на шее ярмо своего позора, она опускалась все ниже и ниже. Сначала ей удавалось содержать себя и ребенка на двенадцать шиллингов в неделю, которые она получала, работая по двенадцать часов в день. Шесть шиллингов она платила за содержание ребенка, а на остальные пыталась кое-как удержать душу в теле.

Шесть шиллингов в неделю связывают тело с душой не слишком крепко. Соединенные столь хрупкими узами, они все время пытаются расстаться. И однажды, вероятно, несчастная особенно ясно увидела свою жизнь во всем ее тоскливом однообразии, со всеми ее страданиями, и насмешливая тень смерти испугала ее. В последний раз обратилась она за помощью к друзьям, но, оградившись ледяной стеной респектабельности, они не услышали голоса отверженной. Тогда она съездила повидать своего ребенка, с каким-то тупым равнодушием взяла его на руки и поцеловала, не проявляя никаких чувств, и потом ушла, сунув ему в руку коробку грошовых конфет. На свои последние шиллинги она взяла билет и приехала в Горинг.

Как видно, горчайшие переживания ее жизни были связаны с лесистыми берегами и веселыми зелеными лужайками, окружающими Горинг. Но женщины почему-то любят гладить нож, который нанес им рану. А может быть, к горечи примешивались солнечные воспоминания о лучших часах, проведенных близ овеянных тенью струй, над которыми развесистые деревья так низко склоняют свои ветви.

Весь день пробродила она по лесу, что тянется вдоль берега реки. Потом, когда серые сумерки раскинули над водой свой темный плащ, она протянула руки к безмолвной реке, которая знала ее горести и радости. И старая река любовно приняла ее в объятия, прижала ее усталую голову к своей груди и успокоила боль. Так согрешила эта женщина во всем — и в жизни, и в смерти. Мир праху ее и всех других грешников...

Горинг на левом берегу реки и Стритли на правом — очаровательные местечки, в которых приятно провести несколько дней. Воды реки до самого Пэнгборна так и манят поплавать в солнечный день под парусом или выехать в

лунную ночь на лодке, а окружающий вид очень красив. Мы намеревались дойти в этот день до Уоллингфорда, но улыбка реки соблазнила нас остаться. Привязав лодку у моста, мы отправились в Стритли и позавтракали в гостинице «Бык», к великому удовольствию Монморенси.

Говорят, что горы, высящиеся на обоих берегах реки, когда-то соединялись и преграждали течение нынешней Темзы. Река будто бы оканчивалась несколько выше Горинга, образуя большое озеро. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение. Я просто отмечаю его.

Стритли — старинное местечко, основанное, как большинство прибрежных городов и поселков, во времена бриттов и саксов. В Стритли куда приятнее останавливаться, чем в Горинге, если у вас есть возможность выбирать, но сам по себе Горинг достаточно красив и к тому же расположен ближе к железной дороге, что имеет значение, если вы хотите удрать из гостиницы, не заплатив по счету.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Стирка. — Рыба и рыбаки. — Об искусстве ужения. — Добросовестный удильщик на муху. — Рыбацкая история.

Мы пробыли в Стритли два дня и отдали наше платье в стирку. Мы сами пробовали стирать его в реке под наблюдением Джорджа, но это окончилось неудачей. Поистине это можно назвать больше чем неудачей, так как после стирки мы оказались в еще худшем положении, чем прежде. Перед стиркой наше платье было, правда, очень грязно, но его все-таки можно было носить. А после того как мы его постирали... Скажем кратко: вода в реке между Рэдингом и Хэнли стала после этого много чище. Мы собрали во время стирки всю грязь, которая скопилась в реке между Рэдингом и Хэнли, и, так сказать, смыли ее в наше платье.

Стритлейская прачка сказала, что считает себя обязанной взять с нас за стирку втрое дороже обычной платы. Она заявила, что, пока работала, чувствовала себя не прачкой, а скорее землекопом.

Мы заплатили по счету без единого слова.

Окрестности Горинга и Стритли — излюбленное место рыболовов. Река изобилует щуками, плотвой, угрями, уклейкой, и можно целый день сидеть на берегу и удить.

Некоторые люди так и делают. Но у них ничего не ловится. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь поймал что-нибудь в Темзе, кроме пескаррей и дохлых кошек, а эти создания явно не имеют отношения к рыбной ловле! Местный «Путеводитель рыбака» ни слова не говорит о поимке рыбы. Он ограничивается замечанием, что Горинг — прекрасное место для рыбной ловли. Судя по тому, что мне пришлось видеть, я вполне готов поддержать это утверждение. Нет другого места на земле, где вы могли бы больше наслаждаться рыбной ловлей или удить в течение более долгого времени. Некоторые рыболовы приезжают сюда и удят весь день, другие остаются удить на месяц. Вы можете продлить это занятие и удить целый год — разницы не будет.

В «Спутнике рыболова на Темзе» сказано, что «здесь водятся щуки и окуни». Да, щуки и окуни, может быть, и водятся в Темзе. Я даже наверное знаю, что это так. Гуляя по берегу, вы можете видеть их целые стаи. Они подплывают и высовываются из воды, раскрывая рот в надежде получить печенью. А когда вы купаетесь, они плотным кольцом окружают вас, мешают плавать и действуют на нервы. Но чтобы поймать их на крючок с червяком на конце или на что-нибудь подобное — этого не случается.

Сам я неважный рыболов. Некогда я посвящал этому занятию много внимания, и дело, как мне казалось, шло хорошо. Но опытные рыбаки сказали, что из меня никогда не выйдет толку, и посоветовали мне отступить. Они говорили, что я очень неплохо закидываю удочку и, видимо, обладаю большой смекалкой и совершенно достаточной врожденной ленью. Но, по их глубокому убеждению, рыбак из меня не получится. У меня слишком мало воображения.

Они говорили, что в роли поэта, автора уголовных романов, репортера или чего-нибудь в этом роде я, может быть, и добьюсь успеха. Но чтобы создать себе имя в качестве удильщика на Темзе, нужно больше, чем у меня, фантазии, больше способности к выдумке.

Многие считают, что от хорошего рыболова требуется только умение легко, не краснея, врать. Но это глубокое заблуждение. Голое вранье бесполезно, на это способен лю-

бой новичок. Обстоятельные подробности, изящные правдоподобные штрихи, общее впечатление щепетильной, почти педантической правдивости — вот что характерно для опытного рыбака.

Каждый может войти и сказать: «Знаете, вчера вечером я поймал пятнадцать дюжин окуней» — или: «В прошлый понедельник я вытащил пескаря весом в восемнадцать фунтов и длиной в три фута от головы до хвоста».

Для этого не требуется искусства или умения. Это свидетельствует всего лишь о смелости.

Нет, настоящий рыбак не стал бы врать таким образом. Его система — это целая наука.

Он спокойно входит, не снимая шляпы, усаживается на самый удобный стул, закуривает трубку и молча пускает клубы дыма. Он дает молодежи вволю похвастаться и, воспользовавшись минутой тишины, вынимает трубку изо рта и говорит, выколачивая ее о решетку камина:

— Н-да... Во вторник вечером мне удалось выловить такое, что, пожалуй, об этом не стоит и говорить.

— Почему? — восклицают все разом.

— Потому что, если я и расскажу, мне вряд ли повесят, — спокойно отвечает старик без тени горечи в голосе. Он снова набивает трубку и просит трактирщика принести ему три рюмки шотландской.

Наступает пауза, никто не чувствует в себе достаточной уверенности, чтобы оспаривать мнение старого джентльмена. Тому приходится продолжать, не дожидаясь поддержки.

— Нет, — говорит он задумчиво, — я бы и сам не повеял, если бы мне рассказали такое. Но тем не менее это факт. Я весь день просидел на берегу и не поймал буквально ничего — только несколько дюжин уклеек и штук двадцать шук. Я уже собирался бросить это дело, как вдруг чувствую — удочку здорово дернуло. Я подумал, что это опять какая-нибудь мелочь, и хотел подсесть. И что же? Удочка ни туда, ни сюда. Мне потребовалось полчаса — да-с, полчаса, — чтобы вытащить эту рыбу, и каждую минуту я думал, что леса оборвется. Наконец я ее вытащил, и что же, вы думаете, это оказалось? Осетр!.. Сорок фунтов весом! Да-с, на удочку! Удивительно? Конечно. Эй, хозяин, еще три рюмки шотландской!

Потом он рассказывает, как поражены были все, кто видел эту рыбу, и что сказала жена, когда он пришел домой, и какого мнения об этом случае Джо Баггс.

Как-то раз я спросил хозяина одного прибрежного трактира, не противно ли ему слушать рассказы местных рыбаков. Он ответил:

— Нет, сэр, теперь — нет. Сначала я, правда, немного шалел, но теперь ничего, мы с хозяйкой можем хоть целый день их слушать. Дело привычки, знаете, дело привычки.

У меня был один знакомый. Это был очень добросовестный молодой человек, и когда он начал удить на муху, то решил не преувеличивать своего улова больше чем на двадцать пять процентов.

— Если я поймаю сорок штук, — говорил он, — я буду рассказывать, что поймал пятьдесят, и так далее. Но больше я прибавлять не буду, потому что врать — грех.

Двадцатипятипроцентный план действовал очень плохо. Моему знакомому никак не удавалось его применить. Он ловил за день самое большое три рыбы, а к трем не прибавишь двадцать пять процентов, по крайней мере в рыбах.

Тогда мой знакомый повысил процент до тридцати трех с третью. Но это тоже оказывалось неудобно, если ему удавалось выловить одну рыбу или две. Наконец, чтобы упростить дело, он решил увеличивать свой улов ровно вдвое.

Месяца два он соблюдал это правило, но потом ему надоело. Никто не верил, что он только удваивает, и это несколько не улучшало его репутации; в то же время его умеренность ставила его в невыгодное положение в сравнении с другими рыбаками. Когда он ловил каких-нибудь три рыбешки, то говорил, что поймал шесть, и ему было очень обидно слушать, как человек, который заведомо поймал только одну рыбу, ходил и рассказывал, что вытащил две дюжины.

Наконец мой знакомый заключил сам с собой условие, которого свято придерживается до сих пор: каждую пойманную им рыбу он решил считать за десять, и притом всегда начинает счет с десяти. Если, например, ему не удавалось поймать ни одной рыбы, он говорил, что поймал десять. По его счету нельзя было поймать меньше десяти рыб — в этом заключалась основа его системы. Когда же он ухит-

рялся выловить одну рыбу, то считал ее за двадцать, две рыбы шли за тридцать, три — за сорок и так далее.

Этот план прост и легко осуществим. Недавно шли даже разговоры о том, чтобы распространить его на всю удышную братию. Правление Ассоциации удильщиков на Темзе года два тому назад действительно рекомендовало его принять. Но несколько старейших членов запротестовали. Они сказали, что готовы рассмотреть этот план, если исходная цифра будет удвоена и каждая рыба пойдет за двадцать.

Если вы будете на реке и у вас окажется свободный вечер, советую вам зайти в какой-нибудь маленький деревенский трактир и сесть в распивочной. Вы почти наверняка застанете там несколько старых удильщиков за стаканом грога, и они в полчаса расскажут достаточно рыбных историй, чтобы расстроить вам желудок на целый месяц.

Я и Джордж... (Я не знаю, что случилось с Гаррисом: сразу после завтрака он пошел побриться, а вернувшись, целых сорок минут наводил глянец на свои башмаки; после этого мы его не видели.) Итак, я, Джордж и собака, представленные самим себе, на второй день вечером пошли прогуляться в Уоллингфорд. На обратном пути мы заглянули в маленький трактирчик, чтобы отдохнуть и подкрепиться.

Мы вошли в зал и сели. В зале находился какой-то старик, куривший длинную глиняную трубку. Естественно, мы разговорились с ним.

Старик сказал, что сегодня хорошая погода. Мы сказали, что вчера тоже была хорошая погода. Затем мы сообщили друг другу, что завтра, вероятно, тоже будет хорошая погода. Джордж сказал, что хлеба, кажется, всходят недурно.

Потом каким-то образом всплыло, что мы нездешние и завтра утром уезжаем.

После этого в разговоре наступила пауза. Мы рассеянно оглядывали комнату, и наши глаза остановились на старом, пыльном стеклянном ящике, подвешенном высоко над камином. В ящике лежала форель. Эта форель прямо-таки обворожила меня: это была совершенно чудовищная рыба. Сначала я даже принял ее за треску.

— А, — сказал старый джентльмен, заметив, на что я смотрю. — Замечательный экземпляр, не правда ли?

— Совершенно необычайный!.. — пробормотал я, а Джордж спросил старика, сколько эта рыба, по его мнению, весит.

— Восемнадцать фунтов и шесть унций, — ответил старик, поднимаясь и снимая пиджак. — Да, — продолжал он, — третьего числа следующего месяца будет шестнадцать лет, как я ее вытащил. Я поймал ее на уклею у самого моста. Мне сказали, что она плавает в реке, и я сказал, что поймаю ее, и поймал. Теперь такой рыбы здесь не увидишь. Спокойной ночи, джентльмены, спокойной ночи.

И он вышел, оставив нас одних.

Мы не могли отвести глаз от этой рыбы. Рыба действительно была замечательная. Мы все еще глядели на нее, когда в комнату вошел только что подъехавший к трактиру местный извозчик с кружкой пива в руке и тоже посмотрел на рыбу.

— Изрядная форель, а? — сказал Джордж, поворачиваясь к нему.

— Да, сэр, это про нее вполне можно сказать, — ответил извозчик и, отхлебнув пива, прибавил: — Может быть, вас здесь не было, сэр, когда ее поймали?

— Нет, — ответили мы ему. — Мы здесь чужие.

— Ах, вот как, — сказал извозчик. — Ну, тогда вы, конечно, не можете знать. Вот уже без малого пять лет, как я поймал эту рыбу.

— Как! Разве это вы ее поймали? — спросил я.

— Да, — ответил добродушно старик. — Я поймал ее у самого шлюза (тогда здесь еще был шлюз) как-то после обеда, в пятницу. И самое удивительное — поймал на муху. Я собирался ловить щук, право слово, и даже не думал о форелях, и когда я увидел на конце удочки эту громадину, то, ей-богу, совсем ошалел. В ней оказалось двадцать шесть фунтов. До свиданья, джентльмены, до свиданья.

Через пять минут вошел третий человек и рассказал, как он поймал эту форель на червяка, и ушел. Потом появился какой-то невозмутимый, серьезный на вид джентльмен средних лет и сел у окна.

Некоторое время мы молчали. Наконец Джордж обратился к пришедшему:

— Простите, пожалуйста... Надеюсь, вы извините, что мы, совершенно чужие в этих краях люди, позволяем себе

такую смелость... Но я и мой приятель были бы вам чрезвычайно обязаны, если бы вы рассказали, как вам удалось поймать эту форель.

— А кто вам сказал, что это я поймал ее? — последовал удивленный вопрос.

Мы ответили, что никто нам этого не говорил, но мы инстинктивно чувствуем, что это сделал именно он.

— Удивительная вещь, — со смехом воскликнул серьезный джентльмен, — совершенно удивительная! Ведь вы угадали. Я в самом деле поймал ее. Но как вам удалось это узнать? Право, удивительно! В высшей степени удивительно!

И он рассказал нам, как целых полчаса тащил эту рыбу и как она сломала удилище. Придя домой, он тщательно ее взвесил, и стрелка показала тридцать шесть фунтов.

После этого он тоже удалился, и, когда он ушел, к нам заглянул хозяин трактира. Мы рассказали ему все, что слышали об этой форели, и это очень его позабавило. Мы все от души хохотали.

— Так, значит, Джим Бэйтс, и Джо Магглс, и мистер Джонс, и старый Билли Маундерс говорили вам, что они ее поймали? Ха-ха-ха! Вот это здорово! — восклицал честный старик, весело смеясь. — Как же! Такие они люди, чтобы отдать эту форель мне и позволить повесить ее в моем трактире, если они сами ее поймали. Как бы не так. Ха-ха-ха!

И он рассказал нам правду об этой форели. Оказалось, что это он поймал ее много лет назад, когда был еще совсем мальчишкой. Ему помогло не искусство, не умение, а то непонятное счастье, которое, кажется, всегда поджидает шалуна, удирающего из школы, чтобы поудить в солнечный день на веревочку, привязанную к ветке.

Он говорил, что, принеся домой эту форель, избежал здоровой порки и что даже школьный учитель сказал, что такая форель стоит тройного правила и умножения многозначных чисел, вместе взятых.

В эту минуту трактирщика вызвали из комнаты, и мы с Джорджем снова обратили взоры на форель.

Это, право же, была удивительная рыба. Чем больше мы смотрели на нее, тем больше изумлялись.

Джордж до того заинтересовался ею, что влез на спинку стула, чтобы рассмотреть получше. И вдруг стул качнул-

ся, и Джордж изо всех сил вцепился в ящик, чтобы удержаться, и ящик полетел вниз вместе со стулом и Джорджем.

— Рыба! Ты не испортил рыбу? — испуганно крикнул я, бросаясь к Джорджу.

— Надеюсь, что нет, — сказал Джордж и осторожно поднялся. Но он все же испортил рыбу. Форель лежала перед нами, разбитая на тысячу кусков (я говорю — тысячу, но, может быть, их было и девятьсот — я не считал). Нам показалось странным и непонятным, что чучело форели разбилось на такие маленькие кусочки.

Это было бы действительно странно и непонятно, будь перед нами настоящее чучело форели. Но это было не так.

Форель была гипсовая!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Шлюзы. — Меня и Джорджа фотографируют. — Уоллингфорд. — Дорчестер. — Эбингдон. — Отец семейства. — Здесь удобно тонуть. — Грудный участок реки. — Дурное влияние речного воздуха.

На следующий день, рано утром, мы покинули Стритли, поднялись до Келхэма и ночевали там в заводи под брезентом.

Между Стритли и Уоллингфордом река не особенно интересна. От Клива на протяжении шести с половиной миль нет ни одного шлюза. Это, пожалуй, самый длинный свободный участок реки выше Теддингтона, Оксфордский клуб тренирует на нем свои восьмерки.

Но как бы ни было приятно отсутствие шлюзов для гребцов, оно огорчает тех, кто ищет на реке удовольствия.

Лично я очень люблю шлюзы. Они так приятно нарушают однообразие гребли. Мне нравится сидеть в лодке и медленно подниматься из прохладных глубин в новые воды, к незнакомым видам, или опускаться, словно покидая мир, и ждать, пока не заскрипят мрачные ворота и узкая полоска дневного света не начнет все больше и больше расширяться. И вот прекрасная, улыбающаяся река вся лежит перед вами, и вы снова толкаете вашу лодочку из недолгого заточения в приветливые струи.

Что за живописные пятна на реке эти шлюзы! Толстый старый сторож, его веселая жена или ясноглазая дочка — милые люди, с которыми приятно поболтать мимоходом. Вы встречаете там другие лодки и обмениваетесь речными сплетнями. Без своих обсаженных цветами шлюзов Темза не была бы таким волшебным местом.

Говоря о шлюзах, я вспомнил, как однажды летом, у Хэмптон-Корта, мы с Джорджем чуть не погибли. Погода стояла великолепная, и шлюз был полон. Как часто бывает на реке, какой-то расчетливый фотограф снимал наши лодки, качавшиеся на прибывающей воде.

Я не сразу сообразил, в чем дело, и поэтому очень удивился, увидав, что Джордж торопливо приглаживает брюки, взбивает волосы и залихватски сдвигает фуражку на затылок. Потом, придав своему лицу приветливое и слегка печальное выражение, он принял изящную позу, стараясь куда-нибудь спрятать ноги.

Сначала я подумал, что Джордж увидел какую-нибудь знакомую девушку, и оглянулся, чтобы посмотреть, кто это. Все, кто был на реке, сразу словно окаменели. Они стояли и сидели в самых странных и нелепых позах, какие мне приходилось видеть только на японских веерах. Девушки, все до одной, улыбались. Они выглядели такими милыми! А мужчины нахмурили брови и казались благородными и серьезными.

Тут истина вдруг открылась мне, и я испугался, что опоздаю. Наша лодка была первая, и мне казалось, что с моей стороны будет невежливо испортить фотографу снимок. Я быстро обернулся и занял позицию на носу, с небрежным изяществом опираясь на багор. Моя поза говорила о силе и ловкости. Я привел волосы в порядок, спустив одну прядь на лоб, и придал лицу выражение ласковой грусти, смешанной с цинизмом. Оно, как говорят, мне идет. Мы стояли и ждали торжественного момента. И вдруг я услышал сзади крик:

— Эй, посмотрите на свой нос!

Я не мог повернуться и поглядеть, в чем дело и на чей нос нам надлежало смотреть. Я бросил украдкой взгляд на нос Джорджа. С ним все было в порядке — во всяком случае, в нем ничего нельзя было исправить. Скосив глаза на

свой собственный нос, я убедился, что он не хуже, чем я думал.

— Посмотрите на свой нос, осел вы этакий! — раздался тот же голос, но уже громче.

После этого другой голос крикнул:

— Вытолкните свой нос, эй, вы там, двое, с собакой!

Ни я, ни Джордж не осмеливались повернуться. Рука фотографа лежала на колпачке объектива, и он каждую секунду мог сделать снимок. Неужели они кричали нам? Что же случилось с нашими носами? Почему их надо было вытолкнуть?

Но теперь кричал уже весь шлюз, и чей-то громовой голос сзади нас гаркнул;

— Посмотрите на вашу лодку, сэр! Эй, вы, в красных с черным фуражках! Если вы не поторопитесь, на снимке выйдут только ваши трупы.

Тут мы посмотрели и увидели, что нос нашей лодки застрял между сваями шлюза, а вода все прибывала и поднимала нас. Еще минута, и мы бы опрокинулись. Быстрее молнии мы схватили по веслу; сильный удар рукояткой о боквину шлюза освободил лодку, и мы полетели на спину. Мы с Джорджем не особенно хорошо вышли на этой фотографии. Как и следовало ожидать, нам уж так повезло, что фотограф пустил свой несчастный аппарат в действие как раз тогда, когда мы оба с растерянным видом лежали на спине и отчаянно болтали ногами в воздухе.

Наши ноги, несомненно, были «гвоздем» этой фотографии. По правде говоря, кроме них, почти ничего не было видно. Они занимали весь передний план. За ними можно было разглядеть очертания других лодок и кусочки окружающего пейзажа; но все это в сравнении с нашими ногами выглядело таким ничтожным и незначительным, что остальные катающиеся почувствовали себя совсем пристыженными и отказались приобрести фотографию. Владелец одного из баркасов, заказавший шесть карточек, аннулировал заказ, когда ему показали негатив. Он сказал, что возьмет их, если кто-нибудь покажет ему его баркас, но никто не мог этого сделать. Он был где-то позади правой ноги Джорджа.

С этой фотографией вышло много неприятностей. Фотограф считал, что мы обязаны взять по дожине экземпля-

ров, так как снимок на девять десятых состоял из наших изображений, но мы отказались. Мы заявили, что не протестуем против того, чтобы нас снимали во весь рост, но предпочитаем быть увековеченными в вертикальном положении.

Уоллингфорд, в шести милях вверх от Стритли, — очень древний город, который деятельно участвовал в создании английской истории. Во времена бриттов это был город с грубыми глиняными сооружениями, но потом римские легионы изгнали бриттов и на месте глиняных валов воздвигли мощные стены, которые не смогло свалить даже Время, так искусно они были сложены древними каменщиками.

Но Время, остановившееся перед римскими стенами, самих римлян превратило в прах; позднее на этих землях сражались дикие саксы и огромные датчане, потом пришли норманны.

До парламентской войны город был обнесен стенами и укреплениями, но Фэрфакс подверг его долгой и жестокой осаде, город пал, и стены сровняли с землей.

От Уоллингфорда к Дорчестеру окрестности реки становятся более гористыми, разнообразными и живописными. Дорчестер стоит в полумиле от реки. Если лодка у вас маленькая, до него можно добраться по речушке Тем. Но лучше всего оставить лодку у шлюза Дэй и отправиться пешком через поля. Дорчестер — красивое старинное местечко, приютившееся среди тишины, спокойствия, дремоты.

Так же как и Уоллингфорд, Дорчестер в древности был городом; тогда он назывался Каер Дорен — «город на воде». Позднее римляне создали там большой лагерь; укрепления, которые окружали его, теперь кажутся низкими, ровными холмиками. Во времена саксов он был столицей Уэссекса. Город очень древний, некогда он был сильным и большим. А теперь он стоит в стороне от шумной жизни, клюет носом и видит сны.

В окрестностях Клифтон-Хэмпдена, красивой деревушки, старомодной, спокойной, изящной благодаря своим цветникам, берега реки очень колоритны и красивы. Если вы собираетесь переночевать в Клифтоне, лучше всего остановиться в «Ячменном стоге». Можно смело сказать, что это самая оригинальная, самая старинная гостиница на

всей реке. Она стоит справа от моста, в стороне от деревни. Высокая соломенная крыша и решетчатые окна придают ей сказочный вид, внутри пахнет стариной еще больше.

Для героини современного романа это было бы неподходящее место. Героиня современного романа всегда «царственно высока», и она то и дело «выпрямляется во весь рост». В «Ячменном стоге» она бы каждый раз стукалась головой о потолок.

Для пьяного эта гостиница тоже не подошла бы. Ему на каждом шагу встречались бы разные неожиданности в виде ступенек, по которым надо то спускаться, то подниматься, чтобы попасть в другую комнату, а уж подняться в спальню или найти свою постель — это было бы для него совершенно немислимо.

На следующее утро мы встали рано, нам хотелось к полудню попасть в Оксфорд. Просто удивительно, как рано человек может встать, когда ночует на открытом воздухе. Лежа на досках, завернувшись в плед, с саквяжем под головой вместо подушки, не так хочется «вздремнуть еще пять минут», как если б ты нежился в мягкой постели. К половине девятого мы уже позавтракали и прошли Клифтонский шлюз.

От Клифтона до Келхэма берега реки низкие, однообразные, неинтересные. Но как только минуешь Келхэмский шлюз — самый холодный и глубокий, — пейзаж оживает.

В Абингдоне река протекает под самыми улицами. Абингдон — типичный провинциальный городок, спокойный, в высшей степени респектабельный, чистый и безнадежно скучный. Он гордится своей древностью, но вряд ли он может сравниться в этом с Уоллингфордом и Дорчестером. Некогда здесь было известное аббатство, но теперь под остатками его священных сводов варят горький эль.

В церкви Св. Николая в Абингдоне стоит памятник Джону Блэкуоллу и его жене Джейн, которые, счастливо прожив жизнь, скончались в один день, 21 августа 1625 года; а в церкви Св. Елены есть запись, в которой говорится, что У. Ли, умерший в 1637 году, «имел потомства от чресл своих без трех двести». Если сообразить, что это значит, то окажется, что семья мистера У. Ли насчитывала сто девяносто семь человек. Мистер У. Ли, пять раз избиравшийся мэром Абингдона, без сомнения, был благодетелем для своего

поколения; но я надеюсь, что в наш перенаселенный век не много найдется ему подобных.

От Абингдона до Нунхэма-Кортени тянутся красивые места. Поместье Нунхэм-парк заслуживает внимания. Его можно осматривать по вторникам и четвергам. В доме есть прекрасная коллекция картин и редкостей, и сам парк очень красив.

Заводь у Сэндфордской запруды — подходящее место для того, чтобы утопиться. Нижнее течение здесь очень сильно, и если попадешь в него — все в порядке. Обелиском отмечено место, где утонули уже двое во время купанья; теперь со ступенек обелиска ныряют молодые люди, которые хотят убедиться, действительно ли это место так опасно.

Шлюз и мельница Иффли, в миле от Оксфорда, — любимый сюжет художников, которые пишут речные пейзажи. Но в жизни они много хуже, чем на картинах. Я уже заметил, что в этом мире очень немногие вещи полностью отвечают своим изображениям.

Мы миновали шлюз Иффли в половине первого и потом, прибрав лодку и сделав все приготовления к высадке, налегли на весла, чтобы отработать последнюю милю. Участок реки между Иффли и Оксфордом, насколько я знаю, один из самых трудных. Я проходил этот участок неоднократно, но так и не смог постичь его. Человек, который сумеет грести по прямой от Иффли до Оксфорда, наверное, в состоянии ужиться под одной крышей со своей женой, тещей, старшей сестрой и служанкой, которая работала у них, когда он был еще маленьким.

Сначала течение тянет вас к правому берегу, потом к левому, потом выносит на середину, три раза поворачивает и снова несет вниз по реке, все время стараясь вас разбить о какую-нибудь баржу.

Вследствие всего этого мы, разумеется, помешали за эту милю многим лодкам, и многие лодки помешали нашей, а вследствие этого было, разумеется, сказано много крепких слов.

Не знаю почему, но на реке все становятся до крайности раздражительными. Мелкие неприятности, которых вы просто не заметили бы на суше, приводят вас в исступление, если случаются на воде. Когда Джордж и Гаррис валяют дурака на твердой земле, я только снисходительно улы-

баюсь, если же они делают глупости на реке, я ругаю их последними словами. Когда мне мешает проехать чужая лодка, я испытываю желание взять весло и перебить всех, кто в ней сидит.

Самые тихие люди, сядя в лодку, становятся дикими и кровожадными. Я однажды катался с одной барышней. От природы это была особа необычайно кроткая и ласковая, но на реке ее было прямо-таки страшно слушать.

«Черт его подери! — кричала эта особа, когда какой-нибудь несчастный гребец мешал ей проехать. — Чего он смотрит, куда его несет?» «Вот дрянь!» — с негодованием восклицала она, когда парус не хотел подниматься, и, грубо схватив его, трясла, как дерюгу.

На берегу же, повторяю, она была приветлива и добра.

Речной воздух губительно действует на характер, и в этом, я думаю, причина, почему даже лодочники иногда грубы друг с другом и допускают выражения, о которых в более спокойную минуту, несомненно, готовы пожалеть.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Оксфорд. — Представление Монморенси о рае. — Наемная лодка, ее прелести и преимущества. — «Гордость Темзы». — Погода меняется. — Река в разных видах. — Не слишком веселый вечер. — Стремление к недостижимому. — Ожиженная болтовня. — Джордж исполняет пьесу на банджо. — Унылая мелодия. — Снова дождливый день. — Бегство. — Легкий ужин, заканчивающийся тостом.

Мы провели в Оксфорде два приятных дня. В городе Оксфорде много собак. Монморенси участвовал в первый день в одиннадцати драках, во второй — в четырнадцати и, несомненно, решил, что попал в рай.

Люди, по врожденной лени или слабости неспособные наслаждаться тяжелым трудом, обычно садятся в лодку в Оксфорде и гребут вниз. Однако для человека энергичного путешествие вверх по реке, несомненно, приятнее. Нехорошо все время плыть по течению. Гораздо больше удовольствия, напрягая спину, бороться с ним, идти вперед наперекор ему, — по крайней мере, мне так кажется, когда Гаррис с Джорджем гребут, а я правлю рулем.

Тем, кто намерен избрать Оксфорд отправным пунктом, я посоветую: запаситесь собственной лодкой (если, конечно, вы не можете взять чужую без риска, что это обнаружится). Лодки, которые сдаются внаем на Темзе выше Марло, как правило, очень хороши. Они почти не протекают, и если осторожно с ними обращаться, редко разваливаются на куски или тонут. В них есть на чем сесть, и они снабжены всеми или почти всеми приспособлениями для того, чтобы грести и править рулем.

Но они не украшают реки. В лодке, которую вы нанимаете на реке выше Марло, нельзя задаваться и важничать. Наемная лодка живо заставляет своих пассажиров прекратить подобные глупости. Это ее главное и, можно сказать, единственное достоинство. Человек в наемной лодке становится скромным и застенчивым. Он предпочитает держаться на теневой стороне под деревьями и совершает большую часть пути рано утром или поздно вечером, когда его могут видеть на реке лишь немногие. Если человек, находящийся в такой лодке, видит знакомого, он выходит на берег и прячется за дерево.

Однажды я был в одной компании, которая как-то летом наняла на несколько дней лодку, чтобы покататься. Никто из нас до тех пор не видел наемной лодки, и когда мы увидели ее, то не поняли, что это такое.

Мы заранее написали, что нам потребуется обыкновенная четырехвесельная лодка. Когда мы пришли с чемоданами на пристань и назвали себя, лодочник сказал:

— Ага! Вы та компания, которой нужна четырехвесельная? Прекрасно! Джим, приведи-ка сюда «Гордость Темзы».

Мальчик ушел и через пять минут вернулся, с трудом толкая вперед какой-то допотопный деревянный обрубок. Его как будто недавно откуда-то выкопали, и притом выкопали неосторожно, так что он от этого пострадал.

При первом взгляде на этот предмет я решил, что вижу перед собой остатки чего-то древнеримского; чего именно, неизвестно — вероятнее всего, гроба.

Местность в районе верхней Темзы богата древнеримскими реликвиями, и мое предположение казалось мне вполне правдоподобным, но один из членов нашей компании, серьезный молодой человек, немного причастный к геологии, поднял мою древнеримскую теорию на смех. Он

заявил, что всякому сколько-нибудь разумному человеку (он явно сожалел, что не может отнести меня к этой категории людей) ясно, что предмет, найденный сыном лодочника, есть скелет кита. Он отыскал множество признаков, доказывающих, что этот скелет относится к доледниковому периоду.

Чтобы разрешить спор, мы обратились к мальчику. Мы просили его не бояться и сказать нам чистую правду: что это такое — скелет доисторического кита или древнеримский гроб?

Мальчик ответил, что это «Гордость Темзы». Сначала мы сочли его ответ очень удачным, и кто-то даже дал ему за остроумие два пенса. Но когда он продолжал стоять на своем, мы сочли, что шутка затянулась, и обиделись.

— Ну-ну, паренек, — сказал наш капитан, — довольно глупостей. Унеси это корыто домой и приведи нам лодку.

Тут подошел сам лодочник и заверил нас честным словом как деловой человек, что эта штука — действительно лодка, та самая лодка, «четырёхвесельный скиф», которая была выбрана для нашей прогулки.

Мы довольно долго ворчали. Мы говорили, что ему следовало по крайней мере выбелить эту лодку или хоть просмолить, чтобы ее можно было отличить от обломка затонувшего корабля. Но лодочник не видел в «Гордости Темзы» никаких изъянов.

Наши замечания как будто даже обидели его. Он сказал, что выискал для нас свою самую лучшую лодку и что мы могли бы быть более признательны.

Он сказал, что «Гордость Темзы», в том самом виде, в каком она сейчас находится перед нами, служит верой и правдой уже сорок лет и никто на нее еще не жаловался, и непонятно, с чего это мы вздумали ворчать.

Мы не стали с ним больше спорить.

Мы связали эту так называемую лодку веревкой и, раздобыв кусок обоев, заклеили самые неприглядные места. Потом мы помолились Богу и сели в лодку.

За прокат этого ископаемого на шесть дней с нас взяли тридцать пять шиллингов, хотя мы могли купить его целиком на любом дровяном складе за четыре шиллинга с половиной.

На третий день погода переменилась (сейчас я уже говорю о нашей теперешней прогулке), и мы отбыли из Оксфорда в обратный путь под мелким, упорным дождем.

Река — когда солнце пляшет в волнах, золотит седые буки, бродит по лесным тропинкам, гонит тени вниз со склонов, на листву алмазы сыплет, поцелуи шлет кувшинкам, бьется в пене на запрудах, серебрит мосты и сваи, в камышах играет в прятки, парус дальний озаряет — это чудо красоты.

Но река в ненастье — когда дождь холодный льется на померкнувшие воды, словно женщина слезами в темноте одна исходит, а леса молчат уныло, скрывшись за сырым туманом, словно тени, с укоризной на дела людей взирая, — это прозрачные воды мира тщетных сожалений.

Свет солнца — это кровь природы. Глаза матери-земли смотрят на нас так уныло и бездушно, когда умирает солнечный свет. Нам тогда грустно быть с нею: она, кажется, не любит нас тогда и не хочет знать. Она — вдова, потерявшая возлюбленного мужа; дети касаются ее руки и заглядывают ей в глаза, но она не дарит их улыбкой.

Мы гребли под дождем весь день, и невеселое это было занятие. Сначала мы делали вид, что нам приятно. Мы говорили, что нас радует перемена и что интересно наблюдать реку во всех видах. Нельзя же рассчитывать, что всегда будет солнце, да нам этого и не хотелось бы. Мы говорили друг другу, что Природа прекрасна даже в слезах.

Первые несколько часов мы с Гаррисом были прямо-таки в восторге. Мы пели песню про цыгана — какая приятная у него жизнь: он на воле и в бурю, и под ярким солнцем, и ветер овеивает его, и дождь его радует и приносит ему пользу, и смеется цыган над теми, кто не любит дождя.

Джордж радовался не так бурно и не расставался с зонтиком.

Мы натянули брезент еще до завтрака и не опускали его весь день, оставив лишь узкий просвет на носу, чтобы один из нас мог шлепать веслом и нести вахту. Таким образом мы прошли девять миль и остановились на ночь немного ниже Дэйнского шлюза.

Говоря по совести, не могу сказать, что мы провели вечер очень весело. Дождь продолжал лить с тихим упорством. Все, что было в лодке, отсырело и промокло. Ужин ре-

шительно не удался. Холодный мясной пирог, когда вы не голодны, быстро приедается. Мне ужасно хотелось жареной рыбы и котлет. Гаррис что-то болтал о камбале под белым соусом и бросил остатки своего пирога Монморенси. Но Монморенси отказался от него и, видимо, оскорбленный этим предложением, ушел на другой конец лодки, где и сидел в одиночестве.

Джордж попросил нас не говорить о таких вещах хотя бы до тех пор, пока он не доест свое холодное мясо без горчицы.

После ужина мы полтора часа играли в карты по маленькой. В результате Джордж выиграл четыре пенса — Джорджу всегда везет, — а мы с Гаррисом проиграли ровно по два пенса каждый. После этого мы решили прекратить игру. Гаррис сказал, что игра порождает нездоровые чувства, если ею слишком увлекаться. Джордж предложил нам реванш, но мы с Гаррисом решили не сражаться больше с судьбой.

После этого мы приготовили грог и сидели беседуя.

Джордж рассказал про одного человека, который спал в мокрой лодке в такую же ночь, как эта, и получил ревматическую лихорадку. Его ничем нельзя было спасти, через десять дней он умер в страшных мучениях. По словам Джорджа, это был совсем молодой человек, недавно помолвленный. Это была одна из самых печальных историй, которые он, Джордж, знал.

Это напомнило Гаррису об одном его друге, который записался в армию. В одну сырую ночь, в Олдершоте, он спал в палатке — ночь была совсем такая, как сегодня, — и проснулся утром калекой на всю жизнь. Гаррис сказал, что, когда мы вернемся, он нас с ним познакомит. На него прямо-таки больно смотреть.

Все это, разумеется, навело на приятный разговор об ишиасе, лихорадках, простудах, болезнях легких, бронхитах. Гаррис сказал, что было бы очень неприятно, если бы ночью кто-нибудь из нас серьезно заболел, ведь доктора поблизости не найти.

Такие беседы вызывали у нас потребность повеселиться, и я в минуту слабости предложил Джорджу взять свое банджо и попробовать спеть нам что-нибудь.

Должен сказать, что Джордж не заставил себя упрашивать. Он не говорил никаких глупостей вроде того, что забыл ноты дома, или чего-нибудь подобного. Он немедленно выудил свой инструмент и заиграл песню «Пара милых черных глаз».

До этого вечера я всегда считал «Пару милых черных глаз» довольно пошлым произведением. Но Джордж обнаружил в нем такие залежи грусти, что я только диву давался.

Чем дальше мы с Гаррисом слушали эту песню, тем больше нам хотелось броситься друг другу на шею и зарыдать. Сделав над собой усилие, мы сдержали подступившие слезы и молча слушали дикий, тоскливый мотив.

Когда пришло время подпевать, мы даже предприняли отчаянную попытку развеселиться. Мы снова наполнили стаканы и присоединились к пению. Гаррис дрожащим голосом запевал, а мы с Джорджем вторили:

О, пара милых черных глаз!
Вот неожиданность для нас!
Их взор корит нас и стыдит.
О...

Тут мы не выдержали. При нашем подавленном состоянии невыразимо чувствительный аккомпанемент Джорджа сразил нас наповал. Гаррис зарыдал, как ребенок, а собака так завывала, что едва избежала разрыва сердца или вывиха челюсти.

Джордж хотел начать следующий куплет. Он решил, что, когда он лучше освоится с мелодией и сможет исполнить ее с большей непринужденностью, она покажется не такой печальной. Однако большинство высказалось против этого опыта.

Так как делать было больше нечего, мы легли спать, то есть разделись и часа три-четыре проворочались на дне лодки. После этого нам удалось проспать тревожным сном до пяти часов утра, затем мы встали и позавтракали.

Следующий день был в точности схож с предыдущим. Дождь лил по-прежнему, мы сидели под брезентом в макинтошах и медленно плыли вниз по течению.

Один из нас — я забыл, кто именно, но, кажется, это был я — сделал слабую попытку вернуться к цыганской ерунде о детях природы и наслаждении сыростью, но из этого

ничего не вышло. Слова: «Не боюсь я дождя, не боюсь я его!» — очень уж не вязались с нашим настроением.

В одном мы были единодушны, а именно в том, что, как бы то ни было, мы доведем наше предприятие до конца. Мы решили наслаждаться рекой две недели и были намерены использовать эти две недели целиком. Пусть это будет стоить нам жизни! Разумеется, наши родные и друзья огорчатся, но тут ничего не поделаешь. Мы чувствовали, что отступить перед погодой в нашем климате значило бы показать недостойный пример грядущим поколениям.

— Осталось только два дня, — сказал Гаррис, — а мы молоды и сильны. В конце концов мы, может быть, переживем все это благополучно.

Часа в четыре мы начали обсуждать планы на вечер. Мы только что миновали Горинг и решили пройти до Пэнгборна и заночевать там.

— Еще один веселый вечерок, — пробормотал Джордж.

Мы сидели и размышляли о том, что нас ожидает. В Пэнгборне мы будем около пяти. Обедать закончим примерно в половине шестого. Потом мы можем бродить по деревне под проливным дождем, пока не придет время ложиться спать, или сидеть в тускло освещенном трактире и читать старый «Ежегодник».

— В «Альгамбре» было бы, черт возьми, повеселей, — сказал Гаррис, на минуту высовывая голову из-под парусины и окидывая взором небо.

— А потом мы бы поужинали у^{**1}, — прибавил я почти бессознательно.

— Да, я почти жалею, что мы решили не расставаться с лодкой, — сказал Гаррис, после чего все мы довольно долго молчали.

— Если бы мы не решили дожидаться верной смерти в этом дурацком сыром гробу, — сказал Джордж, окидывая лодку враждебным взглядом, — стоило бы, пожалуй, вспомнить, что из Пэнгборна в пять с чем-то отходит поезд на

¹ Отличный недорогой ресторанчик в районе **, где прекрасно готовят легкие французские обеды и ужины и где за три с половиной шиллинга можно получить бутылку первоклассного вина. Но я не так глуп, чтобы рекламировать его. (*Прим. автора.*)

Лондон, и мы бы как раз успели перекусить и отправиться в то место, о котором вы только что говорили.

Никто ему не ответил. Мы переглянулись, и каждый, казалось, прочел на лицах других свои собственные низкие и грешные мысли. В молчании мы вытащили и освидетельствовали наш чемодан. Мы посмотрели на реку — ни справа, ни слева не было видно ни души.

Двадцать минут спустя три человеческие фигуры, сопровождаемые стыдливо потупившейся собакой, украдкой пробирались от лодочной пристани у гостиницы «Лебедь» к железнодорожной станции. Их туалет, достаточно неопрятный и скромный, состоял из следующих предметов: черные кожаные башмаки — грязные; фланелевый костюм — очень грязный; коричневая фетровая шляпа — измятая; макинтош — весь мокрый; зонтик.

Мы обманули лодочника в Пэнгборне. У нас не хватило духу сказать ему, что мы убегаем от дождя. Мы оставили на его попечение лодку и все ее содержимое, предупредив его, что она должна быть готова к девяти часам утра. Если... если что-нибудь непредвиденное помешает нам вернуться, мы ему напишем.

В семь часов мы были на Пэдингтонском вокзале и от туда прямо направились в упомянутый мной ресторан. Слегка закусив, мы оставили там Монморенси и распоряжение приготовить нам ужин к половине одиннадцатого, а сами двинулись на Лестер-сквер.

В «Альгамбре» мы привлекли к себе всеобщее внимание. Когда мы подошли к кассе, нас грубо направили за угол, к служебному входу, и сообщили, что мы опаздываем на полчаса.

Не без труда мы убедили кассира, что мы вовсе не всемирно известные «гуттаперчевые люди с Гималайских гор», и тогда он взял у нас деньги и пропустил нас.

В зрительном зале мы имели еще больший успех. Наш замечательный смуглый цвет лица и живописные костюмы приковывали к себе восхищенные взгляды. Все взоры были устремлены на нас.

Это были чудесные мгновенья.

Мы отбыли вскоре после первого балетного номера и направили свои стопы обратно в ресторан, где нас уже ожидал ужин.

Должен сознаться, этот ужин доставил мне удовольствие. Последние десять дней мы жили главным образом на холодном мясе, пирогах и хлебе с вареньем. Эта пища проста и питательна, но в ней нет ничего возвышающего, и аромат бургундского вина, запах французских соусов, чистые салфетки и изящные хлебцы оказались желанными гостями у порога нашей души.

Некоторое время мы молча резали и жевали; наконец наступила минута, когда, устав сидеть прямо и крепко держать в руке вилку и нож, мы откинулись на спинки стульев и двигали челюстями вяло и небрежно. Мы вытянули ноги под столом, наши салфетки попадали на пол, и мы нашли время критически оглядеть закопченный потолок. Мы отставили стаканы подальше и чувствовали себя добрыми, тактичными и всепрощающими.

Гаррис, который сидел ближе всех к окну, отдернул штору и посмотрел на улицу.

Вода на мостовой слегка поблескивала, тусклые фонари мигали при каждом порыве ветра, дождь, булькая, шлепал по лужам, устремлялся по желобам в сточные канавы. Редкие прохожие, мокрые насквозь, торопливо пробегали, согнувшись под зонтиком, женщины высоко поднимали юбки.

— Ну что же, — сказал Гаррис, протягивая руку к стакану, — мы совершили хорошую прогулку, и я сердечно благодарю за нее нашу старушку Темзу. Но, я думаю, мы правильно сделали, что вовремя с нею расстались. За здоровье Трех, спасшихся из одной лодки!

И Монморенси, который стоял на задних лапах у окна и смотрел на улицу, отрывисто пролаял в знак своего полного одобрения этому тосту.

**ТРОЕ НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ**

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Желание переменить образ жизни. – Нравоучительный случай, доказывающий, что обманывать не стоит. – Нравственное малодушие Джорджа. – Идеи Гарриса. – Рассказ об опытном моряке и неопытном спортсмене. – Веселая команда. – Опасность плавания при береговом ветре. – Невозможность плавания при морском ветре. – Дух противоречия у Этельберты. – Гаррис предлагает путешествие на велосипедах. – Джордж сомневается насчет ветра. – Гаррис предлагает Шварцвальд. – Джордж сомневается насчет гор. – План Гарриса относительно подъема на горы. – Миссис Гаррис прерывает беседу.

– Нам необходимо переменить на время образ жизни, – сказал Гаррис.

В эту минуту дверь приоткрылась, и в ней показалась головка миссис Гаррис. Этельберта прислала ее напомнить мне, что нам не стоит засиживаться, потому что Кларенс остался дома совсем больной. Лично мне беспокойство Этельберты кажется излишним. Если мальчик с самого утра выходит гулять с тетей, которая при первом же его многозначительном взгляде на витрину кондитерской заходит с ним туда и пичкает его булочками с кремом, до тех пор пока он не начнет утверждать, что в него больше не лезет, то нет ничего подозрительного в том, что после этого за завтраком он съедает только одну порцию пудинга. Но Этельберта приходит в ужас и решает, что у ребенка начинается какая-то серьезная болезнь.

Миссис Гаррис прибавила еще, чтобы мы поскорее шли наверх, так как Муриэль собирается прочесть нам комическое описание праздника из «Волшебного царства». Муриэль – старшая дочка Гарриса, умная, бойкая девочка восьми лет; мне больше нравится, когда она читает серьезные ве-

щи; но тут все же пришлось ответить, что сейчас мы докучим и придем, а Муриэль пусть подождет. Миссис Гаррис обещала занять ее, насколько возможно, и ушла. Лишь только дверь закрылась, Гаррис повторил прерванную фразу:

— Да, положительно нам нужна перемена обстановки.

Возник вопрос, как это устроить. Джордж предложил уехать якобы по делу. Такие вещи могут предлагать разве что холостяки: они воображают, что замужняя женщина не сумеет даже перейти улицу, когда ее выравнивают паровым катком, не говоря уж о том, чтобы разобраться в делах мужа. Я знал одного молодого инженера, который решил съездить в Вену «по делу» и сообщил об этом жене. Она пожелала узнать — по какому делу. Он сказал, что ему необходимо осмотреть земляные работы в окрестностях Вены и написать о них отчет. Она заявила, что тоже поедет. Муж ответил, что считает земляные рвы вовсе не подходящим местом для прелестной молодой женщины. Но оказалось, что она сама это прекрасно понимает и вовсе не намерена ломать ноги по разным канавам и туннелям, а будет ждать его в городе, в Вене можно прекрасно провести время в магазинах, делая покупки. Выпутаться из глупого положения оказалось невозможным, и мой приятель десять дней подряд осматривал земляные работы в окрестностях Вены и писал о них отчеты для своей фирмы, решительно никому не нужные, которые жена собственноручно опускала в почтовый ящик. Я не думаю, чтобы Этельберта или миссис Гаррис принадлежали к такому типу жен, но, несмотря на это, к «делам» без крайней надобности все-таки прибегать не следует.

— Нет! — возразил я. — Надо быть честным и прямодушным. Я скажу Этельберте, что человек не может вполне оценить свое счастье, пока оно ничем не омрачено. Я скажу ей, что решаюсь оторваться от семьи на три недели (по крайней мере), чтобы в разлуке полностью осознать, как балует меня счастьем судьба. Я объясню ей, — продолжал я, повернувшись к Гаррису, — что это тебе мы обязаны такой...

Гаррис поспешно опустил на стол стакан вина.

— Я бы предпочел, чтобы ты не объяснял все так дошито своей супруге, — перебил он, — если она начнет обсуждать подобные вопросы с моей женой, то... то на мою долю выпадет слишком много чести.

— Ты ее заслуживаешь.

— Вовсе нет. Собственно говоря, ты первый высказал эту мысль; ты сказал, что нерушимое счастье у домашнего очага пресыщает и утомляет.

— Я говорил вообще!

— Мне твоя мысль показалась очень меткой; я хотел бы передать эти слова Кларе, ведь она так ценит твой ум.

— Нет, лучше не передавай, — перебил я в свою очередь, — вопрос несколько щекотливый, и надо поставить его проще: скажем, что Джордж это выдумал, вот и все.

У Джорджа положительно нет никакого понятия о деликатности, этим он меня очень огорчает: вместо того чтобы немедленно вывести двух старых товарищей из затруднения, он начал говорить неприятные вещи.

— Вы им скажите, или я сам скажу то, что я действительно предлагал: отправиться всем вместе, с детьми и с моей теткой в Нормандию, в один старый замок, который я знаю; там чудный климат, в особенности для детей, и прекрасное молоко. Я лишь прибавлю, что вы моего плана не одобрили и решили, что одним нам будет веселее.

С таким человеком, как Джордж, нечего любезничать, и Гаррис отвечал ему серьезно:

— Хорошо. Мы снимем этот замок. Ты обязуешься привезти свою тетку, и мы проведем целый месяц в недрах семейства; ты будешь играть с детьми в зверинец: с прошлого воскресенья Дик и Муриэль только о том и толкуют, какой ты чудный гиппопотам. Джея дети тоже любят, он займется с Эдгаром рыбной ловлей. Нас будет всего одиннадцать душ — это в самый раз, чтобы устраивать пикники в лесу; Муриэль будет нам декламировать, она знает уже шесть стихотворений, а остальные дети живо нагонят ее.

Джордж, в сущности, почти не способен к сопротивлению. Он сразу переменял тон, и даже не изящно: он отвечал, что если у нас хватит низости устроить такую штуку, то, конечно, он ничего не сможет сделать. К этому он прибавил, что если я не намерен выпить все красное вино сам, то и он попросил бы стаканчик.

Таким образом первый пункт выяснился. Осталось только решить окончательно, каким образом мы можем развестись.

Гаррис, по обыкновению, стоял за море: ему была известна какая-то яхта, с которой мы могли бы отлично управиться сами без лентяев-матросов, сводящих на нет всю романтику плавания; но оказалось, что и мы с Джорджем знаем эту яхту; она вся пропитана запахом трюмной воды, которого не может развеять и самый свежий морской ветер, негде спрятаться от дождя, кают-компания длиною в десять футов, а шириной в четыре, и половина ее занята разваливающейся печкой; утреннюю ванну приходится брать на палубе и потом ловить полотенце, которое подхватило ветром. Гаррис с юнгой взяли бы на себя самую интересную работу с парусами, а мне с Джорджем предоставили бы чистить картофель – уж я это знаю.

Мы отказались.

– Ну, найдем в таком случае настоящую хорошую яхту со шкипером, – предложил Гаррис, – и будем путешествовать, как аристократы.

Этому я тоже воспротивился. Уж я-то знаю, что значит иметь дело со шкипером! Его любимое занятие – стоять на якоре против излюбленного портового кабака и ждать попутного ветра.

Много лет назад, когда я был еще молод и неопытен, мне довелось узнать, чего стоит «плавание» на наемной яхте со шкипером. Три обстоятельства вовлекли меня в эту глупость: во-первых, я по случаю хорошо заработал; во-вторых, Этельберте ужасно захотелось подышать морским воздухом, и, в-третьих, мне попало на глаза заманчивое объявление в газете «Спортсмен»: *«Любитель морского спорта. – Редкий случай! «Головофез», 28-тонный ял. Владелец судна из-за внезапного отъезда согласен отдать свою «борзую моря» внаем на какой угодно срок. Две каюты и кают-компания; пианино Воффенкопфа; вся медь на судне новая. Условия: 10 гиней в неделю. Обращаться к Пертви и К°, Бокльсберри».*

Это объявление волшебным образом обращало в явь мои тайные мечты. «Новая медь» меня не интересовала: нас устроила бы и старая, даже без чистки, но «пианино Воффенкопфа» меня покорило!.. Я представил себе Этельберте, наигрывающую в вечерний час мелодичную песню с припевом, который стройно подхватят голоса команды... а наша «борзая моря» несется легкими скачками по серебряным волнам.

Я взял кеб и немедленно разыскал третий номер по Бокльсберри. Мистер Пертви оказался ничуть не гордым джентльменом, я нашел его в конторе довольно скромного вида в третьем этаже. Он продемонстрировал мне изображающую яхту акварель: «Головорез» шел крутым галсом, палуба была наклонена к воде почти под прямым углом; на ней не было ни души — все, очевидно, сползли в море. Я обратил внимание хозяина яхты на такое неудобство положения судна, при котором пассажирам только и оставалось, что прибивать себя к палубе гвоздями; но он отвечал, что «Головорез» изображен в ту минуту, когда он огибал какое-то опасное место на гонках, на которых взял приз. Об этом мистер Пертви поведал таким тоном, словно это событие известно всему миру, поэтому мне не захотелось расспрашивать о подробностях. Два черных пятнышка на полотне возле рамы, которые я принял сначала за мошек, оказались яхтами, пришедшими вслед за «Головорезом» в день знаменитой гонки. Фотографический снимок того же судна, стоящего на якоре в Грейвзэнде, производил меньшее впечатление, но так как все ответы на мои вопросы удовлетворяли меня, то я сказал, что нанимаю яхту на две недели. Мистер Пертви нашел такой срок очень подходящим: если бы я захотел заключить договор на три недели, то ему пришлось бы мне отказать, но двухнедельный срок замечательно удачно совпадал со временем, которое было уже обещано после меня другому любителю спорта.

Затем мистер Пертви осведомился, есть ли у меня на примете хороший шкипер, и когда я сказал, что нет, то это тоже оказалось замечательно удачным (судьбе, видимо, захотелось побаловать меня): у мистера Пертви еще не был отпущен прежний шкипер яхты, мистер Гойльс, — шкипер, который еще никого не утопил и знает море как свои пять пальцев.

«Головорез» стоял в Гарвиче, и, пользуясь свободным утром, я решил съездить и осмотреть его сейчас же. Я еще поспел к поезду в 10.45 и около часу был на месте.

Мистер Гойльс встретил меня на палубе. Это был добродушный толстяк весьма почтенного вида. Я объяснил ему мое намерение обогнуть Голландские острова и затем подняться к северу, к берегам Норвегии.

– Вот-вот, сэ! – отвечал толстяк с видимым одобрением и даже восторгом.

Он увлекся еще больше, когда начали обсуждать вопрос о съестных припасах, и потребовал такое количество провианта, что я был поражен: если бы мы жили во времена адмирала Дрейка или испанского владычества на морях, я подумал бы, что мистер Гойльс собирается в дальний и, пожалуй, пиратский рейд.

Однако он добродушно засмеялся и уверил меня, что ничего лишнего мы не возьмем: если что-нибудь останется, то матросы поделятся и возьмут с собой по домам. Так повелось на этой яхте. Когда количество съестных припасов было определено и очередь дошла до крепких напитков, то я понял, что мне их придется заготовить на целую зиму, но смолчал, чтобы не показаться скупым. Только когда мистер Гойльс с большой заботливостью осведомился, сколько бутылок будет взято собственно для матросов, я скромно заметил, что не намеревался устраивать никаких оргий.

– Оргий! – повторил мистер Гойльс. – Да они выпьют эти жалкие капли с чаем. Надо нанимать толковых людей и обращаться с ними хорошо, тогда они будут отлично работать и являться по первому вашему зову.

Я не чувствовал желания, чтобы они являлись по первому моему зову; у меня в сердце зародилась антипатия к этим матросам, прежде чем я их увидел. Но мистер Гойльс был очень напорист, а я очень неопытен и подчинился ему во всем. Он обещал, что «не будет шляпой и справится со всем сам с помощью всего лишь двух матросов и одного юнги». Не знаю, к чему последнее относилось, – к провианту или к управлению яхтой.

По дороге домой я зашел к портному и заказал себе подходящий костюм с белой шляпой; портной обещал поспешить и приготовить его вовремя. Когда я, вернувшись, рассказал все Этельберте, она пришла в восторг и тревожилась только об одном – успеет лишить платье себе. Это было так по-женски!

Наш медовый месяц кончился совсем недавно – и кончился, благодаря случайным обстоятельствам, раньше, чем мы этого желали; поэтому теперь нам захотелось вознаградить себя, и мы решили не приглашать с собой ни души

знакомых. И слава Богу, что так решили. В понедельник костюмы были готовы, и мы отправились в Гарвич. Не помню, какой костюм приготовила себе Этельберта; мой был весь обшит узенькими белыми тесемочками и выглядел очень экстравагантно.

Мистер Гойльс радушно встретил нас на палубе и сообщил, что завтрак готов. Надо отдать ему должное: поварские способности у него были отменные. О способностях остального экипажа мне судить не пришлось, одно могу сказать — ребята были не промах.

Я думал, что, как только команда отобедает, мы подыдем якорь и выйдем в море... Я закурю сигару и вместе с Этельбертой буду следить, облокотившись на поручень, за мягко тающими на горизонте белыми скалами родного берега...

Мы исполнили свою часть программы, но на совершенно пустой палубе.

— Они, кажется, не спешат заканчивать обед, — заметила Этельберта.

— Если они в две недели собираются съесть хотя бы половину запасов, то нам их нельзя торопить, не успеют, — отвечал я.

Прошло еще какое-то время.

— Они, вероятно, все заснули! — заметила опять Этельберта. — Ведь скоро пять часов, пора чай пить.

Тишина действительно стояла полная. Я подошел к трапу и окликнул мистера Гойльса. Мне пришлось кликнуть три раза, и только тогда он явился на зов. Почему-то он казался более старым и рыхлым, чем прежде; во рту у него была потухшая сигара.

— Когда вы будете готовы, капитан, мы тронемся, — сказал я.

— Сегодня мы не тронемся, с вашего позволения, сэр.

— А что такое сегодня? Плохой день?

Моряки — народ суеверный, и я подумал, что нынешний денек мистеру Гойльсу чем-нибудь не понравился.

— Нет, день ничего, только ветер, кажется, не хочет меняться.

— А разве ему нужно меняться? Как будто он дует прямо в море.

— Вот-вот, сэр! Именно он бы и нас отправил прямо в море, если бы мы снялись с якоря. Видите ли, сэр, — прибавил он в ответ на мой удивленный взгляд, — это ветер береговой.

Ветер был действительно береговой.

— Может быть, за ночь переменится! — И, ободрительно кивнув головой, мистер Гойльс разжег потухшую сигару. — Тогда тронемся, «Головорез» — хорошее судно.

Я вернулся к Этельберте и рассказал о причине задержки. Она была уже не в том милом настроении, как утром, и пожелала узнать, почему нельзя поднять паруса при береговом ветре.

— Если бы ветер был с моря, то нас выбросило бы обратно на берег, — заметила она. — Кажется, теперь самый подходящий ветер.

— Да, тебе так кажется, дорогая моя, но береговой ветер всегда очень опасен.

Этельберта пожелала узнать, почему береговой ветер всегда очень опасен. Ее настойчивость огорчила меня.

— Я этого не сумею объяснить, но идти в море при таком ветре было бы ужасным риском, а я тебя слишком люблю, моя радость, чтобы рисковать твоей или своей собственной жизнью.

Я думал, что очень мило все объяснил, но Этельберта, посетовав на то, что уехала из Лондона днем раньше, скрылась в каюте.

Мне стало почему-то досадно. Легкое покачивание яхты, стоящей на якоре, может испортить самое блестящее настроение.

Утром я был на ногах чуть свет. Ветер дул прямо с севера. Я сейчас же отыскал шкипера и сообщил ему о своем намерении.

— Да, да, сэр. Очень печально, но мы этого изменить не можем.

— Как? Нам и сегодня нельзя тронуться с места?

— Видите ли, сэр, если бы вы хотели идти в Инсвич — хоть сейчас! Сколько угодно! Но наша цель — Голландские острова, вот и приходится сидеть.

Я передал эти новости Этельберте, и мы решили провести весь день в городе. Гарвич — место вообще невеселое, а уж к вечеру и вовсе скучное. Побродив по рестора-

нам, мы вернулись на набережную. Шкипера на месте не было. Вернулся он через час изрядно навеселе, во всяком случае, он был куда веселее нас; если бы я не слышал от него лично, что он пьет ежедневно только один стакан грогу перед сном, то принял бы его за пьяного. На следующее утро ветер задул с юга. Шкипер встревожился, говоря, что если это будет продолжаться, то нам нельзя ни двигаться, ни стоять на месте. У Этельберты стало возникать чувство острой неприязни к яхте, и она объявила, что предпочла бы провести неделю, принимая морские ванны в безопасной купальне. Два дня прошли в большом беспокойстве. Спали мы на берегу в гостинице. В пятницу ветер зашел с востока. Я встретил шкипера на набережной и сообщил ему радостную весть. Он даже рассердился:

— Что вы, сэр! Если бы вы больше понимали, то видели бы, что ветер дует прямо с моря!

Тогда я спросил серьезно:

— Скажите, пожалуйста, что я нанял? Плавучий сарай или яхту? Что это такое?

— Это — ял, — отвечал он, несколько озадаченный.

— Дело в том, — продолжал я, — что если это плавающая дача, то мы купим плюша, побольше цветов и постараемся обустроить жилище поуютнее. Если же эту штуку возможно двинуть с места...

— Двинуть с места! Да нам нужен только попутный ветер.

— А что вы называете попутным ветром?

Шкипер молчал.

— За эту неделю ветер был с запада, с севера, с юга и востока. Если вы мне укажете еще на какую-нибудь часть света, откуда мы должны ждать попутного ветра, то я буду ждать. Но если у вас компас обыкновенный и если наш якорь еще не прирос к морскому дну, то мы его сегодня подыдем!

Он понял, что меня не унять.

— Хорошо, сэр, — ответил он. — Вы — хозяин, а я — работник. Теперь у меня остался на попечении только один ребенок, и в случае чего ваши душеприказчики, конечно, окажут помощь моей вдове.

Его серьезность поразила меня.

— Мистер Гойльс, — сказал я, — будьте со мной откровенны. Бывает ли на свете такая погода, при которой мы могли бы вылезти из этой противной ямы?

— Видите ли, сэр, если бы мы очутились в море, все пошло бы как по маслу, но дело в том, что выйти из гавани на этой скорлупе — дело нештучное.

Разговор окончился трогательным обещанием шкипера «следить за погодой как мать за спящим младенцем». В следующий раз я увидел его в полдень: он следил за погодой из окна «Цепи и якоря».

В пять часов того же дня счастье мне слегка улыбнулось: я встретил на улице двух товарищей, которые остановились на время в Гарвиче, так как на их яхте поломался руль. Наша история не удивила, а рассмешила их; мы забежали за Этельбертой в гостиницу и вчетвером прокрались на наше судно.

Мистер Гойльс все еще следил за погодой из окна ближайшего кабака. Застав на месте только юнгу, мы были очень довольны; товарищи взяли на себя управление яхтой, и через час мы уже весело неслись вдоль берега. На ночь остановились в Альдборо, а на следующий день добрались до Ярмута. Здесь надо было расстаться с товарищами и закончить «плавание». Все запасы мы распродали на берегу с аукциона, это было не особенно выгодно, но зато капитану Гойльсу ничего не досталось.

Я оставил «Головореза» на попечение местного моряка, который за пару соверенов взялся перегнуть его обратно. Мы вернулись в Лондон по железной дороге.

Может быть, и бывают яхты не такие, как «Головорез», и шкиперы не такие, как мистер Гойльс, но уникальный собственный опыт восстановил меня против тех и других.

Джордж тоже нашел, что прогулка на яхте была бы слишком хлопотным удовольствием, и, таким образом, этот план был отброшен.

— Ну а река? — предложил Гаррис. — Ведь мы по ней когда-то славно погуляли!..

Джордж молча затыкнулся сигарой, я взял щипцы и раздавил еще один орех.

— Не знаю... — заметил я. — Темза теперь стала какая-то другая... Сыро на ней, что ли, но только у меня от речного воздуха всегда ломит поясницу.

— Представь себе, я замечаю то же самое, — прибавил Джордж, — когда я последний раз гостил у знакомых возле реки, то ни разу не мог проснуться позже семи часов утра.

— Я не настаиваю, — заметил Гаррис. — Я это так предложил, вообще, а при моей подагре, конечно, на реке мало удовольствия.

— Мне лично приятнее всего было бы подышать горным воздухом, — сказал я. — Что вы скажете относительно пешего похода по Шотландии?

— В Шотландии всегда мокро, — заметил Джордж. — Я там был два года назад и целых три недели не просыхал, — вы понимаете, что я хочу сказать.

— В Швейцарии довольно мило, — заметил Гаррис.

— В Швейцарию нас никогда не пустят одних, — сказал я, — мы должны выбирать местность, где не смогут жить ни хрупкие женщины, ни дети; где ужасные гостиницы и ужасные дороги; где нам придется не покладая рук бороться с природой и, может быть, умирать с голода.

— Тише, тише! — прервал Джордж. — Не забывай, что я отправляюсь с вами.

— Придумал! — воскликнул Гаррис. — Отправимся на велосипедах!

На лице Джорджа отразилось сомнение.

— На велосипедах в горы?.. а подъемы? а ветер?

— Так не везде же подъемы, есть и спуски, а ветер не обязательно дует в лицо, иногда и в спину.

— Что-то я этого никогда не замечал, — упорствовал Джордж.

— Положительно, лучше путешествия на велосипедах ничего не выдумаешь!

Я готов был согласиться с Гаррисом.

— И я вам скажу, где именно, — продолжал он, — в Шварцвальде.

— Да ведь это все в гору! — воскликнул Джордж.

— Во-первых, не все, а во-вторых, — Гаррис осторожно оглянулся и понизил голос до шепота, — они там проложили на крутых подъемах маленькие железные дороги, такие вагончики на зубчатых колесах...

В эту минуту дверь открылась и вошла миссис Гаррис. Она объявила, что Этельберта надевает шляпку, а Муриэль,

не дождавшись нас, уже прочла описание праздника из «Волшебного царства».

– Соберемся завтра в клубе в четыре часа, – шепнул мне Гаррис, вставая.

Я передал распоряжение Джорджу, подымаясь с ним по лестнице.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Щекотливое дело. – Что должна была сказать Этельберта. – Что она сказала. – Мнение миссис Гаррис. – Наш разговор с Джорджем. – Отъезд назначен на среду. – Джордж указывает на возможность развить наш ум. – Мы с Гаррисом сомневаемся. – Кто больше работает в тандеме? – Мнение человека, сидящего сзади. – Мнение человека, сидящего спереди. – О том, как Гаррис потерял свою жену. – Здравый смысл моего дяди Поджера. – Начало истории о человеке с мешком.

Я решил атаковать супругу в тот же вечер. План сражения был следующий: я начну раздражаться из-за пустяков, Этельберта это заметит, я должен буду признать ее замечание справедливым и сошлюсь на переутомление, это поведет к разговору о моем здоровье вообще и к решению принять немедленные и действенные меры.

Я полагал, что подобный тактический маневр вынудит Этельберту обратиться ко мне с речью в таком роде:

«Нет, дорогой мой, тебе нужна перемена, полная перемена обстановки! Будь благоразумным и уезжай на месяц... Нет, не проси меня ехать вместе с тобой, я знаю, это было бы тебе приятно, но я не поеду. Я сознаю, что мужчине иногда необходимо чисто мужское общество. Постарайся уговорить Джорджа и Гарриса ехать с тобой. Поверь мне, что такой ум, как твой, требует отдыха от рутины домашней жизни. Забудь на время, что детям нужны уроки музыки, новые сапоги, велосипеды и приемы ревенного порошка по три раза в день, забудь, что на свете есть кухарки, обойщики, соседские собаки и счета из мясных лавок. Удались в какое-нибудь место, где ты останешься наедине с природой, где для тебя все будет свежо и ново и где твой истомленный ум воскреснет для новых, светлых мыслей. Уезжай на

время, тогда я пойму, как мне пусто без тебя, заново оценю твою доброту и твои достоинства, потому что, как простая смертная, я могу стать равнодушной даже к свету солнца и к красе месяца, видя их постоянно. Уезжай — и возвращайся еще более милым, если это только возможно!»

Но даже в том случае, когда наши желания исполняются, это происходит не совсем так, как мы мечтали... Во-первых, Этельберта даже не заметила моей раздражительности. Пришлось самому указать ей на это. Я сказал:

— Прости меня. Сегодня я себя как-то странно чувствую.

— Разве? Я ничего не заметила. Что с тобой?

— Сам не знаю. В последние недели я чувствую, как на меня наваливается какая-то тяжесть.

— А, это вино! — спокойно заметила Этельберта. — Ты ведь знаешь, что крепкие напитки тебе противопоказаны, а у Гарриса всякий раз пьешь.

— Нет, не вино! Это что-то более серьезное, более... духовное, — отвечал я.

— Ну, так ты опять читал рецензии, — заметила она более сочувственно. — Почему ты не слушаешь меня и сразу не бросаешь их в печку?

— И вовсе не рецензии! — отвечал я. — За последнее время мне попались две-три отличные!..

— Так в чем же дело? Какая-нибудь причина должна быть.

— Нет никакой причины. В том-то и дело, что я могу назвать это чувство только безотчетным беспокойством, которое охватило все мое существо.

Этельберта поглядела на меня несколько странно, но ничего не сказала. Я продолжал:

— Эта давящая монотонность жизни, эти дни невозможного блаженства — они гнетут меня!

— Я бы не стала на это сетовать, — заметила Этельберта. — Могут настать и иные дни, которые будут нам нравиться куда меньше.

— Не знаю, — отвечал я. — По-моему, при постоянной радости даже боль — приятное разнообразие. Для меня лично вечное блаженство без всякого диссонанса кончилось бы сумасшествием. Вполне признаю — я человек странный; бывают минуты, когда я сам себя не понимаю и ненавижу...

Очень часто монолог в таком роде — с намеками на тайные, глубокие страдания — трогал Этельберту, но в этот вечер она была удивительно хладнокровна; относительно вечного блаженства она заметила, что незачем забегать вперед навстречу горестям, которых, может быть, никогда не будет; по поводу моего признания насчет странности характера она философски посоветовала примириться с подобным фактом, говоря, что это не мое дело, если окружающие согласны выносить мое присутствие. А насчет однообразия жизни согласилась вполне.

— Ты не можешь себе представить, как мне хочется иногда уйти даже от тебя! — заметила она. — Но я знаю, что это невозможно, так и не мечтаю.

Никогда прежде не слышал я от Этельберты подобных слов, они меня ужасно огорчили.

— Ну, это не слишком-то любезное замечание со стороны жены! — заметил я.

— Знаю, оттого я раньше и молчала. Вы, мужчины, никогда не поймете того, что как бы женщина ни любила, но бывают минуты, когда даже любимый человек становится ей в тягость. Ты не знаешь, до чего мне иной раз хочется надеть шляпку и уйти, не давая отчета, куда я иду, и зачем иду, и надолго ли, и когда вернусь! Ты не знаешь, как мне иногда хочется заказать обед, который я и дети ели бы с наслаждением, но от которого ты сбежал бы в клуб! Ты не знаешь, как мне иногда хочется пригласить какую-нибудь женщину, которую я люблю, хотя ты ее терпеть не можешь; пойти в гости туда, куда мне хочется; лечь спать тогда, когда я устала, и встать тогда, когда мне больше не хочется спать!.. Но люди, которые живут вдвоем, обязаны постоянно уступать друг другу, и это иногда даже полезно.

Впоследствии, обдумав слова Этельберты, я нашел их вполне справедливыми, но тогда пришел в негодование:

— Если тебе хочется от меня отделаться...

— Ну, не изображай идиота. Если я иногда и хочу от тебя отделаться, так только на время, для того, чтобы забыть о недостатках твоего характера; для того, чтобы вспомнить, какой ты славный в других отношениях, и ждать твоего возвращения домой с таким же нетерпением, как в былые дни, когда твое присутствие еще не вызывало во мне

некоторого равнодушия... Я, может быть, несколько излишне привыкла к тебе, но ведь привыкают же и к солнцу!

Мне не понравился этот тон. Этельберта рассуждала о возможной разлуке с мужем каким-то легкомысленным образом, отнюдь не женственным, не подходящим к случаю и вовсе не симпатичным! Мне стало досадно. Мне уже было расхотелось уезжать и развлекаться. Если бы не Джордж и Гаррис, я сразу отказался бы от нашего плана. Но отказываться было поздно, и я не знал, как выйти сухим из воды.

— Хорошо, Этельберта, — отвечал я. — Сделаем так, как ты хочешь: ты отдохнешь от меня. Но если это не дерзость со стороны мужа, то я хотел бы узнать, как ты воспользуешься временем нашей разлуки?

— Мы найдем дачу в Фолькстоне и поедем туда с Кэт. Если ты согласен доставить Клер Гаррис удовольствие, то уговори Гарриса поехать с тобой, а она присоединится к нам. Нам бывало очень весело вместе — прежде, когда вас, мужчин, еще не было на нашем горизонте, — и мы с удовольствием тряхнули бы стариной!.. Как ты думаешь, — продолжала Этельберта, — удастся ли тебе уговорить Гарриса?

Я сказал, что попробую.

— Какой ты милый! — сказала Этельберта. — Постарайся! Можете уговорить и Джорджа отправиться с вами.

Я заметил, что от Джорджа мало проку, так как он холостяк и некому будет пользоваться его отсутствием. Но женщины, увы, невосприимчивы к юмору. Этельберта в ответ просто заметила, что не пригласить его было бы невежливо. Я обещал ей сделать это.

Я встретил Гарриса в клубе в четыре часа и спросил, как дела.

— О, отлично, — отвечал он. — Уехать вовсе не трудно.

Но в его тоне слышалось сомнение, и я потребовал объяснений.

— Она была нежна, как голубка, — продолжал он уныло, — и сказала, что Джордж очень своевременно предложил эту поездку, которая принесет много пользы моему здоровью.

— Ну, так что ж тут дурного?

— В этом нет ничего дурного, но она заговорила и о других вещах.

— А! Понимаю...

— Ты ведь знаешь ее давнюю мечту о ванной комнате?

— Слыхал. Она и Этельберту подговаривала.

— Ну, так вот, я обязан был немедленно согласиться на устройство ванной. Не мог же я отказать, когда она меня так мило отпустила. Это обойдется мне в сто фунтов, если не больше.

— Так много?

— Еще бы! По одной смете шестьдесят.

Мне стало его жаль.

— А затем еще эта плита в кухне, — продолжал Гаррис. — Считается, что все несчастья в доме за последние два года происходили из-за этой плиты.

— Я знаю, с кухонными печами всегда история. У нас на каждой квартире со времени свадьбы дело с ними идет все хуже и хуже. А нынешняя наша плита отличается просто редким ехидством: каждый раз, когда приходят гости, она устраивает забастовку.

— Зато у нас теперь будет отличная плита, — без всякого воодушевления в голосе заметил Гаррис. — Клара решила сэкономить на том, чтобы сделать обе работы одновременно... Мне думается, если женщина захочет купить бриллиантовую тиару, то она будет убеждена, что избегает расходов на шляпку.

— А сколько будет стоить плита? — спросил я. Меня этот вопрос заинтересовал.

— Не знаю. Вероятно, еще двадцать фунтов. И затем рояль... Ты мог когда-нибудь отличить звук одного рояля от другого?

— Одни будто бы погромче, — отвечал я, — но к этой разнице легко привыкнуть.

— В нашем рояле, оказывается, совсем плохи дисканты... Кстати, ты понимаешь, что это значит?

— Это, кажется, такие пискливые ноты, — объяснил я. — Многие пьесы ими кончаются.

— Ну, так вот, говорят, что в нашем рояле мало дискантов, надо больше! Я должен купить новый рояль, а этот поставить в детскую.

— А еще что? — спросил я.

— Больше, кажется, она ничего не смогла придумать.

— Когда вернешься домой, то увидишь, что уже придумала.

– Что такое?
 – Дачу в Фолькстоне.
 – Зачем ей дача в Фолькстоне?
 – Чтобы провести там лето.
 – Нет, она поедет с детьми к своим родным в Уэльс, нас приглашали.

– Может быть, она и поедет в Уэльс, но до Уэльса или после Уэльса она поедет еще в Фолькстон. Может быть, я ошибаюсь – и был бы очень рад за тебя, – но предчувствую, что говорю верно.

– Наша поездка обойдется в круленькую сумму, – заметил Гаррис.

– Джордж преглупо выдумал.
 – Да, не надо нам было его слушаться.
 – Он всегда все портит.
 – Ужасно глуп.

В эту секунду мы услышали голос Джорджа в прихожей, он спрашивал, нет ли писем.

– Лучше ему ничего не говорить, – предложил я, – уже слишком поздно.

– Конечно. Мне все равно пришлось бы теперь покупать рояль и устраивать ванную.

Джордж вошел очень веселый.

– Ну, как дела? Добились?

В его тоне была какая-то нотка, которая мне не понравилась, и я видел, что Гаррис ее тоже уловил.

– Чего добились? – спросил я.

– Как чего? Возможности вырваться на свободу!

Я почувствовал, что пора объяснить Джорджу положение вещей.

– В семейной жизни, – сказал я, – мужчина предлагает, а женщина подчиняется. Таков ее долг. Все религии этому учат.

Джордж сложил руки на груди и вперил взор в потолок.

– Конечно, мы иногда путим на эту тему, – продолжал я, – но на деле всегда выходит по-нашему. Мы сказали Этельберте и Кларе, что едем, – конечно, они опечалились и хотели ехать с нами, потом просили нас остаться, но мы им объяснили свое желание – вот и все, не о чем было и толковать.

— Простите меня, — отвечал Джордж, — я не понял. Женатые люди рассказывают мне разные вещи, и я всему верю.

— Вот это-то и плохо. Когда хочешь узнать правду, приходи к нам, и мы тебе все расскажем.

Джордж поблагодарил, и мы перешли к делу.

— Когда же мы отправимся? — спросил Джордж.

— По-моему, чем скорее, тем лучше.

Гаррис, вероятно, боялся, как бы жена еще чего-нибудь не выдумала. Отъезд мы назначили на среду.

— А какой мы выберем маршрут? — спросил Гаррис.

— Ведь вы, джентльмены, конечно, хотите воспользоваться путешествием и для умственного развития? — заметил Джордж.

— Ну, не много ль будет! Зачем же подавлять других своим интеллектом? — заметил я. — Хотя до некоторой степени, пожалуй, да, если только это не будет стоить больших трудов и издержек.

— Мы все устроим, — отвечал Джордж. — Мой план таков: поедем в Гамбург на пароходе, посмотрим Берлин и Дрезден, а оттуда — через Нюрнберг и Штутгарт — в Шварцвальд.

Гаррис забормотал что-то; оказалось, что ему вдруг захотелось в Месопотамию: «там, говорят, есть дивные местечки».

Но Джордж не согласился — это было совсем не по дороге, — и он уговорил нас ехать на Берлин и Дрезден.

— Конечно, Гаррис и я поедем, по обыкновению, на тандеме, а Джордж...

— Совсе нет, — строго перебил Гаррис. — Ты с Джорджем на тандеме, а я отдельно.

— Я не отказываюсь от своей доли труда, — перебил я в свою очередь, — но не согласен тащить Джорджа все время. Это надо разделить.

— Хорошо, — согласился Гаррис, — будем меняться, но с непременным условием, чтобы и Джордж работал!

— Чтобы что?.. — переспросил Джордж.

— Чтобы и ты работал! — строго повторил Гаррис. — И в особенности на подъемах.

— Господи помилуй! Неужели ты сам не чувствуешь никакой потребности в физической нагрузке?

Из-за тандема всегда выходят неприятности: человек, сидящий впереди, воображает, что он один жмет на педали и что тот, кто сидит за ним, просто катается; а человек, сидящий сзади, глубоко убежден, что передний пыхтит нарочно и ничего не делает. Эту проблему решить очень просто. Когда осторожность подсказывает вам не убивать себя излишним усердием и справедливость шепчет на ухо: «Чего ради ты его везешь? Ведь это не кеб и он не седок твой», то делается как-то неловко при искреннем вопросе товарища: «Что там у тебя? Педаль отвалилась?»

Вскоре после своей женитьбы Гаррис однажды попал в весьма затруднительное положение именно из-за невозможности видеть, что делает человек, сидящий за вами на тандеме. Они с женой путешествовали таким образом по Голландии. Дороги были неровные, и велосипед сильно подбрасывало.

— Держись крепче! — заметил Гаррис жене, не оборачиваясь.

Миссис Гаррис показалось, что он сказал: «Прыгай!» Почему ей показалось, что он сказал: «Прыгай», когда он сказал: «Держись крепче», это до сих пор не известно. Миссис Гаррис объясняет так:

— Если бы ты сказал: «Держись крепче», чего ради я бы спрыгнула?

А Гаррис объясняет:

— Если бы я хотел, чтобы ты прыгала, зачем бы я сказал: «Держись крепче»?

Давнее происшествие все же оставило ядовитый осадок, и они до сих пор спорят по этому поводу.

Словом, миссис Гаррис спрыгнула с тандема в полном убеждении, что исполняет приказание мужа, а Гаррис помчался вперед, усиленно работая педалями, будучи убежден, что жена сидит у него за спиной. Сначала миссис Гаррис подумала, что ему пришло в голову похвастаться тем, как лихо он въедет на вершину холма один. Они были еще так молоды в те дни и нередко развлекали друг друга подобным образом. Она ожидала, что, покорив вершину, он спрыгнет с велосипеда, картинно облокотясь о руль, примет неприужденную позу и подождет ее. Но когда юная супруга увидела, что ее муж, домчавшись до гребня холма, перевалил через него и исчез по ту сторону, ею овладело сначала

изумление, потом негодование и наконец ужас. Она взбежала наверх и стала громко звать Гарриса, но он даже ни разу не обернулся. На ее глазах он удалялся с быстротой ветра, пока не исчез в лесу, мили за полторы от холма. Она села и расплакалась. В это утро у них произошла маленькая размолвка, и ей пришло в голову, что, обидевшись, он сбежал!.. У нее не было денег, она не понимала ни слова по-голландски. Проходившие люди начали останавливаться и собирались вокруг, глядя на нее с сожалением; она старалась объяснить жестами свое несчастье. Они поняли, что она что-то потеряла, но не могли понять, что именно, и отвели ее в деревню. Вскоре там появился полицейский. Тот долго вникал в ее пантомиму и пришел к заключению, что у нее украли велосипед. Сейчас же полетели во все концы телеграммы, и за четыре мили обнаружили в одной деревне злополучного мальчишку, ехавшего на старом дамском велосипеде. Его схватили и привезли в телеге вместе с велосипедом к миссис Гаррис. Но та выказала полное равнодушие к тому и к другому, и голландцы отпустили мальчишку на свободу, окончательно оступев от удивления.

Между тем Гаррис продолжал катить на тандеме с большим наслаждением. Ему казалось, что он очень окреп и вообще стал лучше ездить. Вот он и говорит (как думал, своей жене):

— Я уже давно с такой легкостью не ездил на этом велосипеде. Вероятно, это действие здешнего воздуха!

Потом он прибавил, чтобы она не боялась, и он покажет ей, как быстро можно ехать, если работать изо всей силы. И, пригнувшись к рулю, Гаррис полетел стрелой... Дома и церкви, собаки и цыплята мелькали на мгновение перед его глазами и мгновенно исчезали. Старики глядели ему вслед, качая головами, а дети встречали и провожали восторженными криками. Таким образом Гаррис проехал миль пять. Вдруг — как он теперь объясняет — он почувствовал что-то неладное. Молчание его не поразило: ветер свистел в ушах, велосипед тоже производил порядочный лязг, и Гаррис не ожидал услышать ответа на свои слова. Но на него вдруг нашло ощущение пустоты. Он протянул назад руку и встретил пустое пространство... Скорее свалившись, чем спрыгнув на землю, он оглянулся: за ним тянулась, окаймленная темным лесом, прямая белая дорога и на ней — ни

души... Он вскочил на велосипед и полетел обратно. Через десять минут он был на том месте, где дорога разделялась на четыре ветви. Он остановился, стараясь вспомнить, по которой из них проезжал. В это время появился голландец, сидевший на лошади по-дамски. Гаррис остановил его и объяснил, что потерял жену. Тот не выказал ни удивления, ни сочувствия. Пока они разговаривали, приблизился другой фермер, которому первый изложил дело не как несчастный случай, а как курьезную историю. Второй фермер удивился, почему Гаррис так беспокоится; последний выбранил обоих, вскочил на тандем и покатил наудачу по средней дороге. Через некоторое время ему повстречались две девицы под руку с молодым человеком, с которыми они кокетничали напрапалу. Гаррис спросил, не видали ли они его жену. Одна из девушек осведомилась, как та выглядит. Гаррис знал по-голландски недостаточно, чтобы описать дамский туалет, и описал жену самым общим образом, как красавицу среднего роста. Это их не удовлетворило: приметы были недостаточные, эдак всякий мужчина может предъявить права на красивую женщину и потребовать себе чужую жену! Они желали знать, как она была одета, но этого Гаррис не мог припомнить ни за какие коврижки. Я вообще сомневаюсь, может ли мужчина вспомнить, как была одета женщина, если прошло больше десяти минут со времени их разлуки. Гаррис, впрочем, сообразил, что на его жене была голубая юбка и потом что-то такое от талии до шеи, на чем эта юбка держалась; осталось у него еще смутное представление о поясе; но какого покроя и какого цвета была блуза?.. Зеленая? голубая? или желтая? с воротником или с бантом? и вообще, была ли это шляпка? Он боялся дать неверные показания, чтобы его не услали Бог знает куда. Девушки хохотали и еще больше раздражали моего друга. Их спутник, которому, видимо, хотелось отделаться от Гарриса, посоветовал ему обратиться в полицию ближайшего городка. Гаррис так и сделал. Ему дали лист бумаги и велели составить подробное описание жены с указаниями, когда и где он ее потерял. Он этого не знал; все, что он мог сообщить, это название деревни, где они последний раз завтракали; оттуда они выехали вместе. Полиции дело показалось подозрительным: сомнительно было, во-первых, действительно ли потерянная дама его жена? Во-вто-

рых, действительно ли он ее потерял? В-третьих, почему он ее потерял?

Кое-как, с помощью хозяина гостиницы, который немного говорил по-английски, Гаррису удалось отвести от себя подозрения. Полиция взялась за дело, и к вечеру доставили миссис Гаррис в закрытой повозке, вместе со счетом. Встреча не была нежной. Миссис Гаррис плохая актриса и не умеет скрывать своих чувств, а в этом случае, по ее собственному признанию, она и не старалась скрыть их...

Решив, кому из нас ехать на тандеме, а кому на велосипеде, мы перешли к вечному вопросу о багаже.

— Обычный список, я думаю! — сказал Джордж, собираясь записывать.

Это я привил им такое мудрое правило, а меня научил давным-давно дядя Поджер.

— Прежде чем начинать укладываться, — всегда говорил он, — составь список.

Это был аккуратнейший человек.

— Бери лист бумаги, — начинал он, — и запиши все, что может понадобиться. Потом просмотри — и зачеркни все, без чего можно обойтись. Вообрази себя в кровати: что на тебе надето?.. Хорошо, запиши (и прибавь перемену). Ты встаешь. Что ты делаешь прежде всего? Моешься? Чем ты моешься? Мылом? Записывай: мыло. Продолжай, пока не покончишь с умыванием. Потом — одежда. Начинай с ног: что у тебя на ногах? Сапоги, ботинки, носки — записывай. Продолжай, пока не дойдешь до головы. Что еще нужно, кроме одежды? Немножко коньяку — записывай. Запиши все, тогда ничего не забудешь.

Такому плану дядя Поджер всегда следовал сам. Составив список, он тщательно просматривал его, чтобы убедиться, не забыто ли что, а затем просматривал вторично и вычеркивал все, без чего можно обойтись. А затем терял список.

Джордж сказал, что с собой мы возьмем только самое необходимое дня на два, а основной багаж будем пересылать из города в город.

— Мы должны быть осторожны, — заметил я. — Я знал однажды человека, который...

Гаррис посмотрел на часы.

— Мы послушаем про твоего человека на пароходе, — перебил он. — Через полчаса я должен встретиться на вокзале с женой.

— Это не длинная история, я расскажу ее меньше чем в полчаса и...

— Не трать ее даром, — заметил Джордж, — мне говорили, что в Шварцвальде случаются дождливые вечера, так мы там, может быть, будем рады твоей истории. Теперь нам нужно окончить список.

Я вспоминаю, что, сколько раз ни пытался рассказать эту историю, так мне и не удалось. А между тем это была достойная история!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Единственный недостаток Гарриса. — Патентованная велосипедная фара. — Идеальное седло. — Механик-любитель. — Его острый взгляд. — Его приемы. — Его веселый характер. — Его непритязательность. — Как от него отделаться. — Джордж в роли пророка. — Джордж в роли исследователя человеческой природы. — Джордж предлагает эксперимент. — Его осторожность. — Согласие Гарриса при известных условиях.

В понедельник после обеда ко мне зашел Гаррис, у него в руках был номер газеты «Велосипедист».

— Послушайся доброго совета и оставь эту чепуху, — сказал я.

— Какую чепуху?

— Это «новейшее, патентованное, всепобеждающее изобретение, переворот в мире спорта» и т.д. — словом, величайшую глупость, объявление, которое тебя, конечно, прельстило.

— Послушай, ведь нам придется преодолевать крутые склоны, — возразил Гаррис, — и я полагаю, что хороший тормоз нам необходим.

— Тормоз необходим, это верно, — заметил я. — Но всяких модных механических штучек, которые будут выкидывать неизвестно какие номера, нам вовсе не нужно.

— Это приспособление действует автоматически.

– Тем более можешь мне о нем не рассказывать. Я инстинктивно чувствую, что это будет... При подъеме тормоз защемит колесо, как клещи, и нам придется тащить велосипед на плечах. Потом воздух на вершине горы вдруг окажет на него благотворное влияние, и тормоз начнет раскисаться, за раскисанием последует благородное решение трудиться и помогать нам, и по дороге с горы гнусное изобретение навлечет только стыд и позор на наши головы... Говорю тебе, оставь. Ты хороший малый, но у тебя есть один недостаток.

– Какой? – спросил Гаррис, сразу же закипая.

– Ты слишком доверчиво относишься ко всяким объявлениям. Какой бы идиот ни придумал чего-нибудь для велосипедного спорта – ты все испробуешь. До сих пор тебя оберегал ангел-хранитель, но и ему может надоесть эта возня. Не выводите его из последнего терпения.

– Если бы каждый думал так, – возразил Гаррис, – то в нашей жизни не было бы никакого прогресса. Если бы никто не испытывал новых изобретений, то мир застыл бы на нулевой отметке. Ведь только...

– Я знаю все, что можно сказать в защиту твоего мнения, – перебил я, – и отчасти соглашаюсь с ним, но только отчасти; до тридцати пяти лет можно производить опыты над всякими изобретениями, но после человек обязан остепениться. И ты, и я уже сделали в этом отношении все, что от нас требовалось, в особенности ты: тебя чуть не взорвало патентованной газовой фарой...

– Это была моя собственная ошибка, я ее слишком туго завинтил.

– Совершенно этому верю: ведь, по твоей теории, следует опробовать каждую глупость, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Я не видал, что именно ты сделал. Я только помню, как мы мирно ехали, рассуждая о Тридцатилетней войне, когда твоя лампочка вдруг грохнула и я очутился в канаве, и еще буду долго помнить лицо твоей жены, когда я ее предупредил, чтобы она не беспокоилась, потому что тебя внесут по лестнице двое людей, а доктор с сестрой милосердия прибедет через пять минут.

– Отчего ты тогда не забрал фару? Я хотел бы узнать, отчего она взорвалась.

– Времени не было: ее пришлось бы искать и собирать часа два. А что касается взрыва, то всякий человек, кроме тебя, ожидал бы его – уже по той простой причине, что в объявлении эта фара была названа «безусловно безопасной». А потом, помнишь ту электрическую фару?

– Ну и что? Ты сам говорил, что она отлично светила!

– Да, она отлично светила на главной улице Брайтона, так что даже испугала одну лошадь, а когда мы выехали в темные предместья, то тебя оштрафовали за езду без огня. Вероятно, ты не забыл, как мы разъезжали с твоей фарой, горящей в яркие солнечные дни, как звезда, а когда наступал вечер, она угасала с достоинством существа, исполнившего свой долг.

– Да, этот фонарь меня немного раздражал, – пробормотал Гаррис.

– И меня тоже. А седла!.. – продолжал я, мне хотелось пробрать его хорошенько. – Разве есть еще на свете седло, которое бы ты не испробовал?

– Я полагаю, что должны же когда-нибудь изобрести удобные седла!

– Напрасно полагаешь. Может быть, и есть лучший мир, в котором велосипедные седла делаются из радуги и облаков, но в нашем мире гораздо проще приучить себя ко всему твердому и жесткому, чем ожидать прекрасного... Помнишь седло, которое ты купил для своего велосипеда в Бирмингеме? Оно было раздвоено посередине так, что до ужаса походило на пару почек.

– Оно было устроено сообразно с анатомией человеческого тела! – продолжал защищаться Гаррис.

– Весьма вероятно. На крышке ящика, в котором ты его купил, изображен был сидящий скелет, или, точнее, часть сидящего скелета.

– Что ж, этот рисунок показывал правильное положение те...

– Лучше не входить в подробности, – перебил я, – этот рисунок всегда казался мне бестактным.

– Он был совершенно правилен!

– Может быть, но только для скелета. А для человека, у которого на костях мясо, это одно мучение. Ведь я его пробовал, и на каждом камушке оно щипалось так, словно я

ехал не на велосипеде, а на омаре. А ты на нем катался целый месяц!

– Надо же было исследовать серьезно!

– Ты жену измучил, пока испытывал это седло; она мне жаловалась, что никогда ты не был более несносен, чем в тот месяц... Помню еще седло с пружиной, на которой ты подпрыгивал, как...

– Не с пружиной, а «седло-спираль»!

– Хотя бы и так, но, во всяком случае, для джентльмена тридцати пяти лет прыгать над седлом, стараясь попасть на него, – занятие вовсе не подходящее.

– Приспичили тебе мои тридцать четыре...

– Сколько?

– Мои тридцать пять лет! Ну, как хочешь, если вам с Джорджем не нужно тормоза, то не обвиняйте меня, когда на каком-нибудь спуске перелетите через крышу ближайшей церкви.

– За Джорджа я не отвечаю, он иногда раздражается из-за сухих пустыков. Но я постараюсь тебя выгородить, если случится такая штука.

– Ну а как тандем?

– Здоров.

– Ты его не перебирал?

– Нет, не перебирал и никому не позволю даже прикоснуться к нему до самого отъезда.

Я знаю, что значит разбирать и перебирать машины. В Фолькстоне на набережной я познакомился с одним велосипедистом, и мы с ним однажды условились отправиться кататься на следующий день с самого утра. Я встал, против обыкновения, рано – по крайней мере, раньше, чем всегда, – и, сделав такое усилие, остался очень доволен собой; благодаря хорошему настроению меня не рассердило то, что знакомый заставил себя ждать полчаса. Утро было прелестное, и я блаженствовал в саду, когда он пришел.

– А у вас, кажется, хороший велосипед, – сказал он. – Легко ходит?

– Да, как все они: с утра легко, а после завтрака немного тяжелее.

Он неожиданно схватил мой велосипед за переднее колесо и сильно встряхнул его.

— Оставьте, пожалуйста, так можно испортить велосипед, — сказал я. Мне стало неприятно: если бы велосипед и заслуживал взбучки, то скорее от меня, чем от него; это все равно как если бы чужой человек принялся ни за что ни про что бить мою собаку.

— Переднее колесо болтается, — объявил он.

— Нисколько не болтается, если его не болтать.

— Это опасно, — продолжал он. — У вас найдется ключ?

Поддаваться не следовало, но мне пришло в голову, что он, может быть, действительно смыслит в этом деле. Я отправился в сарай за инструментами, а когда вернулся, он уже сидел на земле с колесом между коленями, играя им, как брелоком, а остальные части велосипеда валялись тут же, на дорожке.

— С вашим велосипедом случилось что-то неладное, — сказал он.

— Похоже на то! — заметил я, но он не понял насмешки.

— Ступица подозрительна!

— Вы не тревожьтесь, пожалуйста. Лучше поставим колесо на место и отправимся.

— Да уж теперь все равно, надо воспользоваться случаем и разобрать его.

Он говорил таким тоном, словно колесо вывалилось само собой. В одну минуту он что-то отвинтил — и на дорожку посыпались маленькие стальные шарики.

— Ловите, ловите их! — закричал он взволнованным голосом. — Не дай Бог, если мы их потеряем!

Полчаса мы ползали по дорожке, отыскивая шарики. Мой знакомый повторял с ожесточением, что потерять хоть один шарик — значит испортить велосипед, и объяснял, что, разбирая его, необходимо предварительно определить количество шариков. Я обещал последовать разумному совету, если мне придется когда-нибудь разобрать велосипед.

Всего шариков нашлось шестнадцать, я положил их в свою шляпу и поставил ее на ступеньку крыльца. Это было не особенно умно, но чужая глупость заразительна.

Не успел я оглянуться, как он великодушно выразил желание осмотреть заодно и цепь и немедленно принялся снимать с нее кожух. Я хотел было остановить его, процитировав замечание одного опытного спортсмена: «Лучше

купить новый велосипед, чем самому снимать кожух с цепи». Но он отвечал с убеждением:

— Так говорят только профаны. На самом деле нет ничего легче.

И действительно, через три минуты футляр лежал на дорожке, а Эбсон усердно искал винтики, которые куда-то исчезли. (К счастью, я не встречал этого господина с тех пор, но, кажется, его звали Эбсон.)

— Удивительно! Ничто так таинственно не исчезает, как винты! — повторял он.

В эту минуту в дверях показалась Этельберта и очень удивилась, видя, что мы еще не тронулись с места.

— Теперь уже скоро! — отвечал он. — Я только разобрал велосипед вашего мужа, чтобы осмотреть, все ли в порядке. За этими машинами необходимо следить, даже за самыми лучшими.

— Когда вы кончите и захотите умыться, можете пройти в кухню, — заметила Этельберта и прибавила, что она с Кэт отправляется покататься под парусом, но к завтраку непременно вернется.

Я готов был отдать золотой, чтобы только отправиться вместе с нею, — глупец, ломавший на моих глазах велосипед, уже вымотал из меня всю душу. Здравый смысл подсказывал мне, что я имею полное право взять его за шиворот и вытолкать из моего сада, но я, будучи слабым человеком в отношениях с другими людьми, продолжал молча смотреть, как калечат мою собственность.

Он перестал отыскивать винты, говоря, что они всегда находятся в ту минуту, когда ждешь этого меньше всего, и принялся за цепь. Сначала он натянул ее, как струну, а потом отпустил вдвое слабее, чем она была сначала. После этого он решил вставить переднее колесо.

В продолжение десяти минут я держал велосипед, а он старался поставить колесо. После этого я предложил поменяться местами. Поменялись. Через минуту он вдруг почувствовал необходимость пройтись по дорожке, прогуливаясь; он объяснял, что пальцы надо очень беречь, чтобы не прищемить их. Наконец колесо попало на место. В ту же секунду он разразился хохотом.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Я осел! — говорит, а сам заливается.

Тут я почувствовал к нему уважение и поинтересовался, каким образом он пришел к этому открытию.

— Да ведь мы забыли шарики! — отвечал он.

Я оглянулся. Моя шляпа лежала на земле, а любимый молодой пес Этельберты поспешно глотал стальные шарики один за другим.

— Он умрет! — воскликнул Эбсон.

— Нет, ничего, — отвечал я. — На этой неделе он уже съел шнурок от ботинок и пачку иголок. Щенков природа иногда толкает на подобные поступки. Но меня очень беспокоит велосипед.

У Эбсона был счастливый характер.

— Что ж, соберем все, что осталось, и вложим на место! — весело сказал он. — А затем положимся на судьбу.

Нашлось одиннадцать шариков. Через полчаса пять из них были вставлены с одной стороны и шесть с другой. Колесо болталось так, что это заметил бы каждый ребенок. Эбсон казался уставшим и, вероятно, с удовольствием отправился бы домой, но теперь я решил не отпускать его. Моя гордость — велосипед — была разбита, о катанье нечего было и думать; мне лишь хотелось чем-нибудь отплатить Эбсону. Поддержав его упавшее настроение стаканом эля, я сказал:

— Смотреть на вашу ловкость — просто наслаждение! Слабым людям полезно видеть в других столько энергии, столько уверенности в себе!

Ободренный таким образом, он принялся надевать крышку на цепь. Сначала он работал с одной стороны, приклонив велосипед к стене дома; потом с другой стороны, приклонив его к дереву; потом я должен был держать велосипед посреди дорожки, а он лежал на спине, головой между колес, и работал снизу, орошая себя машинным маслом; потом он заметил, что я ему только мешаю, перегнулся через велосипед поперек, изобразив вьючное седло, — и рухнул на голову. Три раза он восклицал: «Ну, теперь готово!» — но затем прибавлял: «Нет! Хоть повесьте, а все еще не готово!» В последний раз он прибавил еще несколько слов, но они, к сожалению, непечатны.

После этого он окончательно рассвирепел и набросился на мой многострадальный велосипед, как на живого врага, но тот не позволил оскорблять себя безнаказанно. В бой-

кой драке положение сторон поминутно менялось: то велосипед лежал на дорожке, а Эбсон на нем, то Эбсон на дорожке, а велосипед на нем; если человеку и удавалось наскочить на врага и с победоносным видом сжать его коленями, то ненадолго: в следующее мгновение враг быстро поворачивался и наносил рулем ловкий удар прямо в голову человеку.

Было без четверти час, когда Эбсон поднялся с земли, всклокоченный, грязный и исцарапанный, и, вытирая вспотевший лоб, проговорил:

— Ну, довольно!..

Я отвел его в кухню, где он привел себя в порядок, насколько это было возможно без помощи соды и перевязочных материалов.

Отправив его домой, я взвалил велосипед на извозчика и повез его к мастеру. Тот посмотрел и спросил, чего я от него хочу.

— Я хочу, чтобы вы его отремонтировали, если это возможно.

— Нелегкое дело. Но я попробую!

Эта «проба» обошлась мне в два фунта и десять шиллингов, но не привела ни к чему; в конце лета я предложил одному магазину продать мой велосипед хотя бы по бросовой цене. Не желая обманывать публику, я просил предупредить, что велосипед был в употреблении целый год.

— Лучше не обозначать, сколько именно времени он был в употреблении, — снисходительно отвечал на это комиссионер. — Между нами говоря, на этом мы ничего не выгадаем. Не будем говорить ничего ни про год, ни про десять лет службы, а возьмем за него сколько дадут.

Я не настаивал и предоставил все дело ему; наконец кто-то дал пять фунтов, и в магазине мне сказали, что это даже очень много.

Да. Хотя я лично больше люблю ездить на велосипеде, чем разбирать его, но разборка есть тоже своего рода спорт, и даже не лишенный некоторых преимуществ: для этого не нужно ни хорошей погоды, ни гладких дорог, ветер не мешает, и все, что требуется, — это молоток, отвертка, тряпки и бутылочка машинного масла. Положим, вид делается подозрительный и у велосипеда, и у мастера, но ведь нет радости без помехи. Если велосипедист похож на паяльщика,

то это еще не большая беда, так как дальше первого верстового столба он все равно не уедет.

Обоими видами спорта одновременно овладеть невозможно: надо быть или механиком, или велосипедистом.

Если что-нибудь случается с моим велосипедом, когда я катаюсь за городом, я сажусь на обочине и жду, пока проедет телега. При этом опасность является только со стороны проезжающих любителей «разборки»: увидя лежащий на боку чужой велосипед, они соскакивают на всем ходу и бросаются к нему с дружелюбно-восторженным кличем. Прежде я пробовал отклонять любезность следующими словами:

— Ничего, ничего! Пожалуйста, не беспокойтесь из-за меня... Поезжайте дальше, прошу вас.

Но теперь я научен горьким опытом и всегда говорю:

— Оставьте меня в покое, или я разможу вам голову!

Только такими словами и отчаянным видом можно отвести беду...

Джордж пришел перед вечером узнать, все ли будет готово к среде.

— Все, — отвечал я, — кроме, может быть, тебя и Гарриса.

— А что твой тандем?

— Здоров.

— Не надо ли его разобрать?

— Возраст и опыт научили меня, что в жизни почти нет места стопроцентной уверенности, но в данном случае ты задаешь вопрос, на который я отвечу с непоколебимой убежденностью: нет, мой тандем не требует ни чистки, ни разборки, и если я доживу до среды, то никто в мире к нему не притронется.

— Что это ты заговорил высоким стилем? Я бы на твоём месте не раздражался понапрасну. Ведь придет день, когда между тобой и ближайшей велосипедной мастерской очутится один из холмов Шварцвальда, и тогда ты будешь кричать и ворчать на всех, требуя, чтобы тебе подавали отвертку, масло, молоток и держали велосипед.

Я раскаялся:

— Прости меня... Сегодня ко мне заходил Гаррис.

— А! В таком случае я понимаю, не объясняй. И, кроме того, я пришел поговорить о другом.

С этими словами Джордж подал мне маленькую книжечку в красном переплете. Это был «Путеводитель по Англии» для немецких путешественников. В нем заключались

разные вопросы и ответы, необходимые, по мнению автора, в разговоре. Первая глава была «На пароходе», последняя — «У доктора»; самая длинная была посвящена разговорам на железной дороге, причем, вероятно, предполагалось, что общество в вагоне будет состоять из идиотов и невежд: «Можете вы от меня отодвинуться, сэр?» — «Невозможно, сударыня, мой сосед слишком толст». — «Не попробуем ли мы расположить наши ноги?» — «Пожалуйста, опустите локти вниз». — «Не стесняйтесь, сударыня, если мое плечо вам мешает». — «Я требую, чтобы вы отодвинулись, так как я едва дышу». Вероятно, считается, что к этому времени все уже должны передрались и лежать на полу, тем более что заключительная фраза выражает искреннюю благодарность судьбе: «Благодарение Богу! (Gott sei dank!) Наконец-то мы приехали!»

В конце книжки помещался ряд полезных советов немецким путешественникам: беречь здоровье, путешествовать с дезинфицирующим порошком, запирать на ночь спальню на ключ и тщательно проверять сдачу мелкой монетой.

— Не блестящее издание, — заметил я, возвращая книжку Джорджу, — я бы не посоветовал ни одному немцу пользоваться им в Англии: его бы осмеяли. Но представь себе, что я видел лондонские издания для путешественников-англичан совершенно такие же глупые! Это какой-то ученый идиот, знающий наполовину семь языков, пишет подобные книжки и вводит в заблуждение порядочных людей.

— Но ты не можешь отрицать, что эти издания имеют большой спрос, — заметил Джордж. — Они ведь продаются тысячами, и в каждом европейском городе есть люди, которые болтают всякий вздор из этих «Путеводителей».

— Может быть, — отвечал я, — но, к счастью, их никто не понимает. Я сам замечал людей, стоящих на углах улиц или на вокзалах с подобными книжками в руках; никто из толпы даже понятия не имеет, на каком языке говорят эти иностранцы и что они хотят сказать; впрочем, это, может быть, к лучшему, а то бы их начали, пожалуй, оскорблять.

— Вот мне и пришлось в голову испытать, что выходит в таких случаях, когда их понимают, — сказал Джордж. — Я предлагаю в среду утром приехать в Лондон пораньше и отправиться за покупками с разговорником в руках. Мне нужно кое-что приобрести — шляпу или пару спальных ту-

фель, — а пароход выходит из гавани только в полдень. У нас останется больше часа на эксперимент. Я хочу непременно поставить себя в положение иностранца и узнать, как он себя чувствует при таких разговорах.

Предложение мне понравилось — это было похоже на своеобразный вид спорта. Я даже выразил желание сопутствовать и ждать Джорджа у дверей каждого магазина. Я прибавил, что и Гаррис, вероятно, присоединится, хотя не к Джорджу, а ко мне.

Но план Джорджа был несколько иной: Гаррис непременно должен сопровождать его при покупках, на всякий случай — у Гарриса внушительный вид, — а я обязуюсь стоять в дверях и звать в случае чего полисмена.

Мы взяли шляпы, пошли к Гаррису и объяснили ему суть нашей затеи. Он внимательно просмотрел разговорник и заметил:

— Если ты начнешь разговаривать с сапожниками по этой книжке, то от меня проку не будет: все равно ты уйдешь напрямиком в больницу.

Джордж рассердился.

— Ты говоришь так, словно я глупый мальчишка-забияка!.. Не стану же я выбирать нелепые фразы, — напротив, я хочу провести серьезный опыт и буду говорить только самые вежливые вещи.

При таком условии Гаррис согласился нам сопутствовать, и отъезд был окончательно назначен на среду.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Объяснение, почему в доме Гарриса не нужны будильники. — Общительность юного поколения. — Бдительный страж. — Его таинственность. — Его суетливость. — Занятия до завтрака. — Добрая овца и паршивая овца. — Печальная судьба добродетели. — Новая печь Гарриса. — Как дядя Поджер выходил из дома. — Почтенные деловые люди в роли скороходов. — Мы приезжаем в Лондон. — Мы разговариваем на языке путешественников.

Во вторник вечером приехал Джордж и остался у Гарриса ночевать. Мы предпочли такое решение его собственному плану; он предлагал, чтобы в среду утром мы с Гарри-

сом засхали за ним по дороге в Лондон, но «засхать» за Джорджем поутру — это значит будить его, трясти, вытаскивать из постели, помогать ему отыскивать различные предметы туалета, участвовать в укладке вещей и после всей этой утомительной траты сил еще сидеть и смотреть, как он завтракает, — пренеприятнейшее занятие для постороннего наблюдателя.

Вот если бы Джордж жил у Гарриса — мне приходится иногда ночевать у него, — тогда другое дело: он был бы готов вовремя. В этом доме вы обыкновенно просыпаетесь среди ночи — может быть, и позже, но вам так кажется — от топота кавалерийского полка, промчавшегося мимо дверей... Ваш ум, потревоженный среди первого сна, рисует одну за другой ужасные картины: нападение разбойников, конец света, взрыв газа... Вы инстинктивно спускаете ноги с кровати и напряженно прислушиваетесь. Ждать приходится недолго: где-то наверху хлопает дверь, и кто-то с быстротой молнии съезжает вниз по лестнице на подносе с посудой. Раздается гулкий удар чего-то круглого о вашу дверь и одновременно с этим солидное замечание: «Вот видишь!»

Вы бросаетесь искать по всей комнате платье, но еще очень темно, ничего не видно, а платье бесследно исчезло с того места, куда было положено с вечера. В ту минуту, когда вы стараетесь засунуть голову под шкаф — в поисках туфель, — кавалерия опять пронесится по направлению к верхнему этажу, слышится частый упорный стук в дальнюю дверь, затем настает тишина, и чей-то тоненький голос нежно спрашивает:

— Папа, мне можно вставать?..

Разрешения не слышно, но зато отчетливо доносится другой, более солидный голосок:

— Нет, это только ванночка скатилась... Нет, она не ушиблась ни капельки!.. Только промокла, да!.. Хорошо, мамочка, я им скажу... Нет, нет, они не шалили, это случайно!.. Хорошо, спокойной ночи, папа.

Затем тот же голос продолжает авторитетным тоном:

— Вот видишь, нельзя еще вставать. Папа говорит, что слишком рано. Иди и ложись спать.

Вы тоже ложитесь снова и слышите, как кого-то насильно тащат в комнату, находящуюся над вами. Некоторое время вы вслушиваетесь в звуки борьбы: слышится попеременно то треск кровати — причем вздрагивает потолок вашей комнаты, — то отчаянная попытка сбежать. Наконец возня затихает, и вы засыпаете.

Через некоторое время — как вам кажется, очень скоро — вы снова открываете глаза от инстинктивного ощущения чьего-то присутствия... Уже рассвело, дверь открыта настежь, и вы видите в ней четыре личика, одно над другим, с серьезно устремленными на вас глазами. Торжественный и безмолвный осмотр продолжается некоторое время — словно вы какая-нибудь удивительная редкость, — после чего старший приближается и дружелюбно присаживается на край постели.

— Мы не знали, что вы уже не спите. А я давно проснулся.

— Я так и думал, — отвечаете вы.

— Папа не любит, чтобы мы вставали очень рано, — продолжает мальчуган. — Он говорит, что мы можем помешать другим. Поэтому, конечно, мы не должны вставать.

Это говорится тоном, полным глубокого достоинства, вынесенного из сознания исполненного долга.

— А теперь вы еще не встали? — задаете вы вопрос.

— О нет! Мы еще не одеты. — С последним спорить нельзя. — Папа по утрам чувствует себя очень усталым, потому что он страшно много работает днем. А вы по утрам тоже чувствуете себя усталым?

Тут он оборачивается и замечает, что трое остальных тоже вошли в комнату и сидят на ковре полукругом. Их позы и лица выражают прежнее любопытство и ожидание какой-нибудь интересной выходки с вашей стороны, словно вы фокусник.

Такое поведение малышей конфузит старшего брата перед гостем, и он повелительно приказывает им выйти из комнаты. Они слишком хорошо воспитаны, чтобы спорить, — не произнеся ни единого звука, они вскакивают и моментально бросаются все вместе на него. Вы видите только четыре пары рук и ног, мелькающих во всех направлениях. Ни слова не доносится из этой копошащейся кучи — таков, вероятно, этикет, выработанный любителями

раннего вставания. Если на вас есть какой-нибудь спальный костюм, вы вскакиваете, и возня усиливается вдвое; если же вы любите спать с удобством, то приходится оставаться под одеялом и делать внушения, на которые детвора не обращает ни малейшего внимания. Через некоторое время старший мальчик выпроваживает остальных из комнаты и затворяет за ними дверь; но моментально дверь отворяется снова, и в комнату, как мяч, влетает Муриэль. У нее длинные волосы, и она зацепляется ими за замок. Она, кажется, сама ненавидит свои локоны — с таким ожесточением она дергает их, выпутывая из замка. Брат помогает ей и затем принимается ловко орудовать головой сестры как надежным холодным оружием. Новое средство действует, и вы слышите поспешный топот шести убегающих ног. Победитель возвращается на свое место, к вам на кровать. Он нисколько не рассержен и уже позабыл о возне.

— Я больше всего люблю утро, — говорит он мечтательно, — а вы?

— Да, иногда... Утро не всегда бывает спокойным.

Мальчик не обращает внимания на каверзность ответа. Его личико принимает задумчивое выражение, и он говорит:

— Я бы хотел умереть утром. Утром все так красиво!

— Может быть, и умрешь, если твой отец пригласит когда-нибудь ночевать очень раздражительного человека.

Несколько секунд длится молчание, после чего философское настроение оставляет мальчугана.

— Теперь весело в саду. Может быть, вы хотите встать и поиграть со мной в крикет? — предлагает он.

Собственно говоря, ложась спать, вы не собирались подыматься в шесть часов утра и играть в крикет, но это все-таки лучше, чем лежать в постели с открытыми глазами, и вы соглашаетесь.

За завтраком вы спешите объяснить, что вам не хотелось спать, вы рано проснулись, встали и пошли в сад поиграть...

Всякий должен быть предупредителен к гостям, и дети Гарриса, хорошо воспитанные, искренне помогают их развлечь. Миссис Гаррис обыкновенно замечает одно: гость должен быть строже и обязан требовать от детей в следую-

щий раз, чтобы они были одеты как следует. Гаррис же трагически уверяет, что я в одно утро свожу на нет все результаты разумного воспитания.

В день нашего отъезда, в среду, Джордж попросил разбудить его в четверть шестого, обещая показать детям разные штуки на велосипеде. Но проснулся он в пятом часу...

Тем не менее надо отдать справедливость детям Гарри-са: если вы им толково объясните, что не собираетесь вставать на рассвете и расстреливать привязанную к дереву куклу, а намерены, по обыкновению, встать в восемь, когда принесут чашку чая, то они сначала искренно удивятся, потом извинятся и даже огорчатся. Поэтому, когда Джордж не мог объяснить, что его разбудило — желание встать или же бумеранг домашнего производства, влетевший в окно, — то старший мальчик открыто признал себя виновным и даже прибавил:

— Мы должны были помнить, что дяде Джорджу предстоит утомительный день, и должны были отговорить его от раннего вставания!..

Впрочем, для Джорджа встать иногда пораньше — дело полезное. В минуту просветления он предложил даже, чтобы в Шварцвальде нас будили в половине пятого, но мы с Гаррисом воспротивились: совершенно достаточно вставать в пять и выезжать в шесть; таким образом, можно каждый день делать половину пути до наступления жары и отдыхать после полудня.

В среду я проснулся в пять часов — это было даже раньше, чем нужно. Ложась спать, я приказал сам себе: «Проснуться ровно в шесть!» Я знаю людей, которые назначают себе срок и просыпаются минута в минуту. Им стоит только проговорить, кладя голову на подушку: «В четыре тридцать», «В четыре сорок пять», «В пять пятнадцать», и больше не о чем беспокоиться. В сущности, это удивительная вещь, чем больше о ней размышляешь, тем она становится непонятнее. Некое подсознательное «Я» считает время, пока мы спим; ему не нужно ни солнца, ни часов, оно бдит в темноте и в назначенную минуту шепчет: «Пора!»

Еще удивительнее, что один сторож, живший у устья реки, обязан был просыпаться по своей службе за полчаса до высшего уровня прилива и ни разу в жизни не проспал! Он говорил мне, что прежде, в молодости, он с вечера оп-

ределял время следующего прилива и внушал себе, когда проснуться; но потом и об этом заботиться перестал: усталый, бросается он на постель и спит глубоким сном до той минуты, когда остается ровно полчаса до высокой воды — то есть каждый день разное!.. Витает ли дух этого человека над темными водами, пока он спит без сновидений, или же законы вселенной так же ясно явлены ему, как ясно явлены взору человека цветы и деревья при солнечном свете?..

Кем бы ни был мой подсознательный страж, но он волнуется, суетится и, перестаравшись, будит меня слишком рано. Иной раз я прошу его: «В половине шестого! Пожалуйста!» — но он сбивается со счета и в ужасе будит меня в половине третьего. Я смотрю на часы и с досадой вижу его ошибку. Но он хочет оправдаться: «Может быть, часы остановились?» Я прикладываю их к уху — нет, идут. «Может быть, испортились?.. Наверное, теперь половина шестого, если не больше!..» Чтобы успокоить его, я беру свечку и иду вниз, в гостиную, глянуть на большие часы. Ощущения человека, когда он среди ночи бродит по дому в одном халате и мягких туфлях, большинству, вероятно, знакомы: все предметы, в особенности с острыми краями, лезут навстречу, хотя днем, когда человек в сапогах и солидном платье, они не обращают на него ни малейшего внимания и не предпринимают попыток неожиданно приблизиться.

Поглядев на большие часы, я возвращаюсь в постель раздраженный и жалею о том, что просил подсознательно-го стража помочь мне. Но он продолжает суетиться и от четырех до пяти часов будит меня каждые десять минут, после чего наконец утомляется и предоставляет все дело горничной, которая приходит постучать в дверь полчасом позже обыкновенного.

Так вот, в среду я встал и оделся в пять часов, лишь бы отделаться от излишней услужливости невидимого стража. Но я не знал, за что приняться.

Все вещи и тандем были уже уложены и отправлены в Лондон накануне; поезд наш отходил только в десять минут девятого... Я спустился в кабинет, думая поработать. Но столь ранним утром да еще натошак работалось туго. Написав несколько страниц, я перечел их. Иногда о моих трудах отзываются не слишком почтительно, но ничего достойного выразить убожество этих трех глав никогда еще сказано

не было... Я порвал их, бросил в корзину и начал размышлять: а не существует ли этакое благотворительное учреждение, которое бы оказывало помощь исписавшимся автограм?... Размышления были печальные. Я сунул в карман мяч и отправился на лужайку, где у нас играют в гольф. Там лежало паслось несколько овец, и моя игра их, казалось, заинтересовала. Одна славная овечка отнеслась ко мне с особой симпатией; она, очевидно, не понимала игры, но ее привело в умиление такое раннее появление человека на лугу. Как бы я ни кинул мяч, она блеяла с явным восторгом:

– Пре-ле-е-стно! Ве-ли-ко-ле-е-п-но!

Между тем как другая – противное, нахальное создание – все время блеяла мне под руку, лишь бы только помешать:

– Скве-е-е-рно! Совсе-м скве-е-рно!..

И вдруг мой мяч со всего размаху попал в нос симпатичной овце... Она, бедная, понурила голову, а ее соперница сразу переменяла тон и, засмеявшись самым дерзким, вульгарным смехом, злорадно заблеяла:

– Пре-ле-стно! Ве-ли-ко-ле-е-п-но!

Так в нашем мире всегда страдают добрые и хорошие. Я бы охотно дал полкроны, чтобы попасть в нос не милой, а противной овце.

Я пробыл на лугу дольше, чем намеревался, и, когда Этельберта пришла сказать, что уже половина восьмого и завтрак на столе, я оказался еще не выбритым. Этельберте ужасно не нравится, когда я бреюсь впопыхах: она находит, что после этого я имею каждый раз такой вид, будто пытаюсь зарезаться, и поэтому все знакомые могут подумать, что мы живем черт знает как! И, кроме того, с моим лицом, по ее мнению, не следует обращаться халатно.

Я прощался с Этельбертой недолго, это могло бы ее расстроить. Но я хотел сказать несколько прощальных слов детям – в особенности насчет моей удочки, которую они обыкновенно употребляют в мое отсутствие в качестве палки, когда при играх требуется обозначить на земле место.

Я не люблю спешить к поезду... До станции оставалось четверть мили, когда я нагнал Джорджа и Гарриса. Пока мы продвигались втроем крупной рысью, Гаррис успел сообщить мне, что он чуть не опоздал из-за новой плиты: ее затопили сегодня в первый раз, кухарку обдало кипятком, а

почки взлетели со сковородки на воздух. Он надеялся, что к его возвращению жена успеет укротить новую плиту.

Мы успели на поезд в последнюю секунду. Очугившись в вагоне и с трудом переводя дух, я вспомнил, как дядя Поджер двести пятьдесят раз в году выезжал поездом в 9.13 утра в город.

От его дома до станции было восемь минут ходьбы, но он всегда говорил:

— Лучше выйти за пятнадцать минут и идти с удовольствием!

А выходил всегда за пять минут — и спешил изо всех сил. И уж не знаю почему, но через луг, лежащий между городком и станцией, бежал к девятичасовому поезду не один дядя Поджер, а несколько десятков джентльменов, все направлялись в Сити, все солидной наружности, все с черными портфелями и газетой в одной руке и с зонтиком в другой; все они не то чтобы действительно быстро бежали, но отчаянно пыхтели и были чрезвычайно серьезны. Поэтому на их лицах выражалось искреннее негодование при виде разносчиков, нянек и мальчишек, останавливавшихся, чтобы поглазеть на них. Среди этих зевак на несколько минут даже завязывалась азартная, хотя невинная игра:

— Два против одного за старичка в белом жилете!

— Десять против одного за старца с трубкой, если он на бегу не перекувырнется, пока бежит!

— Столько же за Багряного Короля! — прозвище, данное одним юным любителем энтомологии отставному военному, соседу дяди Поджера, который обыкновенно имел очень достойный вид, но сильно багровел от физических усилий.

Мой дядюшка и остальные джентльмены много раз писали в местную газету, жалуясь на нерадивость полиции, и редакция помещала от себя горячие передовые статьи об упадке вежливости среди жителей, но это ни к чему не приводило.

И нельзя сказать, чтобы дядя Поджер вставал слишком поздно; нет, все помехи являлись в последнюю минуту: позавтракав, он немедленно терял газету. Мы всегда знали, когда дядя Поджер что-нибудь терял, по выражению негодования и удивления, которое появлялось на его лице. Ему никогда не приходило в голову сказать:

«Я — рассеянный человек, я все теряю и никогда не помню, куда что положил; я ни за что не найду потерянно-го без чужой помощи. Я, должно быть, надоел всем ужасно — надо постараться исправиться».

Напротив, по его логике, все в доме были виноваты, если он что-нибудь терял, — кроме него самого.

— Да ведь я держал ее в руке минуту тому назад! — восклицал он.

По его негодующему тону можно было подумать, что он живет среди фокусников, которые прячут вещи нарочно, чтобы позлить его.

— А не оставил ли ты ее в саду? — спрашивала тетя.

— К чему же я оставил бы газету в саду? Мне газета нужна в поезде, а не в саду!

— Не положил ли ты ее в карман?

— Пощади, матушка! Неужели ты думаешь, что я искал бы газету целых пять минут, если бы она была у меня в кармане?.. За дурака ты меня считаешь, что ли?

В эту минуту кто-нибудь подавал ему аккуратно сложенную газету:

— Не эта ли?

Дядя Поджер жадно хватал ее со словами:

— Так и есть, непременно всем нужно брать мои вещи!

Он открывал портфель, чтобы положить в него газету, но вдруг останавливался, онемев от оскорбления.

— Что такое? — спрашивала тетя.

— Старая!.. От третьего дня!.. — произносил он убитым голосом, бросая газету на стол.

Если бы хоть раз попалась под руку вчерашняя газета, то и это было бы разнообразием, но неизменно она была «от третьего дня».

Затем свежую газету находил кто-нибудь из нас, или же оказывалось, что дядя Поджер сидел на ней сам. В последнем случае он улыбался — не радостно, а усталой улыбкой человека, попавшего в компанию безнадежных идиотов.

— Эх вы!.. Все время газета лежит у вас под самым носом, и никто...

Он не оканчивал фразы, так как очень гордился своей сдержанностью. После этого тетя вела дядю Поджера в переднюю, где по заведенному правилу происходило прощание со всеми детьми. Сама тетушка никогда не отлучалась

из дома дальше чем к соседям, но и то прощалась с каждым членом семьи, «так как не знала, что может случиться в следующую минуту».

По обыкновению, оказывалось, что кого-нибудь из детей не хватает. Тогда остальные шестеро, не медля ни секунды, с гиканьем и криком бросались искать его; но в следующую минуту потерянный появлялся как из-под земли — большею частью с весьма основательным объяснением своего отсутствия — и отправлялся уведомить остальных, что он найден. Все это занимало минут пять, в продолжение которых дядя Поджер успевал найти зонтик и потерять шляпу. Когда все и всё были в сборе, часы начинали бить девять. Их торжественный бой обыкновенно производил странное действие на дядю Поджера: он бросался вторично целовать одних и тех же, пропуская других, забывал, кого он уже поцеловал, а кого еще нет, — и должен был начинать сначала. Иногда он уверял, что дети нарочно перепутываются (и я, по совести, не берусь защищать их). Огорчался он еще и тем, что у кого-нибудь часто оказывалась совершенно липкая физиономия, причем обладатель этой физиономии бывал особенно нежен.

Если все шло слишком гладко, старший мальчик вдруг объявлял, что все часы в доме отстают на пять минут, из-за чего он опоздал накануне в школу. При этом известии дядя Поджер бросался к калитке, где вспоминал, что с ним нет ни зонтика, ни портфеля. Моментально все дети кидались за забытыми вещами, причем на скорую руку происходила борьба за зонтик и драка за портфель. Когда все бывало вручено дяде Поджеру и он пускался рысцой по дороге, мы возвращались в дом и находили на столе в передней какую-нибудь вещь, которую он непременно хотел взять с собой в город в этот день.

Было немного позже девяти, когда мы приехали в Лондон на вокзал Ватерлоо и, как решили заранее, сейчас же приступили к опыту, предложенному Джорджем. Открыв «Путеводитель» на странице, озаглавленной «На извозчичьей бирже», мы подошли к одному извозчику, приподняли шляпы и пожелали ему доброго утра.

Но, очевидно, этого парня не смутил бы вежливостью ни один иностранец, даже настоящий. Крикнув соседу: «Эй, Чарльз! Поддержи-ка коня!» — он спрыгнул с козел и отве-

тил нам таким изящным поклоном, который сделал бы честь лучшему танцмейстеру. При этом он приветствовал нас от имени всего народа и выразил сожаление, что королевы Виктории нет в данное время в Лондоне.

На такую речь мы не могли ответить ни одним словом: в «Разговорнике» не было решительно ничего подходящего. Мы только вежливо попросили отвезти нас, если возможно, на улицу Вестминстерского моста, причем назвали его кучером.

Он приложил руку к сердцу и отвечал, что сделает это с наслаждением.

Заглянув в «Разговорник», Джордж задал следующий по порядку вопрос:

— Сколько это будет стоить?

Такой грубый переход к материальной стороне дела явно оскорбил лучшие чувства извозчика. Он отвечал, что никогда не берет денег со знатных путешественников и попросит разве что какую-нибудь безделушку на память: бриллиантовую булавку, золотую табакерку или что-нибудь в таком роде...

Эксперимент зашел слишком далеко, вокруг нас начала собираться толпа. Не говоря больше ни слова, мы сели в киб и отъехали, напутствуемые восторженными криками.

Мы остановили извозчика за народным театром подле сапожной лавки, которая имела подходящий для нашей цели вид; это была одна из тех лавок, которые переполнены товаром так, что он в них даже не помещается; лишь только поутру отворяются ставни, как груды сапог размещаются снаружи, у входа; десятки ящиков с сапожным товаром стоят один на другом у дверей и даже по другую сторону тротуара, сапоги висят гирляндами поперек окон, рыжие и черные башмаки, как виноград, обвивают решетчатые ставни и образуют фестоны над входом. Внутри лавки почти темно и все завалено сапогами.

Когда мы вошли, хозяин с молотком в руке открывал ящик с новым товаром.

Джордж снял шляпу и проговорил:

— Доброго утра!

Человек даже не обернулся. Он продолжал усердно возиться с ящиком и промышал что-то такое, что могло быть и ответом на приветствие, и чем-нибудь совсем другим. Он мне сразу не понравился.

— Мистер N посоветовал мне обратиться к вам, — продолжал Джордж, заглянув в «Разговорник».

Хозяин лавки, в сущности, должен был ответить так: «Мистер N очень почтенный джентльмен, и я очень рад услужить его знакомым». Но вместо этого он проворчал:

— Не знаю. Никогда не слыхал.

Такой ответ уничтожил весь предварительный план разговора. В книжке дано было несколько вариантов разговора с сапожниками, и Джордж выбрал самый вежливый из них: в нем сначала много говорилось о мистере N, и, когда между покупателем и лавочником устанавливались хорошие отношения, первый просил дать ему «дешевые и хорошие» ботинки. Но мы попали на грубого материалиста, который не придавал никакой цены тонкой беседе. Имея дело с такими людьми, необходимо приступать прямо к делу. Поэтому Джордж решил оставить мистера N в покое, перевернул страницу и задал вопрос из другого «разговора с сапожником».

— Мне говорили, что вы держите сапоги для продажи.

Нельзя сказать, чтобы это было удачно: среди сапог, окружавших нас со всех сторон, фраза звучала даже дико.

Человек положил молоток и впервые соизволил на нас взглянуть.

— А вы думали, я их для чего держу? Чтобы нюхать? — сказал он глухим, хриплым голосом. Это был один из тех людей, которых трудно раскачать, но если уж они разойдутся, то хоть святых выноси.

— А вы думали, я что делаю? — продолжал он. — Собираю их для коллекции? Вы думали, я держу лавку для поддержания своего здоровья? По-вашему, я, должно быть, влюблен в сапоги, люблюсь ими и не могу расстаться ни с одной парой? Вы думали, тут международная выставка сапог? Или историческая коллекция обуви?.. Вы слышали когда-нибудь, чтобы человек держал лавку и не продавал сапог? Для красоты они тут, что ли? Вы, верно, думаете, что я получил приз за глупость, а?..

Надо отдать справедливость Джорджу, он выбрал самое подходящее для ответа:

— Я приду в другой раз, когда у вас будет больший выбор. А до тех пор — до свидания!

Я всегда говорил, что эти книжки никуда не годятся. В них нет английского выражения, параллельного немецкому «Behalten Sie Ihr Haar auf», а между тем оно могло бы быть иногда полезным.

Мы вышли из лавки и поехали дальше. Сапожник, стоя на изукрашенном сапогами крыльце, провожал нас какими-то замечаниями; мы ничего не слышали, но прохожие, по-видимому, находили их интересными.

Джордж хотел заехать еще к другому сапожнику и повторить опыт, уверяя, что ему действительно нужно купить пару туфель; но мы уговорили его отложить эту покупку до приезда в какой-нибудь иностранный город, где лавочники, без сомнения, более привычны к подобным разговорам и более лезбесны. Относительно шляпы, однако, Джордж остался непоколебим, утверждая, что без нее он не может путешествовать; поэтому пришлось остановиться у небольшой лавчонки со шляпами и шапками.

Здесь хозяин оказался совсем в другом роде: это был маленький, живой человек с умными глазами; он даже умудрился нам помочь. Когда Джордж спросил его по книжке: «Есть ли у вас шляпы?» — он не рассердился, а только остановился на месте и почесал подбородок.

— Шляпы! — повторил он. — Позвольте мне подумать. Да... да! — тут по его лицу пробежала счастливая улыбка уверенности. — У меня действительно есть шляпы. Только почему вы меня об этом спрашиваете?

Джордж объяснил, что ему нужна дорожная шляпа, причем просил «обратить усиленное внимание на то, чтобы шляпа была хорошая». Лицо человека сразу потухло.

— А!.. Вот уж тут я не могу быть вам полезным: если бы вам понадобилась плохонькая, скверная шапчонка, годная разве на то, чтобы вытирать окна, я бы вам предложил самую подходящую, но хороших шляп нет! Мы их не держим. Впрочем, подождите минутку! — прибавил он, видя недоумение и разочарование на выразительной физиономии Джорджа и открывая один из ящиков. — Тут у меня есть одна шляпа, хотя и не совсем хорошая, но не такая негодная, как весь мой остальной товар. Вот! Что вы о ней скажете? Можете вы удовлетвориться такой шляпой?

Джордж надел ее перед зеркалом и, выбрав подходящую фразу из книжки, сказал:

— Эта шляпа мне достаточно удобна. Но думаете ли вы, что она мне к лицу?

Человечек отступил на несколько шагов и поглядел на Джорджа орлиным оком:

— Говоря откровенно — нет!

Затем он повернулся ко мне и Гаррису и прибавил:

— Красота вашего друга очень тонкая: она есть, но ее можно не заметить. И именно в этой шляпе ее можно не заметить!

Тут Джордж догадался, что пора прекратить эксперимент.

— Все равно, — сказал он, — а то мы опоздаем на поезд. Сколько она стоит?

— Самая большая цена за эту шляпу четыре шиллинга и шесть пенсов; она и того не стоит!.. Прикажете вернуть в желтую или белую бумагу?

Джордж отвечал, что возьмет ее как есть, заплатил деньги и вышел из лавки. Мы последовали за ним.

На Фенчер-стрит надо было расплатиться с извозчиком, мы сторговались на пяти шиллингах. Он еще раз отвесил нам изящный поклон и попросил передать привет австрийскому императору.

Сев в поезд, мы обсудили оба случая и должны были признать, что два раза провалились с позором. Джордж разозлился и выкинул книгу за окошко.

Наш багаж и велосипеды оказались в целости на пароходе, и ровно в полдень, с приливом, мы поплыли вниз по реке, к морю.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Необходимое отступление от темы. — Поучительная история. — Достоинство этой книжки. — Журнал, который не совсем удался. — Его программа. — Еще одно достоинство этой книжки. — Старая тема. — Третье достоинство этой книжки. — «Какой это был лес?» — Описание Шварцвальда.

Рассказывают об одном шотландском парне, который, собираясь жениться на любимой девушке, выказал типичную шотландскую осторожность. После многочисленных

наблюдений в своем кругу он заметил, что большинство браков приводит к плачевным результатам только вследствие ложного представления, которое складывается у жениха или невесты друг о друге. Это представление всегда прекрасно, всегда преувеличенно, и он решил избежать обычного разочарования: не должно быть преувеличенных достоинств — и не будет разбитого идеала. Поэтому, сделав предложение, парень говорил честно:

— Я бедняк, я не могу дать тебе ни денег, ни земли, Дженни.

— Но ты отдаешь мне самого себя!

— Я хотел бы дать тебе что-нибудь, кроме себя. Лицо-то у меня не слишком красивое.

— Нет, нет! Другие парни куда хуже тебя.

— Я не видал таких, милая, и не хотел бы видеть.

— Честный, прямой человек, Дэви, на которого можно положиться, лучше, чем беспутный красавец; такой только на девушек заглядывается да горе в дом приносит.

— Ты на это не рассчитывай, Дженни, бывает, что не из-за самого пестрого петуха на птичьем дворе перья летят. Всем известно, как я за каждой юбкой бегал, и тебе со мной нелегко придется.

— Но ты добрый! И ты очень любишь меня, я это знаю.

— Да, люблю, хотя не знаю, долго ли буду любить. И я добрый тогда, когда все делается по-моему. Я не терплю, чтобы мне перечили. У меня дьявольский характер, это тебе и мать моя скажет — я весь в отца, а он и к старости не исправился!

— Ты очень строг к себе. Ты честный человек, Дэви. Я знаю тебя лучше, чем ты сам себя знаешь. Ты будешь хорошим мужем, и мы проживем счастливо.

— Может быть, но я сомневаюсь. Тяжкое это дело для жены и ребят, когда человек не может оторваться от бутылки, а мне без выпивки не обойтись, как рыбе без воды!.. Пью, пью — и не могу напиться.

— Но, когда трезв, ты хороший парень.

— Бывает, если все делается по-моему.

— Однако ты не оставишь меня и будешь для меня работать?

— Вероятно, не оставлю, но о работе ты не толкуй: терпеть не могу и думать-то о ней!

— Во всяком случае, ты будешь стараться?

— Из моего старанья добра не выйдет, я даже и не думаю, чтобы ты им осталась довольна. Мы все слабые греховодники, а я — самый слабый из всех.

— Ну-ну! Зато ты правдив. Многие парни чего не пообещают бедным девушкам, а потом только губят их! Ты говорил со мной честно, и я пойду за тебя, посмотрим, что из этого выйдет.

О том, что из этого вышло, история умалчивает, но всякий поймет, что после такого разговора женщина не имела права ни жаловаться, ни упрекать. Может быть, она это все-таки делала вопреки логике — это и с мужчинами случается, — но у мужа оставалось благодарное сознание того, что он предупредил жену обо всем, и, следовательно, никакие упреки им не заслужены.

Я хочу быть таким же честным, как шотландский жених. Я хочу предупредить читателя обо всех недостатках моей книги. Я не хочу, чтобы за нее принимались с надеждами, которым суждено разбиться. Я не хочу никаких недоумений. Из моей книжки никто не извлечет никакой пользы.

Если кто-нибудь думает, что, прочтя ее, можно потом отправиться путешествовать по Германии и Шварцвальду, то это большая ошибка: он заблудится очень скоро, и чем дальше заберется, тем больше наживет себе хлопот. Распространять полезные сведения мне не удастся, это не мое дело. Я прежде думал иначе, но теперь научен опытом.

На заре своей карьеры журналиста я сотрудничал в журнале, который был предшественником многих нынешних популярных изданий. Наша цель, которой мы гордились, заключалась в том, что мы соединяли приятное с полезным. Различать, что именно было приятно, а что полезно, предоставлялось читателям.

Мы писали о том, как надо жениться. Эти статьи заключали длинный ряд разумных, серьезных советов, и если бы наши читатели им следовали, то образовали бы круг непомерно счастливых людей, которым бы завидовали все мужья и жены. Мы объясняли подписчикам, как можно разбогатеть, разводя кроликов, мы доказывали это фактами и вычислениями. Вероятно, наши читатели удивлялись, почему мы сами, в полном составе редакции, не бросим журнали-

стику и не устроим кроличью ферму. Я слышал от многих знающих людей, что стоит завести двенадцать хороших кроликов — и через три года при мало-мальски добросовестном отношении к делу они будут давать две тысячи фунтов стерлингов дохода в год. И этот доход будет постоянно увеличиваться. Может быть, человеку и денег девать некуда, но они будут прибывать сами собой, то есть от этих двенадцати кроликов, но в то же время я знал нескольких людей, которые заводили самую отборную дюжину, и совершенно напрасно — ни один фермер от этого не разбогател, всегда что-нибудь мешало.

Мы сообщали, сколько лысых людей живет в северных странах (по точным вычислениям), сколько королевских сельдей поместится между Лондоном и Римом, если их укладывать в линию, головой к хвосту, так что всякий желающий положить ряд королевских сельдей от Лондона до Рима мог знать наперед, сколько ему придется купить их. Мы сообщали, сколько слов в среднем произносит в день обыкновенная женщина. Вообще мы давали читателям такой полезный и разумный материал, который мог бы поставить их на голову выше подписчиков всех остальных журналов.

Мы внушали читателям правила этикета: как обращаться к лэрам и архиепископам и как есть суп. Мы обучали молодых людей изящно двигаться и танцевать — посредством точных диаграмм. Мы разрешили все философские проблемы и напечатали для юношества перечень таких высоких нравственных правил, какие сделали бы честь любому проповеднику.

Журнал не пошел только в денежном отношении, и нам пришлось ограничить число сотрудников. Я помню, мой отдел назывался «Советы матерям». Я его вел с помощью квартирной хозяйки, которая развелась с первым мужем и похоронила четверых детей, так что семейный уклад она знала до тонкостей. В моем ведении был еще столбец «Заметки о мебелировке и украшении домов», с рисунками, и «Советы начинающим литераторам». Надеюсь, что последние принесли им больше пользы, чем мне самому.

Болезненная, тихая женщина в сером старомодном платье с чернильными пятнами, нанимавшая комнатку на бесконечно длинной улице с унылыми лавчонками, заведовала отделом «Хроника большого света». Последняя вся состоя-

ла из тонких намеков того пошиба, который и теперь еще отличает подобные статейки: «На последнем балу в палатце князя С — мы не называем имен — князь говорил мне такие вещи, которые не совсем нравились графине Z, но лучше не входить в подробности!..» Бедная маленькая женщина, если бы ей провести хоть один вечер в палатку князя С, то, может быть, румянец вернулся бы на ее поблекшие, морщинистые щеки.

«Юмористика» находилась в руках мальчишки-посыльного, которому предоставлялась для этого куча старых газет и пара хороших ножниц.

Вести журнал было нелегко. Денежное вознаграждение равнялось почти нулю. Но вознаграждение нравственное было огромно: журналистика — это игра в школу; мы любим играть в школу в детстве, потом продолжаем ее молодыми людьми, потом стареем и уныло плетемся к гробу, но и при этом все еще увлекаемся игрой в школу. А в этой игре так приятно быть учителем! Так приятно посадить остальных детей в ряд, а самому расхаживать перед ними с указкой!.. И журналистика чувствует, что ходит с указкой, поэтому у нее столько приверженцев, несмотря на многие тяжелые стороны этого труда. Государство, правительство, общество, народ, искусство, наука — вот те дети, которые сидят перед нею в ряд, а она их учит.

Я отвлекся, но отвлекся потому, что хотел объяснить, отчего мне больше никого не хочется учить. Вернемся к фактам.

В одном письме в редакцию, подписанном «Воздухоплаватель», требовали сведений о том, как добывать водород. Оказалось, что это очень легко, как я узнал, когда сходил в библиотеку Британского музея. Но для верности я все-таки предупредил «Воздухоплавателя», кто бы он ни был, что следует действовать аккуратно и принять все необходимые меры предосторожности. Что же я мог еще сделать? Тем не менее через десять дней явилась в редакцию какая-то женщина пунцового цвета, она тащила за руку двенадцатилетнего молодца, которого назвала своим сыном. Его физиономия отличалась полным отсутствием какого-либо выражения, бровей у него тоже не было. Мать вытолкнула его вперед и стащила с него шапку. Под шапкой оказалась глад-

кая поверхность, испещренная серыми точками – вроде крутого очищенного яйца, посыпанного перцем.

– Это был красавец ребенок еще на прошлой неделе!.. – заявила женщина пунцового цвета, постепенно придавая своему голосу оттенок негодования, чтобы мы поняли, что это только начало.

– Какое же обстоятельство его так изменило? – спросил редактор.

– Вот какое обстоятельство! – и она бросила ему чуть не в лицо последний выпуск нашего журнала с моим ответом о добывании водорода, параграф был подчеркнут красным карандашом.

Редактор прочел его внимательно и потом спросил, указывая на отрока:

– Это и есть «Воздухоплаватель»?

– Да! Это был «Воздухоплаватель» еще на прошлой неделе!.. Это был прекрасный, невинный ребенок! А теперь – посмотрите на его голову!..

Редактор посмотрел. Он был серьезный, тихий человек.

– Может быть, волосы вырастут? – спросил он.

– Может быть, вырастут, а может быть, и не вырастут!.. – ответила женщина, усиливая негодующие ноты. – Я желаю знать, что вы ему теперь предложите?

Редактор предложил намазать отроку шею, а заодно и голову. Я думал, что женщина бросится на него, но она удержалась, дав полную волю только голосу. Она требовала не купания, а вознаграждения. Досталось тут, кстати, нашему журналу вообще, его направлению, его самолюбию, его подписчикам...

Терпеливо выслушав горячий монолог женщины, редактор предложил ей пять фунтов стерлингов. Тогда она успокоилась и ушла вместе с поврежденным «Воздухоплавателем». Редактор обернулся ко мне и сказал:

– Не думайте, что я браню вас, – нисколько. Тут вашей вины нет, тут судьба. Но, друг мой, лучше, если вы будете придерживаться исключительно нравственных советов – это ваш стиль, в нем вы, безусловно, талантливы. И оставьте в покое «полезные сведения»! Я не говорю, что вы их писали неправильно или недобросовестно, нет, но в этой области вам просто не везет, оставьте.

Мне следовало послушаться умного человека. Жаль, что я этого не сделал: и мне, и другим было бы легче.

Мне действительно не везет с полезными советами. Если я составляю для приятеля маршрут от Лондона до Рима, то он непременно потеряет багаж в Швейцарии, если не утонет при переезде через канал. Когда я помогаю другу выбрать при покупке хороший фотографический аппарат, то он потом непременно попадает в руки немецкой полиции за фотографирование крепостей. Однажды я вложил всю душу в дело, объясняя знакомому, как ему поехать в Стокгольм и жениться на сестре своей покойной жены. Час отъезда парохода, лучшие гостиницы в Стокгольме — все подробности были указаны с величайшей точностью, а между тем он со мной с тех пор не желает разговаривать.

Так вот, вследствие всего этого я решил твердо и бесповоротно: никогда не давать даже малейших практических советов; и если я справлюсь со своей несчастной страстью, то никто не найдет на этих страницах ни толковых сведений, ни описаний городов, ни исторических воспоминаний, ни нравочений.

Я однажды спросил иностранца-путешественника, как ему показался Лондон.

— О, это огромный город, — отвечал он.

— Но что произвело на вас самое сильное впечатление?

— Люди.

— Ну а сравнительно с Парижем, Римом, Берлином что вы нашли особенного?

Он пожал плечами.

— Лондон больше. Что же еще можно сказать?

Действительно, все муравейники похожи один на другой. Известное число улиц, широких или узких, в которых суетятся маленькие существа; одни бегут, спешат, другие полны важности, третьи — хитрости; одни согнуты непосильной ношей, другие нежатся на солнце; здесь огромные склады провизии, там тесные каморки, в которых маленькие существа спят, едят и любят; а там — уголки, где складываются мелкие белые кости. Один муравейник больше, другой меньше — вот и все.

Не найдет читатель в этой книге и романтических коллизий. В любом месте, под каждой крышей происходило то, что вы сами можете воспеть в стихах, а я лишь напо-

ню вам суть: жила девушка и жил мужчина, он полюбил ее — и уехал.

... Эта монотонная песнь звучит на всех языках; очевидно, сей молодой человек обошел весь свет... Его помнят в сентиментальной Германии, в голубых горах Эльзаса, по берегам морей. Он странствует, как Вечный Жид, и девушки продолжают прислушиваться к удаляющемуся топоту его коня...

В опустевших развалинах, где звучали когда-то живые голоса, уютится теперь только эхо минувшего. Прислушайтесь, здесь все то же, знакомое... Напишите песню сами: человеческое сердце — или два, несколько страстей (их ведь немного, не больше чем полдюжины), немножко зла, немного добра; смешайте все это, прибавьте в конце дыхание смерти и выберите любое из названий: «Пещера невинности», «Колдовская башня», «Могила в темнице», «Гибель любовника» — все годится, потому что содержание одно и то же...

Наконец, в моей книжке не будет описаний природы. Это не от лени с моей стороны, а от воздержания. Нет ничего легче для описания, чем картины природы, и нет ничего труднее и скучнее для чтения. Когда Гиббон принужден был судить о Геллеспонте по описаниям путешественников и английские студенты имели представление о Рейне главным образом из «Комментариев» Юлия Цезаря, тогда каждому бродяге действительно надлежало описывать по мере сил всякий виденный клочок земли. Но железные дороги и фотография переменили все. Для того, кто видел дюжину картин, сотню фотографий и тысячу печатных рисунков尼亚гары, поэтическое описание водопада крайне утомительно. Один американец — большой любитель поэзии — говорил мне, что альбом шотландских озер, купленный за восемнадцать пенсов, дал ему более ясное представление, чем все тома наших поэтов, вместе взятые; он прибавил еще, что описание съеденного обеда имеет в его глазах столько же достоинств, как описание природы, потому что кушанье можно оценить только языком, как природу — только глазами.

Я с ним согласен, и каждое описание природы в книжках напоминает мне урок в жаркий летний день, когда я сидел в классе вместе с другими мальчуганами...

Это был урок английской литературы. Мы только что закончили чтение длинной поэмы, название и автора которой я, к стыду моему, позабыл. Помню, что поэма не понравилась нам тем, что она была длинна, хотя других недостатков мы в ней не заметили. Когда последние строфы были прочтены и книги закрыты, учитель — ласковый седой джентльмен — пожелал, чтобы мы рассказали поэму своими словами.

— Ну, скажите мне, — обратился он к первому ученику, — о чем тут говорится.

Мальчик опустил голову и отвечал сконфуженным тоном, как о предмете, о котором он никогда не заговорил бы сам:

— О девице, сэръ...

— Да, — отвечал учитель, — но я хочу, чтобы ты рассказывал своими словами: ведь мы говорим не «девица», а «девушка». Продолжай.

— О девушке... — повторил первый ученик, еще более смущенный объяснением, — которая жила в лесу.

— В каком лесу?

Мальчик внимательно исследовал свою чернильницу, потом посмотрел на потолок.

— Ну! — сказал учитель нетерпеливо. — Ведь ты читал описание этого леса целых десять минут — и теперь не можешь ничего вспомнить?

— «Сучки дерев, изогнутые ветви»... — начал мальчик.

— Нет, нет! Я не хочу, чтобы ты повторял слово в слово! Ну, расскажи по-своему, какой это был лес.

— Обыкновенный лес, сэръ.

— Скажи ему, какой это был лес, — обратился учитель к следующему мальчугану.

— Зеленый лес, сэръ!

Учителю стало досадно, он назвал второго мальчугана тупицей и вызвал третьего. Этот уже сидел как на горячих углях, весь красный от нетерпения, и размахивал правой рукой, как семафор; он вскочил и ответил бы в следующую секунду, даже если бы его не вызвали.

— Темный и мрачный лес, сэръ! — воскликнул он с облегчением.

— Темный и мрачный лес, — повторил учитель с видимым одобрением. — А почему он был темный и мрачный?

Третий мальчик не оплошал:

— Потому что солнце не могло туда проникнуть!

Учитель почувствовал, что попал на поэта.

— Да. Потому что солнце или, вернее, лучи света не могли туда проникнуть. А почему они не могли проникнуть?

— Потому что листья были очень густы, сэр.

— Очень хорошо. Итак, девушка жила в темном и мрачном лесу, сквозь густую листву которого не проникали лучи света. Теперь — дальше! Что росло в этом лесу? — обратился учитель к четвертому мальчику.

— Деревья, сэр.

— А что еще?

— Мухоморы, сэр.

Учитель не был уверен относительно мухоморов, но, справившись с книгой, нашел, что мальчик прав.

— Совершенно верно. Мухоморы росли в этом лесу. Ну а что еще? Что бывает в лесу под деревьями?

— Земля, сэр.

— Нет, нет! Что растет еще, кроме деревьев?

— Кусты, сэр.

— Кусты. Очень хорошо. Теперь мыдвигаемся. Ну а что еще? — и учитель указал на мальчугана в конце класса, который думал, что лес от него еще очень далеко, и занимался поэтою игрой в крестики и нолики сам с собой.

Потревоженный и раздосадованный, но чувствуя, что обязан прибавить что-нибудь к лесу со своей стороны, он встал и отвечал наугад:

— Черника, сэр.

Это была ошибка. В поэме не упоминалось о чернике.

— Ну конечно, надо же было что-нибудь человеку есть! — сострил учитель. Раздался смех. Довольный своим остроумием, учитель вызвал мальчика со средней скамейки:

— Что было еще в этом лесу?

— Поток, сэр.

— Совершенно верно. И что он делал?

— Журчал, сэр.

— Нет, нет, это ручей журчит, а поток?..

— Ревел, сэр!

— Верно. Поток ревел. А что заставляло его реветь?

Мальчик стал в тупик. Другой — который, правда, не считался у нас блестящим учеником — высказал свое предположение:

— Девушка, сэр!

Тогда учитель изменил форму вопроса:

— Когда поток ревел?

Тут пришел опять на помощь третий мальчик:

— Позвольте ответить! Поток ревел, когда падал со скалы.

Многих это удивило... Промелькнуло представление о том, какой жалкий был этот поток: не стоило реветь всякий раз, когда падаешь со скалы. Но учитель остался доволен ответом.

— Ну а кто жил еще в лесу, кроме девушки?

— Птицы, сэр.

— Да, птицы жили в лесу, а кроме птиц?

Но наше воображение истошилось. Кроме птиц, мы ничего не могли придумать.

— Ну же, — старался помочь учитель. — Как называются животные с хвостами, которые бегают по деревьям?

— Кошки, сэр!

Опять ошибка. Поэт не написал ни слова о кошках. Учитель хотел, чтобы мы назвали белок.

Остальных подробностей об этом лесе я так и не запомнил. Кажется, были еще там кусочки голубого неба, а на них тучи, и из этих туч шел иногда на девушку дождь.

Я тогда не понимал и теперь не понимаю, почему описание первых трех учеников было недостаточным. При всем уважении к поэту надо признать, что лес, во всяком случае, был обыкновенный. И все книжные описания природы кажутся мне столь же излишними, как и перечисления всего, что было в этом лесу.

Я мог бы описать подробно все красоты Шварцвальда: его скалы, его веселые равнины, его хвойные леса по крутым склонам гор, его пенящиеся горные потоки (в тех местах, где аккуратные немцы еще не заключили их в приличные деревянные желоба), и беленькие деревни, и одинокие фермы. Но меня мучает подозрение, что вы пропустите все это. И даже если не пропустите, если вы более деликатны (или менее слабохарактерны), то все-таки достаточно немудреных, простых строк из путеводителя: *«Живописная горная местность, окаймленная с юга и с запада долиной Рейна, к которой круто спускаются отроги гор. Почва состоит главным образом из песчаных отложений и гранита. Нижние отроги покрыты обширными хвойными лесами. Местность орошена многочисленными горными потоками, а густонаселенные долины плодородны и хорошо возделаны. Гостиницы хороши, но местные вина следует выбирать с осторожностью».*

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как мы попали в Ганновер. — О том, что делают за границей лучше, чем у нас. — Разоблачение одной тайны. — «Коренной француз» как предмет развлечения. — Отцовские чувства Гарри-са. — Искусство поливать улицы. — Патриотизм Джорджа. — Что Гаррис должен был сделать. — Что Гаррис сделал. — Мы спасаем Гаррису жизнь. — Город, в котором не спят. — Извозчицья лошадь с критическими наклонностями.

Мы прибыли в Гамбург в пятницу после тихого и ничем не замечательного морского переезда, а из Гамбурга отправились в Берлин через Ганновер.

Это не совсем прямой путь, но как мы там очутились — я могу объяснить не иначе, как негр объяснял судье, каким образом он попал в курятник пастора.

— Да, сэр. Полисмен говорит правду. Я там был, сэр.

— А, так вы это признаете? Как же вы объясните, что вы там делали в двенадцать часов ночи?

— Я только что хотел рассказать, сэр. Я пошел к масса Джордану с дынями, сэр; в мешке были дыни, сэр. И масса Джордан был очень ласков и пригласил меня зайти, сэр.

— Ну?

— Да, сэр. Масса Джордан — очень хороший господин, сэр. И мы сидели и сидели, и говорили и говорили...

— Очень может быть, но я хотел бы знать, что вы делали в пасторском курятнике?

— Я это и хочу рассказать, сэр. Было очень поздно, когда я вышел от массы Джордана; вот я и говорю себе: «Смелее, Юлиус!.. Потому что будет история с твоей бабой». Она у меня женщина разговорчивая, сэр, и...

— Да, но забудьте о ней, пожалуйста; в этом городе, кроме вашей жены, есть еще очень разговорчивые люди. Ну-с, как же вы попали к пастору? Его дом за полмили в стороне от пути к вашему.

— Вот это я и хочу объяснить, сэр!

— Очень рад слышать. Но как же вы объясните?

— Вот я об этом и думаю... Я, кажется, заблудился, сэр.

Так и мы «заблудились» немножко.

Ганновер производит первое впечатление вовсе не интресное, но постепенно оно меняется. В нем, собственно,

два города: широкие улицы с новейшими постройками и роскошными садами, а рядом средневековые узкие переулки с нависшими над ними фахверковыми постройками. Здесь можно видеть за низкими каменными арками широкие дворы, окруженные галереями, где раздавался когда-то топот породистых коней и теснились запряженные шестерней коляски в ожидании богатого владельца и его нарядной жены; но теперь в этих дворах копошатся только дети и цыплята, а на многочисленных балконах проветривают старую одежду.

В Ганновере чувствуется какая-то английская атмосфера... в особенности по воскресеньям, когда магазины закрыты, а колокола звонят, невольно вспоминаешь ясное лондонское воскресенье.

Если бы это впечатление испытал я один, то приписал бы его фантазии, но даже Джордж поддался такому же чувству: когда мы с Гаррисом вернулись после завтрака с маленькой прогулки, то нашли его сидящим в самом удобном кресле в курительной комнате; он сладко дремал.

— Хотя я не особенный патриот, но признаю, что в английском воскресенье есть что-то привлекательное! — заметил Гаррис. — И как новое поколение ни восстает против старого обычая, а жаль было бы с ним расстаться.

С этими словами он присел на один край дивана, я на другой — и мы устроились поудобнее, чтобы составить компанию Джорджу.

Говорят, в Ганновере можно выучиться самому лучшему немецкому языку. Но неудобство заключается в том, что за пределами Ганновера никто этого «самого лучшего» немецкого языка не понимает. Остается или говорить хорошо по-немецки и жить всегда в Ганновере, или же говорить плохо и путешествовать. Германия так долго была разделена на отдельные крошечные государства, что образовалось множество диалектов. Немцы из Познани принуждены разговаривать с немцами из Вюртемберга по-французски или по-английски; и молодые англичанки, которые за большие деньги научились немецкому языку в Вестфалии, глубоко огорчают своих родителей, когда не могут понять ни слова из того, что им говорят в Мекленбурге.

Правда, иностранец, свободно говорящий по-английски, тоже затруدنится, если ему придется объясняться в йорк-

ширских деревнях или в беднейших трущобах Лондона; но этого сравнивать нельзя: в Германии каждая провинция выработала особенное наречие, на котором говорят не только простые люди, но которым гордится и интеллигенция. В Баварии человек из образованного круга признает, что северное наречие правильнее и чище, но тем не менее будет учить своих детей только родному, южному.

В следующем столетии немцы, вероятно, разрешат этот вопрос тем, что все будут говорить по-английски. В настоящее время в Германии почти каждый мальчик и девочка, даже из среднего класса, говорят по-английски; и не будь наше произношение так деспотически своеобразно, нет сомнения, что английский язык стал бы всемирным в течение нескольких лет. Все иностранцы признают его самым легким для теоретического изучения. Немцы, у которых каждое слово в каждой фразе зависит по меньшей мере от четырех различных правил, уверяют, что у англичан грамматики вовсе нет. В сущности, она есть, только ее, к сожалению, признают не все англичане и этим поддерживают мнение иностранцев. Последних еще затрудняет, кроме зубодробительного произношения, наше правописание: оно действительно изобретено, кажется, для того, чтобы осаживать самоуверенность иностранцев, а то они изучали бы английский язык в один год.

— Иностранцы изучают языки не по-нашему: окончивая среднюю школу в возрасте около пятнадцати лет, они могут свободно говорить на чужом языке, а у нас придерживаются правила: узнать как можно меньше, потратив на ученье как можно больше времени и денег. В конце концов мальчик, окончивший у нас хорошую среднюю школу, может медленно и с трудом разговаривать с французом о его садовниках и тетках (что несколько неестественно для человека, у которого нет ни тех, ни других), в лучшем случае он может с осторожностью делать замечания о погоде и времени, а также назвать неправильные глаголы и исключения. Только кому же интересно слушать примеры собственных неправильных глаголов и исключений из уст английского юноши?

Это объясняется тем, что в девяти случаях из десяти французский язык у нас преподают по учебнику, написанному когда-то одним французом в насмешку над нашим об-

ществом. Он комически изобразил, как разговаривают англичане по-французски, и предложил свою рукопись одному из издателей в Лондоне, где тогда жил. Издатель был человек проницательный, он прочел работу до конца и послал за автором.

— Это написано очень остроумно! — сказал он француз. — Я смеялся в некоторых местах до слез.

— Мне очень приятно слышать такой отзыв, — отвечал автор. — Я старался быть правдивым и не доходить до ненужных оскорблений.

— Очень, очень остроумно! — продолжал издатель. — Но печатать такую вещь как сатиру — невозможно.

Лицо француза вытянулось.

— Видите ли, вашего юмора большинство читателей не поймет: его сочтут вычурным и искусственным; поймут только умные люди, но эту часть публики нельзя принимать в расчет. А у меня явилась вот такая мысль! — И издатель оглянулся, чтобы убедиться, одни ли они в комнате, затем наклонился к французу и продолжал шепотом: — Издадим это как серьезный труд, как учебник французского языка!

Автор смотрел, широко раскрыв глаза, остолбенев от удивления.

— Я знаю вкус среднего английского учителя, — продолжал издатель, — такой учебник будет совершенно согласовываться с его способом обучения! Он никогда не найдет ничего более бессмысленного и более бесполезного. Ему останется только потирать руки от удовольствия.

Автор решился принести искусство в жертву наживе и согласился. Они только переменили заглавие, приложили словарь и напечатали книжку целиком.

Результаты известны каждому школьнику: этот учебник составляет основу нашего филологического образования. Его незаменимость исчезнет только тогда, когда изобретут что-нибудь еще менее подходящее.

А для того чтобы мальчики не научились языку каким-нибудь случайным образом, у нас приставляют к ним «коренного француза». Свойства его следующие: он родом из Бельгии (хотя свободно болтает по-французски), не способен никого на свете ничему научить и одарен несколькими комическими чертами. С такими данными он являет собой мишень для шуток и шалостей среди монотонного учения,

его два-три урока в неделю делаются клоунадой, которую ученики ждут с большим удовольствием. А когда через несколько лет родители едут с мальчиком в Диенн и находят, что он не умеет даже позвать извозчика, то это приводит их в искреннее изумление.

Я говорю об «изучении» французского языка, потому что мы только ему и обучаем нашу молодежь. Если мальчик хорошо говорит по-немецки, то это часто принимается за признак отсутствия патриотизма; а для чего у нас тратят все-таки время на поверхностное знакомство с французским языком, я решительно не понимаю; это просто смешно. Уж лучше разделить ретроградное мнение, что полное незнание чужих языков — респектабельнее всего!

В немецких школах система другая: здесь один час ежедневно посвящен иностранному языку, чтобы дети не забыли того, что выучили в прошлый раз. Для развлечения не приглашают никаких «коренных иностранцев», а учит немец, который знает чужой язык как свои пять пальцев. Мальчики не называют его ни «жабой», ни «колбасой» и не устраивают на его уроках состязаний в доморощенном остроумии. Окончив школу, они могут разговаривать не только о перочинных ножиках и о тетках садовников, но и о европейской политике, истории, о Шекспире — и об акробатах-музыкантах, если о них зайдет речь.

Смотря на немцев с англосаксонской точки зрения, я, может быть, и упрекну их при случае, но многому можно поучиться у них, в особенности относительно разумного преподавания в школах...

С южной и восточной стороны Ганновер окаймлен великолепным парком. В этом-то парке и произошла драма, в которой Гаррис сыграл главную роль.

В понедельник после обеда мы катались по широким аллеям; кроме нас, было много других велосипедистов и вообще гуляющей публики, потому что тенистые дорожки парка — любимое место прогулок в послеобеденные часы. Среди катающихся мы заметили молодую и красивую барышню на совершенно новом велосипеде. Видно было, что она еще новичок, и чувствовалось, что настанет минута, когда ей понадобится поддержка. Гаррис, с врожденной рыцарской вежливостью, предложил нам не удаляться от барышни. Он объяснил — уже не в первый раз, — что у него есть собст-

венные дочери (пока только одна), которые со временем тоже превратятся в красивых взрослых девиц, поэтому он, естественно, интересуется всеми взрослыми красивыми девицами до тридцатипятилетнего возраста: они напоминают ему семью и дом.

Мы проехали мили две, когда заметили человека, стоявшего на месте пересечения пяти аллей и поливавшего зелень из рукава помпы. Рукав, поддерживаемый маленькими колесиками, тянулся за ним, как огромный червяк, из пасти которого вырывалась сильная струя воды; человек направлял ее в разные стороны, то направо, то налево, то вверх, то вниз, поворачивая конец рукава.

— Это гораздо лучше, чем наши бочки с водой! — восторженно заметил Гаррис — он относится строго ко всему британскому. — Гораздо проще, быстрее и экономнее! Ведь этим способом можно в пять минут полить такое пространство, какого не польешь с нашими перевозными бочками в полчаса.

— Да! — иронически заметил Джордж, сидевший за моей спиной на тандеме. — И этим способом также очень легко промочить до нитки целую толпу, прежде чем люди успеют уйти с дороги.

Джордж — в противоположность Гаррису — британец до мозга костей. Я помню, как сильно Гаррис оскорбил его патриотизм, заметив однажды, что в Англии следовало бы ввести гильотину.

— Это гораздо аккуратнее, — прибавил он.

— Так что ж, что аккуратнее! — в негодовании воскликнул Джордж. — Я англичанин, и виселица мне куда милее!..

— Наши телеги с бочками, — продолжал он, — отчасти неудобны, но они могут замочить тебе только ноги, и от них легко увернуться, а от такой штуки не спрячешься ни за углом улицы, ни на лестнице соседнего дома.

— А мне доставляет удовольствие смотреть на них, — возразил Гаррис. — Эти люди так ловко обращаются со всей этой прорвой воды! Я видел, как в Страсбурге человек полил огромную площадь, не оставив сухим ни одного дюйма земли и не замочив ни на ком ни одной нитки. Удивительно, как они наловчились соразмерять движения руки с расстоянием. Они могут остановить струю воды у самых твоих

носков, перенести ее через голову и продолжать поливку удицы от каблуков. Они могут...

— Замедли-ка ход, — обратился ко мне в эту минуту Джордж.

— Зачем? — спросил я.

— Я хочу сделать остановку. На этого человека действительно стоит посмотреть. Гаррис прав. Я встану за дерево и подожду, пока он кончит работу. Кажется, представление уже начинается: он только что окатил собаку, а теперь усердно поливает тумбу с объявлениями. У этого артиста не хватает, кажется, винтика в голове. Я предпочитаю обожать, пока он кончит.

— Глупости! — отвечал Гаррис. — Не обольет же он тебя.

— Вот я в этом и хочу убедиться. — И Джордж, спрыгнув с велосипеда, стал за ствол могучего вяза и принялся набивать трубку.

Мне не было охоты тащить тандем самому, я тоже встал, прислонил его к дереву и присоединился к Джорджу. Гаррис прокричал нам, что мы позорим старую добрую Англию или что-то в этом роде, и покатил дальше.

В следующее мгновение раздался нечеловеческий крик. Я выглянул из-за дерева и увидел, что отчаянные вопли испускала молодая барышня, которую мы обогнали, но о которой начисто забыли, с головой уйдя в обсуждение вопроса о поливке. Теперь она с отчаянной твердостью ехала прямо сквозь густую струю воды, направленную на нее из рукава помпы. Пораженная ужасом, она не могла догадаться ни спрыгнуть, ни свернуть в сторону и ехала напрямик, продолжая кричать не своим голосом. А человек был или пьян, или слеп, потому что продолжал лить на нее воду с полнейшим хладнокровием. Со всех сторон раздавались крики и ругательства, но он не обращал на них внимания.

Отеческое чувство Гарриса было возмущено. Взволнованный до глубины души, он соскочил с велосипеда и сделал то, что следовало: подбежал к человеку, чтобы остановить его. После этого Гаррису оставалось бы удалиться героем при общих аплодисментах, но вышло так, что он удалился, напутствуемый оскорблениями и угрозами.

Ему не хватило находчивости: вместо того чтобы завинтить кран помпы и затем поступить с человеком по своему справедливому усмотрению (он мог бы обработать его как

боксерскую грушу, и публика вполне одобрила бы это), Гаррис вздумал отнять у него рукав и окатить в наказание его самого. Но у человека мысль была, очевидно, такая же: не желая расставаться со своим оружием, он решил воспользоваться им и промочить Гарриса насквозь.

Результатом было то, что через несколько секунд они облили водой всех и всё на пятьдесят шагов в окружности, кроме самих себя. Какой-то расщипавший господин из публики, которого так окатили, что ему было безразлично, какой еще вид может принять его наружность, выбежал на арену и присоединился к схватке. Тут они втроем принялись азартно орудовать рукавом по всем направлениям. Могучая струя то взвивалась к небесам и оттуда низвергалась на площадь искрометным дождем, то они направляли ее прямо вниз, на аллеи, — и тогда люди подсакивали, не зная, куда деть свои ноги, то водяной бич описывал круг на высоте трех-четырёх футов от земли, заставляя всех отбивать земной поклон.

Никто из троих не хотел уступить, никто не мог догадаться повернуть кран, словно они боролись со слепую стихией. Через сорок пять секунд — Джордж следил по часам — вся площадь была очищена: все живые существа исчезли, кроме одной собаки, которая в сотый раз храбро вскакивала на ноги, хотя ее моментально опять опрокидывало и относило водой то на правом, то на левом боку, тем не менее она лаяла с негодованием, очевидно, считая такое явление величайшим беспорядком в природе.

Велосипедисты побросали свои машины и попрятались за деревья. Из-за каждого ствола выглядывала возмущенная физиономия.

Наконец нашелся умный человек: отчаянно рискуя, он пробрался к водопроводной тумбе и завинтил кран. Тогда из-за деревьев стали выползать существа, в большей или меньшей степени похожие на мокрые губки. Каждый был возмущен, каждый хотел дать волю чувствам.

Наружность Гарриса сильно пострадала; сначала я не мог решить, что будет более подходящим для его доставки в гостиницу — корзина для белья или носилки. Джордж выказал в данном случае большую сообразительность, спасшую Гарриса от гибели: стоя за дальним деревом, он остался сух

и потому подоспел к нему первым. Гаррис хотел было начать объяснение, но Джордж прервал его на полуслове:

— Садись на велосипед и уноси ноги. Поезжай зигзагами, на случай если будут стрелять. Мы поедем следом за тобой и будем им мешать. Они не знают, что ты из нашей компании, и — можешь положиться! — мы тебя не выдадим.

Не желая расцветивать книгу собственной фантазией, я показал это описание самому Гаррису. Но он находит его преувеличенным, он говорит, что только «побрызгал» на публику. Однако, когда я предложил ему сделать для проверки опыт и стать на расстоянии двадцати пяти шагов от того места, откуда я «побрызгаю» на него из рукава помпы, он отказался. Затем он нашел еще одно преувеличение, уверяя, что от катастрофы пострадало не несколько десятков человек, а «душ шесть»; но опять-таки, когда я предложил съездить вместе в Ганновер и разыскать всех, кого он окатил, он уклонился и от этого.

Таким образом, я без зазрения совести могу считать мой рассказ вполне правдивым описанием события, о котором часть обывателей Ганновера, несомненно, с горечью вспоминает до сих пор.

Выехав из Ганновера под вечер, мы благополучно добрались до Берлина как раз вовремя, чтобы поужинать и пройти перед сном. Берлин — несимпатичный город, вся его жизненная активность слишком сосредоточена в самом центре, а вокруг царит безжизненный покой. Знаменитая улица Унтер ден Линден представляет попытку соединить Оксфорд-стрит с Елисейскими полями, получается что-то невнушительное, некрасивое и слишком широкое. Театры изящны и хороши, здесь на сценическую постановку и на костюмы обращено меньше внимания, чем на сами пьесы; последние не идут, как у нас, сотни раз подряд, а чередуются, так что вы можете ходить в один и тот же театр целую неделю на разные пьесы. Опера недостойна здания, в котором помещается. Кафешантаны имеют не развлекательный, а грубый и вульгарный характер.

В ресторанах самое большое оживление замечается от полночи до трех часов утра, но после этого большинство посетителей все-таки встает в семь и принимается за работу. Берлинцы, кажется, разрешили вопрос, каким образом обходиться без сна.

Я знаю еще только один город, где жизнь продолжается ночью, — это Петербург. Но там не встают так рано, как в Берлине. В Петербурге ездят в загородные парки после театров, там оживление начинается только с полуночи: едут туда в санях целых полчаса, и около четырех часов утра на Неве становится тесно от возвращающейся по домам публики. Это представляет удобство для тех, кто уезжает с ранними поездами: можно поужинать со знакомыми и затем отправляться прямо на вокзал, не затрудняя ни других, ни себя ранним вставанием.

Джордж и Гаррис согласились со мной, что долго в Берлине оставаться не стоит, а лучше ехать прямо в Дрезден. Везде можно увидеть то же самое, что в Берлине, за исключением, конечно, самого города; поэтому мы решили просто покататься и осмотреть достопримечательности. Швейцар гостиницы представил нам обыкновенного извозчика, говоря, что он все покажет и объяснит в самый короткий промежуток времени. Мы согласились. Как было условлено, извозчик явился за нами в девять часов утра; это был разумный, бойкий, знающий человек, по-немецки он говорил чисто и понятно и даже знал несколько слов по-английски, которые прибавлял для усиления речи. Словом, сам извозчик был отличный; но его лошадь... Более не симпатичного животного я не встречал!

Она отнеслась к нам самым враждебным образом, лишь только увидела нас. Я вышел из подъезда первым. Она посмотрела сбоку и оглядела меня с ног до головы холодным, подозрительным взглядом. Потом повернулась к знакомому коню, стоявшему перед ней нос к носу, и заметила (лошадь была так беззастенчива, а ее морда так выразительна, что я не мог бы ошибиться):

— Какие чучела встречаются в летний сезон!

В эту минуту вышел Джордж и остановился рядом со мной на тротуаре. Лошадь опять оглянулась и посмотрела на моего друга... по всему ее туловищу пробежала дрожь, даже не дрожь, а судороги, на какие я считал способными только жирафов. Очевидно, Джордж произвел еще более отвратительное впечатление, чем я.

— Поразительно!.. — заметила она опять, обращаясь к знакомому. — Вероятно, есть такое место, где их специально выращивают.

И противная лошадь принялась слизывать у себя с левого плеча мух, словно лишилась в раннем детстве родной матери и выросла под присмотром кошки. Мы с Джорджем молча заняли свои места в экипаже в ожидании Гарриса.

Он появился через минуту. Мне лично его костюм показался очень удачным: белые фланелевые брюки до колен и такая же куртка, сшитые нарочно для катания в жаркую погоду; шляпа к этому костюму была действительно не совсем обыкновенная, но зато хорошо защищала от солнца.

Лошадь взглянула, воскликнула: «Lieben Gott!»¹ — и поехала по Фридрихштрассе, оставя на тротуаре Гарриса с извозчиком. Нас нагнали только на углу Доротеенштрассе.

Я не мог разобрать всего, что хозяин сказал своему коню, он говорил очень быстро и взволнованно, — я уловил только несколько фраз:

— Надо же мне как-нибудь зарабатывать деньги!.. Твоего мнения никто не спрашивает. Чего ты вмешиваешься? Знай свое дело, пока дают есть.

Лошадь прервала выговор очень просто, тронувшись дальше по Доротеенштрассе.

— Ну так поедем, нечего разговаривать! — отвечала она ясным лошадиным языком. — Только будем по возможности держаться боковых улиц.

Перед Бранденбургскими воротами извозчик остановился, сложил кнут и вожжи и, сойдя с козел, начал нам рассказывать о Тиргартене и Рейхстаге. Сообщив его точную длину, ширину и высоту (как настоящий гид), он только сравнил их с афинскими «проповерлеями», как лошадь перестала лизать себе ноги и оглянулась на хозяина; она ничего не сказала, только посмотрела. Он запнулся и начал нервно рассказывать сначала, на этот раз ворота вышли у него похожими на «порпирлеи»...

Лошадь не стала больше слушать и повернула назад по Унтер ден Линден. Извозчик успел вскочить на козлы, но не мог уговорить ее вернуться, куда он хотел. Она продолжала бежать рысцей, и по движению ее плеч видно было, что она говорила примерно следующее:

¹ Боже мой! (нем.)

— Ведь они уже видели ворота, чего ж еще? Довольно с них. А подробностей ты сам не знаешь, да они и не поняли бы тебя, даже если б ты знал все отлично.

Так продолжалось наше катание по всем главным улицам; лошадь соглашалась останавливаться на минуту, чтобы дать нам расслышать названия мест, но все объяснения и описания прерывала моментально, преспокойно трогаясь дальше. Она рассуждала правильно: «Ведь им нужно только рассказать дома, что они видели. Если же я ошибаюсь и они умнее, чем кажутся на вид, то могут прочесть где-нибудь и узнать больше, чем от моего старика, который видел только один путеводитель. Кому может быть интересно, сколько футов в какой-нибудь башне? Ведь это забудешь через пять минут! А кто вспомнит, у того, значит, нет ничего другого в голове. Хозяин раздражает меня своей болтовней. Всем нам давно пора завтракать!»

Подумавши, я, право, не могу упрекнуть это белоглазое животное в глупости. Во всяком случае, мне потом случилось иметь дело с такими гидами, при которых я был бы рад вмешательству чудаковатой лошади.

Но «мы не ценим милостей», как говорят шотландцы, и в тот день на голову странной лошади сыпались не благословения, а жестокие укоры.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Недогадливость Джорджа. — Любовь к порядку. — Воспитанные птицы и фарфоровые собаки. — Их преимущества. — О том, какой должна быть горная долина. — Август Сильный. — Гаррис дает представление. — Равнодушие публики. — Джордж, его тетя, подушка и три барышни.

Где-то на полпути между Берлином и Дрезденом Джордж, долго смотревший в окно, спросил:

— Почему это в Германии люди прибивают ящики для писем не к дверям своего дома, как у нас, а к стволам деревьев? Да еще у самой верхушки! Меня бы раздражало лазить каждый раз так высоко, чтобы посмотреть, нет ли писем. И относительно почтальона это жестоко: я уже не говорю о неудобстве, но при сильном ветре, да еще с мешком

за плечами, это положительно опасно. Впрочем, я, может быть, напрасно осуждаю немцев, — продолжал он, видимо, под впечатлением какой-то новой мысли. — Может быть, они применили к обыденной жизни усовершенствованную голубиную почту? Но все-таки непонятно, почему бы им в таком случае не обучить голубей опускаться с письмами пониже. Ведь даже для нестарого немца должно быть утомительно лазить по деревьям.

Я проследил за его взглядом и отвечал:

— Это не ящики для писем, это гнезда. Ты все еще не понимаешь германского национального духа. Немец любит птиц, но они должны быть аккуратны. Если птица предоставлена собственному произволу, она настроит гнезд где попало, а между тем это вовсе не красивый предмет с немецкой точки зрения: гнездо не выкрашено, нет на нем ни лепной работы, ни флага; оно даже не закрыто — птицы выбрасывают из него веточки, огрызки червей и всякую всячину; они не деликатны: они ухаживают друг за другом, мужья ссорятся с женами, жены кормят детей — все на виду! Понятное дело, это возмущает немца-хозяина; он обращается к птицам и говорит: «Вы мне нравитесь, я люблю на вас смотреть, люблю ваше пение, но мне вовсе не нравятся ваши манеры, и я предпочел бы не видеть изнанки вашей семейной жизни. Вот, получите закрытые деревянные домики! Живите в них как угодно, не пачкайте моего сада и вылетайте тогда, когда вам хочется петь».

В Германии вдыхаешь пристрастие к порядку вместе с воздухом, здесь даже грудные дети отбивают так погремушками; птицам пришлось подчиниться общему вкусу, и они уже соглашаются жить в деревянных ящиках, считая, в свою очередь, невоспитанными тех родных и знакомых, которые с глупым упорством продолжают вить себе гнезда в кустах и изгородях. Со временем весь птичий род будет, конечно, приведен к порядку. Теперешний беспорядочный писк и щебетанье исчезнут, каждая птица будет знать свое время, и, вместо того чтобы надрываться без всякой пользы в четыре часа утра в лесу, горластые певцы будут прилично петь в садах при пивных, под аккомпанементы рояля. Все ведет к этому: немец любит природу, но он хочет довести ее до совершенства, до блеска «Созвездия Ли-

ры». Он сажает семь роз с северной стороны своего дома и семь роз с южной, и если они растут не одинаково, то он не может спать по ночам от беспокойства. Каждый цветок у него в саду привязан к палочке, из-за нее не видно иногда самого цветка, но немец покоен: он знает, что цветок там, на месте, и что вид у него такой, какой должен быть. Дно пруда он выкладывает цинком, который вынимает потом раз в неделю, тащит в кухню и чистит. В центре садовой лужайки, которая иногда бывает не больше скатерти и непременно окаймлена железной оградкой, помещается фарфоровая собака. Немцы очень любят собак, но фарфоровых больше, чем настоящих: фарфоровая собака не роет в саду ям, чтобы прятать остатки костей, и цветочные клумбы не разлетаются из-под ее задних лап по ветру земляным фонтаном. Фарфоровый пес — идеальный зверь с немецкой точки зрения: он сидит на месте и не пристаёт ни к кому; если вы поклонник моды, то его очень легко переменить или переделать согласно с новейшими требованиями «Собачьего клуба»; а если придет охота пооригинальничать или сделать по собственному вкусу, то можно завести особенную собаку — голубую или розовую, а за небольшую плату даже двухголовую. Ничего этого нельзя добиться от живой собаки.

В определенный день осенью немец пригибает все цветы к земле и прикрывает их японскими циновками, а в определенный день весной вновь открывает их и подвязывает к палочкам. Если теплая, светлая осень держится слишком долго или весна наступает слишком поздно, тем хуже для цветов. Ни один серьезный немец не изменит своих правил из-за капризов солнечной системы; если нельзя управлять погодой, то можно не обращать на нее внимания.

Среди деревьев самой большой любовью в Германии пользуется тополь. В других, неопрятных, странах могут воспевать косматый дуб, развесистый каштан, колышущийся вяз. Но немцу все это режет глаз. Тополь гораздо лучше: он растет над тем местом, куда его посадили и как его посадили; характер у него не бестолковый, нет у него нелепых фантазий, не стремится он ни лезть во все стороны, ни размахивать ветками. Он растет так, как должно расти порядочное дерево, и постепенно все деревья в Германии заме-

няются тополями. Немец любит природу, но при том условии, при котором одна дама соглашалась любить дикарей, а именно чтобы они были воспитанные и больше одеты. Он любит гулять в лесу, если дорожка ведет к ресторану, если она не слишком крута, если по бокам через каждые двадцать шагов есть скамеечка, на которой можно посидеть и вытереть лоб. Потому что сесть на траву так же дико для немца, как для английского епископа скатиться с верхушки холма, на котором устроены народные гулянья. Немец охотно любит видом с вершины горы, если там прибита дощечка с надписью, куда и на что глядеть, и если есть стол и скамейка, чтобы можно было не разорительно освежиться пивом и закусить принесенными с собой бутербродами. Если тут же на дереве он усмотрит полицейское объявление, запрещающее ему куда-нибудь повернуть или что-нибудь делать, то это одаривает его чувством полного удовлетворения и безопасности.

Немец одобряет даже дикую природу, если она не слишком дикая; в случае излишества дикости он принимается за работу и подчиняет себе все, что нужно. Я помню, как однажды забрел в окрестностях Дрездена в прелестную узкую долину, спускавшуюся к Эльбе. Дорожка вилась рядом с горным потоком, который ревел и рвался, весь в пене, среди гольшей и леса, покрывавшего берега. Я шел все дальше и дальше, совсем очарованный, как вдруг за крутым поворотом увидел человек сто рабочих, которые деятельно вычищали долину и приводили в порядок горный поток: валуны и скалы, мешавшие течению воды, выкапывались и вывозились на телегах; по выровненным берегам шла деятельная кладка кирпичей на цементном растворе; нависшие деревья и кусты, запутанные побегии ползучих растений — все это вырывалось с корнем или вытягивалось в одну линию. Пройдя еще дальше, я дошел до того места, которое было уже подчинено предписанным правилам красоты: широкая, гладкая полоса воды медленно и сонно текла по песчаному горизонтальному дну, которое через каждые сто метров осторожно спускалось по трем широким деревянным ступеням; вдоль берегов тянулась каменная набережная, законченная скатом для стока дождевой воды; на одинаковое расстояние в обе стороны земля была вычищена, выровнена и

правильно засажена рядами молоденьких тополей, из которых каждый был прикрыт щитом с северной стороны и привязан к железному стержню. Местные власти надеются, что через два года эта долина будет «окончена» по всей длине и явится возможность гулять по ней. На расстоянии каждых пятидесяти метров будет стоять скамейка, каждых ста метров — полицейское объявление и каждой полумили — ресторан.

То же самое происходит с долиной Вертааль между Мемелем и Рейном — а когда-то это было одно из самых восхитительных мест Шварцвальда!.. Ни поэты, ни администраторы в Германии не любят, чтобы природа подавала дурной пример детям. Рев воды возмущает начальство. «Ну, ну! — говорит оно. — Это еще что такое? Безобразие! Извольте прекратить весь этот шум и течь прилично; не можете, что ли? Люди подумают, что они Бог знает где находятся!» И начальство одаривает местные воды цинковыми трубами, и деревянными желобами, и ступенчатыми спусками и учит их уму-разуму.

Опрятная страна, что и говорить!..

Мы приехали в Дрезден в среду вечером и остались там до понедельника. Это самый симпатичный город в Германии, но надо жить в нем, а не заезжать на несколько дней. Его музеи и картинные галереи, дворцы, сады и прекрасные окрестности полны исторического интереса; все это чарует, если проживешь целую зиму, но ошеломляет при поверхностном осмотре. Здесь нет такого веселья, как в Париже или Вене, которое скоро приедается; очарование Дрездена тише, солиднее — по-немецки, и дольше сохраняется — тоже по-немецки. Для любителя музыки Дрезден все равно что Мекка для магометан: за пять марок можно достать кресло в опере, к сожалению, вместе с чувством будущей неприязни ко всем английским, французским и американским оперным театрам.

Как-то неловко видеть в современном чинном и скромном Дрездене памятник курфюрсту Августу Сильному, которого Карлейль называет греховодником. Он оставил после себя тысячу детей и запирал излишне требовательных, по его мнению, избранниц в тюрьмы и замки, где до сих пор показывают комнаты, в которых они страдали и умирали.

Много таких замков рассыпано вокруг Дрездена — как костей на поле битвы, — и описания этих развалин в путеводителях относятся к разряду тех, которые воспитанным немецким барышням лучше не читать. Портрет этого чувственного, грубого человека висит в прекрасном музее, который он построил когда-то для боя диких зверей. Но в лице с нависшими бровями видны энергия и вкус, которыми нередко отличаются чувственные натуры. Дрезден обязан ему многими прекрасными сооружениями.

Но больше всего удивляют здесь путешественника электрические конки. Огромные, чистые, длинные вагоны несутся по улицам со скоростью от десяти до двадцати миль в час, огибая углы со смелостью машиниста-ирландца. В них ездят все, за исключением офицеров, которым это не разрешено: и носильщики с вещами, и разодетые дамы, отправляющиеся на бал, — все едут вместе. Поезд этой электрической конки внушает большое почтение: всё и все на улицах спешат дать ему дорогу; если вы зазеваетесь и попадете под блестящие вагоны, но случайно останетесь живы, то вас, поднявши, немедленно оштрафуют за недостаток почтительности.

Как-то после завтрака Гаррис отправился погулять по городу один. Когда мы в тот же вечер сидели в «Бельведере» и слушали музыку, он довольно неожиданно объявил, что немцы начисто лишены чувства юмора.

— Почему ты так думаешь? — спросил я.

— Да вот сегодня, — отвечал он, — я хотел лучше осмотреть город и поместился для этого на наружной площадке электрической конки, знаешь, на этом...

— Stehplatz?¹

— Вот именно. Ну, ты, конечно, заметил, что вагоны внезапно трогаются с места, внезапно останавливаются, а углы огибают, как ошалелые.

Я утвердительно кивнул головой.

— Нас было на площадке человек шесть, — продолжал Гаррис. — Я ведь еще не привык, и, когда вагон неожиданно двинулся, меня дернуло назад, и я повалился прямо на толстого господина, стоявшего за мной; тот, вероятно, тоже

¹ Задняя площадка трамвая (нем.).

был не особенно тверд на ногах и, в свою очередь, чуть не раздавил мальчика, державшего трубу в зеленом чехле. Ни один из них не улыбнулся, оба только надулись. Я собрался было извиниться, когда вагон вдруг замедлил ход — и я очутился в объятиях седого господина, похожего на профессора, который стоял против меня. Представь себе, что и он не улыбнулся! Ни один мускул не дрогнул на его лице!

— Может быть, он думал о чем-нибудь другом, — заметил я.

— Так не могли же все они думать о чем-нибудь другом: в продолжение пути я не пропустил ни одного из них, на всех падал по несколько раз!.. Они уже знают, когда надо крепче держаться на ногах, и неужели же им не казалось комичным то, как меня кидало во все стороны и я судорожно хватался за всех соседей! Я не говорю, что тут был тонкий, изящный юмор, но, во всяком случае, я насмешил бы у нас большинство публики. А немцы лишь скроили утомленно-кислые мины, в особенности тот, на которого я валился пять раз.

С Джорджем вышло в Дрездене маленькое приключение. На площади Старого рынка мы заметили магазин, в витринах которого были выставлены очень красивые подушки, атласные, с вышивками ручной работы. В магазине, собственно, торговали стеклом и фарфором, а эти подушки продавались здесь, вероятно, по случаю. Мы часто проходили мимо, и Джордж каждый раз останавливался и рассматривал их. Он говорил, что его тетке понравилась бы такая подушка.

Джордж очень внимателен к своей тетке, он помнил о ней во время всего путешествия: каждый день писал ей длинные письма, из каждого города посылал подарки. Помоему, он слишком усердствует; я ему доказывал, что эта тетка может встретиться с другими его тетками и рассказать обо всех подарках, другие найдут племянника несправедливым — и выйдут неприятности. У меня самого есть тетки. Я знаю, как осторожно надо себя с ними держать. Но Джордж не слушается.

И вот в субботу после завтрака он попросил нас с Гаррисом подождать и никуда не уходить, пока он сходит в этот магазин купить подушку. Мы прождали довольно долго

и удивились, когда он вернулся с пустыми руками. На вопросы о подушке он отвечал, что ничего не покупал, что раздумал и что его тетке вряд ли нужна подушка. Очевидно, ему не повезло, что-то тут было нечисто. Мы старались разузнать, в чем дело, но напрасно, он был неразговорчив, после двадцатого вопроса — или около того — он начал отвечать совсем односложно.

Тем не менее вечером, когда мы остались вдвоем, он вдруг сам заговорил откровенно:

— Эти немцы в некоторых случаях ужасные чудаки.

— А что такое? — спросил я.

— Да вот насчет подушки.

— Для тетки?

— Отчего же не для тетки? — Джордж взъерошился в одну секунду; я не встречал ни одного человека, такого щепетильного относительно теток. — Почему я не могу послать тетке подушку?..

— Не волнуйся, — отвечал я. — Я не спорю, я даже уважаю тебя за это.

Успокоившись, он продолжал:

— В окне, если помнишь, выставлено четыре штуки, все приблизительно одинаковые, и все с одинаковым ярлыком: «Цена 20 марок». Я не могу похвастаться глубоким знанием немецкого языка, но, во всяком случае, меня везде понимают, и я, в свою очередь, понимаю, что мне говорят, — конечно, если не гогочут по-гусиному. Ну вот, захожу я в магазин. Ко мне подходит миниатюрная девушка, хорошенькая и застенчивая — такая, от которой ни в каком случае нельзя было ожидать ничего подобного! Я никогда в жизни не был так поражен.

— Поражен? Чем?

Джордж имеет обыкновение перескакивать на самый конец, когда рассказывает начало истории; это ужасно неслучайная привычка.

— Поражен тем, что случилось; тем, о чем я тебе рассказываю... Она улыбнулась и спросила, чего я желаю. Я прекрасно понял ее вопрос, нельзя было ошибиться. Вот я и положил на прилавок монету в двадцать марок и говорю:

— Пожалуйста, дайте мне подушку.

Она вытаращила на меня глаза так, как будто я спросил целую перину. Я подумал, что она не расслышала, и повто-

рил то же самое громче. Если б я вздумал потрепать ее по подбородку, то и тогда ее лицо не могло бы выразить большего удивления и негодования.

— Вы, вероятно, ошиблись, — сказала она.

Мне не хотелось пускаться в длинный разговор, в котором я действительно мог бы запутаться, поэтому я указал пальцем на мои деньги и отвечал коротко и ясно:

— Ошибки нет. Дайте мне подушку. Подушку в двадцать марок.

Тут подошла другая продавщица, старше на вид. Когда первая повторила ей мои слова, та страшно взволновалась, не хотела даже сначала поверить, что я такой человек, которому может понадобиться подушка! Она сама переспросила меня:

— Вы сказали, что вам нужна подушка?

— Я сказал это уже три раза и повторю в четвертый: мне нужна подушка!

— Этого вы не получите! — отвечала тогда старшая девица.

Я начал сердиться. Если бы мне в самом деле не была нужна подушка, я мог бы выйти из магазина. Но я решил купить то, что хотел и что видел собственными глазами в витрине, с надписями, которые доказывали, что эти вещи лежат для продажи. Не обязан же я был объяснять им, для чего и для кого мне нужна подушка! Заявление старшей девицы меня возмутило, и я отвечал решительно:

— Нет, я получу подушку!

Кажется, это понятно и просто, а между тем девицы потребовали помощи, к ним присоединилась еще третья — хорошенький чертенок с блестящими глазами и задорной улыбкой. В другое время я не отказался бы поболтать с ней, но в этот раз такое подкрепление показалось мне совершенно излишним — целых три продавщицы из-за одной подушки!.. Больше никого не было в магазине, — видимо, они представляли всю его силу.

Прежде чем первые две сообщили третьей половину нашего разговора, та принялась фыркать от смеха; это была барышня именно из таких, которые готовы фыркать каждую минуту. Тут они принялись трещать без перерыва, то и дело поглядывая на меня, и скоро все трое начали давить-

ся от смеха — глупенькие девочки! Можно было подумать, что я какой-нибудь клоун.

Когда третья из них отчасти подавила свое фырканье, то подошла ко мне и спросила:

— А получив это, вы уйдете?

Я не сразу понял ее, и она повторила:

— Когда вы получите... подушку... вы уйдете... отсюда... сейчас же?

Я только о том и думал, чтобы уйти, и, понятное дело, подтвердил это. Но все-таки прибавил, что без подушки я из лавки не выйду, хотя бы мне и пришлось остаться здесь на всю ночь.

Тогда она снова присоединилась к своим подругам. Я думал, что они достанут мне с витрины подушку, и дело будет кончено. Но вместо того произошла самая удивительная вещь: две первые идиотки встали за спиной у третьей и начали подталкивать ее по направлению ко мне. Так они приближались, продолжая давить и фыркать, пока передняя не очутилась у меня под самым носом. Понятное дело, я стоял как ошалелый, и, прежде чем успел что-нибудь сообразить, она поднялась на цыпочки, положила руки мне на плечи и поцеловала меня! После этого, спрятав лицо в передник, она убежала вместе с другой, а оставшаяся отворила мне дверь с такой уверенностью, что я вышел на улицу как во сне, оставив на прилавке двадцать марок. Я не скажу, чтобы поцелуй мне был неприятен, но я его не требовал — я ждал подушку!.. Мне неохота возвращаться теперь в эту лавку. Я ничего не понимаю.

— А что ты у них спрашивал? — спросил я.

— Подушку!

— Я знаю, что тебе нужна была подушка, но каким словом ты называл ее по-немецки?

— «Ein Kuss», — отвечал Джордж.

— Ну так тебе нечего жаловаться. Ты немножко спутал: «Kuss» значит поцелуй, а не подушка, а подушка по-немецки — «ein Kissen». Ты требовал поцелуя за двадцать марок, и — судя по твоему описанию третьей барышни — можно сказать, что ты не переплатил. Но все же мне кажется, что лучше не рассказывать об этом Гаррису: мне помнится, что у него тоже есть тетка...

Джордж согласился, что лучше не рассказывать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Мистер и мисс Джонс из Манчестера. — Достоинства какао. — Способ достижения всеобщего мира. — Окна как соблазнительное средство для доказательства прав. — Проводник, его пороки. — Судьба любителей немецкого пива. — Гаррис и я делаем доброе дело. — Обыкновенная статуя. — Идеальное место — без перца. — Женщина и город.

Мы сидели на большом Дрезденском вокзале в ожидании поезда в Прагу, или, вернее, в ожидании той минуты, когда предержавшие власти выпустят нас на платформу. Джордж, ухивившись купить несколько книжек на дорогу, вернулся с растерянными круглыми глазами.

— Я их видел, — сказал он.

— Кого видел?

Он был так поражен, что даже не мог ответить связно.

— Там. Они идут сюда. Парой. Увидите сами. Я не шучу. Они живые.

Тогда в газетах много писали про морского змея, и в первую секунду мне пришло в голову, что Джордж встретился с таинственным страшилищем, но я скоро сообразил, что в центре Европы, за триста миль от берега моря, это было бы невозможно. Не успел я переспросить его, как он схватил меня за руку:

— Гляди!.. Разве не правда?

Я повернулся и увидел то, что вряд ли случается часто видеть англичанам, сидящим дома: путешествующего британца с дочерью — в таком виде, какой считается для нас обязательным, по мнению континентальных жителей. «Милорд» и «мисс», во плоти и крови представлявшие оригинал того, что, по традиции, изображается в европейских юмористических журналах и на сценах, были перед нами воочию (если это нам только не снилось) — безукоризненные до корней волос. Милорд был высок, худ, с желтыми волосами, огромным носом и длинными торжественными бакенбардами, введенными когда-то в моду любимцем публики актером Дондрери. Поверх костюма из крапчатой материи на нем было легкое пальто почти до пят. С белого пробкового шлема спускалась зеленая вуаль, на боку висел бинокль, и в руке, обтянутой сине-зеленой перчаткой, он

нес альпеншток, конец которого возвышался над его головой.

Девушка была длинная и угловатая. Я не сумею описать ее костюма, мне мог бы помочь в этом только покойный дедушка, которому ее платье показалось бы, может быть, более модным, чем мне. Я могу только сказать, что из-под него, неизвестно к чему, видны были шиколотки (если читатель позволит мне упоминать подобные вещи!), которые столь явно оскорбляли эстетическое чувство, что их следовало бы прикрыть. Ее шляпа напомнила мне старинную поэтессу, миссис Геманс. На ней были прюнелевые ботинки на резинках, вязанные перчатки без пальцев, пенсне и саквояж, привязанный к поясу; в руках она тоже несла альпеншток и общим видом походила на узкую длинную подушку на ходулях.

Гаррис бросился за своей фотографической камерой, но, конечно, напрасно. Мы уже знаем, что если Гаррис мечется во все стороны, как заблудившийся пес, и кричит: «Где моя камера? В какую пропасть она провалилась?! Неужели никто не видал, где моя камера?» — то, значит, встретилось что-нибудь такое, что достойно фотографического снимка.

Их отличала не только наружность. Медленно выступая, они главели по сторонам, рассматривая все подробно. У девушки был в руках «Путеводитель» с разговорными фразами, а у джентльмена открытый том Бедкера; обращаясь к носильщикам и лакеям, он хладнокровно тыкал их концом своего альпенштока, чтобы привлечь внимание. А барышня восклицала: «Позор!» — и отворачивалась при виде каждой рекламы какао.

В последнем случае ей можно найти оправдание: неизвестно почему, но фабриканты какао считают его питательность настолько большой, что для дам, пьющих какао, не требуется не только никакой другой пищи, но даже одежды; судя по расклеенным повсюду плакатам, в Англии для потребителей какао достаточно одного ярда кисеи, а на континенте даже и то лишнее. Но это между прочим.

Конечно, «англичане» немедленно привлекли всеобщее внимание. Их французского языка никто не понимал, а пробуя говорить по-немецки, они сами себя не понимали.

Пользуясь возможностью помочь им, я подошел и заговорил. Они были крайне любезны. Джентльмен объявил, что его фамилия Джонс и что он родом из Манчестера; но, к моему удивлению, Манчестер был ему очень мало знаком. Я спросил, куда они направляются; он отвечал, что еще не знает, что это зависит от многих обстоятельств. Я спросил, не мешает ли ему альпеншток на улицах многолюдного города; он признался, что иногда мешает. Я спросил, не трудно ли ему различать предметы сквозь вуаль; он объяснил, что вуаль предохраняет лицо от мух. Я обратился к барышне с вопросом, не находит ли она ветер слишком холодным; она отвечала, что находит — в особенности на углах...

Я, конечно, задал все эти вопросы не подряд, а среди разговора, и мы расстались очень любезно.

Поразмыслив, я пришел к определенному выводу относительно подобных явлений. Один господин во Франкфурте, которому я описал впоследствии странную пару, говорил, что он видел их в Париже через три недели после столкновения из-за Фашоды; а управляющий одного железнодорожного английского завода, встретясь со мной недавно в Страсбурге, вспоминал, что он видел их в Берлине во время возбуждения, вызванного трансваальским вопросом. По всей вероятности, это актеры, нанятые в видах сохранения международного мира. Французское министерство иностранных дел, желая унять озлобление толпы, требующей войны с Англией, наняло эту удивительную парочку и отправило их гулять по Парижу. Толпа, увидев живые образчики британских граждан, начала смеяться, и негодование превратилось в веселье, так как невозможно стремиться убить того, кто смешон. Успех этой уловки навел странствующих актеров на мысль предложить свои услуги германскому правительству, и это тоже, как видно, достигло благой цели.

Английскому правительству не следовало бы брезговать подобным примером. Было бы полезно держать в распоряжении наших министерств в Лондоне несколько толстых коротышек-французов и рассылать их по стране, когда является необходимость, пусть бегают, подергивая плечами и уплетая бутерброды с лягушками. Хорошо тоже было бы выпускать по временам ряд неопрятно одетых немцев с длинными прядями неподстриженных волос; им достаточ-

но расхаживать, дымя трубками, и говорить: «Со»¹. Наш народ смеялся бы, замечая: «Как! Воевать с такими-то? Да ведь это глупо».

Если правительство не согласно, я предложил бы этот способ Лиге мира...

В Праге мы невольно задержались, это один из самых интересных городов в Европе. Стены Праги дышат историей и поэзией; каждое ее предместье было полем брани. Это город, в котором действительно могла зародиться Реформация и Тридцатилетняя война. Но невольно думается, что в Праге происходило бы вдвое меньше волнений, если бы не соблазнительно широкие окна старых зданий. Первая из исторических катастроф началась там с того, что из окон ратуши выбросили семь ратманов прямо на пики толпившихся внизу гуситов. Вторая знаменитая буча была в старом замке на Градчанах, здесь выбросили из окон имперских советников.

Если иные вопросы и решались миром, то, вероятно, потому, что они обсуждались в темных подземельях, а окна представляют для истинного пражанина слишком увлекательный довод для доказательства правоты.

В Тынской церкви стоит изъеденная червями кафедра, с которой проповедовал Ян Гус. Здесь раздается теперь голос католического священника, тогда как в далеком Констанце полужаросший плющом камень обозначает место, где Гус и Иероним умерли на костре. История любит посмеяться над человечеством!.. В этой же Тынской церкви покоится прах Тихо де Браге, известного астронома, который, однако, защищал старое заблуждение, думая, что Земля представляет центр вселенной.

По грязным, словно бы сплюснутым переулкам Праги не раз спешили слепой Жижка и свободомыслящий Валленштейн. Крутые спуски и извилистые улицы упорно осаждались легионами Сигизмунда и жестокими таборитами, испуганные протестанты скрывались от императорских войск, в городские ворота ломились саксонцы, баварцы и французы, а на мостах теснились «святые» Густава Адольфа.

Присутствие евреев всегда составляло отличительную черту Праги. Иногда они присоединялись к взаимной рез-

¹ Так! (нем.)

не христиан друг с другом, и флаг, развевающийся над сводами «Становой школы» — одной из синагог, доказывает, как храбро они помогали Фердинанду против шведов-протестантов. Еврейский квартал в Праге — гетто — один из древнейших в Европе; восемьсот лет тому назад маленькие тесные синагоги были переполнены молящимися, а их жены благоговейно слушали из-за массивных стен с проделанными для этого отверстиями. Прилегающее к гетто кладбище, «Дом живых», представляет место, где должны покоиться останки каждого пражского еврея, поэтому с течением столетий тесное место переполнилось костями и могильные памятники лежат грудками, словно вывернутые духом тех, кто борется за свое место под землей...

Стены гетто постепенно уничтожаются, но евреи все еще держатся родного места, хотя там растет теперь новый великолепнейший квартал.

Когда мы были в Дрездене, нам советовали не говорить в Праге по-немецки, расовая вражда чехов к немцам так сильна во всей Богемии, что лучше не высказывать своей приверженности к народу, влияние которого среди чехов уже не то, что было прежде.

Тем не менее мы говорили по-немецки, иначе нам пришлось бы совсем молчать. Чешский язык считается очень древним и разработанным, в его азбуке сорок две буквы — это для нас похоже на китайщину, такому языку шутя не научишься. Мы решили, что безопаснее объясняться по-немецки, чем рисковать. И действительно, никаких неприятностей не вышло. Может быть, мы обязаны этим сообразительности, чуткости чехов: они могли заметить какую-нибудь микроскопическую ошибку в грамматике, какой-нибудь намек на иностранный акцент — и догадаться, что мы не немцы! Впрочем, утверждать этого я не могу.

Для безопасности мы все-таки взяли гида. Безупречно го гида я никогда не встречал, но у этого было два крупных недостатка. Первый из них заключался в том, что он слабо говорил по-английски, даже трудно было назвать это английским языком. Впрочем, его нельзя винить: он учился у дамы-шотландки. Я порядочно понимаю шотландское наречие — для того, кто не хочет отстать от современной английской литературы, это необходимо, но все тонкости, да еще изменения по правилам немецкой грамматики, да при

славянском акценте — просто убивают всякую сообразительность! Сначала нам постоянно казалось, что наш гид задыхается и вот-вот умрет у нас на руках. Но в продолжение дня мы привыкли и отделались от инстинктивного стремления валить его на спину и раздевать, лишь только он открывал рот. К вечеру мы стали даже понимать половину его речи и таким образом открыли второй порок этого человека: оказалось, что он изобрел средство для ращения волос и уговорил одного из местных аптекарей изготавливать и продавать его. Половину времени он употреблял на то, что описывал будущее счастливое состояние человечества, когда оно будет пользоваться его снадобьем. Так как мы одобрительно прислушивались к его восторженным звукам — полагая, что последние относятся к красоте видов и зданий, — то он увлекся окончательно, и не было никакой возможности отвлечь его от излюбленной темы. Старинные дворцы и развалины церквей вызывали в нем презрительное отношение, как пустыки, потрафляющие болезненным декадентским вкусам. Что нам за дело до героев с отбитыми головами? Какой смысл в изображениях лысых святых? Мы должны интересоваться живущим человечеством: девушками с роскошными волосами и юношами со свирепыми усами, какие изображены на этикетках «Копгео»!.. Подсознательно он разделял всю историю мира на две эпохи: старую — с болезненным, озлобленным родом людским (до употребления «Копгео»), и новую — с веселым, круглолицым, счастливым человечеством (после появления «Копгео»). При подобных взглядах трудно быть гидом в средневековом городе.

Он прислал нам по бутылке своего снадобья в гостиницу. Оказалось, что мы настоятельно просили его об этом при самом начале знакомства. Я лично не берусь ни хвалить, ни бранить новое средство: мне столько раз приходилось испытывать разочарования, что я больше никаких средств не пробую; и кроме того, «Копгео» слегка пахнет керосином, что вовсе неудобно для женатого человека. Джордж отослал все три бутылки своему знакомому в Лидс.

В Праге нам в свою очередь удалось оказать Джорджу серьезную услугу. С некоторого времени мы стали замечать, что он сильно увлекается пильзенским пивом; это восхитительный напиток, в особенности в жару, но коварный!

С ним надо быть осторожным: голова от него не кружится, а между тем фигура портится ужасно. Въезжая в Германию, я всегда говорю себе: «Ну, пива я пить не стану. Гораздо лучше местное вино с содовой и изредка стакан воды из щелочного источника. А пива — никогда! Или почти никогда...»

Это благонамеренное решение, я советую придерживаться его всем путешественникам. Только выполнить его трудно. Джордж, например, сразу же отказался связывать себя обещанием.

— В умеренном количестве пиво даже полезно. Пара стаканов в день никому не может принести вреда!

Может быть, Джордж и прав; нас тревожили не пара стаканов, а полдюжины, которые он выпивал.

— Это надо прекратить, — сказал Гаррис. — Дело становится серьезным.

— Джордж объясняет это наследственностью, — отвечал я, — у них в роду все страдали хронической жаждой.

— Так на это есть «Аполлинарис», его можно пить с лимонным соком сколько угодно. Меня беспокоит фигура Джорджа, он скоро потеряет всю свою стройность, — беспокоился Гаррис.

Судьба благоприятствовала нашему намерению, и скоро план борьбы был готов.

В это время в Праге для украшения города собирались воздвигнуть новую статую — памятник кому-то, я забыл кому. Статуя была обыкновенная, как полагается: человек с вытянутой шеей верхом на вздыбленном коне. Но отдельные фрагменты статуи были чрезвычайно оригинальны: человек держал в вытянутой руке не меч, а собственную шляпу с перьями, а у лошади, вместо обычного для таких памятников роскошного водопада хвоста, торчал такой жалкий огрызок, что поневоле являлось сомнение, стала бы кляча с подобным хвостом гарцевать на задних ногах.

Памятник стоял на небольшой площади, недалеко от моста, но он был установлен там временно: городские власти благоразумно решили сначала провести опыт и убедиться, где самое лучшее место для памятника. С этой целью с него были сняты три дощатые копии, простые и грубые, но такой же величины; получились профили, на которые, конечно, невозможно было смотреть вблизи, но на из-

вестном расстоянии они давали верное представление об оригинале. Профили эти были расставлены на всех подходящих для памятника местах: одна подле моста Франца-Иосифа, другая на открытом месте за театром и третья посреде Вацлавской площади.

— Если Джордж всех этих статуй не заметил, — сказал Гаррис (мы с ним гуляли вдвоем, так как Джордж остался в гостинице писать тетке письмо), — то мы его исправим сегодня же вечером. Он станет опять и добродетельным, и стройным.

За обедом мы осторожно исследовали почву, оказалось, что Джордж не имеет представления о копиях статуи. И вот, отправившись вечером гулять, мы повели его прямо к настоящему памятнику. Он хотел ограничиться, по обыновению, поверхностным осмотром и идти дальше, но мы подвели его вплотную и настояли на том, чтобы внимательно осмотреть памятник. Четыре раза обвели мы Джорджа вокруг статуи, чтобы он запомнил мельчайшие подробности; рассказали ему историю человека, которому сооружен памятник, сообщили имя скульптора, точную величину и точный вес статуи. Кажется, ему все это сильно надоело, но мы все-таки не отстали, пока он не был насыщен информацией, как губка водой; он, наверное, ни о чем на свете никогда не знал так много, как в тот вечер о памятнике. Отошли мы наконец только с тем условием, чтобы завтра утром он пришел еще раз полюбоваться статуей при дневном свете, и, кроме того, заставили его тут же, при нас, записать точно место, на котором стоит памятник.

Затем мы зашли в любимую пивную Джорджа, сели рядом и, пока он угощался, рассказывали разные истории о людях, которые сходили с ума от пива, умирали молодыми от пива и принуждены были расставаться с прекрасными возлюбленными — тоже от пива.

Часов в десять мы тронулись домой. Было ветрено, мрачные рваные тучи быстро неслись по небу, закрывая по временам бледную луну.

— Мы пойдем другой дорогой, — сказал Гаррис. — Можно вернуться в гостиницу по набережной. Там должно быть дивно при лунном свете!

Пока мы шли, Гаррис рассказал историю об одном сумасшедшем, которого он видел на свободе последний раз в

такую же точно ночь, они шли вдвоем по набережной Темзы, и знакомый страшно испугался: ему привиделась у Вестминстерского моста статуя герцога Веллингтона, тогда как всем известно, что она стоит на Пикадилли.

В эту минуту мы подошли к первой из трех копий. Она стояла на маленькой загороженной площадке, прямо против нас, по другую сторону улицы. Джордж внезапно остановился и прислонился к напарету набережной.

— Что такое? — спросил я. — Голова закружилась?

— Нет... Меня всегда поражает, как все статуи похожи одна на другую... — отвечал он глухим голосом, не отрывая взгляда от темного силуэта.

— Я не могу с тобой согласиться, — заметил Гаррис. — Картины действительно встречаются очень схожие, но в каждой статуе есть что-нибудь своеобразное. Возьмем, например, хоть тот памятник, который мы сегодня осматривали, он изображал всадника на коне; много бывает всадников на конях, но не таких...

— Напротив, совершенно таких же! — раздраженно возразил Джордж. — Вечно и лошадь та же самая, и всадник тот же самый! Глупо не соглашаться с этим.

Он, казалось, сердился на Гарриса.

— Почему ты так думаешь? — спросил я.

— Почему я так думаю? — и Джордж быстро повернулся ко мне. — Да ты посмотри на эту штуку!

— На какую штуку?

— Да вот эту!.. Посмотри, та же лошадь с остатком хвоста стоит на задних ногах, тот же человек без шляпы, тот же...

— Это ты рассказываешь, — перебил Гаррис, — о памятнике на Рингплатце.

— Нет! Я говорю об этом памятнике!

— О каком «этом»? — спросил Гаррис.

Джордж поглядел на него, но Гаррис мог бы быть отличным актером: его лицо выражало только дружеское сочувствие, смешанное с тревогой.

Джордж повернулся ко мне. Я постарался, насколько мог, придать своей физиономии то же выражение, что было у Гарриса, прибавив от себя еще легкую укоризну.

— Позвать тебе извозчика? — спросил я мягко и нежно. — Я сейчас найду и позову!

— На кой мне дьявол извозчик? — вдруг крикнул Джордж с самой грубой неблагодарностью в голосе. — Да что вы, шутки не понимаете, что ли?.. Гулять с вами все равно что со старыми бабами! — И он быстро зашагал через мост.

— Очень рад, что ты только пошутил, — сказал Гаррис, догоняя Джорджа. — Я знаю один случай размягчения мозга, которое началось с того, что...

— Дурак!.. — перебил Джордж. — Все-то ты на свете знаешь.

Он был крайне груб.

Мы повели его мимо театра, говоря, что это самая короткая дорога; это действительно была ближайшая дорога.

На площади за театром гордо вздымался деревянный всадник на коне... Джордж взглянул — и опять остановился.

— Что с тобой? — ласково спросил Гаррис. — Не болен ли ты в самом деле?

— Я не верю, что это самый близкий путь! — проговорил Джордж.

— Напрасно не веришь. Уверяю тебя, что ближе нет дорог.

— Все равно я пойду по другой, — и Джордж свернул в сторону, оставляя нас позади.

Идя по Фердинандштрассе, Гаррис завел со мной разговор о сумасшедших домах: он утверждал, что они недостаточно хорошо устроены в Англии; один из его товарищей, находясь в сумасшедшем доме...

— У тебя, кажется, большая часть товарищей находится в сумасшедших домах! — опять грубо перебил его Джордж, желая этим сказать, что Гаррис выбирает себе друзей исключительно среди помешанных. Но Гаррис не рассердился.

— Действительно, это странно, — проговорил он задумчиво и тихо, — сколько моих товарищей сошли с ума!.. Иногда просто страшно делается.

На углу Вацлавской площади Гаррис, шагавший впереди, остановился и, засунув руки в карманы, заметил с восхищением:

— Прелестное место, не правда ли?

Мы с Джорджем тоже взглянули вперед. На расстоянии двухсот метров на фоне мрачного неба вздымался конь с жалким хвостом. Всадник, сняв шляпу, указывал ею прямо на луну. Это была самая лучшая из трех копий. При таком освещении она создавала полную иллюзию оригинала.

— Если вам не трудно... — заговорил Джордж покорным, подавленным голосом, без всяких признаков негодования или грубости, — если вам не трудно, то нельзя ли позвать извозчика?..

— Мне так и казалось, что ты нездоров, — заметил Гаррис. — Голова кружится?

— Немножко...

— Я это раньше заметил, только не хотел тебе говорить, — продолжал Гаррис. — Тебе мерещится всякая чужь, не правда ли?

— Нет, нет! Я не знаю, что это такое...

— А я знаю, — торжественно и мрачно отвечал Гаррис. — Это последствия неумеренного употребления немецкого пива! Я знал случай с одним человеком, который...

— Пожалуйста, теперь не рассказывай!.. Я вполне верю, только у меня странное чувство: не хочется ни о чем слушать...

— Это от пива, ты к нему не можешь привыкнуть.

— Вероятно!.. С сегодняшнего дня я больше пить не буду. Пиво мне вредно.

Мы отвезли Джорджа домой и уложили в постель. Он был послушен, как дитя, и все время благодарил нас.

Впоследствии, после дня, удачно проведенного на велосипедах, и отличного обеда, мы дали ему хорошую сигару, убрали все вещи с ближайших столов и затем рассказали, как мы его вылечили.

— Вы говорите, сколько там было этих деревянных копий со статуи? — спросил Джордж, когда мы кончили.

— Три.

— Только три? Это точно?

— Точно! — отвечал Гаррис. — А что?

— Нет, я так... Ничего.

Но, кажется, Джордж не поверил другу...

Из Праги мы направились в Нюрнберг через Карлсбад. Говорят, что истинные немцы, умирая, едут в Карлсбад, как американцы — в Париж. Но это сомнительно: удобств здесь нет никаких. Здесь полагается вставать в пять часов и отправляться «гулять» вокруг шпруделя¹ и оркестра музыки, в страшной давке. Здесь слышно больше языков, чем

¹ Источника (нем.).

при Вавилонском столпотворении. Польские евреи, русская аристократия, китайские мандарины, турецкие паши, норвежцы, имеющие такой вид, словно они только что сошли со страниц Ибсена, француженки с парижских бульваров, испанские гранды, английские графини, черногорцы, миллионеры из Чикаго... Здесь можно достать всю роскошь современной цивилизации за исключением перца. Перец считается отравой для здешних пациентов, и те, кто не в состоянии или не обязаны придерживаться диеты, выезжают на пикники в те места, где можно на свободе насладиться перечной оргией.

Путешественника, ожидающего от Нюрнберга впечатлений средневекового города, ждет разочарование. Романтических видов и поэтических уголков здесь немало, но они окружены и скрыты современной архитектурой. Собственно говоря, город — как женщина — настолько стар, насколько он кажется старым; возраст Нюрнберга несколько замаскирован свежей краской, штукатуркой и нарядным освещением, но, взглядевшись, легко заметить его морщинистые, серые стены.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Гаррис нарушает закон. — Опасности, ожидающие услужливых людей. — Преступления Джорджа. — Рай земной с точки зрения молодого англичанина. — Разочарования, ожидающие его в Англии. — Обилие развлечений в Германии. — Закон о тюфяках. — Воспитанная собака. — Невоспитанный жук. — Люди, которые делают то, что должны делать. — Дети, которые делают то, что должны делать, и другие дети. — Ограниченная свобода.

По пути из Нюрнберга в Шварцвальд каждый из нас умудрился попасть в неприятную историю.

Началось с Гарриса. Мы были тогда в Штутгарте, это прелестный, чистый, светлый городок — маленький Дрезден, даже лучше Дрездена, потому что все близко и все небольшое: небольшая картинная галерея, небольшой музей редкостей, половина дворца — и больше ничего; осмотрев все это, можно гулять и наслаждаться с чистой совестью.

Гаррис начал с того, что выказал неуважение к властям; он оскорбил сторожа: он принял его не за сторожа, а за пожарного и назвал ослом.

Хотя в Германии не позволено называть сторожей ослами, но Гаррис в данном случае был совершенно прав. Дело вышло таким образом. Мы гуляли в городском саду, когда Гаррису вздумалось перешагнуть через протянутую над травой проволоку; рядом был выход из сада — настоящая калитка, но Гаррису, вероятно, проще показалось прямо шагнуть на тротуар, что он и сделал. Стоявший у калитки сторож немедленно указал ему на табличку: «Durchgang Verboten!»¹ — и объяснил Гаррису, что он совершил противозаконный поступок. Гаррис поблагодарил (он уверяет, что не заметил объявления, хотя оно, несомненно, там было) и хотел идти дальше, но сторож потребовал, чтобы он перешагнул обратно. Тогда Гаррис логически заметил, что, переступая обратно, он вторично нарушит предписание, чего не желал бы делать. Сторож сообразил справедливость этого замечания и потребовал тогда, чтобы Гаррис сейчас же вошел опять в сад через калитку и немедленно вышел через нее же обратно. Тут-то Гаррис и назвал его ослом. Это стоило ему сорок марок и задержало нас в Штутгарте на целый день.

Вслед за Гаррисом отличился я — украл велосипед. Я не хотел ничего красть, я хотел лишь принести пользу. Мы были на платформе вокзала в Карлсруэ, когда я заметил в товарном вагоне отходившего поезда велосипед Гарриса.

Никого не было поблизости, чтобы помочь мне, и я в последнюю секунду извлек его оттуда собственными руками и торжественно покатил по платформе — как вдруг увидел настоящий велосипед моего друга, прислоненный к стене за кучей жестяных бидонов с молоком. Очевидно, я ошибся и «спас» чью-то чужую собственность.

Положение было не совсем удобное. В Англии я отправился бы к начальнику станции и объяснил ему ошибку, но в Германии этим не удовольствуются: здесь полагается водить человека по разным инстанциям, чтобы он рассказал о своем поступке по крайней мере шести разным лицам, а если кого-нибудь из них не застанешь или ему неохота слу-

¹ Проход воспрещен (нем.).

шать объяснения в данную минуту, то вас оставят переночевать до завтра. Ввиду этого я решил поставить чужой велосипед в каком-нибудь укромном месте и затем пойти прогуляться, не подымая шума. Заметив в стороне сарайчик, казавшийся очень подходящим, я только успел подкатить к нему велосипед, как меня усмотрел железнодорожный служащий в красной фуражке, похожий на отставного фельдмаршала. Он подошел и спросил:

— Что вы здесь делаете с велосипедом?

— Хочу его убрать в сарай, чтобы не мешал на дороге.

Я постарался выразить тоном моего голоса, что оказываю этим любезность, но чиновник был не из чутких людей, вместо благодарности он начал меня допрашивать:

— Это ваш велосипед?

— Не совсем, — отвечал я.

— Чей же он?

— Право, не могу вам сказать: я не знаю, чей он.

— Откуда же вы его взяли? — в этом вопросе зазвучала оскорбительная подозрительность.

— Из товарного вагона, — отвечал я с достоинством, какое только мог выразить в эту минуту. — Я просто ошибся, — прибавил я откровенно.

— Я так и думал, — сказал чиновник, не давая мне договорить, и в ту же секунду свистнул.

О том, что последовало затем, вспоминать неинтересно. Благодаря судьбе — которая бережет некоторых из нас — в Карлсруэ у меня оказался знакомый, пользующийся определенным влиянием; это было крайне удачно, и мне удалось выскользнуть из-под нависшего меча закона, но в местной полиции до сих пор думают, что, выпустив меня сухим из воды, они сделали страшный промах.

Вся эта история повергла нас в большое замешательство, из которого последовало третье преступление. Мы потеряли Джорджа, и он отличился пуще всех. Впоследствии выяснилось, что он ждал нас у дверей полицейского управления; но нам очень хотелось уехать поскорее, мы его не заметили, не подумали хорошенько и, решив, что он уехал вперед, вскочили в первый же поезд, проходивший в Баден.

Бедный Джордж, устав от напрасного ожидания, пришел на вокзал и убедился, что мы уехали вместе со всем ба-

гажом и его деньгами, бывшими у меня в кармане как у общественного кассира. Оставленный на произвол судьбы, с несколькими мелкими монетами в кошельке, Джордж махнул рукой на все законы и решил идти напролом, по пути позора и бесчестья.

Когда мы с Гаррисом прочли перечень всех его преступлений, указанных в присланной из суда повестке, у нас волосы стали дыбом.

Надо сказать, что путешествовать по Германии — дело довольно сложное. Вы покупаете на станции билет с обозначением места, откуда и куда едете; вы думаете, что этого достаточно, но сильно ошибаетесь. Поезд подходит; вы стараетесь пробиться сквозь толпу и занять место, но кондуктор отстраняет вас величественным мановением руки: где доказательство на право проезда? Вы показываете билет, но он объясняет, что билет ничего не значит, это лишь первый шаг; теперь надо идти в кассу и прикупить другой билет — на право проезда в скором поезде. Вы идете, покупаете и возвращаетесь в радостном настроении, думая, что все тревожения кончены. Действительно, вас пускают в вагон, но тут выясняется, что сесть вы не имеете права. Вы обязаны взять третий билет — плацкарту — и сидеть на указанном месте, пока вас не привезут куда следует.

Я, право, не знаю, что может выйти, если человек купит первый билет, дающий ему право проезда, но откажется от второго и третьего. Заставят ли его бежать за поездом? Или позволят приклеить на себя билет и поместиться в товарном вагоне?.. И что сделают с пассажиром, который, имея добавочный билет для скорого поезда, откажется купить плацкарту? Положат ли его на сетку для зонтиков или позволят висеть за окном?..

У Джорджа хватило денег только на билет третьего класса в почтово-пассажирском поезде. Чтобы избежать разговоров с кондукторами, он подождал, пока поезд тронется, и уже тогда вскочил в него. Тут и начались преступления нашего друга, предусмотренные законом:

«Вскакивание в поезд на ходу».

«Вскакивание в поезд, несмотря на замечание железнодорожного служащего».

«Езда в скором поезде с билетом для обыкновенного пассажирского».

«Отказ доплатить разницу в цене». (Джордж говорит, что он не отказывался, а просто ответил, что у него нет добавочного билета и нет денег, и предложил, вывернув карманы, все, что у него нашлось, — около тридцати пфеннигов.)

«Проезд в вагоне высшего класса, чем указан на билете».

«Отказ доплатить за это разницу в цене». (Джордж говорит, что, не имея денег, он согласился перейти в третий класс, но третьего класса в поезде не было; предложил поместиться в товарном вагоне, но они об этом и слушать не хотели.)

«Сидение на нумерованном месте». (Ненумерованных мест не было вовсе.)

«Хождение по коридору». (Трудно сообразить, что ему оставалось делать, когда они не позволяли сидеть.)

Но объяснения в Германии не допускаются, то есть им не придают никакого значения, и путешествие бедного Джорджа от Карлсруэ до Бадена обошлось в конце концов в такую цену, какую, по всей вероятности, не платил еще ни один путешественник.

Легкость, с которой постоянно попадаешь в Германии в какую-нибудь историю, наводит меня на мысль, что это идеальная страна для молодого англичанина; студентам, молодым кандидатам на судебные должности, офицерам запаса армии на половинном жалованье развернуться в Лондоне очень трудно: для среднего здорового юноши британской крови развлечение тогда только доставляет истинное удовольствие, если оно является нарушением какого-нибудь закона. То, что не запрещено, не может дать ему полного удовлетворения. Попасть в затруднительное положение, «вляпаться в историю» для юного англичанина — блаженство, а между тем в Англии это требует большого упорства и настойчивости со стороны любителя приключений.

Я как-то беседовал на эту тему с одним почтенным знакомым, церковным старостой. Мы не без тревоги просматривали с ним 10 ноября¹ дневник происшествий: у него есть собственные сыновья, а у меня на попечении находит-

¹9 ноября сходятся два торжества: день рождения принца Уэльского и вступление в должность нового лорд-мэра. — *Прим. пер.*

ся племянник, который, по мнению любящей матери, пребывает в Лондоне для изучения инженерного искусства. Но знакомых имен среди молодежи, взятой накануне в полицию, не числилось, и мы разговорились об общем легкомыслии и испорченности юношества.

— Удивительно, — заметил мой друг, — как крепко держатся традиции... Когда я был молод, этот вечер тоже обязательно кончался скандалом в ресторане «Крайтирион».

— Бессмысленно это! — заметил я.

— И однообразно!.. Вы не можете себе представить, — говорил он, не сознавая, что по его суровому лицу разливаются мечтательное выражение, — как может надоесть хождение по знакомой дороге в полицейский участок. А между тем, что же нам оставалось делать? Положительно ничего! Если мы, бывало, потушим фонарь на улице, придет человек и зажжет его опять; если начнем оскорблять полисмена, он не обращает ни малейшего внимания, как будто не понимает, а если понимает, то ему все равно. Когда пришло желание устроить потасовку со швейцаром у театрального подъезда, то это кончалось большею частью его победой и пятью шиллингами отступного с нашей стороны, полное же торжество над ним обходилось в десять шиллингов. Это развлечение не привлекало меня, и я испробовал однажды то, что считалось у нас верхом молодечества: вскочил на козлы кеба, хозяин которого сидел в трактире на Дин-стрит, и отъехал, изображая извозчика. На углу первой же площади меня подозвала барыня с тремя детьми, из которых двое ревели, а третий наполовину спал. Прежде чем я успел сообразить, что следует спастись бегством, она всунула малышей в кеб, заплатила мне вперед шиллингом больше, чем следовало (так она сама сказала), и дала адрес, куда везти детвору, — на другой конец города. Лошадь оказалась уставшая, и мы плелись битых два часа. Более скучного развлечения я в жизни своей не испытывал! Два раза отворял я окошечко и принимался уговаривать детей вернуться к маме, но каждый раз младший подымал неистовый рев. Когда я предлагал другим извозчикам взять у меня седоков, они большею частью отвечали словами популярной тогда песни: «Не далеко ли, друг мой, ты зашел?..» Один из них предложил передать моей жене все прощальные распоряжения,

а другой обещал собрать шайку и освободить меня, когда схватят.

Садясь на козлы, я представлял себе шутку совсем иначе: я думал о том, как завезу какого-нибудь ворчливого старика, отставного военного, миль за шесть от того места, куда ему нужно, в безлюдную местность, и оставлю его на тротуаре браниться. Из этого могло бы выйти развлечение — в зависимости от обстоятельств и от джентльмена, — но мне в голову не приходило, что придется отвозить на другой конец города беспомощных ребятишек. Да! В Лондоне, заключил мой друг, представляется очень мало возможностей развлечься на противозаконном основании.

Я советовал бы нашей молодежи, любящей пошуметь, отправляться на время в Германию, не стоит только покупать сразу обратных билетов, так как срок — два месяца, а в этот промежуток времени можно не успеть выпутаться из всех последствий «развлечений».

Здесь запрещается делать многое, что делать очень легко и очень интересно; существуют целые списки запретных поступков, от которых пришел бы в восторг молодой англичанин. Он может начать с самого утра, стоит только вывесить из окна тюфяк — здесь запрещается вывешивать из окон тюфяки. Дома он может вывеситься хоть сам: никому это не мешает и никто ему не запретит, лишь бы он не разбивал при этом окон и не вредил прохожим. Затем, в Германии запрещается гулять по улицам в таком платье, которое может показаться фантастическим; один мой знакомый шотландец, приехав в Дрезден, провел всю первую неделю в спорах с саксонским правительством из-за своего национального костюма. Его остановили на улице и спросили, что он делает в этом платье. Он отвечал коротко и ясно, что носит его. Они спросили, зачем он его носит. Он отвечал, что для тепла. Они прямо заявили, что не верят, посадили его в карету и отвезли в гостиницу. Понадобилось личное удостоверение английского консула о том, что это действительно национальный шотландский костюм, который носят почтенные, благонадежные люди. Дрезденские власти принуждены были уступить, но вряд ли изменили свое внутреннее убеждение. Когда один англичанин, приехавший в Германию охотиться со знакомыми офицерами,

показался верхом в охотничьем костюме у подъезда гостиницы, его живо забрали в полицию вместе с конем.

В Германии запрещается кормить на улицах лошадей, ослов и мулов — своих, равно как и чужих. Если на вас найдется неудержимое желание покормить чью-нибудь лошадь, вы должны уговориться об этом заранее и явиться в назначенное место, там можете кормить сколько угодно.

Запрещается на улицах и вообще в публичных местах бить стекло и посуду, а если разбили, обязаны подобрать все осколки. Я только не знаю, что полагается с ними делать, так как ни оставлять их, ни выбрасывать нигде не разрешается, остается или носить с собой по гроб жизни, или же съесть — это, вероятно, можно.

Запрещается стрелять на улицах из самострела. Положим, никому не приходит в голову стрелять на улицах из самострела, но немецкие законы написаны не для одних нормальных людей, а также и для сумасшедших. В Германии нет закона только насчет того, что запрещается стоять на голове посреди улицы. Но в ближайшем будущем кто-нибудь из государственных людей, сидя в цирке, живо сформулирует важный, упущенный в законах пункт — и новое правило появится в числе других, аккуратно заключенное в рамку, во всех публичных местах, с указанием штрафа за его нарушение.

Это большое удобство в Германии — здесь каждый вид дурного поведения имеет определенный денежный эквивалент; сотворив какую-нибудь глупость, вам не приходится проводить бессонную ночь, как у нас в Англии, размышляя о том, что с вами за это будет: отделаетесь ли вы предостережением, или придется заплатить сорок шиллингов, или же предстанете пред очами правосудия в неудачную минуту и придется отсиживать семь дней ареста. Здесь все оценено заранее — вы можете выложить на стол все наличные деньги, открыть «полицейский регламент» и составить программу целого вечера из развлечений разнообразной стоимости.

Экономным людям я советовал бы начать с гулянья по неуказанной стороне тротуара. Это самое дешевое из запрещенных удовольствий; если выбирать безлюдные улицы, где полицейских мало, то весь вечер такого гулянья обойдется в каких-нибудь три марки.

Запрещается в германских городах ходить по улицам скопом, в особенности после захода солнца. Я не знаю, из скольких человек должна состоять компания для того, чтобы она могла быть названа скопом, и никто не мог дать мне точных объяснений. Я как-то спросил знакомого немецкого офицера, который собирался в театр со своей женой, тещей, пятью детьми, двумя племянницами и сестрой с ее женихом, не рискует ли он нарушить закон «о хождении скопом». Мой знакомый осмотрел компанию и сказал:

— Видите ли, мы все принадлежим к одному семейству.

— Да, но в параграфе ничего не говорится о «семейных скопах», там просто сказано: «запрещается ходить скопом». Вы не обижайтесь, но мне, право, кажется, что ваша компания подходит под это название. Я не знаю, как взглянет полиция, я только хотел предупредить вас со своей точки зрения.

Мой знакомый готов был тем не менее посмеяться над такой «точкой зрения», но его жена, не желая рисковать и испортить вечер в самом начале, настояла, чтобы общество разделилось на две партии и сошлось только в вестибюле театра.

Есть еще один заурадный человеческий порок, который в Германии усиленно преследуют, — выбрасывание из окна разных вещей. Кошки оправданием не считаются. В начале моего пребывания в Германии я каждую ночь несколько раз просыпался из-за кошачьих концертов; наконец, рассвирепев, я приготовил как-то вечером маленький арсенал: два-три куска каменного угля, несколько твердых груш, пару свечных огарков, яйцо (вероятно, оно было лишнее, я его нашел на кухонном столе), пустую бутылку от содовой воды и еще несколько предметов в том же роде. Когда пришло время, я открыл окно и начал бомбардировку. Сомневаюсь, чтобы я кого-нибудь ранил, я вообще не знаю ни одного человека, который хоть раз в жизни попал бы в кошку, даже при дневном свете, разве только если целился во что-нибудь другое. Мне случалось видеть известных стрелков, бравших королевские призы на состязаниях, которые без промаха попадают в самое яблочко мишени, в бегущего оленя и т. п., но пусть бы они лучше попробовали попасть в обыкновенную кошку на расстоянии пятидесяти шагов.

Тем не менее раздражавшее меня кошачье общество разошлось; может быть, им не понравилось яйцо, я и сам заметил, что яйцо не особенно свежее, когда брал его в кухню. Как бы то ни было, но, считая дело оконченным, я лег снова и собрался уснуть.

Через несколько минут грянул отчаянный звонок. Я попробовал оставить его без внимания, но это оказалось невозможным. Пришлось надеть халат и спуститься вниз. У дверей стоял полицейский, он был нагружен всеми теми предметами, которые я метал в котлов, кроме яйца.

— Это ваши вещи? — спросил он.

— Они были моими, но теперь я с ними расстался. Кто хочет, может взять их себе. Если вы хотите — пожалуйста!

Он не обратил внимания на мое предложение и продолжал:

— Вы выбросили их из окна?

— Да, выбросил.

— Отчего вы их выбросили из окна?

Немецкий городской твердо знает правило допроса, он никогда не пропустит ничего и спросит все по порядку.

— Оттого, что мне кошки мешали, — отвечал я.

— Какие именно кошки вам мешали?

Постаравшись придать голосу побольше сарказма, я отвечал, что не знаю какие, но прибавил, что если полиция соберет всех местных котлов в участок, то я согласен зайти и попробовать узнать их по голосу.

Немецкие городские шуток не понимают, да, впрочем, это и к лучшему, так как шутить с ними здесь запрещается под страхом крупного штрафа, они это называют «непочтительностью к властям».

В данном случае полицейский отвечал, что они не обязаны помогать публике различать кошек, а просто заставят меня уплатить штраф.

Я спросил, что полагается делать в Германии, если нет возможности спать из-за кошек. Он отвечал, что можно подать жалобу на их владельцев, после чего полиция сделает им предупреждение и, если окажется нужным, прикажет уничтожить животных; а когда я спросил, каким образом мне разыскать владельца какой-нибудь кошки, то он, подумав, предложил следовать за ней до места жительства. После этого я замолчал, а то пришлось бы платить слишком

много за «непочтительность к властям»; и без того мне эта история обошлась в двенадцать марок. Меня интервьюировали по этому случаю четыре полицейских, и никто из них не усомнился в важности дела.

Однако есть еще более страшное преступление, перед которым все остальные ничтожны, — это хождение по траве. Нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах в Германии ходить по траве не разрешается; ступить на нее было бы таким же святотатством, как протанцевать матросский танец на молитвенном ковре магометанина. Даже немецкие собаки воспитаны в чувствах глубокого уважения к каждой лужайке, и если вы здесь встретите собачонку, восторженно описывающую круги по траве, то можете быть уверены, что она принадлежит бессовестному иностранцу. В Англии, желая оградить место от собак, его окружают колючей проволочной сеткой, в Германии же просто ставится доска с надписью: «Хождение запрещается» — и ни один пес с немецкой кровью в жилах не подумает поставить на это место лапу. Я видел в парке старика-немца, садовника, который осторожно шагнул на траву в войлочных туфлях, поднял жука, серьезно опустил его на дорожку и постоял, чтобы убедиться, что тот не вернется на прежнее место. Бедный жук был пристыжен ужасно, поскорее спустился в канавку и повернул на первую же дорожку с надписью: «Ausgang»¹.

Роль каждой дорожки в парках строго определена, и ходить, пренебрегая указаниями, значит рисковать своей свободой и благосостоянием. Есть дороги «для велосипедистов», «для пешеходов», «для верховой езды», «для легких экипажей», «для тяжелых экипажей», «для детей» и «для одиноких дам»; меня поражает, почему нет еще специальных дорожек «для лысых» и «для потерявших невинность женщин». Это крупное упущение.

В дрезденском Большом саду я встретил однажды даму, стоявшую в полном недоумении на месте схождения семи дорожек, над каждой из них была надпись, строго воспрещавшая проход всем, кроме указанных лиц.

— Мне совестно вас беспокоить, — сказала дама, узнав, что я говорю по-английски и читаю по-немецки, — но не можете ли вы объяснить, кто я и куда обязана идти?

¹ Выход (нем.).

Я осмотрел ее внимательно и, придя к заключению, что она «взрослая» и «пешеход», указал ей соответствующую дорожку. Она посмотрела и пришла в уныние:

— Но мне совсем не туда нужно! Не могу ли я пройти этим путем?

— Боже вас сохрани: это дорожка только для «детей».

— Но я их не обижу! — заметила дама с улыбкой; действительно, трудно было думать, чтобы она могла бы обидеть детей.

— Поверьте, сударыня, — отвечал я, — что я лично смело пустил бы вас по этой дорожке, даже если бы там гулял мой старший сын. Но здесь с законами шутить нельзя, вот ваша дорога: «Для взрослых пешеходов», и я бы на вашем месте пошел, потому что стоять и сомневаться тоже не полагается.

— Но, повторяю вам, мне туда вовсе не нужно!

— Значит, должно быть нужно! — ответил я, и мы расстались.

На всех скамейках в парке тоже сделаны надписи; немецкий мальчик, чуть-чуть не сев от усталости на скамейку с надписью: «Только для взрослых», с ужасом вскакивает, заметив свою ошибку, и осторожно садится на другую — «для детей», стараясь не запачкать ее грязными сапогами.

Воображаю скамейку с надписью «Только для взрослых» где-нибудь у нас в Риджент-парке!.. Да все дети на пять миль в окружности сбежали бы, чтобы постоять или посидеть на ней хоть чуточку, и вокруг происходила бы отчаянная свалка. Ни одному «взрослому» не довелось бы отдохнуть на этой скамье никогда, так как он не в состоянии был бы пробиться сквозь толпу детишек.

А в Германии мальчуган покраснеет как рак от стыда, если ошибется и ему сделают замечание. И нельзя сказать, чтобы здесь о детях не заботились: в определенных местах, на площадях, для них сложены кучи песка, где они могут делать все, что душе угодно; но душа каждого мальчугана зреет здесь на почве такой добропорядочности, что в неуказанном месте — и из частного, а не казенного песка — изготовление пирожков не доставило бы ему никакого удовольствия. Случайно вовлеченный в подобное искушение, он не успокоился бы до тех пор, пока отец не заплатил бы положенного штрафа и не задал бы ему самому трепку.

«Kinderwagen» — детская коляска — тоже занимает в «Уставе общественной благопристойности» целые страницы. Прочтя их, начинаешь думать, что человек, благополучно провезший детскую коляску через весь город, — величайший дипломат: предписывается «не задерживаться» с ней на улицах, но запрещается катить ее скоро; запрещается на-талкиваться на прохожих, но если прохожие сами натолкнутся, то полагается «уступать им дорогу». Если вы хотите остановиться с детской коляской, то обязаны прежде отправиться на то место, где позволено останавливаться с ними, — и уж там стойте: кружиться нельзя. Через улицу катить коляску не полагается, и если вы живете на другой стороне, то это ваша собственная вина; конечно, возить ее можно только по указанным местам и оставлять нигде нельзя. Словом, если кому-нибудь из нашей молодежи охота развлечься и попасть в историю, то пусть отправляется по улицам немецкого города с детской коляской; через полчаса он будет сыт по горло.

После десяти часов вечера здесь все двери должны быть на запоре, а после одиннадцати запрещается играть на рояле. В Англии мне никогда не хотелось ни играть самому, ни слушать игру на рояле после одиннадцати часов вечера, но здесь я чувствую полное равнодушие к музыке именно до одиннадцати, а потом с наслаждением слушал бы «Цампу» или «Молитву девы»!.. Мне всегда хочется того, чего нельзя. А для немцев музыка после указанного часа уже не удовольствие, а проступок, тревожащий совесть.

Некоторая свобода предоставлена в Германии только студентам, и то до известной степени; граница этой свободы выработалась постепенно обычаем. Например, студенту разрешается засыпать в пьяном виде на улицах, но не на главных; на следующее утро полицейский доставит его без всякого штрафа домой, но при том условии, если он свалился с ног в тихом месте; поэтому, чувствуя приближение бессознательного состояния, выпивший студент спешит вернуться за угол, в переулок, и там уже спокойно протягивается вдоль канавки. В некоторых частях города им разрешается звонить для развлечения у подъездов частных домов; квартиры в этих местах более дешевы, и вам необходимо знать тайный, условный способ давать звонки во всех зна-

комых домах, иначе вы рискуете попасть под ведро воды, вылитой с верхнего этажа.

Позволяется также студентам гасить фонари, штук шесть в ночь; они уж это знают и считают сами; позволяется кричать, петь на улицах до половины третьего ночи и позволяется в некоторых ресторанах флиртовать с подавальщицами; ввиду этого в означенных ресторанах подавальщицы выбираются солидного возраста и наружности — для избежания недоразумений. Да, они большие законники, эти немцы!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Баден-Баден с точки зрения путешественника. — Раннее утро — каким оно представляется накануне. — Расстояние на карте и на практике. — Джордж идет на кампрамис со своей совестью. — Велосипеды — на объявлениях. — Велосипедисты — на дороге. — Выводка фениксов. — Самолубивый пес. — Наказанная лошадь.

О Бадене распространяться не стоит, это обыкновенное курортное место, очень похожее на другие курортные места. Отсюда мы уже по-настоящему собрались выехать на велосипедах и составили себе десятидневный маршрут по Шварцвальду, после чего хотели направиться вниз по долине Дуная — между Тетлингенем и Зигмарингенем это самое живописное место в Германии. Здесь Дунай вьется узкой лентой между старинными селениями, не тронутыми суетой мира, огибает древние монастыри, возвышающиеся среди зеленых лугов, где стада овец пасутся под надзором скромных монахов, босых, простоволосых, туго опоясанных простой веревкой. Дальше река мелькает среди дремучих лесов или голых скал, каждая вершина увенчана развалинами крепости, церкви или замка, с которых видны Вогезы. Здесь одна половина населения считает горькой обидой, если с ними заговоришь по-французски, другая — оскорбляется, если обратишься по-немецки, и обе — выражают презрение и негодование при первом звуке английской речи. Такое положение вещей несколько утомляет и затрудняет нервного путешественника.

Мы не совсем точно выполнили программу поездки на велосипедах, потому что дела человеческие всегда более скромны сравнительно с намерениями...

В три часа пополудни легко говорить с искренней уверенностью, что «завтра мы встанем в пять часов, слегка позавтракаем и в шесть уже тронемся с места».

... — И будем уже далеко, когда наступит самое жаркое время дня! — говорит один.

— А в это время года утро бывает особенно прелестно, не правда ли? — прибавляет другой.

— О, конечно!

— Свежо, легко дышится...

— И полутона так красивы!

В первое утро намерение исполнено: компания собирается в половине шестого. Все трое в молчаливом настроении, с наклоном ворчать друг на друга, на пищу, вообще на что-нибудь, лишь бы дать выход затаенному раздражению.

Вечером последнее выливается в сердитом замечании:

— Завтра, я думаю, можно выезжать в половине седьмого, это совсем не поздно!

— Но тогда мы не пройдем наш маршрут! — слабо протестует благонамеренный голос.

— Что ж с того! Человек предполагает, а жизнь располагает. И, кроме того, ведь надо подумать о других: мы поднимая в гостинице всю прислугу!

— Здесь все встают рано, — робко продолжает благонамеренный голос.

— Прислуга не вставала бы рано, если бы ее не заставляли!.. Нет, будем завтракать в половине седьмого, тогда никому не помешаем.

Так человеческая слабость прячется под предлогом доброго отношения к другим; мы спим до шести часов, уверяя совесть — которая, однако, остается при своем мнении, — что это делается из великодушия. Такое великодушие простиралось иногда, сколько мне помнится, до семи часов.

Но не только наше предположение, а и расстояние часто изменяется: на практике оно оказывается совсем не таким, каким должно быть, судя по вычислениям, сделанным астрологией.

— Семь часов, по десяти миль в час, итого семьдесят миль в день. Пустяки для велосипедиста!

— Кажется, по дороге есть холмы, на которые придется подниматься?

— Где есть подъем, там будет и спуск!.. Ну, скажем, восемь миль в час, в день, значит, около шестидесяти. Если мы и на это не способны, то, согласитесь, вместо велосипедов можно было с удобством обзавестись креслами на колесах!

Действительно, рассуждая дома, кажется, что шестьдесят миль в день совсем немного. Но в четыре часа дня, на дороге, благонамеренный голос вынужден напомнить товарищам:

— Господа! Нам бы следовало двигаться... (Он звучит уже не так уверенно, как утром.)

— Ну нет! Незачем суетиться. Отсюда прелестный вид, не правда ли?

— Да. Но не забудь, что нам до Блазена осталось двадцать пять миль.

— Сколько?

— Двадцать пять, — может быть, немножко больше.

— Значит, по-твоему, мы проехали только тридцать пять миль?!

— Да.

— Не может быть! У тебя неверная карта.

— Конечно, не может быть! — прибавляет другой недобродетельный голос. — Ведь мы едем с самого утра.

— То есть с восьми часов. Мы выехали позже, чем хотели.

— Без четверти восемь!

— Ну, в три четверти восьмого, и несколько раз останавливались.

— Останавливались, чтобы полюбоваться видом. Какой же смысл путешествовать и не видеть страны?

— И, кроме того, сегодня было так жарко, а нам приходилось подниматься по крутым дорогам!

— Я не спорю, я только говорю, что до Блазена осталось двадцать пять миль.

— И еще горы?

— Да. Два раза вверх и вниз.

— А ты говорил, что Блазен находится в долине.

– Да, последние десять миль представляют сплошной спуск.

– А нет ли какого-нибудь местечка между нами и Блазеном? Что это там на берегу озера?

– Это Титзее, совсем не по дороге. Нам бы не следовало так уклоняться.

– Нам вовсе не следует переутомляться – это даже опасно!.. Хорошенькое местечко это Титзее, судя по карте. Там, вероятно, хороший воздух...

– Хорошо, я согласен остановиться в Титзее. Это ведь вы сами решили утром, что мы доедем до Блазена.

– Ну, положим, мне все равно. Что там может быть особенно интересного, в Блазене? Какая-то глушь, долина... в Титзее, наверное, лучше.

– И близко, не правда ли?

– Пять миль отсюда.

Заключение хором:

– Остановимся в Титзее!

В первый же день нашей поездки Джордж сделал важное наблюдение (он ехал на одиночном велосипеде, а мы с Гаррисом впереди, на тандеме).

– Насколько я помню, – сказал он, – Гаррис говорил, что здесь есть фуникулеры, по которым можно подыматься на горы.

– Есть, – отвечал Гаррис, – но не на каждый же холм!

– Я предчувствовал, что не на каждый... – проворчал Джордж.

– И, кроме того, – прибавил Гаррис через минуту, – ведь ты сам не согласился бы ездить все время с гор: удовольствие всегда бывает больше, если его заслужишь.

Снова наступило молчание, которое на этот раз прервал Джордж:

– Только вы, господа, не надрывайтесь из-за меня.

– Как это?

– То есть если будут встречаться фуникулеры, то не отказывайтесь от них из деликатности относительно меня: я готов пользоваться ими, даже если это нарушит стиль нашей поездки. Я уже целую неделю встаю в семь часов и считаю, что это чего-нибудь да стоит... Вообще не думайте обо мне.

Мы обещали не думать, и езда продолжалась в угрюмом молчании, пока его снова не прервал Джордж:

— Ты говорил, что твой велосипед чьей системы?

Гаррис назвал фирму.

— Это точно? Ты помнишь?

— Конечно, помню! Да что такое?

— Ничего особенного. Я только не нахожу в нем полного соответствия с рекламой.

— С какой еще рекламой?

— С рекламой этой фирмы. Я рассматривал в Лондоне перед самым отъездом изображение такого велосипеда: на нем ехал человек со знаменем в руке; он не работал, а просто ехал, наслаждаясь воздухом; велосипед катился сам собой, и дело человека заключалось только в том, чтобы сидеть и наслаждаться. Это было изображено совершенно ясно, а между тем твой велосипед совершенно ничего не делает! Он предоставляет всю работу мне, я должен стараться изо всех сил, чтобы он продвигался вперед. На твоём месте я заявил бы фирме свое неудовольствие.

Джордж был отчасти прав. Действительно, велосипеды редко обладают такими качествами, каких от них можно ожидать, судя по рекламе. Только на одном из рисунков я видел человека, который прилагал усилия к тому, чтобы ехать, но это был исключительный случай: за человеком гнался бык. В обыкновенных же обстоятельствах — как внушают новичкам авторы заманчивых плакатов — велосипедист только и должен, что сидеть на удобном седле и отдаваться неведомой силе, которая быстро несет его туда, куда ему нужно.

В большинстве случаев изображается дама, причем вы наглядно видите, что нигде отдых для ума и тела не может так гармонично сочетаться, как при велосипедной езде, в особенности по горной местности. Вы видите, что дама несется с такой же легкостью, как фея на облаке. Ее костюм для жаркой погоды идеален. Правда, какая-нибудь старосветская хозяйка маленькой гостиницы, может быть, откажется впустить ее в столовую к общему завтраку, а недогадливый, но усердный полицейский, пожалуй, изловит ее и начнет закутывать, но она на это не обращает внимания. С горы и в гору, по дорогам, которые способны изломать паровой каток, среди снующих экипажей, телег и народа она

мчится с ловкостью кошечки, прелестная в своей ленивой мечтательности... Белокурые локоны развеваются по ветру, прелестная фигурка невесомо возвышается на седле, ножки протянуты над передним колесом, одной ручкой она зажигает папиросу, в другой держит китайский фонарик, которым помахивает над головой.

Иногда это бывает простое существо мужского пола. Он не так совершенен, как дама, но сидеть на велосипеде и ничего не делать ему все-таки скучно, поэтому он развлекается разными пустяками: стоит на седле и размахивает флагами, или пьет пиво (иногда вместо пива либиховский бульон), или, въехав на вершину горы, приветствует солнце поэтической речью... Надо же ему что-нибудь делать: ни один человек с живым характером не вынесет безделья.

Случается, что на объявлении изображена пара велосипедистов, и тогда становится очевидным, насколько велосипед удобнее для флирта, чем вышедшая из моды гостинная или всем приевшаяся садовая калитка: он и она сели на велосипеды — конечно, указанной фирмы, — и больше им не о чем думать, кроме своего сладостного чувства. По тенистым дорогам, по шумным городским площадям в базарный день они свободно летят на «Самокатах Бермондской компании несравненного тормоза» или на «Великом открытии Камберуэльской компании» и не нуждаются ни в педалях, ни в путеводителях. Им сказано, в котором часу вернуться домой, они могут разговаривать и видеть друг друга, и больше им ничего не надо... Эдвин, наклонившись, шепчет на ухо Анжелине милые, вечные пустяки, а Анджелина отворачивает головку назад, к горизонту, который у них за спиной, чтобы скрыть горячий румянец... а колеса ровно катятся рядом, солнце светит, дорога чистая и сухая, за молодыми людьми не едут родители, не следит тетка, из-за угла не выглядывает противный братишка, ничто не мешает... Ах, почему еще не было «Великого открытия Камберуэльской компании», когда мы были молоды!..

Объявления добросовестно указывают и на то, что иногда молодые люди сходят на землю и садятся под изящными ветками тенистого дерева на мягкую, высокую и сухую траву, у их ног журчит ручей, а велосипеды отдыхают после блестящего пробега. Все полно тишины и блаженства.

Впрочем, я ошибся, говоря, что велосипедисты, изображенные на объявлениях, никогда не работают, — нет, они работают, и даже с ужасным напряжением сил, покрытые крупными каплями пота, изможденные, но это их собственная вина: все происходит оттого, что они упорствуют и не хотят ехать, например, на «Патнийском любимце» или на «Баттерсийском скакуне» — как торжествующий велосипедист в центре картины, — а плетутся на каких-то жалких уродах.

И почему все эти превосходные, удивительные велосипеды так мало известны? Почему кругом видны только убогие машины, приводящие в уныние?..

Бедный, усталый юноша тоскливо отдыхает на камне у верстового столба, он слишком изнемог, чтобы обращать внимание на упорно льющий дождь... Утомленные девицы, с мокрыми, разбившимися волосами, каждую минуту смотрят на часы, боясь опоздать домой и с трудом подавляя желание браниться... А вот запыхавшиеся лысые джентльмены, ворчащие перед бесконечно длинной дорогой... Солидные дамы с темно-красным цветом лица, стремящиеся покорить противные, ленивые колеса...

Ах, отчего вы все не купили «Великого открытия Камберуэльской компании», господа?..

А может быть, велосипеды, как и все на свете, еще далеки до полного совершенства?..

Что, безусловно, очаровывает меня в Германии, так это собаки. У нас, в Англии, все породы так хорошо известны, что начинают надоедать, — все те же дворовые псы, овчарки, терьеры белые, черные или косматые, но всегда забияки, бульдоги; никогда не встретишь ничего нового. Между тем в Германии попадаются такие собаки, каких вы раньше никогда не видали, вы даже не подозреваете, что это собаки, пока они не залают. Очень интересно!

Джордж однажды остановил такую собаку в Зигмарингене, и мы начали ее рассматривать. Она внушала мысль о помеси пуделя с треской; я бы огорчился, если бы кто-нибудь мог мне доказать, что я ошибся в этом случае. Гаррис хотел сделать с нее фотографический снимок, но она влетела на отвесный забор, спрыгнула и исчезла в кустах.

Какая цель у здешних собачников, я не знаю; Джордж думает, что они хотят вывести феникса. Может быть, он и

прав, потому что нам раза два встречались удивительные звери; но мне кажется, что практический немецкий ум не удовольствовался бы фениксами, которые без толку шатались бы по дворам, зря путаясь под ногами; я склонен скорее думать, что они намерены вывести сирень на четырех ногах и затем обучить ее рыбной ловле.

Ведь немец не любит лени и не поощряет ее. По его мнению, собака — несчастное существо: ей нечего делать! Неудивительно, что она чувствует какую-то неудовлетворенность, стремится к недостижимому и делает глупости. И вот немец дает ей работу, чтобы занять праздную тварь делом.

Здесь каждый пес имеет важный, деловой вид; посмотрите, как он вышагивает, запряженный в тележку молочника, никакой чиновник не может ступить с большим достоинством! Он, положим, тележки не тащит, но рассуждает так: «Человек не умеет лаять, а я умею; отлично, пусть он тащит, а я буду лаять».

По его убеждению, это совершенно правильное распределение труда. Но он искренно принимает к сердцу дело, к которому причастен, и даже гордится им. Это приятно видеть. Если навстречу проходит другой пес, более легкомысленный и не занятый никаким делом, то происходит обыкновенно маленькая пикировка. Начинается с того, что легкомысленный отпускает какое-нибудь остроумное замечание насчет молока. Серьезный пес моментально останавливается, несмотря на огромное движение на улице:

— Извините, пожалуйста, вы, кажется, что-то сказали относительно нашего молока?

— Относительно молока? Нет, ничего... — отвечает шутник. — Я только сказал, что сегодня хорошая погода, и хотел узнать... почему теперь мел.

— А, вы хотели узнать, почему теперь мел? Да?

— Да. Благодарю вас... Я думал, что вы мне можете сообщить.

— Совершенно верно, могу. Мел теперь стоит столько, сколько...

— Ах, двигайся ты, пожалуйста, с места! — перебивает старуха молочница, которой хочется поскорее развезти по домам все молоко, так как ей жарко и она очень устала. — Не останавливайся, а то мы никогда не кончим.

– Это все равно! Разве вы не слышали, что он сказал про наше молоко?

– Ах, не обращай внимания!.. Вон конка едет из-за угла, нас тут еще задавят.

– Да, но я не могу не обращать на него внимания, у каждого есть самолюбие!.. Скажите на милость! Ему интересно знать, сколько стоит мел, а? Так пусть же слушает: мел – стоит – столько – сколько...

– Ты сейчас все молоко перевернешь! – в ужасе кричит бедная старуха, напрасно стараясь справиться с негодующим помощником. – Ах, лучше бы я тебя дома оставила!..

Конка приближается, извозчик кричит, другой серьезный пес, запряженный в тележку с хлебом, приближается рысью, надеясь поспеть на место действия, за ним с криком бежит через улицу хозяйка-девочка, собирается толпа, подходит полицейский.

– Мел – стоит – в двадцать – раз больше, чем ты будешь стоять, когда я тебя отделаю!.. – отчеканивает наконец серьезный помощник молочницы.

– О! Ты меня отделаешь?!

– Еще бы! Ах ты, внук французского пуделя! Сам только капусту ест, а еще...

– Ну вот! Я знала, что ты все опрокинешь! – восклицает бедная женщина. – Я ему говорила, что он все опрокинет!..

Но он не обращает внимания, он занят. Через пять минут, когда движение по улице восстановлено, девочка подобрала и вытерла булки и полицейский удалился, записав имена и адреса всех свидетелей, он оборачивается и смотрит на тележку.

– Да, я ее немножко перевернул! – признает он слишком очевидный факт, но затем энергично встряхивается и добродушно прибавляет: – Ну, зато я объяснил ему, «сколько теперь стоит мел!» Больше он к нам не пристанет.

– Надеюсь, что не пристанет! – уныло замечает женщина, глядя на облитую молоком мостовую.

Но главное развлечение трудящегося, запряженного пса заключается в том, что он не позволяет другим собакам перегонять себя, в особенности с горы. В этих случаях хозяйну или хозяйке остается бежать за ним, подымая по до-

роге вываливающиеся из тележки предметы: капусту, булки или крахмальные сорочки — что придется.

Под горой верный пес останавливается и, запыхавшись, ждет хозяина. Тот подходит, нагруженный товаром до подборodka.

— Хорошо сбежал, не правда ли? — спрашивает пес, высунав язык и улыбаясь от удовольствия. — Если бы не повернулся под ноги какой-то карапуз, я бы, наверное, прибежал первым. Такая досада, что я его не заметил!.. И чего он теперь орет?.. Что? Оттого, что я его свалил с ног и переехал? Так почему же он не убрался с дороги?.. Удивительно, как у людей дети валяются где попало! Понятно, их всякий топчет. Это что?! Столько вещей вывалилось? Ну, неважно же они были уложены. Я думал, вы аккуратнее... Что? Вы не ожидали, что я помчусь с горы как сумасшедший? Так неужели вы думали, что я хладнокровно позволю шнейдеровской собаке перегнуть себя? Вы могли бы, кажется, узнать меня лучше!.. Ну да, вы никогда не думаете — это уж известное дело. Все собрали? Вы думаете, что все?.. На вашем месте я бы не думал, а пошел до самого верха, чтобы убедиться. Что? Вы устали? Ну, в таком случае не обвиняйте меня, вот и все.

Упряма он ужасно: если он думает, что надо свернуть направо во второй переулочек, а не в третий, то никто не заставит его дойти до третьего; если он вообразит, что успеет перевезти тележку через улицу, то потащит и только тогда обернется, когда услышит, что ее раздавили у него за спиной; правда, в таких случаях он признает себя виновным, но в этом мало пользы. По силе и росту он обыкновенно равен молодому быку, а хозяевами его бывают слабые старики и старухи или дети. И он делает то, что сам находит нужным. Самое большое наказание для него — оставить его дома и везти тележку самому, но немцы слишком добрый народ, чтобы делать это часто.

Зачем в Германии запрягают собак, решительно непонятно; я думаю, что только с целью доставить им удовольствие. В Бельгии, Голландии и Франции я видел, как их действительно заставляют тащить тяжелую поклажу и еще бьют, но в Германии — никогда! Бить животное — здесь вообще неслыханное дело, им только читают нравоучения. Я видел, как один мужик бранил, бранил, бранил свою ло-

лошадь, потом вызвал из дома жену, рассказал ей, в чем лошадь провинилась, да еще преувеличил вину, и они оба, став по бокам лошади, еще долго, нещадно пилили ее; лошадь терпеливо слушала, но наконец не вытерпела и тронулась с места. Тогда хозяйка вернулась к стирке белья, а хозяин пошел рядом с конем, продолжая читать нравоучения.

Здесь шелканье бича раздается по всей стране с утра до вечера, но животных им не трогают.

В Дрездене на моих глазах толпа чуть не разорвала извозчика-итальянца, начавшего бить свою лошадь.

Более добросердечного народа, чем немцы, не может быть — да и не нужно!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Домик в Шварцвальде. — Его «общительность». — Его атмосфера. — Джордж не хочет спать. — Дорога, на которой нельзя заблудиться. — Мой особенный природный инстинкт. — Неблагодарность товарищей. — Гаррис и наука. — План Джорджа. — Мы катаемся. — Немецкий кучер. — Человек, который распространяет английский язык по всему миру.

Оказавшись как-то вечером в пустынной местности, слишком утомленные, чтобы плестись до города или деревни, мы остановились ночевать в одинокой крестьянской хижине. Большое очарование здешних горных домиков заключается в своеобразном общежитии: коровы помещаются в соседней комнате, лошади — над вами, гуси и утки — в кухне, а свиньи, цыплята и дети — по всему дому.

Просыпаясь, вы слышите хрюканье и оборачиваетесь.

— Здравствуйте! Нет ли у вас здесь картофельных очистков? Нет, что-то не видно... Прощайте.

Вслед за этим из-за притолоки вытягивается шея старой курицы; заглядывая в комнату и кудахтая, она любезно спрашивает:

— Прелестное утро, не правда ли? Надеюсь, я вам не помешаю, если зайду сюда позавтракать? Я принесла червячка с собой, а то в целом доме не найти спокойного местечка, поесть не дадут с удовольствием... Я с детства привыкла кушать не торопясь и теперь, когда вывела дюжину цыплят,

не успеваю проглотить ни кусочка, они все растащут!.. Ведь ничего, если я помещусь у вас на кровати? Здесь они меня, может быть, не найдут.

Пока вы одеваетесь, в дверях то и дело появляются всклокоченные детские головы; вы не можете разобрать, к какому полу принадлежат любопытствующие фигурки, но надеетесь, что к мужскому. Захлопывать дверь не имеет смысла, потому что замка в ней вовсе нет, и каждый раз она снова торжественно отворяется, не успеете вы отойти на несколько шагов. Очевидно, вы с товарищами представляете исключительный интерес, вроде странствующего зверинца.

Завтракая, вы невольно сравниваете себя с блудным сыном: на полу поместилась пара свиней, у порога топчется компания гусей, оглядывая вас с ног до головы и ехидно критикуя свистящим шепотом, иногда в окошко заглянет корова.

Это сходство с порядками Ноева ковчега служит, вероятно, причиной того особенного запаха, которым отличаются хижины в Шварцвальде; если вы возьмете розы и лимбургский сыр, прибавите туда немного помады, вереска, луку, персиков, мыльной воды и смешаете все это с запахом моря и нескольких трупов, то получите нечто подобное; различить нельзя ничего, но здесь чувствуется все, что есть на свете. Горные жители любят такой воздух, они не проветривают своих домиков и нарочно берегут в них эту «хозяйственную» атмосферу. Если вам хочется подышать запахом хвойного леса или фиалок, для этого можно выйти за порог дома; но говорят, что подобные поэтические фантазии скоро проходят и заменяются искренней привязанностью к домашнему уюту.

Так как мы собирались на следующий день пройти большой путь пешком, то с вечера решили встать как можно раньше — даже в шесть часов, если никому не помешаем. Мы спросили хозяйку, нельзя ли это устроить. Она отвечала, что можно, сама она разбудить нас не обещает, так как в этот день обыкновенно отправляется в город, миль за восемь, но кто-нибудь из сыновей уже вернется завтракать, так что услужит и нам.

Но будить нас не пришлось: мы сами не только проснулись, но и даже встали в четыре часа — не исключая Джорд-

жа. Мы не могли больше спать. Я не знаю, в котором часу встает шварцвальдский крестьянин в летнее время, нам казалось, что семья наших хозяев вставала всю ночь. Начинается с грохота грубых сапожищ на деревянной подошве — это сам глава семьи обходит весь дом, чтобы окинуть его хозяйским оком; пройдясь раза три вверх и вниз по лестнице — домик лепится к склону горы — и проснувшись как следует, он отправляется на верхний этаж будить лошадей. Оказывается, что последние тоже обязаны пройтись по всему дому, прежде чем выйти на воздух. Затем хозяин идет вниз, в кухню, и принимается рубить дрова; наколов изрядное количество, он приходит в хорошее настроение — и начинает петь. Тут поневоле решишь, что пора вставать.

Наскоро позавтракав в половине пятого, мы сейчас же вышли и отправились в путь. Нам нужно было перевалить через гору; судя по сведениям, добытым в ближайшей деревушке, заблудиться было невозможно... Бывают такие дороги: они всегда приводят к тому месту, откуда вы вышли; и еще хорошо, если приводят, тогда по крайней мере знаешь, где находишься.

Я предчувствовал неудачу с самого начала. Не прошли мы и двух миль, как дорога разделилась на три ветви. Изъеденный червями столб указывал, что одна из ветвей вела к месту, о котором мы никогда не слышали и ни на какой карте не видали; средняя надпись отвалилась совершенно и исчезла без следа; третья, несомненно, относилась к той дороге, по которой мы шли.

— Старик объяснил очень ясно, — напомнил нам Гаррис, — что надо держаться все время вправо и обходить гору.

— Какую гору? — капризно спросил Джордж. Перед нами их действительно было штук шесть разной величины.

— Он говорил, что мы придем по ней к лесу.

— В этом я не сомневаюсь! — опять сострил Джордж. (Примета была слабая, спорить нельзя: все горы кругом поросли лесом.)

— И он сказал, — пробормотал Гаррис уже не так уверенно, — что мы дойдем до вершины через полтора часа...

— Вот в этом я очень сомневаюсь!

— Что же нам делать? — спросил Гаррис.

Надо сказать, что я очень легко ориентируюсь. Это не Бог вещь какое достоинство, и хвастаться тут нечем, но у

меня, право, есть какой-то инстинкт, чутье узнавать местность. Конечно, не моя вина, если по дороге встречаются горы, реки, пропасти и тому подобные препятствия.

Я повел их по средней дороге. В том, что она не могла выдержать ни одной четверти мили по прямому направлению и через три мили вдруг уперлась в осиное гнездо, никто меня упрекнуть не может; если бы она вела куда следует, то и мы бы пришли куда следует, — это ясно, как Божий день.

Даже несмотря на осиное гнездо, я не отказал бы товарищам в возможности и дальше эксплуатировать мой талант, но ведь мог я рассчитывать хотя бы на каплю благодарности! Я не ангел, признаюсь откровенно, и не люблю трудиться на пользу людей, которые не выказывают ничего, кроме холодности и грубости. Кроме того, Гаррис и Джордж, вероятно, отказались бы следовать за мной дальше. Поэтому я умыл руки и предоставил Гаррису занять место вожака.

— Ну, — спросил он, — доволен ли ты собой?

— Совершенно! — отвечал я с груди камней, на которой сидел. — Сюда я довел вас целыми и невредимыми. Я повел бы вас и дальше, но каждому художнику необходимо сочувствие толпы! Вы, очевидно, недовольны тем, что не знаете, где находитесь, но, может быть, вы находитесь именно там, где нужно! Впрочем, я молчу, я не жду благодарности. Идите куда хотите, я вмешиваться не стану.

В моих словах действительно было много горечи, но ведь я не слышал еще ни одного ободряющего слова.

— Послушай, между нами не должно быть недоразумений, — заметил Гаррис, — Джордж и я признаем покорно и искренно, что без твоей помощи мы никогда не забрались бы в эти дебри! Поверь, мы отдаем тебе полную справедливость. Но, видишь ли, чутье иногда подводит... Я предлагаю положиться на науку: где теперь солнце?

— А не лучше ли, — неожиданно заметил Джордж, — вернуться в деревню и положиться на мальчишку-проводника? Мы сберегли бы таким образом время.

— Мы только потеряли бы его! — решительно заявил Гаррис. — Оставь, пожалуйста, не вмешивайся и не беспокойся. Это очень интересный способ, я о нем много читал.

Он вынул из кармана часы и начал кружиться с ними, как юла.

— Ничего не может быть легче, — продолжал он, — надо направить часовую стрелку на солнце, потом взять угол между нею и цифрой двенадцать, разделить его пополам — и секущая укажет на север! Очень просто.

Он повертелся еще минуты две и наконец решительно протянул руку к осиному гнезду:

— Вот, вот север! Теперь дайте мне карту.

Мы подали. Не оборачиваясь больше, он уселся на землю и начал рассматривать карту, потом объявил:

— Тодтмос находится на юго-юго-запад отсюда.

— Откуда «отсюда»? — спросил Джордж.

— Да вот от этого места, где мы сидим.

— А где мы сидим? — поинтересовался Джордж. Гаррис было опешил, но скоро просиял:

— Да не все ли равно, где мы сидим?! Идем на юго-юго-запад, вот и все!.. Как это ты не понял? Тут и разговаривать нечего, только время теряем!

— Положим, я не совсем понял, — заметил Джордж, вставая и надевая на плечи ранец, — но это, конечно, все равно: мы здесь находимся ради свежего воздуха и красоты пейзажа, а всего этого сколько угодно.

— Да, да! — весело поддержал его Гаррис. — Ты не беспокойся, к десяти часам мы будем в Тодтмосе и отлично позавтракаем. Я не откажусь от бифштекса и омлета.

Но Джордж предпочитал не думать о еде, пока не увидит крыш Тодтмоса.

Через полчаса ходьбы в просвете между деревьями мы увидели ту деревню, через которую проходили рано утром, ее легко было узнать по оригинальной колокольне с обвивавшей ее наружной лестницей.

Я рассердился. Три с половиной часа мы бродили, а отошли всего на четыре мили! Но Гаррис пришел в восторг:

— Ну, теперь мы знаем, где находимся!

— А ты, кажется, говорил, что это все равно, — напомнил ему Джордж.

— Для дела, конечно, все равно, но все-таки приятнее, если знаешь. Теперь я более уверен в себе.

— Приятнее, положим... — пробормотал Джордж. — Но пользы от этого мало.

Гаррис не слышал замечания друга.

— Теперь, — продолжал он, — мы находимся на востоке от солнца, а Тодтмос находится на юго-западе от нас. Так что... — Он остановился. — Кстати, ты не помнишь ли, Джордж, куда указывала секущая, на север или на юг?

— Ты говорил, что на север.

— Это точно?

— Наверняка. Но не смущайся: по всей вероятности, ты тогда ошибся.

Гаррис подумал, и его взгляд прояснился.

— Отлично! Конечно, на север. Как же она могла указывать на юг?! Непремененно на север! Ну, теперь мы пойдем на запад. Вперед!

— Ладно, — отвечал Джордж. — На запад, так на запад. Я хотел только сказать, что теперь мы идем на восток.

— Что ты! Конечно, на запад.

— Нет, на восток.

— Ты бы лучше не повторял! Ты меня только смущаешь.

— Лучше смущать, чем идти в неверную сторону. Я тебе говорю, что мы идем прямехонько на восток.

— Какие глупости! Ведь солнце — вот где!

— Я солнце вижу даже очень ясно; может быть, по твоей науке оно и стоит там, где должно стоять, но я сужу не по солнцу, а по этой горе со скалистой верхушкой; она находится на север от деревни, из которой мы вышли, значит, перед нами теперь восток.

— Правда. Я и забыл, что мы повернули.

— Я бы на твоём месте записывал, — проворчал Джордж.

Мы повернули и зашагали в противоположном направлении. Дорога шла в гору. Минут через сорок мы добрались до высокой открытой площадки... Деревня опять лежала прямо перед нами, внизу.

— Удивительно!.. — проговорил Гаррис.

— А я не вижу ничего удивительного, — возразил Джордж. — Если кружиться все время вокруг одной и той же деревни, то, понятное дело, она иногда мелькнет за деревьями. Я даже рад ее видеть: это доказывает, что мы не заблудились окончательно.

— Да ведь она должна быть у нас за спиной, а не перед носом!

— Подожди, очутится скоро и за спиной, если мы будем твердо держаться прежнего направления.

Я все время молчал, предоставляя им разговаривать между собой, но мне приятно было видеть, что Джордж начал сердиться: Гаррис действительно сглупил со своим «научным способом».

Он задумался.

— Хотел бы я знать, — проговорил наконец Гаррис, — на север или на юг указывала та секущая?..

— А тебе пора бы решить этот вопрос, — заметил Джордж.

— Знаешь что?! Она не могла указывать на север, и я тебе сейчас объясню почему!

— Можешь не объяснять! Я и так готов поверить.

— А ты недавно говорил, что она указывала на север.

— Неправда, я сказал, что ты говорил, а это большая разница. Если хочешь, пойдём в другую сторону, — во всяком случае, хоть какое-то разнообразие.

Тогда Гаррис вычислил все сначала, только наоборот, и мы снова нырнули в густой лес. И опять, через полчаса головокружительного лазания по скалам, мы очутились над той же деревней, на этот раз немного повыше, она находилась между нами и солнцем.

— Мне кажется, — сказал Джордж, полюбовавшись картиной, — что с любой точки зрения эта деревня самая красивая. Теперь мы можем спокойно спуститься к ней и отдохнуть.

— Невероятно, чтобы это была та же деревня! — воскликнул Гаррис. — Не может быть!

— Напротив, невероятно, чтобы нашлась совершенно такая же другая деревня, с такой же колокольной и такой же лестницей. Во всяком случае, решай, куда нам теперь идти?

— Я не знаю. Мне все равно! — отвечал Гаррис. — Я честно старался, а ты только ворчал и смущал меня все время.

— Может быть, я действительно отнесся к тебе слишком строго, — признал Джордж, — но взгляни на дело с моей точки зрения: один из вас говорит, что обладает каким-то безошибочным инстинктом, — и приводит в чашу леса прямо к осиному гнезду...

— Я не виноват, что осы устраивают гнезда в чаще леса, — перебил я.

— Я в этом тебя не виню и вовсе не спорю, я только излагаю факты. Другой водит меня вверх и вниз по горам в продолжение нескольких часов «на научном основании», не зная, где юг, где север, и не помня, поворачивал он направо или не поворачивал!.. У меня нет ни сверхъестественных инстинктов, ни глубоких научных познаний, но я вижу отсюда человека, который собирает в поле сено, я пойду и предложу ему плату за весь стог — вероятно, марки полторы, не больше — за то, чтобы он бросил работу и довел меня до Тодтмоса. Если вы хотите, можете следовать за мной, если же намерены ставить еще какие-нибудь опыты, то тоже можете, но только без меня.

План Джорджа был не блестящий и не оригинальный, но в ту минуту показался нам привлекательным. К счастью, мы недалеко отошли от дороги в Тодтмос и с помощью косяря прибыли туда благополучно четыремя часами позже, чем предполагали накануне. Для того чтобы удовлетворить аппетит, нам понадобилось сорок пять минут молчаливой работы.

У нас было решено пройти от Тодтмоса к Рейну пешком, но после утомительного утреннего похода мы предпочли нанять экипаж и прокатиться. Экипаж был живописный, лошадь можно было бы назвать бочкообразной, но в сравнении с кучером она была совсем угловатая. Здесь все экипажи делаются на две лошади, но впрягается обыкновенно одна; вид получается довольно неуклюжий, но зато такой, как будто вы всегда ездите на паре лошадей и только в этот раз случайно выехали на одной. Лошади здесь очень опытные и развитые, кучера большею частью спокойно спят на козлах, и если бы можно было отдавать лошадям деньги, то никаких кучеров не требовалось бы вовсе. Когда последние не спят и звучно шелкают бичом, я не чувствую себя в безопасности. Однажды мы катались в Шварцвальде с двумя дамами, дорога вилась, как серпантин, по крутому склону горы, откосы приходились под углом в семьдесят градусов к горизонту. Мы ехали вниз тихо и спокойно, видя с удовольствием, что возница спит, а лошади уверенно спускаются по знакомой дороге. Вдруг его что-то разбудило — недомогание или тревожный сон, он схватился за вожжи и быстрым движением направил лошадь, приходившуюся с наружной стороны, к самому краю дороги; дальше идти

ей было некуда, и она сползла вниз, повисши на вожжах и постромках. Возница ничуть не удивился, лошади нисколько не испугались. Мы вышли из экипажа, кучер вытащил из-под сиденья большой складной нож, очевидно, предназначенный для этой цели, и спокойно, не колеблясь, перерезал постромки. Освобожденная лошадь скатилась на пятьдесят футов вниз, до следующего поворота дороги, и встала на ноги, ожидая нас. Мы сели снова и доехали до того места на одном коне, а там возница запрят ожидавшую лошадь, использовав несколько кусков веревки, и катание продолжалось. Интереснее всего было полнейшее спокойствие всех троих — кучера и обеих коней: видимо, они так привыкли к подобному сокращению пути, что я не удивился бы, если б он нам предложил скатиться целиком со всем экипажем.

Меня поражает еще одна особенность немецких кучеров: они никогда не натягивают и не отпускают вожжей. У них для регулирования езды есть тормоз, а скорость хода лошади их не касается. Для езды по восемь миль в час возница закручивает ручку тормоза немного, так что он только слегка поцарапывает колесо, производя звук, словно пилу оттачивают; для четырех миль в час — он закручивает сильнее, и вы едете под аккомпанемент жутких криков и стонов, напоминающих хор недорезанных свиней. Желая остановиться совсем, кучер закручивает ручку тормоза до упора — и он останавливает лошадей раньше, чем они пробегут расстояние, равное длине своего корпуса. То, что можно остановиться иным, более естественным способом, очевидно, не приходит в голову ни кучеру, ни самим лошадям; они добросовестно тянут изо всей силы до тех пор, пока не смогут сдвинуть экипаж ни на полдюйма дальше; тогда они останавливаются. В других странах лошади могут ходить даже шагом, но здесь они обязаны стараться и бежать рысью, остальное их не касается. На моих глазах один немец бросил вожжи и принялся усиленно закручивать тормоз обеими руками, боясь, что не успеет разминуться с другим экипажем. Я нисколько не преувеличиваю.

В Вальдсгете, одном из маленьких городков шестнадцатого столетия, расположенном в верховьях Рейна, мы встретили довольно обыкновенное на континенте существо — путешественного британца, удивленного и раздраженного

тем, что иностранцы не могут говорить с ним по-английски. Когда мы пришли на станцию, он объяснял носильщику в десятый раз «самую обыкновенную» вещь, а именно что, хотя у него билет куплен в Донаушинген и он хочет ехать в Донаушинген посмотреть на истоки Дуная (которых там нет, они существуют только в рассказах), он желает, чтобы его велосипед был отправлен прямо в Энген, а багаж в Констанц. Все это было, по его мнению, так просто! А между тем носильщик, молодой человек, казавшийся в эту минуту старым и несчастным, довел его до белого каления тем, что ничего не мог понять. Джентльмену стало даже жарко от чрезмерных усилий втолковать носильщику суть дела.

Я предложил свои услуги, но скоро пожалел: соотечественник ухватился за предложенную помощь слишком ревностно. Носильщик объяснил нам, что пути очень сложны, требуют многих пересадок; надо было узнать все обстоятельно, а между тем наш поезд трогался через несколько минут. Как всегда бывает в тех случаях, когда времени мало и надо что-нибудь разъяснить, джентльмен говорил втрое больше, чем нужно. Носильщик, очевидно, изнемогал в ожидании освобождения.

Через некоторое время, сидя в поезде, я сообразил одну вещь: хотя я согласился с носильщиком, что велосипед джентльмена лучше отправить на Иммендинген — что и сделали, — но совершенно забыл дать указание, куда его отправить дальше, из Иммендингена. Будь я человек впечатлительный, я бы долго страдал от угрызений совести, так как злополучный велосипед, по всей вероятности, пребывает в Иммендингене до сих пор. Но я придерживаюсь оптимистической философии и стараюсь видеть во всем лучшую, а не худшую сторону; быть может, носильщик догадался сам исправить мое упущение, а может быть, случилось простенькое чудо, и велосипед каким-нибудь образом попал в руки хозяина до окончания его путешествия. На багаж мы наклеили ярлык с надписью «Констанц», а отправили его в Радольфцель, как нужно было по маршруту; я надеюсь, что, когда он полежит в Радольфцеле, его догадаются отправить в Констанц.

Но эти частности не изменяют сути случая: трогательность его заключалась в искреннем негодовании британца,

который нашел немецкого носильщика, не понимающего по-английски. Лишь только мы обратились к соотечественнику, он высказал свои возмущенные чувства, нисколько не стесняясь:

— Я вам очень благодарен, господа; такая простая вещь, а он ничего не понимает! Я хочу доехать в Донаушинген, оттуда пройти пешком в Гейзинген, опять по железной дороге в Энген, а из Энгена на велосипеде в Констанц. Но брать с собой багаж я не желаю, я хочу найти его уже доставленным в Констанц. И вот целых десять минут объясняю этому дураку — а он ничего не понимает!

— Да, это непростительно, — согласился я, — некоторые немецкие рабочие почти не знают иностранных языков!..

— Уж я толковал ему и по расписанию поездов, и жестами, — продолжал джентльмен, — и все напрасно!

— Даже невероятно, — заметил я, — казалось бы, все понятно само собой, не правда ли?

Гаррис рассердился. Он хотел сказать этому человеку, что глупо путешествовать в глубине чужой страны по разным замысловатым маршрутам, не зная ни слова ни на каком другом языке, кроме своего собственного. Но я удержал его, я указал на то, как этот человек бессознательно содействует важному, полезному делу: Шекспир и Мильтон вложили в него частицу своего труда, распространяя знакомство с английским языком в Европе; Ньютон и Дарвин сделали его изучение необходимым для образованных и ученых иностранцев; Диккенс и Уида¹ помогли еще больше, хотя насчет последней мои соотечественники усомнятся, не зная того, что ее столько же читают в Европе, сколько смеются над ней дома. Но человек, который распространил английский язык от мыса Винцента до Уральских гор, — это заурядный англичанин, не способный к изучению языков, не желающий запоминать ни одного чужого слова и смело отправляющийся с кошельком в руке в какие угодно захолустья чужих земель. Его невежество может возмущать, его тупость скучна, его самоуверенность сердит, но факт остается фактом — это он, именно он англизирует Европу. Для него швейцарский крестьянин идет по снегу в зимний вечер в английскую школу, открытую в каждой де-

¹ Английская писательница (1838—1908), романист.

ревне; для него извозчик и кондуктор, горничная и прачка сидят над английскими учебниками и сборниками разговорных фраз; для него континентальные купцы посылают своих детей воспитываться в Англию; для него хозяева ресторанов и гостиниц, набирая состав прислуги, прибавляют к объявлению слова: «Обращаться могут только знающие английский язык».

Если бы английский народ признал чей-нибудь язык, кроме своего, то триумфальное шествие последнего прекратилось бы. Англичанин стоит среди иностранцев и позвякивает золотом. «Вот, — говорит он, — плата всем, кто умеет говорить по-английски!» Он великий учитель. Теоретически мы можем бранить его, но на деле должны снять перед ним шляпу — он проповедник нашего родного языка!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Мы огорчены низменными инстинктами немцев. — Великолепный вид. — Мнение континентальных жителей об англичанах. — Унылый путник с кирпичом. — Погоня за собакой. — Неудобный для жизни город. — Обилие фруктов. — Веселый человек. — Джордж находит, что поздно, и удаляется. — Гаррис следует за ним, чтобы показать ему дорогу. — Я не хочу оставаться один и следую за ними. — Выговор, предназначенный для иностранцев.

Что возмущает чувствительную душу интеллигентного англичанина, так это практический, но пошлый обычай немцев устраивать рестораны в самых поэтических уголках; они не могут видеть сказочной долины, одинокой дорожки или шумящего водопада, чтобы не поставить там домика с надписью: «Wirtschaft»¹; у них это инстинктивная потребность. А между тем разве высокие восторги могут вылиться во вдохновенную песнь над липким от пива столиком? Разве мыслимо внимать отголоскам старины, когда тут же вас одолевает запах жареной телятины и шпинатного соуса?

¹Трактир (нем.).

Как-то мы поднимались на гору сквозь чащу густого леса и философствовали.

— А наверху, — заключил Гаррис глубокую мысль, — окажется разукрашенный ресторан, где публика бесстыдно уплетает жареные бифштексы, фруктовые пироги и хлещет белое вино!

— Ты думаешь? — спросил Джордж.

— Конечно. Разве ты не знаешь их привычек!.. Ведь здесь ни одной рожицы не оставят для тихого созерцания, для одиночества; настоящий ценитель природы не может насладиться ею ни на одной вершине: все они осквернены угождением грубым человеческим слабостям!

— По моим расчетам, мы должны дойти туда без четверти час, если не станем терять времени, — заметил я.

— Да, и противный табльдот будет уже готов! — проворчал Гаррис. — Здесь, вероятно, подают к столу местную форель из горных речек... в Германии от еды и питья никуда не уйдешь. Просто зло берет!

Мы продолжали путь и благодаря окружающей красоте на время забыли возмущавшее нас обстоятельство. Я вычислил верно: без четверти час Гаррис, шедший впереди, сказал:

— Вот и добрались! Я вижу вершину.

— И ресторан? — спросил Джордж.

— Пока нет, но он, конечно, на месте, провались он совсем!

Через пять минут выше идти было некуда, мы стояли на вершине горы. Поглядели на север, на юг, на восток и на запад, потом посмотрели друг на друга.

— Величественный вид! Не правда ли? — сказал Гаррис.

— Великолепный, — согласился я.

— Восхитительный, — заметил Джордж.

— И они хорошо сделали, — продолжал Гаррис, — что догадались убрать с глаз ресторан.

— Они его, кажется, спрятали.

— Это разумно. То, что не мозолит глаза, перестает раздражать.

— Конечно, — заметил я, — ресторан на надлежащем месте никому не мешает.

— Хотел бы я знать, куда они его дели? — спросил Джордж. Лицо Гарриса вдруг озарилось вдохновением.

— А что, если мы поищем?..

Вдохновение было натуральное, оно увлекло даже меня. Мы условились, что отправимся на поиски в разные стороны и снова сойдемся на вершине.

Через полчаса мы уже стояли друг перед другом. Слов не нужно было: лица показывали ясно, что наконец нашлось в Германии прекрасное место, не оскверненное грубым употреблением пищи и питья!

— Я бы этому никогда не поверил, — вымолвил Гаррис, — а ты?

— Кажется, это единственная квадратная миля в Германии без ресторана, — отвечал я.

— И не странно ли, что мы — путешественники, иностранцы — открыли такое место! — сказал Джордж.

— Действительно, — заметил я, — это удачный случай: теперь мы можем удовлетворить возвышенное стремление к прекрасному, не оскорбляя его искушением низменных инстинктов. Обратите внимание на освещение этих гор вдаль — восхитительно, не правда ли?

— Кстати, — перебил меня Джордж, — не можешь ли ты сказать, какой отсюда кратчайший путь вниз?

Я посмотрел в путеводитель и отвечал:

— Дорога налево приводит в Зонненштейг. Между прочим, там рекомендуется «Золотой орел»; ходьбы туда два часа. Дорога направо длиннее, но зато «представляет прекрасную точку обзора окружающей местности».

— По моему мнению, — заметил Гаррис, — красивая местность со всех точек обзора одинаково хороша! Вы не согласны с этим?

— Я лично, — отвечал Джордж, — иду налево.

Мы последовали за ним.

Но быстро спуститься не удалось. В этих краях грозы собираются совершенно неожиданно, и раньше чем через четверть часа нам пришлось выбирать одно из двух: или искать убежище, или промокнуть до костей. Мы решились на первое и выбрали дерево, которое при обыкновенных обстоятельствах было бы вполне надежным укрытием. Но гроза в Шварцвальде не совсем обыкновенное обстоятельство. Сначала мы утешали друг друга тем, что скоро нам нечего будет бояться промокнуть еще больше...

— При подобных условиях, — сказал Гаррис, — я был бы почти рад, если бы здесь оказался ресторан.

— Через пять минут я иду вниз, — объявил Джордж, — так как, промокнув, считаю излишним еще и голодать в придачу.

— Эти пустынные горные местности, — заметил я, — более привлекательны в хорошую погоду, а во время дождя, в особенности когда человек достиг того возраста, в котором...

В эту секунду нас окликнули. В пятидесяти шагах вдруг появился откуда-то толстый господин под огромным зонтиком, он вопросительно смотрел на нас.

— Вы не войдете внутрь?..

— Внутрь чего? — переспросил я, думая, что это один из тех идиотов, которые стараются острить, когда нет ничего смешного.

— Внутрь ресторана, — отвечал толстый господин.

Мы оставили наше убежище и подошли.

— Я звал вас из окна, — продолжал он, — но вы, вероятно, не слышали. Гроза, может быть, не кончится раньше чем через час. Вы можете промокнуть до нитки.

Почтенный и любезный толстяк волновался за нас.

— С вашей стороны было очень любезно выйти, — отвечал я. — Мы не сумасшедшие и не стояли бы здесь целых полчаса, если бы знали, что в нескольких шагах есть ресторан. Мы не подозревали о его существовании.

— Я так и думал, — заметил почтенный господин, — поэтому и пошел за вами.

Оказалось, что все сидевшие в ресторане смотрели на нас из окон и удивлялись, зачем мы там стоим с самым несчастным видом. Они бы, пожалуй, любовались нами до вечера, если бы не любезность толстого господина.

Хозяин ресторана оправдывался тем, что принял нас за англичан; на континенте все искренно убеждены, что каждый англичанин — помещанный; это мнение так же укоренилось, как мнение наших крестьян о французах — они думают, что каждый француз питается лягушками. И такое убеждение поколебать очень трудно.

Ресторанчик был отличный, с хорошей едой и очень порядочным столовым вином. Мы просидели в нем часа два, высыхая, угощаясь и беседуя о красоте природы; и как

раз перед тем, как мы собрались уходить, произошел маленький случай, доказавший, что зло производит в этом мире гораздо больше последствий, чем добро.

В столовую поспешно и взволнованно вошел новый посетитель. Вид у него был усталый, истощенный. Он нес в руке кирпич с привязанной к нему веревкой. Войдя, он быстро захлопнул за собой дверь, запер ее на задвижку, затем долго и пристально глядел в окно. Потом вздохнул с облегчением, сел, положил подле себя на скамейку кирпич и спросил еды и питья.

Во всем этом было что-то таинственное. Казалось странным, зачем он запер дверь, что будет делать с кирпичом, почему так взволнованно смотрел в окно. Но измученный вид незнакомца удерживал от вопросов и желания вступить с ним в беседу.

Постепенно он успокоился, закусил, перестал ежеминутно вздыхать, вытянул на скамье ноги, закурил гадкую сигару и, видимо, отдыхал.

Тогда это и случилось. Все произошло слишком неожиданно, чтобы можно было заметить подробности. Я только помню, как через кухонную дверь вошла девушка с кастрюлей в руке, пересекла комнату и подошла к наружной, входной двери. В следующую секунду в комнате было полное столпотворение — метаморфоза вроде тех, какие изображаются в цирке, — вместо плывущих облаков, тихой музыки, колышущихся цветов и летающих фей вдруг делается какой-то хаос: толпа мечется, полисмены прыгают и спотыкаются о ревущих бэби, франты борются с клоунами, мелькают жонглеры, арлекины — ничто не стоит на месте ни секунды...

Лишь только девушка с кастрюлей отперла дверь, как она распахнулась настежь, словно злые силы давно ждали этого мгновения, притаившись снаружи. Две свиньи и курица, как бомбы, влетели в комнату, за ними — терьер; кошка, спавшая на пивной бочке, моментально вскочила и приняла горячее участие в действии; девушка отбросила кастрюлю и грохнулась на пол; таинственный незнакомец вскочил и опрокинул стол со всем, что на нем было; из кухни выбежал хозяин и бросился по комнате за зачинщиком суматохи — терьером с острыми ушами и белчьим хвостом; рассчитав хорошенько удар ногой, хозяин хотел одним ма-

хом вышвырнуть собачонку из комнаты, но попал не в собачонку, а в одну из свиней, самую жирную. Удар был нештучный; видно было, что бедному животному пришлось нелегко. Все огорчились за свинью, но больше всех, конечно, сам хозяин; он перестал бегать, сел посредине комнаты и так занял, взывая к небесам о справедливости, что жители окрестных долин, вероятно, приняли эти звуки на вершине горы за какое-нибудь новое явление природы.

Между тем курица с громким кудахтаньем, криком и хлопаньем крыльев мелькала одновременно во всех углах комнаты; она без всякого труда взбиралась по стенам до самого потолка, и скоро они вдвоем с кошкой снесли на пол все, что еще оставалось на местах. Через сорок секунд все девять человек, бывшие в комнате, старались поймать терьера или хотя бы наградить его пинком. Последнее некоторым удавалось, так как пес, несмотря на свалку, еще успевал по временам останавливаться и лаять, но удары не портили его настроения: видимо, он сознавал, что за всякое удовольствие следует платить, и охота на курицу и пару свиней стоила этого. Кроме того, он мог без труда заметить то удовлетворяющее обстоятельство, что на один удар по его бокам приходилось несколько ударов на каждое живое существо в комнате; в особенности не везло первой жирной свинье, которая так и не двигалась с места, принимая со стоном назначенные терьеру ожесточенные пинки. Погоня за этой собачонкой напоминала игру в футбол, при которой мяч исчезал бы каждый раз, когда играющий разбежался и хорошенько замахнулся на него ногой, дав изо всей силы пинка по пустому пространству. При этом только и остается желать, чтобы в воздухе встретилась какая-нибудь точка сопротивления, которая приняла бы удар и избавила вас от удовольствия эффектно грохнуться на землю. Терьеру попадало только случайно, неожиданно для самих преследователей, так что они теряли равновесие и летели на пол, обязательно на ту же свинью; каждые полминуты на нее кто-нибудь сваливался, а она продолжала лежать и визжать, не видя выхода из своего положения.

Неизвестно, сколько времени продолжалось бы столпотворение, если бы Джордж не догадался остановить его. Он один из всех нас занялся другой свиньей — той, которая еще могла бегать и была способна к сопротивлению. Ловки-

ми приемами он зажал ее в угол, из которого был только один выход — в открытую дверь. Хитрость подействовала, и свинья с радостным воплем выскочила во двор, чтобы побегать на свежем воздухе вместо тесной комнаты.

Нам всегда хочется того, чего нет под рукой, — оставшаяся свинья, курица, девять человек и кошка сразу потеряли всякий интерес в глазах терьера сравнительно с выбежавшей свиньей; он как вихрь помчался за исчезнувшей добычей, а Джордж захлопнул дверь и запер ее на задвижку.

Тогда хозяин встал и оглядел свое добро, лежавшее на полу.

— Игривая у вас собачка! — обратился он к странному посетителю с кирпичом.

— Это не моя собака, — угрюмо отвечал тот.

— Чья же она?

— Не знаю.

— Ну, это плохое объяснение! — заметил хозяин, поднимая портрет немецкого императора и вытирая с него рукавом пролитое пиво. — Я не верю.

— Я знаю, что не верите, — отвечал человек, — я и не ждал этого. Я устал уже доказывать людям, что это не моя собака... Никто не верит.

— Чем же вас привлекает этот чужой пес, что вы с ним гуляете? Чем он так хорош?

— Я с ним не гуляю, это он сам выбрал меня сегодня в десять часов утра и с тех пор не оставляет ни на минуту... Я было думал, что отделался, когда зашел сюда; он остался довольно далеко, свернув шею утке... Мне, конечно, придется платить за нее на обратном пути.

— А вы пробовали бросать в него камни? — спросил Гаррис.

— Пробовал ли я бросать в него камни?! — повторил человек презрительным тоном. — Я бросал в него камни до тех пор, пока руки чуть не отвалились! А он думает, что это такая игра, и приносит их мне обратно. Я битый час таскал с собой кирпич на веревке, надеясь утопить его, да он не дается в руки: сядет на шесть дюймов дальше, чем я могу достать, откроет рот и смотрит на меня.

— Забавная история! — заметил хозяин. — Я давно не слышал такой.

— Очень рад, если она кого-нибудь забавляет... — проговорил человек.

Мы оставили их с хозяином подбирать вещи, а сами вышли. В двенадцати шагах от двери верный пес ждал друга, вид у него был усталый, но довольный. Так как симпатии являлись у него, по-видимому, довольно неожиданно и легкомысленно, то мы в первую минуту испугались, как бы он не почувствовал влечения к нам, но он пропустил нас с полным равнодушием. Трогательно было видеть такую примерную верность, и мы не старались ее подорвать.

Объехав весь Шварцвальд, мы покатили на велосипедах через Альт-Брейзах и Кольмар в Мюнстер, откуда сделали маленькую экскурсию в Вогезы (составляющие границу страны, где живут настоящие люди, по мнению немецкого императора).

Рейн омывает Альт-Брейзах то с одной, то с другой стороны; он был еще молод, когда добрался сюда, и не мог сразу решить, какое ему выбрать направление. Альт-Брейзах, представляющий скорее крепость на скале, имел в старину какое-то особенное значение: кто бы с кем ни воевал, из-за чего бы ни началась борьба, Альт-Брейзах непременно был в деле. Все его осаждали, некоторые покоряли, но скоро снова теряли власть над ним, никто не мог с ним справиться. Житель древнего Альт-Брейзаха сам не всегда мог сказать о себе с уверенностью, чей он подданный; только что его причисляли к французам, и он настолько научался по-французски, чтобы сознательно платить подати, как ему объявляли, что он уже австриец; человек начинал осматриваться, стараясь сообразить, как ему сделаться хорошим австрийцем, но вдруг оказывалось, что он больше не австриец, а немец; в последнем случае он оставался в сомнении, какой он именно немец и к какому сорту немцев из всей дюжины имеет отношение. То ему объявляли, что он протестант, то — католик. Единственным обстоятельством его существования была обязательная тяжелая плата за то, что он француз, или австриец, или немец. Когда начинаешь думать обо всех условиях жизни в Средние века, то становится странным: что за охота была жить всем этим людям, кроме королей и собирателей подати?

По разнообразию и красоте Вогезы, с точки зрения путешественника, гораздо выше Шварцвальда; здесь нет нару-

шающей поэзию зажиточности шварцвальдского крестьянина, разрушение и бедность повсюду удивительные. Развалины замков, начатых римлянами и достроенных в эпоху трубадуров, расположены на таких высотах, где, казалось бы, могли гнездиться только орлы, но стоящие до сих пор остатки стены представляют целые лабиринты, в которых можно бродить часами.

Фруктовых и зеленых лавок в Вогезах не существует; представленные в них товары растут сами по себе — бери сколько хочешь. Поэтому здесь трудно придерживаться составленного плана прогулки, в жаркий день фрукты представляют слишком сильное искушение для остановок. Малина, какой я не встречал больше нигде, земляника, смородина, крыжовник — все это растет на склонах гор, как у нас ежевика на полях. Здесь мальчишкам не приходится устраивать грабежи в садах, они могут объедаться до болезни без всякого греха. Сады не огораживаются, и платы за вход в них не берут, как нельзя было бы требовать платы от рыбы, которая попала в ванну. Тем не менее ошибки все-таки иногда случаются.

Мы проходили как-то после обеда по склону горы и больше чем следовало увлеклись фруктами, которые росли со всех сторон в огромном выборе. Начав с запоздавшей земляники, мы перешли к малине; потом Гаррис нашел дерево ренклодов с чудными зрелыми плодами.

— Это открытие, кажется, лучше всех прежних! — сказал Джордж. — Следует воспользоваться им основательно.

Совет был правильный.

— Жаль, что груши еще не поспели, — заметил Гаррис.

Но я скоро утешил его, найдя поблизости какие-то обыкновенные желтые сливы.

— Жаль, здесь холодно для ананасов, — сказал Джордж. — Я с удовольствием съел бы теперь свежий ананас! Все эти обыкновенные фрукты скоро приедаются.

— Вообще, здесь слишком много ягод и слишком мало фруктовых деревьев, — прибавил Гаррис. — Я бы не отказался от другого дерева ренклодов.

— А вот сюда подымается человек, — заметил я. — Он, вероятно, здешний и может нам указать, где еще растут ренклоды.

– Он взбирается довольно скоро для старика! – сказал Гаррис.

Человек действительно подымался к нам очень скоро; насколько можно было судить издали, он был веселого нрава – все время что-то кричал, пел и размахивал руками.

– Вот весельчак! – сказал Гаррис. – Приятно на него смотреть. Но почему он не опирается на палку, а несет ее на плече?

– Мне кажется, это вовсе не палка, – заметил Джордж.

– Что же это, если не палка?

– Да, по-моему, скорее похоже на ружье.

Гаррис подумал и спросил:

– Надеюсь, мы не сделали никакой ошибки... Неужели это частный сад?

– Помнишь ли ты печальный случай, – сказал я, – на юге Франции два года тому назад? Какой-то солдат, проходя мимо сада, сорвал пару вишен, из дома вышел хозяин и, не говоря ни слова, застрелил его на месте.

– Да разве можно убивать людей за то, что они срывают фрукты, хотя бы и во Франции? – спросил Джордж.

– Конечно, нельзя, – отвечал я. – Это было незаконно. Единственное оправдание, приведенное его защитником, заключалось в том, что он был человек раздражительный и особенно любил вишни именно с того дерева.

– Я вспоминаю теперь, – заметил Гаррис. – Кажется, местная община должна была тогда уплатить большое вознаграждение родственникам убитого солдата; вполне справедливо, конечно.

– Однако становится поздно! – заявил Джордж. – И мне надоело топтаться на одном месте... – с этими словами он живо начал спускаться по другому склону горы.

Гаррис поглядел на него и заметил с беспокойством:

– Он упадет и расшибется! Здесь нельзя ходить так скоро... И, кроме того, ведь он не знает дороги!..

Через несколько секунд их уже не было видно. Мне стало скучно одному; я вспомнил, что с самого детства не испытывал приятного ощущения, когда сбегашь с крутой горы, и мне захотелось вспомнить его. Это не совсем правильное физическое упражнение, но, говорят, полезно для печени.

На ночь мы остановились в Барре, хорошеньком городке на пути в Ст.-Оттилиенберг. Интересная старинная гостиница устроена на горе монашеским орденом: прислуживают там монашенки, и счет подает дьячок. Перед самым ужином вошел в зал путешественник; он имел вид англичанина, но говорил на языке, которого я никогда прежде не слышал, звуки казались изящными и гибкими. Хозяин гостиницы не понял ничего и глядел на путешественника в недоумении, хозяйка покачала головой. Он вздохнул и заговорил иначе; на этот раз звуки напомнили мне что-то знакомое, но я не знал, что именно. Снова он остался непонятым.

— А, черт возьми! — воскликнул он тогда невольно.

— О, вы англичанин?! — обрадовался хозяин.

— Monsieur устал, подавайте скорее ужин! — заговорила приветливая хозяйка.

Оба они превосходно говорили по-английски, почти так же, как по-французски и по-немецки, и засуетились, устравивая нового гостя. За ужином он сидел рядом со мной, и я начал разговор о занимавшем меня вопросе:

— Скажите, пожалуйста, на каком языке говорили вы, когда вошли сюда?

— По-немецки, — ответил он.

— О!.. Извините, пожалуйста.

— Вы не поняли? — спросил он.

— Вероятно, я сам виноват, — отвечал я. — Мои познания очень ограничены... Так, путешествуя, запоминаешь кое-что, но ведь этого очень мало.

— Однако они тоже не поняли, — заметил он, указывая на хозяина и хозяйку, — хотя я говорил на их родном наречии.

— Знаете ли, дети здесь действительно говорят по-немецки, и наши хозяева, конечно, тоже знают этот язык до известной степени, но старики в Эльзасе и Лотарингии продолжают говорить по-французски.

— Да я по-французски к ним тоже обращался, и они все-таки не поняли!

— Конечно, это странно, — согласился я.

— Более чем странно — это просто непостижимо! Я получил диплом за изучение новых языков, в особенности за французский и немецкий. Правильность построения речи

и чистота произношения были признаны у меня безупречными. И тем не менее за границей меня почти никогда не понимает! Можете ли вы объяснить это?

— Кажется, могу, — отвечал я. — Ваше произношение слишком безупречно. Вы помните, что сказал шотландец, когда первый раз в жизни попробовал настоящее виски? «Может быть, оно и настоящее, да я не могу его пить». Так и с вашим немецким языком; если вы позволите, я бы вам советовал произносить как можно неправильнее и делать побольше ошибок.

Всюду я замечаю то же самое; в каждом языке есть два произношения: одно «правильное», для иностранцев, а другое свое, настоящее.

Невольно вспоминал я первых мучеников христианства в тот период моей жизни, когда старался выучить немецкое слово «Kirche»¹. Учитель мой, крайне старательный и добросовестный человек, непременно хотел добиться успеха.

— Нет, нет! — говорил он. — Вы произносите так, как будто слово пишется K-i-g-c-h-k-e, а между тем в нем нет буквы «k»! Надо произносить вот так, вот...

И он в двадцатый раз за каждым уроком показывал мне, как надо произносить. Печально было то, что я ни за какие деньги не мог найти разницы между его произношением и своим; по моему глубокому убеждению, мы произносили это слово совершенно одинаково!

Тогда он принимался за другой способ:

— Видите ли, вы говорите горлом. — Совершенно верно, я говорил горлом. — А я хочу, чтобы вы начинали вот отсюда! — и он жирным пальцем показывал, из какой глубины я должен был «начинать» звук.

После многочисленных усилий и звуков, напоминавших что угодно, только не храм, я извинялся и складывал оружие.

— Это, кажется, невыполнимо! — говорил я. — Может быть, причина заключается в том, что я всю жизнь говорил ртом и горлом и, боюсь, теперь уже поздно начинать по-новому.

Тем не менее, упражняясь часами в темных углах и на пустынных улицах — к великому ужасу редких прохожих, —

¹ Церковь (нем.).

я добился того, что мой учитель пришел в восторг; я выговаривал это слово совершенно правильно. Мне было очень приятно, и я оставался в хорошем настроении, пока не отправился в Германию. Там оказалось, что этого звука никто не понимает. Мои расспросы вызывали слишком много недоразумений. Мне приходилось обходить церкви подальше. Наконец я догадался бросить «правильное» произношение и с трудом вспомнил первобытное. Тогда в ответ на расспросы лица прохожих прояснялись, и они охотно сообщали, что «церковь за углом» или «вниз по улице», как случилось.

Я вижу так же мало пользы в научном объяснении, которое требует каких-то акробатических способностей, но не приводит ни к чему. Вот образчик такого объяснения:

«Прижмите миндалевидные железы к нижней части гортани. Затем, выгнув корень языка настолько, чтобы почти коснуться маленького язычка, постарайтесь концом языка притронуться к щитовидному хрящу. Наберите в себя воздух, сожмите глотку и тогда, не разжимая губ, скажите «Кагоо».

И когда все это сделаешь, они еще недовольны.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Некоторые нравы и обычаи немецких студентов. — Мензура; ее «ненужная польза», по мнению импрессиониста. — Вкусы немецких барышень. — Salamander. — Совет иностранцам. — История, которая могла окончиться печально: о двух мужьях, двух женах и одном холостяке.

На обратном пути мы остановились в одном из университетских городов Германии, специально с целью ознакомиться с обычаями студенческой жизни, и благодаря любезности некоторых знакомых любопытство наше было удовлетворено.

В Англии мальчик резвится и играет до пятнадцати лет, а после пятнадцати работает; в Германии же работает мальчик, а юноша развлекается. Здесь ребята отправляются в школу с семи часов утра летом, а зимой с восьми — и учатся. В результате шестнадцатилетний мальчик основательно

знает математику, классиков и новейшие языки и знаком с историей в такой степени, в какой она может быть необходима только завзятому политику. Если он не мечтает о профессорской кафедре, то обширность его познаний является даже излишней роскошью.

А вот вам портрет студента: он не спортсмен, и очень жаль, потому что мог бы быть хорошим спортсменом. Он в редких случаях умеет играть в футбол, чаще ездит на велосипеде, еще чаще увлекается французским бильярдом в дружных ресторанах, а в большинстве случаев употребляет время на питье пива, на дуэли и на свободное, бесцельное бродяжничество ради собственного удовольствия, для которого немцы придумали слово «Bummel».

Каждый студент принадлежит к какой-нибудь корпорации; последние делятся по своему изяществу и блеску на несколько степеней; принадлежать к одной из блестящих корпораций могут только сыновья богатых родителей, так как это удовольствие обходится до восьми тысяч марок в год; корпорации «Буршеншафт» и «Ландсманшафт» не так разорительны. Крупные общества разделяются на более мелкие, а те, в свою очередь, имеют свои особые ветви. При таком разделении придерживаются более или менее землячества, но только «более или менее», оно так же не выдерживает строгой критики, как, например, Гордоновский полк шотландской гвардии, который наполовину состоит из уроженцев Лондона. Но главная цель выдерживается, а именно чтобы университет подразделялся приблизительно на двенадцать отдельных корпораций, из которых каждая должна иметь строго определенные цвета знамени и шапок, а также строго определенную, излюбленную пивную, куда уже не допускаются члены других корпораций.

Главное занятие членов этих обществ состоит в том, чтобы драться с членами других обществ или своими собственными. Немецкая студенческая дуэль, «мензура», описывалась так часто и обстоятельно, что я не хочу надоедать читателям новыми подробностями. Я, как импрессионист, хотел бы только передать первое впечатление, какое произвела на меня эта «дуэль», так как считаю, что именно первые впечатления — не затемненные еще ничьим вмешательством и сложившиеся без всякого постороннего влияния — бывают самые справедливые.

Испанцы и южные французы глубоко убеждены и стараются убедить каждого в том, что бой быков изобретен специально для удовольствия и пользы самих быков; что лошадь, которая, по вашему мнению, стонала от боли, вовсе не страдала, а просто смеялась над собственной неудачей, относясь иронически к картине, которую представляют ее вырванные внутренности; и испанец, и француз, сравнивая ее блестящую смерть в цирке с бесславной кончиной на бойне, приходят в такой заразительный экстаз, что вам надо упорно сохранять хладнокровие, иначе вы, вернувшись в Англию, начнете хлопотать о введении боя быков как учреждения, развивающего рыцарство.

Нет сомнения, что Торквемада искренно верил в пользу инквизиции для человечества. По его мнению, легкая встряска не могла принести ничего, кроме добра, любому располневшему джентльмену, страдающему припадками мускульного ревматизма. А спортсмены-охотники у нас в Англии находят, что каждой лисице можно позавидовать: она занимается спортом по целым дням, не расходуя на это ни одного пенса и являясь центром всеобщего внимания.

Привычка ослепляет и заставляет нас не видеть того, чего не хочется видеть.

Гуляя по улицам германских городов, на каждом шагу встречаешь джентльменов с дуэльными шрамами на лице. Дети здесь играют «в дуэль» сначала в детской, потом в школе, а затем, будучи студентами, уже серьезно играют в нее от двадцати до ста раз. Немцы убедили сами себя, что в этом нет ничего жестокого, ничего обидного, ничего унижающего. Защищая свои дуэли, они уверяют, что последние воспитывают в юношах смелость и хладнокровие. Если это и правда, то оно как будто бы лишнее в стране, где и без того каждый мужчина — солдат. И разве достоинства того, кто дерется перед зрителями ради приза, составляют особые достоинства солдата? Сомнительно! На поле сражения горячий характер приносит часто больше пользы, чем тупое равнодушие к собственным страданиям. В сущности, у немецкого студента не хватает смелости, так как в данном случае она выразилась бы в отказе драться, ведь они дерутся не для собственного удовольствия, а из страха перед общественным мнением, которое отстало на двести лет.

Знаменитая «мензура» вырабатывает одно — привычку к зверству. Говорят, она требует ловкости, но это не заметно: остается впечатление чего-то неприятного и смешного, как от драки в балаганных театрах. Мне рассказывали, что в аристократическом Бонне и в Гейдельберге, где много иностранцев, дуэли проходят в более выдержанном стиле: в хороших комнатах, в присутствии седовласых докторов, которые оказывают помощь раненым, между тем как ливрейные лакеи обносят публику угощениями, так что все получает вид живописной церемонии. Но в более скромных университетах, где рисоваться не для кого, студенты ограничиваются самым главным и... отнюдь не привлекательным. Право, настолько непривлекательна вся обстановка, что чувствительному читателю лучше пропустить это место: я не мог бы украсить действительности, да и пробовать не хочу!

Комната мрачная, голая, стены забрызганы пивом, кровью и стеарином, потолок закопчен сигарным дымом, пол усыпан опилками. Толпа студентов разместилась где попало — на деревянных скамьях и табуретках, на полу; все курят, разговаривают, смеются.

В центре комнаты стоят друг против друга соперники, огромные, неуклюжие, с выпученными глазами, в шерстяных шарфах, намотанных вокруг шеи, в каких-то фуфайках на толстой подкладке, похожих на грязные одеяла; руки просунуты в тяжелые ватные рукава, подняты... не то это воины, каких изображают на японских подносах, не то нелепые фигуры с вычурных часов.

Секунданты тоже начинены ватой, на головах у них торчат шапки с кожаными верхушками; они ставят соперников в надлежащую позицию, причем так и кажется, что послышится звук заводимой пружины... Судья садится на свое место, дает сигнал — и немедленно раздаются пять быстрых ударов длинных эспадронов. Следить за борьбой неинтересно: нет ни движения, ни ловкости, ни грации — я говорю о собственном впечатлении. Тот, кто сильнее, кто может дольше удержать неестественно согнутой рукой в толстом рукаве огромный, неуклюжий меч, — выигрывает.

Общий интерес сосредоточивается не на борьбе, а на ранах: последние приходятся обыкновенно по голове или в левую половину лица, иногда взлетает в воздух кусок кожи

с черепа, покрытый волосами, который впоследствии бережно сохраняется его гордым обладателем — или, вернее, его бывшим гордым обладателем — и показывается на вечерах гостям. Конечно, из каждой раны в обилии течет кровь; она брызжет на стены и потолок, попадает на докторов, секундантов и зрителей, делает лужи в опилках и пропитывает толстую одежду дерущихся... После каждого ряда ударов подбегают доктора и уже окровавленными руками зажимают зияющие раны, вытирая их шариками мокрой ваты, которые помощник держит готовыми на тарелке. Понятное дело, лишь только соперники снова становятся на места и продолжают свою «работу», раны в ту же минуту раскрываются, и кровь хлещет из них ручьем, почти ослепляя дерущихся и делая пол у них под ногами совершенно скользким. Иногда вы видите левую половину челюстей, обнаженных почти до самого уха, отчего получается такой вид, как будто человек глупо ухмыляется в одну сторону, оставаясь серьезным для другой половины зрителей, а иногда ударом рассекут кончик носа, что придает лицу странно надменное выражение.

Мне кажется, сражающиеся не делают никаких попыток избежать ударов: стремление каждого студента заключается в том, чтобы выйти из университета с возможно большим количеством шрамов на лице. Победителем считается тот, которого больше исполосовали; к нему относятся восторги товарищей, зависть юнцов и поклонение девиц; изрезанный и заштопанный, он с гордостью разгуливает первый месяц после мензуры, не смущаясь тем, что почти утратил человеческий облик. Другой боец — на долю которого выпало несколько ничтожных царапин — удаляется с места действия раздосадованный и огорченный.

Самая драка считается не столь важной и интересной, как перевязка ран, происходящая затем в соседней комнате, «перевязочной». Доктора только что со школьной скамьи, жаждущие практики после недавнего получения дипломов... Я должен прибавить, по совести, что те из них, которых мне пришлось видеть самому, имели далеко не сострадательный вид и, кажется, находили большое удовольствие в своей работе, а работали они так, как не стал бы работать ни один порядочный доктор, но, по-видимому, обычаи мензуры требуют, чтобы перевязка ран была по возможности

грубее и мучительнее, так что, может быть, молодых докторов винить и нельзя. То, как студент выносит перевязку ран, считается настолько же важным, как его стойкость в самой драке; товарищи наблюдают внимательно, требуя самого веселого и довольного вида, несмотря на всю жестокость, с какой производится перевязка. Широкие, зияющие раны — самые желанные, их нарочно зашивают кое-как, чтобы шрам остался на всю жизнь. Счастливым обладатель основательного безобразия может смело рассчитывать обзавестись в течение первой недели любящей невестой — с приданым, выражающимся по крайней мере пятизначной цифрой.

Таких дуэлей бывает несколько в неделю, причем на каждого студента приходится до дюжины в год. Но бывает еще особая мензура, к которой зрители не допускаются; она происходит между студентом, опозорившим себя хоть малейшим движением во время дуэли с товарищем, и лучшим бойцом всей корпорации; последний наносит провинившемуся целый ряд кровавых ран; и только после этого, доказав свое умение достойно принять наказание и не шелохнуться даже тогда, когда ему снесут половину черепа, студент считается омытым от позора и достойным остаться в ряду своих товарищей.

Сомневаюсь, чтобы можно было привести серьезный довод в защиту подобного обычая. Во всяком случае, если мензура и имеет какое-нибудь полезное влияние, то только на самих дерущихся, на зрителей же — самое гадкое и дурное. Я знаю свой характер настолько хорошо, что определенно могу считать себя не особенно кровожадным существом, и впечатление, произведенное на меня мензурой, наверное, то же, какое выносит из нее каждый средний человек; прежде чем дело началось, у меня к любопытству примешивалась беспокойная мысль о том, как мои нервы выдержат предстоящее зрелище, хотя я успокаивал себя тем, что имею некоторое представление о хирургических палатах. Когда потекла кровь и начали обнажаться мышцы и нервы, я почувствовал жалость и отвращение. Но когда первая пара сражающихся заменилась второй, признаюсь — человеческое чувство начало во мне гаснуть, а когда еще двое молодцов принялись резать друг друга, дело представилось мне в красном свете, как говорят американцы. Я во-

шел во вкус. Осмотревшись, я заметил на всех лицах такое же желание видеть новые раны, новую кровь... Если нужно развивать кровожадные инстинкты в современном человеке, то мензура вполне достигает цели, но нужно ли это?.. Мы гордимся нашей гуманностью и цивилизацией, но, отбросив в сторону лицемерие, все-таки должны признать, что под крахмальными манишками в каждом из нас сидит дикарь с нетронутыми дикими инстинктами, он никогда не исчезнет; иногда он нужен нам — и тогда является по первому требованию; но подкармливать его — лишнее.

В пользу серьезной дуэли можно сказать многое, но в пользу мензуры — ничего. Это пустое ребячество, несмотря на всю жестокость игры. Жестокость не придает ей серьезности. Ведь раны имеют собственную цену — не по степени тяжести, а по внутреннему смыслу, по облагораживающим их обстоятельствам. Вильгельма Телля справедливо считают одним из мировых героев, но что сказали бы мы о клубе, устроенном обществом отцов с тою целью, чтобы два раза в неделю собираться компанией и сбивать яблоки с голов своих сыновей? Мне кажется, немецкие студенты с полным успехом достигали бы желанных результатов, попросту дразня диких кошек! Не стоит записываться членом клуба ради того, чтобы вам искромсали физиономию. Путешественники рассказывают об африканских дикарях, которые выказывают свой восторг тем, что секут себя, но европейцам незачем следовать такому примеру. Мензура олицетворяет собой только нелепую сторону дуэли, и если немцы сами не видят, что увлекаться этим смешно, то их остается только пожалеть.

В Германии студенты поголовным пьянством не отличаются, большинство — народ трезвый, хотя и не особенно солидный, но меньшинство — признанные представители немецкого студенчества — ухитряются лишь до некоторой степени сохранять контроль над своими пятью чувствами и, таким образом, пребывают в хроническом состоянии все же не мертвецкого опьянения, хотя пьют полдня и всю ночь напролет. Пьянство действует не на всех одинаково, и все-таки в каждом университетском городе Германии нередко встречаются юноши моложе двадцати лет с фигурой Фальстафа и цветом лица рубенсовского Бахуса. Давно известно, что немецкую девушку можно очаровать физионо-

мией, точно неловко сшитой из разных матерчатых лоскутьев, но не могут же женщины находить интерес в одутловатой, распухшей роже и выпученных глазах!

А без последнего обойтись никак нельзя, если начинаешь в десять часов «утренним глотком» пива, а кончаешь в четыре часа на рассвете пирушкой, называемой «Кнейре». Последняя устраивается студентом, который приглашает товарищей — числом от дюжины до сотни — в излюбленный ресторан и затем угощает пивом и дешевыми сигарами столько, сколько допускает их собственное чувство самосохранения. Иногда пирушка устраивается всей корпорацией; характер ее зависит, конечно, от состава компании и может быть как очень шумным, так и очень мирным, но в общем соблюдается дисциплина и строгий порядок.

При входе каждого нового товарища все уже сидящие за столом встают, щелкают каблуками и отдают честь. Когда сборище в полном составе, избирается председатель, обязанность которого заключается в дирижировании пением. На столе раскладываются печатные ноты — по одному экземпляру на каждых двух человек, — и председатель кричит:

— Номер двадцать девятый! Первый куплет!

И первый куплет раздается дружным хором. У немцев часто встречаются хорошие голоса, петь они учатся и умеют все, так как хоровое пение пользуется среди них большой любовью, и поэтому эффект получается полный.

Содержание песен бывает иногда патриотическое, иногда сентиментальное, иногда весьма реалистическое — такое, которое смутило бы среднего юношу-англичанина, но немцы поют все одинаково: без улыбки, без смеха, без единой фальшивой ноты, с полной серьезностью держа перед собой ноты, как книжку гимнов в церкви.

По окончании каждой песни председатель кричит: «Prosit!» Все отвечают: «Prosit!» — и осушают стаканы. ПИАНИСТ-АККОМПАНИАТОР встает и кланяется, все кланяются ему в ответ; входит девушка и снова наполняет стаканы пивом.

Между песнями говорятся тосты, но они вызывают мало аплодисментов и еще меньше смеха, считается более достойным и приличным важно улыбаться и кивать другу другу головами.

С особенной торжественностью пьют тост, называемый «Salamander», — в честь какого-нибудь почетного гостя.

— Теперь, — говорит председатель, — мы разотрем Salamander! (Einen Salamander reiben.)

Все встают, торжественно-внимательные, как полк на параде.

— Все готово? — спрашивает председатель.

— Все! — в один голос отвечает компания.

— Ad excitium Salamander! — провозглашает председатель. Все стоят на чачеку.

— Eins!.. — Все быстрым движением трут дном стакана по столу.

— Zwei!.. — Стаканы опять шумят, описывая круг.

— Drei! Bibite! («Пить!») — и все, залпом осушив стаканы, поднимают их высоко над головой.

— Eins!.. — продолжает председатель; пустые стаканы катятся по столу, снова описывая круг, но производя на этот раз шум вроде волны, набегавшей на низкий берег и уносящей с собой тысячи мелких камешков.

— Zwei!.. — Волна опять набегает и замирает.

— Drei!.. — Все с размаху разбивают стаканы о стол и садятся по местам.

На этих пирушках бывают и состязания: два товарища в шутку ссорятся и вызывают друг друга на дуэль. Выбирается судья, приносят две невероятно большие кружки пива, и соперники садятся рядом. Все глаза устремлены на них, судья дает сигнал — и пиво исчезает в глотках. Тот, кто первый стукнет пустой кружкой о стол, — победитель.

Иностранцам, которым приходит желание посмотреть «Кнеире», следует в самом начале вечера записывать свое имя и адрес на клочке бумажки и прикалывать его к сюртуку. Немецкие студенты — народ вежливый, и в каком бы состоянии они ни были сами, но приложат все старания, чтобы развести гостей по домам; тем не менее они не могут и не обязаны помнить адрес каждого гостя.

Мне рассказывали о трех англичанах, пожелавших из любопытства принять участие в «Кнеире», причем их любознательность чуть не кончилась плачевным образом из-за недостатка догадливости. Они сообразили вовремя, что не мешало бы написать свои адреса на визитных карточках, для общего сведения, и сообщили свое намерение всей компа-

нии. Намерение вызвало общее одобрение, и бумажки были аккуратно приколоты к скатерти против каждого из трех англичан. Но в этом и заключалась ошибка: им следовало приколоть их не к скатерти, а к собственным скюрткам, так как в продолжение «Кнеіре» очень легко бессознательно переменить свое место.

Ранним утром председатель предложил отправить по домам всех, кто больше не в состоянии поднять голову со стола. Среди тех, для кого пирушка уже потеряла интерес, были три англичанина. Решили посадить их на извозчика и доставить куда следует под охраной более или менее трезвого студента. Если бы иностранцы догадались сидеть всю ночь на своих местах, то дело было бы очень просто, но они беспечно разгуливали по залу, так что теперь никто не знал, которому из джентльменов принадлежит каждая из трех карточек с адресами, и еще менее знали об этом сами джентльмены. Но в ту веселую минуту такое обстоятельство казалось сущим пустяком: налицо были три гостя и три карточки, и, следовательно, все обстояло благополучно. Если у любезных хозяев и мелькнула мысль о возможной путанице, то, вероятно, им в то время казалось очень легким рассортировать джентльменов на следующий день. Как бы то ни было, их усадили в экипаж под охраной студента, захватившего все три карточки, и проводили самыми радушными пожеланиями.

Немецкое пиво имеет одно достоинство: от него человек не делается ни раздражительным, ни шумливым и ни к кому не пристаёт, что считается естественным для пьяного в Англии; опьянев от пива, хочется только молчать, остаться одному и спать, все равно где — где попало.

Студент велел извозчику ехать в ближайшее из трех указанных мест. Доехав по адресу, он вытащил из экипажа самого безнадёжного из всех субъектов — вполне естественно было отделаться поскорее от «тяжелого случая» — и вытащил его с помощью извозчика наверх. Здесь находился указанный на визитной карточке пансион. На звонок ответил сонный лакей. Они внесли свою ношу и огляделись, куда бы ее пристроить. Дверь в чью-то спальню стояла открытой. Воспользовавшись удобным обстоятельством, они внесли туда ничуть не возражавшего джентльмена, положили

его на кровать, сняли с него то, что легко было стащить, и ушли, очень довольные собственной добросовестностью.

Поехали дальше, по второму адресу. Здесь им отворила дверь дама в капоте, с книжкой в руках. Студент взглянул на оставшиеся у него две карточки и спросил, имеет ли он удовольствие видеть госпожу Y. Случилось так, что это действительно была миссис Y, хотя все удовольствие встречи, по-видимому, относилось исключительно к студенту. Последний сообщил, что джентльмен, спящий в настоящую минуту у порога, — ее супруг. Это сообщение не привело в восторг миссис Y; она молча открыла дверь в спальню и удалась. Студент с извозчиком внесли джентльмена и положили его на кровать, но раздевать не стали — они уже начали уставать — и, не встретив больше хозяйки дома, удалились без разговоров.

На последней карточке значился адрес гостиницы, туда свезли оставшегося субъекта и передали ночному сторожу.

Между тем часов за восемь до развозки джентльменов по адресам в доме мистера и миссис X происходил следующий разговор.

— Я, кажется, говорил тебе, дорогая моя, что меня приглашали сегодня на так называемую «Кпеіре»? Да, что-то вроде холостяцкой пирушки, где студенты собираются пить, разговаривать и... и курить. Ну, знаешь, обыкновенная вечеринка!

— А!.. Что ж, иди. Надеюсь, тебе будет весело.

Миссис X была милая и умная женщина.

— Это должно быть интересно, — заметил мистер X. — Любопытно посмотреть, мне давно хотелось... Может быть, то есть может случиться, что... что я немного дольше задержусь там.

— А что ты называешь «дольше задержаться»?

— Видишь ли, трудно сказать в точности... Студенты — народ буйный, и когда они сходятся, то, вероятно... вероятно, пьется много тостов. Я не знаю, какое это произведет на меня впечатление. Если удастся, я уйду пораньше — так, чтобы никого не обидеть, конечно; ну а если нельзя будет, то...

Я уже сказал, что миссис X была умная женщина, она перебила мужа:

– Ты лучше попроси здесь, чтобы тебе дали второй ключ от двери, вот и все. Я лягу спать с сестрой, и тогда ты мне не помешаешь, в какое бы время ни вернулся.

– Это отличная мысль! – согласился мистер Х. – Мне всегда ужасно неприятно тревожить тебя. Я тихонько войду и проскользну в спальню.

Поздно ночью – или рано утром – Долли, сестра миссис Х, приподнялась на постели и прислушалась.

– Дженни! – спросила она. – Ты не спишь?

– Нет, милая. А ты почему проснулась? Спи спокойно.

– Что это за шум?.. не пожар ли!

– Нет, нет. Это Перси вернулся; вероятно, он споткнулся обо что-нибудь в темноте. Не беспокойся, душечка, спи.

Долли заснула; но миссис Х, как хорошая жена, решила встать и пройти в спальню, чтобы посмотреть, уснул ли ее муж. Накинув халат и сунув ноги в туфли, она тихо вышла в коридор, а оттуда открыла дверь в свою комнату. Будить мужа она не собиралась: для этого понадобилось бы целое землетрясение. Она только зажгла свечу и приблизилась к спящему.

Это не был Перси. Это был какой-то мужчина, ни капельки не похожий на Перси! Она почувствовала, что этот мужчина ни в каком случае не мог бы быть ее мужем. При настоящих обстоятельствах она даже почувствовала к нему отвращение – такое отвращение, что единственным желанием было поскорее отделаться от него!

Но тут она заметила в лице спящего что-то знакомое и, всмотревшись повнимательнее, вспомнила, что это мистер Y, женатый человек, у которого она с Перси обедала в первый день после приезда в Берлин.

Но как он сюда попал?..

Она поставила свечу на стол и, сжав голову руками, начала думать. Страшная правда скоро мелькнула в ее воображении: Перси отправился на «Клеире» вместе с мистером Y; произошла ошибка: мистера Y доставили сюда, а Перси в эту минуту...

Тут миссис Х бросилась обратно в комнату сестры, наскоро оделась и бесшумно сбежала вниз по лестнице. На ее счастье, проезжал мимо дома ночной извозчик, она вскочила в экипаж и велела ехать по адресу миссис Y. Там она

приказала извозчику подождать, взбежала наверх и решительно позвонила.

Дверь открыла миссис Y, все еще в капоте и с книжкой в руках.

— Миссис X?! — воскликнула она в удивлении. — Зачем вы сюда приехали?

— За моим мужем! — Больше бледная миссис X ничего не могла придумать в эту минуту. — Он здесь?

Миссис Y выпрямилась в негодовании:

— Миссис X! Как вы смеете?!

— Ах, поймите меня, ради Бога! Это все ужасная ошибка!.. Они принесли моего бедного мужа сюда не нарочно, но все-таки принесли... Посмотрите, умоляю вас!

— Милая моя, — отвечала миссис Y — она была гораздо старше и спокойнее. — Не волнуйтесь. Они действительно принесли сюда джентльмена полчаса тому назад, и, сказать по правде, я на него даже еще не взглянула. Он там, в спальне; они уложили его на кровать и оставили как есть; если вы успокоитесь, мы стацим его вниз и доставим к вам так тихо, что никто, кроме нас, об этом не узнает.

Очевидно, самой миссис Y захотелось теперь помочь знакомой даме. Она открыла дверь в спальню, и миссис X вошла в нее, но через секунду выбежала с искаженным, бледным лицом:

— Это не мой муж!.. Что мне делать?..

— Очень жаль, что вы впадаете в подобные заблуждения, — холодно проговорила миссис Y, направляясь в спальню.

— Да, но это и не ваш муж! — остановила ее миссис X.

— Вот глупости!..

— Нет, не глупости! Я знаю наперное, потому что только что оставила вашего мужа в моей квартире, он спит на кровати Перси.

— Как!.. Что он там делает?!

— Ничего не делает... Они его принесли и положили! — объяснила миссис X, начиная плакать. — Я оттого и подумала, что Перси попал к вам!..

Обе женщины замолчали и глядели друг на друга. По другую сторону полуотворенной двери раздавался только храп спящего джентльмена.

— Так кто же здесь лежит? — первой спросила миссис Y.

— Я не знаю! Я его никогда не видела. Не знаете ли вы, кто это такой?

Миссис У с шумом захлопнула дверь.

— Что же нам делать? — спросила миссис Х.

— Я знаю, что мне делать: я еду к вам за моим мужем.

— Он очень сонный... — заметила миссис У.

— Ничего, не в первый раз он сонный, — отвечала миссис У, застегивая пальто.

— Но где же Перси?! — рыдала бедная миленькая миссис Х, когда они вдвоем спустились по лестнице.

— Об этом уж вы, моя милая, узнаете от него самого.

— Если они так ошибаются, то могли сделать с ним Бог знает что!..

— Утром мы все узнаем, душечка. Не беспокойтесь.

— Ну, теперь я вижу, что «Кнейре» — ужасная вещь! Больше я никогда в жизни не пущу Перси на эти «Кнейре»!

— Дорогая моя, — заметила наставительно миссис У. — Если вы будете исполнять ваш долг, то он никогда и не захочет уходить из дома.

И говорят, Перси в самом деле больше никогда не ушел. Но я все-таки думаю, что вся ошибка заключалась в прикалывании визиток к скатерти. А ошибки в нашем мире жестоко наказываются.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Несколько серьезных мыслей на прощанье. — Немец с англосаксонской точки зрения. — Городовой. — Инстинкт командования и подчинения. — Купец. — Новая женщина. — Единственный упрек, который можно сделать немцам. — «Vitttel» окончен.

— Всякий мог бы управлять этой страной, — заметил Джордж.

Мы сидели в саду гостиницы «Кайзергоф», в Бонне, глядя с высоты на Рейн. Это был последний вечер нашего бродяжничества; мы закончили предпринятый «Vitttel», и на следующее утро предстояло «начало конца»: с ранним поездом мы отправлялись в обратный путь.

— Даже я мог бы управлять этой страной, — продолжал Джордж. — Я написал бы на листке бумаги все, что люди

обязаны делать, велел бы это напечатать в хорошей типографии и приказал развесить по городам и деревням — вот и все.

В современном тихом и обстоятельном немце, находящем полное удовлетворение в том, что он платит подати и исполняет приказания тех, кто волей судьбы поставлен властвовать над ним, действительно трудно различить черты его диких предков, для которых свобода была воздухом, жизнью, условием существования, которые избирали вождей — но только для совета, — а народ оставлял за собой право исполнять или не исполнять предписания, относясь презрительно к беспрекословному подчинению. В настоящее время в Германии много толкуют о социализме, но это социализм, который при других условиях быстро стал бы деспотизмом. Свобода воли и личности не искушает немца, он любит, чтобы им управляли, а недовольные недовольны только формой проявления власти, но не самим ее существованием над ними.

Полицейский для немца — брамин. В Англии мы считаем городских безобидной необходимостью, они служат у нас в качестве верстовых столбов, а в центре города оказывают пользу почтенным дамам, которые не могут сами перейти через улицу; кроме благодарности за эти услуги, мы не питаем к ним никаких особенных чувств. Но в Германии городской вызывает благоговение и восторг. Для немецкого ребенка городской — добрый волшебник: он устраивает площадки для игр, с песком, качелями и гигантскими шагами, интересные базары и бассейны для купания; он же наказывает за шалости. Немецкое дитя стремится понравиться городскому, если он улыбнется — оно счастливо; жить в одном доме с ребенком, которого городской погладил по голове, невыносимо: до такой степени он важничает.

Здесь каждый гражданин чувствует себя солдатом, а городской признает офицерами. Городской указывает ему, куда идти и с какой скоростью и как переходить мосты; если бы у мостов не было полиции, немец готов был бы сесть на землю и ждать, пока протечет вся река. На железнодорожных станциях его запирают в комнату, где он может умереть, в надлежащее время передают кондуктору поезда — тоже в своем роде городскому, он усаживает немца на

определенное место, довозит куда следует и там выпроваживает.

В Германии незачем о себе беспокоиться: все делается для вас, и делается хорошо. Никто от вас не требует, чтобы вы за собой смотрели, никто не считает странным, если вы этого не умеете: смотреть за вами должен полицейский. Если вы беспомощный идиот и попадаете в какую-нибудь историю, то виноват он, а не вы. Где бы вы ни были и что бы вы ни делали, он заботится о вас — заботится добросовестно и безупречно. Если вы что-нибудь потеряете — он найдет; если вы сами себя потеряете — он вас водворит куда следует; если вы не знаете, чего вам хочется, — он вам объяснит; если вам хочется чего-нибудь полезного и хорошего — он достанет.

Частные поверенные в Германии не нужны: если вы хотите продать дом или купить землю, государство хлопочет для вас. Если вас надули, государство начнет расследование дела. Государство вас страхует, женит и немножко развлекает азартными играми.

«Пожалуйста, вы только родитесь на свет Божий! — говорит немецкое начальство гражданину. — А мы сделаем все остальное. Дома и вне дома, в болезни и добром здоровье, в труде и в удовольствии — всегда вам будет сказано, что надо делать, и уж мы посмотрим, чтобы вы действительно сделали то, что надо. Ни о чем, пожалуйста, не беспокойтесь».

И немец не беспокоится. Если поблизости нет городского, он ходит, пока не увидит объявления, тогда прочтет его и делает то, что сказано.

Я помню, в каком-то немецком городе мне случилось проходить мимо парка, в котором играла музыка; в него вели двое ворот: у одних продавались билеты, а другие — за четверть мили от первых — стояли широко открытыми; здесь не было ни сторожа, ни городского, и каждый желающий мог бы свободно войти в парк и слушать музыку. Но никто не подумал войти в эти ворота, все под палящим зноем ползли к главному входу, где стоял человек и собирал входную плату.

Я также видел, как несколько мальчуганов стояли в томлении перед замерзшим прудом, место было пустое, вокруг ни души, и они могли бы кататься на коньках часа три под

ряд — никто бы их не заметил; народ был далеко, за полмили, на другом конце пруда, да еще за поворотом; но мальчишки так и простояли, томясь желанием, но не сходя на лед только потому, что это запрещено.

Такие факты невольно наводят на сомнения: одной ли породы тевтоны с грешным родом людским? Может быть, это добрые духи, слетевшие на землю только для того, чтобы выпить стакан пива, которое, как им должно быть известно, можно пить только в Германии?

Здесь дороги из деревни в деревню обсажены фруктовыми деревьями; никто, кроме совести, не препятствует пользоваться их плодами. В Англии такое обстоятельство возбудило бы страшное волнение: дети умирали бы сотнями от холеры, доктора сбились бы с ног в борьбе с последствиями объедания зелеными яблоками и неспелыми орехами, и публика пришла бы в негодование, требуя, чтобы землевладельцам запретили устраивать вместо заборов и каменных стен живые изгороди из фруктовых деревьев — за счет детских желудков.

Для англосаксонского ума представляется потерей времени проходить мимо рядов фруктовых деревьев и не трогать их; по нашему мнению, смотреть хладнокровно на ветви, склоненные под тяжестью зрелых плодов, было бы насмешкой над дарами природы. А в Германии мальчик пойдет по такой дороге за несколько миль в соседнюю деревню, чтобы купить там на пять пфеннигов груш.

Мне кажется, что приговоренному к смертной казни немцу можно было бы просто дать веревку и печатные правила: он отправился бы домой, прочел бы их внимательно и повесился бы у себя на заднем дворе согласно всем пунктам. Я не удивился бы, услышав о таком случае.

Немцы — хороший, добрый народ, может быть, самый лучший на свете. Наверное, в раю их гораздо больше, чем представителей других наций. Я только не могу понять, каким образом они туда попадают: невероятно, чтобы душа каждого отдельного немца самостоятельно взлетала на небо; мне кажется, что их собирают партиями — и отправляют каждую партию под охраной умершего городского.

Карлейль по справедливости признал за пруссаками — и это относится ко всем германцам — одну великую добродетель — способность к выправке. Научите его работать и

отправьте в Африку или Азию под начальством кого-нибудь носящего форму — и он будет делать что угодно, встретит хоть самого черта, если прикажут. Но сделать из него пионера очень трудно: предоставленный собственной инициативе, он скоро погибнет: не от глупости, а оттого, что над ним нет начальства, которому можно слепо доверить себя самого. Немец так долго был ландскнехтом всех государств, что солдатчина вошла в его плоть и кровь. Он даже иногда страдает от ее избытка; мне рассказывали об одном лакее, незадолго перед этим окончившем военную службу; хозяин послал его с письмом в один дом и велел ждать ответа. Час проходил за часом, а человек не возвращался. Отправившись лично, хозяин застал его все еще в том доме, куда послал, хотя с ответным письмом в руке; он ожидал дальнейших приказаний.

Удивительнее всего то, что каждый человек, бывший сам по себе беспомощным существом, становится у них энергичным, сообразительным, находчивым — лишь только на него наденут форму и сделают начальником над другими. За других он готов отвечать, охранять их, управлять сам собой. Немец или повинуется, или командует. Остается одно: обучать их всех командовать и затем отдавать каждого под его собственное начальство, тогда он будет отдавать сам себе разумные, смелые приказания и следить, чтобы они были исполнены.

У них один девиз — долг, а понятие о долге сводится, кажется, к следующему: слепое повиновение каждому, кто носит блестящие пуговицы. Эта идея диаметрально противоположна той, на которой построено процветание англосаксов; но так как тевтонская раса тоже процветает, значит, в обеих системах есть истина. До сих пор Германии везло относительно правителей, тяжелое время настанет для нее тогда, когда испортится главная машина, но, может быть, описанный выше характер народа постоянно подготавливает хороших правителей; это вполне вероятно.

В сфере торговли немец, мне кажется, всегда останется позади англосаксов — если только его характер не переменится; теперь он слишком добродетелен для купца. Жизнь для него не представляет погони за богатством, он придает ей больше смысла; среди дня он запирает лавочку (даже банк и почтовую контору) на два часа и отправляется до-

мой — пообедать в недрах семейства и вздремнуть за десертом. Такой народ не может соперничать с тем, который на пять минут отрывается от работы, чтобы позавтракать, стоя у прилавка, и спит с телефоном над кроватью.

В Германии не делается такого огромного различия между классами населения, чтобы ради положения в обществе стоило бороться не на живот, а на смерть. Правда, круг аристократов-землевладельцев держится у них как за неприступной стеной, но вне этого замкнутого царства положением не гордятся и не смущаются. Жена профессора и жена мастера со свечной фабрики каждую неделю встречаются в излюбленной кофейне и дружно обсуждают местные скандальные новости; доктора не брезгают обществом трактирщиков, с которыми выпивают не одну кружку пива; богатый инженер, собираясь с семьей на пикник, приглашает принять в нем участие своего управляющего и портного, те являются с чадами и домочадцами, со своей долей бутербродов и питья, и все отправляются вместе, а на обратном пути поют хором песни. При таком положении вещей незачем тратить лучшие годы жизни на то, чтобы приготовить себе достойную обстановку для лет старческого слабоумия. Вкусы и стремления немца — и даже его жены — остаются до конца дней непритязательными. Он любит видеть в своем доме побольше красного плюша, позолоты и лакировки, но этим его понятия о роскоши удовлетворяются вполне; и может быть, это не хуже стиля Людовика XV в смеси с ложным стилем времен Елизаветы, электрическим освещением и массой фотографий... Иногда немец наймет художника и прикажет ему изобразить на главном фасаде своего дома кровопролитную битву, которой всегда мешает входная дверь, а в спальне над окнами — парящего в воздухе Бисмарка. Но для того чтобы полюбоваться хорошими мастерами, он идет в общественные картинные галереи и не разоряется на редкости даже тогда, когда имеет деньги, так как в Германии еще не развилась страсть лезть в знаменитости и пока нет обычая осаждать «знаменитостей» в их домашней обстановке, чтобы затем описывать все в газетах.

Немец любит покушать. В Англии встречаются фермеры, которые, жалуясь на разоряющее хозяйство, с успехом едят по семи раз в день; в России в продолжение одной недели в году бывает пиршество, которое не обходится без

смертных случаев от объедания блинами, но это — исключение, имеющее в основе религиозный обычай. В Германии же развилось особенное умение есть — «из любви к искусству», которого нет ни в одном другом государстве. Немец, только что встав, выпивает за одеванием несколько чашек кофе с полдюжиной горячих булочек с маслом; но этого он не считает и в десять часов садится в первый раз к столу; в половине второго садится обедать — очень основательно: обед считается главной едой в продолжение дня, и он предается ему как важному делу, часа два подряд; в четыре часа он отправляется в кофейню и полчаса занимается там уничтожением кофе и сладких пирожков. Затем целых три часа он не трогает ничего и только с семи начинает закусывать, и уж закусывает целый вечер: бутылку пива с бутербродами, потом, где-нибудь в театре, еще бутылку пива с холодным мясом и колбасами, потом еще бутылочку белого вина и яичницу и наконец, перед самым сном, — кусочек хлеба с колбасой и для промывки еще немного пива.

Но он не лакомка — французские повара и французские цены в немецких ресторанах не прививаются. Немец предпочитает пиво и свое местное белое вино самому дорогому шампанскому и красным французским винам. И хорошо делает, что предпочитает: когда француз-виноторговец отправляет бутылку в немецкую гостиницу, он, вероятно, вспоминает Седан и злорадно улыбается; впрочем, его бутылки заказываются по большей части невинными путешественниками-англичанами! Но, пожалуй, он и в этом случае имеет право улыбнуться и поставить свою бутылочку в счет за Ватерлоо.

В Германии никто не требует изысканных, дорогих развлечений, и никто их не устраивает; здесь все уютно и по-домашнему. Немцу не надо делать членских взносов по части разного спорта, он не поддерживает никаких общественных увеселительных учреждений, у него нет гордых знаковых богачей, для которых нужно нарядно одеваться. Его главное удовольствие — кресло в опере — стоит несколько марок; туда его жена и дочери ходят в платьях домашнего шитья, накинув на голову платочки. В сущности, на этой безусловной простоте, царящей во всей стране, отдыхает глаз путешественника-англичанина. У немцев своих лошадей и экипажей очень мало, даже извозчиками мало пользу-

ются — лишь тогда, когда нельзя сесть в электрический трамвай.

Таким образом немцы сохраняют свое своеобразие. Здесь купцу незачем ухаживать за покупателями. Я как-то сопровождал в Мюнхене одной барышне-англичанке в ее экскурсии по магазинам. Она привыкла к таким экскурсиям в Лондоне и Нью-Йорке и ворчала на все, что ей показывали, не потому, что ей ничего не нравилось, а потому, что у нее была такая привычка. Она считала полезным и для дела, и для купца уверять, что все это она может купить в другом месте гораздо лучше и дешевле, что в его магазине вещи совершенно безвкусные, старомодные, что не из чего выбирать, что всё вульгарное и не будет хорошо носиться.

Купец не спорил и не противоречил. Он спокойно уложил весь вынуженный товар в картонки, поставил их на полки, вышел в маленькую гостиную за магазином и запер дверь.

— Что же это он не возвращается! — заметила барышня после того, как мы несколько минут просидели в ожидании. Ее тон выражал большое нетерпение, но ни вопроса, ни недоумения в нем не было.

— Я не думаю, чтобы он возвратился, — отвечал я.

— Почему? — спросила она в большом удивлении.

— Мне кажется, вы ему надоели. По всей вероятности, он сидит теперь за этими дверьми с газетой и трубкой в зубах.

— Вот чудак! Я таких купцов никогда не видала! — воскликнула с негодованием моя знакомая, собирая свои пакеты и выходя из лавки.

— У них такой обычай: если вам вещи нравятся, покупайте, а если не нравятся, то они предпочитают не заниматься лишним разговором.

В другой раз я слышал в курительной комнате немецкой гостиницы рассказ англичанина, который я на его месте оставил бы про себя.

— Нечего и стараться, — трещал маленький англичанин, — сконфузить немца! Да они и дела не понимают. Вот здесь, на площади, я увидел в окне старинное издание «Разбойников», захожу и спрашиваю цену. За конторкой сидит с газетой какой-то несимпатичный старикашка.

— Двадцать пять марок, — говорит и продолжает читать.

Я ему говорю, что видел несколько дней тому назад лучший экземпляр и всего за двадцать марок. (Известное дело, ведь всегда так разговаривают, когда покупают.) А он спрашивает:

— Где?

— В Лейпциге, — говорю.

Тогда он, представьте себе, спокойно советует мне ехать в Лейпциг и купить там книжку! Ну я, конечно, не обращаю внимания и спрашиваю, за сколько он уступит свой экземпляр.

— Я уже вам сказал, — говорит, — за двадцать пять марок. — Удивительно несимпатичный человек!

— За это не стоит платить таких денег, — говорю я.

— А разве я сказал вам, что стоит? — Так и брякнул, представьте себе!

— Десять марок хотите?..

Тут он встал. Я думал, он выходит из-за прилавка, чтобы достать книгу, а он, оказывается, прямо подошел ко мне — огромный детина! — поднял меня за плечи и выставил на улицу!.. И ничего не сказал, только дверь захлопнул. Я никогда в жизни не был так поражен.

— Может быть, книжка стоила двадцати пяти марок? — заметил я.

— Конечно, стоила! Очень даже стоила! — отвечал маленький англичанин. — Но что же это за понятие о торговле?!

Если немецкий характер когда-нибудь переменится, то только благодаря немецкой женщине. Сама она быстро изменяется — как говорится, идет вперед. Десять лет тому назад ни одна немка, которой была дорога добрая слава и надежда выйти замуж, не посмела бы сесть на велосипед, теперь же они разъезжают по стране тысячами; старики при виде их качают головами, но молодые люди догоняют на своих велосипедах и едут рядом. Еще недавно катание на коньках признавалось достаточно женственным только в том случае, если девушка беспомощно висела на руке своего родственника мужского пола, теперь же она самостоятельно выписывает восьмерки в углу пруда целыми часами, пока не придет на помощь какой-нибудь юноша. Она и в лун-теннис теперь играет, и я даже наблюдал однажды —

с безопасной позиции, — как девушка правила лошадьми в двухколесном экипаже.

Она всегда хорошо образована, в восемнадцать лет она владеет двумя или тремя языками и уже забыла больше, чем английская женщина когда-либо знала. Тем не менее образование немкам впрок не идет: выйдя замуж, она спешит освободить ум от лишнего балласта и предается кухне, где собственноручно изготавливает плохие кушанья.

Но предположим — ее осенит догадка, что женщине не зачем посвящать себя всецело кухне, как мужчине незачем превращаться в деловую машину. Предположим, что она захочет принять участие в общественной жизни своей страны!.. О, тогда ее влияние как здорового и разумного друга будет огромно и прочно.

Ведь надо помнить, что немец сентиментален и легко поддается женскому влиянию. Если говорится, что он самый лучший жених и самый скверный муж, то в этом виновата немецкая женщина: выйдя замуж, она не только забывает всю поэзию и романтическую обстановку, но гонит их из дома щеткой и метлой. Даже девушкой она не умела одеваться, а замужем немедленно забросит последние порядочные платья и начнет напяливать на себя что попало — по крайней мере, такое получается впечатление. Она начинает ненавидеть свою фигуру, которая могла бы остаться фигурой Юноны, и свой цвет лица здорового Амура — и начинает сознательно портить то и другое. Поклонение своей красоте она спешит променять на ежедневную порцию сладостей, после каждого обеда отправляется в кофейню и набивает себя сладкими пирогами с кремом, запивая их обильным количеством шоколада. Конечно, в короткий промежуток времени она становится жирной, рыхлой, неповоротливой и положительно неинтересной. Когда она поборет в себе эту слабость и склонность к вечерней порции пива, когда постарается сохранить с помощью физических упражнений свою фигуру и перестанет забрасывать после замужества все книжки, кроме поваренной, тогда страна найдет в ней новую неведомую силу. И, по-видимому, эта сила начинает уже проявляться в разных местах государства.

Интересно было бы видеть, что тогда произойдет, потому что немецкая нация все еще молода и ее сила имеет

значение для нашего мира; они народ добрый, хороший, который мог бы принести другим пользу, одно можно против них сказать — что они считают себя лучше всех, и это глупо. Они настолько увлекаются, что ставят себя выше англосаксов. Это так трудно понять, что можно объяснить только притворством.

— Конечно, у немцев есть достоинства, — заметил Джордж, — но немецкий табак я считаю смертным грехом всей нации. Я иду спать.

Мы встали и облокотились на низкую каменную ограду, следя за меркнущими огоньками на тихой темной реке.

— В общем, наш «Vimmel» удался, — сказал Гаррис. — Мне уже хочется домой, но в то же время жаль, что все кончено... Не знаю, понимаете ли вы это чувство.

— А как ты объяснишь немецкое слово «Vimmel»? — спросил Джордж.

Я задумался на минуту, прислушиваясь к неумолчному говору бегущей воды.

— Мне кажется, его можно объяснить так, — сказал я. — Бесцельный путь — длинный ли, короткий ли, — определяемый только известным периодом времени, после которого мы должны вернуться туда, откуда вышли... Иногда этот путь лежит по шумным улицам, иногда по полям и мирным дорожкам; иногда нам дается на него несколько часов, а иногда — долгое время, но, где бы он ни пролегал и сколько бы ни продолжался, наша мысль вьется по нему, как струйки сыпучего песка... Мимоходом мы улыбаемся и киваем головой своим спутникам, возле некоторых останавливаемся поговорить, с другими — проходим вместе несколько шагов... Встречаем много привлекательного по пути, хотя часто устаем немного... Но в общем путь пройден с интересом, и нам становится жаль, когда все кончено!..

РАССКАЗЫ

ГЕРОЙ

Чаще всего имя его — Джордж.

— Называй меня Джорджем! — просит он героиню. Она называет его Джорджем (очень тихо, ведь она так молода и застенчива). Он счастлив. Театральный герой постоянно бездельничает. Он слоняется по сцене и ввязывается в неприятности. Цель его жизни — попасть под суд за преступления, которых он не совершал; он считает, что день прожит не зря, если удастся напустить туману в происшествие, и все без разговоров признают его убийцей.

Театральный герой — отличный оратор, от его красноречия даже у самого мужественного человека душа уходит в пятки. Когда герой поучает злодея, это великолепное зрелище!

Каждый театральный герой владеет «имением», которое примечательно высокой культурой хозяйства и хитроумной планировкой «помещичьего дома». Обыкновенно дом одноэтажный, но, хоть он маленький и неудобный, в растительности вокруг веранды недостатка не ощущается.

Обитатели соседней деревни, по всей видимости, избрали сад перед домом героя своим постоянным местом жительства — в этом основной порок усадьбы с нашей точки зрения; но герой доволен, ибо он обрел слушателей для речей, которые произносит с парадного крыльца, — это его любимое занятие.

Обычно как раз напротив дома — кабачок. Это удобно. От «имения» герою одно беспокойство. Делец он неважный, сразу видно: только попробует вести хозяйство самостоятельно, так сразу в пух и прах разоряется. Правда, обычно уже в первом действии злодей отбирает у него «имение»

и таким образом избавляет его от дальнейших хлопот почти до конца пьесы, но потом ему опять приходится надевать хомут.

Справедливость требует извинить героя за то, что он, бедняга, то и дело теряет голову и совершает юридические и всякие другие ошибки. Может быть, «законы» в пьесах — это еще и не самая страшная и непостижимая тайна вселенной, но они от нее очень, очень недалеки. Было время, когда мы льстили себя надеждой, что чуточку — самую малость — смыслим в писаных и неписаных законах, но, разобрав с этой точки зрения одну-две пьесы, мы поняли, что тут мы — несмышленные дети.

Мы решили не ударить в грязь лицом и добраться до сути театральной юриспруденции. Потрудились около полугодя и наконец почувствовали, что наш мозг (как правило, действующий безотказно) начал размягчаться; тогда мы прекратили занятия, полагая, что в конце концов дешевле обойдется, если мы назначим приличную премию, скажем, в пятьдесят или шестьдесят тысяч фунтов стерлингов, за толковые пояснения.

До сих пор на премию никто не претендовал, так что предложение остается в силе.

Правда, недавно хотел нам помочь один джентльмен, мы выслушали его трактовку и еще больше запутались. Он заявил, что ему все совершенно ясно и его — он так прямо и сказал — поражает наша тупость. Потом оказалось, что он удрал из психиатрической лечебницы.

Из всего свода театральных законов вот что нам удалось уяснить.

Если человек умирает, не оставив завещания, то все его имущество переходит к первому попавшемуся злодею.

Но если человек умирает и оставляет завещание, тогда все его имущество переходит к любому лицу, сумевшему завладеть этим завещанием.

Случайная утеря брачного свидетельства стоимостью в три с половиной шиллинга влечет за собой расторжение брака.

Чтобы осудить безукоризненно честного джентльмена за преступления, о которых он в жизни не помышлял, достаточно показаний одного злонамеренного персонажа с сомнительным прошлым.

Спустя много лет эти показания могут быть опровергнуты и обвинение снято без суда и следствия на основании одного тишь голословного заявления комика.

Если некий А подделывает на чеке подпись Б, то, по законам сцены, Б приговаривается к десяти годам каторжных работ.

Предупреждения за десять минут достаточно, чтобы аннулировать закладную.

Все судебные процессы происходят в гостиной обвиняемого, причем злодей действует сразу за адвоката, судью и присяжных заседателей и командует парочкой полицейских, которым велено во всем ему подчиняться.

Таковы некоторые из наиболее важных юридических положений, ныне действующих на сцене. Однако с каждой новой пьесой появляются новые постановления, статьи и поправки, так что мы потеряли всякую надежду как следует разобраться в этом вопросе.

Что до нашего героя, то он, конечно, теряется перед подобными законами, и злодей — единственный смыслящий в них персонаж — легко вытягивает у него денежки и пускает его по миру. Простодушный герой подписывает векселя, закладные, дарственные и тому подобные документы, воображая, что играет в бирюльки; потом оказывается, что он не в состоянии уплатить проценты, у него отбирают жену и детей и выгоняют его из дому на все четыре стороны.

Теперь он вынужден в меру своих сил добывать себе на пропитание и, разумеется, чуть ноги волочит с голоду.

Герой умеет произнести длинную речь, поплакаться о своих неприятностях, встать в красивую позу на авансцене, избить злодея, наплевать на полицию, но все это не в ходу на рынке рабочей силы, а больше делать он ничего не умеет и не любит; тут он начинает понимать, как трудно зарабатывать на жизнь.

И все-то ему подворачивается слишком тяжелая работа. Махнув рукой на поиски подходящего занятия, он садится на шею добреньким стареньким ирландкам и щедрым, но слабоумным молодым ремесленникам, которые покинули свои родные края, чтобы последовать за героем и наслаждаться его обществом и поучительными беседами.

Вот так, проклиная судьбу, негодуя на человечество и оплакивая свои несчастья, герой и влачит свое существование через всю середину пьесы вплоть до последнего акта.

Тут он опять становится владельцем своего «имения» и может катить в деревню, читать нравоучения и блаженствовать.

Нравоучения — это его конек, их запасы у него неистощимы. Он надут благородными мыслями, как мыльный пузырь воздухом. Подобные же бледные, расплывчатые идеи проповедают на благочестивых собраниях (шесть пенсов за вход). Нас преследует мысль, что где-то мы их уже слышали. В памяти всплывает длинный мрачный класс, давящая тишина, которую изредка нарушает скрип стальных перьев и шепот: «Дай конфетку, Билл. Я ведь с тобой дружу!» — или погромче: «Сэр, пусть Джимми Баглс не толкается!»

Но герой считает свои изречения алмазами, только что извлеченными из философских копеек.

Галерка их бурно одобряет. Галерочники — добряки, они всегда сердечно встречают старинных друзей.

И потом, наставления эти такие добрые, а галерка в Англии так нравственна! На всей земле едва ли найдешь сборище людей столь порядочных, любящих добродетель, даже когда она глупа и скучна, и ненавидящих пороки в речах и поступках, как наша современная театральная галерка. По сравнению с галеркой театра «Адельфи» древние христианские мученики кажутся суетными грешниками.

А какой силач театральный герой! С первого взгляда этого не скажешь, но подождем, пока героиня взвизгнет: «На помощь! Спаси меня, Джордж!» — или пока на него нападут полицейские. Тогда он одним махом справляется с двумя злодеями, тремя специально нанятыми хулиганами и четырьмя сыщиками. Если от одного его удара валится с ног менее трех человек, он в тревоге, что захворал, и размышляет: «Откуда эта странная слабость?»

В любви он признается особым способом. Для этого он всегда встает за спиной любимой. Девушка (будучи, как мы упоминали, робкой и застенчивой) сразу от него отворачивается, а он хватает ее за руки и выдыхает признание ей в спину.

Театральный герой постоянно носит лакированные ботинки безукоризненной чистоты. Временами он богат и за-

нимает комнату с семью дверями, иногда ютится на чердаке, но лакированные ботинки на нем неизменно.

За эти ботинки можно выручить по крайней мере три с половиной шиллинга, и нам кажется, что, вместо того чтобы взывать к небесам, когда его сынок плачет от голода, ему бы следовало стянуть с ног эти ботинки и снести в заклад; герою же это не приходит в голову.

В лакированных ботинках он пересекает африканскую пустыню. На необитаемом острове, где он спасается после кораблекрушения, у него припасены лакированные ботинки. Он вернулся из долгих, трудных странствий; одежда его в лохмотьях, но на ногах новенькие сверкающие ботинки. В лакированных ботинках он скитается по австралийским дебрям, воюет в Египте, а также открывает Северный полюс.

Герой бывает золотоискателем, грузчиком, солдатом, матросом, но независимо от рода занятий он носит лакированные ботинки.

На лодке он гребет в лакированных ботинках, в них же играет в крикет; на рыбалке и на охоте он в них. В рай он пойдет только в лакированных ботинках, не разрешат — отклонит приглашение.

Герой из пьесы не выражается просто и понятно, как обыкновенный смертный.

— Ты мне будешь писать, да, милый? — спрашивает героиня перед разлукой.

Обыкновенный человек ответил бы так:

— Что за вопрос, киска, каждый день.

Но герой пьесы — это высшее существо. Он говорит:

— Любимая, видишь ли ты вон ту звезду?

Героиня взглядывает вверх и признается, что она действительно видит ту звезду; и тогда он с разгону пять минут подряд мелет ерунду насчет этой звезды и заявляет, что лишь тогда перестанет писать, когда сия бледная звезда свалится со своего места на небесном своде.

Что касается нас, то после длительного знакомства с театральными героями нам очень захотелось увидеть героя нового образца. Хорошо бы для разнообразия, чтобы он столько не болтал и не хвастался и в течение хотя бы одного дня мог позаботиться о собственной персоне и не попасть при этом в беду.

ЗЛОДЕЙ

На нем чистый воротничок, в зубах папироса; по этим признакам мы узнаем злодея. В жизни трудно бывает отличить злодея от порядочного человека, и это приводит к роковым последствиям; на сцене, как мы уже отметили, злодеи носят чистые воротнички и курят папиросы, поэтому ошибки можно не опасаться.

Счастье, что этого правила не придерживаются вне сцены, а то о порядочных людях можно было бы ужас что подумать. Ведь и мы носим чистые воротнички — иногда.

Члены нашей семьи тоже чувствовали бы себя неловко, особенно по воскресеньям.

Находчивостью злодей из пьесы, увы, не отличается. Все положительные персонажи говорят ему грубости и гадости, хлопают его по щекам и унижают напрапалую в течение целого действия, а он не в состоянии ответить надлежащим образом: толкового ответа от него не жди.

— Ха-ха, после дождичка в четверг! — вот самый блестящий ответ, на какой он способен, да и эти слова он обдумывает, предварительно удалившись в уголок.

Карьера театрального злодея всегда легка и головокружительна вплоть до последней минуты каждого действия. Затем он быстро попадает в какую-нибудь неприятность, чаще всего по милости комика. История неизменно повторяется. Однако злодей всегда бывает ошарашен. По-видимому, уроки не идут ему впрок.

Всего несколько лет назад злодея наделяли стоическим характером, помогавшим ему философски переносить вечные неудачи и капризы судьбы. «Обойдется», — с надеждой говорил он. Этот жизнерадостный человек не терял бодрости духа даже в самых тяжелых обстоятельствах. Он просто, по-детски верил в провидение. «Будет и на моей улице праздник», — утешался он.

Надежда на лучшее будущее, которая выражена в прекрасных словах, приведенных выше, за последнее время оставила его. Очень жаль. Именно эту черту характера мы ценим в нем больше всего.

Любовь злодея к героине поистине величественна в своем постоянстве. Героиня — мрачная и слезливая женщина, к тому же, как правило, она обременена парой само-

влюбленных и в высшей степени неприятных детей; что в ней пленительного — нам не ясно; злодей же сходит по ней с ума.

В своей любви он непоколебим. Героиня терпеть не может злодея и оскорбляет его порой далеко не по-дамски. Герой врывается и сбивает его с ног, не успевает он дойти до середины объяснения в любви; иногда комик юркнул за кулисы и насплетничает «селянам» или «гостям», как он подсмотрел такую вот душещипательную любовную сцену; те приходят и начинают измываться над злодеем (у злодея, наконец, еще задолго до конца пьесы рождается лютая ненависть к комику).

Несмотря ни на что, он продолжает мечтать о героине и клянется, что она будет ему принадлежать. Он недурен собой, и, судя по состоянию рынка, сколько угодно других девушек ухватились бы за него; но он готов пройти через самые трудоемкие и изнурительные преступления, готов принять обиды и оскорбления от первого встречного, лишь бы устроиться своим домком с этой унылой особой в качестве жены. Любовь вдохновляет его. Он грабит и поджигает, подделывает бумаги, убивает, плуствует и лжет. Если б нужно было совершить еще какие-нибудь преступления, чтобы завоевать ее, — ради своей милой злодей с наслаждением совершил бы их. Но он просто не знает, чего бы еще натворить, — и все же героиня к нему холодна. Что делать?

Им обоим трудно. Жизнь этой дамы была бы во много раз счастливее, если бы злодей не любил ее так безумно, это ясно даже самому заурядному зрителю, да и у злодея жизненный путь был бы спокойнее и чище, не мешай ему глубокая преданность героине.

Вся загвоздка в том, что он встретил ее в детстве. Впервые узрев ее, когда она была еще ребенком, он полюбил ее «с той минуты и навсегда!». И — ах! — он рад гнуть спину для нее, как раб, лишь бы она стала богатой и счастливой. Вероятно, он бы мог даже стать порядочным человеком.

Героиня старается его утешить. Она говорит, что возненавидела его всей душой с первой же минуты, как только этот отвратительный тип попался ей на глаза. Однажды в зловонном болоте она видела мертвую жабу, так вот, прижать к своей груди это скользкое земноводное ей будет куда приятнее, чем хоть на миг ощутить его (злодея) объятия.

Этот нежный лепет героини еще больше распалает злодея. Он объявляет, что все равно ее завоюет.

В менее серьезных любовных делишках злодею везет ничуть не больше.

Доставив себе удовольствие пошутить вышеописанным образом с героиней, истинной дамой его сердца, злодей время от времени пускается в легкий флирт с ее горничной или приятельницей.

Эта горничная или приятельница не теряет попусту времени на сравнения и метафоры. Она обызывает его бесцердечным негодяем и дает ему затрещину.

За последние годы были попытки несколько подсластить жребий злодея, обреченного на жизнь без любви: в него страстно влюбляется дочь священника. Однако любовь всегда охватывает ее за десять лет до начала пьесы и к первому действию успевает переродиться в ненависть; таким образом, и в этом направлении судьба злодея едва ли изменилась к лучшему.

Если рассудить здраво, то перемена чувств у этой женщины вполне оправдана. Ведь злодей увез ее совсем молоденькой из счастливого, мирного отцовского дома в этот ужасный перенаселенный Лондон. И он не женился на ней. У него не было хоть мало-мальски веской причины не жениться. В те времена она, безусловно, была прелестной девушкой (она и сейчас хороша — пикантная, живая дама), и всякий мужчина с удовольствием обзавелся бы такой милой супругой и жил бы с нею спокойной, тихой жизнью.

Но в злодея вселился дух противоречия.

Он самым непозволительным образом обращается с этой женщиной, хотя она не подает к этому никакого повода; наоборот, в его интересах быть с нею любезным и сохранять дружеские взаимоотношения, но из упомянутого выше духа противоречия он этого не делает. Беседуя с ней, он хватает ее за запястья и шипит свою роль ей в ухо; это щекочет и бесит ее.

Снисходителен он к ней только в одном — в вопросах туалетов. В средствах на туалеты он ее не ограничивает.

Злодей на сцене гораздо лучше злодея в жизни. Последний в своих поступках руководствуется лишь корыстными, эгоистическими побуждениями. Злодей из пьесы совершает зло, не стремясь к личным выгодам, а только из любви к

этому виду искусства. Само злодейство служит ему наградой. Он упивается им.

«Насколько приятнее быть бедняком и злодеем, чем с чистой совестью владеть всеми сокровищами Индии», — говорит он про себя. Затем он кричит:

— Я буду злодеем! Я зарежу доброго старичка, хоть это мне дорого обойдется и причинит массу хлопот, я засажу героя в тюрьму и, пока он там, стану соблазнять его жену! Трудное будет дело, риску хоть отбавляй и выгоды никакой. Приду к героине в гости — она осыплет меня оскорблениями и яростно толкнет в грудь, как только я к ней приближусь. Ее златокудрое дитя скажет, что я нехороший дядя, и, возможно, не захочет даже меня поцеловать. Потом комик посрамит меня в своих куплетах, а селяне возьмут себе выходной день и начнут разгуливать около трактира и гикать и улюлюкать при моем появлении. Всем ясно, какой я злодей, и в самом конце меня схватят. Так всегда бывает. Но все равно я буду злодеем, ха-ха!

В целом у злодея на сцене незавидное положение. У него самого никогда нет ни денег, ни «имения» и единственная возможность разбогатеть — это обобрать героя. Он любвеобилен, но, не имея собственной жены, вынужден строить куры чужим женам; ему не платят взаимностью, и поэтому все кончается самым печальным для него образом.

Тщательно обдумав жизнь (на сцене) и природу человека (на сцене), мы решили дать следующие советы злодеям из пьес.

Если только вы можете избежать этой участи, постарайтесь не стать злодеем. Жизнь злодея слишком полна треволнений, затраченная энергия и риск не окупаются.

Если вы похитили дочь священника и она все еще цепляется за вас, не швыряйте ее на пол посередине сцены и не обзывайте черными словами. Это раздражает, она вас невзлюбит и постарается восстановить против вас ту, другую.

Не набирайте себе слишком много сообщников, а уж если таковые у вас есть, то прекратите брань и издевательства над ними. Одного их слова достаточно, чтобы вас повесили, а вы как нарочно стараетесь их обозлить. Обращайтесь с ними вежливо и по-честному делите добычу.

Берегитесь комика. Закальвая человека или грабя сейф, вы почему-то никогда даже не обернетесь посмотреть, нет ли поблизости комика. Это непредусмотрительно. Пожалуй, лучше всего — убейте комика в самом начале пьесы.

Не влюбляйтесь в жену героя. Вы ей не нравитесь, и она не ответит на ваши чувства. Кроме того, ведь это непристойно. Почему бы вам не завести собственную жену?

И наконец, не ходите в последнем действии на то место, где вы совершили преступление. Вечно вас туда тянет. Наверное, вас привлекает дешевизна этой экскурсии. Наш совет: поостерегитесь. Всегда вас хватают именно там. Полицейские по опыту знают эту вашу привычку. Они не ломают себе голову, а попросту отправляются в последнем действии в старинный зал или к развалинам мельницы, где было совершено злодеяние, и ждут вашего прихода.

Бросить бы вам этот идиотский обычай — и в девяти случаях из десяти вы бы вышли сухим из воды. Итак, держитесь подальше от места преступления. Уезжайте за границу или на курорт в начале последнего действия и поживите там, пока оно не окончится. Тогда вы спасены.

ГЕРОИНЯ

У нее всегда беспросветное горе, и уж она не упустит случая сообщить вам об этом.

Слов нет, тяжелая у нее жизнь. Все как-то не ладится. И у нас с вами бывают невзгоды, но у театральной героини не бывает ничего другого. Выкроить бы ей в неделю хоть полденька без несчастий или освободиться от них на воскресенье — она бы немножко вздохнула.

Но нет, несчастья не отпускают ее ни на шаг с первого до последнего дня недели.

Мужа героини посадили в тюрьму за убийство (это самая меньшая неприятность, какая может с ним приключиться); убежденный седидами отец обанкротился и умер от горя; дом, где проведено детство, пошел с молотка, — и в довершение всего дитя героини подхватило где-то затяжную лихорадку.

Все свои страдания бедняжка приправляет обильными слезами, что, на наш взгляд, вполне закономерно.

Но на зрителей это производит гнетущее впечатление, так что к концу спектакля просто молишь Бога, чтобы на нее не валилось столько бед.

Слезы героиня проливает главным образом над ребенком. Ребенок постоянно находится в сырости. Удивительно, почему он не хворает ревматизмом.

Добродетельна театральная героиня до чрезвычайности! Комик провозглашает ее ангелом во плоти. В ответ героиня укоризненно улыбается сквозь слезы (улыбаться без слез она не умеет).

— Ах, что вы, — произносит она (печально, разумеется), — у меня много, очень много недостатков.

Хотелось бы, чтобы она свои недостатки побольше проявляла. А то уж слишком она хорошая, это как-то подавляет. Как посмотришь на героиню, так и радуешься, что вне сцены добродетельных женщин не так уж много. Жизнь и без того нелегкая штука, а если бы добродетельных женщин вроде театральной героини было больше, она стала бы совсем невыносимой.

Единственная радость в жизни героини — это прогуляться в метель без зонтика и без шляпы. Мы знаем, что шляпка у нее есть (весьма элегантная вещичка); мы заметили ее на гвозде за дверью в комнате у героини; но, отправляясь погулять ночью во время метели (сопровождаемой громом), героиня всегда заботливо оставляет ее дома. Наверное, ее беспокоит, как бы шляпка не испортилась от снега, а она женщина аккуратная.

Всякий раз она берет с собой ребенка. По ее мнению, метель действует освежающе. Ребенок не согласен с этой точкой зрения. Он заявляет, что ему холодно.

Портит ей удовольствие во время таких прогулок только снег: всякий раз подстережет и гоняется за ней по пятам. Нет героини на сцене — стоит дивный вечер; но вот она выходит на порог — и сразу же поднимается вьюга. Снег валит все время, пока она на сцене; не успеет она уйти, как опять устанавливается ясная погода, которая и держится до конца представления.

Распределение снега по отношению к этой бедной даме крайне несправедливо. Наиболее густой снег идет именно в той части улицы, где устроилась посидеть героиня. Нередко героиня усаживается в самой гуще снегопада, а в это вре-

мя на другой стороне улицы сухо, как в пустыне. Перейти дорогу героине почему-то никогда не приходит в голову.

Однажды необычайно злостный снежный вихрь, преследуя героиню, сделал три круга по сцене и наконец вместе с ней удалился (направо).

От такой метели, ясное дело, не уберешься. Театральная метель готова подняться за вами по лестнице и нырнуть вместе с вами под одеяло.

У театрального снегопада есть еще одна странность: все время сквозь снег светит луна. Светит она только на героиню и следует за ней по пятам вместе с метелью.

Только люди, знакомые с театром, способны постичь, что это за изумительное произведение природы — луна. Слегка знакомит вас с лунной астрономия, но, сходяв всего несколько раз в театр, вы узнаете о ней гораздо больше. Тут вы обнаружите, что луна шлет свои лучи только на героев и героинь да изредка посветит на комика; с появлением злодея она моментально закатывается.

Театральная луна закатывается поразительно быстро. Вот она еще плывет во всей своей красе по безоблачному небу — и вдруг, не успеешь оглянуться, ее уже нет. Будто повернули выключатель. Даже голова кружится, пока не привыкнешь.

Нрав у героини скорее задумчивый, чем веселый.

Она веселится, воображая, что перед ней дух матери или призрак отца, или вспоминая своего усопшего малютку.

Но так бывает только в самые радостные минуты. Обычно же рыдания отнимают у нее уйму времени, и ей некогда предаваться столь легкомысленным размышлениям.

Говорит она красноречиво, причем уснащает свою речь замечательными метафорами и сравнениями — не очень изящными, но зато убедительными, — в нормальных условиях такую жену не стерпеть. Но герой на некоторое время избавляется от этой опасности, которая, безусловно, постигла бы менее удачливого жениха; в день свадьбы его обыкновенно приговаривают к десяти годам каторги.

У героини бывает брат, и все всегда думают, что он ее любовник. В жизни трудно встретить брата и сестру, которые дали бы повод самому недоверчивому человеку принять их за любовников. Но зато на сцене брат и сестра до того нежничают, что ошибиться немудрено.

И вот произошла ошибка: вбегает супруг, застаёт их во время поцелуя и приходит в бешенство; героиня и не думает обернуться и сказать:

— Что ты, дурачок, ведь это мой брат!

Кажется, просто и разумно, но театральной героине это не по душе. Нет, она изо всех сил продолжает вводить всех в заблуждение, что даёт ей возможность погоревать втихомолку. Погоревать — вот это она обожает. Замужество театральной героини следует считать неудачным.

Если бы ей вовремя дали хороший совет, она осталась бы в девушках. Правда, у мужа героини самые благие намерения. И он любит её, это ясно. Однако в мирских делах он профан и неудачник. Хоть пьеса и кончается благополучно, но мы все-таки не советуем героине рассчитывать, что это счастье надолго. Судя по поведению и деловым качествам героя на протяжении пяти действий, мы склонны усомниться, способен ли он в дальнейшем стать чем-нибудь лучше, чем несчастным горемыкой.

В конце концов ему возвращают «права» (которых он бы не потерял, будь у него на плечах голова, а не котелок с возвышенными мыслями), злодей закован в цепи, и герой с героиней поселяются в уютном доме по соседству с домом комика.

Но это неземное блаженство быстро кончится. Театральный герой создан для горькой доли, и можно поспорить, что и месяца не пройдет, как снова грянет беда. Ему подсунут еще одну закладную на «имение»; а потом, помните наши слова, он забудет, подписывал он эту бумагу или нет, — вот и наступил конец счастью.

Он начнет не глядя ставить свою подпись на всевозможных документах, и одному Богу известно, в какую еще историю он впутается; тут приедет еще одна жена — оказывается, он обвенчался с ней ребенком и совсем о ней забыл.

Потом в деревне обнаружат очередного мертвеца, герой и тут ввяжется — вот увидите — и устроит так, что его обвинят в убийстве, и все начнется сначала.

Нет, мы бы посоветовали героине поскорее отделаться от героя, выйти замуж за злодея и уехать на жительство за границу, в такое место, куда комик не явится валять дурака.

Вот тогда она заживет припеваючи.

АДВОКАТ

Очень старый, очень высокий и очень худой. Седые волосы. Костюм самый допотопный, какой только можно вообразить. Густые нависшие брови и гладко выбритое лицо. Подбородок, должно быть, сильно чешется, так как он постоянно скребет его. Любимое восклицание: «Тэк-с, тэк-с!..»

В жизни нам приходилось слышать о разных служителях закона: есть среди них и молодые, и щеголеватые, и невысокие ростом, зато на сцене они неизменно очень худые и очень старые. Помнится, самый юный адвокат, которого мы когда-либо видели на сцене, выглядел лет на шестьдесят, а самый старый — лет на сто сорок пять, а то и больше.

Между прочим, определить возраст людей на сцене по их наружности — задача нелегкая. Частенько престарелая дама лет семидесяти оказывается матерью четырнадцатилетнего мальчика, а господин средних лет, муж молодой жены, производит впечатление девяностолетнего старца.

Иной раз вам кажется, что перед вами солидная, весьма почтенная, пожилая дама, а потом выясняется, что это нежное, невинное и легкомысленное создание — гордость своей деревни или предмет восторга целого батальона. А необыкновенно тучный, страдающий одышкой старый джентльмен, весь вид которого свидетельствует о том, что последние сорок лет он слишком много ел и слишком мало упражнял свои мускулы, — это не благородный отец, как вы решили, судя по чисто внешним признакам, а безрассудный мальчишка самого необузданного нрава.

Да, как ни странно, у него только два недостатка — молодость и легкомыслие.

А задатки у него хорошие, и он, без сомнения, с годами остепенится. Все молодые люди по соседству без ума от него, девушки его обожают.

— Вот он, — говорят они, — дорогой Джек, старина Джек, дружище Джек, Джек — заводила в наших юношеских играх, Джек, своей детской непосредственностью покоряющий сердца. Да здравствует наш танцор Джек, наш весельчак Джек!

С другой стороны, только по мере развития действия вы начинаете понимать, что дама, которой на вид нельзя

дать и восемнадцати, — это весьма пожилая особа, мать героя уже довольно зрелого возраста.

Опытный знаток сцены никогда не делает поспешных выводов из того, что видит, он ждет, пока ему все растолкуют.

На сцене адвокат никогда не имеет собственной конторы. Он совершает все возложенные на него дела в доме клиента. Он готов проехать сотни миль только для того, чтобы дать своему клиенту юридический совет по самому незначительному поводу.

Ему и в голову не приходит, что проще написать письмо. Сумма «дорожных издержек» в списке его расходов должна быть поистине громадной.

Два события в жизни его клиентов доставляют ему особенное удовольствие. Во-первых, когда клиент неожиданно приобретает состояние и, во-вторых, когда он неожиданно его теряет. В первом случае, узнав приятную новость, адвокат из пьесы бросает все свои дела и спешит в другой конец страны, чтобы сообщить радостную весть. Он появляется в скромном жилище любимца фортуны и вручает слуге визитную карточку, после чего его немедленно приглашают в гостиную. Он входит с таинственным видом и садится слева, клиент — справа. Обыкновенный адвокат в подобных случаях прямо переходит к цели своего визита и в простых, деловых выражениях излагает существо вопроса, начав с того, что он имеет честь выступить от имени и т. д. и т. п. На сцене адвокат не прибегает к таким наивным приемам. Он смотрит на клиента и говорит:

— У вас был отец.

Клиент вздрагивает. Откуда, черт возьми, этот бесстрашный, одетый в черное худой старик с пронизательным взглядом знает, что у него был отец? Клиент пытается увильнуть, запинаясь, но спокойный и непроницаемый адвокат пронизывает его холодным взглядом — и клиент беспомощен. Запираться бесполезно. Удивленный сверх всякой меры, сбитый с толку осведомленностью странного гостя в его самых интимных делах, бедняга признается: да, у него действительно был отец. Адвокат улыбается спокойной, торжествующей улыбкой, почесывает подбородок и продолжает:

— Если я правильно осведомлен, у вас была также и мать.

Тщетны все попытки ускользнуть от сверхъестественной пронизательности этого человека, и клиент откровенно признается, что и мать у него тоже была.

После этого адвокат, словно поверяя величайшую тайну, излагает своему клиенту всю его (клиента) историю, начиная с колыбели, а также историю его ближайших родственников. Словом, не проходит и тридцати, в крайнем случае сорока минут после появления на сцене этого старика, а его клиент уже начинает догадываться, в чем дело.

Но поистине счастлив адвокат на сцене, когда его клиент разоряется. Он сам приезжает сообщить о катастрофе (этой приятной обязанности он никому не уступит) и прилагает все усилия к тому, чтобы выбрать самую неподходящую минуту для подобного сообщения. Больше всего он любит появляться в день рождения старшей дочери, когда дом полон гостей. Он приходит чуть ли не в полночь и наносит удар в тот самый момент, когда все садятся ужинать.

У адвоката на сцене нет никакого представления о том, в какое время суток люди занимаются делами. Его единственная забота — доставить им как можно больше неприятностей.

Если ему не удастся сделать свое дело в день рождения, он ждет свадьбы. В утро венчанья он встает ни свет ни заря и спешит в церковь с намерением во что бы то ни стало нарушить церемонию. Появиться среди веселой толпы счастливых людей, гостей и близких, и сокрушить их, в одно мгновение сделать несчастными — что может быть приятней для адвоката на сцене?

Он чрезвычайно общителен и, кажется, считает своим профессиональным долгом рассказывать каждому встречному случаи из частной жизни своих клиентов. Его хлебом не корми, только дай возможность поболтать с едва знакомыми людьми о вверенных ему семейных тайнах.

На сцене вообще все поверяют свои и чужие секреты совершенно незнакомым людям. Стоит только двоим появиться на пять минут на сцене, как они тут же принимаются рассказывать друг другу историю своей жизни. На сцене слова: «Присядьте, я расскажу вам мою историю» — так же

обычны, как: «Зайдем выпьем по рюмочке» — в обыкновенной жизни.

В пьесе всякий порядочный адвокат непременно качал на коленях героиню еще ребенком (мы хотим сказать, когда ребенком была героиня) — тогда она была вот такая, совсем крошка. Это тоже, по-видимому, входит в его профессиональные обязанности. Хорошему адвокату разрешается целовать всех милых девушек в пьесе, а горничных слегка трепать по щечке. Да, хорошо быть хорошим адвокатом на сцене!

Если в пьесе случается что-нибудь печальное, порядочный адвокат смахивает слезу. Он отворачивается, сморкается и уверяет, что ему в глаз попала муха. Эти трогательные черты его характера всегда находят живой отклик в публике и неизменно вызывают аплодисменты.

На сцене ни один хороший адвокат никогда и ни при каких обстоятельствах не бывает женатым человеком (как полагают наши знакомые замужние дамы, хороший женатый мужчина вообще большая редкость). В молодости он любил мать героини. «Святая была женщина» (за этими словами обычно следует смахивание слезы и возня с носовым платком), теперь она умерла и пребывает в раю, среди ангелов. Между прочим, джентльмен, который стал ее мужем, не совсем уверен в последнем, но адвокат твердо стоит на своем.

В драматической литературе легкого жанра личность адвоката представлена иначе. В фарсе это обычно молодой человек. У него собственная квартира и жена (насчет последнего можете не сомневаться). Жена и теща проводят большую часть дня в его конторе, стараясь оживить это мрачное, скучное место и превратить его в уютный уголок.

У него только одна клиентка, молодая приятная дама. Правда, ее прошлое весьма сомнительно, да и нынешнее ее поведение небезупречно. И все же эта дама — единственное занятие нашего бедняги, а следовательно, и единственный источник его дохода. Казалось бы, при таких обстоятельствах семья адвоката должна оказывать ей самый радушный прием. Но не тут-то было: жена и теща питают к ней лютую ненависть, так что наш адвокат вынужден прятать свою клиентку в ведро для угля или запереть ее в несгораемый

шкаф всякий раз, как слышит на лестнице знакомые женские шаги.

Не хотелось бы нам стать клиентом такого адвоката. Юридические дела утомляют нервную систему даже при самых благоприятных обстоятельствах, но если их ведет адвокат из фарса — это, увы, свыше наших сил.

РЕБЕНОК

Он такой милый, спокойный, так приветливо с вами разговаривает.

Когда мы бываем у своих семейных друзей, нам приходится сталкиваться с настоящими детьми, такими, какими они бывают в жизни. Ребенка приводят со двора и представляют вам с таким видом, будто знакомство с ним для вас весьма полезно. Он весь в песке, в чем-то липком. Ботинки у него грязные, и он, конечно, вытирает их о ваши новые брюки. А глядя на его волосы, можно подумать, что он стоял на голове в помойке.

Он с вами разговаривает, но не приветливо — какое там! — а скорее, я бы сказал, дерзко.

А вот ребенок на сцене совсем другой. Он чистенький, аккуратненький. Вы можете спокойно трогать его, с него ничего не посыплется. Лицо у него так и блестит от мыла и воды. По рукам его сразу видно, что такие удовольствия, как куличи из глины или деготь, ему неизвестны. А волосы выглядят даже неестественно — такой у них приглаженный и приличный вид. Ботинки у него и то зашнурованы.

Вне театра мне нигде не приходилось встречать таких детей, если не считать одного случая: это было на Тоттенхем-Корт-роуд, он стоял на круглой деревянной подставке перед мастерской портного в костюме за пятнадцать шиллингов и девять пенсов. А я-то в своем невежестве думал, что на свете и нет таких детей, как ребенок на сцене, но, видите, ошибся.

Ребенок на сцене нежен с родителями и нянькой, почтителен с теми, кого ему положено слушаться; как тут не предпочесть его настоящему! Своих родителей он не называет иначе, как «милый, дорогой папочка» и «милая, дорогая мамочка», а к няньке всегда обращается «милая нянюш-

ка». Я знаю одно юное создание — самое настоящее, — это мой племянник. Отца своего он величает (за глаза) «старик», а няньку — «старая перечница». И почему не бывает в жизни детей, которые говорят «милая, дорогая мамочка» и «милый, дорогой папочка»?

Во всех отношениях ребенок на сцене стоит выше обыкновенного. Ребенок на сцене не станет как угорелый носиться по дому с пронзительными криками и воплями, так что у всех голова идет кругом.

Ребенок на сцене не проснется в пять часов утра, чтоб поиграть на дудке. Ребенок на сцене не станет изводить вас своим нытьем, требуя, чтобы вы купили ему велосипед. Ребенок на сцене не задаст вам сразу двадцать сложнейших вопросов о вещах, в которых вы мало что смыслите, и не будет потом допытываться, почему вы ничего не знаете и почему вас ничему не научили, когда вы были маленьким.

Ребенок на сцене никогда не протирает штаны до дыр, так что надо ставить заплаты. Ребенок на сцене всегда спускается с лестницы на ногах.

Ребенок на сцене никогда не притащит домой сразу шестерых товарищей поиграть в саду в лошадки, а потом не будет просить, нельзя ли оставить их к чаю. Ребенок на сцене никогда не подцепит коклюш, или корь, или еще какую-нибудь болезнь, которые одна за другой цепляются к детям и надолго укладывают их в постель, так что дом превращается в сущий ад.

Свое назначение в жизни ребенок на сцене видит в том, чтобы терзать свою мать вопросами об отце, которые он всегда задает не вовремя. Когда дом полон гостей, ему непременно нужно узнать, где его «дорогой папочка» и почему он покинул «дорогую мамочку», хотя всем присутствующим известно, что несчастный отец отбывает два года исправительных работ или доживает свои последние дни перед смертной казнью. И всем становится так неловко.

Он всегда над кем-нибудь измывается, этот ребенок на сцене. Так и смотри, как бы он чего не натворил. Расстроив мать, он выискивает какую-нибудь молодую особу с разбитым сердцем, которую только что жестоко разлучили с возлюбленным, и громким фальцетом спрашивает, почему она не выходит замуж; болтает о любви, о семейных радостях, о молодых людях и вообще о вещах, которые способ-

ны разбередить раны бедной девушки. И так пока не доведет ее до отчаяния.

После этого до самого конца пьесы он такое вытворяет, что все кругом только диву даются. Почтенных старых дев он допрашивает, не хочется ли им иметь детей, лысых стариков — почему они сбрили волосы, а других престарелых джентльменов — отчего у них красный нос и всегда ли он у них был такого цвета.

Бывают в пьесах такие положения, когда лучше не вдаваться в подробности происхождения ребенка; но именно тут-то и оказывается, что этому пострелу, в котором живет дух противоречия, совершенно необходимо вдруг в разгаре званого вечера выяснить, кто его отец!

Все обожают ребенка на сцене. Каждый по очереди прижимает его к груди и проливает над ним слезы.

Никому — на сцене, конечно, — ребенок не надоедает. Никто не велит ему «заткнуться» или «убраться вон». Никто никогда не даст ему подзатыльника.

Когда обыкновенный ребенок бывает в театре, он замечает все это и, конечно, преисполняется зависти к ребенку на сцене.

Зрители души не чают в ребенке на сцене. Его наивность исторгает у них слезы, его трагедия хватается их за сердце, а полные пафоса речи, которые он произносит — например, кто посмеет обидеть его мать, будь то злодей, полицейский или еще кто-либо, — взбудораживают их, словно звуки трубы; а его невинные шутки, по всеобщему признанию, считаются образцом истинного юмора в драматическом искусстве.

Но есть люди, настолько странно устроенные, что они не понимают ребенка на сцене, не сознают его пользы, не чувствуют, как он прекрасен. Не будем возмущаться такими людьми. Лучше пожалеем их.

Я знавал человека, который страдал таким недостатком. Он был женат, и судьба оказалась к нему очень милостивой, очень щедрой: она наградила его одиннадцатью детьми, и все до одного пребывали в добром здравии. Самому маленькому было одиннадцать недель от роду, близнецам шел пятнадцатый месяц, и у них уже прорезывались коренные зубы. Младшей девочке было три года, мальчикам — их было пятеро — соответственно семь, восемь, девять, десять

и двенадцать лет. Хорошие мальчуганы, но... сами знаете, мальчишки есть мальчишки. Мы и сами были такими. Две старшие девочки, по словам матери, были очень милые. Только, к сожалению, часто ссорились.

Более здоровых ребятешек я не встречал. В них было столько энергии, жизнерадостности!

Однажды вечером мы зашли к моему приятелю. Он был очень не в духе. Дело было в каникулы, погода стояла сырая, и он сам и дети целый день сидели дома. Входя в комнату, мы услышали, как он говорил жене, что, если каникулы скоро не кончатся, а близнецы не поторопятся со своими зубами, он уйдет из дому и не вернется. Больше он не в состоянии выдержать этот содом.

Жена отвечала ему, что не видит никаких причин для недовольства. Она уверена, что ни у одного отца нет детей с таким добрым сердцем.

Ему наплевать на их сердце, возразил наш друг. Их ноги, руки, легкие — вот что сводит его с ума.

Он сказал, что пойдет с нами немного прогуляться, иначе он опасается за свой рассудок.

Он предложил пойти в театр, и мы направились на Стрэнд. Закрыв за собой дверь, наш друг сказал, что мы не можем себе представить, какое облегчение на время избавиться от этих сорванцов. Он, право же, очень любит детей, но считает, что человеку не следует иметь слишком много даже того, что он очень любит. Он пришел к выводу, что быть с детьми двадцать два часа в сутки достаточно для кого бы то ни было. Больше, до возвращения домой, он не желает видеть ни единого ребенка, не желает слышать даже звука детского голоса. Ему хотелось бы забыть, что на свете вообще существуют дети.

Мы добрались до Стрэнда и зашли в первый попавшийся театр. Поднялся занавес, и нашим взорам представился ребенок: он стоял на сцене в ночной рубашке и громко звал мать.

Наш друг взглянул на него, что-то произнес и бросился вон. Мы за ним. Пройдя немного, мы завернули в другой театр.

Здесь на сцене было двое детей. Несколько взрослых стояли возле них и, согнувшись в почтительных позах, вникали им. Похоже было, что дети что-то проповедуют.

Проклиная все на свете, мы опять обратились в бегство и направились в третий театр. Но там были только дети. Чья-то детская труппа давала не то оперу, не то пантомиму, не то еще что-то в этом роде.

Наш друг объявил, что больше он не пойдет ни в один театр. Он слышал, что существуют какие-то мюзик-холлы, и стал просить нас сводить его туда, но не говорить об этом жене.

Распросив полисмена, мы узнали, что действительно есть такие заведения, и повели нашего друга в мюзик-холл.

Первое, что мы увидели там, — это два маленьких мальчика, выделяющих какие-то трюки на перекладине.

Наш друг уже собрался было повторить тот же прием: выругаться и обратиться в бегство, но мы удержали его. Если он немного потерпит, уверяли мы, он, без сомнения, увидит взрослых артистов. Он высидел номер с мальчиками и еще один, с их маленькой сестренкой на велосипеде, и стал ждать следующего.

Но следующим оказался какой-то вундеркинд, который пел и танцевал в четырнадцати разных костюмах. Мы опять бежали. Наш друг заявил, что идти домой в таком состоянии он не может: он убьет близнецов. Поразмыслив немного, он решил пойти послушать музыку. Ему кажется, сказал он, что музыка могла бы успокоить и облагородить его душу — она заставила бы его почувствовать себя христианином, чего в данный момент он не ощущает.

Мы были недалеко от Сент-Джеймс-Холла и решили зайти туда. Зал был переполнен, и мы с трудом пробрались к нашим местам. Наконец мы уселись и обратили взоры к эстраде.

«Чудо, мальчик-пианист — всего десяти лет!» давал свой концерт.

Наш друг поднялся и сказал, что все кончено, что лучше он пойдет домой.

Мы спросили, не хочет ли он зайти еще куда-нибудь поразвлечься, но он ответил, что не хочет. По сути говоря, сказал он, для человека, у которого есть одиннадцать собственных детей, ходить в наше время куда-нибудь развлекаться — это пустая трата денег.

КРЕСТЬЯНЕ

Они такие чистенькие. Нам приходилось видеть крестьян в жизни, обычно они неопрятны, а некоторые просто до неприличия грязны. Крестьянин же на сцене выглядит так, что можно подумать, будто он весь свой заработок тратит на мыло и помаду для волос.

Они всегда где-нибудь поблизости, за углом или, вернее, за двумя углами; они выходят на сцену двумя группами и сходятся на середине, а дойдя до нужного места, улыбаются.

Что может сравниться с улыбкой крестьян на сцене! У кого еще вы увидите столь абсолютно бессмысленное и умильно идиотское выражение лица.

Они такие счастливые! Они совсем не похожи на счастливых людей, но, мы знаем, эти крестьяне счастливы, потому что они сами так говорят. В подтверждение своих слов они танцуют: три шажка направо, три — налево. Они не могут не танцевать, ведь они так счастливы!

Когда крестьянам особенно весело, они становятся в полукруг, кладут руки друг другу на плечи и до тошноты раскачиваются из стороны в сторону. Но так они веселятся, только когда уже совсем не в силах сдержать своей радости.

Крестьяне на сцене никогда не работают. Иногда мы видим, как они идут на работу, иногда — как возвращаются с работы, но еще никто никогда не видел их за работой. Они не могут позволить себе работать — ведь они измажут свою одежду.

Они очень душевные люди, эти крестьяне на сцене. У них, кажется, никогда нет своих собственных забот, но отсутствие собственных забот возмещается тем, что они проявляют интерес в триста лошадиных сил к делам, не имеющим к ним никакого отношения. Что особенно возбуждает их интерес — это сердечные дела героини. Они могут слушать об этом целый день. Крестьяне жаждут узнать, что сказала ему она и что ответил ей он, и они повторяют это друг другу.

Вы сами, когда бывали влюблены, несомненно, пересказывали вашим знакомым все трогательные беседы между вами и вашей возлюбленной, но друзья ваши обычно не проявляли к этому особого интереса. Более того, посторон-

нему человеку могло показаться, что вашим друзьям надоело вас слушать. И прежде чем вы успевали рассказать даже четверть того, что хотели, ваш собеседник норовил улизнуть от вас под тем предлогом, что ему обязательно надо было встретиться с кем-то или спешить на поезд. О, как часто в те дни вам не хватало сочувствия крестьян со сцены! Они уселись бы в кружок, стараясь не пропустить ни слова из вашего волнующего рассказа, они радовались бы вместе с вами и подбадривали вас смехом и выражали сочувствие печальным «о!», а почувствовав, что они вам надоели, они бы ушли, напевая песню о том, что слышали.

Между прочим, крестьянам на сцене свойственна эта замечательная черта характера — быстро и беспрекословно подчиняться малейшему желанию любого из героев.

— Оставьте меня, друзья мои, — говорит героиня, собираясь прослезиться, и не успевает она отвернуться — крестьяне уже исчезли: половина направо, очевидно, направляясь к заднему ходу пивной, половина налево, и видно, как они прячутся там за водокачкой, в ожидании, пока не понадобятся еще кому-нибудь.

Крестьяне на сцене говорят мало; их основное назначение — слушать. Когда они уже не могут узнать ничего нового о сердечных делах героини, они любят, чтобы им рассказывали длинные и запутанные истории о том, как много лет тому назад причиняли зло людям, о которых крестьяне и понятия не имеют. Они слушают с таким видом, будто все понимают и легко разбираются в этих историях. Зрители явно завидуют такой их способности.

Но уж если крестьяне на сцене заговорят, они быстро наверстывают упущенное время. Они начинают все сразу и так неожиданно, что зритель буквально ошеломлен. Все говорят. Никто не слушает. Понаблюдайте за любой парой. Оба стараются говорить как можно громче. Они достаточно наслушались других — нельзя же требовать, чтоб они слушали друг друга. Но беседовать в таких условиях, должно быть, затруднительно. А как они ухаживают! Так нежно! Так идилически!

Мне доводилось видеть, как ухаживают крестьяне в жизни, и я всегда замечал, что у них исключительно трезвый и простой подход к делу — это было чем-то похоже на флирт парового катка с коровой. Но на сцене это выглядит так

воздушно! У нее коротенькие юбочки, и чулочки гораздо чище, и они лучше сидят, чем на крестьянках в жизни, и сама она лукава и застенчива. Она все время отворачивается от него и заливается серебристым смехом. А он румяный и кудрявый, в такой красивой жилетке! Как же ей не полюбить его! Он такой нежный и преданный. Он обнимает ее за талию, но она увертывается, обегает его и подходит с другой стороны. О, как это очаровательно!

Крестьяне на сцене любят ухаживать у всех на глазах. Некоторые люди мечтают об укромном месте для свидания, где никто не помешает им. Я сам принадлежу к таким людям. Но крестьянин на сцене — более общительная натура. Ему для ухаживаний подавай лужок перед пивной или площадь в базарный день.

Эти крестьяне на сцене — чрезвычайно преданный народ. Никакого обмана, никакого непостоянства, никаких нарушенных обещаний. Если в первом действии кавалер в розовом ухаживает за дамой в голубом, то в последнем — розовый и голубая поженятся. Он остается верным ей, а она ему на протяжении всей пьесы.

Девушки в желтом могут приходиться и уходить, девушки в зеленом могут смеяться и танцевать — кавалер в розовом не замечает их. Его цвет — голубой, и он не покидает его ни на минуту. Он стоит рядом с дамой в голубом и сидит рядом с ней. Он пьет с ней, улыбается ей, смеется с ней, танцует с ней, выходит на сцену с ней, уходит с ней. Когда наступает время говорить, он говорит с ней, и только с ней, и она говорит с ним, и только с ним. Поэтому у них и нет ни ревности, ни ссор. Но нам бы хотелось, чтоб в их отношениях было какое-то разнообразие.

В деревнях на сцене нет женатых и поэтому, конечно, нет детей. (Счастлирое местечко! Эх, найти бы такое да провести там месяц!) На сцене во всех деревнях одинаковое количество мужчин и женщин, все они примерно одного возраста, и каждый молодой человек влюблен в какую-нибудь девушку. Но они никогда не женятся. Они много об этом говорят, но никогда этого не делают. Хитрые бестии! Они слишком хорошо видят, что из этого получается у героев пьесы.

Крестьянин на сцене любит выпить. И когда он пьет, ему хочется, чтоб все об этом знали. Вы обычно спокойно

выпиваете свои полпинты в баре, но его это не устраивает. Он любит выйти с кружкой на улицу и петь о ней и проделывать всякие трюки — например, перевернуть ее себе на голову.

Но заметьте, несмотря на все это, он пьет весьма умеренно. Его нельзя назвать пьяницей. Обычно он выпивает одну маленькую кружку эля, не больше.

У крестьянина на сцене очень развито чувство юмора, и его легко развеселить. Его даже немножко жалко, когда видишь, как он буквально покатывается со смеху от самой невинной шутки. О, как бы такой человек оценил настоящую остроуту! Может быть, когда-нибудь он и услышит ее! Однако настоящая остроута, вероятно, убьет его!

Постепенно вы начинаете любить крестьянина на сцене. Он такой добрый, такой по-детски наивный, такой неземной. Он воплощает в себе идеал христианства.

СТАРИЧОК

Он потерял жену. Но ему известно, где она, — среди ангелов!

Она не ушла совсем, потому что у героини ее волосы.

— Ах, у тебя волосы как у твоей матери! — Старичок ощупывает голову дочери, стоящей перед ним на коленях. Присутствующие утирают слезу.

Все на сцене о нем самого лучшего мнения, однако дальше первого действия его не терпят. Обычно он умирает в первом действии.

Если нет уверенности, что он умрет без посторонней помощи, его убивают.

Не везет этому старому джентльмену. К какому бы делу он ни пристроился, оно обречено на провал. Если он управляющий или директор банка, то еще до конца первого действия банк вылетает в трубу. Именно его фирма всегда бывает на грани краха. Если вы узнаете, что старичок вздумал поместить все свои сбережения в какую-нибудь компанию, можете с уверенностью предсказать ее банкротство, даже если эта компания всегда считалась солидной и процветающей.

И нет силы на земле, способной спасти эту компанию после того, как старичок стал ее акционером.

Представьте, будто мы живем в пьесе и приглашены участвовать в финансировании некоего предприятия. Начать нужно с вопроса: «Старичок участвует?» Если да, то и говорить не о чем.

Иногда старичок доводится кому-нибудь опекуном, это помогает ему дольше сопротивляться нападкам судьбы. Отважный он человек — не падает духом и продолжает борьбу, пока тянутся денюжки, вверенные его попечению. Он не сдастся до последнего пенни.

И вдруг его осеняет: ведь неизвестно, как истолкуют окружающие то, что он столько лет купался в роскоши на чужие деньги. Люди — эти пустые, бездушные люди — могут объявить, что это мошенничество, и станут обращаться с ним, как с заядлым жуликом. От подобных мыслей старичку не по себе. Но, право же, обществу не следует на него ополчаться. Мы убеждены, что нет в мире другого человека, столь горящего желанием возместить убытки (немедленно после разоблачения); чтобы исправить дело, старичок с удовольствием пожертвует счастьем дочери и выдаст ее замуж за злодея.

А у злодея, между прочим, в карманах хоть шаром покати. Где там вызволять из беды других, он и собственные-то долги не в состоянии заплатить. Этого старичок не сообразил.

Тщательно изучив характеры персонажей, мы умозаключили, что старичок — это состарившийся театральный герой. Есть в нем что-то от простака, от беспомощного идиота, от раздражающего своей тупостью кретина, чем он необычайно смахивает на героя.

Сдается нам, что именно в такого старичка суждено превратиться герою. Возможно, мы ошибаемся, но таково наше мнение.

ИЗ СБОРНИКА «ДНЕВНИК ОДНОГО
ПАЛОМНИЧЕСТВА И ШЕСТЬ ОЧЕРКОВ»
(1891)

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

— А вот вы-то, старина, и напишете мне трогательную историю для рождественского номера, если только захотите, конечно, — обратился ко мне редактор «Еженедельного журнала», едва я успел сунуть голову в его кабинет в одно солнечное июльское утро несколько лет тому назад. — Томас жаждет написать комический скетч. Он говорит, что на прошлой неделе подслушал одну шутку и решил ее обработать. Мне, очевидно, придется написать веселую любовную историю про человека, которого все считают погибшим, а он вдруг в сочельник возвращается и женится на любимой девушке. На сей раз я надеялся избежать этого, да, боюсь, не смогу. Мигза я попрошу написать рассказ, призывающий к милосердию. Я думаю, он у нас самый опытный человек по этой части, а Весельчак может настроичить статью о рождественских счетах и расстройстве желудка. У него здорово получают этикие откровенные статейки, и пишет он, понимаете ли, с таким видом, будто сам не знает, на что намекает.

Весельчак, надо заметить, было прозвище на редкость чувствительного и серьезного сотрудника нашего журнала, настоящая фамилия которого была Бегергенд.

К Рождеству Весельчак становился особенно сентиментальным. Всю неделю перед этим святым праздником его буквально распирало от чувства доброты и любви ко всему человечеству. Он приветствовал почти незнакомых людей таким взрывом восторга, какой другому бывает трудно выказать даже при встрече с богатой родственницей, и осыпал их такой массой добрых пожеланий, всегда, впрочем,

обильных и дешевых в это время года, и с такой непоколебимой уверенностью в их исполнении, что от него отходили с тяжелым чувством, словно были ему чем-то обязаны.

Встретить старого друга в это время было для него прямо-таки опасно. От избытка чувств он лишался дара речи, и казалось, что он вот-вот лопнет.

В самый день Рождества он уж обычно не мог подняться с постели благодаря множеству сентиментальных тостов, провозглашенных накануне. Я никогда не видал человека, который бы провозглашал столько сентиментальных тостов, как Весельчак. Он пил и за «добрые старые Святки», и за «милую старую Англию», потом он пил за здоровье своей матери и всех других родственников, и за «прекрасный пол», и за «старых друзей», или он предлагал тост «за дружбу» вообще, «да не остынет она навеки в сердце настоящего британца», или «за любовь — да будет она вечно светиться в глазах наших возлюбленных и жен», или даже «за солнце, вечно сияющее за облаками, дорогие мои друзья, где мы не можем видеть его и где оно не приносит нам никакой пользы». Вот какая бездна чувства была у этого человека.

Но его любимым тостом, вызывавшим в нем особенное красноречие и печаль, был тост «за отсутствующих друзей». У него, по-видимому, было особенно много «отсутствующих друзей», и, надо отдать ему справедливость, он никогда не забывал их. Где и когда бы вино ни попадало ему в руки, «отсутствующие друзья» Весельчака уж наверно были обеспечены заздравным тостом, а его присутствующие друзья, если только проявляли достаточно такта и терпения, — речью, способной нагнать меланхолию на целую неделю.

Одно время говорили, что всякий раз, как Весельчак провозглашает этот тост, он неизменно обращает свой взор в сторону местной тюрьмы, но когда установили, что он поминает добрым словом не только своих, но и чужих отсутствующих друзей, об этом перестали толковать.

Тем не менее всем нам порядком надоели эти «отсутствующие друзья», кем бы они нам ни приходились. Весельчак положительно пересаливал. Все мы высокого мнения о своих друзьях (когда их нет с нами, как правило, более высокого, чем тогда, когда они налицо), но мы не хотим, чтобы нам все время напоминали о них. На рождественском вечере, на юбилейном обеде или на собрании пайщиков,

когда обстановка и торжественна, и печальна, они вполне уместны, но Весельчак выводил их на сцену в самое неподходящее время. Я никогда не забуду, как он однажды предложил тост за их здоровье на свадьбе. Это была превеселая свадьба. Все шло великолепно, и все были в наилучшем настроении. Завтрак близился к концу, и все необходимые тосты были уже провозглашены. Молодым было время уезжать, и мы уже подумывали о том, не бросить ли им вслед горсть риса и туюфу и тем самым окончательно благословить их, как вдруг Весельчак поднялся с места с мрачным выражением лица и бокалом в руке. Я тотчас догадался, в чем дело, и попытался ударить его ногой под столом. Не подумайте, что я хотел свалить его с ног, хотя, если бы я и сделал это, меня бы, наверное, оправдали. Я только хотел толкнуть его под столом так, чтобы никто не заметил.

Однако я промахнулся. Правда, я кого-то толкнул, но, очевидно, не Весельчака, так как он и вида не подал. По всей вероятности, это была новобрачная, сидевшая рядом с ним. Больше попыток я не делал, и он беспрепятственно стал распространяться на свою любимую тему.

— Друзья, — начал он дрожащим от волнения голосом, и в глазах его блеснула слеза, — прежде чем мы расстанемся — иные из нас, быть может, навсегда, — прежде чем эта невинная молодая чета, возложившая на себя сегодня бремя супружеской жизни, покинет свой мирный приют, чтобы встретить горькую печаль и разочарования нашей унылой жизни, я хотел бы предложить один тост, которого еще никто не провозглашал.

Здесь он утер вышеупомянутую слезу, а гости приняли торжественный вид и старались щелкать орехи как можно тише.

— Друзья, — продолжал он, все более и более переходя на выразительный минорный тон, — среди нас мало найдется таких, кому бы не случилось в свое время узнать, что значит потерять из-за смерти ли или разлуки дорогого, любимого человека, а может быть, даже двоих или троих.

При этих словах он всхлипнул, а в конце стола тетушка молодого супруга, старший сын которой недавно покинул родину на деньги родственников с условием, что он никогда не вернется, начала тихо плакать, роняя слезы в мороженое.

— Вот эта прекрасная девушка, что сидит возле меня, — продолжал Весельчак, прочистив горло и нежно кладя руку на плечо новобрачной, — как вы все знаете, несколько лет назад лишилась матери. Леди и джентльмены, что может быть ужаснее, чем смерть матери!

Это, конечно, возымело свое действие, и молодая рыдалась. Супруг, желая поправить дело, но будучи, естественно, сам смущен и взволнован и стараясь успокоить ее, шепнул, что это, быть может, к лучшему и что никто из знавших покойницу не пожелал бы, чтобы она воскресла, на что его новоиспеченная жена с негодованием заявила, что если он уж так рад смерти ее матери, то жаль, что он не сказал ей этого раньше, тогда она ни за что не вышла бы за него замуж, и он умолк, погрузившись в раздумье.

Подняв глаза, чего я до той минуты старательно избегал, я, к несчастью, встретился взглядом со своим коллегой-журналистом, сидевшим напротив, и мы оба захохотали, заслужив тем самым репутацию людей бесчувственных и грубых, каковою, наверное, пользуемся и по сей день.

Весельчак, единственный человек за этим, некогда праздничным столом, у которого не было написано на лице, что он готов провалиться сквозь землю, продолжал говорить с явным удовольствием.

— Друзья, — сказал он, — можно ли забыть дорогую мать на этом радостном вечере? Можно ли забыть родную мать, отца, брата, сестру, ребенка или друга? Нет, леди и джентльмены! Так давайте же в разгар нашего веселья подумаем и об этих утраченных странствующих душах, давайте же между чашей вина и веселой шуткой вспомним «отсутствующих друзей».

Бокалы осушили под аккомпанемент сдавленных рыданий и тихих стонов, и свадебные гости встали из-за стола, чтобы умыть лицо и успокоиться. Молодая жена, отвергнув услуги мужа, была посажена в карету отцом и уехала, очевидно, полная недобрых предчувствий относительно своего будущего счастья в обществе такого бессердечного чудовища, каким только что показал себя ее супруг!

С тех пор Весельчак сам стал «отсутствующим другом» этого дома.

Да, но я отвлекся от своей трогательной истории.

— Смотрите не опоздайте с ней, — сказал мне редактор, — обязательно принесите мне ее к концу августа. В этом году я думаю пораньше выпустить рождественский номер. В прошлом году, как вы знаете, мы провозились с ним до октября. Я не хочу, чтобы «Клиппер» опять опередил нас!

— Ну что ж, хорошо, — ответил я беззаботно, — я ее скоро настрою, у меня на этой неделе не особенно много работы, и я сейчас же начну.

По пути домой я старался придумать какой-нибудь трогательный сюжет, но ни одна трогательная мысль не приходила мне на ум. Комические образы теснились у меня в голове, пока она совсем не распухла, и, если бы я не успокоил себя последним номером «Панча», меня, вероятно, хватил бы удар.

«Нет, как видно, я сейчас не настроен на мелодраму, — подумал я. — Что толку мучить себя! Впереди еще много времени, подожду лучше, пока мне не взгрустнется».

Но дни шли за днями, а мне становилось все веселей и веселей. К середине августа дело стало принимать серьезный оборот. Если мне не удастся каким бы то ни было образом настроить себя на грустный лад в течение ближайшей недели или десяти дней, то рождественскому номеру «Еженедельного журнала» нечем будет растрогать британскую публику, и его репутация первоклассного журнала для семейного чтения будет непоправимо испорчена!

В те дни я был добросовестным молодым человеком. Раз я обязался написать трогательный рассказ на четыре с половиной колонки к концу августа, то какого бы умственного или физического напряжения это мне ни стоило, эти четыре с половиной колонки должны быть написаны.

Я всегда считал, что расстройство желудка — хорошая почва для грустных размышлений. И вот несколько дней я питался исключительно горячей вареной свининой, йоркширским пудингом и пирожными, а на ужин ел салат из омаров. В результате мне стали являться комические кошмары. Мне снились слоны, пытающиеся взобраться на дерево, и церковные старосты, пойманные за игрой в орлянку в воскресенье, и я просыпался, хохоча, как безумный.

Мои надежды на расстройство пищеварения не оправдались, и я взялся за чтение всей патетической литературы, какую только мог найти. Но это не помогло. Маленькая

девочка из стихотворения Вордсворта «Нас семеро» только раздражала меня, мне хотелось ее отшлепать. Разочарованные пираты Байрона нагоняли на меня скуку. Когда в каком-нибудь романе героиня умирала, я радовался, а когда автор говорил, что его герой с той поры уж больше не улыбался, я ему не верил.

Как последнее средство я перечитал одну-две вещишки из своей собственной стряпни. Мне стало стыдно за себя, но я нисколько не загрустил, по крайней мере это была не та грусть, какой я добивался. Тогда я скупил лучшие образцы юмора, какие когда-либо издавались, и одолел их все до одного. Они порядочно понизили мой тонус, но недостаточно. Веселое настроение не покидало меня.

В субботу вечером я вышел и нанял уличного певца, чтобы он пел мне сентиментальные баллады. Он честно заработал свои деньги (пять шиллингов). Он спел мне все заурядные песни, какие только были в Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльсе, и еще несколько переведенных немецких, и через полтора часа я уже бессознательно порывался танцевать в такт различных мелодий. Я придумал для песенки «Старый Робин Грэй» несколько прелестных «па» с оригинальным отбрасыванием левой ноги в конце каждого куплета.

В начале последней недели я пошел к своему редактору и изложил ему положение вещей.

— Что это с вами? — спросил он. — Раньше вам такие вещи удавались. А думали ли вы о бедной девушке, любящей молодого человека, который уезжает и не возвращается, а она ждет его и ждет, не выходит замуж, и никто не знает, что ее сердце разбито?

— Конечно, — ответил я несколько раздраженно. — Неужели вы думаете, что я не знаю самых элементарных сюжетов?

— Ну, что ж, — заметил он, — не подходит?

— Нет. Когда в наши дни только и слышишь, что о неудачных браках, можно ли вызвать жалость к тем, кому повезло избежать супружеской жизни?

— Гм, — пробормотал он в задумчивости, — а как насчет ребенка, который просит, чтобы никто не плакал, и умирает?

— Ну и хорошо, что от него избавились! — со злостью ответил я. — На свете слишком много детей. Посмотрите, как они шумят и сколько денег идет на одну их обувь.

Мой редактор согласился со мной, что я совсем не в таком настроении, чтобы писать трогательный детский рассказ.

Он спросил, думал ли я о старике, плачущем над поблекшими любовными письмами накануне Рождества, и я ответил, что думал и считаю его старым идиотом.

— А не подошла бы история про собаку? — продолжал он. — Что-нибудь о мертвой собаке, это всегда популярно.

— Только не на Рождество, — возразил я.

Очередь дошла до обманутой девушки, но, подумав, этот сюжет отклонили, так как он уже слишком не подходил для страниц «Спутника семьи», как звучал подзаголовок нашего журнала.

— Ну, вот что, подумайте еще денек-другой, — сказал мне редактор, — а то мне не хочется обращаться к Дженнису. Он может писать трогательно, но как ломовой извозчик, и нашим читательницам не всегда нравятся его выражения.

Я решил пойти посоветоваться с одним из моих друзей, очень знаменитым и популярным автором. Да, да, одним из самых знаменитых и популярных писателей того времени. Я очень гордился его дружбой, потому что он был поистине великий человек, великий, возможно, не в серьезном понимании этого слова, не так велик, как настоящие великие люди, — люди, которые сами не знают, что они велики, но великий с житейской точки зрения. Когда выходила его книга, сто тысяч экземпляров раскупали в первую же неделю, а когда ставилась его пьеса, она делала полные сборы. И о каждом новом его произведении говорили, что оно еще умнее, и прекраснее, и великолепнее, чем все предыдущие.

Где бы ни говорили на английском языке, всегда можно было услышать его имя. Куда бы он ни пошел, всюду его чествовали, приветствовали, превозносили. Описания его очаровательного дома, его очаровательных высказываний и поступков, его очаровательной особы встречались в каждой газете.

Шекспир и наполовину не был так знаменит в свое время, как NN — в свое.

К счастью, он еще не уехал из города, и когда меня провели в его роскошно обставленный кабинет, он сидел у окна и курил послеобеденную сигару.

Он предложил мне сигару из той же коробки. От сигар NN не отказываются. Я знаю, что он платит полкроны за штуку и покупает их сотнями, поэтому я взял сигару, закурил и, усевшись напротив него, поведал ему свое горе.

Он не сразу заговорил, после того как я кончил, и я уже подумал было, что он не слушал меня, когда, глядя в открытое окно, туда, где за дымным городом, солнце, уходя, словно оставило за собой небесные ворота полуотворенными, он вынул изо рта сигару и сказал:

— Хотите я вам расскажу одну действительно трогательную историю? Она недлинная, но достаточно грустная.

Он говорил так серьезно, что любой ответ казался неуместным, и я промолчал.

— Это история о человеке, потерявшем самого себя, — продолжал он, все еще вглядываясь в угасающий свет дня, словно читал там свой рассказ, — о человеке, который стоял у собственного смертного одра и видел себя умирающим медленной смертью и знал, что он умер — навсегда.

Жил однажды бедный мальчик. У него было мало общения с другими детьми. Ему нравилось бродить в одиночестве, думать и мечтать целыми днями. Не то чтобы он был утрюм или не любил товарищей, но только что-то внутри его все время нашептывало его детскому сердцу, что он должен познать нечто большее, чем другие. И какая-то невидимая рука уводила его в уединенные места, где он мог свободно предаваться своим размышлениям.

Даже в шуме и суете многолюдной улицы он слышал тихие, но твердые голоса, рассказывавшие ему о работе, которую в один прекрасный день ему доверят, о работе для Бога, которая дается лишь очень немногим; он будет помогать Божьим детям на земле, будет делать их сильнее, честнее и лучше. И когда вокруг никого не было, он становился на колени, простирал ручонки к небу и благодарил Бога за этот большой обещанный ему дар — честно трудиться на пользу людей; и он молился, чтобы всегда быть достойным этого доверия, и в радостном ожидании грядущей работы малень-

кие горести жизни проносились мимо него, как щепки по течению быстрой реки, и, по мере того как он рос, голоса звучали все более четко, пока наконец он ясно не увидел перед собою свою работу, как путник с вершины холма видит тропинку в долине.

Так прошли годы, он стал взрослым и мог уже начать трудиться.

Тогда пришел злой демон и стал искушать его, — демон, который уже погубил немало людей получше его и погубит еще немало великих людей, — демон мирского успеха. И демон нашептывал ему на ухо пагубные слова, а он, да простит его Бог, он слушал.

— Какая польза будет тебе от того, что ты станешь высказывать великие истины и благородные мысли? Чем мир тебе заплатит за это? Разве величайшие учителя и поэты земли, люди, отдавшие свою жизнь на благо человечества, получали что-нибудь в награду, кроме презрения, насмешек и нищеты? Посмотри вокруг! Разве заработок этих немногих честных тружеников не нищенские гроши в сравнении с богатством, которое льется рекой на тех, кто пляшет под дудку толпы? Да, настоящих певцов почитают после их смерти — тех, кого еще помнят, а мысли, когда-то порожденные их мозгом — все равно, помнят ли самих певцов или нет, — расходятся все более и более широкими крутами по океану человеческой жизни. Но какая польза от этого им, умершим с голоду?

Ты талантлив, гениален, ты можешь завоевать богатство, роскошь, власть, мягкую постель и изысканную пищу. Ты можешь стать великим в глазах толпы, ты можешь прославиться и славе своей внимать собственными ушами. Трудись для толпы, и толпа тебе сразу заплатит, а платы от богов придется ждать долго.

И демон одолел его, и он пал.

И, вместо того чтобы служить Богу, он стал рабом людей. Он писал для толпы то, что ей нравилось, и она рукоплескала и бросала ему деньги, а когда он нагибался, чтобы собрать их, он улыбался, снимал шляпу и говорил ей, как она щедра и великодушна.

И вдохновение художника, подобное вдохновению пророка, покинуло его, и он стал ловким торгашом, единствен-

ным желанием которого было узнавать вкусы публики и угождать ей.

— Только скажите мне, что вам нравится, — кричала его душа, — и я буду писать это для вас, добрые люди! Вы хотите опять слышать старую ложь? Вы по-прежнему любите старые, отжившие условности, истасканные формулы жизни и злые мысли, как гниющие сорняки заражающие воздух?

Петь ли вам детские песенки, которые вы слышали сотни тысяч раз? Защищать ли для вас ложь и называть ее истиной? Убивать ли для вас правду или прославлять ее?

Как мне льстить вам сегодня, и завтра, и послезавтра? Только скажите, что вы хотите слышать от меня, чтобы я мог говорить и думать то, что вам угодно, добрые люди, и заслужить ваши пенсы и рукоплескания!

Таким образом он стал богат, и знаменит, и велик, и носил он красивые платья, и ел изысканные блюда, как обещал ему демон, и слуги ему прислуживали, были у него лошади и кареты; и он был бы счастлив — настолько счастлив, насколько такие вещи могут сделать человека счастливым, — только в глубине его письменного стола лежала (и никогда у него не хватало храбрости разорвать ее) маленькая пачка пожелтевших рукописей, написанных детской рукой, напоминавших ему о бедном мальчике, который ходил когда-то по истоптанному мостовым города и не мечтал о другом величии, чем судьба Божьего посланника на земле, и который умер и был погребен навеки много лет назад.

Это была очень грустная история, но не совсем то, что нужно читателям на Рождество. Поэтому в конце концов мне все-таки пришлось обратиться к девушке с разбитым сердцем!

ЧАСЫ

Есть два вида часов. Одни, которые всегда врут, и знают это, и кичатся этим; другие, которые всегда ходят верно, кроме тех случаев, когда вы им доверяетесь, а тогда они подводят вас так, как даже трудно ожидать от часов в цивилизованной стране.

Помню, как одни часы этого последнего типа, висевшие у нас в столовой, когда я был ребенком, однажды зимой

подняли нас всех в три часа ночи. Без десяти минут четыре мы уже кончали завтракать, а в начале шестого я пришел в школу, сидел на крыльце и горько плакал, думая, что пришел конец света: все кругом словно вымерло.

Человек, который способен жить в одном доме с такими часами, не подвергаясь риску погубить свою душу, хотя бы раз в месяц высказывая им напрямик свое мнение о них, либо может конкурировать с Иовом — старая, известная фирма, — либо не знает достаточно бранных слов, чтобы стоило начинать ругаться.

Мечта всей жизни у часов этого типа — соблазнить вас повериться им и попробовать попасть по ним на поезд. Несколько недель подряд они будут идти безукоризненно — настолько, что, если вы заметите несоответствие между ними и солнцем, вы будете скорее склонны думать, что что-нибудь неладно с солнцем, чем что часы нужно отдать в починку. Вы убеждены, что, если б эти часы ушли вперед хотя бы на четверть секунды или отстали бы на одну восьмую мгновения, это разбило бы им сердце и они бы умерли от горя.

С этой детской верой в безупречную точность их хода вы в одно прекрасное утро собираете вокруг себя все свое семейство, целуете детей, обтирая после этого рот, запачканный вареньем, тычете пальцем в глаз малышки, обещаете не забыть заказать угля, машете зонтиком, посылая последний нежный привет, и отправляетесь на вокзал.

Я лично никогда не мог решить, что досаднее: мчаться две мили что есть духу и, добежав до станции, убедиться, что до отхода поезда остается еще три четверти часа, или же все время идти не торопясь, поболтаться у кассы, беседуя с каким-нибудь местным идиотом, затем, с развальщей, не спеша выйти на платформу — и увидеть поезд, уходящий у вас из-под самого носа.

Часы второго типа — обыкновенные, то есть часы, которые всегда идут неправильно, — сравнительно безобидны. Вы заводите их в определенное время и раза два в неделю передвигаете стрелки, чтобы «отрегулировать» ход (с таким же успехом вы могли бы попытаться «регулировать» времяпровождение лондонской уличной кошки). Но все это вы проделываете не из эгоистических побуждений, а, так сказать, из чувства долга по отношению к самим часам, из потребности сознавать, что, что бы ни случилось, вы-то

уж, во всяком случае, сделали все от вас зависящее и никто не имеет права вас винить.

Вам и в голову не приходит ждать от них благодарности, и потому вы не испытываете разочарований. Вы спрашиваете, который час. Горничная отвечает:

— Часы в столовой показывают четверть третьего.

Но вы не поддаетесь обману. Вы знаете, что на самом деле теперь десятый час вечера; и, припоминая, что четыре часа назад — курьезный факт! — эти же самые часы шли всего на сорок минут вперед, кротко дивитесь, как они с тех пор сумели зайти так далеко, и поражаетесь их энергии.

Я сам обладатель часов, которые по своей независимости, разнообразию настроений и легкомысленному нежеланию считаться с условностями могут дать несколько очков вперед любому из приборов, предназначенных для измерения времени. Просто как часы они оставляют желать многого, но как живая, самодействующая загадка — полны интереса и разнообразия.

Один мой знакомый утверждал, что его часы ни для кого не годны, кроме как для него, так как он — единственный, кто умеет понимать их указания. Он уверял, что часы эти превосходные и на них можно вполне положиться, надо только знать их, изучить систему их хода. Постороннего же человека они легко могут ввести в заблуждение.

— Так, например, — объяснял он, — когда они бьют пятнадцать раз, а стрелки показывают двадцать минут двенадцатого, я знаю, что теперь на самом деле без четверти восемь.

Да, где уж случайному наблюдателю разобраться в таких тонкостях!

Но главная прелесть моих часов именно в неизменной неопределенности их указаний. Они идут без всякой системы и метода: это чистейшей воды эмоционализм. В один прекрасный день на них нападает шаловливое настроение, и они как ни в чем не бывало за одно утро уходят вперед на три часа; на другой день они изнемогают от усталости и еле тащатся, за каждые четыре часа отстают на два и наконец среди дня совсем останавливаются: жизнь им до того опостылела, что они не в состоянии ничего делать; а к вечеру, глядишь, опять повеселели и без всякого завода пошли дальше.

Я не люблю распространяться об этих часах, потому что, когда я говорю о них только правду, люди уверяют, будто я преувеличиваю.

Когда вы прилагаете все усилия, чтоб говорить только правду, ужасно обидно и досадно, если вам не верят и думают, что вы преувеличиваете. У вас даже появляется желание преувеличить, чтоб дать почувствовать разницу. Меня, по крайней мере, часто одолевало такое искушение, и если я удерживался, то лишь благодаря воспитанию, полученному мною в детстве.

Надо очень следить за собою и никогда не позволять себе преувеличивать, иначе это входит в привычку.

И привычка-то это вульгарная. В былое время, когда преувеличивали только поэты и приказчики в мануфактурных лавках, человек, «склонный скорей переоценивать, чем недооценивать факты», слыл умным и даже оригинальным. Но теперь «переоценивают» все. Искусство преувеличивать уже не считается роскошью в современном воспитании, оно входит в число обязательных предметов, совершенно необходимых для битвы жизни.

Преувеличивают все. Преувеличивают всё — от количества ежегодно продаваемых велосипедов до количества язычников, которые ежегодно обращаются в христианство, уповая на спасение души и обилие виски. На преувеличении зиждется наша торговля, наше искусство и литература, наша общественная жизнь и существование нашего государства. Школьниками мы преувеличиваем наши драки, и наши отметки, и долги наших отцов. Взрослыми людьми мы преувеличиваем ценность наших товаров, наши чувства, наши доходы, за исключением тех случаев, когда к нам является налоговый инспектор, тут мы преувеличиваем наши расходы, — мы преувеличиваем наши добродетели и даже наши пороки и, будучи на самом деле очень скромными и кроткими, притворяемся отчаянными смельчаками и разбойниками с большой дороги.

Мы так низко пали, что теперь уже не только преувеличиваем, но и силится поступать соответственно, чтобы оправдать нашу ложь. Мы называем это «поддерживать видимость» — сколько горечи в этой иронии и какой это удачный термин для обозначения нашего ребяческого безрассудства!..

Если мы имеем сто фунтов годового дохода, мы говорим, что имеем двести. Кладовая наша, быть может, пуста, и плиту нечем топить, но мы счастливы, если «свет» (шестеро знакомых и любознательная соседка) верит, что мы располагаем ста пятьюдесятью фунтами в год. А когда у нас есть лятьсот фунтов, мы упоминаем о тысяче, и всемогущий и возлюбленный нами «свет» (на этот раз уже не шесть, а шестнадцать знакомых и из них двое, сзиданных в собственных экипажах) готов верить, что мы тратим в год не менее семисот фунтов или хотя бы имеем долгов на эту сумму; но мясник и булочник, беседовавшие по этому поводу с нашей горничной, осведомлены куда лучше.

С течением времени, научившись этому фокусу, мы уже распускаем все паруса и сорим деньгами, как индийские раджи, или, вернее, делаем вид, что сорим, ибо теперь мы уже умеем покупать кажущееся на кажущееся и приобретать видимость богатства при помощи видимости денег. И милый старый «свет» (благослови его сатана как свое родное детище, в чем я и не сомневаюсь, сходство неоспоримое, во всех деталях) смотрит, и рукоплещет, и смеется нашей лжи, и поддерживает обман, и втайне радуется при мысли о том ударе, который рано или поздно должен нанести нам тяжкий, как у Тора¹, молот Истины. И все веселятся, как на празднике ведьм, пока не забрезжит серое утро. Истина и факты устарели, друзья мои; они несовременны, ими способны жить только скучные и вульгарные люди. Мы все теперь поумнели. Что нам реальность! — подавайте нам видимость. Мы презираем серо-бурую твердую землю и строим нашу жизнь и наши воздушные замки в такой прекрасной, с виду радужной стране грез и химер.

Для нас самих, засыпающих и просыпающихся по ту сторону радужного моста, в таком замке нет никакой красоты — один лишь холодный, влажный туман и вдобавок неотступный страх, что вот-вот золотое облачко растает и мы упадем на жесткую, твердую землю и, без сомнения, ушибемся.

Но что такое наш страх, наше тяжелое самочувствие, когда наш призрачный замок в облаках кажется другим прекрасным и радужным! Труженики полей смотрят на нас

¹ Тор — в скандинавской мифологии бог грома.

снизу вверх и завидуют нам. Раз они убеждены, что нам стоит завидовать, как же нам не быть довольными. Ведь нас же учили жить для других, а не для себя, и мы добросовестно поступаем так, как нас учили.

О, мы очень самоотверженны и лояльны в своей преданности этому новоиспеченному царьку, детищу Принца Обмана и Принцессы Претензии. Не было еще на свете деспота, внушавшего такую слепую преданность. Ни один земной властелин не имел такого обширного царства.

Человек по натуре своей должен перед чем-нибудь преклоняться. Он озирается кругом, и что в пределах его кругозора покажется ему самым великим и прекрасным, перед тем он и падает ниц. Для того, кто впервые увидел свет в девятнадцатом веке, может ли быть во всей вселенной образ благородней, чем фигура Лжи в краденом платье, умной, ловкой, бездушной, бесстыдной? Это ли не идеал его души? И он падает ниц, и лобызает ее костлявые ноги, и клянется ей в верности до гроба.

Да, Король Притворства — поистине могущественный самодержец. Так будем же строить храмы из черных теней, где можно поклоняться ему, надежно укрывшись от дневного света. Вознесем его высоко на бутафорском щите. Да здравствует наш трусливый, двоедушный владыка — достойный вождь для таких воинов, как мы. Да здравствует Царь Лжи, помазанник Божий. Да здравствует бедный Король Видимости, перед которым весь мир преклоняет колени!

Но только эту видимость действительно надо «поддерживать». И даже очень старательно. В нашем бедном кумире нет ведь ни жил, ни костей. Если мы примем руки, он опадет, превратится в кучу старых лохмотьев, которые подхватит сердитый ветер и унесет с собою. А мы осиротеем. Будем же проводить свою жизнь в том, чтобы поддерживать его, служить ему, возвеличивать его, надувать его воздухом и ничем, пока он не лопнет — и мы с ним вместе.

Потому что всякий пузырь когда-нибудь да лопнет, особенно если он слишком уж раздулся, на то он и пузырь. Но пока что он властвует над нами, и мир чем дальше, тем больше становится миром преувеличения, и лжи, и притворства, и тот, кто всех искусней преувеличивает, и притворяется, и лжет, тот и больше, и сильнее всех.

В мире точно на ярмарке: каждый стоит перед своим балаганом и бьет в барабан, указывая на ярко раскрашенные картинки и зазывая публику:

— Эй, господа почтенные, к нам заходите, покупайте наше мыло, и вы никогда не будете казаться старыми, или бедными, или несчастными; и у вас вырастут волосы на лысине и даже там, где никогда не росли. Только наше мыло настоящее. Остерегайтесь подделок.

— Покупайте мою микстуру все, у кого болит голова, или живот, или ноги, у кого разбиты физиономии или сердца или у кого сварливая теща; пейте по бутылочке в день, и все как рукой снимет.

— Заходите в мою церковь, все вы, желающие попасть после смерти на небо, подписывайтесь на мою еженедельную копеечную газетку, платите за место и, умоляю, не слушайте моего заблуждающегося брата, вон там, напротив. Мой путь — единственный путь к спасению.

— О, голосуйте за меня, мои благородные, разумные избиратели! Дайте нашей партии стать у власти, и мир преобразится, и не будет в нем места ни скорби, ни греху. Для каждого свободного, независимого избирателя, специально для него, у нас изготовлена с иголки новая Утопия, приспособленная к его идеям, и просторное, сверхнеуютное чистилище, куда он может послать всех, кто ему не угоден. Не упускайте такого случая!

— О, внимайте моей философии: она — самая лучшая, самая глубокая! О, внимайте моим песням: они — сладчайшие в мире! О, покупайте мои картины: это настоящее искусство; все остальное никуда не годится! О, читайте мои книги: они — самые умные, самые интересные!

— Я — лучший в мире сыровар! Я — величайший полководец! Я — умнейший государственный деятель! Я — величайший поэт! Я — искуснейший фокусник! Я — лучший редактор! Я — величайший патриот! Мы — первая нация в мире! Мы — единственный хороший народ! Одна наша религия — истинная!

Батюшки! Как все мы кричим, бьем в барабан и выхваляем свой товар! И никто не верит ни единому нашему слову, и люди спрашивают друг друга: «Как нам узнать, который из этих хвастунов самый умный и самый великий?»

И отвечают друг другу: «Ни одного тут нет ни умного, ни великого. Умные и великие люди не здесь: им не место среди этих взбесившихся шарлатанов и крикунов. Люди, которых вы видите здесь, не более как горластые петухи. Кто из них кричит всех громче и дольше, тот, должно быть, и лучше всех; это единственное мерило их достоинств».

Что же нам остается делать, как не кричать по-петушиному? И кто из нас всех громче и дольше кричит, выхваляя себя на этой навозной куче, которую мы называем миром, тот и выше и лучше всех.

Однако я отвлекся. Я хотел рассказать вам о наших часах.

Это была фантазия моей жены — приобрести эти часы. Мы обедали у Баглсов, а Баглс только что купил часы; они ему попались в Эссексе — так он выразился. Баглсу вечно что-нибудь «попадается». Он способен стать перед старинной деревянной резной кроватью, весящей около трех тонн, и сказать: «Да, недурная вещица. Она мне попала в Голландии». Как будто он нашел ее на дороге, незаметно поднял и сунул в зонтик, чтобы никто не видел.

Баглс все время трещал о своих часах. Это были славные старинные часы, футов восемь в высоту, в резном дубовом футляре; звучное, басистое, торжественное тиканье их было приятным аккомпанементом к послеобеденной беседе и придавало комнате особый уют и достоинство.

Мы долго обсуждали его покупку, и Баглс рассказывал, как ему нравится это медлительное, серьезное движение маятника и как, когда он сидит наедине с этими часами в вечерней тишине, с ним словно беседует мудрый старый Друг, повествуя ему о былых временах, когда и люди были другие, и думали, и жили по-другому.

Часы эти произвели большое впечатление на мою жену. На обратном пути она была задумчива и молчалива, а когда мы поднялись к себе наверх, сказала мне: «Почему бы и нам не купить такие часы?» Это было бы чем-то вроде старого друга, который заботится обо всех нас, ей казалось бы даже, что он присматривает за малюткой.

У меня есть один человек в Норхемптоншире, у которого я иногда покупаю подержанную мебель, и я обратился к нему. Он немедля ответил, что у него есть как раз то, что мне нужно. (У него всегда все есть. Мне в этом отношении

везет.) Чудеснейшие старинные часы, каких ему давно уже не встречалось; он прилагал фотографию и подробное описание и спрашивал, можно ли прислать их мне на дом.

По фотографии и подробному описанию мне показало, что это именно то, что мне нужно, и я написал ему: «Присылайте».

Три дня спустя раздался стук в дверь. Разумеется, это бывало и раньше, но я рассказываю только о том, что имеет отношение к часам. Горничная доложила, что меня спрашивают внизу двое мужчин, и я вышел к ним.

Это были носильщики. Заглянув в накладную, я убедился, что это мне прислали часы, и небрежно бросил: «Ах да, хорошо, снесите их наверх».

Носильщики возразили, что они очень сожалеют, но в том-то и беда, что они не знают, как им снести это наверх.

Я спустился вниз и увидел втиснутый клином поперек площадки ящик, по первому впечатлению — тот самый, в котором была в свое время доставлена в Лондон Игла Клеопатры¹.

Оказывается, это и были мои часы.

Я принес топор и лом, мы принялись двух дюжих оборванцев и впятером работали полчаса, пока ящик наконец не поддался нашим усилиям, после чего движение по лестнице восстановилось, к великому удовольствию других жильцов.

После этого мы внесли часы наверх, собрали их, и я поставил их в углу столовой.

Вначале они обнаруживали сильную склонность валиться вперед и падать на людей, но благодаря тому, что я не жалел гвоздей, винтов и дощечек, жизнь в одной комнате с ними сделалась возможной, но к этому времени я совершенно выбился из сил и, перевязав свои раны, улегся спать.

Среди ночи меня разбудила жена: она была очень встревожена тем, что часы пробили тринадцать раз, и спрашивала меня: как по-моему, кому из наших близких это предвещает смерть?

Я ответил, что не знаю, но надеюсь, что соседскому псу.

¹ Игла Клеопатры — обелиск, установленный в Лондоне на набережной Темзы. Вывезен в начале XIX века из Египта.

Жена уверяла, что у нее предчувствие — это умрет малютка. Я всячески старался утешить ее, но не мог, пока наконец она не наплакалась вдоволь и не уснула.

Все утро я убеждал ее, что она, вероятно, ошиблась, и она наконец одарила меня улыбкой. Но под вечер часы снова пробили тринадцать.

Все ее страхи возобновились. Теперь она была убеждена, что и малютка, и я обречены на смерть и что ей суждено остаться бездетной вдовой. Я попытался обратить это в шутку, но она еще больше огорчилась, уверяя, что и я думаю то же самое и только притворяюсь легкомысленным, чтоб успокоить ее; но она постарается быть мужественной.

Больше всего она бранила Багса.

Ночью часы снова повторили свое мрачное предсказание; на этот раз жена решила, что опасность грозит ее тетке Марии, и, по-видимому, примирилась с этим. Но все-таки жалела, что я купил часы, и сокрушалась о моей страсти наполнять дом всевозможным хламом.

На следующий день часы четыре раза били по тридцати раз, и это развеселило жену, она сказала, что если все мы умрем, то это еще не так страшно. По всей вероятности, разразится эпидемия и унесет нас всех. Она была почти довольна этим. А часы между тем приговорили к смерти не только всех наших родственников и друзей, но и соседей.

Несколько месяцев подряд они целыми днями проделывали одно и то же, пока наконец нам не надоела эта бойня и в окрестностях нашего дома не осталось ни единой живой души.

Тогда они, видимо, сами решили начать новую жизнь и стали бить уже безобидно — по тридцати девяти и по сорока одному разу. Любимое число их — тридцать два, однажды они отбили целых сорок девять ударов. Больше сорока девяти они никогда не били. Не знаю почему — никогда не мог понять, — но только не били.

И бьют-то они не через правильные промежутки времени, а когда им заблагорассудится. Иной раз бьют три и четыре раза в течение одного часа, а то целых полдня не бьют совсем. Что называется, чудаковатые часы, с придурью. Мне не раз приходило в голову отдать их в починку и превратить в порядочные, знающие свое время часы, но я как-то

привык к ним и полюбил в них это насмешливое, ироническое отношение к времени.

Почтения они к нему не питают и как будто нарочно стараются оскорбить его. Например, в половине третьего пробьют тридцать два, а через двадцать минут бьют час!

Или они действительно прониклись презрением к своему господину и хотят дать ему это почувствовать? Говорят, нет героя для его слуги. Быть может, мутному взору своего старого слуги и суровое Время с его каменным ликом кажется слабым и смертным — лишь несколько более долговечным, чем другие смертные? Быть может, эти часы, тикающая и тикающая столько лет подряд, убедились в ничтожности Времени, которое представляется таким великим и могущественным нашему робкому человеческому взору?

Быть может, утрюмо посмеиваясь и отбивая по тридцати пяти и по сорока ударов, они говорят ему: «Я тебя знаю, Время. Хотя ты и кажешься богоподобным и грозным, но на самом деле что ты, как не призрак, грезы, как и все мы? И даже меньше того, потому что вот ты прошло, и нет тебя. Не бойтесь же его, бессмертные люди. Время — лишь тень мира на фоне Вечности».

ИСТОРИИ; РАССКАЗАННЫЕ
ПОСЛЕ УЖИНА
(1891)

НАША КОМПАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Был канун Рождества.

Я начинаю так, потому что это — единственно правильный, добропорядочный, respectable способ начинать такие рассказы, а я воспитан в единственно правильном, добропорядочном, respectable духе и приучен всегда совершать единственно правильные, добропорядочные, respectable поступки; эта привычка очень сильна во мне.

Разумеется, просто ради информации указывать точную дату в данном случае нет никакой необходимости. Искушенный читатель и без меня знает, что был канун Рождества. В рассказе с привидениями дело всегда происходит в канун Рождества.

Канун Рождества привидения отмечают весьма торжественно. В канун Рождества они устраивают свой ежегодный праздник. В канун Рождества всякий в Стране Привидений, кто хоть что-нибудь из себя представляет, — или, пожалуй, относительно привидений правильнее будет сказать: всякий, кто ничего из себя не представляет, — выходит на землю, чтоб себя показать и на других посмотреть, чтобы прогуляться немного и похвастаться своим саваном или иным могильным туалетом, позлословить насчет того, кто как одет, и появить на тему о том, у кого какой цвет лица.

«Рождественский парад» — я думаю, они сами употребляют именно этот термин — это такое торжество, к которо-

му готовятся заранее и которого ждут с нетерпением во всей Стране Привидений, в особенности всякие важные особы, вроде злодейски умерщвленных баронов и преступных графинь, а также графов, из тех, что пришли в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем, перерезали своих родичей и умерли в состоянии буйного помешательства.

Во всех углах духи с большим старанием упражняются в глухих столах и дьявольских усмешках. За много недель начинают они репетировать вопли, от которых стынет кровь, и жесты, от которых ужас проникает до мозга костей. За ржавевшие цепи и окровавленные кинжалы подвергают тщательному осмотру и приводят в полный порядок; а саваны и гробовые покровы, отложенные с прошлого года и бережно хранимые в сундуках, снова извлекают наружу, вытряхивают, чинят и проветривают.

Да, волнующее это время, ночь под Рождество!

В ночь на 26 декабря, как вы, вероятно, могли заметить, привидения не появляются. Надо полагать, сочельника им более чем достаточно, они не привыкли к волнениям. Всю неделю после Рождества привидения-джентльмены ходят с тяжелой головой и дают себе торжественные обещания на будущий год оставаться в сочельник дома; а духи-леди раздражительны и взвинченны и, когда к ним обращаются, готовы в любой момент разразиться слезами и убежать из комнаты без всякой к тому причины.

Привидения попроще, те, кому не надо заботиться о том, чтобы их поступки соответствовали их высокому положению, иногда все-таки появляются в неурочное время: в канун Всех святых, в Иванов день; а некоторые даже выходят на землю просто по поводу событий местного значения — например, чтобы отпраздновать годовщину со дня повешения чьего-нибудь дедушки или чтобы предсказать какое-нибудь несчастье.

Ох, и любит же предсказывать несчастья средний британский дух! Отправьте его возвестить кому-нибудь беду — и он счастлив. Дайте ему ворваться в мирное жилище и перевернуть там все вверх дном предзнаменованием похорон, или предвещанием банкротства, или намеком на предстоящее бесчестье, или на какое-нибудь другое ужасное несчастье, о котором ни один нормальный человек не захотел бы знать заранее, раз уж тут все равно ничем не помо-

жешь, — и он чувствует, что сочетает приятное с полезным. Он никогда бы не простил себе, если б в его бывшей семье с кем-нибудь случилась беда, а он не появился бы там месяца за два до этого события, не выделял бы всяких дурацких фокусов на лужайке перед домом или не балансировал на спинке чьей-нибудь кровати.

А бывают еще очень молодые или очень совестливые привидения с потерянным завещанием или какой-либо тайной, тяготеющей над ними; эти являются постоянно, круглый год; или же какой-нибудь неугомонный покойник, негодующий из-за того, что местом его погребения оказалась мусорная куча или деревенский пруд, — он целому приходу не даст житья, являясь каждую ночь, пока кто-нибудь не устроит ему за свой счет похороны по первому разряду.

Но это все исключения. Как я уже сказал, средний добродушный дух выходит прогуляться раз в год, в канун Рождества, и с него довольно.

Почему именно в канун Рождества, я и сам никогда не мог понять. Из всех дней в году это самое неподходящее время для прогулок — холодное, грязное, сырое. И потом, на Рождество всегда набивается полон дом живых родственников, так что забот и без того хватает, и никто не испытывает нужды в общении с умершими родными, печально и сонно бродящими по комнатам.

Наверно, есть что-то такое в душевной, замкнутой атмосфере Рождества, какой-то особый праздничный дух, который привлекает к себе духов, все равно как сырость после летнего дождя вызывает появление лягушек и улиток.

И мало того, что сами привидения всегда бродят по земле в канун Рождества, — в канун Рождества живые люди всегда сидят и разговаривают о привидениях.

Всякий раз, как пять-шесть человек, говорящих по-английски, рассядутся в сочельник вечером у камина — они сразу же принимаются рассказывать друг другу истории о привидениях. Мы не успокоимся, пока не выслушаем в канун Рождества несколько рассказов о призраках. Это — веселое, праздничное время, вот нам и приятно размышлять о могилах, трупах, убийствах и кровопролитиях.

Во всех наших рассказах о встречах с привидениями очень много общего, но это уж, конечно, не наша вина, а вина самих привидений, которые не желают испробовать

какой-нибудь новый номер и упорно придерживаются старой, испытанной программы. В результате, стоит вам однажды в канун Рождества выслушать шесть рассказов о приключениях, в которых замешаны призраки, и больше вам уж никогда не нужно слушать историй с привидениями. Если после этого вам кто-нибудь опять будет рассказывать о привидениях, вы почувствуете себя так, как будто посмотрели две веселые комедии или прочитали два юмористических журнала: повторение окажется несколько утомительным.

Вам непременно расскажут про некоего молодого человека, который однажды на Рождество гостил в имении у своих друзей, и как раз в канун Рождества его помещают на ночь в западном крыле дома. Посреди ночи дверь в его комнату тихо отворяется, и кто-нибудь — обычно леди в ночной сорочке — медленно подходит к нему и садится на край кровати. Молодой человек думает, что это, должно быть, какая-нибудь гостья или дальняя родственница хозяев, страдающая от бессонницы и одиночества, зашла к нему в комнату поболтать, хотя раньше он как будто ее и не встречал. Он и не подозревает о том, что это привидение: он такой простодушный. Однако она так и не заговаривает с ним, а когда он опять смотрит на то место, где она только что сидела, — ее уже нет!

На следующее утро за завтраком молодой человек излагает собравшимся эти обстоятельства и спрашивает каждую из присутствующих дам, не она ли была его ночной посетительницей. Но все дамы заверяют его, что это не они; а хозяин, страшно побледнев, умоляет не говорить больше на эту тему, что представляется молодому человеку на редкость странной просьбой.

После завтрака хозяин отводит молодого человека в угол и объясняет ему, что ночью он видел призрак одной леди, которая была убита в этой самой кровати — или которая сама там кого-нибудь убила, какой именно вариант будет использован, не имеет значения: привидением можно стать, или если убьешь кого-нибудь, или если тебя самого кто-нибудь убьет, — кому что нравится. Пожалуй, привидение-убийца популярнее, но, с другой стороны, убитому легче путать людей: он может показывать свои раны и испускать стоны.

Еще рассказывают про гостя-скептика. Кстати сказать, в историях такого рода всегда бывает запутан гость. Привидение невысоко ценит своих родных, оно предпочитает уделять внимание гостю, тому гостю, который, выслушав вечером в канун Рождества страшный рассказ хозяина, начинает смеяться и говорит, что он вовсе не верит в духов и что эту ночь, если ему позволят, он готов провести в той самой комнате, где, по словам рассказчика, появляется привидение.

Все отговаривают его от этого опрометчивого поступка, но он упорствует в своем безрассудстве, подымается в Желтую комнату (или какого бы она там ни была цвета) с легким сердцем и со свечой в руке, желает всем спокойной ночи и закрывает дверь.

На следующее утро оказывается, что за ночь он весь поседел.

Он никому не говорит о том, что видел, — это было слишком ужасно.

Рассказывают также про храброго гостя, который видит привидение, и знает, что это привидение, и следит за тем, как оно появляется в комнате и затем уходит сквозь стену, после чего, поскольку становится очевидным, что привидение не собирается возвращаться и, следовательно, дальнейшее бодрствование бессмысленно, гость засыпает.

Он никому не говорит о том, что видел привидение, чтобы не пугать людей без нужды, — некоторые очень волнуются, когда слышат о привидениях, — но сам решает дожидаться следующей ночи и посмотреть, появится ли оно опять.

И оно появляется опять, но на этот раз он встает с кровати, одевается, причесывается и идет за ним; и обнаруживает потайной ход, ведущий из его комнаты вниз в пивной погреб, — ход, которым, без сомнения, нередко пользовались в недоброе старое время.

Затем следует молодой человек, который проснулся со странным чувством среди ночи и увидел, что около постели стоит его богатый холостой дядюшка. Богатый дядюшка улыбается какой-то роковой улыбкой и исчезает. Молодой человек сразу же встает и смотрит на часы. Они стоят, так как он забыл их завести, и стрелки показывают половину пятого.

На следующий день он узнает, что, как это ни странно, его богатый дядюшка, которому он приходился единственным наследником, женился на вдове с одиннадцатью детьми, и произошло это всего два дня тому назад ровно без четверти двенадцать.

Молодой человек даже не пытается объяснить это необычайное совпадение. Он может только поручиться, что все, им рассказанное, является истинной правдой.

А еще рассказывают, как некий джентльмен, возвращаясь домой поздно вечером с обеда в масонской ложе, замечает свет в развалинах старого монастыря, тихонько подкрадывается и смотрит в замочную скважину. Он видит, как дух «серой сестры» целуется с духом коричневого монаха, и он до такой степени шокирован и перепутан, что тут же лишается чувств, и на завтра его находят лежащим в состоянии полной беспомощности у самой двери; говорить он еще не может, но крепко сжимает в руке свой верный старый ключ.

Все эти вещи происходят в канун Рождества, и рассказывают о них тоже в канун Рождества. В современном английском обществе ни один рассказ с привидениями не может быть рассказан ни в какое другое время, кроме вечера 24 декабря.

В силу всего вышеозначенного я понимаю, что, приступая к изложению печальных, но доподлинных историй с привидениями, которые я привожу ниже, нет никакой надобности уведомлять читателей, знакомых с англосаксонской литературой, о том, что все это было рассказано, и события, о которых говорится, происходили в канун Рождества.

Тем не менее я это делаю.

ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ МЫ НАЧАЛИ СВОИ РАССКАЗЫ

Это было в канун Рождества! В канун Рождества у моего дядюшки Джона; в канун Рождества (что-то слишком уж много канунов Рождества для одной книги. Я и сам это чувствую. Это становится чересчур однообразным даже для меня. Но я не вижу, как можно было бы теперь этого избежать) в доме № 47, Лэбернхэм-Гроув, Тутинг! В канун Рож-

дества в гостиной, слабо освещенной свечами (бастовали рабочие газовой компании), где пляшущее пламя бросало причудливые тени на очень пестрые обои, в то время как снаружи, на пустынных улицах, бушевала свирепая буря и ветер, подобно какому-то беспокойному духу, летел со стенами через площадь и с воем сворачивал за угол у молочной лавки.

Мы только что отужинали и теперь беседовали и курили, не вставая из-за стола.

Ужин был очень хорош — бесспорно, прекрасный ужин. Впоследствии в связи с этим ужином в нашей семье возникли кое-какие недоразумения. Распространялись слухи обо всей этой истории вообще и о моей в ней роли в частности, высказывались мнения, которые не так уж удивили меня — потому что я знаю своих родственничков, — но которые сильно меня огорчили. Что до моей тети Марии, я даже не знаю, когда мне снова захочется с ней увидеться. Уж она-то могла бы знать меня получше.

Но та несправедливость — вопиющая несправедливость, как я докажу потом, — которая была допущена по отношению ко мне, не помешает мне быть справедливым по отношению к другим, даже к тем, кто жестоко оскорбил меня. Я ведь отдаю должное паштету из телятины, которым кормила нас тетя Мария, и жареным омарам, за которыми последовали сдобные ватрушки собственного тетиного изготовления, тепленькие (на мой взгляд, есть холодные ватрушки глупо — весь вкус пропадает) и запитые старым элем дяди Джона, — и признаю, что все это было очень вкусно. Я и тогда отдал должное ужину, сама тетя Мария вынуждена была признать это.

После ужина дядюшка сварил немного пунша на виски. Ему я тоже отдал должное, дядя Джон сам это говорил. Он сказал: «Рад видеть, что пунш тебе понравился».

Вскоре после ужина тетя ушла спать, оставив дядю в обществе старого доктора Скраблза, помощника приходского священника, нашего депутата в совете графства мистера Сэмюэля Кумбза, Тедди Биффлза и меня. Мы решили, что еще не время сдаваться, и дядюшка сварил вторую чашу пунша; и я полагаю, что мы все отдали должное пуншу — во всяком случае, я-то отдал, это я точно знаю. У меня это прямо страсть какая-то — всегда поступать по справедливости.

Потом мы долго еще сидели, и доктор сварил пунш на джине, для разнообразия, хотя я лично большой разницы не почувствовал. Но все это было хорошо, и мы были очень счастливы — все были так любезны друг с другом.

Дядя Джон рассказал нам одну очень смешную историю. О, это в самом деле была смешная история! Я не помню сейчас, о чем она была, но знаю, что тогда она очень меня позабавила; я, кажется, еще никогда так не смеялся. Даже удивительно, что я не могу припомнить эту историю, ведь он рассказывал нам ее четыре раза! И только по нашей вине не рассказал в пятый. После этого доктор спел нам очень забавную песню, где ему по ходу дела надо было подражать голосам домашних животных и птиц. Правда, он спутал их немного. Он кричал ослом, когда речь шла о петухе, а изображая свинью, кукарекал. Но мы прекрасно поняли, что он имел в виду.

Я начал было рассказывать один очень интересный анекдот, но вскоре с некоторым удивлением заметил, что никто не обращает на меня ни малейшего внимания. Сначала я подумал, что с их стороны это довольно невежливо, но потом до меня дошло, что, оказывается, все это время я говорил про себя, а не вслух, так что они, конечно, вовсе и не знали, что я им что-то рассказываю, и, наверно, никак не могли понять, что означают мои красноречивые жесты и оживленное выражение лица. Вот уж действительно презабавнейшая ошибка! Никогда прежде со мной не случилось ничего подобного.

Потом помощник нашего священника стал показывать карточные фокусы. Он спросил нас, не приходилось ли нам когда-нибудь видеть игру, которая называется «три листика». Он сказал, что это такое измышление ума, при помощи которого низкие, бессовестные люди, постоянные посетители скачек и тому подобных злочных мест, обманом отнимают деньги у неразумных юношей. Он сказал, что это очень простой фокус: все зависит от ловкости рук. Ловкость рук обманывает глаз. Он сказал, что покажет нам этот жульнический прием, чтобы мы были начеку и не попадались на удочку. Достав из чайницы дядюшкину колоду карт, он вытащил из нее три карты, две простые и одну картинку, сел на коврик перед камином и объяснил нам, что он будет делать.

Он сказал:

— Вот я беру эти три карты в руки — так — и показываю их вам. А затем я их спокойно положу на коврик рубашкой вверх и попрошу вас показать, где лежит картинка. И вам будет казаться, что вы знаете, которая из них картинка. — И он проделал все это.

Старый мистер Кумбз — он у нас также церковный староста — сказал, что картинка в середине.

— Вам кажется, что вы ее видели, — сказал помощник нашего священника, улыбаясь.

— Мне совершенно ничего не «кажется», — ответил мистер Кумбз. — Я вам говорю, что она в середине. Я ставлю полкроны за то, что она в середине.

— Вот видите, это как раз то, о чем я вам говорил, — сказал помощник нашего священника, поворачиваясь к нам. — Вот таким способом завлекают в сети неразумных юношей и выманивают у них деньги. Они уверены, что знают карту, им кажется, что они ее видели. Они не уловили той истины, что ловкость рук обманывает их глаз.

Он сказал, что знал молодых людей, которые отправлялись на лодочные гонки или на крикетный матч с несколькими фунтами в кармане и возвращались домой еще засветло без гроша за душой, потеряв все деньги в этой безнравственной игре.

Он сказал, что возьмет полкроны мистера Кумбза, потому что это послужит мистеру Кумбзу очень серьезным уроком и, быть может, окажется в будущем средством для спасения денег мистера Кумбза; а два шиллинга шесть пенсов он отдаст в церковный фонд.

— Насчет этого вы не волнуйтесь, — возразил мистер Кумбз. — Подумайте лучше о том, как бы вам не взять полкроны из церковного фонда.

И он положил деньги на среднюю карту и открыл ее.

Как ни странно, но это была действительно дама.

Все мы очень удивились, а помощник нашего священника в особенности.

Он сказал, что иногда, правда, бывает, что человек угадывает карту... случайно.

Помощник нашего священника сказал, что это — самое худшее из зол, которые человек может себе причинить, потому что когда попытаешь счастья и с первого раза выигра-

ешь, тоходишь во вкус этой так называемой игры и увлекаешься до того, что готов снова и снова рисковать своими деньгами, пока наконец не будешь вынужден оставить поле сражения разорившимся, погибшим человеком.

Потом он опять стал показывать нам свой фокус. На этот раз мистер Кумбз сказал, что дама легла с краю, у ведерка с углем, и хотел положить на эту карту пять шиллингов.

Мы стали смеяться над ним и отговаривать его. Но он не желал слушать никаких советов и настаивал на своем.

Помощник нашего священника сказал тогда, что, ну что ж, очень хорошо, он его предупредил. Если он (мистер Кумбз) твердо решил оказаться в дураках, пусть он (мистер Кумбз) делает, как хочет.

Помощник нашего священника сказал, что он возьмет эти пять шиллингов и внесет недостающую сумму обратно в церковный фонд.

Мистер Кумбз положил две полукроны на ту карту, что лежала ближе к ведерку с углем, и открыл ее.

Хотите верьте, хотите нет, но это опять была дама!

После этого дядя Джон поставил флорин и тоже выиграл.

А потом мы все стали играть, и все выигрывали. То есть все, кроме помощника священника. Ему здорово досталось за эти четверть часа. Никогда не видел человека, которому бы так отчаянно не везло в карты. Он каждый раз проигрывал.

После этого дядюшка стал опять варить пунш, причем допустил забавную оплошность: забыл влить виски. Ох, и посмеялись же мы над ним! И в наказание заставили его потом добавить двойную порцию виски.

Да, мы как следует позабавились в тот вечер!

А потом, очевидно, дело так или иначе дошло до привидений, потому что мое следующее воспоминание относится к тому моменту, когда мы рассказываем друг другу истории с привидениями.

РАССКАЗ ТЕДДИ БИФФЛЗА

Первую историю рассказал Тедди Биффлз. Я даю ему возможность повторить ее здесь слово в слово.

(Не спрашивайте меня, как я сумел запомнить в точности его слова — застенографировал ли я их тогда, или же

рассказ был у него записан и он вручил мне рукопись позднее, чтобы я опубликовал ее в этой книге, — я все равно не скажу, даже если вы и спросите. Это секрет производства.)

Биффлз озаглавил свой рассказ —

ДЖОНСОН И ЭМИЛИ, ИЛИ ВЕРНЫЙ ДУХ

Я был еще совсем мальчишкой, когда впервые познакомился с Джонсоном. Я приехал домой на рождественские каникулы, и в сочельник мне позволили лечь спать попозже. Когда я открыл дверь своей маленькой спальни и хотел войти, я столкнулся лицом к лицу с Джонсоном, который как раз выходил оттуда. Он прошел сквозь меня и с протяжным жалобным воем скрылся через окно на лестнице.

В первый момент я перепугался — ведь я был еще школьником в то время и никогда прежде не видел привидений — и даже боялся сначала ложиться. Но, поразмыслив, я вспомнил, что духи могут причинить вред только грешникам, и, поплотнее укутавшись в одеяло, заснул.

Утром я рассказал родителю о том, что видел.

— Да, да, это старик Джонсон, — сказал он. — Ты его не бойся, он здесь живет. — И он рассказал мне историю этого бедняги.

Оказалось, что Джонсон, когда он был еще живой, любил в юности дочку прежнего съемщика нашего дома, очень красивую девушку по имени Эмили. Фамилии ее отец не знал. Джонсон был слишком беден, чтоб жениться на ней, поэтому он, поцеловав ее на прощание, сказал, что скоро вернется, и уехал в Австралию добывать себе состояние.

Но тогда Австралия была не то, что теперь. На диких землях, поросших кустарником, путешественников было мало, а если они и попадались, то обычно того движимого имущества, что удавалось обнаружить на трупе, едва лишь хватало на то, чтобы окупить необходимые похоронные издержки. Так что Джонсону понадобилось почти двадцать лет для того, чтобы сколотить состояние. Тем не менее задача, которую он себе поставил, была наконец разрешена, и тогда, счастливо улизнув от полиции, он покинул колонию и, полный радости и надежды, вернулся в Англию за своей невестой.

Он добрался сюда и нашел этот дом заброшенным и безмолвным. Все, что могли ему сказать соседи, сводилось

к тому, что однажды туманным вечером, вскоре после его отъезда, вся семья тихо и скромно удалилась в неизвестном направлении, и с тех пор никто ничего о них не знает, хотя и домовладелец, и большинство местных торговцев не раз подавали заявления о розыске.

Бедный Джонсон, обезумев от горя, разыскивал свою пропавшую возлюбленную по всему свету. Но ему так и не удалось ее найти, и после долгих лет бесплодных поисков он вернулся, чтобы провести остаток дней своих в том самом доме, где в давно минувшие счастливые времена он вкушал блаженство в обществе своей обожаемой Эмили.

Он жил там совсем один и дни и ночи бродил по пустым комнатам, плача и призывая свою Эмили, а когда бедный старикан умер, дух его продолжал его дело.

Он уже был там, когда мой отец снял этот дом, и агент даже снизил из-за него арендную плату на десять фунтов в год.

После этого я тоже постоянно встречал Джонсона в любое время ночи. Сначала мы обходили его и сторонились, чтобы дать ему пройти, но потом, когда мы к нему привыкли и можно уже было отбросить эти церемонии, мы стали проходить прямо сквозь него. Нельзя сказать, чтоб он нам особенно мешал.

К тому же это было доброе, безобидное старое привидение, и мы все ему очень сочувствовали и жалели его. А у женщин он одно время был просто любимчиком. Их так трогала его верность.

Но мало-помалу он стал нам надоедать. Уж очень он был печальный. В нем не было ничего жизнерадостного и веселого. Его было жалко, но он вызывал раздражение. Он мог часами сидеть на лестнице и плакать. И когда бы вы ни проснулись ночью, вы непременно слышали, как он слоняется по коридорам и комнатам со стонами и вздохами, так что уснуть снова было не так-то легко. А когда у нас бывали гости, он имел привычку усаживаться в дверях гостиной и громко рыдать. Особого вреда от этого никому не было, но настроение у всех, конечно, портилось.

— Ох, и осточертел же мне этот старый дурак, — сказал родитель однажды вечером (папа, как вы знаете, может быть очень резким, если его вывести из себя), когда Джонсон особенно надоел нам: он расстроил партию в вист, так

как засел в каминной трубе и вздыхал оттуда до тех пор, пока уже никто не помнил козырей и даже не знал, с какой масти пошли. — Придется нам как-нибудь отделаться от него. Только вот не знаю — как.

— Ну, — сказала мать, — можешь не сомневаться, что нам от него не избавиться до тех пор, пока он не отыщет могилу Эмили. Только это ему и нужно. Найдите ему могилу Эмили, отведите его туда, и там он и останется. Это единственное, что мы можем сделать, помяните мое слово.

Мысль эта была вполне здравой, но трудность заключалась в том, что мы знали о местоположении могилы Эмили не больше, чем сам дух Джонсона. Отец предложил подсунуть бедняге могилу какой-нибудь другой Эмили, но, по воле судьбы, на много миль вокруг не было похоронено ни одной Эмили. Я никогда не думал, что есть округа, где бы совершенно не было покойных Эмили.

Подумав немного, я тоже отважился внести предложение.

— А что, если нам подделать что-нибудь такое для старика Джонсона? — сказал я. — Он, кажется, парень простодушный. Наверно, он бы поверил. Во всяком случае, почему не попробовать.

— Ей-богу, так мы и сделаем! — воскликнул мой отец.

На следующее же утро мы пригласили рабочих, они насыпали в дальнем конце сада небольшой холмик и установили надгробный камень с такой надписью:

*Незабвенной памяти Эмили
Ее последние слова были: «Передайте Джонсону,
что я его люблю».*

— Это должно ему понравиться, — сказал в раздумье папа, когда работа была кончена. — Я очень надеюсь, что понравится.

И надежды его оправдались.

В тот же вечер мы заманили старого духа туда, и... в общем, это было одно из самых жалостных зрелищ, которые я когда-либо видел: Джонсон бросился на могилу и зарыдал. Папа и старый Сквинбинз, садовник, глядя на него, плакали, как малые дети.

С тех пор Джонсон больше ни разу не потревожил нас в доме. Каждую ночь он проводит теперь, рыдая над могилой, и, видимо, вполне счастлив.

Там ли он по сей день? Конечно! Я отведу вас туда и покажу его в следующий раз, когда вы у нас будете. Его обычное время с 10 вечера до 4 утра, по субботам — с 10 до 2.

ИНТЕРЛЮДИЯ. РАССКАЗ ДОКТОРА

Я горько плакал, слушая эту историю, — молодой Биффлз рассказывал ее с таким чувством. Все мы впали после этого в раздумье, и я заметил, что даже старый доктор потихоньку смахнул слезу. Однако дядя Джон сварил еще одну чашу пунша, и мы постепенно утешились.

А доктор через некоторое время даже повеселел и рассказал нам о духе одного из своих пациентов.

Не могу передать вам его историю. Очень жаль, но не могу. Все говорили потом, что это была самая лучшая история — самая страшная и жуткая, — но я сам ничего в ней не понял. Она показалась мне несколько отрывочной...

Он начал рассказ как полагается, честь по чести, и потом что-то как будто бы произошло, а потом он уже его кончал. Не могу понять, куда он дел середину своего рассказа.

Я знаю, однако, что кончилось все тем, что кто-то что-то нашел. И это привело на память мистеру Кумбзу одну очень интересную историю, приключившуюся на старой мельнице, которую арендовал некогда его зять.

Мистер Кумбз сказал, что расскажет нам эту историю, и, прежде чем кто-нибудь смог его остановить, он уже начал.

Мистер Кумбз сказал, что его рассказ называется —

МЕЛЬНИЦА С ПРИВИДЕНИЯМИ, ИЛИ РАЗРУШЕННЫЙ ДОМ

Ну, все вы, конечно, знаете моего зятя мистера Паркинса (так начал мистер Кумбз, вынув изо рта свою длинную глиняную трубку и засунув ее за ухо; мы не знали его зятя, но сказали, что знаем, — для экономии времени), известно вам и то, что однажды он снял в аренду старую мельницу в Суррее и поселился там.

Надо вам также знать, что много лет назад на этой самой мельнице жил один злобный старый скряга, который там и умер и — по слухам — оставил все свои деньги запряжанными в каком-то тайнике. Вполне естественно, что всякий, кто арендовал после него эту мельницу, пытался их найти, но никто не добился успеха, а местные мудрецы говорили, что никто ничего не найдет до тех пор, пока дух скупого мельника не проникнется в один прекрасный день симпатией к какому-нибудь арендатору и не откроет ему место, где спрятаны сокровища.

Мой зять не придавал особого значения этой истории, считая все это бабушкиными сказками, и, в отличие от своих предшественников, не делал никаких попыток отыскать спрятанное золото.

— Разве только доходы были тогда совсем не те, что теперь, — говорил мой зять, — а то не думаю, чтобы мельник мог хоть что-нибудь скопить, каким бы скрягой он ни был, а если и мог, то, во всяком случае, не так много, чтобы стоило заниматься поисками.

И все-таки совсем отделаться от мысли о кладе он не мог.

Однажды вечером он лег спать. В этом еще, конечно, не было ничего необычного. Он часто ложился спать по вечерам. Но что действительно было примечательно, так это то, что в тот самый момент, когда часы на деревенской колокольне пробили двенадцатый раз, мой зять вдруг проснулся и почувствовал, что больше не может заснуть.

Джо (его звали Джо) сел в кровати и огляделся.

В ногах его кровати стояло нечто совершенно неподвижное, окутанное тенью.

Оно переместилось, свет луны упал на него, и мой зять увидел, что это была фигура высохшего маленького старичка в панталонах до колен и с косичкой на затылке.

В тот же миг в голове у него мелькнула мысль о спрятанном сокровище и старом скряге.

«Он пришел показать мне, где оно лежит», — подумал мой зять и тут же принял решение не тратить на себя всех денег, а выделить небольшую сумму для того, чтобы делать добро другим.

Видение направилось к дверям, мой зять надел брюки и последовал за ним. Дух спустился в кухню, приблизился к дечке, постоял там, вздохнул и исчез.

На следующее утро Джо привел двух каменщиков и велел им разбирать печку и дымоход, а сам взял большой мешок из-под картошки, чтобы класть туда золото, и стоял рядом. Они разворотили полстены, но не нашли даже четырехпенсовика. Мой зять не знал, что и подумать.

На следующую ночь старик появился опять и опять повел его на кухню. Однако на этот раз, вместо того чтобы идти к очагу, он остановился и вздохнул прямо посреди кухни. «А, теперь мне понятно, что он хочет сказать, — подумал мой зять. — Оно под полом. Зачем же этот старый идиот останавливался около печки и заставил меня предположить, что оно в трубе?»

Весь следующий день ушел на то, чтобы поднять все половицы в кухне; но при этом удалось найти лишь трехзубую вилку, да и та была со сломанным черенком.

На третью ночь дух, нимало не смущаясь, явился снова и в третий раз устремился в кухню. Добравшись туда, он поглядел на потолок и исчез. «Гм, видно, не очень-то много ума набрался он там, откуда пришел, — бормотал Джо, возвращаясь рысцой в свою комнату. — Мог бы, кажется, в первый же раз это сделать».

Однако теперь не было как будто никаких сомнений относительно того, где лежит сокровище, и сейчас же после завтрака мой зять с помощью своих домочадцев начал разбирать потолок.

Они разобрали его весь, дюйм за дюймом, и обнаружили примерно столько же сокровищ, сколько можно найти разве что в порожней пивной бутылке.

На четвертую ночь, когда, как обычно, появился дух, мой зять так разозлился, что запустил в него своими башмаками, и башмаки, пролетев сквозь привидение, разбили зеркало.

На пятую ночь, когда Джо проснулся в двенадцать, что уже стало у него привычкой, привидение стояло на своем обычном месте, и вид у него был подавленный и очень несчастный. В его больших, грустных глазах было какое-то молящее выражение, и мой зять был тронут.

«В конце-то концов, — подумал он, — наверно, дуралей старается как может. Он, должно быть, забыл, куда на самом деле запрятал сокровище, и теперь пытается вспомнить. Дам ему возможность попробовать еще раз».

Дух заметно обрадовался и преисполнился благодарности, увидев, что Джо готовится за ним последовать; он отправился на чердак, указал рукой вверх и исчез.

«Ну, на этот раз, надеюсь, он попал в точку», — сказал мой зять; и на следующий же день работа закипела.

Три дня ушло у них на то, чтобы полностью разобрать крышу, и единственное, что они нашли, было птичье гнездо, завладев которым они покрыли дом брезентом, дабы спастись от сырости.

Казалось бы, это должно было отучить беднягу искать клады, но где там!

Он сказал, что тут что-то есть, иначе привидение не стало бы все время приходить, и что раз уж он зашел так далеко, то дойдет до конца и разгадает тайну, чего бы ему это ни стоило.

Ночь за ночью вставал он с постели и следовал за призрачным старым обманщиком по всему дому. Каждую ночь старик указывал ему новое место, и каждый раз наутро мой зять принимался разрушать мельницу в указанном месте в поисках клада. По прошествии трех недель на мельнице не осталось ни одной комнаты, пригодной для жилья. Все стены были разворочены, половицы подняты, потолки проломаны. И тут визиты призрака прекратились так же внезапно, как начались; и мой зять получил возможность на досуге отстраивать мельницу заново.

Что побудило старого призрака сыграть такую глупую шутку с человеком семейным да к тому же исправным налогоплательщиком? А этого я уже сказать не могу.

Некоторые говорили, что дух злобного старика хотел наказать моего зятя — зачем тот в него поначалу не верил; другие утверждали, что это, наверно, был призрак какого-нибудь скончавшегося местного водопроводчика или стекольщика, которому, естественно, было приятно видеть, как ломают и портят дом.

Но толком никто ничего не знал.

ИНТЕРЛЮДИЯ

Мы выпили еще пунша, а потом помощник нашего священника рассказал нам одну историю.

Я ничего не мог понять из его рассказа, так что не смогу передать его вам. Никто из нас ничего не мог понять в его рассказе. Это был вполне хороший рассказ, если судить по материалу. В нем было огромное количество сюжетов, а событий столько, что хватило бы на дюжину романов. Никогда прежде я не слышал рассказа, в котором уместилась бы такая уйма событий и столько различных персонажей.

Мне кажется, что в этот рассказ были включены все люди, с которыми рассказчик когда-либо был знаком, которых когда-либо встречал, о которых когда-либо слышал. Их там были целые сотни. Через каждые пять секунд он вводил в повествование свежую партию действующих лиц, а с ними — новехонький, с иголки, набор событий.

Это был примерно такой рассказ:

— Ну, и тогда мой дядя вышел в сад и взял ружье, но, разумеется, его там не оказалось, а Скроггинз сказал, что он в это не верит.

— Во что не верит? Какой Скроггинз?

— Скроггинз! Да ведь он же был тот второй человек, это была его жена.

— Какая жена? При чем еще она тут?

— Господи, я же вам рассказываю. Это она нашла шляпу. Она приехала в Лондон со своей кузиной — ее кузина приходится мне золовкой, а вторая племянница вышла замуж за человека по фамилии Эванс, а Эванс, когда все было кончено, занес ящик к мистеру Джейкобсу, потому что отец Джейкобса видел этого человека, когда он был жив, а когда он умер, Джозеф...

— Послушайте, оставьте в покое Эванса и ящик. Что произошло с вашим дядюшкой и ружьем?

— С ружьем? С каким ружьем?

— Да с тем ружьем, которое ваш дядя всегда хранил в саду и которого там не оказалось. Что он с ним сделал? Застрелил, что ли, из него кого-нибудь из этих людей — Джейкобсов, или Эвансов, или Скроггинзов, или Джозефсов? Потому что, если так, то это было хорошее и полезное дело и мы будем рады о нем услышать.

— Нет, что вы! Как он мог? Его ведь живьем замуровали в стену, и когда Эдуард Четвертый заговорил с аббатом на эту тему, моя сестра сказала, что при ее состоянии здоровья она не может и не хочет, потому что это угрожает жизни ребенка. Они окрестили его Хорейшио в память об ее собственном сыне, который был убит при Ватерлоо до того, как родился, и сам лорд Нэпир сказал...

— Послушайте, вы знаете, о чем вы говорите? — спросили мы его в этом месте.

Он сказал, что нет, но зато он знает, что в этом рассказе каждое слово — правда, потому что его тетушка сама это видела. Здесь мы накрыли его скатертью, и он уснул.

И тогда рассказал свою историю дядюшка.

Дядюшка сказал, что это доподлинная история. Она называлась —

ПРИВИДЕНИЕ В ГОЛУБОЙ КОМНАТЕ

— Я не хочу вас пугать, — начал дядя необыкновенно внушительным, чтобы не сказать замогильным, голосом, — и, если вы предпочитаете, чтобы я не упоминал об этом, я не буду, но факт остается фактом: в этом самом доме, где мы сейчас сидим, водятся привидения.

— Что вы говорите! — воскликнул мистер Кумбз.

— Какой смысл спрашивать, что я говорю, когда вы слышали, что я сказал? — заметил дядя слегка обиженным тоном. — Я говорю вам: в доме водятся привидения. Регулярно в канун Рождества в Голубой комнате (так в дядином доме называют комнату рядом с детской) появляется дух одного грешника, который когда-то в сочельник убил куском угля человека — из тех, что славят Христа на улице.

— Как он это сделал? — спросил мистер Кумбз с нескрываемым интересом. — Это трудно?

— Я не знаю, как он это сделал, — ответил мой дядя, — он не открыл своего приема. Тот человек расположился как раз напротив парадной двери и запел рождественскую балладу. Предполагают, что в момент, когда он разинул рот, чтобы взять си-бемоль, кусок угля, брошенный грешником из окна, влетел ему в глотку, застрял там и задушил его.

— М-да, тут нужна меткость, но попробовать, безусловно, стоит, — задумчиво пробормотал мистер Кумбз.

— Но, увы, это было не единственное его преступление, — прибавил мой дядя. — До этого он убил корнетиста.

— Не может быть! Неужели это установлено? — воскликнул мистер Кумбз.

— Разумеется, установлено, — ответил дядя раздраженно, — во всяком случае, это настолько достоверно, насколько можно ожидать в подобных случаях. Вы сегодня что-то очень придирчивы. Косвенные улики были неоспоримы. Бедняга корнетист поселился по соседству едва ли за месяц до этого. Старый мистер Бишоп, импресарио «Веселых парней», от которого я знаю эту историю, говорил, что он никогда не встречал более трудолюбивого и энергичного корнетиста. Он, корнетист, знал только две песенки, но мистер Бишоп говорил, что громче и дольше он не мог бы играть, даже если бы знал сорок. Песенки, которые он умел играть, назывались «Энни Лори» и «Родина, милая родина!», и мистер Бишоп говорил, что первую из них даже ребенок мог узнать в его исполнении.

Этот музыкант — этот бедный, одинокий артист — имел обыкновение регулярно каждый вечер приходиться на нашу улицу и играть по два часа кряду, стоя как раз против дома. В один из таких вечеров люди видели, как он, вероятно по приглашению, вошел в этот самый дом, *но никто никогда не видел, чтоб он отсюда вышел!*

— А городские власти не пробовали предложить вознаграждение тому, кто его обнаружит? — спросил мистер Кумбз.

— Ни полпенни, — ответил мой дядя.

— Однажды летом, — продолжал он, — сюда прибыл немецкий оркестр с намерением — как было указано в афишах — остаться здесь до осени. На следующий же день по приезду они всей компанией — люди здоровые и крепкие, что называется молодцы как на подбор, — были приглашены на обед все тем же грешником и, проведя последовавшие за этим сутки в постелях, оставили город в самом плачевном состоянии, страдая от резей и несварения желудка. А приходский врач, который их лечил, выразил сомнение по поводу того, сможет ли когда-нибудь кто-либо из них опять что-нибудь сыграть.

— Вы... Вы не знаете рецепта? — спросил мистер Кумбз.

— К сожалению, нет, — ответил дядя, — но говорят, что главной составной частью был свиной паштет, купленный в станционном буфете.

— Остальные преступления этого человека я забыл, — продолжал мой дядя. — Когда-то я знал их все, но теперь память у меня никуда не годится. Тем не менее я, вероятно, не погрешу против истины, если выскажу предположение, что он не совсем непричастен к кончине и воспоследовавшему за ней погребению джентльмена, который играл ногами на арфе; точно так же, я полагаю, нельзя утверждать, что нет никакой связи между ним и одинокой могилой известного итальянца шарманщика, как-то раз посетившего эти места.

Каждый сочельник, — проговорил мой дядя, и тихий внушительный звук его голоса проник сквозь жуткую завесу молчания, которое, подобно тени, незаметно подобралось к нам и воцарилось в гостиной, — каждый сочельник дух этого грешника посещает Голубую комнату в этом самом доме. Там, с полуночи до первых петухов, под приглушенные вопли и стоны, под раскаты злобного хохота и потусторонние звуки ужасных ударов ведет он свирепую призрачную битву с духами корнетиста и злодейски убитого рождественского певца, которым время от времени приходят на помощь тени немецких оркестрантов; и все это время тень задушенного арфиста играет своими призрачными ногами на разбитой призрачной арфе безумные адские мелодии.

Дядя сказал, что в сочельник Голубая комната как спальня выбывает из строя.

— Тише! — произнес мой дядя, предостерегающе подняв руку и указывая на потолок, и мы прислушались, затаив дыхание. — Слышите? Они сейчас там — в Голубой комнате!

Я встал с места и сказал, что я буду спать сегодня в Голубой комнате.

Но прежде чем рассказать вам свою собственную историю — историю о том, что со мной произошло в Голубой комнате, — я хотел бы предпослать ей здесь —

ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА

Я нахожусь в крайней нерешительности относительно того, рассказывать ли вам эту мою собственную историю. Дело в том, что она не похожа на другие истории, которые я рассказывал, или, вернее, которые рассказывали Тедди Биффлз, мистер Кумбз и мой дядюшка, — эта правдивая история не то, что басни, которые рассказывают люди в ка-

дун Рождества, сидя у огня и попивая пушш, это изложение событий, действительно имевших место.

Собственно, это даже и не «рассказ» в общепринятом смысле слова, это отчет. Я чувствую, что он будет несколько неуместен в книге подобного рода. Он больше подходит для какого-нибудь жизнеописания или учебника истории.

И еще одно обстоятельство мешает мне приступить к рассказу: дело в том, что это история исключительно обо мне самом. Рассказывая ее, я вынужден буду все время говорить о себе, а этого мы, современные писатели, очень не любим. Если есть у нас, представителей новой литературной школы, хоть одно похвальное стремление, то это стремление никогда никому не показаться хоть в малейшей степени эгоцентричным.

Я лично, как мне говорят, захожу в своей скромности — в этой стыдливой скрытности касательно всего, что имеет отношение к моей собственной персоне, — даже слишком далеко; и многие ругают меня за это.

Ко мне приходят и говорят:

— Ну что это такое? Почему вы ничего не пишете о себе? Вот о чем нам хотелось бы почитать! Расскажите нам что-нибудь о себе самом!

Но я всегда отвечаю: «Нет». Не потому, конечно, что считаю предмет неинтересным. Я лично не знаю другой темы, которая могла бы оказаться более увлекательной для человечества в целом или, во всяком случае, для его культурной части. Но я не делаю этого из принципа. Люди искусства так не поступают. Это было бы дурным примером для молодежи. Я знаю, что другие писатели (не все) делают это, а я не буду... как правило, конечно.

Поэтому при обычных условиях я бы вовсе не стал рассказывать эту историю. Я сказал бы себе: «Нет! Это хорошая история, это поучительная история, это необычайная, сверхъестественная, захватывающая история; и я знаю, публика была бы рада ее услышать, и мне бы хотелось изложить ее здесь, но — в ней рассказывается обо мне самом, о том, что я говорил, и что видел, и как я поступал, а на это я пойти не могу. Моя скромная, антиэгоцентрическая натура не позволит мне так много говорить о самом себе».

Но обстоятельства, о которых пойдет здесь речь, нельзя назвать обычными, и в силу некоторых соображений я,

при всей своей скромности, даже рад случаю рассказать эту историю.

Как я уже отметил вначале, в нашей семье были кое-какие недоразумения по поводу этого ужина в сочельник и, в частности, по отношению ко мне в связи с моим участием в событиях, о которых я сейчас расскажу, была допущена большая несправедливость.

Для того чтобы восстановить свою репутацию, для того чтобы рассеять облако клеветы и кривотолков, бросающее тень на мое доброе имя, я чувствую, будет лучше всего, если я, с полным чувством собственного достоинства, просто изложу факты, чтобы беспристрастные люди сами могли обо всем судить.

Моя основная цель — признаюсь чистосердечно — состоит в том, чтобы очистить себя от незаслуженного позора. Побуждаемый этим стремлением — а я считаю, что это похвальное и благородное стремление, — я преодолел свое обычное отвращение к рассказам о самом себе и поэтому могу начать то, что здесь озаглавлено —

МОЯ СОБСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Как только дядюшка кончил свой рассказ, я, как я уже говорил, поднялся и сказал, что буду спать сегодня в Голубой комнате.

— Ни за что! — вскричал дядя, вскочив со стула. — Ты не должен подвергаться смертельной опасности. Кроме того, постель там не постлана.

— Наплевать на постель, — ответил я. — Мне приходится жить в меблированных комнатах для джентльменов, и я привык спать в постелях, которые оставались непостланными круглый год. Я принял решение, и вы мне не мешайте. Я молод и вот уже месяц живу с чистой совестью. Духи не причинят мне вреда. А может быть, я даже окажу им какую-нибудь услугу и заставлю их за это уйти или вести себя тихо. И потом, мне бы хотелось самому все увидеть.

Сказав это, я опять сел. (Каким образом мистер Кумбз попал на мой стул с другого конца комнаты, где он сидел весь вечер, и почему он даже не подумал принести извинения, когда я уселся прямо на него, и зачем было Биффлзу делать вид, что он — мой дядя, и, внушив мне это ложное представление, заставлять меня в течение трех минут тря-

сти его руку и заверять его, что я всегда относился к нему как к родному отцу, — все это я и по сей день не в силах понять.)

Они пытались отговорить меня от этой, как они выражались, безрассудной затеи, но я оставался непоколебим и требовал, чтоб мне дали возможность воспользоваться моим правом. Ведь я был «гость». А «гость» в сочельник всегда ночует в комнате с привидениями, это его привилегия.

Они сказали, что, конечно, если я ставлю вопрос так, то им нечего мне ответить; поэтому они зажгли мне свечку и все вместе проводили меня наверх.

Я был в крайне приподнятом настроении, — оттого ли, что готовился совершить благородный поступок, или благодаря сознанию собственной правоты вообще — не мне судить, но в тот вечер я шел по лестнице, преисполненный необыкновенной жизнерадостности. Когда я поднялся на площадку, то едва мог остановиться: у меня было такое чувство, что мне хочется подняться еще выше, на чердак. Однако с помощью перил мне удалось сдержать свое честолюбивое стремление, я пожелал всем спокойной ночи, вошел в комнату и закрыл за собой дверь.

Неполадки начались сразу же. Свечка вывалилась из подсвечника, прежде чем я отпустил ручку двери. И она продолжала вываливаться из подсвечника каждый раз, как я поднимал ее и запикивал обратно. Никогда не встречал такой скользкой свечки. Наконец я решил обойтись без подсвечника и стал носить свечку в руке, но и тут она ни за что не желала стоять прямо. Тогда я разозлился и вышвырнул ее в окно, а потом разделся и лег — в темноте.

Я не заснул — спать мне ничуть не хотелось, я лежал на спине и глядел в потолок, размышляя о разных вещах. Жаль, что я не могу припомнить ни одной из тех мыслей, что приходили мне тогда в голову, они были очень остроумны. Я сам смеялся над ними так, что вся кровать тряслась.

Я пролежал таким образом с полчаса и совсем уже забыл о привидениях, как вдруг, случайно окинув взглядом комнату, заметил в кресле у огня духа, который имел на редкость самодовольный вид и курил длинную глиняную трубку.

В первый момент я, как большинство людей в подобных обстоятельствах, подумал, что сплю. Я сел в постели и протер глаза.

Нет! Сомнений быть не могло, это — привидение. Я видел сквозь него спинку кресла. Оно посмотрело в мою сторону, вынуло изо рта призрак своей трубки и кивнуло.

Самым удивительным для меня во всей этой истории было то, что я не испытывал ни малейшей тревоги. Если я и почувствовал что-то, увидев его, так это, пожалуй, удовольствие. Все-таки общество.

Я сказал:

— Добрый вечер. И холодная же стоит погода!

Он сказал, что сам он этого не заметил, но охотно мне верит.

Несколько секунд мы оба молчали, а потом, стараясь быть как можно любезнее, я спросил:

— Я полагаю, что имею честь обращаться к духу джентльмена, у которого произошел несчастный случай с одним из тех певцов, что славят в сочельник Христа на улице?

Он улыбнулся и сказал, что с моей стороны очень мило припомнить это. Один такой крикун — не Бог вещь какая заслуга, но все же и это на пользу.

Я был несколько обескуражен его ответом. Я ожидал услышать стон раскаяния. Дух же, казалось, наоборот, был очень собою доволен. Я подумал тогда, что раз уж он так спокойно отнесся к упоминанию об этом случае, то, наверное, его не оскорбит, если я задам ему вопрос о шарманщике. История бедняги-шарманщика меня живо интересовала.

— Скажите, пожалуйста, правда ли, — начал я, — что вы были замешаны в убийстве итальянского крестьянина, забредшего как-то в наш город со своей шарманкой, которая играла только шотландские песенки?

Он вспыхнул.

— Замешан, говорите? — вскричал он в негодовании. — Кто осмелился утверждать, что помогал мне в этом деле? Я умертвил парня собственноручно. Мне никто не помогал. Я один все сделал. Покажите-ка мне человека, который это отрицает.

Я успокоил его. Я заверил его, что у меня никогда и в мыслях не было сомневаться в том, что он единственный и подлинный убийца, и я пошел еще дальше, спросив его, что он сделал с телом корнетиста, которого убил.

Он сказал:

— К которому из них относится ваш вопрос?

— О, значит, их было несколько? — спросил я.

Он улыбнулся и самодовольно кашлянул. Он сказал, что ему бы не хотелось показаться хвастуном, но если считать вместе с тромбонами, то их было семеро.

— Господи ты Боже мой! — воскликнул я. — Вот уж, наверно, пришлось вам потрудиться!

Он ответил, что не пристало ему, конечно, говорить так, но что действительно, по его мнению, редко какое английское привидение из средних слоев общества имеет больше оснований с удовлетворением оглядываться на свою жизнь, прожитую с такой пользой для человечества.

После этого он несколько минут сидел молча, попыхи-вая трубкой, а я внимательно разглядывал его. Никогда прежде, насколько я мог припомнить, не приходилось мне видеть, как привидение курит, и мне было очень интересно.

Я спросил его, какой табак он предпочитает, и он ответил:

— Дух сорта Кэвендиш.

Он объяснил мне, что дух того табака, который человек курит при жизни, остается в его распоряжении и после смерти. Он сказал, что он лично выкурил при жизни массу Кэвендиша, так что теперь он хорошо обеспечен духом этого табака.

Я заметил про себя, что это весьма полезные сведения, и решил, пока жив, курить как можно больше.

Я подумал, что начать можно сейчас же, и сказал, что, пожалуй, выкурю с ним трубочку для компании; он сказал: «Валяй, старик». Я протянул руку, достал из кармана своего сюртука необходимые принадлежности и закурил.

После этого у нас завязался дружеский разговор, и он рассказал мне обо всех своих преступлениях.

Он сказал, что однажды ему случилось жить рядом с молодой леди, которая обучалась игре на гитаре, в то время как напротив жил джентльмен, игравший на виолончели. И он, с дьявольской изобретательностью, познакомил этих двух ничего не подозревавших молодых людей и убедил их уехать и обвенчаться против воли родителей и взять с собой свои инструменты; они так и сделали, и не успел еще кончиться их медовый месяц, как она уже проломила ему

виолончелью голову, а он изуродовал ее на всю жизнь, пытаясь заткнуть ей глотку гитарой.

Мой новый друг рассказал мне о том, как он заманивал к себе в дом уличных торговцев пышками и впихивал в них их собственные изделия до тех пор, пока животы у них не лопались и они не умирали. Он сказал, что обезвредил таким способом десятерых.

Девиц и молодых людей, декламирующих на вечерах длинные и нудные стихотворения, а также неоперившихся юнцов, которые бродят ночами по улицам и играют на гармошках, он обычно отравлял пачками, по пятнадцати за раз, чтобы дешевле обходилось; а уличных ораторов и лекторов, толкующих о вреде спиртных напитков, он запирали по шестеро в небольшой комнате, ставил каждому по стакану воды и по кружке для пожертвований и предоставлял им заговаривать друг друга до смерти.

Его было просто приятно слушать.

Я спросил, когда, по его мнению, должны прибыть остальные духи — духи уличного певца и корнетиста и немец-оркестрантов, о которых говорил дядя Джон. Он улыбнулся и ответил, что никто из них никогда больше сюда не вернется.

Я сказал:

— Как? Значит, это неправда, что они встречаются здесь с вами каждый сочельник и учиняют скандалы?

Он ответил, что так было раньше. Каждый сочельник вот уже двадцать пять лет он сражался с ними в этой самой комнате, но больше они уже не будут беспокоить ни его, ни жителей дома. Одного за другим он их всех положил на обе лопатки, вывел из строя и сделал абсолютно непригодными для дальнейших выходов на землю. В этот самый вечер, незадолго до того, как я поднялся наверх, он покончил с последним немцем-оркестрантом и выбросил остатки через щель в окне. Он сказал, что из него уже никогда не выйдет ничего такого, что можно было бы назвать привидением.

— Но вы-то сами, я надеюсь, будете приходить как обычно? — спросил я. — Им здесь было бы очень жаль лишиться вас.

— Да не знаю, — ответил он. — Теперь уж и незачем вроде приходить. Если только, конечно, — добавил он любезно, — здесь не будет вас. Я приду при условии, что в следующий сочельник вы опять будете ночевать в этой комнате.

Вы мне понравились, — продолжал он, — вы не убегаете с визгом при виде обыкновенного призрака, и волосы у вас не становятся дыбом. Вы не представляете себе, — сказал он, — до чего мне надоело видеть, как у людей волосы встают дыбом.

Он сказал, что это его раздражает.

Тут со двора донесся легкий шум, он вздрогнул и почернел, как смерть.

— Вам дурно! — вскричал я, выскакивая из постели и подбегая к нему. — Скажите, что мне для вас сделать? Хотите, я вылью немного брэнди, а вас попотчую его духом?

Минуту он молчал, напряженно прислушиваясь, затем издал вздох облегчения, и тень опять прилила к его щекам.

— Ничего, все в порядке, — пробормотал он. — Я думал, что это петух.

— Что вы! Для петуха еще слишком рано, — сказал я. — Ведь сейчас только середина ночи.

— О, этим проклятым птицам все равно, — с горечью ответил он. — Они с таким же удовольствием кричат в середине ночи, как и во всякое другое время, — и даже с большим, если знают, что этим испортят кому-нибудь вечер. Я считаю, что они это делают нарочно.

Он рассказал мне, как один его приятель, призрак человека, убившего сборщика платы за водопровод, имел обыкновение посещать дом на Лонг-Эйкр, в подвале которого был устроен курятник, и как всякий раз, когда мимо проходил полисмен и свет от его фонаря падал на решетчатое подвальное окно, старый петух воображал, что это — солнце, и тут же начинал кукарекать как сумасшедший, в результате чего бедный дух бывал, разумеется, вынужден растаять, и были случаи, когда он возвращался домой еще до того, как пробьет час ночи, посылая ужасные проклятия петуху, из-за которого его визит на землю продолжался всего каких-нибудь сорок минут.

Я согласился, что это очень несправедливо.

— Сплошная бессмыслица, — продолжал он в сердцах, — понять не могу, о чем только думал старик, когда создавал все это. Я ему много раз говорил: назначьте специальное время, и пусть все этому подчиняются — скажем, четыре часа утра летом и шесть зимой. Тогда хоть будешь знать, на каком ты свете.

— А что вы делаете, если поблизости нет петуха? — спросил я.

Он уже собирался мне ответить, но вдруг опять вздрогнул и прислушался. На этот раз я отчетливо услышал, как в соседнем доме, у мистера Баулса, дважды прокричал петух.

— Ну, вот, пожалуйста, — сказал он, поднимаясь и протягивая руку за шляпой. — Вот с такими вещами нам приходится мириться. Интересно, который час?

Я посмотрел на свои часы и сказал, что половина четвертого.

— Так я и думал, — проворчал он. — Я сверну шею этой чертовой птице, если только доберусь до нее.

И он собрался уходить.

— Если бы вы могли подождать минутку, — сказал я, снова слезая с кровати, — я бы прошелся с вами.

— Это было бы очень любезно с вашей стороны, — заметил он в нерешительности, — но не жестоко ли тащить вас на улицу?

— Отнюдь нет, — ответил я, — я с удовольствием прогуляюсь. — Тут я частично оделся и взял в руки зонтик, он ухватил меня под руку, и мы вместе вышли на улицу.

У самых ворот мы встретили Джонса, местного констебля.

— Добрый вечер, Джонс, — сказал я (в сочельник я всегда настроен приветливо).

— Добрый вечер, сэр, — ответил он, как мне показалось, несколько нелюбезно. — Осмелюсь спросить, что вы здесь делаете?

— Да ничего, — объяснил я, описав зонтиком дугу в воздухе, — просто вышел, чтоб проводить немного своего приятеля.

— Какого приятеля?

— Ах да, конечно, — засмеялся я, — я забыл. Для вас он невидим. Это призрак джентльмена, который убил улично-го певца. Я пройду с ним до угла.

— Гм, я бы на вашем месте не стал этого делать, сэр, — сказал Джонс сурово. — Советую вам попрощаться с вашим приятелем здесь и вернуться в дом. Может быть, вы не вполне отдадите себе отчет в том, что вы вышли на улицу в одежде, которая состоит лишь из ночной сорочки, пары ботинок и шапокляка? Где ваши брюки?

Мне не понравился тон, которым он со мной говорил. Я сказал:

— Джонс! Мне не хотелось бы этого делать, но боюсь, что придется сообщить куда следует о вашем поведении: вы, мне кажется, выпили лишнего. Мои брюки находятся там, где им и полагается быть — на мне. Я отчетливо помню, что я их надел.

— Нет, сейчас они, во всяком случае, не на вас, — заявил он.

— Прошу прощения, но говорю вам, они на мне, — ответил я. — Я думаю, я-то должен это знать.

— Я тоже так думаю, — сказал он. — Но вы, видимо, не знаете. А теперь пройдемте со мной в дом и давайте преградим все это.

В это самое время в дверях появился дядя Джон, по-видимому разбуженный нашей перебранкой, и в ту же минуту в окне показалась тетя Мария в ночном чепце.

Я объяснил им ошибку констебля, стараясь по возможности не переводить разговор в серьезный план, дабы не причинить полицейскому неприятностей, и обратился к привидению, чтобы оно подтвердило мои слова.

Оно исчезло! Оно оставило меня, не сказав ни слова — даже не попрощавшись!

Исчезнуть таким образом было так нехорошо с его стороны, что, потрясенный, я зарыдал. Тогда дядя Джон подошел ко мне и увел меня в дом.

Добравшись до своей комнаты, я обнаружил, что Джонс был прав. Я действительно не надел брюк. Они по-прежнему висели на спинке кровати. Вероятно, в спешке, стараясь не задерживать духа, я совсем забыл о них.

Таковы реальные факты, которые, как может видеть всякий нормальный благожелательный человек, не дают ни малейших оснований для возникновения клеветнических слухов.

И тем не менее подобные слухи распространяются. Некоторые личности отказываются понять изложенные здесь простые обстоятельства иначе, как в свете одновременно и ложном, и оскорбительном. Мои родные — плоть от плоти и кровь от крови моей — порочат меня и чернят клеветой.

Но я ни к кому не питаю зла. Как я уже говорил, я просто излагаю события с целью очистить свою репутацию от недостойных подозрений.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Проведя как-то вечер в кругу приятелей, я пришел домой и сказал жене, что собираюсь писать роман. Жена отнеслась к моей идее весьма сочувственно и даже удивилась, как я не додумался до этого раньше.

— Ты только посмотри, — прибавила она, — до чего глупы теперь все романы; я уверена, что и ты мог бы написать роман. (Этельберта, конечно, хотела сказать нечто для меня лестное, но она недостаточно следит за своими выражениями, и порой ее можно понять превратно.)

Когда я сообщил ей, что мой приятель Джефсон собирается со мной сотрудничать, она сказала «а-а!» — в котором звучало сомнение; когда же я прибавил, что Селкирк Браун и Деррик Мак-Шонесси тоже будут помогать, она ответила таким «а-а-а!» — в котором не звучало никакого сомнения и которое показывало, что у нее исчез всякий практический интерес к этому делу.

А все из-за того, что мои сотрудники — все трое — холостяки. У нее сильнейшее предубеждение против класса холостяков.

Разве может холостяк быть полезным писателем! Если мужчина не хочет жениться, значит, он просто развратник, которого нельзя и близко подпускать к перу; если же он хочет жениться, но не знает, как это сделать, как завершить достойно свой собственный роман, значит, он просто дурак, и где уж ему сочинять романы для других!

Я постарался ей растолковать, в чем особые преимущества нашей затеи.

— Понимаешь, — начал я, — в обычном, заурядном романе выражены, как правило, идеи только одного человека.

У нас же над этим романом будут совместно трудиться четверо умных людей. Публика, таким образом, получит возможность приобрести мысли и взгляды всех четверых по той же цене, по какой идут идеи одного лишь автора. Если английский читатель знает свое дело, эта книга пойдет на расхват. Другого такого случая можно ждать годами.

Этельберта нашла это весьма вероятным.

— Кроме того, — продолжал я, все больше и больше увлекаясь своей темой, — для читателя эта книга будет поистине находкой еще и в другом отношении. Мы не собираемся говорить в ней о своих повседневных делах. Наша задача — втиснуть в этот роман весь запас остроумия и мудрости, накопленный каждым из нас четверых, если книга может все это вместить. За этим романом не последует другой. Это невозможно, нам больше не о чем будет писать. Это для нас окончательная распродажа нашего умственного багажа. Все свои знания мы вложим в этот роман.

Этельберта поджала губы и сказала что-то про себя, после чего заметила вслух, что издание, вероятно, будет одно-томное. Скрытая в ее словах насмешка задела меня за живое. Я напомнил жене, что уже давно существует многочисленная группа специально обученных людей, призванных отпускать колкости по адресу писателей и их произведений; с этим делом, насколько мне известно, они справляются без посторонней помощи. И я намекнул, что каждый писатель надеется найти сочувствие хотя бы у себя дома.

Этельберта отвечала, что я должен сам понимать, кого она имеет в виду. Она заявила, что и не думает намекать на меня и что Джефсон тоже достаточно разумный человек (Джефсон помолвлен), но она просто не понимает, зачем вмешивать в это дело каждого встречного-поперечного. (Ни о каком «встречном-поперечном» и речи не было. Откуда она его выкопала?) Ей непонятно, какой толк от Брауна и Мак-Шонесси. Что могут знать о жизни и природе человеческой два закоренелых холостяка? О Мак-Шонесси в особенности она была того мнения, что, ежели понадобится записать абсолютно все, что он знает, это не займет и одной страницы.

К подобной оценке его знаний она пришла не сразу. В первый день знакомства они отлично поладили, и когда, проводив его до калитки, я вернулся в гостиную, жена

встретила меня словами: «Какой удивительный человек этот Мак-Шонесси! Он знает все на свете».

Это весьма точная характеристика Мак-Шонесси. Он действительно знает все. Мне еще не приходилось встречать человека с таким запасом всевозможных сведений. Иногда это сведения правильные, но в большинстве случаев они примечательны именно своей ненадежностью. Откуда он их добывает — это тайна, известная ему одному.

Этельберта была еще очень молода, когда мы с ней завелись своим домом. Наш первый мясник, помню, чуть было раз и навсегда не лишился покупательницы из-за того, что назвал ее «мисс» и сказал, чтобы она передала что-то своей маме. Этельберта пришла домой вся в слезах. Она заявила, что, может быть, она и не годится в жены, но ей непонятно, как может судить об этом мясник. У нее тогда еще не было опыта в домашних делах, и, сознавая это, она была благодарна каждому, кто давал ей полезный совет. Когда появился Мак-Шонесси, он затмил для нее даже прославленную миссис Битон¹. Он знал все, что нужно знать по дому, начиная с того, как чистить научным способом картофель, и кончая тем, как лечить кота от судорог. Этельберта, бывало, внимала ему с таким видом, словно на нее, фигурально выражаясь, сыпалась манна небесная, и за один вечер получала столько сведений, сколько требуется, чтобы расшатать домашнее хозяйство на целый месяц.

Он объяснил ей, как нужно разжигать очаг. В Англии, заявлял он, очаг разжигают так, что это противоречит всем законам природы, и он показал ей, как это делают в Крымской Татарии или другом подобном месте, ибо только там умение разжигать очаг стоит на должной высоте. Он доказывал, что, заимствуя метод Крымской Татарии, можно достичь необычайной экономии во времени и труде, не говоря уж о топливе; и тут же на месте обучил ее этому, а она немедленно отправилась на кухню и объяснила все Аменде.

Аменда, наша единственная служанка, была на редкость бесстрастной особой и в некоторых отношениях образцовой прислугой. Она никогда не возражала. Нам не приходилось слышать, чтобы у нее было о чем-нибудь свое собст-

¹ Автор известного руководства по ведению домашнего хозяйства.

венное мнение. Она принимала наши идеи беспрекословно и проводила их в жизнь с педантичной точностью и без малейшего чувства ответственности, благодаря чему от нашего домашнего законодательства сильно отдавало воинской дисциплиной.

Когда Этельберта излагала ей метод Мак-Шонесси, она стояла и внимательно слушала. Выслушав все до конца, она только сказала: «Значит, так его и разжигать?» — «Да, Аменда, теперь мы всегда будем разжигать его таким способом».

«Хорошо, мэм», — промолвила Аменда с полнейшим безучастием, и на этом в тот вечер дело и кончилось.

На следующее утро мы входим в столовую и видим, что стол накрыт к завтраку очень аккуратно, но завтрака нет. Мы подождали. Прошло десять минут, четверть часа, двадцать минут. Тогда Этельберта позвонила. В ответ появилась Аменда, спокойная и почтительная.

— Аменда, вы знаете, что мы всегда завтракаем в половине девятого?

— Да, мэм.

— А вы знаете, что сейчас около девяти?

— Да, мэм.

— Так что же, завтрак готов?

— Нет, мэм.

— А он когда-нибудь будет готов?

— Вы знаете, мэм, — отвечала Аменда с доброжелательной откровенностью, — сказать по правде, он, кажется, никогда не будет готов.

— Почему? Разве уголь не загорается?

— Нет, загораться-то он загорается...

— Тогда почему же нет завтрака?

— Потому что только отвернешься — он уже опять не горит.

Аменда никогда ничего не сообщала сама. Она отвечала на заданный ей вопрос, и больше ни звука. Как-то раз, когда я не успел еще привыкнуть ко всем ее повадкам, я вызвал ее из кухни и спросил, знает ли она, который час. Она ответила: «Да, сэр» — и исчезла. Через полминуты я вышел и позвал ее снова.

— Что ж вы, Аменда, — сказал я укоризненно, — прошло уже десять минут, а вы мне еще не сказали, который час.

— Разве вы просили сказать? — любезно осведомилась она. — Тогда извините. Я думала, вы интересуетесь, знаю ли я сама, который час, — сейчас половина пятого.

Но вернемся к очагу. Этельберта спросила, пыталась ли Аменда разжигать его снова.

— Да, мэм, — отвечала девушка. — Я пыталась четыре раза. — И она с готовностью предложила: — Если хотите, мэм, я попробую еще.

Это была самая исполнительная прислуга из всех, когда-либо служивших у нас.

Этельберта заявила, что она сейчас пойдет и разожжет огонь сама, и велела Аменде стоять и смотреть, как она это делает. Меня это заинтересовало, и я тоже пошел с ними. Этельберта подоткнула платье и взялась за дело. Мы с Амендой стояли и наблюдали.

Через полчаса разгоряченная, измазанная и слегка раздраженная Этельберта сдала позиции. Очаг глядел на нас все тем же холодным, насмешливым взором, каким он встретил наше появление.

Тогда попытался я. Я честно сделал все, что мог. Я жаждал добиться успеха. Во-первых, я хотел завтракать. Во-вторых, я хотел иметь право сказать, что я разжег очаг по способу Мак-Шонесси. Мне казалось, что тот, кто сумеет это сделать, совершит подвиг, которым можно гордиться. Разжечь огонь даже обычным способом весьма нелегко, проделать же это, невзирая на такую помеху, как правила Мак-Шонесси, было бы достижением, о котором приятно вспомнить. В случае удачи я собирался ходить по всей округе и хвастать своим умением.

Но меня постигла неудача. Я поджег массу других предметов, в том числе половик и кота, которому всюду надо совать свой нос, но вещества внутри плиты оказались огнеупорными. Мы с Этельбертой уселись по обе стороны нашего унылого очага и, глядя друг на друга, думали о Мак-Шонесси, пока Аменда не разрядила нашего отчаяния одним из тех своих практических предложений, которые она время от времени нам преподносила, не забываясь, одобрим мы их или нет.

— Может, мне разжечь его по-старому, — сказала она, — хотя бы на сегодня?

— Разжигайте, Аменда, — сказала Этельберта, поднимаясь. И добавила: — Пожалуй, мы всегда будем разжигать его по-старому.

В другой раз Мак-Шонесси учил нас готовить кофе по-арабски. Аравия, должно быть, очень неопрятная страна, если там часто готовят кофе. Он перепачкал две кастрюли, три кувшина, одну скатерть, одну терку, один половик, три чашки и себя. Из этого получился кофе на двоих; сколько же всего понадобится, если будут гости, страшно даже подумать.

То, что кофе нам не понравился, Мак-Шонесси приписал нашему испорченному вкусу — результат долгой привычки к напитку более низкого качества. Он выпил обе чашки сам, после чего был вынужден отправиться домой в кебе.

Помню, была у него в те времена тетушка, таинственная старая леди, которая мирно доживала свой век где-то в тихом уголке и причиняла неисчислимый вред друзьям Мак-Шонесси. То, чего не знал он — те два или три вопроса, по которым он не был специалистом, — знала эта его тетушка. «Нет, — скажет он, бывало, с подкупающей прямо-той, — нет, это дело такое, что сам я ничего не могу посоветовать. Но, — непременно добавит он, — я сделаю вот что: я напишу своей тетушке и спрошу у нее!»

Дня через два он заходил к вам снова, на этот раз уже с тетушкиным советом; и, если вы были молоды и неопытны или просто глупы от рождения, вы следовали этому совету.

Однажды она прислала нам через Мак-Шонесси средство для истребления черных тараканов. Дом, который мы тогда занимали, был старый и очень живописный, но, как у многих живописных старых домов, преимущества у него были главным образом внешние. В его скрипучем острове было множество дыр, щелей и трещин. Лягушки, выйдя вечером на прогулку и повернув случайно не в ту сторону, вдруг с удивлением обнаруживали, что они прыгают посреди нашей столовой, что, видимо, было им так же неприятно, как и нам. Многочисленное сборище крыс и мышей, необычайных любителей акробатики, пользовалось нашим домом как гимнастическим залом, а кухня после десяти часов вечера превращалась в клуб черных тараканов. Они пробирались туда сквозь щели в полу и стенах и беззаботно резвились там до утра.

Аменда ничего не имела против крыс и мышей. Она говорила, что ей интересно наблюдать за их повадками. Но черных тараканов она почему-то не любила. И, узнав от Этельберты, что тетушка Мак-Шонесси дала нам от них верное средство, Аменда возликовала.

Мы закупили все необходимое, состряпали смесь и разбросали ее по кухне. Тараканы явились и принялись за еду. Она, видимо, пришлось им по вкусу. Они подобрали все до крошки и были явно раздосадованы, что больше ничего нет. Но они не думали умирать.

Обо всем этом было доложено Мак-Шонесси. Он улыбнулся зловещей улыбкой и тихо, но весьма многозначительно произнес: «Пусть едят!»

Оказывается, это был один из тех коварных ядов, которые действуют медленно. Этот яд не убивает сразу, он постепенно разрушает организм таракана. День ото дня он все сильнее будет чувствовать общее недомогание и упадок духа, но так и не сможет понять, что же это такое с ним творится; и вот наконец однажды утром мы придем в кухню и увидим, что он лежит там холодный и недвижимый.

Итак, мы продолжали готовить эту смесь и рассыпали ее по кухне каждый вечер, и черные тараканы со всего квартала сбегались к нам толпами. Каждую ночь они прибывали все в большем количестве. Они приводили с собой знакомых и родственников. Чужие тараканы — тараканы из других домов, не имеющие на нас абсолютно никаких прав, — прослышав об угощении, являлись к нам несметными полчищами и объедали наших тараканов. К концу недели во всей округе не оставалось ни одного таракана, способного двигаться, которого мы не заманили бы к себе на кухню.

Мак-Шонесси говорил, что это хорошо. Одним махом мы очистим всю окрестность. Целых десять дней тараканы усиленно поглощают этот яд, и теперь конец не за горами. Я был рад это слышать, ибо начинал уже находить столь безграничное гостеприимство обременительным. Яд стоил дорого, а тараканы оказались отменными едоками.

Мы зашли на кухню посмотреть, что у них там делается. Мак-Шонесси вид их показался подозрительным, и он заявил, что они начинают сдавать. Мне же казалось, что таких здоровых и бодрых тараканов я никогда не видел.

Один из них действительно умер. В тот самый вечер его застали на месте преступления, когда он пытался удрать с непомерно большой порцией яда. Трое или четверо его собратьев свирепо на него набросились и убили его.

Но это был, насколько мне известно, единственный таракан, для которого средство Мак-Шонесси оказалось смертельным. Что до остальных, они только жирели и лоснились. Некоторые так раздобрили, что едва ползали. В конце концов их несколько поубавилось, когда мы прибегли к какому-то обычному средству из керосиновой лавки.

Но с помощью яда Мак-Шонесси тараканов развелось у нас видимо-невидимо, и о полном их истреблении нечего было и думать.

Последнее время я что-то ничего не слышал об этой тетушке. Быть может, кто-нибудь из закадычных друзей Мак-Шонесси узнал наконец ее адрес, поехал и убил ее? Если это так, мне бы хотелось пожать ему руку.

Недавно я пытался излечить Мак-Шонесси от его пагубной страсти давать советы, пересказав ему одну весьма печальную историю, рассказанную мне в Америке неким джентльменом, с которым я ехал в поезде. На полпути из Буффало в Нью-Йорк мне вдруг пришло в голову, что ехать пароходом гораздо интереснее, и я решил в Олбени сойти с поезда и пересесть на пароход. Но я не знал расписания, а путеводаителя у меня с собой не было. Я огляделся, ища, кого бы расспросить. У соседнего окна сидел пожилой человек добродушного вида и читал книгу, обложка которой была мне знакома. Я решил, что это человек знающий, и подошел к нему.

— Извините, что я отрываю вас, — начал я, садясь напротив него, — не могли бы вы мне сообщить, как ходят пароходы между Олбени и Нью-Йорком?

— Пожалуйста, — отвечал он, глядя на меня с приветливой улыбкой. — У нас всего три пароходные линии. Есть линия Хеггарти, но по ней можно доехать только до Кэтскилла. Затем пароходы на Покипси, они ходят через день. А еще есть тут местное сообщение по каналу.

— Ясно, — сказал я. — Как бы вы мне посоветовали...

Он с криком вскочил на ноги и стоял, сверля меня кроважидным взглядом.

— Негодяй! — прошипел он с яростью. — Вот вы чего добивались! Я вам так сейчас всыплю, что вам придется просить совета у врача! — И он выхватил шестизарядный револьвер. Я чувствовал, что мое самолюбие задето не на шутку. И еще я чувствовал, что, если наша беседа продолжится, у меня будет задето не только самолюбие. Поэтому я без единого слова отошел от него и направился к другому концу вагона, где занял удобную позицию у самой двери, за спиной какой-то тучной леди.

Я все еще размышлял о случившемся, как вдруг, подняв голову, увидел, что мой почтенный знакомый пробирается ко мне. Я встал и взялся за ручку двери. Врасплох он меня не застанет. Но он улыбнулся успокаивающе и протянул руку.

— Я подумал, — сказал он, — что, возможно, я был сейчас несколько резковат. Мне бы хотелось, если позволите, объяснить вам, в чем дело, когда вы услышите мой рассказ, вы, конечно, поймете и простите меня.

В нем было нечто такое, что внушало доверие. В вагоне для курящих мы отыскивали свободный уголок. Я заказал «сухое виски», а он — какой-то странный напиток собственного изобретения. Мы закурили сигары, и он заговорил.

— Тридцать лет тому назад, — начал он, — я был молодым человеком, который очень верил в себя и желал добра другим. Я не воображал, что я гений. Я даже не считал себя исключительно выдающимся и талантливым. Но мне действительно казалось — и чем больше я размышлял о делах моих ближних, тем все более в этом убеждался, — что я наделен практическим здравым смыслом в совершенно необычайной степени. Сознывая это, я написал небольшую книгу, которую озаглавил «Как стать счастливым, богатым и мудрым», и издал ее на свои средства. Выгоды я не искал. Я только желал принести пользу.

Книга не вызвала той сенсации, которой я ожидал. Разошлось каких-нибудь двести или триста экземпляров, после чего продажа почти прекратилась.

Признаюсь, я был сначала разочарован. Но затем я рассудил, что, если люди не пользуются моими советами, это потеря скорее для них, чем для меня, и на том успокоился.

Однажды утром, примерно год спустя, когда я сидел у себя в кабинете, вошел слуга и доложил, что внизу ожидает какой-то человек, который очень хочет меня видеть.

Я сказал, чтобы его послали ко мне в кабинет, и вот он ко мне явился.

Это был человек простой, но с живым и открытым лицом, и держался он весьма почтительно. Я жестом пригласил его сесть. Он выбрал себе стул и присел на самый краешек.

— Вы уж, пожалуйста, извините, сэр, что я к вам так, без приглашения, — начал он, обдумывая каждое слово и вертя в руках шляпу. — Я ведь проехал миль двести, а то и больше, чтобы вас увидеть, сэр.

Я выразил по этому поводу свое удовольствие, и он продолжал:

— Мне сказали, сэр, что вы и есть тот самый джентльмен, который написал эту книжечку — «Как стать счастливым, богатым и мудрым».

Он неторопливо перечислил все три пункта, с любовью останавливаясь на каждом. Я признал, что это действительно мое произведение.

— Да, эта книга, сэр, просто замечательная, — продолжал он. — Сам-то я не особо привык мозгами ворочать — об этом и говорить нечего, — зато уж который человек с понятием, я его сразу вижу. Вот и теперь, прочитал я эту книжечку и говорю сам себе: «Знаешь что, Джосия Хэккит (так меня звать, сэр), если тебе чего невдомек, не ломай ты зря голову. Эта глупая голова, ей только дай волю — она заведет тебя невесть куда. Поезжай-ка ты лучше к тому джентльмену, который написал эту самую книгу, да спроси у него совета, как быть. Он человек добрый, это всякий скажет, и он тебе чего-нибудь посоветует. А с этим советом иди себе вперед на всех парах и не оглядывайся! Такой человек, он лучше тебя знает, чего тебе надо, да и не только тебе — он знает, чего надо каждому». Так я и сказал сам себе — и вот я тут.

Он остановился и вытер лоб полотняным зеленым платком. Я просил его продолжать.

Оказалось, что сей достойный молодой человек хочет жениться, но не знает на ком. Он держал на примете — так он выразил свою мысль — двух молодых женщин, и у него были основания верить, что они отвечают ему более чем обычной благосклонностью.

Но он никак не мог решить, которая из двух будет для него лучшей женой, — обе они превосходные и весьма достойные юные особы. Одна из них, Джулиана, единственная дочь отставного капитана дальнего плавания и, по словам Джосии, славная девчушка. О другой, Ханне, я узнал, что она немного постарше и подороднее. Это старшая дочь в большой семье. Отец у нее человек набожный, он торгует строевым лесом, и дела у него идут хорошо. Джосия спрашивал, на которой из них я советовал бы ему жениться.

Я был польщен. И не удивительно. Этот Джосия Хэкигит приехал издалека, чтобы услышать от меня мудрое слово. Он был готов, более того, он стремился вверить мне счастье всей своей жизни. В том, что он поступает разумно, я несколько не сомневался. Я всегда считал, что выбор жены требует такой хладнокровной и беспристрастной оценки, какой не в состоянии дать ни один влюбленный. Разумнейшему из людей я без колебаний предложил бы в подобном случае свой совет. Отказывать же в нем этому бедному простодушному малому было бы просто жестоко.

Он вручил мне фотографии обеих обсуждаемых особ. На обороте каждой я сделал кое-какие пометки, чтобы точнее определить, какая из девушек более достойна занять вакансию, о которой идет речь. Я обещал всесторонне обдумать эту проблему и написать ему дня через два.

Его благодарность была трогательна.

— Да вы не трудитесь писать письмо, сэр, — сказал он, — вы только черкните на клочке бумаги — «Джулиана» или «Ханна» — и вложите в конверт. Я пойму. На ней и женюсь. — Он стиснул мне руку и ушел.

Я очень много размышлял над выбором жены для Джосии. Я хотел, чтобы он был счастлив.

Джулиана, конечно, прелестная девушка. В уголках ее рта таится веселость, вызывающая в воображении звук серебристого смеха. Действуй я по первому побуждению, я бросил бы Джулиану в объятия Джосии.

Но, рассуждал я, для жены нужны более надежные качества, чем одна лишь красота да веселый нрав. Ханна не столь очаровательна, но, по всей видимости, энергична и благоразумна — качества, весьма необходимые для жены бедняка. Ее отец известен своим благочестием, дела у него идут хорошо, это, несомненно, человек бережливый. Он,

должно быть, исподволь внушал своей дочери правила экономии и добродетели, и со временем она может получить в наследство кругленькую сумму. Она самая старшая в большой семье. Конечно, ей часто приходится помогать матери. Она сумеет хорошо вести хозяйство и воспитывать детей.

С другой стороны, отец Джулианы — бывший капитан. Моряки, как известно, народ распущенный. Вероятно, и у себя дома он привык употреблять такие выражения и высказывать такие взгляды, которые не могли не оказать вредного влияния на формирование характера подрастающей девочки. Джулиана его единственное дитя. А единственный ребенок редко вырастает хорошим человеком. Ему слишком многое позволяется. Хорошенькая дочка отставного капитана наверняка избалована.

Мне надлежало помнить и о том, что Джосия, судя по всему, человек слабохарактерный. Ему нужна сильная рука. У Ханна же во взгляде есть нечто такое, что неминуемо наводит на мысль о сильной воле.

К концу второго дня я решился. На листке бумаги я написал: «Ханна», вложил листок в конверт и отправил по почте.

Через две недели я получил письмо от Джосии. Он благодарил меня за совет, но добавлял между прочим, что лучше бы я написал: «Джулиана».

Однако он уверен, что мне виднее, и к тому времени, как я получу это письмо, они с Ханной будут мужем и женой.

Это письмо меня встревожило. Я начал раздумывать, ту ли девушку я выбрал. Что, если Ханна совсем не такая, как я думаю? Как ужасно это будет для Джосии. Какие у меня факты, чтобы строить предположения? Откуда мне знать, что Ханна не ленивая девушка с дурным характером, вечный камень на шее у бедной труженицы матери и постоянное бельмо на глазу у младших братьев и сестер?

Откуда мне известно, что она хорошо воспитана? Быть может, ее отец — это закоренелый старый плут, как многие притворно благочестивые люди. Чему же в таком случае могла она у него научиться? Разве только лицемерию.

С другой стороны, как могу я знать, что веселое ребячество Джулианы не превратится в ласковую жизнерадостную женственность? Ее отец, вопреки моим сведениям о моряках, может оказаться достойным подражания образцом для

всех отставных капитанов. Возможно, у него имеется и небольшой капиталец, вложенный в какое-нибудь выгодное дело. И Джулиана его единственное дитя! Какое право я имел лишать Джосию любви такого прелестного юного создания?

Я взял ее фотографию с письменного стола. Мне показалось, что большие глаза глядят на меня с укором. Я видел, как сразу все изменилось в далеком маленьком домике Джулианы, когда весть о женитьбе Джосии упала тяжелым камнем в безмятежные воды ее жизни. Я видел ее на коленях перед креслом отца, видел, как седовласый загорелый старик нежно гладит эту золотистую головку, вздрагивающую у него на груди от беззвучных рыданий. Я просто не знал, куда деваться от угрызений совести.

Я отложил Джулиану и взял Ханну — мою избранницу. Мне показалось, что она смотрит на меня с торжествующей недоброй усмешкой. Мною начинало овладевать чувство какой-то неприязни к Ханне.

Я противился этому чувству изо всех сил. Я говорил себе, что это предубеждение. Но чем больше я с ним боролся, тем сильнее оно становилось. Я уже твердо знал, что со временем оно из неприязни перейдет в отвращение, из отвращения в ненависть. И это была женщина, которую я обдуманно избрал как спутницу жизни для Джосии!

Целый месяц я не знал покоя. Ни одного письма я не решался вскрыть, боясь, что оно от Джосии. При каждом стуке я вскакивал с места и озирался вокруг, ища, где бы спрятаться. Каждый раз, как мне в газетах попадался заголовок «Семейная трагедия», меня бросало в холодный пот. Я боялся прочесть, что Джосия и Ханна убили друг друга и, умирая, проклинали меня.

Но время шло, а Джосия не появлялся и не писал. Страхи мои понемногу утихали, и возвращалась уверенность в том, что интуиция меня не обманула. Быть может, я сделал доброе дело для Джосии и Ханны, и они благословляют меня. Три года прошли спокойно, и я уже начинал забывать, что есть на свете семья Хэккит.

И вот он явился снова. Однажды вечером я пришел домой и застал его у себя. Взглянув на него, я понял, что оправдались худшие из моих опасений. Я жестом пригласил его в кабинет. Он вошел и уселся на тот же самый стул, на кото-

ром сидел три года назад. Перемена в нем была разительна: он выглядел старым и измученным. Вся его поза говорила о безнадежной покорности судьбе. Несколько минут прошло в молчании; он теребил свою шляпу, как при первой нашей беседе, а я делал вид, что привожу в порядок письма и газеты у себя на столе. Наконец, чувствуя, что никакие слова не будут тягостнее этого молчания, я повернулся к нему.

— У вас, как видно, не все благополучно, Джосия? — спросил я.

— Да, сэр, — отвечал он спокойно. — Не сказать, что все в полном порядке. Эта ваша Ханна такая, что только держись!

В голосе у него не было и тени упрека. Он просто констатировал печальный факт.

— Но она хорошая жена в других отношениях, — настаивал я. — Конечно, у нее есть свои недостатки. Они есть у каждого из нас. Но она энергична. Ведь вы не станете отрицать, что она энергична!

Мне непременно нужно было найти в Ханне что-нибудь хорошее, но, кроме этого одного, я ничего не мог придумать.

— Да, это у нее есть, — согласился он. — Даже слишком, при нашей-то тесноте. Понимаете, сэр, — продолжал он, — она у меня с норовом, Ханна-то; да еще у ней мамаша — с этой тоже бывает трудно.

— Мамаша! — воскликнул я. — Она-то здесь при чем?

— Как же, сэр, — отвечал он, — она теперь живет с нами, с тех пор как дом у них остался без хозяина.

— Где же отец Ханны? Он что, умер?!

— Не совсем так, сэр, — отвечал он. — Он сбежал еще прошлый год с одной молодой учительницей из воскресной школы и вступил в секту мормонов. Все так и ахнули.

Я застонал.

— А его торговое дело, — спросил я, — торговля строевым лесом, кто теперь вместо него?

— А-а, вы об этом! — отвечал Джосия. — Ну, это пришлось продать, чтобы заплатить его долги хотя бы частично.

Я высказал предположение, что это было, конечно, ужасным ударом для такой большой семьи. Она, вероятно, распалась, и все разбрелись кто куда.

— Да нет, сэр, — отвечал он простодушно, — они не очень-то разбрелись. Они все живут с нами. Да это что, сэр, — продолжал он, видя, каким взглядом я смотрю на него. — Конечно, сэр, вы тут ни при чем. У вас, должно, и своих-то забот хватает. А я пришел вовсе не жаловаться. Это будет плохая благодарность за всю вашу доброту ко мне.

— Как живет Джулиана? — спросил я. У меня уже не было ни малейшей охоты спрашивать о его собственных делах.

Улыбка пробилась сквозь печаль, застывшую у него на лице.

— О, она! — произнес он более оживленным тоном, чем прежде. — Сразу легче на душе, как подумаешь о ней, как-то сразу легче. Она вышла за моего друга, за молодого Сэма Джессопа. Я нет-нет да и загляну к ним тайком от Ханны. Бог ты мой, в этом маленьком домике чувствуешь себя как в раю. Сэм, он то и дело надо мной подшучивает. «Ну, уж если кто и был настоящий простофиля, так это ты, Джосия» — это он мне, сэр, частенько говорит. Мы ведь с ним старые приятели, с Сэмом-то, вот он и рад подразнить меня малость. — Улыбка исчезла, и он прибавил, вздыхая: — Да, я часто думаю, сэр, вот было бы славно, если б вы тогда порешили насчет меня и Джулианы.

Я почувствовал, что нужно во что бы то ни стало вернуть его мысли в сторону Ханны. Я сказал:

— Вероятно, вы с женой все еще живете на старом месте?

— Да, — отвечал он, — жить-то живем, да что толку. В эдакой теснотище разве житье!

Он сказал, что не знает, как бы он ухитрился прожить, если бы не помощь отца Джулианы. Оказывается, поведение капитана во всем этом деле было скорее поведением ангела, чем какого-нибудь другого известного Джосии существа.

— Нельзя сказать, что он из таких умных людей, как вы, сэр, — объяснял он. — Это не такой человек, к которому пойдешь за советом, как, например, к вам, сэр; но все-таки он славный старик. Это как раз напоминает мне, сэр, — продолжал он, — для чего я сюда приехал. Я знаю, это очень дерзко с моей стороны просить вас, сэр, но...

Я прервал его.

— Джосия, — сказал я, — я признаю свою вину в том, что постигло вас. Вы просили у меня совета, и я вам его дал.

Кто из нас больший дурак, мы обсуждать не будем. Все дело в том, что я его действительно дал, а я не такой человек, чтобы уклоняться от ответственности. Чего бы вы ни просили, вы все получите, если это для меня в пределах возможного.

Он весь сиял от благодарности.

— Я знал, сэр, — говорил он, — я знал, что вы мне не откажете. Я и Ханне сказал. Я сказал — я пойду к этому джентльмену и скажу ему. Я пойду к нему и скажу, что мне очень нужен его совет.

— Его — что? — спросил я.

— Его совет, — повторил Джосия, очевидно удивленный моим тоном, — по одному маленькому вопросу, который я никак не могу решить.

Я думал, что он надо мной издевается, но я ошибался. Этот человек сидел передо мной и добивался от меня совета, как лучше распорядиться суммой в тысячу долларов, предложенных ему взаймы отцом Джулианы; что выгоднее купить на эти деньги — прачечную или бар? Одного ему было мало (я имею в виду совет), ему нужен был еще один, и он придумывал доводы, почему я не должен ему отказывать. Выбор жены, заявлял он, это совсем другое дело. Тогда ему, возможно, и не следовало просить у меня совета. Но теперь, когда речь идет о выборе торгового предприятия, по такому делу можно обратиться за советом к любому деловому человеку. Оказывается, он недавно перечитывал мою книгу «Как стать счастливым и т. д.», и если человек, написавший эти строки, не может сделать выбора между соответствующими достоинствами одной определенной прачечной и одного определенного бара, находящихся в одном и том же городе, — что ж, тогда ему остается сказать только одно, что знание и мудрость не имеют в этом мире никакого практического применения.

И действительно, это было очень просто — дать совет по такому вопросу. Конечно, о деле подобного рода я, человек опытный, мог составить более здравое суждение, нежели сей бедный тупоголовый агнец. Отказывать ему в помощи было бы бессердечно. Я обещал разобраться в этом деле и известить его о результатах.

Он вскочил и потряс мне руку. Он сказал, что даже не пытается меня благодарить, слова покажутся слишком бледными. Он смахнул слезу и ушел.

Я столько думал об одном этом тысячедолларовом деле, как будто собирался основать целый банк. Я не хотел, чтобы повторилась история с Ханной. Я прочел все газеты, которые оставил у меня Джосия, но этого мне было мало. Я отправился тайком в город Джосии и обследовал оба предприятия на месте. Я тайно, но тщательно наводил справки по всей округе. Я прикидывался простодушным малым с небольшими средствами и втирался в доверие к служанкам. Я опросил половину города под тем предлогом, что пишу очерки по истории торговли Новой Англии и хотел бы получить некоторые сведения о деятельности местных жителей, и в заключение неизменно спрашивал каждого, какой бар он чаще всего посещает и где ему стирают белье. Я прожил в этом городе две недели. Почти все свободное время я проводил в баре. На досуге я пачкал свое белье, чтобы его можно было отдать в прачечную.

В результате этого расследования я пришел к выводу, что эти два предприятия, с точки зрения коммерческой, ничем друг от друга не отличаются. Вопрос сводился к тому, которое из них больше подходит для семейства Хэккит.

Я пустился в размышления. Содержатель бара подвергается большому соблазну. Человек слабой воли, постоянно окруженный пьянчужками, рискует и сам пристраститься к вину. А Джосия исключительно безвольный человек. К тому же у него сварливая жена и с ними живут все ее родственники. Ясно, что предоставить Джосии свободный доступ к спиртным напиткам было бы безумием.

Что касается прачечной, она внушала мне мысли успокоительные. Работы там всегда столько, что ее с избытком хватит на всех родственников Ханны. Вот где их можно заставить зарабатывать себе на хлеб. Ханна могла бы расходовать свою энергию, глядя белье, а Джосия стоял бы рядом и вертел каток. Воображению моему рисовалась милая сердцу картина домашнего уюта. Я рекомендовал прачечную.

В следующий понедельник Джосия написал, что он купил прачечную. Во вторник я прочел в «Коммершел Интеллидженс», что одной из наиболее примечательных особен-

ностей настоящего времени является необычайный рост прибылей собственников отелей и баров, имеющий место по всей Новой Англии. В четверг в списках банкротов я насчитал не менее четырех фамилий владельцев прачечных, и газета добавляла в виде пояснения, что американское прачечное дело ввиду быстрого роста китайской конкуренции находится фактически при последнем издыхании. Я пошел и напился.

Жизнь стала для меня проклятием. Днем я думал о Джосии. Ночью я видел его во сне. Мало того, что я был причиной его семейных невзгод, теперь я лишил его еще и средств к существованию, сведя на нет щедрость доброго старого капитана. Я стал казаться самому себе сущим дьяволом, вечно преследующим этого простого, но достойного человека, чтобы причинять ему зло.

Шли годы; я ничего не слышал о Джосии, и бремя мое наконец свалилось с меня.

И вот, лет через пять, я увидел его снова.

Он подошел сзади, когда я открывал ключом дверь, и тронул меня за плечо дрожащей рукой. Была темная ночь, но газовый фонарь светил ему прямо в лицо. Я узнал это лицо, несмотря на багровые пятна и мутный взгляд. Я грубо схватил его за руку, втащил в дом и поволок вверх по лестнице к себе в кабинет.

— Садитесь, — прошипел я, — и выкладывайте сразу самое худшее.

Он начал было искать свой любимый стул. Я почувствовал, что, если в третий раз увижу его на этом самом стуле, я сделаю что-нибудь ужасное с ними обоими. Я вырвал из-под него стул, и он плюхнулся на пол, заливаясь слезами. Так, сидя на полу, он и начал рассказывать хриплым, прерывающимся от икоты голосом.

В прачечной дела шли все хуже и хуже. К городу подвели новую железнодорожную линию, отчего изменилась вся его топография. Деловая и жилая части города постепенно переместились к северу. Место, где стоял раньше бар, тот самый, от которого я отказался ради прачечной, это место стало теперь торговым центром города. Человек, купивший бар вместо Джосии, продал его и на этом разбогател. Южный же район (где находится прачечная) расположен, оказывается, на болоте и пребывает в весьма антисанитарном

состоянии. Осмотрительные домашние хозяйки, естественно, не желают отдавать свое белье в такое место.

Пришли и другие беды. Ребенок — любимец Джосии, единственный свет его жизни — упал в котел и сварился. Мамашу Ханны угораздило сунуться в паровой коток, она стала калекой, и за ней приходится ухаживать день и ночь.

Под гнетом стольких несчастий Джосия начал искать утешения в вине, и теперь он горький пьяница. Этого он и сам не может себе простить, и, рассказывая, он заливался слезами. Он заявил, что в таком веселом месте, как бар, он мог бы стать сильным и смелым; но в этом вечном запахе мокрого белья и мыльной пены было нечто такое, что лишало его мужества.

Я спросил, что говорит обо всем этом капитан. Он снова залился слезами и отвечал, что капитана больше нет. Это, прибавил он, как раз напоминает ему о цели его прихода. По завещанию великодушного старика он получил пять тысяч долларов. Он хочет, чтобы я ему посоветовал, куда их поместить.

Первым моим побуждением было убить его на месте. Теперь я жалею, что этого не сделал. Но тогда я кое-как сдержался и предложил ему на выбор любой из двух возможных вариантов — либо быть выброшенным из окна, либо без лишних слов убираться через дверь.

Он отвечал, что вполне готов отправиться через окно, если сначала я скажу, поместить ли ему деньги в Компанию по добыче селитры на Огненной Земле или в Объединенный Тихоокеанский банк. У него уже нет никакого интереса к жизни. Единственное, что его интересует, — знать, что эта небольшая сумма лежит в надежном месте и после его смерти принесет пользу его детям.

Он умолял меня сказать, какого я мнения о селитре. Я отвечал, что не желаю говорить на эту тему. Из этого он заключил, что я не очень-то высокого мнения о селитре, и заявил, что пойдет и вложит деньги в Объединенный Тихоокеанский банк. Я сказал, чтобы он непременно это сделал, если ему так хочется. Он замолчал, видимо обдумывая мои слова. Затем хитро улыбнулся и сказал, что, кажется, он меня понимает. Это очень любезно с моей стороны. Он вложит все до последнего доллара в Компанию по добыче селитры на Огненной Земле.

Он с трудом поднялся и хотел идти. Я его удержал. Я знал так же верно, как то, что утром взойдет солнце, что банк, в который я ему посоветую, или он подумает, что я советую (это одно и то же), вложить деньги, — этот банк рано или поздно лопнет. В Компании по добыче селитры на Огненной Земле хранились все сбережения моей бабушки. Не мог же я допустить, чтобы исчезли капиталы у моей единственной и уже столь престарелой родственницы. Что касается денег Джосии, их можно поместить куда угодно. Он все равно их потеряет. Я посоветовал ему купить акции Объединенного Тихоокеанского банка. Он так и сделал.

Объединенный Тихоокеанский банк держался восемнадцать месяцев. Потом он заколебался. Весь финансовый мир недоумевал. Это был один из самых надежных банков в стране. Люди спрашивали, отчего бы это могло быть. Я-то хорошо знал отчего, но я никому не говорил.

Банк отчаянно сопротивлялся, но судьба его была predetermined. Прошло еще девять месяцев — и он лопнул.

Едва ли нужно говорить, что селитра все это время шла в гору с невероятной быстротой. Бабушка умерла миллионершей и все деньги завещала благотворительным учреждениям. Знай она, что я спас ее от разорения, она, возможно, проявила бы больше признательности.

Через несколько дней после краха банка Джосия явился ко мне. На этот раз он привел все свое семейство. Их было шестнадцать человек.

Что мне оставалось? Шаг за шагом я довел этих людей до нищеты. Я пустил по ветру их счастье и надежды на будущее. Самое меньшее, что я мог для них сделать, — это позаботиться о том, чтобы они по крайней мере не терпели нужды в самом необходимом.

Это было семнадцать лет назад. Я все еще забочусь о том, чтобы они не нуждались в самом необходимом; и совесть моя успокаивается, когда я вижу, что они, кажется, довольны своей судьбой. Их теперь двадцать два человека, и к весне мы ждем еще одного.

— Вот моя история, — сказал он. — Теперь вы, быть может, поймете мое внезапное волнение, когда спросили у меня совета. Я вообще теперь не даю советов ни по каким вопросам.

Я рассказал эту историю Мак-Шонесси. Он согласился, что она весьма поучительна, и сказал, что постарается ее запомнить. Он сказал, что постарается ее запомнить, чтобы рассказать кое-кому из своих приятелей, для которых она послужит хорошим уроком.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда мы собрались первый раз, нам, говоря по совести, не удалось как следует поработать над романом. Все из-за Брауна. Ему непременно понадобилось рассказать о собаке. Это был старый-престарый рассказ о том, как некий пес каждое утро являлся в булочную, держа в зубах монету в один пенс, взамен которой он получал пенсовую сдобную булочку. Однажды лавочник решил надуть бедного пса, рассчитывая, что он все равно ничего не поймет, и подсунул ему булочку в полпенса. Пес пошел и привел полицейского. У этого анекдота уже седая борода, но Браун услышал его в тот день впервые, и долго не мог успокоиться. Я часто удивляюсь, где это Браун был последние сто лет. Если вы встречаете его на улице, он хватает вас за рукав и кричит: «Я знаю такую историю! Это что-то необыкновенное!» — и начинает вам рассказывать, захлебываясь от восторга и смакуя подробности, об одной из наиболее известных проделок старика Ноя или другой подобный анекдот, который, должно быть, еще Ромул рассказывал Рему. Скоро кто-нибудь поведаст ему историю Адама и Евы, и он вообразит, что напал на новый сюжет, который можно использовать для романа. Эти предания седой старины он преподносит слушателям как случаи из своей жизни или — на худой конец — из жизни своего троюродного брата. Есть такие необычайные, волнующие происшествия, которые непременно приключаются с каждым из ваших знакомых, а если кто из них и не был главным действующим лицом, то уж наверняка был свидетелем. Мне еще не приходилось встречать человека, который не видел бы собственными глазами, как некий джентльмен свалился с империаля омнибуса и угодил прямо в тележку мусорщика. Вероятно, чуть ли не каждый из жителей Лондона сваливался в свое время с омнибуса в тележку мусорщика, и каждого выгребали из мусора лопа-

той. Есть еще сказка об одной леди, муж которой заболел внезапно ночью в отеле. Жена стремглав бросается вниз по лестнице, влетает в кухню, делает крепкий горчичник и мчится с ним наверх. Впопыхах она врывается в чужую комнату и, откинув одеяло, нежно прикладывает горчичник к груди чужого мужа. Мне так часто об этом рассказывали, что теперь, когда я ложусь спать в отеле, мне как-то не по себе. Каждый, от кого я слышал эту историю, спал, конечно, в соседней комнате и проснулся, когда бедняга взвыл от прикосновения горчичника. Таким-то образом он (рассказчик) и узнал об этом происшествии.

Браун пытался нас уверить, что доисторическое животное, о котором он нам рассказал, принадлежало его шурина, и очень обиделся, когда Джефсон проворчал *sotto voce*¹, что Браун — это уже двадцать восьмой человек, заявляющий, что собака принадлежала его шурина, не говоря о тех ста семнадцати, каждый из которых был сам хозяином этой собаки.

Затем мы пытались приступить к работе, но Браун уже выбил нас из колеи на целый вечер. Надо быть зловредным человеком, чтобы взяться рассказывать о собаках в присутствии тех, кто не обладает сверхчеловеческой выдержкой. Стоит лишь одному припомнить какой-нибудь интересный случай — и уже никто не устоит перед соблазном рассказать нечто еще более занимательное.

Я слышал одну историю, за достоверность которой не ручаюсь, мне рассказывал ее судья. К одному умирающему пришел пастор. Этот благочестивый и добрый человек, желая как-нибудь подбодрить несчастного, рассказал ему анекдот о собаке. Едва он кончил, умирающий сел в постели и прохрипел: «Это что! Я знаю историю похлеще. Был у меня когда-то пес, большущий, с коричневой шерстью, такой поджарый...»

У него не хватило сил продолжать. Он упал на подушки, и доктор, подойдя к нему, увидел, что через несколько минут все будет кончено.

Добрый старый пастор поднялся и пожал его безжизненно повисшую руку.

¹ Вполголоса (*итал.*).

— Мы еще встретимся, — ласково проговорил он. Большой глянул на него с надеждой и благодарностью.

— Вот хорошо, — чуть слышно пробормотал он. — Не забудьте мне напомнить про этого пса. — И он тихо скончался, а на губах у него так и осталась светлая улыбка.

Браун, который уже рассказал о собаке и сидел вполне довольный собой, заявил, что пора подумать о героине романа, но нам было не до этого — мы думали только о собаках, перебирая в памяти все когда-либо слышанное и прикидывая, которую из этих достоверных историй можно рассказать, не рискуя быть поднятым на смех.

Особенно не терпелось Мак-Шонесси, он сосредоточенно хмурился и беспокойно ерзал на стуле. Браун в заключение своей пространной речи, которую никто не слушал, произнес не без самодовольства:

— Чего же вам еще? Сюжет совершенно оригинальный, и герои тоже.

Тогда Мак-Шонесси не выдержал:

— Тут заговорили о сюжетах, и мне вспомнилась одна история. — Он придвинулся вместе со стулом поближе к столу. — Я вам не рассказывал, какая у нас была собака в Норвуде?

— Это не про бульдога? — тревожно осведомился Джефсон.

— Да, это был бульдог, — подтвердил Мак-Шонесси, — но, по-моему, я о нем еще ни разу не рассказывал.

Мы знали по опыту, что возражать бесполезно, и дали ему полную волю.

— Последнее время, — начал он, — когда мы жили в Норвуде, у нас в округе участились кражи со взломом, и папаша решил, что пора наконец завести собаку. Он слышал, что лучший сторож — это бульдог, и выбрал из представителей данной породы самого свирепого и кровожадного с виду пса.

Увидя такую образину, мать встревожилась.

— Неужели ты позволишь этому зверю разгуливать по всему дому? — воскликнула она. — Он кого-нибудь загрызет. Ты только посмотри на него!

— Вот я и хочу, чтоб он кого-нибудь загрыз, — отвечал отец, — пускай расправляется с ворами.

— Ну зачем ты так говоришь, Томас, — возражала мать, — это совсем на тебя не похоже. Каждый имеет право

охранять свою собственность, но никто не имеет права отнимать жизнь у ближнего своего.

— Если ближний желает быть в добром здравии, пускай не лезет к нам в окно, — вспыхнул отец. — Этот пес будет сидеть в буфетной, и если вор сунется на кухню — пусть пеняет на себя.

Чуть ли не месяц старики препирались из-за этой собаки. Отец говорил, что у матери слишком чувствительное сердце, а мать говорила, что отец слишком мстительный человек. Бульдог же день ото дня ходил все более мрачный.

Однажды ночью мать будит отца:

— Томас, там внизу вор, я уверена. Я хорошо слышала, как открылась кухонная дверь.

— Значит, пес уже прикончил его, — бормочет отец. Он спал и ничего не слышал.

— Томас, — сурово говорит мать, — ты думаешь, я могу тут спокойно лежать, когда моего ближнего убивает свирепый зверь?! Если ты не пойдешь и не спасешь этого человека, я пойду сама.

— Вот наказание! — ворчит отец, с трудом отрывая голову от подушки. — Вечно ей мерещатся какие-то шорохи. Вы, женщины, для того, видно, и ложитесь в постель, чтобы слушать, не крадется ли вор. — Однако для ее спокойствия он натягивает брюки и носки и спускается в кухню. Тут он убеждается, что на этот раз мать была права: в доме действительно вор, окно кладовой растворено, в кухне свет. Отец подкрадывается к приотворенной двери и заглядывает в кухню. Там за столом сидит вор и уплетает холодный ростбиф, закусывая огурчиками, а около него, заглядывая ему в лицо с преданной улыбкой, от которой волосы встают дыбом, сидит этот четвероногий идиот и виляет хвостом.

Отец был так огорошен, что, забыв всякую осторожность, громко заговорил:

— Ах ты, чтоб тебя... — И он употребил выражение, которое, друзья мои, я не решаюсь произносить в вашем обществе.

Грабитель вскочил, бросился к окну и исчез, а пес был явно недоволен отцом за то, что он спугнул вора.

Утром мы отвели собаку к тому дрессировщику, у которого ее купили.

— Как вы думаете, для чего мне нужна была эта собака? — спросил отец, стараясь говорить спокойно.

— Вы сказали, — отвечал дрессировщик, — что вам нужен хороший сторож для дома.

— Вот именно, — подтвердил отец. — Мне тоже кажется, что прихлебателя воров я у вас не просил. Помнится, я вообще не говорил, что мне нужна собака, которая приветствует вора, когда он лезет в окно, и сидит с ним рядом, пока он ужинает, чтобы ему не было скучно. — И отец подробно изложил события прошедшей ночи.

Дрессировщик согласился, что у отца действительно есть повод для недовольства.

— Я знаю, в чем тут дело, сэр, — сказал он. — С вашей собачкой занимался мой парень, Джим, и он, постреленок, видно, учил ее ловить крыс, а не воров. Вы ее оставьте у меня на недельку, сэр, я это дело исправлю.

Через неделю он привел бульдога обратно.

— Теперь уж он не станет лизать вору пятки, — заявил дрессировщик. — Конечно, это не такой, как иногда, знаете, бывает, особенно умственный пес, но все-таки я немножко вправил ему мозги.

Отец пожелал проверить это на практике, и за шиллинг мы наняли человека, который забрался к нам в кухню через окно, а дрессировщик в это время держал бульдога на цепи. Собака не шелохнулась, пока человек не вышел на середину кухни. Тут она рванулась вперед — и, не будь цепь так крепка, парню бы дорого достался этот шиллинг.

Отец мог теперь спать спокойно, зато тревога матери за сохранность местных грабителей, соответственно, возросла.

Месяц за месяцем проходили без всяких событий, и вдруг наш дом приглянулся еще одному вору. На этот раз никто не сомневался, что собака честно зарабатывает себе на пропитание. Из кухни доносились крики и топот. Там что-то с грохотом падало, сотрясая весь дом.

Отец схватил револьвер и помчался вниз, я за ним. В кухне творилось что-то невообразимое. Столы и стулья были опрокинуты, а на полу лежал человек и, хрипя, еле слышно зывал о помощи. Над ним стоял бульдог и держал его зубами за горло.

Отец приставил револьвер к уху распростертого на полу человека, а я с невероятным трудом оттащил от него на-

шего избавителя и привязал к водопроводной трубе. Потом зажег свет.

Тогда мы увидели, что на полу лежит полицейский.

— Боже мой! — воскликнул отец, роняя револьвер. — Как вы сюда попали?

— Меня еще спрашивают, как я сюда попал! — произнес полицейский уже сидя. В голосе его звучало безмерное и вполне понятное негодование. — Я-то попал сюда, как положено, в порядке несения службы — вот как! Вижу, в окно лезет вор, я, конечно, за ним.

— Ну и как, вы его схватили? — спросил отец.

— Что?! — чуть не взвизгнул полицейский. — Как же я мог его схватить, когда этот проклятый пес повалил меня и держит за горло, а вор закуривает трубку и преспокойно уходит через дверь.

Утром бульдога решили продать.

Мать уже успела к нему привязаться, потому что он позволял малышу тянуть себя за хвост, и ей не хотелось, чтобы его продавали. Она говорила, что песик не виноват. Это просто недоразумение. Почти одновременно в дом врываются два человека. Не мог же он броситься на обоих сразу. Хорошо еще, что он успел схватить одного. Правда, он выбрал не вора, а полицейского — что, конечно, неприятно, — но это может случиться с каждой собакой.

Отец, однако, был уже настроен против бедного животного и на той же неделе поместил в «Фильд» объявление, в котором он, обращаясь к ворам и взломщикам, говорил, что ежели какой-нибудь предприимчивый представитель этого сословия желает беспрепятственно проникать в чужие дома, пусть купит нашего бульдога.

После Мак-Шонесси наступила очередь Джефсона, и он рассказал трогательную историю об одной обездоленной дворняжке, которая однажды, переходя Стрэнд, попала под омнибус и сломала ногу. Студент-медик, проходя мимо, подобрал ее и отнес в больницу Черинг-Кросс. Там ей вправили кость и не отпускали ее до тех пор, пока к ней не вернулось прежнее здоровье.

Бедняжка умела ценить заботу и внимание, в больнице еще не бывало такого пациента. Все очень сожалели, когда ее выписали.

Однажды утром, неделю или две спустя, врач, живущий при больнице, увидел из окна эту собаку. Когда она подошла поближе, он заметил у нее в зубах медную монету. Как раз в это время у края тротуара продавали с тележки конину, и собака остановилась было в нерешительности.

Однако более благородное побуждение восторжествовало: подойдя к больничной ограде и встав на задние лапы, она опустила монету в кружку для пожертвований.

На Мак-Шонесси эта история произвела большое впечатление. Он был просто подавлен душевным величием дворняжки. Это, говорил он, бедный изгнанник, бездомный бродяга, у которого, быть может, за всю его жизнь не было и пенни за душой, — и кто знает, когда ему опять улыбнется счастье. По мнению Мак-Шонесси, этот собачий пенни — дар более щедрый, нежели крупный чек богача.

Теперь все три моих сотрудника горели желанием приступить к работе над романом, но это уже было не по-товарищески. Я-то ведь еще ничего не рассказал!

Много лет назад я знавал одного терьера, черного, с рыжими подпалинами. Он проживал в том же доме, что и я; этот пес никому не принадлежал. Он уволил своего хозяина (если когда-либо имел такового, что весьма сомнительно, учитывая его крайне независимый характер) и теперь распоряжался собой по своему усмотрению. Спал он у нас в холле, а ел со всеми по очереди. Стоило кому-нибудь из жильцов сесть за стол — наш пес уже тут как тут.

В пять часов утра он успевал перекусить вместе с юным Холлисом, подручным механика, которому приходилось вставать в половине пятого и наспех готовить себе кофе, чтобы к шести поспеть на завод. В восемь тридцать ему перепала уже более солидная порция за завтраком у мистера Блэра, на втором этаже; при случае он не прочь был отведать жареных почек в компании с Джеком Гэдбатом, который вставал поздно и завтракал в одиннадцать.

Затем наш пес куда-то исчезал и появлялся только к пяти часам, когда я обычно ел отбивную котлету и пил чай. Где он бывал и что делал до пяти, никто не знал.

Гэдбат клялся, что он два раза встречал нашего пса на Трэднидл-стрит и видел собственными глазами, как пес выходил из конторы биржевого маклера.

На первый взгляд это казалось невероятным, но, поразмыслив, мы решили, что какая-то доля правдоподобия в этом есть, ибо у нашего пса была необычайная страсть приобретать и копить медные монеты.

Жажда богатства совершенно его преображала. Этот пес был уже в летах, с большим чувством собственного достоинства, но стоило показать ему пенни — и он тут же бросался ловить себя за хвост и вертелся до тех пор, пока уже сам не мог толком уразуметь, где у него хвост, а где голова.

Он научился проделывать различные трюки и по вечерам давал нам представления, переходя из комнаты в комнату, а закончив свою программу, станет, бывало, перед нами на задние лапы и служит. Жильцы наши потакали ему во всем. В год он, должно быть, зарабатывал по несколько фунтов стерлингов.

Однажды я видел, как он стоял в толпе зевак и глядел на ученого пуделя, который у самых наших дверей выступал перед публикой под шарманку. Пудель сперва стоял на голове, потом прошелся на передних лапах, держа задние высоко над головой. Зрители хохотали от души, и, когда пудель, окончив представление, пошел по кругу с деревянной миской в зубах, люди охотно бросали ему монеты.

Наш пес вернулся домой и немедленно приступил к занятиям. Через три дня он уже мог не хуже пуделя стоять на голове и ходить на передних лапах и, дав первое представление, заработал шесть пенсов. Это, должно быть, ужасно тяжело — стоять на голове в таком преклонном возрасте и прыгать, как щенок, когда кости ноют от ревматизма. Но ради денег он шел на все. Я уверен, что за восемь пенсов он не задумываясь продал бы душу дьяволу.

Этот пес хорошо разбирался в монетах. Если вы держали в одной руке пенни, а в другой — монету в три пенса и протягивали ему обе монеты на выбор, он непременно хватал трехпенсовую монету, а потом чуть не плакал с досады, что ему не досталось также и пенни. Вы могли безбоязненно оставить его в комнате, где лежит бараний окорок, но если вы забыли в этой комнате свой кошелек — можете его не искать.

Иногда — правда, не особенно часто — он тратил немного денег. Он обожал бисквитные пирожные и время от времени после нескольких удачных выступлений разрешал

себе полакомиться пирожным, а то и двумя. Но платить за них он терпеть не мог, и почти всегда дело кончалось тем, что он удирал с монетой в зубах и с пирожным в желудке. План его действий был прост. Он заходит в лавку, держа монету на виду и глядя в глаза хозяину невинным и кротким взглядом. Подойдя вплотную к прилавку с пирожными и не сводя с них умильного взора, он начинает жалобно скулить, и кондитер, думая, что перед ним честный пес, берет одно из пирожных и бросает ему.

Хватая пирожное, пес неизбежно роняет пенни, и вот тут-то между псом и хозяином лавки начинается борьба за обладание монетой. Хозяин хочет подобрать ее с пола. Пес наступает на нее лапой и угрожающе рычит. Если он успевает покончить с пирожным, пока лавочник не позвал на помощь, он хватается монету и улепетывает. Сколько раз он, бывало, еле приползает домой, объевшись пирожными в разных кондитерских и все еще держа в зубах тот самый пенни, с которым начал свой обход.

Вскоре об этих бесчестных проделках узнали все жители квартала, и почти никто из местных лавочников больше не желал иметь с ним дела. Только самые сильные и проворные еще отваживались его обслуживать.

Тогда он несколько расширил свое поле деятельности, забегая в районы более отдаленные, куда еще не дошла его дурная слава. И выбирал он такие лавки, где торговали пуливые женщины или старые ревматики.

Говорят, деньги — корень зла. У этого пса они отняли последние остатки чести.

В конце концов деньги отняли у него жизнь. Вот как это случилось. Однажды вечером он выступал в комнате Гэдбата, где мы сидели и курили, беседуя, и юный Холлис в припадке великодушия бросил ему монету, думая, что это шесть пенсов. Пес схватил ее и юркнул под диван. Мы удивленно переглянулись, не зная, что и подумать. Вдруг Холлиса осенило — он полез в карман, достал кошелек и начал считать деньги.

— Черт подери! — воскликнул он. — Я дал этому прохвосту целых полсоверена! Эй, Крошка!

Но Крошка и не думал вылезать — он, пятясь, отступал под диваном все дальше и дальше. Тогда, видя, что никаки-

ми уговорами его оттуда не вытащишь, мы решили вытащить его за шиворот.

Тащили мы его довольно долго — он упирался, злобно рыча и крепко зажав в зубах монету Холлиса. Сначала мы вступили с ним в мирные переговоры, предложив ему взамен шестипенсовую монету. Он воспринял это как личное оскорбление, считая, видимо, что предложить ему подобный обмен — это все равно что обозвать его дураком. Тогда мы пообещали ему шиллинг — он и ухом не повел, затем полкроны — но на его физиономии не отразилось ничего, кроме скуки.

— Кажется, Холлис, придется тебе распрощаться с этим полсовершеном, — сказал, посмеиваясь, Гэдбат.

Нам всем, кроме Холлиса, было очень весело. Его же это приключение, видимо, ничуть не забавляло, и, забрав собаку у Гэдбата, он пытался вырвать монету силой.

Крошка, до конца верный своему принципу никогда добровольно не расставаться с деньгами, держался, как скала. Чувствуя, однако, что его добыча медленно, но верно от него ускользает, он сделал последнее отчаянное усилие — и проглотил монету. Она застряла у него в горле, и он стал задыхаться.

Тут мы не на шутку встревожились за нашего пса. Это был забавный малый, и мы вовсе не желали ему зла. Холлис бросился к себе в комнату и вернулся с длинными щипцами, и мы крепко держали беднягу, пока Холлис старался вытащить у него из горла злополучную монету.

Но бедный Крошка не понял наших намерений. Он был уверен, что мы только и думаем, как бы украсть у него вечернюю выручку, и яростно сопротивлялся. От этого монета еще крепче застряла у него в горле, и, несмотря на все наши усилия, он умер — еще одна жертва ненасытной золотой лихорадки.

Однажды мне приснились сокровища. Это был очень странный сон, и я долго не мог его забыть. Мне снилось, что я и какой-то мой друг — друг очень близкий — живем вместе в незнакомом мне старом доме. Кажется, в этом доме нет никого, кроме нас двоих. Как-то раз, бродя по длинным извилистым коридорам, я обнаруживаю потайную дверь. Я открываю эту дверь и вхожу в комнату. Там стоят сундуки, окованные железом. Я с трудом приподымаю одну

за другой тяжелые крышки и вижу, что все сундуки доверху полны золота.

Тогда я тихо выскальзываю из комнаты, закрываю потайную дверь, снова задергиваю перед ней выцветшую портьеру и крадучись иду обратно по коридору, пугливо озираясь в полумраке.

Друг, которого я любил, подходит ко мне, и мы бродим вместе, взявшись за руки. Но я его ненавижу.

Целый день я не отхожу от него ни на шаг или украдкой следую за ним по пятам, боясь, как бы он не обнаружил тайника. Ночью я лежу без сна, следя за каждым его движением.

Но однажды я уснул, а проснулся — его нет. Я быстро избегаю наверх по узкой лестнице, бегу по коридору. Вижу, портьера отдернута, потайная дверь приоткрыта, и там, в комнате, друг, которого я любил, стоит на коленях перед раскрытым сундуком — и золото слепит мне глаза.

Он стоит на коленях ко мне спиной, и я шаг за шагом подкрадываюсь к нему. У меня в руке нож с крепким изогнутым лезвием. Вот я уже совсем близко, и, замахнувшись, я вонзаю нож ему в спину.

Падая навзничь, он толкает дверь — и она с лязгом хлопывается. Я хочу ее открыть — и не могу. Я бью кулаками по этой окованной железом двери и кричу изо всех сил, а мертвец глядит на меня и скалит зубы. Из-под двери пробивается в комнату свет — и угасает, снова появляется — и снова гаснет, а я, безумствуя от голода, грызу дубовые крышки сундуков.

Тут я просыпаюсь и чувствую, что я и в самом деле голоден, и вспоминаю, что я вчера не обедал, потому что у меня болела голова. Накинув халат, я отправляюсь в кухню на поиски съестного.

Говорят, что сновидение — это комплекс мыслей, мгновенно возникающих под влиянием того внешнего обстоятельства, от которого мы просыпаемся. Как многие другие научные гипотезы, эта тоже иногда соответствует истине. Я часто вижу один и тот же сон почти без всяких изменений. Снова и снова мне снится, что меня вдруг приглашают в театр «Лайсиум» играть одну из главных ролей в какой-то пьесе.

Каждый раз мне приходится подводить бедного мистера Ирвинга¹; это, конечно, нехорошо, но он сам виноват. Никто его не просил меня уговаривать и торопить. Сам-то я предпочел бы остаться в постели, я так ему и сказал. Но он требует, чтобы я немедленно одевался и ехал в театр. Я ему объясняю, что я совершенно не умею играть на сцене. Он говорит, что это неважно, об этом нечего беспокоиться. Я что-то возражаю, но мистер Ирвинг просит меня приехать в театр хотя бы ради него, и, чтобы не обидеть его отказом и выпроводить из спальни, я соглашаюсь, хотя и против воли. На сцене я выступаю всегда в одном и том же костюме: в своей ночной рубашке (хотя генерала Банко я играл в пижаме), и еще не было случая, чтобы я помнил хоть одно слово своей роли. Как мне удастся доиграть до конца, я и сам не знаю. Потом появляется Ирвинг и поздравляет меня, но мне не совсем ясно, за что он меня хвалит — за талантливую игру или за то, что я успел улизнуть со сцены, не дожидаясь, пока обломок кирпича, пущенный с галерки, попадет мне в голову.

Когда бы я ни проснулся после этого сна, одеяло у меня на полу, а сам я дрожу от холода. Именно от холода мне и снится, что я разгуливаю по сцене «Лайсиума» в одной рубашке. Но почему я должен появляться в таком виде непременно на сцене, это мне непонятно.

Есть еще один сон, который я, кажется, видел раза два или три, а может, мне только приснилось, что он мне уже когда-то снился, так тоже иногда бывает. В этом сне я иду по очень широкой и очень длинной улице лондонского Ист-Энда. Такой странной улицы я там никогда не видел. Омнибусы и трамваи разъезжают по ней, вся она запружена ларьками и ручными тележками, и всюду люди в засаленных фуражках стоят и зазывают покупателей. Но по обе стороны улицы тянется тропический лес. Здесь перемешаны достопримечательности Кью и Уайтчепела².

Кто-то идет со мною рядом, но кто — я не вижу; мы пробираемся лесом, путаясь ногами в переплетшихся лозах ди-

¹ Ирвинг Генри (1838—1905) — английский режиссер и актер.

² Кью — Лондонский ботанический сад; Уайтчепел — район Лондона.

кого винограда, а между стволами исполинских деревьев то и дело мелькает многолюдная улица.

В самом конце она круто сворачивает в сторону, и, когда я подхожу к этому повороту, мне вдруг становится страшно, не знаю почему. Здесь, в узком тупике, стоит дом, в котором я жил еще ребенком, а теперь там кто-то ждет меня и хочет мне что-то сказать.

Я бросаюсь бежать от этого дома. Идет блэкуоллский омнибус, я бегу ему наперерез, хочу остановить лошадей — и вдруг вижу, что это уже не лошади, а лошадиные скелеты, и они галопом уносятся от меня прочь. Ноги у меня будто налиты свинцом, а какое-то существо рядом со мной, которого я не вижу, хватается меня за руку и тащит обратно к дому.

Оно заставляет меня войти в дом, дверь за нами захлопывается — и гул прокатывается по комнатам. Я узнаю эти комнаты, когда-то, давным-давно, я здесь смеялся и плакал. Ничто не изменилось. Стулья сиротливо стоят на своих местах. Вязанье матери валяется на коврике перед камином, куда лет тридцать тому назад затащил его однажды котенок.

Я взбираюсь на верхний этаж, где была моя детская. В углу стоит моя кроватка, по полу разбросаны кубики (я никогда не клал на место свои игрушки). В комнату входит какой-то старик, сгорбленный, весь в морщинах, в поднятой руке он держит лампу. Я вглядываюсь ему в лицо и вижу, что это я сам. Входит кто-то другой, и этот другой — тоже я. Они идут один за другим — и комната наполняется все новыми и новыми лицами, а сколько их еще на лестнице! Они заполнили весь этот заброшенный дом. Одни лица старые, другие молодые, есть среди них приятные, они улыбаются мне, но есть и противные, их много, и они злобно на меня косятся. И каждое из этих лиц — мое собственное лицо, но ни одно из них не похоже на другое. Я не знаю, почему мне так страшно видеть самого себя, но я в ужасе убегаю из этого дома, и все эти лица бросаются за мной в погоню. Я бегу быстрее и быстрее, но я знаю, что мне все равно от них не убежать.

Обычно каждый из нас — герой своих сновидений, но иногда мне снятся такие сны, в которых я совсем не участвую, только слежу за событиями как сторонний наблюдатель, бессильный что-либо изменить. Один такой сон осо-

бенно врезался мне в память, и я даже подумывал, не сделать ли из него рассказ. Но нет, пожалуй, тема слишком уж тягостная.

Мне снится толпа людей, и в этой толпе среди многих лиц я вижу лицо женщины. Недоброе лицо, но удивительно красивое. Озаренное мерцающим светом уличных фонарей, оно поражает своей зловещей красотой. Свет гаснет.

Опять я вижу это лицо где-то совсем в другом месте, и оно еще прекраснее, чем прежде, потому что теперь в глазах светится доброта. В них глядят другие глаза, ясные и чистые. Лицо мужчины склоняется к лицу женщины ближе и ближе, и, когда губы касаются губ, лицо женщины вспыхивает румянцем. Снова я вижу эти два лица, не знаю где и не знаю, сколько времени прошло. Мужчина уже немного старше, но лицо у него все еще молодое и прекрасное, и, когда женщина глядит ему в глаза, ее лицо озаряется каким-то внутренним светом, и кажется, что это лицо ангела. Но порой женщина остается одна, и тогда снова пробивается наружу ее недобрая усмешка.

Теперь я начинаю видеть яснее. Я вижу комнату, в которой они живут. Она очень бедно обставлена. В одном углу старенькое фортепьяно, около него стол, на котором стоит чернильница и разбросаны бумаги. Но за столом никого нет. Женщина сидит у раскрытого окна.

Снизу доносится шум большого города. Слабые отблески огней проникают в темную комнату. Женщина вдыхает запах улицы.

Она то и дело оглядывается на дверь и прислушивается, потом опять поворачивается к окну, и я замечаю, что, как только она взглянет на дверь, лицо ее сразу светлеет, но стоит ей повернуться к окну — и в глазах у нее загораются прежние зловещие огоньки.

Вдруг она вскакивает и озирается с таким ужасом, что мне даже во сне становится страшно, и я вижу у нее на лбу крупные капли пота. Постепенно выражение ее лица меняется — и снова передо мной та женщина, которую я видел когда-то ночью в толпе. Она закутывается в старый плащ и крадучись выходит из комнаты. Я слышу ее шаги на лестнице. Они все глуше и глуше. Вот она открывает входную дверь — и в дом врывается гул. Звук ее шагов тонет в грохоте улицы.

Время плывет и плывет в моем сновидении. Картина за картиной возникает и меркнет. Все они тусклы и расплывчатые, но вот из тумана выступает длинная безлюдная улица. На мокром тротуаре — блики от фонарей. Вдоль стен крадется какая-то фигура в пестрых лохмотьях. Лица не видно, она идет ко мне спиной. Из темноты выскальзывает другая фигура. Я вглядываюсь в это лицо и вижу: это то самое лицо, на которое с такой любовью глядела когда-то женщина — давным-давно, когда мой сон только начинался. Но нет уже в этом лице ни прелести, ни чистоты — теперь оно старое и такое же порочное, как у той женщины, когда я видел ее последний раз. Фигура в пестрых лохмотьях замедляет шаг. Мужчина идет за ней следом и догоняет ее. Они останавливаются и о чем-то говорят. В этом месте нет ни одного фонаря, и лица женщины все еще не видно. Они молча идут рядом. Вот они подходят к таверне, перед входом в которую висит яркий газовый фонарь; тут женщина оборачивается — и я вижу, что это героиня моего сна. Опять мужчина и женщина глядят в глаза друг другу.

В другом сновидении, в котором я тоже не участвовал, одному человеку явился ангел (или дьявол, не помню точно) и предсказал, что, стоит ему полюбить хоть одно живое существо, стоит только подумать о ком-нибудь с нежностью — будь то жена или ребенок, знакомый или родственник, друг или случайный попутчик, — и в то же мгновение рухнут все его планы и проекты, люди с презрением отвернутся от него, и самое имя его будет забыто. Но если рука его не приласкает ни одно живое существо, если ни для кого не найдется у него в сердце теплого уголка, тогда его ждет удача, он преуспеет во всех своих делах, и день за днем будут расти его богатства, будет крепнуть его могущество.

И человек благодарен за предсказание, потому что он честолюбив и больше всего на свете милы ему деньги, слава и власть. Его любит женщина — и она умирает, так и не дождавшись от него ни единого слова любви. Улыбки детей вспыхивают на его пути и гаснут, все новые и новые лица появляются и исчезают.

Но нет ни капли нежности в прикосновении его руки, нет ни капли нежности у него во взгляде, нет ни капли нежности у него в сердце. И судьба к нему благоволит.

Проходят годы — и наконец только одно препятствие остается у него на пути — печальное личико ребенка. Дитя любит его, как любила когда-то женщина, и глаза ребенка глядят умоляюще. Но он, стиснув зубы, отворачивается.

Девочка день ото дня чахнет, и однажды, когда он сидит у себя в конторе, управляя своими предприятиями, к нему приходят и говорят, что она умирает. Он идет к ней и стоит у ее кровати, ребенок открывает глаза и смотрит на него; он подходит ближе — и детские ручонки тянутся к нему, будто умоляя. Но лицо у него точно каменное — и худенькие руки ребенка бессильно падают на сбившееся одеяло, а печальные глаза неподвижно глядят перед собой. Какая-то женщина тихо наклоняется и закрывает эти глаза. Тогда он уходит опять к своим проектам и планам.

Но среди ночи, когда в огромном доме тишина, он украдкой пробирается в ту комнату, где все еще лежит девочка, и откидывает скрывающую ее белую простыню.

«Мертвая, мертвая», — бормочет он. Он берет на руки маленькое тельце и прижимает его к груди. Он целует холодные губы, целует холодные щеки, целует окоченевшие ручонки.

Но тут мой сон теряет всякий признак правдоподобия, ибо мне снится, что мертвая девочка так всегда и лежит у себя в комнате под простыней и нет на этом детском личике никаких следов разрушения.

Меня это на миг озадачивает, но я тут же забываю, что надо удивляться, ибо когда Фейя Снов рассказывает нам сказки, мы совсем как малые дети — сидим и слушаем, раскрыв рот, и верим каждому слову, хотя подчас и удивляемся, что бывают на свете такие чудеса.

Каждую ночь, когда в доме все спят, бесшумно открывается одна и та же дверь, и человек, войдя, затворяет ее за собой. Каждую ночь он откидывает белую простыню, берет на руки мертвое тельце и часами ходит с ним по комнате, прижимая его к груди, целуя и убаюкивая, как мать.

Когда первые лучи рассвета заглядывают в окно, он кладет мертвое дитя обратно в кровать, аккуратно покрывает его простыней и выскальзывает из комнаты.

Удача и успех неизменно ему сопутствуют, день ото дня растут его богатства и крепнет его могущество.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

С героиней мы замучились. Браун пожелал сделать ее дурнушкой. Для Брауна главное в жизни — быть оригинальным, а чтобы быть оригинальным, он пользуется таким методом — все на свете делает наоборот. Если подарить Брауну небольшую планету и разрешить ему вытворять с ней все, что заблагорассудится, — день будет превращен в ночь, лето в зиму. Мужчинам и женщинам придется разгуливать по его планете на головах и пожимать руки ногами, деревья вырастут корнями вверх, старый петух примется нести яйца, а куры влезут на забор и закукарекают. Тогда Браун отступит в сторону и скажет: «Обратите внимание, какой оригинальный мир! Сотворил его я, замысел тоже мой!»

А сколько есть на свете людей, у которых понятие об оригинальном точь-в-точь такое, как у Брауна!

Знаю я одну девочку из древнего рода потомственных политических деятелей. У нее так резко выражена наследственность, что она не умеет мыслить самостоятельно. Есть у нее сестра постарше, а уж эта, по счастью, удалась в мать, и маленькая сестренка во всем ей подражает. Если старшая сестра съедает за ужином две порции рисового пудинга, маленькая тоже съедает две порции. Если старшей не хочется есть и она не ужинает, тогда и младшая ложится спать голодная.

Мать этих девочек далеко не в восторге от достоинств политических деятелей, и поэтому отсутствие твердости в характере дочери ее огорчает.

Однажды вечером она усадила младшую дочку на колени и завела с ней серьезный разговор.

— Пора уже тебе стать самостоятельной, — сказала она. — Ты вечно повторяешь все за Джесси, как какая-нибудь глупышка. Нужно быть хоть немного оригинальной.

Девочка сказала, что постарается, и, погруженная в размышления, отправилась к себе.

На следующее утро на стол поставили рядышком блюдо с почками и блюдо с копченой рыбой. Нужно сказать, что девочка обожала копченую рыбу, а почки ненавидела больше, чем горькое лекарство. Уж по этому-то вопросу она имела вполне определенное собственное мнение.

– Тебе, Джесси, почек или рыбы? – Мать обратилась сначала к старшей дочери.

Джесси на секунду задумалась, сестренка заволновалась и замерла, не отрывая от нее глаз.

– Рыбы, мамочка, – ответила наконец Джесси; младшая отвернулась, чтобы скрыть слезы.

– Трикси, тебе рыбки, конечно? – спросила мать, ничего не заметив.

– Нет, мамочка, спасибо. – Маленькая героиня подавила рыдания и дрожащим голосом произнесла: – Дай мне почек.

– Как, ты же терпеть не можешь почки? – изумилась мать.

– Да, мамочка, я их не очень люблю.

– А рыбку любишь?

– Да, мамочка.

– Так почему тебе не взять рыбки?

– Из-за Джесси, мне ведь надо быть оригинальной. – И бедняжка залилась слезами, обнаружив, что оригинальность обойдется ей недешево.

Мы втроем дружно отказались принести себя в жертву на алтарь Брауновой страсти к оригинальному. Решили удовольствоваться обычной хорошенькой особой.

– Добродетельна она или порочна? – спросил Браун.

– Порочна, – бойко ответил Мак-Шонесси. – Твое мнение, Джефсон?

– Как вам сказать, – вынув трубку изо рта, произнес Джефсон своим грустным, утешающим голосом, всегда одинаковым, независимо от того, проезжается ли он насчет свадьбы или повествует о похоронах, – не совсем порочная. Порочная, но с добродетельными порывами, причем умеет сдерживать свои добродетельные порывы.

– Странно, – задумчиво промурлыкал Мак-Шонесси, – почему это порочные люди всегда интереснее добродетельных?

– Ничего мудреного, – ответил Джефсон. – От порочных людей вечно ждешь неожиданностей. Чувствуешь себя как на иголках. Разница здесь ничуть не меньше, чем между объезженной, остепенившейся клячей и веселым жеребенком, из которого не успели выбить дурь. Нет ничего спокойнее, как проехать на кляче, но зато на жеребенке вам

обеспечена гимнастика. Так и здесь: если ваша героиня насквозь добродетельна, то с первой же главы роман можно захлопнуть, потому что все равно всем заранее известно, что с ней произойдет, какие бы вы замысловатые приключения ни изобретали. Ведь такой героине раз и навсегда назначено совершать одно и то же, а именно правильные поступки.

И наоборот, никогда толком не знаешь, что стряется с порочной героиней. У нее на выбор чуть ли не пятьдесят разных выходов из затруднения, и мы с трепетом ждем, что ей окажется по душе: она может пойти и по единственной правильной дорожке и свернуть на одну из остальных сорока девяти!

— Нет, — заявил, я, — все-таки немало и таких добродетельных героинь, что читаешь про них и не оторвешься.

— Бывает, но редко, только когда они чего-нибудь наворачивают, — возразил Джефсон. — Постоянно безупречная героиня раздражает не меньше, чем Сократ в свое время, наверное, раздражал Ксантиппу или чем примерный ученик — остальных ребят в классе. Возьмите эту набившую оскомину героиню романов восемнадцатого века: она идет на свидание с возлюбленным лишь для того, чтобы сообщить, что не может ему принадлежать, и при этом без передышки обливается горячими слезами. Она не упускает случая побледнеть при виде крови и всякий раз, в самый неподходящий момент, падает без чувств в объятия героя. Она ни за что не хочет выйти замуж без согласия отца, но, зная, что ее избранника отец не одобряет, упорно стремится замуж именно за этого человека. Превосходная девица, но тоска от нее, как от знаменитости в домашнем кругу.

— Да разве эти женщины добродетельны? — заметил я. — Какая-то глупая голова объявила их идеалом добродетели, а ты и рад!

— Допускаю, — ответил Джефсон, — но, представьте, я и сам не знаю, что такое добродетельная женщина. На мой взгляд, сей предмет слишком глубок и сложен, чтобы о нем мог судить простой смертный. Женщины, про которых я говорил, являются порядочными по мерке, принятой обществом того века, когда писались эти самые романы. Учтите, что добродетель — величина непостоянная. В каждой стране идеалы добродетели разные, да и с течением времени

они меняются, и зависит это именно от таких, как ты говоришь, «глупых голов». Вот, например, в Японии «добродетельной» считается девушка, продающая свою честь, чтобы иметь возможность хоть немножко украсить жизнь своих престарелых родителей. А в тропиках есть некие гостеприимные острова, где «добродетельная» жена так старается, чтобы гость мужа чувствовал себя как дома, что только диву даешься, до чего она доходит. В библейские времена Иаиль перевозносила за то, что она убила спящего человека, а Сарра ни капельки не упала в глазах своего народа, когда свела Агарь с Авраамом. В Англии восемнадцатого века идеалом женской добродетели считалась сверхъестественная тупость и меланхолия, превосходящая всякие границы, впрочем, это и по сей день так; писатели — а они всегда были наиболее подобоострастными почитателями общественного мнения — так и лепили своих куколок по принятым моделям. В наши дни стало модно «посещать трущобы», и все наши образцовые героини бросились в трущобы «помогать бедным».

— Как хорошо, что есть бедные, — неожиданно заметил Мак-Шонесс, задрав ноги на камин и так сильно откинувшись назад вместе со стулом, что мы сразу оживились и с интересом уставились на него. — Я считаю, что мы, сочинители, даже не представляем себе, до какой степени мы обязаны беднякам. Куда бы годились наши ангельские героини и благородные герои, не будь на свете бедняков? Например, нужно показать, что девчурка и прелестна на вид, и добродетельна. Что мы делаем? Нацепляем ей на руку корзинку с деликатесами и бутылками вина, на голову — хорошенькую летнюю шляпку и отправляем ее к бедным. Как мы доказываем, что герой, по всем признакам отъявленный негодяй, на самом деле славный юноша? Попросту сообщаем читателям, что он жалеет бедных.

В Стране Фантазии от бедняков большая польза, но и в действительной жизни не меньше. Скажем, знаменитый артист не платит долга в лавку, хоть и получает восемьдесят фунтов в неделю. Что утешает лавочника? Статейки в театральных газетах, где в подробностях расписывается, как неизменно щедр по отношению к бедным этот прекрасной души человек. Или, положим, удачно завершается какой-нибудь особенно ловкий обман. Что заглушает тихий, но надо-

едливый голос нашей совести? Благородное решение пожертвовать десять процентов чистой прибыли на бедняков.

Подкрадывается старость, пора серьезно подумать о том, чтобы обеспечить себе приличное существование на том свете. Что делает человек? Он внезапно становится благотворителем бедных. Исчезни бедные — куда ему деваться со своей благотворительностью? Знать, что бедняки всегда будут с нами, — вот наше утешение. Бедняки — это лестница, по которой мы карабкаемся на небеса.

Все немного помолчали, причем Мак-Шонесси энергично, почти свирепо, дымил трубкой, а потом Браун сказал:

— Я расскажу вам одну забавную историю, она как раз касается нашей темы. Мой двоюродный брат был агентом по продаже имений в небольшом провинциальном городке. В списках у него числился давно пустовавший чудесный старинный дом. Уже и надежда всякая пропала когда-нибудь сбыть его с рук, как вдруг однажды к конторе подкатывает дама преклонных лет, пышно разодетая, и принимается расспрашивать именно об этом доме. Оказалось, что незадолго до этого, проезжая мимо, она обратила внимание на очаровательную усадьбу и ее живописные окрестности. Ей как раз хотелось найти подобный тихий уголок, чтобы спокойно дожить там остаток своих дней. Дом, который ей так понравился, по-видимому, ее бы устроил.

Брат был счастлив, что наклеивается покупатель. Они тут же покатали в поместье за восемь миль от города и вместе обошли все владения. Брат соловьем разливался об их достоинствах — здесь тихо и уединенно, близко — но не слишком близко — от церкви и до деревни рукой подать.

Все указывало на благоприятный исход дела. Дама была в восхищении от красивой местности, дом и усадьба привели ее в восторг. По ее мнению, и цена была вполне разумной.

— А теперь, мистер Браун, — сказала она, когда они уже подошли к воротам, — расскажите, какие бедные люди живут здесь в округе.

— Бедные люди? — переспросил брат. — Здесь нет бедных.

— Нет бедных? — воскликнула дама. — Нет бедных ни в деревне, ни где-нибудь поблизости?

— Вы не найдете бедняка на пять миль вокруг, — гордо ответил он. — Видите ли, сударыня, население у нас в граф-

стве редкое, но чрезвычайно преуспевающее. Этот приход особенно отличается, здесь, кого ни возьмете, все живут, что называется, зажиточно.

— О, как жаль! — разочарованно протянула дама. — Если бы не это, я бы непременно тут поселилась.

— Позвольте, сударыня! — вскричал брат, которому впервые пришлось столкнуться со спросом на бедняков. — Я надеюсь, вы не хотите сказать, что вам нужны бедняки! Мы всегда считали это огромным преимуществом данного поместья: здесь ничто не ранит взоров и не оскорбляет чувств самых впечатлительных обитателей.

— Дорогой мистер Браун, — сказала дама, — я буду откровенна. Я уже не молода и не могу утверждать, что прожила всю свою жизнь праведно. Мне хочется добродетельной старостью искупить... ээ... безрассудства молодых лет, и поэтому совершенно необходимо, чтобы меня окружали достойные моего внимания бедняки. Я так надеялась, что в этих очаровательных местах я найду столько же бедных и несчастных, как и повсюду, и тогда я не задумываясь купила бы дом. Теперь придется опять заняться поисками.

Брат был поражен и опечален.

— В городе живет сколько угодно бедняков, среди них много интересных. Вы можете их всех целиком взять на свое попечение. Возражений не встретится, поверьте.

— Благодарю, — ответила дама, — но город — это, право, так далеко. Беднякам нужно жить поближе, чтобы поездка к ним не утомляла, иначе нет смысла.

Брат еще разок пораскинул умом. Он не собирался дать покупательнице улизнуть. Вдруг его осенило.

— Я нашел выход, — сказал он. — На том конце деревни есть болотистый, совершенно ни на что не пригодный участок. Давайте выстроим там десяток дешевых домиков — даже лучше, если в них будет холодно и сыро, — добудем бедняков и вселим туда.

Дама подумала и решила, что идея хороша.

— Бедных можно будет подобрать по вкусу, — продолжал брат подливать масла в огонь. — Мы достанем для вас чистеньких, симпатичных, благородных бедняков, вы останетесь довольны.

Кончилось тем, что дама приняла предложение и составила список бедняков, каких ей хотелось иметь поблизо-

сти. Она наметила прикованную к постели старушку (предпочтительна принадлежность к англиканской церкви), парализованного старичка, слепую девушку, которой нужно читать вслух, бедного атеиста, желающего обратиться в истинную веру, двух калек, пьяницу — отца семейства, который не отказывался бы от серьезных бесед, неприятного пожилого мужчину, с которым требуется много терпения, две больших семьи и четыре обычных супружеских пары.

Брат извелся, пока раздобыл пьяницу-отца. Большинство пьяниц-отцов, с которыми он вел переговоры, решительно возражали против каких бы то ни было бесед. После долгих поисков был наконец найден маленький человек, который, узнав о требованиях и благотворительных намерениях дамы, решил определиться на свободное место и напиваться раз в неделю. Он сказал, что больше одного раза в неделю обещать для начала не может, потому что, увы, с рождения питает отвращение к спиртным напиткам, а теперь ему придется это чувство преодолевать. Как только он немножко привыкнет, дело пойдет на лад.

Не обошлось без волнений и с неприятным пожилым мужчиной.

Трудно было найти нужную степень неприятности. Некоторые были как-то уж слишком неприятны. В конце концов брату посчастливилось наткнуться на опустившегося извозчика с передовыми, радикальными взглядами, который потребовал контракта на три года.

План оказался превосходным и действует до сих пор. Пьяница — отец семейства — окончательно поборол нелюбовь к крепким напиткам. Вот уже три недели он беспробудно пьян, а недавно начал избивать свою жену. Неприятный тип честно выполняет свои обязательства и стал просто проклятием всей деревни. Остальные тоже исполняют свои роли прекрасно. Дама посещает их каждый день и изо всех сил благотворительствует. Ее прозвали «Леди Щедрая», и все ее благословляют.

Окончив свой рассказ, Браун поднялся и с видом человека, собирающегося вознаградить кого-то за доброе дело, налил себе виски с содовой. Мак-Шонесси откашлялся и заговорил.

— Я тоже знаю историю на эту тему, — сказал он. — Случилось это в маленькой йоркширской деревне, в тихом

почтенном месте, где людям казалось, что жизнь течет очень медленно. Но однажды приехал новый помощник священника, и деревня пробудилась от спячки. Это был приятный молодой человек, и, поскольку вдобавок он имел порядочный собственный доход, за ним, безусловно, стоило поохотиться. И вот все незамужнее женское население деревни как по команде устремилось в погоню.

Однако обычные женские чары не оказывали на него никакого действия. Помощник священника был серьезным молодым человеком и как-то, когда при нем заговорили о любви, заявил, что для него обыкновенная женская красота и обаяние — ничто. Сердце его может тронуть только женская добродетель — милосердие, любовь к беднякам.

Тогда невесты призадумались. Они поняли, что пошли по ложному следу, изучая модные картинки и практикуясь складывать губы сердечком. Козырем были «бедняки».

Но здесь возникла серьезная трудность. Во всем приходе был только один бедняк — сварливый старикашка, живший в полуразрушенном домике за церковью. И вот пятнадцать женщин в полном соку (одиннадцать девушек, три старые девы и одна вдова) пожелали делать ему «добро».

Мисс Симондс, одна из старых дев, первая его заарканила и принялась кормить дважды в день наваристым бульоном, затем его стала потчевать вином и устрицами вдова. К концу недели причалили и остальные охотницы и доверчу набили его студнем и цыплятами.

Старик ничего не мог понять. Он привык к тому, что изредка получал мешочек угля и вдобавок лекцию о его собственных грехах, да иногда ему перепадала бутылка отвара из одуванчиков. Внезапный фонтан изобилия, ниспосланный ему провидением, удивил его до крайности. Но он помалкивал и продолжал поглощать все, что мог. К концу месяца он так растолстел, что через черный ход своего дома уже не пролезал.

Конкуренция среди женщин день ото дня разгоралась, и старик заважничал и стал просто несносен. Он заставлял своих дам убирать у него, варить обед, а надоест возня в доме — отсылал работать в сад.

Женщины роптали и даже стали поговаривать о забастовке, но что они могли поделать? Ведь он был единственным бедняком во всей округе, и ему это было прекрасно из-

вестно. Он держал монополию и, как всякий монополист, злоупотреблял своим положением.

Он рассылал их с поручениями. Посылал купить «табачку» за их собственный счет. Однажды поручил мисс Симондс принести пива к ужину. Она было возмутилась, но последовало предупреждение, что если она будет задирать нос, то ей придется уйти и больше не возвращаться. Не сходит за пивом она, найдется много желающих. Мисс Симондс знала, что это так, и отправилась.

Раньше ему, бывало, читали хорошие книжки на возвышенные темы. Теперь он поставил точку. Сказал, что в его возрасте не потерпит больше этой святой чепухи. Ему хотелось чего-нибудь пикантного. Пришлось читать вслух французские романы и рассказы про пиратов, начиненные настоящими матросскими выражениями. И нельзя было выпустить ни слова, иначе поднимался скандал.

Он сообщил, что любит музыку, и вот несколько девиц в складчину купили ему фисгармонию. Все мыслили, что теперь можно будет петь ему гимны и играть классические мелодии, но это была ошибка. Старик мыслил иначе — он требовал песенок вроде «Отпразднуем старушкин день рождения» и «Другим глазом она подмигнула» и чтобы все подхватывали припев и пританцовывали — пришлось покоряться.

Трудно сказать, куда бы завела их подобная тирания, но в один прекрасный день власть тирана преждевременно пала. В этот день помощник священника несколько неожиданно обручился с очень красивой каскадной певичкой, гастролировавшей в соседнем городе. После обручения он ушел в отставку по настоянию своей невесты, не пожелавшей стать женой священника. Она говорила, что, «хоть лопни», никогда не могла понять, зачем нужно по воскресеньям посещать бедных. Сразу после свадьбы помощника священника короткая, но блестящая карьера бедняка окончилась. Его отправили в работный дом дробить камни.

В конце своего рассказа Мак-Шонесси снял ноги с камина и принялся возвращать к жизни затекшие икры, и тут пришла очередь Джефсону шлести свои истории.

Но никому из нас не хотелось смеяться над рассказами Джефсона, потому что они были не о благотворительности богатых к бедным — добродетели, которая быстро прино-

сит большие проценты, — но о доброте бедных людей к бедным, а это ведь гораздо менее выгодное капиталовложение, да и вообще дело совершенно другого рода.

.. К беднякам — я говорю не о крикливых бедняках-профессионалах, а о скромных, борющихся за свое существование бедняках — мы все должны питать истинное уважение. Мы чтим их, как чтим раненого солдата.

В непрекращающейся войне между Человечеством и Природой бедняки всегда стоят впереди. Они умирают в канавах, и мы с флагами, под дробь барабанов проходим по их телам.

Трудно думать о них без чувства стыда за то, что живешь в безопасности и покое, а они принимают на себя все самые тяжелые удары. Как будто сидишь притаившись в палатке, а в это время твои товарищи сражаются и умирают на передовой.

Там они молча падают и истекают кровью. Природа своей страшной дубинкой «Выживает сильнейший» и Цивилизация своим жестоким кнутом «Спрос и предложение» избивают бедняков, и они шаг за шагом отступают, борясь до конца — молча, угрюмо; картина эта не так уж живописна, чтобы можно было назвать ее героической.

Помню, как однажды субботним вечером я увидел на ступеньках небольшой лавчонки старого бульдога. Он лежал совершенно спокойно и, казалось, дремал, но вид у него был свирепый, и никто его не трогал. Люди входили и выходили, перешагивая через него, иногда кто-нибудь случайного задевал, и тогда он начинал дышать тяжелее и чаще.

Наконец один покупатель почувствовал под ногами что-то липкое, оказалось, что он стоял в луже крови. Нагнувшись посмотреть, откуда кровь, он заметил, что темная широкая струя стекает со ступеньки, на которой лежит собака.

Тогда он наклонился и осмотрел собаку. Она сонно открыла глаза, взглянула на него, оскалила зубы, что могло означать и радость, и недовольство тем, что ее побеспокоили, и умерла.

Собралась толпа, мертвое тело собаки перевернули на бок и увидели громадную зияющую рану в животе, откуда текла кровь. Хозяин лавки рассказал, что собака пролежала там больше часа.

Я знал бедняков, которые умирали так же мрачно и молча, это не те бедняки, которых знаете вы, моя затянута в перчатки Леди Щедрая, или вы, мой великолепный сэръ Саймон Благотворительный, вам их знать не захочется: они не ходят процессиями со знаменами и кружками для милостыни, они не орут вокруг ваших бесплатных столовых и не распевают гимнов на ваших душеспасительных чаепитиях; никто не ведаёт об их бедности, пока не начнется дознание по делу о скоропостижной смерти, — это молчаливые, гордые люди, с утра до ночи борются они со Смертью и, когда наконец она, победив, швыряет их на гнилой пол темного чердака и душит, умирают, стиснув зубы.

Как-то, когда я жил в Ист-Энде в Лондоне, я знал одного мальчишку. Его никак нельзя было назвать милым мальчиком. Далеко было ему до чистеньких ребятишек со страниц религиозного журнала, а однажды на улице его остановил матрос и отругал за то, что он уж слишком неделикатно выразился.

Жил он со своей матерью и пятимесячным братом, хилым и болезненным ребенком, в подвале за углом улицы Трех Жеребят. Я не могу точно сказать, что случилось с отцом. Кажется, его «обратили» и отправили в показательное турне по стране. Мальчонка в качестве рассыльного зарабатывал шесть шиллингов в неделю, а мать сметывала брюки. В те дни, когда она чувствовала себя прилично, заработок ее был не меньше десяти пенсов, а то и целый шиллинг. Но, к сожалению, бывали дни, когда четыре голые стены начинали плясать вокруг нее, а свечка вдруг превращалась в слабое пятнышко света где-то далеко-далеко; и так как это случалось довольно часто, то доходы семьи временами значительно падали.

Однажды вечером стены закружились вихрем, все быстрее и быстрее, и умчались совсем, свеча метнулась вверх и превратилась в звезду; тогда женщина почувствовала, что пришла пора закончить свое шитье.

— Джим, — сказала она очень тихо, так что ему пришлось наклониться, — поищи в матраце, там найдешь два фунта денег. Я их давно припрятала. Это мне на похороны. Джим, позаботься о ребеночке. Смотри, не отдавай его в приют.

Джим обещал.

— Скажи: пусть накажет меня Бог, Джим.

— Пусть накажет меня Бог, мама.

Устроив свои земные дела, женщина теперь была готова, и Смерть пришла.

Джим сдержал клятву. Он нашел деньги и похоронил мать, затем погрузил все свое хозяйство на тачку и переехал на более дешевую квартиру — это была половина старого сарая, за которую он платил два шиллинга в неделю.

Полтора года прожил он там с ребенком. По утрам он носил малыша в ясли, вечером после работы забирал его и за это да за капельку молока, что давали малышу, платил четыре пенса в день. Трудно сказать, как он умудрялся жить сам да еще кормить ребенка больше чем полдня на оставшиеся два шиллинга в неделю. Я только знаю, что ему это удавалось, и ни одна живая душа не помогала ему, мало того, никто и не знал, что здесь требовалась помощь. Он, укачивая ребенка, порой часами шагал по комнате, время от времени купал его, а по воскресеньям даже выносил погулять.

Несмотря на весь этот уход, несчастный малютка в конце указанного времени «сковырнулся», по выражению Джима.

На дознании коронер страшно накричал на Джима.

— Если бы ты сделал так, как полагается, — возмутился он, — может, удалось бы сохранить ребенку жизнь. — Видимо, он полагал, что ребенку от этого было бы лучше. (Странные бывают взгляды у коронеров.) — Почему ты не обратился к попечителю?

— Потому что мне не нужна помощи, — угрюмо ответил Джим. — Я обещал матери, что не отдам его в приют, и не отдал.

По счастью, это случилось как раз во время затишья в прессе, и вечерние газеты подхватили историю Джима и принялись расписывать ее, не жалея красок. Помню, Джим стал просто героем. Добросердечные люди писали и настаивали, чтобы кто-нибудь — домовладелец, или правительство, или кто-то в этом роде — сделал бы что-нибудь для Джима. И все в один голос обвиняли приход. Думаю, что в конце концов, протянись эта история еще хоть немного, из нее бы и вышел для Джима какой-нибудь толк. Но, к сожалению, в самый разгар событий подвернулось пикантное дело о разводе, и Джима вытеснили из газет и забыли.

Я рассказал эту историю после истории Джефсона и когда кончил, то оказалось, что почти час ночи и заниматься нашим романом уже поздно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Кошки, — заявил Джефсон, когда мы с ним как-то поутру уселись в лодке обсуждать сюжет нашего романа, — кошки — вот кого я уважаю. Среди всего населения земли только у кошек да у еретиков есть настоящая совесть. Попробуй последить за кошкой, когда она занята одной из своих гнусных проделок (если она от тебя в этот момент не улизнет), сразу бросается в глаза, как она озабочена тем, чтобы ее не застigli на месте преступления; а попадетя — вмиг сделает вид, что совершенно ни при чем, что у нее и в мыслях ничего дурного не было, то есть, вообще-то говоря, кое-что она, конечно, думала предпринять, но совершенно в другом роде. Порой приходишь к выводу, что у кошек есть даже душа.

Как раз сегодня утром я наблюдал за твоей рыжей пятнашкой. Она ползла по крыше каюты позади ящиков с цветами, подкрадываясь к дрозденку, сидевшему на связке каната. Глаза ее горели плотоядным огнем, каждое движение ловкого тела изобличало убийцу. Когда она уже пригнулась для прыжка, судьба, вопреки обыкновению, вдруг пощадила слабого и привлекла внимание рыжей ко мне — тут она впервые меня заметила. Это произвело на нее такое же впечатление, как на библейского преступника небесное знамение. Миг — и она переродилась. Кровожадная хищница, рыщущая в поисках жертвы, исчезла. На ее месте сидел длиннохвостый пушистый ангел, обратив в небеса свой взор, который на треть выражал невинность, а на две трети — восторг по поводу прелестной природы. Мне захотелось узнать, что делала киска. Да разве я не видел — она играла комком земли! Неужели я настолько скверного о ней мнения, что мог подумать, будто она собиралась умертвить эту милую пташку — храни ее Бог!

А вот, смотрите, выдавший виды кот крадется ранним утром домой. Ночь он провел на крыше, о которой идет ху-

дая слава. До чего же ему не хочется привлекать к себе внимание!

— Ай-яй-яй, — едва слышно бормочет он, — подумать только, что так поздно! Как летит время в веселой компании! Хоть бы никого из знакомых не встретить, очень неприятно, что уже рассвело!

Неподалеку он замечает полицейского и сразу останавливается под покровом тени.

«Ну что ему надо, и вдобавок около самой нашей двери? — думает кот. — Ведь не войдешь, пока он тут околачивается. Он наверняка меня узнает, а такие, как он, всегда не прочь посплетничать со служанками».

Кот прячется за столбом и выжидает, время от времени осторожно выглядывая из-за укрытия. Однако полицейский, по-видимому, обосновался прочно и надолго, и кот теряет терпение.

— Вот бестолочь! — ворчит он возмущенно. — Умер он, что ли? Почему он не проходит, сам же вечно велит всем проходить! Безмозглый осел!

В этот момент слышится далекий возглас: «Молоко!» — и кот мечется в тревоге.

— Дьявольщина, вот проклятье! Весь дом будет на ногах, пока я доберусь до кухни! Ну что ж, ничего не поделаешь. Рискну.

Он внимательно оглядывает себя и на секунду приостанавливается.

«Недурно бы почиститься и пригладиться, — размышляет он, — эти люди всегда рады придраться и невесть что вообразить».

«Эх, была не была, — добавляет он, встряхиваясь, — другого выхода нет, вручу свою судьбу провидению, оно меня всю жизнь выручало. Вперед!»

Кот принимает скорбный вид и застенчиво, скромными шажками трусит к дому. Нет сомнения, ему хочется избразить дело так, будто он ночь напролет трудился по поручению Общества по надзору за нравственностью, а теперь возвращается домой, и сердце у него надрывается от ужасов, которые ему довелось наблюдать.

Никем не замеченный, он влезает в окно и только-только успевает наспех прилизать шерсть, как на лестнице слышатся шаги кухарки. Когда она входит в кухню, кот спит

крепким сном, свернувшись на половике около очага. От шума открываемых ставней кот пробуждается. Он встает и, позевывая и потягиваясь, выходит на середину кухни.

— Как, уже утро? — сонно мурлычет он. — Ох-хо-хо! Ну, и славно же я выспался, кухарка, и сон видел чудесный про бедную мою маму.

Кошки! Так ты их называешь? Нет, они поистине христиане, только ног у них не две, а четыре.

— Конечно, — сказал я, — кошки удивительно изворотливый народ, но похожими на человека их делают не только моральные и религиозные убеждения. Есть у них еще одно дивное качество, достойное самого человека, — это умение наилучшим образом устроить свои делишки. У одних моих друзей был большой черный кот, теперь он тоже временами у них гостит. Мои друзья вырастили его из котенка, по-своему привязались к нему, хотя внешне своих чувств особенно не проявляли, и, конечно, особой любви во взаимоотношениях кота и хозяев не замечалось. Однажды по соседству появилась пушистая дымчатая кошка, питомица некоей старой девы; на кошачьей вечеринке под садовой стеной состоялась встреча.

— Как у вас с жильем? — спросила дымчатая.

— О, вполне прилично.

— Хозяева — симпатичные люди?

— Да, ничего, как и все люди.

— Хорошо относятся? Заботятся и все такое прочее?

— Да, о да! Пока не жалуясь.

— А какой провиант?

— Как обычно, знаете ли, кости, объедки, а иногда для разнообразия собачьи сухари.

— Кости и собачьи сухари! Уж не хотите ли вы сказать, что едите кости?

— Конечно, когда дают. А почему бы и нет?

— О, дух египетской Изиды, кости и собачьи сухари! Неужели вам никогда не дают парных цыплят, сардины или котлетки из молодого барашка?

— Цыплята! Сардины! О чем вы говорите? Что такое сардины?

— Что такое сардины! О дитя мое (она была светской кошкой и поэтому всегда так величала друзей — джентльменов чуть постарше себя), дитя мое, эти ваши люди просто

постыдно с вами обращаются. Давайте присядем и потолкуем. На чем вас укладывают спать?

— На полу.

— Так я и думала. И, конечно, дают пить воду и снятое молоко?

— М-да, молоко действительно жидковато.

— Воображаю, какой кошмар! Мой милый, вы должны немедленно покинуть ваших хозяев.

— Но куда мне идти?

— Куда угодно.

— Но кто меня возьмет?

— Кто угодно, только нужно умело взяться. Как вы полагаете, сколько раз я меняла своих хозяев? Семь раз! И каждый раз устраиваюсь все удачнее. А знаете ли вы, где я родилась? В свином хлеву. Нас было трое — мама, я и маленький братец. По вечерам мама оставляла нас одних, а приходила обычно уже на рассвете. Как-то утром она не пришла. Мы ждали долго, а ее все не было. Очень хотелось есть. Потом мы с братом улеглись рядышком, поплакали и уснули.

Вечером выглянули в щелку — видим: мама возвращается через поле. Ползла она очень медленно, всем телом припадая к земле. Мы ее окликнули, она тихо ответила «уррр», а шагу почему-то не прибавила.

Она вползла и повалилась на бок, мы со всех ног бросились к ней, потому что просто умирали от голода. Долго сосали, а мама все время нас облизывала.

Так я и заснула около нее, а ночью проснулась от холода. Прижалась к ней покрепче — стало еще холоднее, она вся была мокрая и липкая, в какой-то темной жидкости, вытекавшей из бока. Я тогда не понимала, что это такое, потом пришлось узнать.

Случилось это, когда мне едва исполнилось четыре недели. С тех пор я сама забочусь о себе, так уж повелось в этом мире, дитя мое. Сначала мы с братом по-старому жили в хлеву и кое-как перебивались. Суровое это было время: два крошечных существа боролись за свою жизнь, но мы все-таки выдержали. Спустя месяца три я как-то забрела дальше, чем обычно, и вот вижу: посреди поля стоит домик. Заглянула через открытую дверь — изнутри веяло теплом и уютом, и я вошла — нервы у меня всегда были крепкие. Около очага играли дети, они чудесно меня приняли, обогрели

и приласкали. Я никогда ничего подобного не испытывала — и осталась. В те времена я думала, что живу по меньшей мере во дворце.

Возможно, я и по сей день не изменила бы этого мнения, не загляни я как-то случайно во время прогулки по деревне в комнатку позади лавки. Пол там был покрыт ковром, а возле камина лежал половичок. Я и не представляла, что на свете бывает такая роскошь. Тогда я вознамерилась сделать эту лавку своим домом — и добилась этого.

— Каким образом? — спросил черный кот, заинтересовавшись.

— Это делается просто — входишь и садишься. Дитя мое, смелость — вот магическое «Сезам, откройся» для любой двери. Если кошка трудится, не жалея сил, она погибает от голода, если у кошки светлая голова, ее сбрасывают с лестницы как дуру, если кошка отличается самым порядочным поведением, ее топят как мерзавку, но зато смелая кошка спит на бархатной подушечке и к обеду получает сливки и конину. Вот так и я: решительно вошла и потерлась о ноги старичка хозяина. Он и его супруга до глубины души были тронуты моей «доверчивостью», как они выразились, и с восторгом меня приютили. По вечерам я выходила на прогулку в поле и нередко слышала, как меня звали дети из маленького домика. Разыскивали они меня несколько недель подряд, а самый младший так и засыпал в слезах при мысли, что меня, может, и в живых нет: очень эти ребятки меня любили.

Со своими друзьями-лавочниками я делила кров почти целый год, а потом перешла на жительство к поселившимся неподалеку другим людям, вот у кого была действительно отличная повариха. Тут мне было хорошо, но, к несчастью, дела хозяев пришли в упадок, они лишились и большого дома, и поварихи и перебрались в квартиру подешевле, ну, а мне смысла не было прозябать.

Пришлось подыскивать новенькое местечко. Неподалеку жил странный старик. Говорили, будто он богат, но, несмотря на это, его не любили. Он как-то отличался от других людей. Дня два-три я все прикидывала, как поступить, и наконец решила попытаться счастья у старика. Может быть, от одиночества он мною заинтересуется, а нет, так и уйти недолго.

Я оказалась права. «Жаба» — прозвище ему было дано деревенскими мальчишками — баловал меня, как никто. Нынешняя моя хозяйшюка также немало вокруг меня выплясывала, но у нее все-таки есть и другие интересы в жизни, а Жаба никого, кроме меня, не любил, даже самого себя. Он сначала просто глазам своим не поверил, когда я прыгнула к нему на колени и потерлась об его безобразное лицо.

— Кошечка, — сказал он, — да знаешь ли ты, что никто никогда не приходит ко мне по собственному желанию, ты первая. — И на его маленьких красных глазах выступили слезы.

С Жабой я прожила два года и была счастлива. Потом он слег, появились какие-то незнакомые люди, до меня никому не было дела. Жаба любил, чтобы я ложилась около него на постель, и он тогда поглаживал меня длинными, высохшими пальцами. Вначале я часто выполняла его прихоть. Но вы сами понимаете, с больным не очень-то весело, да и воздух в комнате нездоровый; приняв все это во внимание, я пришла к выводу, что пора двигаться дальше.

Сбежать было не так просто. Жабе все время хотелось, чтобы я была рядом, и меня без конца тащили к нему, потому что ему от этого будто бы делалось легче. Наконец мне все-таки удалось вырваться, и, оказавшись за дверью, я уж постаралась увеличить расстояние между собой и домом, чтобы обезопасить себя, потому что Жаба, конечно, пока жив, не успокоится и не откажется от надежды залучить меня обратно.

Встал вопрос, куда идти. У меня было на выбор два или три дома, но ни один из них меня полностью не устраивал. В одном доме, где я остановилась на денек для пробы, оказалась собака; в другом — мне бы там очень подошло — оказался младенец. Смотрите, никогда не селитесь в доме, где есть младенец. Ребенку постарше можно дать сдачи, если он потянет вас за хвост или наденет бумажный мешок на голову, и никто за это не осудит. «Так тебе и надо, — скажут ревущему сорванцу, — нечего дразнить несчастное существо». Но попробуйте сопротивляться, если вас ухватит за горло младенец и примется выковыривать вам деревянной ложкой глаза, — и бессердечным животным обзовут, и загоняют по всему саду. Нет, у меня правило: там, где живет младенец, не живу я.

Я испробовала три или четыре семьи и в конце концов обосновалась у одного банкира. С практической точки зрения были предложения и более выгодные. Например, я могла устроиться в трактире, где совершенно не ограничивают в еде и черный ход открыт всю ночь. Но у банкира (он был еще и церковным старостой, а его жена снисходила до улыбки только на шутки епископа) дом был солидный и respectable, и я чувствовала, что такая атмосфера окажет благотворное влияние на мою нервную систему. Дитя мое, вам могут встретиться циники, которые издеваются над respectableностью, не слушайте их. Respectableность сама по себе вознаградит вас, и это будет настоящее, осязаемое вознаграждение. Может быть, она не выразится в тонких блюдах и в мягких постелях, но она даст вам нечто лучшее, основательное. У вас всегда будет сознание, что вы, в отличие от прочих смертных, живете правильно, идете верным путем и к верной цели, насколько это зависит от вашей изобретательности. Не позволяйте настраивать себя против respectableности. Я твердо верю, что она приносит самое большое удовлетворение в жизни и притом обходится очень дешево.

Около трех лет провела я в этом семействе, и когда пришлось расстаться, была искренне огорчена. Я бы и не ушла от них, но однажды в банке что-то произошло, и банкир вынужден был срочно отбыть в Испанию, после чего пребывание в доме стало просто невыносимым. Какие-то возмутительные люди шумели, ломались в дверь, скандалили в прихожей, а по ночам в окна швыряли кирпичи.

Я тогда была в интересном положении, и вся эта неурядица сильно влияла на состояние моего здоровья. Поэтому, распрощавшись с городом, я вернулась на лоно природы и поселилась в семействе графа.

Хозяева мои вращались в великосветском обществе, но я бы предпочла, чтобы они были попроще. Ведь я так привязчива и обожаю, когда окружающие носят меня на руках. А мои аристократы хоть и относились ко мне неплохо, но держались на расстоянии и уделяли мне мало внимания. Скоро мне надоело расточать любезности людям, которые этого не ценят и не отвечают взаимностью.

От них я перешла к торговцу картофелем, удалившемуся от дел. С точки зрения социальной я опустилась рангом

ниже, но зато меня ждали удобства и понимание. Семья была как будто исключительно приятной, и как будто я им чрезвычайно пришлась по вкусу. Я говорю «как будто», потому что из дальнейших событий стало ясно, что это далеко не так. Шесть месяцев спустя они уехали, бросив меня на произвол судьбы. Они даже не поинтересовались, имею ли я желания ехать с ними. Им и в голову не пришло подумать о моем благополучии. Очевидно, им было все равно, что со мной станется. Никогда не ожидала я встретить такой эгоизм, такое наплевательское отношение к старой дружбе. Всякая вера в человеческую порядочность — и так не слишком прочная — у меня теперь поколеблена.

Теперь уж я никому не позволю обмануть меня. Мою нынешнюю хозяйку рекомендовал мне один приятель, который не так давно жил у нее. Он считал ее превосходной кошатницей. Ушел он только из-за ее требования, чтобы в десять часов вечера он был дома, а это шло вразрез с его планами. Мне же все равно, я не очень-то жалую эти полуночные асамблеи, которые почему-то пользуются у нас таким успехом. Набегают столько котов и кошек, что не получаешь никакого удовольствия, и рано или поздно непременно появляется какой-нибудь хулиган. Итак, я предложила свои услуги хозяйке, она с благодарностью согласилась. Только не по душе она мне, да и едва ли я ее когда-нибудь полюблю. Глупа старушка, надоедлива. Правда, она очень привязана ко мне, и если ничего особенно привлекательного не подвернется, я, пожалуй, у нее останусь.

Такова, мой милый, история моей жизни вплоть до сегодня. Я рассказала вам все это, чтобы показать, насколько легко, как это говорится, «втереться в дом». Выберите дом по душе и жалобно помяуйте у черного хода. Откроют дверь — быстрее вбегайте и тритесь о первую попавшуюся ногу. Тритесь покрепче и доверчиво заглядывайте в глаза. Я заметила, ничто на людей так не действует, как доверчивость. Она им нравится, потому что это для них редкость. Всегда старайтесь смотреть доверчиво. Но на всякий случай приготовьтесь и к неожиданностям. Если вы сомневаетесь в хорошем приеме, предварительно слегка вымокните. Как это ни странно, но люди предпочитают мокрую кошку сухой; почему-то всегда получается, что мокрую кошку впустят и пригреют, а сухую норовят окатить из шланга. Да,

еще не забудьте: если вам предложат черствую корку хлеба, постарайтесь, если сможете, ее съесть. У человека всегда все внутри переворачивается при виде кошки, глодающей сухую корочку.

Черному коту, принадлежащему моим друзьям, пришлось по душе мудрые советы приятельницы. По соседству поселилась бескошатная супружеская пара. Кот решил ими заняться. В первый же дождливый день он отправился в поле и просидел там битых четыре часа. Вечером, промокнув до костей и наголодавшись, он пришел к намеченной двери и замыкал. Одна из горничных открыла дверь, он шмыгнул ей под юбки и потерся об ее ноги. Горничная взвизгнула, сверху прибежали узнать, в чем дело, хозяин и хозяйка.

— Это бездомный кот, мэм, — сказала девушка.

— Немедленно вон, — сказал хозяин.

— О нет, не надо, умоляю, — сказала хозяйка.

— Бедняжка, он весь мокрый, — сказала горничная.

— Наверное, голодный, — сказала кухарка.

— Посмотрим, дайте-ка ему сухого хлеба, — съязвил хозяин; он писал для газет и вообразил, что знает все на свете.

Дали черствую корку. Кот жадно проглотил ее и с благодарностью потерся о светлые брюки хозяина.

Тут хозяин устыдился самого себя, а также своих брюк.

— Ну что ж, пусть живет, если хочет, — сказал он.

Кота устроили с комфортом, и он остался.

Тем временем его законные хозяева перевернули все вверх дном. Пока кот был с ними, его не замечали, но, когда он исчез, все принялись горевать безутешно. Кота не стало, и вдруг оказалось, что именно он был тем единственным существом, который придавал дому уют. Вокруг происшествия сгустились темные тучи подозрений. Сначала исчезновение кота считали тайной, затем тайна начала принимать зловещие очертания преступления. Жена открыто обвиняла мужа в том, что он никогда не любил бедное животное — уж теперь-то он мог бы вместе с садовником поведать правду о последних минутах несчастной жертвы. Супруг отвергал обвинение с таким жаром, что первоначальное подозрение укрепилось еще больше.

Притащили бульдога и с пристрастием обследовали. Бульдогу повезло, ибо за последние два дня на его счет не

было ни одной драки. Если бы на нем нашли хоть малейшие следы свежей крови, бедняге несдобровать бы.

Больше всех пострадал младший сын. За три недели до происшествия он нарядил кота в платице и возил в коляске по всему саду. Мальчик уже успел позабыть о случившемся, но правосудие, правда с запозданием, все же настигло его. Провинность внезапно вспомнили, когда чувство скорби о потерянном любимце достигло предела, и поэтому все сразу же почувствовали облегчение, как только мальчишке надрали уши и услали без промедления в постель.

По прошествии двух недель кот обнаружил, что в жизни его существенных улучшений не наступило, и вернулся к старым хозяевам. Те вначале не могли прийти в себя от изумления и долго не могли уразуметь, кот ли это вернулся или его дух явился к ним для утешения. Когда он у них на глазах проглотил полфунта сырого мяса, они наконец поняли, что кот материален; тут все стали подхватывать его на руки и прижимать к сердцу. Обкармливали его и всячески улажали в течение целой недели. Затем страсти улеглись, кот опять занял в доме прежнее положение, обиделся и пошел к соседям.

Соседи за это время успели без кота соскучиться, поэтому они встретили его возвращение взрывом великой радости. Это навело его на счастливую мысль. Нужно было сравнить оба семейства, что он и сделал. Он по очереди проводил по полмесяца то в одной, то в другой семье и жил припеваючи. Дом, куда он возвращался, ликовал, все пуще прежнего старались склонить его на постоянное жительство. Внимательно изучались его капризы, любимые блюда всегда держались наготове.

В конце концов выплыло наружу, в каком направлении он пропадал, и у забора разразилась страшная ссора. Мой приятель обвинил журналиста в переманивании кота. Журналист возразил, что несчастное создание прибежало к его двери вымокшее до костей и полумертвое от голода, и добавил, что некоторым должно быть стыдно: держат в доме животное и до такой степени бездушно к нему относятся. Ссоры из-за кота происходят в среднем дважды в неделю. В ближайшее время, очевидно, дело дойдет до рукопашной.

Мой рассказ поразил Джефсона. Он сидел задумчивый и притихший. Я спросил, не рассказать ли ему еще что-ни-

будь, и, поскольку возражений не последовало, я продолжал (не поручусь, что он не спал, но в тот момент подобная мысль как-то не пришла мне в голову).

Я рассказал о бабушкиной кошке, которая, прожив безгрешно одиннадцать лет и взрастив семью примерно из шестидесяти шести персон, не считая тех, кто умер в детстве и в бадье с водой, вдруг на старости лет спилась и в нетрезвом виде погибла (какая ирония судьбы!) под колесами телеги пивовара. Как-то я прочел в брошюре, где говорилось о пользе умеренности в употреблении спиртных напитков, что ни одно бессловесное животное ни за что не возьмет в рот и капли алкоголя. Мой вам совет: если вы хотите, чтобы эти животные не сбились с пути истинного, уберите их лучше подальше от алкоголя. Был один пони... Но при чем здесь пони? Ведь мы толкуем о кошке моей бабушки.

Причиной ее падения послужил кран от пивной бочки — он протекал. Под кран ставили блюдечко, куда капало пиво. И вот однажды кошке захотелось пить; не найдя ничего более подходящего для утоления жажды, она лизнула чуточку из блюдца — ей понравилось, она лизнула еще, ушла на полчаса, вернулась и прикончила остатки. Потом уселась рядом и стала ждать, пока блюдце опять наполнится.

С того дня вплоть до самой своей кончины она, кажется, ни разу не была вполне трезвой. Дни она просиживала на кухне, в пьяном оцепенении уставившись на огонь. Ночи она проводила в подвале с пивом.

Бабушка была озадачена и даже расстроилась не на шутку. Она вывела из употребления бочку и завела вместо нее бутылки. Кошка, обреченная таким образом на вынужденную трезвенность, полтора дня бродила по дому как неприкаянная, пребывая в печальном и сварливом настроении. Затем она исчезла и вернулась к одиннадцати часам вечера пьяная в стельку.

Нам так и не удалось узнать, где она побывала и как она умудрилась напиться; но с тех пор каждый день у нее была одна и та же программа действий. Утром она изобретала способ ускользнуть от нашего бдительного надзора, а поздно вечером, шатаясь, брела домой в таком виде, что мне не хочется пачкать бумагу его описанием.

Ужасный конец, о котором я уже упоминал, наступил вечером в субботу. Она, вероятно, была пьяна не на шутку,

потому что, как рассказывал пивовар, поскольку уже стемнело, да и лошади еле волочили ноги от усталости, телега двигалась вперед со скоростью, только слегка превышающей скорость улитки.

Мне думается, что бабушка не только не опечалилась, а скорее, наоборот, почувствовала облегчение. Когда-то она очень любила свою кошку, но ее поведение за последнее время охладило бабушкины чувства. Мы, дети, устроили похороны в саду под шелковицей, бабушка же сказала, чтобы мы не смели класть никакого надгробного камня и даже холмика насыпать не разрешила. Вот так и лежит наша кошка в могиле безо всякого почета, как настоящая пьянчуга.

Потом я рассказал Джефсону про другую кошку, которая тоже жила у нас в доме. Это была самая образцовая мать из всех матерей, каких я знал. Без семьи она не была счастлива. Насколько я помню, у нее всегда было семейство в той или иной стадии роста. Ей было все равно, что из себя представляла ее семья. Не было котят — в таком случае ее вполне устраивали щенки или крысят. По душе ей было все, что можно было вымыть и накормить. Если бы доверить ей цыплят, вероятно, она и их бы успешно вырастила.

Все интересы этой кошки ограничивались материнством, на большее ее не хватало. Она не различала своих и чужих детей. В ее глазах всякое юное существо было котенком. Однажды мы подсунули в ее потомство щенка спаниеля. Никогда не забуду ее изумления, когда она впервые услышала лай. Надавав ему пощечин, она уселась, поглядывая на провинившегося с выражением такого горестного негодования, что, честное слово, за сердце брало.

— Так-то ты намерен стать гордостью своей матери, — говорил ее вид. — Очень милое утешение в старости — смотреть на безобразие, какое ты учинил. А уши-то, уши шлепают по всей физиономии. Представить не могу, где только ты набираешься подобных манер.

Песик был очень славный. Он и мяукать старался, и умываться лапой, и пробовал не вилять хвостом, но все его добрые намерения были тщетными. Трудно сказать, что представляло собой более грустную картину — щенок, силившийся стать благовоспитанным котенком, или его приемная мать, скорбевшая по поводу того, что ребенок оказался настолько невосприимчивым.

Как-то раз дали мы ей на воспитание бельчонка. В это время у нее была собственная семья, но она с восторгом усюновила новичка, решив, что появился еще один котенок, хотя никак не могла сообразить, как это она проглядела его с самого начала. Вскоре бельчонок стал ее любимцем. Она восхищалась цветом его шерсти, а хвост сына был ее материнской гордостью. Беспokoило только, что хвост постоянно торчал дыбом у него над головой. По полчаса приходилось придерживать его лапой и прилизывать вниз, чтобы он улегся, как положено. Но стоило снять лапу — хвост опять задирался кверху. Я не раз слышал, как она при этом плакала от досады.

Как-то заглянула в гости соседская кошка, и разговор сразу же перешел на бельчонка.

— Прекрасный оттенок, — отметила приятельница, критически взглянув на предполагаемого котенка, который сидел на задних лапках и расчесывал свои усики; из всех приятных вещей, которые говорят в таких случаях, она могла от чистого сердца сказать только это.

— Да, цвет у него прелестный! — горделиво воскликнула наша кошка.

— Мне не очень нравятся его ноги, — заявила приятельница.

— Вы правы, — задумчиво сказала мать. — Ножки — это его слабое место. Я сама замечаю, что ноги у него нехороши.

— Возможно, они еще пополнеют, — доброжелательно добавила приятельница.

— Ах, конечно, я тоже надеюсь! — К матери вернулось радужное настроение, которое она на мгновение утратила. — Конечно, с возрастом они станут у него нормальными. А на хвост его посмотрите. Скажите, видели вы когда-нибудь котенка с более очаровательным хвостом?

— Да, прекрасный хвост, — согласилась вторая, — только почему вы ставите его торчком поверх головы?

— Я тут ни при чем, он сам лезет вверх. Не могу понять, в чем дело. Вероятно, постепенно это пройдет, и он примет правильное положение.

— Ужасно, если он так и останется, — заметила приятельница.

— Нет, я уверена, все будет в порядке, следует только прилизывать его почаще. Такие хвосты нужно долго и очень тщательно прилизывать.

Соседка ушла, и мамаша несколько часов подряд приводила хвост в порядок; потом, когда она наконец сняла лапу, хвост подобно стальной пружине опять взмыл над головой бельчонка; тогда она загрустила и взглянула на сына с чувством, понятным лишь тем из моих читательниц, которые сами побывали в роли матери.

«За что, — казалось, говорила она, — за что на меня свалилось такое горе?»

Как только я кончил свое повествование, Джефсон встрепенулся.

— Видно, ты и твои друзья не испытывали недостатка в самых выдающихся кошках, — заметил он.

— Представь себе, — сказал я, — нашему семейству исключительно везло с кошками.

— Поистине исключительно, — согласился Джефсон, — такие удивительные кошачьи истории, какими ты то и дело меня потчуеть, я слышал только от тебя да еще от одного человека.

— Ого, — в моем голосе, кажется, появилась ревнивая нотка, — кто это такой?

— Один моряк, — сказал Джефсон. — Познакомились мы в трамвае по дороге в Хэмпстед и мало-помалу разговорились про умственные способности животных.

— Так вот, сэр, — сказал он, — конечно, у мартышек есть смекалка. Я видал таких, что заткнут за пояс некоторых олухов, с какими я ходил в плаванье, да и про слонов тоже можно сказать, что они хорошо соображают, если только верить всему, что про них рассказывают. А я наслушался про них разных небылиц!

Ну, слов нет, у собак тоже есть голова на плечах, да я и не говорю, что они безголовые. Но одно я вам скажу: если потребуется честно, хладнокровно поразмыслить, безо всяких там вывертов, подайте мне кошку. Тут ведь дело в чем, сэр: собака — она невесть как высоко ставит человека, воображает, что умнее в мире никого нет, вот ведь как она думает и, не жалея сил, старается всех об этом оповестить. Так что ничего удивительного, что для нас собака самый разумный зверь. А кошка — у нее особое мнение о человеке. Она

много слов не тратит, но и без того ясно, что у нее на уме, остального и слушать не захочется. Вот нам и кажется, что у кошки нет соображения. Настроились против кошек, так и пошли по неверному курсу. Признайтесь по совести, ведь нет той кошки, которая не сумела бы забежать с подветренной стороны и удрать от собаки. Вы видели когда-нибудь, как собака рвется с цепи, чтобы разодрать в клочья кошку, а та преспокойно сидит себе в трех четвертях дюйма и умывается? Наверняка видали. Ну, так у кого из этих двух больше сметки? Кошка знает, что стальная цепь не растягивается. А собаке-то, кажется, уж сам черт велел знать про цепочки в сто раз больше кошек, и все-таки она уверена — стоит погромче полаять, цепочка-то и вытянется.

Вам небось не раз приходилось по ночам беситься из-за кошачьих концертов, выскакивать из постели, распахивать окно и орать на этих негодяев не своим голосом? Вопли вы издаете такие, что и у мертвецов пошли бы мурашки, и руками размахиваете, как на сцене. А они? Хоть на дюйм они при этом сдвинутся? Как бы не так. Они только обернутся и посмотрят на вас. «Повопи, повопи, дружок, — скажут, — приятно слышать; чем громче, тем веселее». Что делать? Тогда вы хватаете щетку, или башмак, или подсвечник и делаете вид, что сейчас в них запустите. Они видят, что вы приготовились, видят предмет в вашей руке, но не трогаются с места ни на крошку. Они соображают, что вы не намерены швырять ценные вещи за окно с риском или совсем их потерять, или испортить. У них у самих хватает ума, и нам они отдают должное, считая, что и у нас в головах кое-что есть. Не верите — в следующий раз попробуйте, покажите кошке кусок угля или половину кирпича — такое, что, по ее мнению, не жаль выбросить. Не успеешь замахнуться, как кошки и след простыл.

А что касается знания жизни, то собаки по сравнению с кошками просто грудные младенцы. Вам не приходилось болтать по пустякам при кошке?

Я ответил, что кошки часто присутствовали, когда я рассказывал всякую всячину, но я как-то до сих пор не обращал особого внимания на их поведение.

— При случае попробуйте, сэр, — сказал мой собеседник, — не пожалеете. Если при кошке рассказать какую-нибудь историю и она выслушает все от начала до конца и не

выразит никаких признаков неудовольствия, то потом эту историю можно спокойно рассказывать самому верховному судье Великобритании.

У меня есть один приятель, — продолжал он, — Вильям Кули. Мы его прозвали Правдивый Билл. Он ничем не хуже любого матроса, какой ходил по шканцам, но когда он начинает плести свои басни, то я бы вам не советовал на него полагаться. Так вот у этого Билла есть собака, и я видал, как он при ней нес такую несурязицу, что кошка вылезла бы из шкуры от негодования, а собака ничего, верила. Однажды вечером мы с Биллом сидели у его девчонки, и он нас накормил такой историей, что по сравнению с ней солонина, дважды побывавшая в плаванье, покажется парным цыпленком. Я смотрел, что будет с собакой. Она от начала до конца все прослушала, не сморгнув, только уши навестила. То и дело она оглядывалась с выражением удивления или восторга, будто хотела сказать: «Удивительно, правда?», «Подумать только!», «Да неужели?», «Ну, это уж совсем из ряда вон!». Это была дура, а не собака, ей можно было рассказывать все, что угодно.

Меня возмушало, что Билл держит зверя, который только поощряет его, поэтому, когда он окончил, я сказал:

— Как-нибудь вечером загляни ко мне, расскажешь эту историю еще разок.

— Зачем? — спросил Билл.

— Просто мне взбрело в голову, — ответил я. Я хотел, чтобы его послушала моя старая кошка. Но этого я ему не открыл.

— Ладно, — сказал Билл, — ты мне только напомни. — Билл любил поболтать языком, хлебом его не корми.

Денька два спустя он пришвартовывается к моей каюте, и я ему напоминаю о его обещании. С места в карьер он начинает. Нас было человек шесть, все расселись вокруг него, а моя кошка сидела у огня и наводила красоту. Только он вошел во вкус, как она перестала умываться и посмотрела на меня озадаченно, точно хотела сказать: «Что здесь происходит? Проповедь?» Я дал ей знак помалкивать, и Билл поплыл дальше со своей историей. Как только он дошел до акул, она медленно обернулась и взглянула на него. Выражение ее морды было такое, скажу я вам, что даже уличный разносчик устыдился бы. Такое человеческое выражение,

что, честное слово, я на момент даже забыл, что бедняга не умеет говорить. Казалось, с губ у нее сейчас сорвется: «Ты бы еще рассказал, как ты глотал якорь!» Я сидел, точно на сковородке, и все ждал: вот-вот она скажет это вслух. Только тогда я и вздохнул спокойно, когда она отвернулась от Билла.

Несколько минут она сидела смирно, и казалось – в ней шла внутренняя борьба. Я не знаю кошки, которая умела бы так сдерживаться или страдать втихомолку. Сердце переворачивалось, глядя на нее.

Наконец Билл дошел до того места, где они вдвоем с капитаном распаивают акулю пасть и юнга ныряет внутрь вниз головой и вылавливает непереваренные золотые часы и цепочку, которые носил боцман, незадолго до того упавший за борт; в этот момент кошка взвизгнула и повалилась на бок, задрала лапы.

Сначала я подумал, что она умерла, но мало-помалу она оправилась и вроде взяла себя в руки, чтобы дослушать все до конца.

Через некоторое время, однако, Билл опять довел ее до крайности, и на этот раз она решила, что с нее хватит. Она поднялась и повернулась к нам.

– Извините меня, джентльмены, – сказала она (по крайней мере так мне показалось), – быть может, вы привыкли к такой чепухе, и вам это на нервы не действует. А я не могу. Я чувствую – мой организм больше не выдерживает этой дурацкой болтовни, поэтому, если вы не возражаете, я уйду, пока меня не стошнило.

Тут она направилась к выходу, я распахнул для нее дверь, и она вышла.

Так что кошка не собака, ее болтовней не надуешь.

ИЗ СБОРНИКА
«ДЖОН ИНГЕРФИЛД И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ»
(1894)

ПАМЯТИ ДЖОНА ИНГЕРФИЛДА
И ЖЕНЫ ЕГО АННЫ

*Повесть из жизни старого Лондона
в двух главах*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Если вы доедете на метро до Уайтчепел-роуд (Восточная станция) и, сев в один из желтых трамвайных вагонов, которые ходят оттуда по Коммершал-роуд мимо харчевни «Джордж», где стоит (или стоял некогда) высокий флагшток, под которым сидит (или сидела некогда) пожилая торговка свинными ножками — полтора пенса штука, — доберетесь до того места, где арка железнодорожного моста наискось пересекает путь, сойдете и свернете направо в узкий, шумный переулок, ведущий к реке, а затем снова направо, в еще более узкий переулок, который легко узнать по трактиру на одном углу (явление вполне обычное) и лавке торговца подержанным морским товаром на другом, где необычайно жесткие и неудобные одежды гигантских размеров раскачиваются на ветру, напоминая привидения, — то доберетесь до запущенного кладбища, обнесенного оградой и окруженного со всех сторон унылыми, перенаселенными домами. Невесело выглядят эти старые домишки, хотя жизнь так и кипит у их вечно открытых дверей. Сами они и старая церковь среди них словно утомлены этим непрекращающимся шумом. Быть может, простояв здесь столько лет, прислушиваясь к глубокому молчанию мертвых, они находят голоса живых назойливыми и бессмысленными.

Заглянув сюда сквозь ограду со стороны реки, вы увидите в тени закопченного крыльца столь же закопченной церкви (в том случае, если солнце сумеет пробиться сюда и отбросить вообще какую бы то ни было тень в этом царстве вечных сумерек) необычайно высокий и узкий надгробный камень, некогда белый и прямой, а ныне расшатанный и покосившийся от времени. На камне высечен барельеф, в чем вы сами убедитесь, если подойдете к нему, воспользовавшись воротами на противоположной стороне кладбища. Барельеф — насколько его еще возможно рассмотреть, ибо он сильно пострадал от времени и грязи — изображает распростертого на земле человека, над которым склонился кто-то другой, а немного поодаль находится еще какой-то предмет с очертаниями столь неясными, что его можно с одинаковым успехом принять и за ангела, и за столб.

Под барельефом высечены слова (ныне уже наполовину стершиеся), которые и послужили заглавием для нашего рассказа.

Если вам случится воскресным утром бродить в тех местах, куда долетают звуки надтреснутого колокола, сзывающего немногочисленных старомодного вида прихожан, движимых силой привычки на богослужение под эти покрытые плесенью своды, и разговориться со стариками, сидящими иногда в своих длинных сюртуках с медными пуговицами на низком камне у поломанной решетки, то они, возможно, расскажут вам эту повесть, как рассказали ее мне очень давно, так давно, что об этом и вспоминать не хочется.

Но на тот случай, если вы не пожелаете утруждать себя или если старикам, хранившим в памяти эту историю, надоело болтать и их уже никогда больше не удастся вызвать на разговор, а вы все-таки захотите ее услышать, я решился записать ее для вас.

Но я не в состоянии передать эту историю так, как мне ее рассказали, ибо для меня это была лишь легенда, которую я услышал и запомнил, чтобы потом пересказать за деньги, в то время как для них это было нечто имевшее место в действительности и, подобно нитям, вплетенное в ткань их собственной жизни. Во время рассказа лица, которых я не мог видеть, проплывали среди толпы, оборачивались и смотрели на них, и голоса, которых я не мог слышать, говорили с ними сквозь шум улицы, так что в слабых,

дребезжащих звуках их речи трепетно звучала глубокая музыка жизни и смерти, и моя история по сравнению с их рассказом не больше чем болтовня какой-нибудь кумушки по сравнению с повествованием человека, грудью испытывавшего всю тяжесть битвы.

Джон Ингерфилд, хозяин салотопенного завода, Лавандавая верфь, Лаймхаус, происходит из скупого, практичного рода. Первый представитель этого рода, которого взор Истории, проникая сквозь густой туман минувших столетий, способен различить сколько-нибудь отчетливо, — длинноволосый, загорелый в морских странствиях человек, которого люди зовут по-разному, Инге или Унгер. Дикое Северное море пришлось ему пересечь, чтобы добраться сюда. История повествует о том, как вместе с небольшим отрядом свирепых воинов высадился он на пустынном берегу Нортумбрии; вот он стоит, вглядываясь в глубь страны, и все его достояние находится у него за спиной. Оно состоит из двуручной боевой секиры стоимостью что-нибудь около сорока стюк в деньгах того времени. Однако бережливый человек, наделенный деловыми способностями, даже из малого капитала сумеет извлечь большую прибыль. За срок, который людям, привыкшим к нашим современным темпам, покажется nepостижимо коротким, боевая секира превратилась в обширные земельные угодья и тучные стада, продолжавшие затем размножаться с быстротой, какая и не снилась нынешним скотоводам. Потомки Инге, по-видимому, унаследовали таланты своего предка, ибо дела их процветают, а достояние приумножается. Этот род сплошь состоит из людей, делающих деньги. Во все времена, из всего на свете, всеми средствами делают они деньги. Они сражаются ради денег, женятся ради денег, живут ради денег и готовы умереть ради денег.

В те времена, когда самым ходким и ценным товаром на рынках Европы считались сильная рука и твердый дух, все Ингерфилды (ибо имя Инге, давно укоренившееся на йоркширской почве, измененное и искаженное, стало звучать именно так) были наемниками и предлагали свою сильную руку и твердый дух тому, кто платил больше. Они знали себе цену и зорко следили за тем, чтобы не продешевить; но, заключив сделку, они храбро сражались, потому

что это были стойкие люди, верные своим убеждениям, хотя убеждения их и были не слишком возвышенны.

Шло время, и люди узнали о несметных сокровищах за океаном, ожидающих храбрецов, которые сумеют покорить морские просторы; и спящий дух старого норманнского пирата пробудился в их крови, и дикая морская песня, которой они никогда не слышали, зазвучала в их ушах; и они построили корабли, и поплыли к берегам Америки, и, как всегда, завладели огромными богатствами.

Впоследствии, когда Цивилизация начала устанавливать и вводить более суровые правила в игре жизни и мирные пути обещали стать прибыльнее насильственных, Ингерфилды сделались солидными и трезвыми торговцами и купцами, ибо их честолюбивые помыслы передавались из поколения в поколение неизменными, а различные профессии были лишь средством для достижения одной цели.

Пожалуй, это люди суровые и жестокие, но справедливые — в том смысле, в каком сами они понимали справедливость. Они пользуются славой хороших мужей, отцов и хозяев; но при этом невольно приходит на ум, что к ним питают скорее уважение, чем любовь.

Эти люди взыскивали долги до последнего фартинга, но и не были лишены сознания собственных обязанностей, долга и ответственности, — мало того, им случалось даже проявлять героизм, что присуще великим людям. История сохранила память о том, как некий капитан Ингерфилд, возвращаясь с несметными сокровищами из Вест-Индии, — какими путями довелось ему собирать свои богатства, пожалуй, лучше здесь особенно подробно не разбирать, — был настигнут в открытом море королевским фрегатом. Капитан королевского фрегата вежливо обращается к капитану Ингерфилду с просьбой быть настолько любезным и немедленно выдать одного человека из команды, который так или иначе стал нежелательным для друзей короля, с тем чтобы он (упомянутое нежелательное лицо) был незамедлительно повешен на нокрее.

Капитан Ингерфилд вежливо отвечает капитану королевского фрегата, что он (капитан Ингерфилд) с величайшим удовольствием повесит любого из своей команды, кто этого заслуживает, но права своего не уступит ни королю Англии, ни кому бы то ни было другому на всем Божьем

океане. Капитан королевского фрегата заявляет на это, что, если нежелательное лицо не будет незамедлительно выдано, он, к своему величайшему сожалению, вынужден будет отправить капитана Ингерфилда вместе с его кораблем на дно Атлантического океана. Ответ капитана Ингерфилда гласит: «Именно это вам и придется сделать, прежде чем я выдам одного из моих людей», — и он атакует огромный фрегат с такой яростью, что после трехчасового боя капитан королевского фрегата считает за благо возобновить переговоры и отправляет новое послание, учтиво признавая доблесть и воинское искусство капитана Ингерфилда и предлагая, чтобы тот, сделав достаточно для поддержания своей чести и доброго имени, пожертвовал теперь ничтожной причиной раздора, получив таким образом возможность скрыться вместе со своими богатствами.

— Передайте своему капитану, — кричит в ответ Ингерфилд, понявший теперь, что, кроме денег, есть и другие ценности, за которые стоит сражаться, — что «Дикий гусь» уже перелетал моря с животом, набитым сокровищами, и если Богу будет угодно, то перелетит и на этот раз, но что хозяин и матросы на этом корабле вместе плавают, вместе сражаются и вместе умирают!

После этого королевский фрегат открывает еще более яростную стрельбу, и ему наконец удается привести в исполнение свою угрозу. Ко дну идет «Дикий гусь», ибо окончена последняя охота, ко дну идет он, зарывшись носом в воду, с развевающимися флагами, и вместе с ним идут ко дну все, кто еще остался на палубе; они и поныне лежат на дне Атлантического океана, хозяин и матросы, бок о бок, охраняя свои сокровища.

Этот случай, достоверность которого не подлежит сомнению, убедительно свидетельствует о том, что Ингерфилды, люди жестокие и жадные, стремящиеся приобрести скорее деньги, чем любовь, и предпочитающие холодное прикосновение золота теплым чувствам родных и близких, все же носят глубоко в своих сердцах благородные семена мужества, которые, однако, не смогли дать всходы на бесплодной почве их честолюбия.

Джон Ингерфилд, герой нашей повести, — типичный представитель своего древнего рода. Он понял, что очистка масла и сала хотя и не слишком приятное, но чрезвычай-

но прибыльное дело. Он живет в веселые времена короля Георга III, когда Лондон быстро становится городом ярко освещенных ночей. Спрос на масло, сало и тому подобные товары постоянно возрастает, и молодой Джон Ингерфилд строит большой салотопенный завод и склад в новом предместье Лаймхаус, расположенном между вечно оживленной рекой и пустынными полями, нанимает множество рабочих, вкладывает в это дело свой твердый дух и процветает.

Все годы своей молодости он трудится и наживает деньги, пускает их в оборот и снова наживает. Достигнув средних лет, он становится богатым человеком. Основная задача его жизни — накопление денег — в сущности выполнена: его предприятие прочно стало на ноги и будет расширяться дальше, требуя все меньше надзора. Настала пора подумать о второй важной задаче, о том, чтобы обзавестись женой и домом, ибо Ингерфилды всегда были добрыми гражданами, достойными отцами семейств и хлебосольными хозяевами, устраивавшими пышные приемы для своих друзей и соседей.

Джон Ингерфилд, сидя на жестком стуле с высокой спинкой в своей строго, но солидно обставленной столовой на втором этаже и неторопливо потягивая портвейн, держит совет с самим собой.

Какой она должна быть?

Он богат и может позволить себе приобрести хороший товар. Она должна быть молода, красива, чтобы стать достойным украшением роскошного дома, который он снимет для нее в модном квартале Блумсбери, подальше от запаха масла и сала. Она должна быть хорошо воспитана, с приятными, изысканными манерами, чтобы очаровывать его гостей и снискать ему доверие и уважение; и, главное, она должна быть из хорошей семьи с достаточно развесистым родословным древом, в тени которого можно было бы скрыть Лавандовую верфь от глаз общества.

Остальные присущие или не присущие ей качества не слишком его интересуют. Разумеется, она будет добродетельна и умеренно благочестива, как это и полагается женщине. Недурно также, если у нее окажется мягкий и уступчивый характер, но это не так уж важно, во всяком случае, поскольку это касается его: Ингерфилды не принадлежали к тому типу мужей, на которых жены срывают свой нор.

Решив про себя, *какова* должна быть его жена, он перешел к обсуждению с самим собой вопроса о том, кто ею будет. Круг его знакомств в обществе довольно узок. Методически он перебирает в памяти всех, мысленно оценивая каждую знакомую девицу. Некоторые из них очаровательны, некоторые — хороши собой, некоторые — богаты; но среди них нет ни одной, которая хоть сколько-нибудь приближалась бы к столь заботливо созданному им идеалу.

Мысль о невесте постоянно у него на уме, и он размышляет об этом в перерывах между делами. В свободные минуты он записывает имена, по мере того как они приходят ему на память, на листе бумаги, который специально для этой цели приколот на крышке его конторки, с внутренней стороны. Он располагает их в алфавитном порядке, а внося в список всех, кого только удастся вспомнить, критически пересматривает его, делая пометки против каждого имени. В результате ему становится ясно, что жену следует искать не в числе его знакомых.

У него есть друг, или, скорее, приятель, старый школьный товарищ, превратившийся в одну из тех любопытных мух, которые во все времена, жужжа, вьются в самых избранных кругах и о которых, поскольку они не блещут ни оригинальностью или богатством, ни особым умом или воспитанием, люди невольно думают: «И как это, черт побери, удалось им проникнуть туда!» Однажды, случайно встретившись с этим человеком на улице, он берет его под руку и приглашает к обеду.

Как только они остаются одни за бутылкой вина и грецкими орехами, Джон Ингерфилд, задумчиво раскалывая твердый орех между пальцами, говорит:

— Вилл, я собираюсь жениться.

— Прекрасная мысль, право же, я в восторге, — отвечает Вилл, интересуясь этой новостью несколько менее, чем тонким букетом мадеры, которую он любовно потягивает. — На ком?

— Пока еще не знаю, — отвечает Джон Ингерфилд.

Приятель лукаво смотрит на него поверх стакана, не уверенный, следует ли ему рассмеяться или же отнестись к словам Джона сочувственно.

— Я хочу, чтобы ты нашел для меня жену.

Вилл Каткарт ставит стакан и изумленно глядит на хозяина через стол.

— Я рад бы помочь тебе, Джек, — запинаясь, мямлит он встревоженным тоном, — Богом клянусь, рад бы; но, право же, я не знаю ни одной женщины, которую я мог бы тебе рекомендовать, — Богом клянусь, ни одной не знаю.

— Ты встречаешь их множество: я хочу, чтобы ты искал такую, которую *мог бы* рекомендовать.

— Разумеется, мой милый Джек! — отвечает Вилл, облегченно вздыхая. — До сих пор я никогда не думал о них в таком смысле. Не сомневаюсь, мне удастся найти как раз такую девушку, какая тебе нужна. Я приложу все усилия и дам тебе знать.

— Буду тебе весьма признателен, — спокойно произносит Джон Ингерфилд. — Теперь твоя очередь оказать мне услугу, Вилл. Ведь я тебе оказал услугу в свое время, если помнишь.

— Я никогда не забуду этого, милый Джек, — бормочет Вилл, чувствуя себя несколько неловко. — Это было так великодушно с твоей стороны. Ты спас меня от разорения, Джек: я буду помнить об этом до конца своих дней — Богом клянусь, до конца дней.

— Тебе незачем утруждать себя в течение столь долгого времени, — возражает Джон с едва уловимой улыбкой на твердых губах. — Срок векселя истекает в конце следующего месяца. Тогда ты сможешь выплатить долг и забыть об этом.

Вилл чувствует, что стул, на котором он сидит, почему-то становится неудобным, а мадера как бы теряет свой аромат. У него вырывается короткий нервный смешок.

— Черт побери, — говорит он. — Неужели так скоро? Я совершенно забыл о сроке.

— Как хорошо, что я напомнил тебе, — отвечает Джон, и улыбка на его губах становится отчетливее.

Вилл ерзает на стуле.

— Боюсь, милый Джек, — говорит он, — что мне придется просить тебя возобновить вексель, всего на месяц или на два, мне чертовски неприятно, но в этом году у меня очень туго с деньгами. Дело в том, что я сам не могу получить денег со своих должников.

— Это в самом деле очень неприятно, — отвечает его друг, — потому что я отнюдь не уверен, что смогу возобновить вексель.

Вилл смотрит на него с некоторой тревогой.

— Но что же мне делать, если у меня нет денег?

Джон Ингерфилд пожимает плечами.

— Не хочешь же ты сказать, милый Джек, что засадишь меня в тюрьму?

— А почему бы и нет? Ведь сажают же туда других людей, которые не в состоянии уплатить долгов.

Тревога Вилла Каткарта возрастает до невероятных размеров.

— Но наша дружба! — восклицает он. — Наша...

— Мой милый Вилл, — перебивает его Ингерфилд, — немного найдется друзей, которым я одолжил бы триста фунтов и не попытался получить их обратно. И уж, разумеется, ты не в их числе.

Давай заключим сделку, — продолжает он. — Найди мне жену, и в день свадьбы я верну тебе этот вексель и дам, пожалуй, еще сотни две в придачу. Если к концу следующего месяца ты не представишь меня женщине, которая достойна стать и согласна стать миссис Джон Ингерфилд, я откажусь возобновить вексель.

Джон Ингерфилд снова наполняет свой стакан и радушно пододвигает бутылку гостю, который, однако, вопреки своему обыкновению, не обращает на нее внимания, а пристально разглядывает пряжки на своих башмаках.

— Ты это серьезно? — спрашивает он наконец.

— Совершенно серьезно, — следует ответ. — Я хочу жениться. Моя жена должна быть леди по рождению и воспитанию. Она должна быть из хорошей семьи, достаточно хорошей для того, чтобы заставить общество забыть о моей фабрике. Она должна быть молода, красива и обаятельна. Я всего лишь делец. Мне нужна женщина, способная взять на себя светскую сторону моей жизни. Среди моих знакомых такой женщины нет. Я обращаюсь к тебе, потому что ты, как мне известно, близко связан с тем кругом, в котором ее следует искать.

— Будет довольно трудно найти леди, отвечающую всем этим требованиям, которая согласилась бы на подобные условия, — произносит Каткерт не без ехидства.

— Я хочу, чтобы ты нашел такую, которая согласится, — возражает Джон Ингерфилд.

С наступлением вечера Вилл Каткарт покидает хозяйна, серьезный и озабоченный; а Джон Ингерфилд в раздумье прохаживается взад и вперед по пристани, ибо запах масла и сала стал для него сладок, и ему приятно созерцать лунные блики на грудах бочонков.

Проходит шесть недель. В первый же день седьмой недели Джон достает вексель Вилла Каткарта из большого сундука, где он хранился, и кладет его в ящик поменьше, который стоит у конторки и предназначен для более срочных и неотложных документов. Два дня спустя Каткарт пересекает грязный двор, проходит через контору и, войдя в святилище своего друга, прикрывает за собой дверь.

С ликующим видом он хлопает мрачного Джона по спине.

— Нашел, Джек! — восклицает он. — Это было нелегкое дело, я тебе скажу: пришлось выпрашивать недоверчивых пожилых вдов, подкупать доверенных слуг, добывать сведения у друзей дома. Черт возьми, после всего этого я мог бы поступить на службу к герцогу в качестве главного шпиона всей королевской армии!

— Хороша ли она собой? — интересуется Джон, не переставая писать.

— Хороша ли! Милый Джек, да ты влюбишься по уши, как только увидишь ее. Пожалуй, немного холодна, но ведь это как раз то, что тебе нужно.

— Из хорошей семьи? — спрашивает Джон, подписывая и складывая оконченное письмо.

— Настолько хорошей, что сначала я не смел и мечтать о ней. Но она здравомыслящая девушка без всяких этаких глупостей, а семья бедна, как церковная крыса. Так вот — дело в том, что мы с ней стали самыми добрыми друзьями, и она сказала мне откровенно, что хочет выйти замуж за богатого человека, безразлично, за кого именно.

— Это звучит многообещающе, — замечает предполагаемый жених со своей своеобразной сухой улыбкой. — Когда я буду иметь счастье увидеться с ней?

— Сегодня вечером мы пойдем с тобой в Ковент-Гарден, — отвечает Вилл. — Она будет в ложе леди Хетерингтон, и я тебя представлю.

Итак, вечером Джон Ингерфилд отправляется в театр Ковент-Гарден, и кровь в его жилах бежит лишь чуточку быстрее, чем тогда, когда он отправляется в доки для закупки масла; он украдкой осматривает предлагаемый товар с противоположного конца зала, одобряет его, представлен ей и после более близкого осмотра одобряет ее еще больше, получает приглашение бывать в доме, бывает довольно часто и всякий раз чувствует себя все более удовлетворенным ценностью, добротностью и другими достоинствами товара.

Если Джон Ингерфилд требовал от своей жены единственно, чтобы она была красивой светской машиной, то в этой женщине он, безусловно, обрел свой идеал. Анна Синглтон, единственная дочь неудачливого, но необычайно обаятельного баронета сэра Гарри Синглтона (по слухам, более обаятельного вне своей семьи, чем в ее кругу), оказалась прекрасно воспитанной девушкой, полной величавой грации. С ее портрета кисти Рейнольдса, который и поныне висит над деревянной панелью на стене одного из старых залов в Сити, смотрит на нас лицо поразительно красивое и умное, но вместе с тем необычайно холодное и бессердечное. Это лицо женщины, уставшей от мира и в то же время презирающей его. В старых семейных письмах, строки которых сильно выцвели, а страницы пожелтели, можно найти немало критических замечаний по поводу этого портрета. Авторы писем жалуются на то, что если в портрете вообще имеется какое-либо сходство с оригиналом, то Анна, по-видимому, сильно изменилась по сравнению с годами девичества, ибо они помнят, что тогда ее лицу было свойственно веселое и ласковое выражение.

Те, кто знал ее впоследствии, говорят, что такое выражение вернулось к ней в конце жизни, а многие даже отказываются верить, что красивая, презрительно усмехающаяся леди, изображенная на портрете, — та самая женщина, которая с нежностью и участием склонялась над ними.

Но во время странного сватовства Джона Ингерфилда это была Анна Синглтон, изображенная на портрете сэра Джошуа, и от этого она еще больше нравилась Джону Ингерфилду.

Сам он не связывал с женитьбой никаких чувств, и она также, что значительно упрощало дело. Он предложил ей

делку, и она приняла предложение. По мнению Джона, ее отношение к браку было вполне обычным для женщины. У очень молодых девушек голова набита романтическим вздором. И для него, и для нее лучше, если она избавилась от этого.

— Наш союз будет основан на здравом смысле, — сказал Джон Ингерфилд.

— Будем надеяться, что опыт удастся, — ответила Анна Синглтон.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Но опыт не удается. По законам Божеским мужчина должен покупать женщину, а женщина — отдаваться мужчине за иную плату, нежели здравый смысл. Здравый смысл не имеет хождения на брачном рынке. Мужчины и женщины, появляющиеся там с кошельком, в котором нет ничего, кроме здравого смысла, не имеют права жаловаться, если, вернувшись домой, они обнаружат, что заключили неудачную сделку.

Джон Ингерфилд, предлагая Анне стать его женой, пытал к ней не больше любви, чем к любому роскошному предмету обстановки, который он приобретал в то же время, и даже не пытался притворяться. Но если бы он и попытался, она все равно бы ему не поверила, ибо Анна Синглтон в свои двадцать два года познала многое и понимала, что любовь — это лишь метеор на небе жизни, а настоящей путеводной звездой является золото. Анна Синглтон уже изведала любовь и похоронила ее в самой глубине души, а на могиле, чтобы призрак не мог подняться оттуда, навалила камни безразличия и презрения, как это делали многие женщины до и после нее. Некогда Анне Синглтон пригрезилась чудесная история. Это была история, старая, как мир, а может быть, и еще старше, но ей она тогда казалась новой и прекрасной. Здесь было все, что полагается: юноша и девушка, клятвы в верности, богатые женихи, бессердечные родители, любовь, стоившая того, чтобы ради нее бросить вызов всему миру. Но однажды в ее сон из страны яви залетело письмо, беспомощное и жалостливое: «Ты знаешь, что я люблю только тебя, — было написано в нем, —

сердце мое до самой смерти будет принадлежать тебе. Но отец угрожает прекратить выплату моего содержания, а ты же знаешь, что у меня-то нет ничего, кроме долгов. Некоторые считают ее красивой, но может ли она сравниться с тобой? О, почему деньгам суждено быть нашим вечным проклятием?» — и множество других подобных же вопросов, на которые нет ответа, множество проклятий судьбе, Богу и людям и множество жалоб на свою горькую долю.

Анна Синглтон долго читала это письмо. Окончив и перечтя его еще раз, она встала, разорвала листок на куски и со смехом бросила в огонь, и, когда пламя, вспыхнув, угасло, она почувствовала, что жизнь ее угасла вместе с ним: она не знала, что разбитые сердца могут исцеляться.

Когда Джон Ингерфилд сватается к ней и ни слова не говорит о любви, упоминая лишь о деньгах, она чувствует, что вот наконец искренний голос, которому можно верить. Она еще не потеряла интереса к земной стороне жизни. Приятно быть богатой хозяйкой роскошного особняка, устраивать большие приемы, променять тщательно скрываемую нищету на открытую роскошь. Все это ей предлагают как раз на тех самых условиях, которые она и сама бы выдвинула. Если бы ей предложили еще и любовь, она бы отказалась, зная, что ей нечего дать взамен.

Но одно дело, когда женщина не желает привязанности, и другое — когда она ее лишена. С каждым днем атмосфера роскошного дома в Блумсбери все сильнее леденит ей сердце. Гости по временам согревают его на несколько часов и уходят, после чего там становится еще холоднее.

Она старается быть безразличной к мужу, но живые существа, соединенные вместе, не могут быть безразличны друг к другу. Ведь даже две собаки на одной сворке вынуждены думать друг о друге. Муж и жена должны любить или ненавидеть, испытывать симпатии или антипатии в зависимости от того, насколько тесны или свободны связывающие их узы. По обоюдному желанию узы их брака настолько свободны, насколько позволяет приличие, и поэтому ее отвращение к нему не выходит за пределы вежливости.

Она честно выполняет взятые обязательства, ибо у Синглтонов тоже есть свой кодекс чести. Ее красота, очарование, такт, связи помогают ему делать карьеру и удовлетворять свое честолюбие. Она открывает ему двери, кото-

рые в ином случае остались бы для него закрытыми. Общество, которое в ином случае прошло бы мимо него с презрительной усмешкой, сидит за его столом. Ее желания и интересы неотделимы от его. Свой долг жены она выполняет во всем, стремится угодить ему, молча сносит его редкие ласки. Все, что предусмотрено сделкой, она выполнит до конца.

Он, со своей стороны, также играет свою роль с добросовестностью делового человека; более того: если вспомнить, что, угождая ей, сам он не испытывает никакого удовольствия, — даже не без великодушия. Он всегда внимателен и почтителен к ней, постоянно проявляет учтивость, которая не менее искренна от того, что не является врожденной. Каждое высказанное ею желание выполняется, каждое выражение неудовольствия принимается во внимание. Зная, что его присутствие действует на нее угнетающе, Джон Ингерфилд старается не докучать ей чаще, чем это необходимо.

По временам он спрашивает себя, и не без оснований, что дала ему женитьба, действительно ли шумная светская жизнь — это самая интересная игра из тех, которыми можно заполнить досуг, и, наконец, не был ли он счастливее в своей квартире над конторой, чем в этих роскошных, сверкающих комнатах, где он всегда выглядит и ощущает себя незванным гостем.

Единственное чувство, которое породила в нем близость с женой, — это чувство снисходительного презрения. Так же, как нет равенства между мужчиной и женщиной, так не может быть и уважения. Она — совершенно иное существо. Он способен смотреть на нее либо как на нечто высшее, либо как на нечто низшее. В первом случае мужчина в большей или меньшей степени влюблен, а любовь была чужда Джону Ингерфилду. Даже используя в своих целях ее красоту, очарование, такт, он презирает их как оружие слабого пола.

Так и живут они в своем большом доме, Джон Ингерфилд и жена его Анна, далекие и чужие друг другу, ни один не проявляет желания узнать другого поближе.

Он никогда не говорит с ней о своих делах, а она никогда не спрашивает. Чтобы вознаградить себя за те немногие часы, на которые ему приходится отрываться от дел, он становится суровее и требовательнее; он делается более

строгим хозяином, неумолимым кредитором, жадным торговцем, выжимая из людей все до последнего, лихорадочно стремясь стать еще богаче, чтобы иметь возможность потратить больше денег на игру, которая с каждым днем становится для него все более утомительной и неинтересной.

И груды бочонков на его пристанях растут и множатся; его суда и баржи плывут по грязной реке бесконечными караванами; вокруг его заплывших жиром котлов роится еще больше изнемогающих грязных созданий, превращающих масло и сало в золото.

Но вот однажды летом из своего гнезда где-то далеко на Востоке вылетает на Запад злое тварь. Покружившись над предместьем Лаймхаус, увидев здесь тесноту и грязь и почуввав манящее зловоние, она снижается.

Имя этой твари — тиф. Сначала она таится незамеченной, тучнея от жирной и обильной пищи, которую находит поблизости, но наконец, став слишком большой для того, чтобы прятаться дольше, она нагло высовывает свою чудовищную голову, и белое лицо Ужаса с криком проносится по улицам и переулкам, врывается в контору Джона Ингерфилда и громко заявляет о себе.

Джон Ингерфилд на некоторое время погружается в раздумье. Затем он садится на лошадь и по ухабам и рытвинам во весь опор скачет домой.

В прихожей он встречается с Анной и останавливает ее.

— Не подходите ко мне близко, — говорит он спокойно. — В Лаймхаусе эпидемия; говорят, болезнь передается даже через здоровых людей. Вам лучше уехать из Лондона на несколько недель. Отправляйтесь к отцу; когда все кончится, я приеду за вами.

Он далеко обходит ее и поднимается наверх, где несколько минут разговаривает со своим камердинером. Спустившись, он снова вскакивает в седло и уезжает.

Немного спустя Анна поднимается в его комнату. Слуга, стоя на коленях, укладывает чемодан.

— Куда вы его повезете? — спрашивает она.

— На пристань, сударыня, — отвечает слуга. — Мистер Ингерфилд намерен пробыть там день или два.

Тогда Анна усаживается в большой пустой гостиной и в свою очередь начинает размышлять.

Джон Ингерфилд, вернувшись в Лаймхаус, видит, что за короткое время его отсутствия эпидемия сильно распространилась. Раздуваемый страхом и невежеством, питаемый нищетой и грязью, этот бич, подобно огню, охватывает квартал за кварталом. Болезнь, долгое время таившаяся, теперь появилась одновременно в пятидесяти разных местах. Не было ни одной улицы, ни одного двора, которых она бы миновала. Более десятка рабочих Джона уже слегло. Еще двое свалились замертво у котлов за последний час. Паника доходит до невероятных размеров. Мужчины и женщины срывают с себя одежду, чтобы посмотреть, нет ли пятен или сыпи, находят их или воображают, что нашли, и с криком, полураздетые, выбегают на улицу. Два человека, встретившись в узком проходе, кидаются назад, страшась даже пройти близко друг от друга. Мальчик нагибается, чтобы почесать ногу, — поступок, который в обычных условиях не вызвал бы в этих краях особого удивления. Моментально все в ужасе бросаются вон из комнаты, и сильные давят слабых в своем стремлении скрыться.

В то время не было организованной борьбы с болезнью. В Лондоне нашлись добрые сердца и руки, готовые оказать помощь, но они еще недостаточно сплочены для того, чтобы противостоять столь стремительному врагу. Есть немало больниц и благотворительных учреждений, но большинство из них содержится в Сити на средства отцов города исключительно для бедных граждан и членов гильдий. Немногочисленные бесплатные больницы плохо оборудованы и уже переполнены. Грязный, расположенный на отлете Лаймхаус, всеми забытый, лишенный всякой помощи, вынужден защищаться собственными силами.

Джон Ингерфилд созывает стариков и с их помощью старается пробудить здравый смысл и рассудок у своих обезумевших от ужаса рабочих. Стоя на крыльце конторы и обращаясь к наименее перепуганным из них, он говорит о том, какую опасность таит в себе паника, и призывает к спокойствию и мужеству.

— Мы должны встретить бедствие и бороться с ним, как мужчины! — кричит он сильным, покрывающим шум го-лосом, который не раз сослужил службу Ингерфидам на полях сражений и на разбушевавшихся морях. — В нашей среде не должно быть трусливого эгоизма и малодушного

отчаяния. Если нам суждено умереть, мы умрем, но с Божьей помощью мы постараемся выжить. В любом случае мы сплотимся и будем помогать друг другу. Я не уеду отсюда и сделаю для вас все возможное. Ни один из моих людей не останется без помощи.

Джон Ингерфилд умолкает, и, когда звуки его сильного голоса затихают вдали, за его спиной раздается нежный голос, чистый и твердый:

— Я также пришла сюда, чтобы быть с вами и помогать своему мужу. Я буду ухаживать за больными и надеюсь принести вам пользу. Мой муж и я сочувствуем вашей беде. Я уверена, что вы будете мужественны и терпеливы. Мы вместе сделаем все возможное и не будем терять надежды.

Он оборачивается, готовый увидеть за собой пустоту и подивиться помрачению своего рассудка. Она вкладывает свою руку в его, и они смотрят друг другу в глаза; и в это мгновение, в первый раз в жизни, эти два человека по-настоящему видят друг друга.

Они не говорят ни слова. На разговоры нет времени. У них масса работы, очень срочной работы, и Анна хватается за нее с жадностью женщины, долгое время тосковавшей по радости, которую приносит труд. И при виде того, как она быстро и спокойно движется среди обезумевшей толпы, расспрашивая, успокаивая, мягко отдавая распоряжения, у Джона возникает мысль: вправе ли он позволить ей остаться здесь и рисковать жизнью ради его людей? И за ней другая: а как он может помешать ей? Ибо за этот час он осознал, что Анна — не его собственность; что он и она — как бы две руки, повинующиеся одному господину; что, работая вместе и помогая друг другу, они не должны мешать один другому.

Пока Джон еще не до конца понимает все это. Самая мысль кажется ему новой и странной. Он чувствует себя, как ребенок в волшебной сказке, внезапно обнаруживший, что деревья и цветы, мимо которых он небрежно проходил тысячи раз, могут думать и говорить. Один раз он шепотом предупреждает ее о трудностях и об опасности, но она отвечает просто: «Я обязана заботиться об этих людях так же, как и ты. Это моя работа», — и он больше не настаивает.

Анна обладает чисто женским врожденным умением ухаживать за больными, а ее острый ум заменяет ей опыт.

Заглянув в две-три грязные лачуги, где живут эти люди, она убеждается, что для спасения больных необходимо поскорее вывезти их оттуда. И она решает превратить огромную контору — длинную, высокую комнату на другом конце пристани — во временную больницу. Взяв в помощь семь или восемь женщин, на которых можно положиться, она приступает к осуществлению своего замысла. Она обращается с grosсбухами, словно это книги стихов, а товарные накладные — какие-нибудь уличные баллады. Пожилые клерки стоят, ошеломленные, воображая, что наступил конец света и мир стремительно проваливается в пустоту, но вот их бездеятельность замечена и их самих заставляют совершить святотатство и помочь разрушению собственного храма.

Анна отдает распоряжения ласково, с самой очаровательной улыбкой, но все же они остаются распоряжениями, и никому даже в голову не приходит ослушаться их. Джон — суровый, властный, непреклонный Джон, к которому с тех пор, как он девятнадцать лет назад окончил торговую школу Тейлора, ни разу не обращались тоном, более повелительным, чем робкая просьба, и который, случись что-либо подобное, решил бы, что внезапно нарушились законы природы, — неожиданно для себя оказывается на улице, спешит к аптекарю, на мгновение замедляет шаги, недоумевая, зачем и для чего он делает это, соображает, что ему велено сделать это и живо вернуться назад, изумляется, кто посмел приказать ему, вспоминает, что приказала Анна, не знает, что об этом подумать, но торопливо продолжает путь. Он «живо возвращается назад», получает похвалу за то, что вернулся так быстро, и доволен собой; его снова посылают уже в другое место с указаниями, что сказать, когда он придет туда. Он отправляется (ибо постепенно привыкает к тому, что им командуют). На полпути его охватывает сильная тревога, так как, попытавшись повторить поручение, чтобы убедиться, что правильно запомнил его, он обнаруживает, что все забыл. Он останавливается в волнении и беспокойстве, размышляет, не выдумать ли что-нибудь от себя, тревожно взвешивает шансы — что будет, если он поступит так и это раскроется. Внезапно, к своему глубочайшему изумлению и радости, он вспоминает слово в слово, что ему было сказано, и спешит дальше, снова и снова повторяя про себя поручение.

Он делает еще несколько шагов, и тут происходит одно из самых необычайных событий, которые случились на той улице до или после этого: Джон Ингерфилд смеется.

Джон Ингерфилд с Лавандовой верфи, пройдя две трети улицы Крик-Лейн, бормоча что-то себе под нос и глядя в землю, останавливается посреди мостовой и смеется; и какой-то маленький мальчик, который потом рассказывает об этом до конца своих дней, видит и слышит его и со всех ног мчится домой, чтобы сообщить удивительную новость, и мать задает ему хорошую порку за то, что он говорит неправду.

Весь этот день Анна героически трудится, и Джон помогает ей, а иногда и мешает. К ночи маленькая больница готова, три кровати уже поставлены и заняты; и вот теперь, когда сделано все возможное, они с Джоном поднимаются наверх в его прежние комнаты, расположенные над конторой.

Джон вводит ее туда не без опаски, ибо по сравнению с домом в Блумсбери они выглядят бедными и жалкими. Он усаживает ее в кресло у огня, просит отдохнуть, а затем помогает старой экономке, никогда не отличавшейся особой сообразительностью, а теперь совершенно обезумевшей от страха, накрыть на стол.

Анна наблюдает, как он двигается по комнате. Здесь, где проходила его настоящая жизнь, он, пожалуй, больше является самим собой, чем в чуждой ему светской обстановке; и этот простой фон, по-видимому, выгодно оттеняет его; Анна поражена, как это она не замечала раньше, что он — хорошо сложенный, красивый мужчина. И он вовсе не стар. Что это — неужели из-за плохого освещения? Он выглядит почти молодо. А почему бы ему и не выглядеть молодо, если ему всего лишь тридцать шесть, а в таком возрасте мужчина еще во цвете лет? Анна недоумевает, почему она раньше всегда думала о нем как о пожилом человеке.

Над большим камином висит портрет одного из предков Джона — того мужественного капитана Ингерфилда, который предпочел вступить в бой с королевским фрегатом, но не выдал своего матроса. Анна переводит глаза с мертвого лица на живое и улавливает явное сходство между ними. Прикрыв глаза, она мысленно видит перед собой сурового капитана, бросающего врагу свой вызов, и у него то же ли-

цо, что и у Джона несколько часов назад, когда он говорил: «Я намерен остаться здесь с вами и сделать для вас все возможное. Никто из моих людей не останется без помощи».

Джон пододвигает ей стул, и в это мгновение на него падает свет. Она украдкой бросает еще один взгляд на его лицо — сильное, суровое, красивое лицо человека, способного на благородные поступки. Анна задумывается о том, смотрел ли он на кого-нибудь с нежностью; внезапно ощущает при этой мысли острую боль; отвергает эту мысль как невозможную; пытается представить себе, как пошло бы ему выражение нежности; чувствует, что ей хотелось бы видеть на его лице выражение нежности просто из любопытства; размышляет, удастся ли это ей когда-нибудь.

Она пробуждается от своей задумчивости, когда Джон с улыбкой сообщает ей, что ужин готов, и они усаживаются друг против друга, чувствуя странное смущение.

С каждым днем работа становится все более напряженной; с каждым днем враг становится все более сильным, беспощадным, неодолимым, и с каждым днем, борясь против него бок о бок, Джон Ингерфилд и жена его Анна все более сближаются. В битве жизни познается цена сплоченности. Анне приятно, почувствовав усталость, поднять голову и увидеть, что он рядом; приятно среди окружающего тревожного шума услышать его громкий, сильный голос.

И, видя, как красивая фигура Анны двигается взад и вперед, среди ужаса и горя, видя ее красивые быстрые руки, делающие свое святое дело, ее проникающие в душу глаза, в которых мерцает глубокая нежность; слыша ее ласковый, чистый голос, когда она смеется, радуясь вместе с другими, успокаивает беспокойных, мягко приказывает, кротко упрямивает, — Джон чувствует, как в его мозг заползают странные новые мысли относительно женщин вообще и этой женщины в особенности.

Однажды, роясь в старом ящике, он случайно находит книжку рассказов из Библии с цветными картинками. Он любовно переворачивает изорванные страницы, вспоминая давно минувшие воскресные дни. Одну картинку, изображающую группу ангелов, он рассматривает особенно долго: ему кажется, что в самом юном ангеле с менее суровыми, чем у остальных, чертами он улавливает сходство с Анной. Он долго смотрит на картинку. Внезапно у него возникает

мысль: как хорошо бы наклониться и поцеловать нежные ноги у такой женщины! И, подумав это, он вспыхивает, как мальчик.

Так на почве человеческих страданий вырастают цветы человеческой любви и счастья, а цветы эти роняют семена бесконечного сочувствия человеческим невзгодам, ибо все в мире создано Богом для благой цели.

При мысли об Анне лицо Джона смягчается, и он становится менее суровым; при воспоминании о нем ее душа становится тверже, глубже, полнее. Все помещения склада превращены в палаты, и маленькая больница открыта для всех, ибо Джон и Анна чувствуют, что весь мир — это их люди. Груды бочек исчезли — их перевезли в Вулвич и Грейвзэнд, убрали с дороги и свалили где попало, словно масло, и сало, и золото, в которые они могут быть обращены, не имеют в этом мире большого значения, и о них не стоит и думать, когда нужно помочь братьям в беде.

Дневной труд кажется им легким в ожидании того часа, когда они останутся вдвоем в старой невзрачной комнате Джона над конторой. Правда, стороннему наблюдателю могло бы показаться, что в такие часы они скучают; они странно застенчивы, странно молчаливы, боятся дать волю словам, ощущая бремя невысказанных мыслей.

Однажды вечером Джон, заговорив не потому, что в этом была какая-либо необходимость, а лишь для того, чтобы услышать голос Анны, заводит речь о круглых коржиках, припомнив, что его экономка великолепно их готовила, и не прочь узнать, не забыла ли она еще свое искусство.

Анна трепещущим голосом, словно коржики — это какая-нибудь щекотливая тема, сообщает, что она сама с успехом пробовала готовить их. Джон, которому всегда внушали, что такой талант — необычайная редкость и, как правило, передается по наследству, вежливо сомневается в способностях Анны, почтительно предполагая, что она имеет в виду слобные булочки. Анна возмущенно отвергает подобное подозрение, заявляет, что прекрасно знает разницу между коржиками и слобными булочками, и предлагает доказать свое умение, если только Джон спустится вместе с нею на кухню и отыщет все необходимое.

Джон принимает вызов и неловко ведет Анну вниз одной рукой, другой держа перед собой свечу. Уже одна-

дцатый час, и старая экономка спит. При каждом скрипе ступеньки они замирают и прислушиваются, не проснулась ли она. Затем, убедившись, что все тихо, они снова крадутся вперед, подавляя смех и тревожно спрашивая друг у друга, наполовину в шутку, наполовину всерьез, что сказала бы старая чопорная старуха, если бы спустилась вниз и застала их там.

Они достигают кухни — скорее благодаря дружелюбию кошки, чем знакомству Джона с географией собственного дома; Анна разводит огонь и очищает стол для работы. Какую помощь может оказать ей Джон и зачем ей понадобилось, чтобы он ее сопровождал, — на эти вопросы Анне, пожалуй, нелегко было дать вразумительный ответ. Что же касается «отыскания всего необходимого», он не имеет ни малейшего представления о том, где что лежит, и от природы не наделен особой сообразительностью. Когда его просят найти муку, он прилежно ищет ее в ящиках кухонного стола; когда его посылают за скалкой — внешний вид и основные признаки которой ему описаны для облегчения задачи, — он после долгого отсутствия возвращается с медным пестиком. Анна смеется над ним; но, по правде говоря, может показаться, что и она не менее бестолкова, ибо только когда руки у нее уже все в муке, ей приходит в голову, что она не приняла предварительных мер, необходимых для приготовления любого кушанья, — не закатала рукава.

Она протягивает Джону руки, сначала одну, а потом другую, и ласково просит его сделать это. Джон очень медлителен и неловок, но Анна чрезвычайно терпелива. Дюйм за дюймом он закатывает черный рукав, обнажая белую круглую руку. Сотни раз видел он эти прекрасные руки, обнаженные до плеч, сверкающие драгоценностями, но никогда раньше не замечал их удивительной красоты. Ему хочется обвить их вокруг своей шеи, и в то же время, испытывая муки Тантала, он боится, что прикосновение его дрожащих пальцев ей неприятно.

Анна благодарит его и извиняется за причиненное беспокойство, а он, пробормотав что-то бессмысленное, глупо молчит, глядя на нее. По-видимому, Анне достаточно одной руки для стряпни, так как вторая остается лежать в бездействии на столе — очень близко от руки Джона, но она словно не замечает этого, целиком поглощенная своим делом.

Каким образом возникло у него такое побуждение, кто научил его, мрачного, трезвого, делового Джона, столь романтическим поступкам — навеки останется тайной; но в одно мгновение он опускается на колени, покрывая испачканную мукой руку поцелуями, и в следующий миг руки Анны обвиваются вокруг его шеи, а губы прижимаются к его губам, и вот уже стена, разделявшая их, рухнула, и глубокие воды их любви сливаются в один стремительный поток.

С этим поцелуем они вступают в новую жизнь, куда нам нет нужды следовать за ними. Должно быть, эта жизнь наполнена необычайной красотой самозабвения и взаимной преданности — пожалуй, она слишком идеальна для того, чтобы долго остаться не омраченной земными горестями.

Те, кто помнит их в эту пору, говорят о них, понижая голос, словно о видениях. В те дни лица их, казалось, излучали сияние, а в голосах звучала несказанная нежность.

Они забывают об отдыхе, словно не чувствуя усталости. Днем и ночью они появляются то тут, то там среди сраженных несчастьем людей, принося с собой исцеление и покой; но вот наконец болезнь, подобно насытившемуся хищнику, уползает медленно в свое логово, и люди ободряются, вздыхают с облегчением.

Однажды, возвращаясь с обхода, продолжавшегося дольше обычного, Джон чувствует, как члены его постепенно охватывает слабость, и ускоряет шаги, стремясь поскорее добраться до дома и отдохнуть. Анна, которая не ложилась всю прошлую ночь, вероятно, спит, и, не желая ее беспокоить, он проходит в столовую и располагается в кресле у огня. В комнате холодно. Он шевелит поленья, но жар не усиливается. Он придвигает кресло к самому камину и склоняется к огню, положив ноги на решетку и протянув руки к пламени, и все же продолжает дрожать.

Сумерки наполняют комнату, понемногу сгущаясь. Джон равнодушно удивляется, почему время летит так быстро. Вскоре он слышит поблизости голос, медленный и монотонный, который очень знаком ему, хотя он и не в состоянии вспомнить, кому этот голос принадлежит. Он не поворачивает головы, но вяло прислушивается. Голос говорит о сале: сто девяносто четыре бочонка сала, и все они должны быть помещены один в другой. Это невозможно сделать, обиженно жалуется голос. Они не входят один в другой.

Бесполезно пытаться втиснуть их. Гляди! Вот они снова рассыпались.

В голосе звучит раздражение и усталость. Господи! Ну что им надо! Разве они не видят, что это невозможно? Какие идиоты!

Внезапно он узнает голос, вскакивает и дико озирается, стараясь понять, где он. Огромным напряжением воли ему удается удержать ускользающее сознание. Обретя уверенность в себе, он, крадучись, выбирается из комнаты и спускается по лестнице.

В прихожей он останавливается и прислушивается; в доме все тихо. Он добирается до лестницы, ведущей в кухню, и тихо зовет экономку, которая поднимается к нему, задыхаясь и крихтя после каждой ступеньки. Не подходя к ней близко, он шепотом спрашивает, где Анна. Экономка отвечает, что она в больнице.

— Скажите ей, что меня внезапно вызвали по делу, — торопливо шепчет он. — Я пробуду в отсутствии несколько дней. Попросите ее уехать отсюда и немедленно возвратиться домой. Теперь они могут обойтись без нее. Скажите ей, чтобы она отправлялась домой немедленно. Я тоже приеду туда.

Он направляется к двери, но останавливается и снова оглядывается по сторонам.

— Скажите ей, что я прошу, я умоляю ее не оставаться здесь больше ни одного часа. Самое страшное позади. Теперь ее может заменить любая сиделка. Скажите ей, что она должна вернуться домой сегодня же вечером. Если она любит меня, пусть уезжает немедленно.

Экономка, несколько смущенная его горячностью, обещает передать все это и спускается вниз. Он берет шляпу и плащ со стула, куда он их бросил, и снова поворачивает к выходу. В это мгновение открывается дверь и входит Анна.

Он кидается назад, в темноту, и прижимается к стене. Анна, смеясь, окликает его, а затем, так как он не отвечает, спрашивает встревоженным тоном:

— Джон... Джон... милый! Это ты? Где же ты?

Затаив дыхание, он еще глубже забивается в темный угол; Анна, думая, что это почудилось ей в полумраке, проходит мимо него и подымается по лестнице.

Тогда он крадется к выходу, выскальзывает на улицу и тихо затворяет за собой дверь.

Через несколько минут старая экономка взбирается наверх и передает ей слова Джона. Анна в полном недоумении подвергает бедную старуху суровому допросу, но не может больше ничего добиться. Что все это значит? Какое «дело» могло заставить Джона, который в течение десяти недель и не помышлял о делах, покинуть ее таким образом — не сказав ни слова, не поцеловав ее! Внезапно она вспоминает, что несколько минут назад окликнула его, когда ей показалось, что она его видит, а он не ответил; и ужасная правда неумолимо предстает перед ней.

Она снова затягивает ленты своей шляпки, которые начала было развязывать, спускается вниз и выходит на мокрую улицу.

Она торопливо направляется к дому единственного живущего поблизости доктора — большого, грубоватого человека, который в течение этих двух страшных месяцев был их главной опорой и поддержкой. Доктор встречает ее в дверях, и по его смущенному выражению она сразу же догадывается обо всем. Напрасно пытается он разубедить ее: откуда ему знать, где Джон? Кто сказал ей, что Джон заболел — такой большой, сильный, здоровый малый? Она слишком много работала, и поэтому эпидемия не выходит у нее из головы. Она должна немедленно вернуться домой, иначе заболеет сама. Право же, с ней это может случиться гораздо скорее, чем с Джоном.

Анна, подождав, пока он, расхаживая взад и вперед по комнате, кончит выдавливать из себя неуклюжие фразы, мягко, не обращая внимания на его уверения, говорит:

— Если вы не скажете мне, я узнаю у кого-нибудь другого, вот и все. — Затем, уловив в нем секундное колебание, она кладет свою маленькую ручку на его грубую лапу и с бесстыдством горячо любящей женщины вытягивает из него все, что он обещал держать в тайне.

И все же он останавливает ее, когда она собирается уходить.

— Не тревожьте его сейчас, — говорит он. — Он разволнуется. Подождите до завтра.

И вот, в то время как Джон считает бесконечные бочонки с салом, Анна сидит у его кровати, ухаживая за своим последним «пациентом».

Нередко в бреду он зовет ее, и она берет его горячую руку и держит ее в своих, пока он не засыпает.

Каждое утро приходит доктор, смотрит на него, задает несколько вопросов и делает несколько обычных указаний, но не говорит ничего определенного. Пытаться обмануть ее бесполезно.

Дни медленно тянутся в полутемной комнате. Анна видит, как его худые руки становятся все тоньше, а его запавшие глаза — все больше; и все же она остается странно спокойной, словно удовлетворена чем-то.

Незадолго перед концом наступает час, когда к Джону возвращается сознание.

Он глядит на нее с благодарностью и упреком.

— Анна, почему ты здесь? — спрашивает он тихо и с трудом. — Разве тебе не передали мою просьбу?

В ответ она смотрит на него своими бездонными глазами.

— Разве ты уехал бы, бросив меня здесь умирать? — спрашивает она со слабой улыбкой.

Она еще ниже склоняется над ним, так что ее мягкие волосы касаются его лица.

— Наши жизни были слиты воедино, любимый, — шепчет она. — Я не могла бы жить без тебя; Богу это известно. Мы всегда будем вместе.

Она целует его, кладет его голову к себе на грудь и нежно гладит его, как ребенка; и он обнимает ее своими слабыми руками.

Скоро она чувствует, как эти руки начинают холодеть, и осторожно опускает его на кровать, в последний раз смотрит ему в глаза, а потом закрывает веки.

Рабочие просят разрешения похоронить его на ближнем кладбище, чтобы никогда не расставаться с ним; получив согласие Анны, они готовят все сами, желая, чтобы все было сделано только любящими руками. Они положили его у церковного крыльца, чтобы, входя в церковь и выходя оттуда, проходить близ него; и один из них, искусный каменотес, сделал этот надгробный камень.

Наверху он высек барельеф, изображающий доброго самаритянина, который склонился над страждущим братом, а под ним надпись: «Памяти Джона Ингерфилда».

Кроме того, он хотел высечь еще стих из Библии, но грубоватый доктор остановил его:

— Лучше оставьте место на тот случай, если придется добавить еще одно имя.

И на короткое время камень остается незаконченным, пока, через несколько недель, та же рука не добавляет слова: «и жены его Анны».

АРЕНДА «СКРЕЩЕННЫХ КЛЮЧЕЙ»

Это рассказ про одного епископа, таких рассказов немало.

Однажды в воскресенье епископ должен был читать проповедь в соборе Святого Павла. Случай был сугубо торжественный, и все благочестивые газеты королевства заказали своим специальным корреспондентам отчет о богослужении.

У одного из трех посланных в собор репортеров был столь почтенный вид, что никому бы и в голову не пришло, что это журналист. Его обычно принимали за члена Совета графства или — по меньшей мере — за архидиакона. На самом же деле это был человек далеко не безгрешный, с пристрастием к джину. Жил он в Боу и в вышеупомянутое воскресенье вышел из дому в пять часов вечера и направился к месту своих трудов. В сырой и прохладный воскресный вечер идти пешком от Боу до Сити не очень-то приятно; кто упрекнет его за то, что по дороге он раз или два останавливался и заказывал для поднятия духа «пару» своего излюбленного напитка! Подойдя к Святому Павлу, он увидел, что у него еще двадцать минут в запасе — времени вполне достаточно, чтобы пропустить еще один, последний стаканчик. Проходя через узкий двор, примыкающий к церковному, он обнаружил тихую гостиничку и, зайдя в бар, вкрадчиво зашептал, перегнувшись через стойку:

— Прошу вас, милая, пару горячего джина.

В его голосе было кроткое самодовольство преуспевающего священника; манера держаться говорила о высокой нравственности, скованной нежеланием привлечь посто-

ронные взоры. Буфетчица, на которую его манеры и внешность произвели впечатление, указала на него хозяину бара. Хозяин украдкой пригляделся к той части лица посетителя, которая была видна между застегнутым доверху пальто и надвинутой на глаза шляпой, и его удивило, что такой обходительный и скромный на вид джентльмен знает о существовании джина.

Однако обязанность бармена — обслуживать, а не удивляться. Джин был подан и выпит. Он пришелся по вкусу. Джин был хорош, репортер, как знаток, определил это сразу. Более того, джин так ему понравился, что он решил не упускать случая и заказать еще стаканчик. Итак, он сделал второй «заход», а быть может, и третий. Затем направился в собор и опустился на скамью с блокнотом наготове в ожидании начала службы.

Во время богослужения им овладело то безразличие ко всему земному, которое находит на человека только под влиянием религии или вина. Он слышал, как добрый епископ прочел стих из Библии — тему своей проповеди — и тут же записал этот стих у себя в блокноте. Затем он услышал: «в-шестых и в-последних» — и это он тоже записал. Потом поглядел в блокнот и подивился: куда это девались «во-первых» и т. д. — до «в-пятых» включительно. Он все еще сидел и удивлялся, как вдруг увидел, что все встают и собираются уходить, и тут его внезапно осенило, что он проспал всю главную часть проповеди.

Что же теперь делать?! Он представлял одну из ведущих клерикальных газет. В тот же вечер ему нужно было дать полный отчет о проповеди. Поймав за полу проходящего мимо служителя, он с трепетом спросил, не отбыл ли еще епископ. Служитель отвечал, что еще нет, но как раз собирается.

— Мне нужно его видеть, пока он еще не ушел! — в волнении воскликнул репортер.

— Это невозможно, — отвечал служитель.

Репортер обезумел.

— Скажите епископу, — закричал он, — что кающийся грешник жаждет побеседовать с ним о проповеди, которую он только что произнес! Завтра будет уже поздно.

Служитель был тронут, епископ тоже. Он сказал, что побеседует с беднягой.

Как только репортера ввели к епископу, он со слезами на глазах рассказал всю правду — умолчав о джине.

Он сказал, что он человек бедный и здоровье у него неважное, что он полночи не спал и всю дорогу от Боу шел пешком. Он особенно упирал на то, что, если ему не удастся представить отчет о проповеди, это будет иметь ужасные последствия для него и его семьи. Епископу стало его жаль. Кроме того, епископу хотелось, чтобы отчет о его проповеди появился в газете.

— Надеюсь, это послужит вам уроком, и вы больше не уснете в церкви, — сказал он с покровительственной улыбкой. — К счастью, я захватил с собой свои записи, и, если вы обещаете обращаться с ними очень аккуратно и вернуть их мне рано утром, я их вам одолжу.

С этими словами епископ раскрыл и протянул репортеру аккуратный черный кожаный саквояжик, в котором лежала рукопись, аккуратно свернутая трубочкой.

— Лучше возьмите ее вместе с саквояжем, — добавил епископ. — Только непременно принесите мне и то и другое завтра утром пораньше.

Когда репортер обследовал содержимое саквояжа при свете лампы в притворе, он едва мог поверить своему счастью. Записи аккуратного епископа были столь подробны и разборчивы, что фактически не уступали отчету. В руках у репортера был готовый материал. Репортер был так собой доволен, что решил угоститься еще «парой» джина, и с этим намерением направился к вышеупомянутому заведению.

— У вас действительно отменный джин, — сказал он буфетчице, осушив свой стакан. — Не взять ли мне, милочка, еще стаканчик?

В одиннадцать часов хозяин вежливо, но твердо предложил ему покинуть бар, и репортер поднялся и, с помощью мальчика-подручного, пересек двор. Когда он ушел, хозяин заметил на том месте, где сидел посетитель, аккуратный черный саквояжик. Осмотрев его со всех сторон, он увидел между ручками медную пластинку, на которой были выгравированы имя и титул владельца. Раскрыв саквояж, хозяин увидел свернутую аккуратно трубочкой рукопись и в верхнем углу ее — имя и адрес епископа.

Хозяин протяжно свистнул и долго стоял, широко раскрыв свои круглые глаза и уставившись на раскрытый саквояж. Затем он надел пальто и шляпу, взял саквояж и вышел из бара, громко хихикая. Пройдя через двор, он подошел к дому каноника, жившего при соборе, и позвонил.

— Скажите мистеру... — сказал он слуге, — что мне нужно его видеть. Я бы не стал беспокоить его в такой поздний час, если б дело было не такое важное.

Владельца бара провели наверх. Тихо прикрыв за собой дверь, он почтительно кашлянул.

— Ну, мистер Питерс (назовем его Питерс), — сказал каноник, — что случилось?

— Сэр, — отвечал мистер Питерс, тщательно подбирая слова. — Я насчет этой самой аренды. Я на вас, на джентльменов, надеюсь, что вы как-нибудь там устроите, чтобы аренда была на двадцать один год, а не на четырнадцать.

— Боже праведный! — воскликнул каноник, возмущенно вскакивая с места. — Неужели вы пришли ко мне в одиннадцать часов ночи, да еще в воскресенье, чтобы говорить о своей аренде?

— Не только для этого, сэр, — отвечал Питерс, ничуть не растерявшись. — Есть еще одно дельце, насчет которого мне хотелось с вами поговорить, — вот оно. — С этими словами он положил перед каноником саквояж епископа и рассказал всю историю. Каноник глядел на мистера Питерса, а мистер Питерс глядел на каноника.

— Тут, должно быть, какая-то ошибка, — сказал каноник.

— Никакой ошибки, — сказал Питерс. — Как только я его заметил, я сразу смекнул, что тут дело нечисто. К нам такие не заходят, и я видал, как он прятал лицо. Если это не наш епископ, значит, я ничего не смыслю в епископах, вот и все. Да и потом, вот же его саквояж и вот его проповедь.

Мистер Питерс скрестил руки на груди и ждал, что скажет каноник. Каноник размышлял. В истории церкви подобные случаи известны. Почему бы им не повториться?

— Кто-нибудь, кроме вас, знает об этом?

— Ни одна живая душа, — отвечал Питерс, — пока.

— Мне кажется... мне кажется, мистер Питерс, — сказал каноник, — что нам удастся продлить вашу аренду до двадцати одного года.

— Душевно вас благодарю, сэ́р, — сказал мистер Питерс и ушел. На следующее утро каноник явился к епископу и положил перед ним саквояж.

— А-а, — весело сказал епископ, — так он прислал его с вами?

— Да, сэ́р, — отвечал каноник. — И слава Богу, что он принес его именно мне. Я считаю своим долгом, — продолжал каноник, — сообщить вашему преосвященству, что мне известны обстоятельства, при которых вы расстались с этим саквояжем.

Взгляд каноника был суров; и епископ смущенно засмеялся.

— Пожалуй, мне не следовало так поступать, — сказал он примирительно, — но ничего, все хорошо, что хорошо кончается, — и епископ рассмеялся.

Каноник не выдержал.

— О, сэ́р! — воскликнул он с жаром. — Во имя Создателя... ради нашей церкви, умоляю вас... заклинаю вас никогда не допускать этого впредь.

Епископ разгневался.

— В чем дело? Какой шум вы поднимаете из-за пустяка! — воскликнул он, но, встретив страдальческий взгляд каноника, умолк.

— Как к вам попал этот саквояж? — спросил он.

— Мне принес его владелец «Скрещенных ключей», — отвечал каноник, — вчера вечером вы его там оставили.

Епископ разинул рот и тяжело опустился на стул. Придя в себя, он рассказал канонику, что произошло в действительности, — и каноник до сих пор старается этому поверить.

ИЗ СБОРНИКА «НАБРОСКИ ЛИЛОВЫМ,
ГОЛУБЫМ И ЗЕЛЕНЫМ»
(1897)

ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ХОТЕЛ РУКОВОДИТЬ

Мне рассказывали — и у меня нет причин не верить этому, так как говорили люди, хорошо его знавшие, — что в возрасте полутора лет он горько плакал оттого, что бабушка не позволяла ему кормить себя с ложечки. А в три с половиной года его выловили чуть живого из бочки с водой, куда он залез, чтобы научить лягушку плавать.

Двумя годами позже он едва не потерял левый глаз, показывая кошке, как нужно перетаскивать ее котят, не причиняя им боли. Приблизительно в эту же пору его сильно ужалила пчела, которую он хотел пересадить с одного цветка, где, как ему казалось, она попусту тратила время, на другой, более богатый медовым соком.

Он жаждал помогать другим. Он мог просидеть целое утро перед старой наседкой, объясняя ей, как нужно высиживать яйца; он охотно отказывался от послеобеденной прогулки за ягодами и оставался дома ради того, чтобы щелкать орехи для своей любимой белки.

Не достигнув семи лет, он уже указывал матери, как нужно обращаться с детьми, и упрекал отца в том, что тот его неправильно воспитывает.

В детстве он больше всего любил присматривать за другими детьми. Это доставляло ему огромное удовольствие, а им — не меньшее огорчение. Он возлагал на себя эту беспокойную обязанность добровольно, без всякой мысли о награде или благодарности. Ему было все равно, старше ли эти дети, чем он, или моложе, сильнее или слабее; где бы и когда бы он их ни встретил, он тотчас же начинал при-

смагивать за ними. Однажды во время школьного пикника из отдаленной части леса послышались крики. Учитель пошел выяснить, в чем дело, и увидел такую картину. Поплтон лежал ничком на земле, а на нем сидел верхом его двоюродный брат, в два раза тяжелее и крепче его, и размеренно дубасил поверженного кулаками. Освободив несчастную жертву, учитель спросил:

— Ты почему не играешь с маленькими? Зачем суешься к большим?

— Простите, сэ, — последовал ответ. — Я присматривал за ним. — Он стал бы присматривать и за Ноем, если бы тот попался ему под руку.

Он был очень добрый мальчик и, когда учился в школе, охотно позволял всем списывать со своей грифельной доски. Он даже настаивал, чтобы его товарищи это делали. Он желал им добра. Но так как его ответы всегда оказывались абсолютно неверными и отличались неподражаемой, одному только ему присущей нелепостью, то и результаты для его последователей бывали плачевными; и с легкомыслием, свойственным юности, которая, не принимая во внимание побуждений, судит только по результатам, они поджидали его у выхода и нещадно колотили.

Вся его энергия уходила на поучение других, на собственные дела уже ничего не оставалось. Он приводил опытных юнцов к себе домой и обучал их боксу.

— Ну-ка, попробуй, ударь меня в нос, — говорил он, становясь в оборонительную позицию. — Не бойся, бей изо всех сил.

И юнец бил... Как только наш герой вновь обретал дар речи и немного унималась кровь, струившаяся из его носа, он с жаром начинал объяснять противнику, что тот все сделал не так и что он, Поплтон, легко бы мог защищаться, если б удар был нанесен по правилам.

Показывая новичкам во время игры в гольф, как следует бить по мячу, он дважды подшибал себе ногу и каждый раз после этого хромал целую неделю. А что касается крикета, то я помню, как однажды из его воротец аккуратно выбили среднюю стойку как раз в тот момент, когда он с увлечением объяснял кому-то из игроков, как следует атаковать ворота противника. После этого он долго пререкался с судьей о том, выбыл он из игры или нет.

Рассказывают, что при переходе через Ла-Манш во время шторма он в крайнем волнении взбежал на мостик и уведомил капитана, что «только что видел огонь в двух милях слева». А когда ему случается ехать в омнибусе, он непременно садится рядом с кучером и все время указывает ему на разные предметы, которые могут помешать их передвижению.

В омнибусе-то и началось наше знакомство. Я сидел позади двух дам. Подошел кондуктор получить плату за проезд. Одна из дам вручила ему шестипенсовую монету и сказала: «До Пикадилли-Серкус», что стоило два пенса.

— Нет, — сказала другая. — Я ведь должна вам шесть пенсов. Вы дайте мне четыре пенса, и я заплачу за нас обеих. — И она подала кондуктору шиллинг.

Кондуктор взял шиллинг, выдал два двухпенсовых билета и стал соображать, сколько он должен дать сдачи.

— Очень хорошо, — сказала та дама, что дала ему шиллинг. — Дайте моей приятельнице четыре пенса. — Кондуктор повиновался. — Теперь вы дайте эти четыре пенса мне, — приятельница отдала их ей. — А вы, — заключила она, обращаясь к кондуктору, — дайте мне восемь пенсов, и мы будем в расчете.

Кондуктор недоверчиво отсчитал ей восемь пенсов — одну монетку в шесть пенсов, полученную от первой дамы, одну в пенни и еще две по полпенни, из своей сумки — и удалился, бормоча себе под нос, что он не арифмометр и не обязан считать с быстротой молнии.

— Теперь, — обратилась старшая дама к младшей, — я должна вам шиллинг.

Я думал, что на этом все кончится, как вдруг румяный джентльмен, сидевший по другую сторону прохода, очень громко заявил:

— Эй, кондуктор, вы обсчитали этих дам на четыре пенса!

— Кто кого обсчитал на четыре пенса? — негодуя откликнулся кондуктор с верхней ступеньки. — Билет стоит два пенса.

— Два раза по два пенса — это не восемь пенсов! — с жаром возразил румяный джентльмен. — Сколько вы ему дали, сударыня? — обратился он к первой из молодых дам.

— Я дала ему шесть пенсов, — ответила дама, заглянув к себе в кошелек. — А потом, помните, я дала еще четыре пенса вам, — добавила она, обращаясь к своей спутнице.

— Дорогие же вышли билетики, — заметил простоватого вида пассажир, сидевший сзади.

— Ну что вы, милочка, как это может быть?! — ответила другая. — Ведь я с самого начала была должна вам шесть пенсов.

— Да нет же, я вам дала, — настаивала первая.

— Вы дали мне шиллинг, — сказал, возвращаясь, кондуктор и усталый обвиняющий перст на старшую даму.

Старшая дама кивнула.

— А я вам дал один шестипенсовик и два по пенни, ведь так?

Дама подтвердила.

— А ей, — указал он на младшую даму, — я дал четыре пенса. Так?

— Которые, помните, я отдала вам, — подхватила младшая дама, повернувшись к старшей.

— Позвольте, так это значит, меня обсчитали на четыре пенса! — возопил кондуктор.

Тут опять вмешался румяный джентльмен:

— Но ведь другая дама еще раньше заплатила вам шесть пенсов.

— Которые я отдал ей. — И кондуктор снова направил обвиняющий палец на старшую даму. — Нету у меня этих проклятых шести пенсов. Общайте мою сумку, коли хотите! Ни одной монеты в шесть пенсов нет.

К этому времени никто уже не помнил, как было дело, и все спорили, противореча сами себе и друг другу.

Румяный джентльмен взялся восстановить справедливость, и, раньше чем омнибус достиг Пикадилли-Серкус, трое пассажиров уже пригрозили, что будут жаловаться на кондуктора за непристойные выражения. Кондуктор вызвал полисмена и с его помощью записал фамилии и адреса обеих дам, намереваясь по суду взыскать с них четыре пенса (которые они, кстати сказать, очень хотели ему отдать, но румяный джентльмен категорически им это запретил). К концу пути младшая дама вполне уверилась в том, что старшая хотела ее обмануть, а старшая, не снеся такой обиды, ударилась в слезы.

Румяный джентльмен, так же как и я, ехал дальше, до вокзала Черинг-Кросс. У кассы выяснилось, что оба мы берем билеты до одной и той же станции, и мы поехали вместе. Всю дорогу он продолжал обсуждать вопрос о четырех пенсах.

Мы расстались у калитки моего дома, и он выразил необыкновенную радость по поводу того, что мы соседи. Что так привлекало его во мне, я не мог понять. На меня он нагнал смертельную скуку, и я отнюдь не поощрял его восторгов. Впоследствии я узнал, что, по странному свойству своего характера, он очаровывался всяким, кто только не оскорблял его открыто.

Три дня спустя он без доклада вломился в мой кабинет, по-видимому, уже считая себя моим закадычным другом, и рассыпался в извинениях, что не зашел раньше. Я охотно простил ему эту маленькую небрежность.

— По дороге к вам я встретил почтальона, — сказал он, вручая мне голубой конверт. — И он мне дал вот это для вас.

Я увидел, что это счет за воду.

— Вы должны протестовать, — продолжал он. — Это за воду по двадцать девятое сентября, а сейчас только июнь. И не думайте платить вперед.

Я ответил что-то в том духе, что за воду так или иначе нужно платить, так не все ли равно когда — в июне или в сентябре.

— Не в том дело, — загорячился он. — Важен принцип. С какой стати вам платить за воду, которую вы еще не использовали? Какое они имеют право требовать с вас то, чего вы не должны?

Говорил он красноречиво, а я был так глуп, что стал его слушать. Через полчаса он убедил меня, что речь здесь идет о моих правах человека и гражданина и что, если я заплачу эти четырнадцать шиллингов и десять пенсов в июне вместо сентября, я буду недостоин завещанных мне моими предками привилегий и прав, за которые они сражались и умирали.

Он неопровержимо доказал мне, что водопроводная компания кругом не права, и по его наущению я сел и написал оскорбительное письмо директору.

Секретарь ответил, что, принимая во внимание позицию, которую я занял, они считают своим долгом рассмат-

ривать это дело как подлежащее разбирательству в судебном порядке и полагают, что мой поверенный не откажется принять на себя труд по защите моих интересов.

Когда я показал это письмо Поплтону, он пришел в восторг.

— Предоставьте это мне, — сказал он, складывая письмо и засовывая его в карман. — Мы их проучим.

Я предоставил это ему. Оправданием мне может служить лишь то, что я тогда был очень занят. Я писал некое произведение, которое в те времена именовалось драмой-комедией. И то небольшое количество здравого смысла, которым я обладал, по-видимому, полностью ушло на эту пьесу.

Решение мирового судьи до некоторой степени охладило мой пыл, но только подогрело рвение моего новоявленного приятеля. Все мировые, заявил он, — старые безмозглые дураки. Дело надо передать выше.

В следующей инстанции судья, очень милый старый джентльмен, сказал, что, учитывая неясность в формулировке примечаний к данной статье закона, он считает возможным освободить меня от уплаты судебных издержек водопроводной компании. Поэтому все это обошлось мне недорого — каких-нибудь пятьдесят фунтов, включая те первоначальные четырнадцать шиллингов и десять пенсов, которые мне полагалось уплатить за воду.

После этого наша дружба несколько охладела. Но мы жили по соседству, и мне поневоле приходилось часто видеть его и еще больше о нем слышать.

Особенно он усердствовал на всевозможных балах и вечеринках и в таких случаях, находясь в самом лучшем расположении духа, был наиболее опасен. Ни один человек на свете не трудился столько для всеобщего увеселения и не нагонял на всех столько тоски.

Однажды вечером на Рождество я зашел к одному из своих приятелей и застал там такую картину: четырнадцать или пятнадцать пожилых дам и джентльменов чинно сидели вокруг кресел, расставленных рядком на середине комнаты. Поплтон играл на фортепьяно. Время от времени он переставал играть, и тогда все, видимо обрадованные передышкой, в изнеможении падали в кресла — все, кроме одного, которому кресла не хватило и который спешил по-

тихоньку улизнуть, провожаемый завистливыми взглядами остальных.

Я стоял в дверях, с удивлением наблюдая эту мрачную сценку. Вскоре ко мне подошел один из выбывших из игры счастливых, и я попросил объяснить, что означают эти странные действия.

— Не спрашивайте, — ответил тот раздраженно. — Еще одна дурацкая выдумка Поплтона. — И с ожесточением добавил: — А после придется еще играть в фанты.

Служанка все дожидалась удобного случая, чтобы доложить о моем приходе; я попросил ее не делать этого, подкрепив свою просьбу шиллингом, и, никем не замеченный, ускользнул.

После солидного обеда он обычно предлагал устроить танцы и приставал к вам с просьбой скатать ковер или помочь ему передвинуть рояль в дальний угол комнаты.

Он столько знал разных так называемых тихих игр, что вполне мог открыть свое собственное небольшое чистилище. В самый разгар какой-нибудь интересной беседы или в тот момент, когда вы находились в приятном тет-а-тет с хорошенькой дамой, он вдруг, откуда ни возьмись, налетал на вас: «Скорей! Идемте! Мы будем играть в литературные вопросы!» Он тащил вас к столу, клал перед вами лист бумаги и требовал: «Опишите вашу любимую героиню из романа». И зорко следил, чтобы вы это сделали.

Себя он ни чуточки не щадил. Он всегда первым вызывался провожать на станцию пожилых дам и ни в коем случае не оставлял их до тех пор, пока благополучно не усаживал не в тот поезд. Именно он затевал с детьми игру в «диких зверей» и до того запугивал несчастных ребятишек, что они потом не спали всю ночь и плакали от страха.

Он всегда был полон самых лучших намерений и в этом смысле мог считаться добрейшим человеком на земле. Посещая больных, он непременно приносил в кармане какое-нибудь лакомство, причем всегда самое вредное для страдающего и способное только ухудшить его состояние. Он устраивал за свой счет прогулки на яхте и приглашал людей, плохо переносящих качку, и когда они потом мучились, он принимал их жалобы за черную неблагодарность.

Он обожал быть распорядителем на свадьбах. Однажды он так хорошо все рассчитал, что невеста прибыла в цер-

ковь на три четверти часа раньше жениха, и день, который должен был бы принести всем одну только радость, был омрачен переживаниями совсем иного порядка. В другой раз он забыл позвать священника. Но, если он делал ошибку, он всегда был готов признать это.

На похоронах он также был всегда на переднем плане: втолковывал убитым горем родственникам, как хорошо для всех окружающих, что покойник наконец умер, и выражал благочестивую надежду, что все они вскоре за ним последуют.

Но самой большой радостью было для него участвовать в домашних ссорах. Ни одна семейная склока на много миль кругом не обходилась без его деятельного участия. Обычно он начинал как примиритель, а кончал как главный свидетель жалобщика.

Будь он журналистом или политическим деятелем, его блестящее умение разбираться в чужих делах снискало бы ему всеобщее уважение. Беда его была в том, что он стремился применять свои таланты на практике.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СБИЛСЯ С ПУТИ

Впервые я встретился с Джеком Барриджем лет десять назад на ипподроме в одном из северных графств.

Колокол только что возвестил, что скоро начнется главный заезд. Я слонялся, засунув руки в карманы, наблюдая больше за толпой, чем за скачками, как вдруг знакомый спортсмен, пробегая к конюшням, схватил меня за руку и хрипло зашептал на ухо:

— Бей по миссис Уоллер. Верное дело.

— Бей... кого? — начал было я.

— Бей по миссис Уоллер, — повторил он еще внушительнее и растворился в толпе.

В немом изумлении смотрел я ему вслед. Что такое содеяла эта миссис Уоллер, чтобы я должен был поднять на нее руку? И если даже леди виновата, то не слишком ли жестоко так обходиться с женщиной?

В это время я проходил мимо трибуны и, взглянув наверх, увидел, что на доске у букмекера выведено мелом: «Миссис Уоллер, двенадцать к одному». Тут меня и осенило, что «Миссис Уоллер» — лошадь, а поразмыслив еще немного, я

сделал умозаключение, что совет моего друга, выраженный более пристойным языком, значил: «Ставь на Миссис Уоллер и не жалей денег».

— Ну нет, дудки, — сказал я себе. — Я уже ставил наверняка. Если я и буду играть еще раз, то просто закрою глаза и ткну булавкой в список лошадей.

Однако семя пустило корни. Слова приятеля вертелись у меня в голове. Птички надо мной чирикали: «Бей по Миссис Уоллер, бей по Миссис Уоллер».

Я пытался образумиться. Я напоминал себе о своих прежних авантюрах. Но неистребимое желание если не пойти ва-банк, то, во всяком случае, рискнуть на Миссис Уоллер полсовершеном только усиливалось по мере того, как я с ним боролся. Я чувствовал, что если Миссис Уоллер выиграет и окажется, что я на нее не поставил, то я буду корить себя до самого своего смертного часа.

Я находился на другой стороне поля. Времени вернуться на трибуну не было. Лошадей уже выстраивали на старте. В нескольких шагах от меня под белым зонтом зычно выкрикивал окончательные ставки уличный букмекер. Это был крупный добродушный мужчина с честным красным лицом.

— Как идет Миссис Уоллер? — спросил я.

— Четырнадцать к одному, — ответил он. — И дай вам Бог удачи.

Я вручил ему полсоверена, а он выписал мне билетик. Я засунул билетик в карман жилета и побежал смотреть скачки. К моему неописуемому удивлению, Миссис Уоллер выиграла. Непривычное ощущение, что я ставил на победителя, так взбудоражило меня, что деньги совершенно вылетели у меня из головы, и прошел добрый час, пока я вспомнил о своей ставке.

Я пустился на поиски человека под белым зонтом, но там, где я, как мне помнилось, оставил его, ничего похожего на белый зонт не было.

Успокаивая себя мыслью, что так мне и надо, раз я, как дурак, доверился уличному «буки», я повернулся на каблучках и направился к своему месту. Вдруг чей-то голос окликнул меня:

— Вот и вы, сэр! Вам же Джек Барридж нужен. Сюда, сэр. Я оглянулся и увидел Джека Барриджа совсем рядом.

— Я, сэръ, видел, что вы меня ищете, — сказал он, — но никак не мог докричаться вас. Вы искали не с той стороны навеса.

Приятно было обнаружить, что честное лицо его не обмануло меня.

— Очень мило с вашей стороны, — поблагодарил я его. — А то уж я потерял было надежду увидеть вас. И свои семь фунтов, — добавил я с улыбкой.

— Семь фунтов десять шиллингов, — поправил он. — Забываете, сэръ, про свою ставку.

Он подал мне деньги и вернулся к своему зонту.

По пути в город я снова наткнулся на него. Какой-то бродяга колотил изможденную женщину. Вокруг собралась небольшая толпа и задумчиво наблюдала за происходящим.

Джек сразу оценил ситуацию и тут же начал стаскивать с себя пиджак.

— Эй, вы, наидостойнейший английский джентльмен! — окликнул он бродягу. — Ну-ка, поворачивайте сюда. Посмотрим, как это у вас выйдет со мной.

Бродяга был здоровенный верзила, да к тому же и боксером Джек был не из лучших. Не успел он и оглянуться, как заработал синяк под глазом и расквашенную губу. Несмотря на это, и не только на это, Джек не отставал от бродяги и доконал-таки его.

Кончилось тем, что, помогая своему противнику подняться на ноги, Джек доброжелательно шепнул ему:

— Ну, чего ты связался с бабой? Ты же крепкий малый. Чуть меня не отделал. Ты, миляга, видать, забылся.

Человек этот заинтересовал меня. Я дождался его, и мы пошли вместе. Он рассказал мне о своем доме в Лондоне на Майл-Энд-роуд, об отце с матерью, о маленьких братьях и сестренках и о том, что он готовился сделать для них. Каждая пора на его лице источала доброту.

Многие встречные знали Джека, и каждый, взглянув на его круглое красное лицо, невольно начинал улыбаться. На углу Хай-стрит навстречу нам попалась маленькая девочка-поденщица. Проскользнув мимо, она промолвила:

— Добрый вечер, мистер Барридж.

Он проворно повернулся и поймал ее за плечо:

— Как отец?

— С вашего позволения, мистер Барридж, он опять без работы. Все фабрики закрыты, — ответила крошка.

— А мама?

— Ей, сэр, нисколько не лучше.

— На что же вы живете?

— С вашего позволения, сэр, теперь Джимми немножко зарабатывает, — ответила малышка.

Он вынул из кармана жилетки несколько соверенов и вложил в руку девочки.

— Ну, будет, будет, девчушка, — прервал он поток ее сбивчивой благодарности. — Обязательно напишите мне, если ничего не переменится к лучшему. А где найти Джека Барриджа, сами знаете.

Вечерком, прогуливаясь по улицам города, я оказался около гостиницы, где остановился Джек Барридж.

Окно в залу было открыто, и из него в туманную ночь лилась старинная застольная песня. Запевал Джек. Его раскатистый жизнерадостный голос несся, как порывы ветра, своей бодрящей человечностью выметая весь мусор из сердца. Он сидел во главе стола, окруженный толпой шумливых собутыльников. Я немного постоял, наблюдая за ними, — и мир показался мне не таким уж угрюмым местечком, каким я порой рисовал его.

Я решил, что, вернувшись в Лондон, разыщу Джека, и вот однажды вечером отправился на поиски переулочка в районе Майл-Энд-роуд, где он жил.

Только я завернул за угол, как прямо на меня выехал Джек в своей собственной двуколке. Выезд у него был, прямо сказать, щегольской. Рядом с ним сидела опрятенькая морщинистая старушка, которую он представил мне как свою мать.

— Я твержу, что ему нужно сажать с собой какую-нибудь красотку, а не такую старуху, как я, которая весь вид портит, — проговорила старая леди, вылезая из коляски.

— Скажешь тоже, — возразил он, смеясь, прыгнул на землю и передал вожжи поджидавшему их мальчугану. — Ты у нас, мама, любой молодой еще сто очков вперед дашь. Я всегда обещал старой леди, что придет время — и она будет ездить в собственном экипаже, — продолжал Джек, обращаясь ко мне. — Так, что ли, мама?

— Конечно, конечно, — ответила старушка, бодро ковыляя вверх по ступеням. — Ты у меня хороший сын, Джек, очень хороший сын.

Я последовал за ним в гостиную. Когда он вошел, лица всех находившихся в комнате просветлели от удовольствия, его встретили дружным радостным приветствием. Старый, неприветливый мир остался по ту сторону хлопнувшей входной двери. Казалось, что я перенесся в страну, населенную героями Диккенса. У меня на глазах краснолицый человек с маленькими искрящимися глазками и железными легкими превратился в огромную толстую домашнюю фею. Из его необъятных карманов появился табак для старика отца, огромная кисть оранжерейного винограда для большого соседского ребенка, который в это время жил у них; книжка Гента — любимца мальчишек — для шумного юнца, который называл его «дядей»; бутылка портвейна для молодой усталой женщины с одутловатым лицом — его свояченицы, как я узнал позднее; конфеты для малыша (чьего малыша, я так и не понял) в количестве вполне достаточном, чтобы малыш проболел целую неделю; и, наконец, сверток нот для младшей сестры.

— Мы обязательно сделаем из нее леди, — говорил он, притянув застенчивое личико ребенка к своему яркому жилету и перебирая своей грубой рукой ее красивые кудри. — А когда вырастет большая, выйдет замуж за жокея.

После ужина он приготовил из виски превосходнейший пунш и принялся уговаривать старую леди присоединиться к нам; старушка долго отнекивалась, кашляла, но в конце концов сдалась и у меня на глазах прикончила целый стакан. Для детишек он состряпал необыкновенную смесь, которую назвал «сонным зельем». В состав «зелья» входили горячий лимонад, имбирное вино, сахар, апельсины и малиновый уксус. Смесь произвела желаемое действие.

Я засиделся у них допоздна, слушая истории из его неиссякаемых запасов. Над большей частью из них он смеялся вместе с нами, от его заразительного могучего смеха подпрыгивали на камине дешевые стеклянные безделушки; но временами на его лицо набегали воспоминания, оно становилось серьезным, и тогда низкий голос Джека начинал дрожать.

Пунш немного развязал языки, и старики могли бы надоесть своими дифирамбами в его честь, если бы Джек почти грубо не оборвал их.

— Замолчи-ка, мама, — прикрикнул он на нее совершенно рассерженным тоном. — То, что я делаю, я делаю для собственного удовольствия. Мне нравится видеть, что всем вокруг меня хорошо. И если им не хорошо, то я расстраиваюсь больше, чем они.

После этого я не встречался с Джеком около двух лет. А затем одним октябрьским вечером, прогуливаясь по Ист-Энду, я столкнулся с ним, когда он выходил из небольшой часовни на Бардетт-роуд. Он так изменился, что я бы не узнал его, если бы не услышал, как проходившая мимо женщина поздоровалась с ним:

— Добрый вечер, мистер Барридж!

Пышные бакенбарды придавали его красному лицу выражение угрожающей респектабельности. На нем был плохо спитый черный костюм, в одной руке он нес зонт, в другой — книгу. Каким-то непостижимым образом он умудрялся выглядеть тоньше и ниже, чем я помнил его. При виде его мне показалось, что от прежнего Джека осталась только сморщенная оболочка, а сам он — живой человек — был неизвестным способом из нее извлечен. Из него выжали все животворные соки.

— Ба, никак это Джек Барридж! — воскликнул я, в удивлении уставившись на него.

Его маленькие глазки зашмыгали по сторонам.

— Нет, сэр, — ответил он (голос его утратил былую живость и звучал твердым металлом), — это, слава тебе, Господи, не тот Джек, которого вы знали.

— Вы, что же, забросили старое ремесло?

— Да, сэр, с этим покончено. В свое время был я, прости меня, Господи, отвратительным грешником. Но, благодарение небесам, вовремя раскаялся.

— Пойдем пропустим по маленькой, — предложил я, беря его под руку. — И расскажите-ка мне, что с вами произошло.

Он высвободился мягко, но решительно.

— Я не сомневаюсь, сэр, что у вас самые благие намерения, — сказал он, — но я больше не пью.

Очевидно, ему очень хотелось отделаться от меня, но не так-то легко избавиться от литератора, когда он учует поживу для своей кухни. Я поинтересовался стариками, живут ли они все еще с ним.

— Да, — ответил он, — пока что живут. Но нельзя же требовать от человека, чтобы он содержал их всю жизнь. В наше время не так-то просто прокормить столько ртов, а тут еще каждый только и думает, как бы попользоваться твоей добротой и сесть тебе на шею.

— Ну, а как ваши дела?

— Спасибо, сэр, довольно сносно. Господь не забывает своих слуг, — ответил он с самодовольной улыбкой. — У меня теперь небольшое дело на Коммершл-роуд.

— А где именно? — продолжал я. — Мне бы хотелось заглянуть к вам.

Адрес он дал неохотно и сказал, что сочтет за великое удовольствие, если я окажу ему честь, навестив его. Это была явная ложь.

На следующий день я пошел к нему. Оказалось, что держит он ссудную лавку, и, судя по всему, дела тут шли бойко. Самого Джека в лавке не оказалось: он ушел на заседание комитета трезвенников, но за прилавком стоял его отец, который пригласил меня в дом. Хотя день был не из теплых, камин в гостиной не топился, и оба старика сидели около него молчаливые и печальные. Мне показалось, что они обрадовались моему приходу не больше, чем их сын, но через некоторое время природная говорливость миссис Барридж взяла свое, и у нас завязалась дружеская беседа.

Я спросил, что стало с его свояченицей — леди с одутловатым лицом.

— Не могу сказать вам точно, сэр, — ответила старуха. — Она с нами больше не живет. Знаете ли, сэр, Джек у нас сильно переменялся. Он теперь не слишком жалуется тех, кто не очень благочестив. А ведь бедная Джейн никогда не отличалась набожностью.

— Ну, а малышка? — поинтересовался я. — Та, с кудряшками?

— Это Бесси-то, сэр? Она в служанках. Джон считает, что молодежи вредно бездельничать.

— Ваш сын, миссис Барридж, кажется, и в самом деле сильно переменялся, — заметил я.

— Да, что и говорить, сэр, — подтвердила она, — поначалу-то сердце у меня прямо на части разрывалось. Уж больно все изменилось у нас. Не то чтобы я хотела стать сыну поперек дороги. Если от того, что нам немножко неудобно на

этом свете, ему будет лучше на том, мы с отцом не обижаемся. Верно, старик?

«Старик» сердито хмыкнул в знак согласия.

— Что же, перемена в нем наступила вдруг? — спросил я. — Как это произошло?

— Сбила его одна молоденькая бабенка, — принялась рассказывать старая леди. — Она собирала на что-то такое деньги и постучалась к нам, ну, а Джек — он всегда был такой щедрый — дал ей бумажку в пять фунтов. Через неделю она снова заявила еще за чем-то, задержалась в прихожей и начала разговоры про душу Джека. Она сказала ему, что он идет прямой дорогой в ад и что ему нужно бросить букмекерство и заняться чем-нибудь почтенным и богоугодным. Сперва он только посмеивался, но она навалилась на него со своими книжонками, в которых такое понаписано, что жуть берет, и как-то раз затащила она Джека к одному из этих проповедничков, а уж тот-то и добил его.

С тех пор Джека нашего как подменили. Забросил скачки и купил это вот заведение, а какая тут разница, хоть убей, не вижу. Сердце кровью обливается, когда слышишь, как мой-то Джек околпачивает бедняков, — совсем не похоже это на него. Я видела, что сначала и Джеку это было не по нутру, но они сказали ему, что раз люди бедны, то сами виноваты и что в этом Божья воля, потому что бедняки — все сплошь пьяницы и моты. А потом они заставили его бросить пить. А ведь он, наш Джек, привык пропустить стаканчик-другой. Теперь вот бросил, и я так думаю, что от этого он малость озлобился, ну, словно все веселье из него вылетело; и, конечно, нам с отцом тоже пришлось отказаться от маленького удовольствия. Потом они сказали, что он должен бросить курить, это, мол, тоже ведет его прямо в ад, но от этого он тоже не стал веселее, да и отцу трудненько приходится без табачку. Так, что ли, отец?

— Да, — свирепо буркнул старикан. — Черт бы побрал эту публику, что собирается попасть на небеса! Накажи меня Бог, если в аду не соберется компания повеселее.

Нас прервала сердитая перебранка в лавке. Вернулся Джек и уже пугал полицией какую-то взволнованную женщину. Она, как видно, ошиблась и принесла проценты на день позже срока; отделавшись от нее, Джек вошел в гости-ную. В руке он держал часы, бывшие предметом спора.

— Поистине безмерна милость Господня, — проговорил он, любуясь часами. — Часики же стоят в десять раз больше, чем я ссудил под них.

Он отрядил отца обратно в лавку, а мать на кухню готовить ему чай, и некоторое время мы сидели одни и беседовали. Его разговор показался мне странной смесью самовосхваления, проглядывавшего сквозь тонкую завесу самоуничтожения, с приятной уверенностью, что он обеспечил себе тепленькое местечко в раю, и равно приятной уверенностью, что большинство других людей такового себе не обеспечили. Разговаривать с ним было нудно, и, вспомнив о некоем деловом свидании, я поднялся и начал прощаться.

Он не пытался удерживать меня, но видно было, что его так и распирает от желания сказать мне что-то. Наконец, вытащив из кармана какую-то церковную газету и указывая пальцем на колонку текста, он выпалил:

— Сады Господни вас, сэр, наверное, совсем не интересуют?

Я бросил взгляд на место, на которое он указывал. Во главе списка жертвователей на какую-то очередную миссию к китайцам красовалось: «Мистер Джон Барридж — сто гиней».

— Вы много жертвуете, мистер Барридж, — заметил я, возвращая ему газету.

Он потер свои большие руки одну о другую и ответил:

— Господь воздаст сторицей.

— И на этот случай недурно обзавестись письменным свидетельством, что аванс внесен, а? — добавил я.

Он бросил на меня пронзительный взгляд, но не ответил ни слова. Пожав ему руку, я вышел вон.

РАССЕЯННЫЙ

Вы приглашаете его отобедать у вас в четверг; будет несколько человек, которые жаждут с ним познакомиться.

— Только не спутай, — предупреждаете вы, помня о прежних недоразумениях, — и не явись в среду.

Он добродушно смеется, разыскивая по всей комнате свою записную книжку.

— Среда исключается, — говорит он, — придется делать зарисовки костюмов на приеме у лорд-мэра, а в пятницу я

уезжаю в Шотландию, чтоб к субботе успеть на открытие выставки; похоже, что на этот раз все будет в порядке. Да куда, к черту, девалась моя книжка! Ну ничего, я запишу тут — вот, смотри.

Вы стоите рядом и следите, как он отмечает день свидания на большом листе почтовой бумаги и прикалывает его над своим письменным столом. Теперь вы уходите со спокойной душой.

— Надеюсь, он явится, — говорите вы жене, переодеваясь, — в четверг к обеду.

— А ты уверен, что он тебя понял? — спрашивает она подозрительно. И вы чувствуете: что бы ни случилось, виноваты будете вы.

Восемь часов, все гости в сборе. В половине девятого вашу жену таинственно вызывают из комнаты, и горничная сообщает ей, что в случае дальнейшей задержки кухарка решительно умывает руки.

Возвратившись, жена намекает, что если уж вообще обедать, то лучше бы начать. Она явно не сомневается, что вы просто притворялись, будто ждете его, и было бы гораздо честнее и мужественнее с самого начала признаться, что вы забыли его пригласить.

За супом вы рассказываете анекдоты о его забывчивости. Когда подают рыбу, пустой стул начинает отбрасывать мрачную тень на всю компанию, а с появлением ростбифа разговор переходит на умерших родственников.

В пятницу, в четверть девятого, он подлетает к вашей двери и неистово звонит. Заслышав его голос в прихожей, вы идете ему навстречу.

— Прости, я опоздал, — весело кричит он, — болван кебмен привез меня на Альфред-плейс вместо...

— А зачем ты, собственно, пожаловал? — перебиваете вы, испытывая к нему отнюдь не добрые чувства. Он ваш старый друг, так что можно не стесняться в выражениях.

Он смеется и хлопает вас по плечу.

— Как же, мой дорогой, обедать! Я умираю с голоду.

— О, в таком случае иди куда-нибудь еще, — ворчите вы в ответ, — здесь ты ничего не получишь.

— Что за черт, — удивляется он, — ты же сам звал меня обедать.

— Ничего подобного, — возражаете вы. — Я звал тебя на четверг, а сегодня пятница.

Он недоверчиво смотрит на вас.

— Почему же это у меня в голове засела пятница? — недоумевает он.

— Потому что твоя голова так устроена, что в ней уж непременно засядет пятница, когда речь идет о четверге, — объясняете вы. — А я думал, ты сегодня едешь в Эдинбург.

— Великий Боже! — восклицает он. — Ну конечно! — И, не сказав больше ни слова, бросается вон; вы слышите, как он выбегает на улицу, окликая кеб, который только что отпустил.

Вернувшись в кабинет, вы представляете себе, как он едет до самой Шотландии во фраке, а наутро посылает швейцара гостиницы в магазин готового платья, и злорадствуете.

Еще хуже получается, когда он выступает в роли хозяина. Помню, был я однажды у него на яхте. В первом часу дня мы сидели с ним на корме, свесив ноги в воду; места эти пустынные, на полпути между Уоллингфордом и Дейс-Лок. Вдруг из-за поворота реки показались две лодки, в каждой было по шесть нарядно одетых людей. Увидев нас, они замахали носовыми платками и зонтиками.

— Смотри-ка, — сказал я, — с тобой здороваются.

— О, здесь так принято, — ответил он, даже не взглянув в ту сторону, — верно, какие-нибудь служащие возвращаются из Абингтона с праздника.

Лодки подплыли ближе. Примерно за двести ярдов пожилой джентльмен, сидевший на носу первой лодки, поднялся и окликнул нас.

Услышав его голос, Маккей вздрогнул так, что едва не свалился в воду.

— Боже милостивый! — воскликнул он. — Я совсем забыл!

— О чем? — спросил я.

— Да ведь это Палмеры, и Грэхемы, и Гендерсоны. Я пригласил их всех к завтраку, а на яхте ни черта нет, только две бараньи котлеты да фунт картошки, а мальчика я отпустил до вечера.

В другой раз, когда мы с ним завтракали в ресторане «Хогарт-младший», к нам подошел один общий знакомый, некто Хольярд.

— Что вы, друзья, собираетесь сейчас делать? — спросил он, подсаживаясь к нам.

— Я останусь здесь и буду писать письма, — ответил я.

— Если вам нечего делать, поедем со мной, — предложил Маккей. — Я повезу Лину в Ричмонд. — Лина была той невестой Маккея, о которой он помнил. Как выяснилось после, он тогда был помолвлен сразу с тремя девушками. О двух других он совсем забыл. — Сзади в коляске место свободно.

— С удовольствием, — ответил Хольярд, и они вместе уехали. Часа через полтора Хольярд, мрачный и измученный, вошел в курительную и упал в кресло.

— А я думал, вы с Маккеем уехали в Ричмонд, — сказал я.

— Уехал, — ответил он.

— Случилось что-нибудь? — спросил я.

— Да.

Ответы были более чем скупы.

— Перевернулась коляска? — продолжал я.

— Нет, только я.

Его речь и нервы были явно расстроены. Я ждал объяснений и немного погоды получил их.

— До Патни мы добрались спокойно, если не считать нескольких столкновений с трамваем, — сказал он, — потом стали подниматься в гору, как вдруг Маккей свернул за угол. Вы знаете его манеру поворачивать — на тротуар, через улицу и напрямиком на фонарный столб. Обычно этого уже ждешь, но тут я на поворот не рассчитывал, а когда опомнился, увидел, что сию посреди улицы и десяток идиотов смотрит на меня и скалит зубы.

В подобных случаях нужно хоть несколько минут, чтобы сообразить, где ты и что случилось; когда же я вскочил, коляска была уже далеко. Я бежал за ней добрых четверть мили, крича во все горло, а за мной неслась орава мальчишек: они были в восторге и орали как черти. Но с таким же успехом можно звать покойника, так что я сел в омнибус и вернулся сюда.

— Будь у них хоть капля здравого смысла, они поняли бы, что случилось, — добавил он. — Коляска сразу покати-лась быстрее. Я ведь не перышко.

Он жаловался на ушибы, и я посоветовал ему взять кеб, чтоб добраться до дому. Но он ответил, что предпочитает идти пешком.

Вечером я встретил Маккея в театре Сент-Джемс. Была премьера, и он делал наброски для «Графика». Увидев меня, он тотчас подошел.

— Тебя-то мне и надо! — воскликнул он. — Скажи, возил я сегодня Хольярда в Ричмонд?

— Возил, — подтвердил я.

— Вот и Лина то же говорит, — сказал он озадаченно. — Но, честное слово, когда мы подъехали к Квинс-отелю, его в коляске не было.

— Ну да, — сказал я, — ты потерял его в Патни.

— Потерял в Патни! — повторил он. — Этого я не заметил.

— Зато он заметил. Спроси его. Он полон впечатлений.

Все говорили, что Маккей никогда не женится; смешно думать, что он способен запомнить сразу и день, и церковь, и девушку; а если он даже дойдет до алтаря, то забудет, зачем пришел, вообразит себя посаженным отцом и отдаст невесту в жены собственному шаферу. Хольярд полагал, что Маккей уже давно женат, но это обстоятельство ускользнуло из его памяти. Я со своей стороны был уверен, что если он и женится, то забудет об этом на другой же день.

Но все мы ошибались. Каким-то чудом свадьба состоялась, так что, если Хольярд был прав (а это вполне возможно), следовало ждать осложнений. Что до моих собственных страхов, то они рассеялись, едва я увидел его жену. Это была милая, веселая маленькая женщина, но явно не из тех, что позволяют забыть о себе.

Поженились они весной, и с тех пор мы с ним не видались. Возвращаясь из поездки по Шотландии, я на несколько дней остановился в Скарборо. После ужина я надел плащ и вышел погулять. Лил дождь, но после месяца в Шотландии на английскую погоду внимания не обращаешь, а мне хотелось подышать воздухом. Борясь со встречным ветром, я с трудом шел по берегу и в темноте вдруг споткнулся

о какого-то человека, который скорчился под стеной курзала в надежде хоть немного укрыться от непогоды.

Я думал, он меня обругает, но, видимо, он был слишком угнетен и разбит, чтобы сердиться.

— Прошу прощения, — сказал я, — я вас не заметил.

При звуке моего голоса он вскочил.

— Ты ли это, дружище? — закричал он.

— Маккей! — воскликнул я.

— Господи, никогда в жизни я никому так не радовался, — сказал он. И так потряс мне руку, что чуть не оторвал ее.

— Что ты здесь делаешь, черт возьми? — спросил я. — Да ты промок до костей! — На нем были теннисные брюки и легкая рубашка.

— Да, — ответил он. — Никак не думал, что пойдет дождь. Утро было чудесное.

Я начал опасаться, что от переутомления у него помутился рассудок.

— Почему же ты не идешь домой? — спросил я.

— Не могу. Не знаю, где я живу. Забыл адрес. Ради Бога, — добавил он, — отведи меня куда-нибудь и дай поесть. Я буквально умираю с голоду.

— У тебя совсем нет денег? — спросил я, когда мы повернули к отелю.

— Ни гроша, — ответил он. — Мы с женой приехали из Йорка около одиннадцати. Оставили вещи на вокзале и пошли искать квартиру. Наконец мы устроились, я переделался и вышел погулять, предупредив Мод, что вернусь в час, к завтраку. Адреса я не взял, дурак я этакий, и не запомнил, какой дорогой шел.

Это ужасно, — продолжал он, — не представляю, как ее теперь найти. Я надеялся, может, она выйдет вечером погулять к курзалу, и с шести часов околачивался тут у ворот. У меня даже не было трех пенсов, чтобы войти внутрь.

— А ты не заметил, что это была за улица или как выглядел дом? — расспрашивал я.

— Ничего не заметил, — отвечал он, — я во всем положился на Мод и ни о чем не беспокоился.

— А ты не пробовал заходить в пансионаты? — спросил я.

— Не пробовал! — повторил он с горечью. — Весь вечер я стучался во все двери и спрашивал, не живет ли здесь миссис Маккей. Чаще всего мне даже не отвечали, а просто

захлопывали перед носом дверь. Я обратился к полисмену, думал — он что-нибудь посоветует, но этот идиот только расхохотался. Он так разозлил меня, что я подбил ему глаз, и пришлось удирать. Теперь меня, наверно, разыскивают.

Я пошел в ресторан, — продолжал он хмуро, — и попытался выпросить бифштекс в долг, но хозяйка сказала, что уже слышала эту басню, и на глазах у всех выпроводила меня. Если б не ты, я бы, наверно, утопился.

Переодевшись и поужинав, он немного успокоился, но положение было действительно серьезно. Их постоянная квартира на замке, родные жены уехали за границу. Нет человека, через которого он мог бы передать ей письмо; нет человека, кому она могла бы сообщить о себе. Кто знает, встретятся ли они еще в этом мире!

Хоть он и любил свою жену, тревожился о ней и, без сомнения, очень хотел разыскать ее, я что-то не заметил, чтобы он с особым удовольствием предвкушал встречу с нею, если только эта встреча когда-либо и состоится.

— Ей это покажется странным, — бормотал он в задумчивости, сидя на кровати и глубокомысленно стаскивая носки. — Да, ей это наверняка покажется странным.

На другой день, в среду, мы отправились к адвокату и изложили ему обстоятельства дела; он навел справки во всех пансионах Скарборо, и в четверг вечером Маккей (совсем как герой в последнем акте мелодрамы) был водворен домой, к жене.

При следующей нашей встрече я спросил, что же сказала ему жена.

— О, примерно то, чего я и ждал, — ответил он. Но чего именно он ждал, он так и не сказал мне.

ПАДЕНИЕ ТОМАСА ГЕНРИ

Томас Генри был самым респектабельным из всех известных мне котов. Настоящее его имя — Томас. Но звать такого кота Томасом просто нелепо. Все равно что жителям Харденского замка¹ называть мистера Гладстона Билл. Кот попал к нам благодаря любезности мясника из Реформ-клуба

¹ Харденский замок — резиденция тогдашнего премьер-министра Уильяма Гладстона.

ба, и, увидев кота, я сразу понял, что из всех лондонских клубов — это единственный, откуда он мог появиться. От него так и веяло солидным достоинством и непоколебимым консерватизмом этого клуба. Сейчас я не могу уже точно припомнить, почему именно покинул он клуб, но думаю, что причиной тому послужили разногласия с новым шеф-поваром, человеком властным и думающим только о своем собственном благополучии. Мясник, прослышавший об их вражде и знавший, что у нас нет кошки, предложил выход из положения, который устраивал и кота, и повара. Расстались они, надо полагать, весьма холодно, и Томас благоклонно переселился к нам.

Едва взглянув на кота, моя жена предложила более подходящее для него имя — Генри. Мне пришло в голову, что еще приличнее будет сочетание двух имен, и с тех пор в тесном семейном кругу его стали звать Томасом Генри. В разговоре же с друзьями мы обычно называли его Томас Генри, эсквайр.

Наш дом пришелся Томасу Генри по душе, и свое одобрение он выразил с молчаливой сдержанностью. Ему понравилось мое любимое кресло, и он занял его. Всякого другого кота я бы тут же согнал, но Томас Генри был не из тех, кого гонят. Дай я ему понять, что недоволен его выбором, он отнесся бы к этому так же, как, вероятно, отнеслась бы ко мне королева Виктория, если бы эта знатная леди дружески навестила меня, а я заявил бы ей, что занят, и предложил заглянуть как-нибудь в другой раз. Он встал бы и удалился, но уж никогда больше не заговорил бы со мной, сколько бы мы ни жили под одной крышей.

Была у нас в то время одна особа (она и сейчас живет с нами, но стала старше и рассудительнее), которая не испытывала почтения к кошкам. Она полагала, что хвост у кошек только для того и существует, чтоб было удобней поднимать их с полу. Она воображала также, что кормить их лучше всего насильно, с ложечки, и что они обожают кататься в кукольной коляске. Меня страшила первая встреча Томаса Генри с этой особой. Я боялся, как бы он, судя по ней, не составил ложного представления обо всей нашей семье и мы не упали бы в его глазах.

Но мои опасения оказались напрасными. Было в Томасе Генри что-то такое, что не допускало развязности и ис-

ключало фамильярность. Он поставил дерзкую на место вежливо, но твердо. Робко, с зарождающимся уважением она потянулась было к его хвосту. Кот неторопливо убрал хвост и взглянул на нее. В этом взгляде не было ни гнева, ни обиды. С таким выражением Соломон мог принимать знаки внимания от царицы Савской. Снисходительно и с чувством превосходства.

Поистине Томас Генри был джентльменом среди котов. Один мой друг, который верит в переселение душ, утверждал, что это лорд Честерфилд. Томас Генри никогда не выпрашивал пищу подобно другим котам. Обычно во время еды он садился рядом со мной и ждал, когда ему подадут. Ел он только баранью котлетку, на пережаренную говядину даже не смотрел. Как-то один из наших гостей предложил ему хрящик; он молча поднялся, вышел из комнаты и не показывался, пока наш друг не ушел.

Но у каждого из нас есть свои слабости, и слабостью Томаса Генри была жареная утка. Поведение Томаса Генри при виде жареной утки явилось для меня психологическим откровением. Мне приоткрылась самая низменная и животная сторона его характера. При виде жареной утки Томас Генри становился котом — и только котом, со всеми первобытными инстинктами, присущими этой породе. Выражение собственного достоинства слетало с него, как маска. Он царапался из-за жареной утки, он унижался из-за нее. За кусок жареной утки он, кажется, готов был продать душу дьяволу.

Нам пришлось отказаться от этого опасного блюда: больно было смотреть, как пагубно оно действовало на характер кота. Кроме того, его манеры при появлении на столе жареной утки могли послужить дурным примером для детей.

Томас Генри блистал среди котов нашей округи. По нему можно было проверять часы. После обеда он неизменно совершал получасовую прогулку по скверу, каждый вечер ровно в десять подходил к кухонной двери, а в одиннадцать уже спал в моем кресле. У него не было друзей среди котов. Он не находил удовольствия в драках, и я сомневаюсь, любил ли он когда-нибудь, даже в юности; это была крайне холодная и независимая натура, к женскому обществу он относился с полным безразличием.

Такую безупречную жизнь Томас Генри вел всю зиму. Летом мы взяли его в деревню. Нам казалось, что ему будет полезна перемена обстановки: он явно начинал полнеть. Бедный Томас Генри! Деревня, увы, погубила его. Что именно способствовало перемене, не могу сказать, — быть может, непривычно бодрящий воздух. Высококонравственный Томас Генри со страшной быстротой покатился по наклонной плоскости. В первую же ночь он пропадал до одиннадцати, во вторую — не явился вовсе, на третью ночь вернулся домой в шесть утра с изрядно поредевшей шерстью на голове. Конечно, здесь не обошлось без дамы, судя же по кошачьему концерту, продолжавшемуся всю ночь, их было не меньше дюжины. Что и говорить, Томас Генри был завидным кавалером, и дамы стали приходить к нему днем. Потом стали приходить обманутые коты, требуя удовлетворения, которое Томас Генри, надо отдать ему справедливость, никогда не отказывался давать.

Деревенские мальчишки по целым дням торчали возле нашего дома, наблюдая за сражениями; к нам на кухню то и дело врывались разгневанные домашние хозяйки и, швыряя на стол дохлых кошек, зывали к небесам и ко мне о справедливости. Наша кухня превратилась в настоящий кошачий морг, и мне пришлось приобрести новый кухонный стол. Кухарка заявила, что ей станет легче, если в ее распоряжении будет отдельный стол. Она просто теряется, когда среди нарезанного мяса и овощей попадает столько дохлых кошек: она боится, как бы не перепутать. Старый стол поэтому подвинули к окну и предоставили кошкам, а на свой стол кухарка никому больше не позволяла класть кошек, пусть даже дохлых.

Однажды я слышал, как она спрашивала взволнованную владелицу дохлой кошки:

- Что прикажете мне с ней делать? Варить, что ли?
- Это мой кот, — отвечала дама, — понятно?
- Очень хорошо, но сегодня я не готовлю паштета из котов. Забирайте его на кошачий стол. А этот стол — мой.

Сначала «восстановление справедливости» обходилось мне в полкроны, но со временем кошки вздорожали. До той поры я считал их дешевыми, и меня просто поразило, как высоко они ценятся. Я даже стал серьезно подумывать

о разведении кошек для продажи. При ценах, установившихся в этой деревне, я мог бы иметь неплохие доходы.

— Полюбуйтесь, что натворил ваш зверь, — сказала мне одна разгневанная особа, к которой меня вызвали среди обеда.

Я полюбовался. «Творением» Томаса Генри оказалось жалкое, истощенное существо, которому на том свете наверняка было лучше, чем на этом. Будь несчастное создание моим, я бы только поблагодарил Томаса Генри, но есть люди, которые не понимают, в чем их благо.

— Я не отдала бы такого кота и за пять фунтов, — заявила дама.

— Это дело ваше, — возразил я, — но, на мой взгляд, вы поступили бы неблагоразумно. В таком виде красная цена ему шиллинг. Если вы надеетесь получить где-нибудь больше, пожалуйста.

— Разве это кот? Это же христианин, — сказала дама.

— Я не покупаю мертвых христиан, — ответил я твердо, — а если бы и покупал, то за этот экземпляр все равно не дал бы больше шиллинга. Считайте его христианином или котом, как угодно, но в обоих случаях он не стоит дороже шиллинга.

В конце концов мы сошлись на восемнадцать пенсах.

Поражало меня и число котов, с которыми ухитрился разделываться Томас Генри. Это было самое настоящее избиение.

Как-то вечером, зайдя на кухню — теперь уже я взял за правило каждый вечер ходить на кухню и производить смотр поступившей за день партии дохлых кошек, — среди прочих я увидел на столе кота редкой масти — трехцветного.

— Цена ему полсоверена, — сказал владелец кота, стоявший тут же с кружкой пива в руках.

Я приподнял покойника и внимательно осмотрел его.

— Вчера ваш кот убил его, — продолжал хозяин. — Стыд и срам!

— Мой кот уже трижды убивал его, — ответил я. — В субботу его хозяйкой оказалась миссис Хеджер, в понедельник — миссис Майерс. Я уже тогда заподозрил неладное, но был не совсем уверен и сделал пометку. Теперь я вижу — это тот самый кот. Послушайтесь моего совета и заройте

его, пока он не развел заразы. Мне безразлично, сколько у kota жизней, плачу я только за одну.

Мы не раз давали Томасу Генри возможность исправиться, но с каждым днем он вел себя все хуже и хуже, к его преступлениям прибавилось браконьерство, он стал воровать цыплят, и мне надоело расплачиваться за его грехи.

Я посоветовался с садовником, и садовник сказал, что и раньше знал котов, с которыми такое случалось.

— Не знаете ли, чем его вылечить? — спросил я.

— Как же, сэр, — ответил садовник, — камень на шею — и в пруд, я слышал — это неплохое лекарство.

— Попробуем дать ему дозу перед сном, — ответил я. Садовник так и сделал, и наши неприятности кончились.

Бедный Томас Генри! Его пример показывает, как легко прослыть порядочным, если нет соблазнов. Чего ради джентльмен, рожденный и выросший в атмосфере Реформ-клуба, свернет с пути истинного? Мне жаль Томаса Генри, и я уже не верю, что деревенский воздух благотворно влияет на нравственность.

ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ

Меня ждала спешная работа, но я, подобно робкому бойцу, чувствовал тем меньше желания с ней схватиться, чем громче и настойчивей звучал ее вызов. Я запирался в своем кабинете, чтобы вступить с ней в единоборство, но сразу же, в отчаянии отбросив перо, принимался за чтение. Я выходил на улицу, чтобы испытать муки творчества, но, не выдержав, искал спасения в театре или мюзик-холле. Дошло до того, что тень предстоящей работы омрачила все мое существование. Она садилась рядом со мной за стол и портила мне аппетит; она сопровождала меня повсюду и отпугивала моих друзей, после чего я лишался дара речи и бродил среди них, как привидение.

Наконец город со своим тысячеголосым шумом и бесконечной суматохой совершенно расстроил мои нервы. Я ощутил потребность в одиночестве, этом великом творце и наставнике, без которого немислимо никакое искусство, и мне вспомнились Йоркширские леса, где можно бродить целыми днями, не встретив ни души, не услышав ни единого звука, кроме крика каравайки; где, растянувшись на ду-

шистой траве, можно ощутить биение пульса Земли, несущейся в эфире со скоростью тысячи ста миль в минуту. И вот в одно прекрасное утро я торопливо упаковал несколько нужных и кучу ненужных вещей, опасаясь, как бы кто-нибудь или что-нибудь не помешало моему отъезду, и следующую ночь провел уже в маленьком северном городке, там, где кончаются дым и копоть промышленных районов и начинаются широкие степные просторы, а в семь часов утра уселся рядом с одноглазым возницей в тележку, запряженную дряхлой пегой кобылой. Одноглазый возница щелкнул кнутом; пегая кобыла начала перебирать ногами; девятнадцатый век со своей суетой остался позади; отдаленные холмы, постепенно приблизившись, обступили нас, и мы превратились в движущуюся песчинку на неподвижном лике Земли.

Под вечер мы приехали в деревню, воспоминание о которой жило в моей памяти. Она расположена внутри треугольника, образованного пологими склонами трех больших холмов. Телеграфа здесь нет, — или, во всяком случае, не было в то время, о котором я пишу, — так что шепоты беспокойного мира сюда не долетают. Ничто не нарушает спокойствия, кроме одноглазого возницы (если только он и его пегая кобыла еще не сложили на покой свои старые кости): раз в день, проезжая через деревню, он оставляет несколько писем и посылок для жителей окрестных ферм, разбросанных по склонам холмов. Здесь сливаются два шумных ручья. Днем и ночью в сонном безмолвии слышно, как они лепечут что-то про себя, словно дети, увлеченные в одиночестве чудесной игрой. Они текут между холмами от своих далеких истоков, смешивают здесь свои воды и продолжают путь вместе; но беседа их становится гораздо серьезнее, как у всех, кто соединяется, чтобы рука об руку идти навстречу жизни. Потом они протекают мимо хмурых, безрадостных городов, вечно окутанных черным дымом, где человеческие голоса днем и ночью тонут в грохоте железа, где дети играют в золе, а на лицах мужчин и женщин застыла тупая покорность. А они текут все дальше и дальше, помутневшие и грязные, к глубокому морю, которое неустанно зовет их к себе. Но здесь их воды еще чисты и прозрачны, и, кроме них, ничто не нарушает спокойствия долины.

Да, это как раз такой мирный уголок, где усталый труженик может восстановить свои силы.

Мой одноглазый приятель посоветовал мне поселиться в доме у некоей миссис Чолмондли, вдовы, которая жила со своей единственной дочерью в белом домике в дальнем конце деревни, если ехать по дороге, ведущей через Колл-Фелл.

— Вон тот, что стоит повыше других, его уже отсюда видно, — сказал возница, указывая кнутом. — Уж если там не найдете квартиры, значит, и искать нечего, потому как сюда не часто приезжают постояльцы.

Крошечный домик, утопавший в июньских розах, выглядел очень поэтично, и я, позавтракав хлебом и сыром в маленькой гостинице, направился к нему по тропинке, которая вела через кладбище. Воображение заранее рисовало мне полную приятную женщину, распространяющую вокруг себя ощущение уюта, которой помогает какая-нибудь прелестная юная девушка, чьи розовые щеки и загорелые руки быстро излечат меня от неотвязных мыслей о городе. Полный таких радужных надежд, я толкнул полуоткрытую дверь и вошел.

Домик был обставлен с удивительным вкусом, но сами хозяева разочаровали меня. Моя милая хлопотливая хозяйка оказалась сморщенной подслеповатой старухой. Целыми днями она дремала в своем огромном кресле или грелась у камина, протягивая к огню высохшие руки. Мечты мои о девической прелести дочери рухнули перед лицом действительности: я увидел измученную женщину лет сорока или пятидесяти. Наверно, было время, когда эти равнодушные глаза сверкали шаловливым весельем, а сморщенные, плотно сжатые губы складывались в соблазнительную улыбку, но образ жизни старой девы отнюдь не влияет на организм благотворно, а свежий деревенский воздух, подобно старому элю, хорош время от времени, но притупляет ум, когда им злоупотребляют. Женщина эта показалась мне ограниченной и неинтересной; застенчивость, столь нелепая в ее возрасте, не мешала ей питать свойственную всем квартирным хозяйкам слабость к болтовне о «лучших днях», а стремление казаться моложе своих лет вызывало по меньшей мере досаду.

Тем не менее сама обстановка мне понравилась, и я расположился у окна, из которого открывался вид на доро-

гу, ведущую вниз, в далекий мир, чтобы возобновить поединок со своей работой.

Но если рабочее настроение уже нарушено, его трудно восстановить сразу. Я писал около часа, а затем бросил свое спотыкающееся перо и огляделся, желая рассеяться. У стены стоял книжный шкаф старинной работы, который привлек мое внимание. Ключ оказался в замке, и, открыв стеклянные дверцы, я оглядел уставленные книгами полки. Любопытная это была коллекция: альманахи в нелепых глянцево-переплетках; романы и стихи таких авторов, о существовании которых я и не подозревал; журналы за давно минувшие годы, самые названия которых уже забыты; альбомы и ежегодники, от которых веяло эпохой утонченных чувств и фиолетовых шелков. Все же на верхней полке оказался томик Китса, втиснутый между номером «Евангелического бродяги» и «Ночными думами» Юнга. Поднявшись на цыпочки, я попытался вытащить его оттуда.

Книга была зажата так плотно, что в результате моих усилий два или три соседних тома свалились на пол, подняв облако едкой пыли, и к моим ногам со звоном стекла и металла упала небольшая миниатюра в черной деревянной рамке.

Я поднял ее и, поднеся к окну, стал внимательно рассматривать. Это был портрет молодой девушки в платье старинного покроя, который вышел из моды лет тридцать назад. Я хотел сказать — за тридцать лет до тех пор, потому что теперь, пожалуй, уже около пятидесяти лет отделяет нас от того времени, когда наши бабушки носили локоны, закрученные в виде штопора, и корсажи с таким низким вырезом, что одному Богу известно, как они держались. Лицо поражало своей красотой, но это была не просто стандартная красота, присущая всем миниатюрам, которые утомляют правильностью линий и неестественностью колорита: в этих глазах, бездонных и мягких, жила душа. Я смотрел на портрет, и нежные губы, казалось, улыбались мне, но в этой улыбке чувствовалась затаенная грусть, как будто художник в какой-то неповторимый момент сумел уловить тень будущей печали, скользнувшую по озаренному радостью лицу. Я плохо разбираюсь в искусстве, но мне было ясно, что это талантливое произведение, и я недоумевал, почему этот портрет пролежал здесь столько времени, по-

крытый пылью, когда мог послужить хотя бы для украшения дома. По-видимому, миниатюру положили в шкаф много лет назад и забыли о ней.

Я водворил ее на прежнее место среди пыльных книг и снова взялся за работу. Но в свете угасающего дня предо мной предстало лицо, изображенное на миниатюре, и начало преследовать меня неотступно. Куда бы я ни повернулся, оно смотрело на меня из сумрака. По своему характеру я вовсе не склонен к фантазиям. Кроме того, в то время я как раз сочинял фарс, что едва ли способствует мечтательному настроению. Я разозлился на себя и сделал еще одну попытку сосредоточиться на листе бумаги, лежавшем передо мной. Но мысли мои продолжали разбегаться. Один раз я готов был поклясться, что, оглянувшись через плечо, увидел девушку, изображенную на портрете: она сидела в дальнем углу в большом кресле с ситцевой обивкой. На ней было выцветшее сиреневое платье, отделанное старинным кружевом, и нельзя было не залюбоваться красотой ее сложенных рук, хотя на портрете были изображены только голова и плечи.

Наутро я забыл об этом случае, но как только зажгли лампу, опять вспомнил о нем, и мой интерес настолько возрос, что я снова достал миниатюру с полки, где она была спрятана, и начал ее рассматривать.

Внезапно я понял, что это лицо мне знакомо. Но где и когда мы встречались? Несомненно, я виделся и говорил с ней. Портрет улыбался мне, словно подсмеиваясь над моей забывчивостью. Я положил его обратно на полку, сел и попытался собраться с мыслями, напрягая свою память: мы встречались где-то в деревне много лет назад и беседовали о каких-то пустяках. С ее образом связан был запах роз и приглушенные голоса косцов. Почему мы ни разу не виделись с тех пор? Почему ее образ не оставил никакого следа в моей памяти?

Вошла хозяйка, чтобы накрыть стол к ужину, и я начал ее расспрашивать, стараясь говорить небрежным тоном. Как ни пытался я рассуждать здраво, как ни смеялся над собой, но эти туманные воспоминания приобретали в моем воображении какую-то романтическую окраску. Как будто речь шла о горячо любимом умершем друге, память которого я осквернил бы, разговаривая о нем с посторонним челове-

ком. Мне не хотелось, чтобы эта женщина в свою очередь начала меня расспрашивать.

О да, ответила мне хозяйка. В ее доме часто останавливались женщины. Иногда постояльцы проводили здесь все лето, бродя по холмам и лесам. Ей-то кажется, что тут скучно, уныло. Бывали здесь и молодые женщины, но она не могла припомнить, чтобы какая-нибудь из них показалась ей особенно красивой. Но недаром ведь говорят, что женщины ничего не смыслят в женской красоте. Они приезжали и уезжали. Редко кто возвращался назад, и новые лица вытеснили из памяти старые.

— А давно вы сдаете комнаты? — спросил я. — У меня такое впечатление, что уже лет пятнадцать-двадцать назад в этой комнате жили чужие люди.

— Нет, еще раньше, — ответила она тихо и неожиданно просто. — Мы переехали сюда с фермы после смерти отца. Он понес большие убытки, и у нас мало что осталось. С тех пор прошло двадцать семь лет.

Я поспешил прекратить разговор, опасаясь бесконечных воспоминаний о «лучших днях». Подобные разговоры мне нередко случалось выслушивать от квартирных хозяек. Узнать удалось очень немного. Кто изображен на миниатюре и почему она валяется в пыльном шкафу, все еще оставалось тайной, но по каким-то причинам, мне самому неясным, я не мог заставить себя прямо спросить об этом.

Прошло еще два дня. Постепенно работа все больше захватывала меня, и лицо, изображенное на миниатюре, вспоминалось уже не так часто. Но в конце третьего дня (это было воскресенье) произошло что-то очень странное.

В сумерках я возвращался домой с прогулки. Я обдумывал свой фарс и смеялся про себя над ситуацией, которая казалась мне забавной. Проходя под окном своей комнаты, я внезапно увидел в нем милое прекрасное лицо, которое стало мне теперь так знакомо. За решетчатым стеклом виднелась тонкая девичья фигурка в старомодном сиреновом платье, совсем такая, какой нарисовало ее мое воображение в первый вечер после приезда сюда, только тогда ее прекрасные руки были сложены на коленях, а теперь она прижимала их к груди. Глаза ее были устремлены на дорогу, которая пересекает деревню и ведет на юг, но она, казалось, не смотрела, а грезила, и тоскливое выражение ее

глаз надрывало душу почти как плач. Я стоял у самого окна, но меня скрывала изгородь. Прошло, по-видимому, около минуты, хотя время тянулось страшно медленно, затем ее фигура отодвинулась назад в темноту комнаты и исчезла.

Когда я вошел, комната была пуста. Я окликнул, но никто не отзывался. Мне стало не по себе при мысли, что я, по-видимому, начинаю сходить с ума. Все, что произошло раньше, легко было объяснить последовательным течением мыслей, но на этот раз я увидел призрак внезапно, неожиданно, когда мысли мои были заняты совершенно другим. Он не возник в моем воображении, а был воспринят моими чувствами. В привидения я не верю, но в способности расстроенного рассудка порождать галлюцинации не сомневаюсь, и такое истолкование этого явления не очень меня обрадовало.

Я постарался забыть об этом случае, но он не выходил у меня из головы; в тот же вечер новое обстоятельство еще больше приковало к нему мои мысли. Желая развлечься, я вынул наугад несколько книг и начал перелистывать томик стихов какого-то неизвестного поэта, как вдруг заметил, что наиболее сентиментальные места отчеркнуты карандашом, а поля покрыты замечаниями, — трогательный обычай, существовавший пятьдесят лет назад, а может быть, существующий и теперь, ибо циники с Флит-стрит еще не настолько преуспели в преобразовании мира, как они воображают.

Одно стихотворение, по-видимому, возбудило у читателя особое сочувствие. Это была старая-престарая история о кавалере, который сватается, а затем уезжает, оставляя невесту в слезах. Стихи были очень плохие, и при других обстоятельствах их банальность вызвала бы у меня только смех. Но, сопоставляя их с трогательными наивными заметками на полях, я не чувствовал желания смеяться. Эти избитые истории, которые кажутся нам смешными, полны глубочайшего смысла для многих людей, которые видят в них отражение своих собственных переживаний, и та женщина (почерк был женский), которой принадлежала книга, любила эти бездарные стихи за то, что в них отразились ее мысли и чувства. Такова, сказал я себе, была и ее история, достаточно обычная как в литературе, так и в жизни, но вечно новая для тех, кто ее переживает.

У меня не было основания связывать эту женщину с той, которая была изображена на миниатюре, кроме разве едва уловимого соответствия между тонким нервным почерком и подвижными чертами, но все же я инстинктивно чувствовал, что это одно и то же лицо и что я шаг за шагом пытаюсь проследить историю моего забытого друга.

Мне очень захотелось узнать как можно больше, и на следующее утро, когда хозяйка убирала со стола после завтрака, я снова навел разговор на эту тему.

— Кстати, — сказал я, — чтобы не забыть: если я оставлю здесь какую-нибудь книгу или рукопись, вышлите мне их немедленно. Со мной это постоянно случается. Вероятно, — прибавил я, — ваши жильцы часто забывают здесь свои вещи.

Эта фраза мне самому показалась неуклюжей уловкой, и я боялся, как бы женщина не заподозрила, что за этим кроется.

— Нет, не часто, — ответила она. — Я не могу припомнить ни одного случая, кроме той бедной женщины, которая умерла здесь.

Я быстро взглянул на нее.

— В этой комнате?

Мой тон, по-видимому, обеспокоил хозяйку.

— Да нет, не совсем верно будет сказать, что именно в этой комнате. Мы отнесли ее наверх, но там она сразу же умерла. Когда она приехала, дни ее были уже сочтены. Если бы я знала об этом, я не сдала бы ей комнаты. Многие люди питают предубеждение к дому, в котором кто-нибудь умер, как будто можно найти хоть один, где бы этого никогда не случилось. Все это было не совсем приятно для нас.

Я помолчал немного, а она продолжала звенеть ножами и тарелками.

Наконец я спросил:

— От нее остались какие-нибудь вещи?

— Всего лишь несколько книг, фотографий и прочих мелочей, какие обычно привозят с собой постояльцы, — ответила она. — Ее родственники обещали прислать за вещами, но так и не прислали, и я забыла о них. Они не представляли никакой ценности.

Уходя из комнаты, женщина обернулась.

— Надеюсь, сэр, то, что я рассказала вам, не заставит вас уехать, — сказала она. — Ведь все это случилось очень давно.

— Конечно, нет, — ответил я. — Просто это заинтересовало меня, вот и все.

И женщина вышла, закрыв за собой дверь.

Что же, вот и объяснение, если я пожелаю им удовлетвориться. В то утро я долго просидел, размышляя о том, возможно ли, что вещи, над которыми я привык только смеяться, в конце концов оказываются реальностью. А еще день или два спустя я сделал открытие, подтвердившее мои смутные догадки.

Роясь все в том же пыльном шкафу, я обнаружил в одном из его раскошшихся ящиков под грудой изорванных и измятых книг дневник, написанный в пятидесятые годы, между испачканными страницами которого было заложено множество писем и засушенных цветов. Писатель не в силах устоять перед человеческим документом, и выцветшие строчки, потускневшие и блеклые, как засушенные цветы, поведали уже известную мне историю.

Это была очень старая и очень банальная история. Героем ее был художник. Есть ли хоть одна подобная история, героем которой не был бы художник? Они вместе росли и любили друг друга, даже не подозревая о своей любви, пока наконец не поняли этого. Вот выдержка из дневника:

«Мая 18. Не знаю, с чего начать и как описать все происшедшее. Крис любит меня. Я молила Бога сделать меня достойной его и танцевала по комнате босиком, чтобы не потревожить спящих внизу. Он целовал мне руки и обвинял их вокруг своей шеи, говоря, что они прекрасны, как руки богини, потом стал на колени и снова целовал их. Я держу их перед глазами и сама целую их. Я рада, что они так прекрасны. О Боже, за что ты так добр ко мне? Помоги мне быть ему верной женой. Помоги мне не причинять ему ни малейшей боли! Сделай так, чтобы я любила его еще больше, еще крепче...»

И такими глупостями заполнено множество страниц, но именно благодаря этим глупостям наш старый, дряхлый мир, столько веков провисевший в пространстве, еще не прокис окончательно.

Следующая запись, сделанная уже в феврале, содержит продолжение истории:

«Сегодня утром Крис уехал. В последнюю минуту он вложил мне в руки маленький пакетик, сказав, что это са-

мое дорогое, что у него есть, и что, глядя на эту вещь, я должна думать о том, кто меня любит. Я, конечно, догадалась, в чем дело, но развернула пакет только тогда, когда осталась одна в своей комнате. Это был мой портрет, который он так тщательно скрывал от всех, но какой чудесный портрет! Неужели я действительно так красива? Но мне жаль, что он изобразил меня такой печальной. Я целую маленькие губки. Я люблю их за то, что ему нравилось целовать их. О мой любимый! Пройдет много времени, прежде чем ты снова поцелуешь эти губы. Конечно, он поступил правильно, уехав отсюда, и я рада, что ему это удалось. Здесь, в деревенской глуши, у него не было возможности учиться по-настоящему, а теперь он побывает в Париже и в Риме и станет великим художником. Даже глупые здешние жители понимают, как он талантлив. Но пройдет столько времени, прежде чем я увижу его, моего возлюбленного, моего короля!»

После каждого его письма следовали такие глупые восторженные излияния, но чем дальше я читал, тем яснее чувствовалось, что со временем письма от него стали реже и сдержанней, и за каждым словом я угадывал ужасное подозрение, которое она не смела высказать прямо.

«Марта 12. Уже шесть недель от Крис нет ни слова. О боже, как я жажду получить от него весточку, ведь последнее письмо я так целовала, что оно чуть не рассыпалось на кусочки. Надеюсь, он будет писать чаще, когда придет в Лондон. Я знаю, ему приходится много работать, и с моей стороны эгоистично желать, чтобы он писал чаще; но ведь я предпочла бы не спать целую неделю, чем заставить его ждать письма. По-видимому, мужчины не похожи на нас. Боже, помоги мне, помоги, что бы ни случилось! Какая я сегодня глупая! Ведь он всегда был легкомысленным. Я накажу его, когда он вернется, но не слишком сурово». Право, история в достаточной степени банальная.

Письма от него продолжали приходиться и после этого, но, по-видимому, они становились все холоднее, потому что в дневнике появляется раздражение и горечь, а выцветшие страницы местами хранят на себе следы слез. Далее следует запись, сделанная уже в конце следующего года необычайно четким и аккуратным почерком:

«Теперь все кончено, и я рада этому. Я написала ему, что отказываюсь от него, так как он стал мне безразличен, и я хочу, чтобы мы оба были свободны. Так лучше. Иначе он был бы вынужден просить меня освободить его, а это причинило бы ему боль. Он всегда был так деликатен. Теперь он может со спокойной совестью жениться на ней и никогда не узнает, как я страдала. Она больше подходит ему, чем я. Надеюсь, теперь он будет счастлив. Мне кажется, я поступила правильно».

Здесь пропущено несколько строчек, а затем запись возобновляется более твердым и решительным почерком.

«Зачем я лгу себе? Ненавижу ее! Я убила бы ее, если б могла. Надеюсь, она сделает его несчастным, а он возненавидит ее, как я, и она умрет. Зачем я позволила убедить себя написать это лживое письмо, которое он покажет ей, а она сразу поймет все и будет смеяться надо мной? Я могла заставить его сдержать слово; он не посмел бы отказаться от своего обещания.

Что мне за дело до гордости, девической скромности, правил поведения и прочих лицемерных слов! Мне нужен он. Мне нужны его поцелуи и объятия. Он мой! Он любил меня! Я отказалась от него только потому, что мне было приятно воображать себя святой. Все это только лживая игра. Лучше быть грешницей, лишь бы он любил меня. Зачем я себя обманываю? Он нужен мне. В глубине своего сердца я не желаю ничего, кроме его любви, его поцелуев!» В конце было приписано: «Боже мой, что я пишу? Неужели у меня нет ни стыда, ни силы воли? Боже, помоги мне!»

На этом дневник обрывается.

Я просмотрел письма, лежавшие между страницами. Большинство из них было подписано просто «Крис»; или «Кристофер». Но в одном письме фамилия и имя были поставлены полностью, и оказалось, что я хорошо знаю этого человека, пользующегося большой известностью, и не раз встречался с ним. Мне вспомнилась его жена, красивая женщина с резкими чертами лица, его огромный особняк в Кенсингтоне, представлявший собой наполовину дом, наполовину — художественную галерею, вечно полный разодетых болтливых посетителей, среди которых сам он всегда выглядел непрошеным гостем, вспомнилось его усталое лицо и язвительная речь. Вспоминая об этом, я снова пред-

ставил себе нежное и печальное лицо женщины, изображенной на миниатюре; наши глаза встретились, и она улыбнулась мне из темноты, а мой взгляд выразил горькое недоумение.

Я достал миниатюру с полки. Если теперь я попытаюсь узнать ее имя, в этом не будет ничего дурного. Я простоял так с миниатюрой в руках до тех пор, пока хозяйка не вошла в комнату, чтобы накрыть на стол.

— Я нашел это, роясь в вашем книжном шкафу, — сказал я. — Эта женщина мне знакома, я встречался с ней, но не могу припомнить где. Вы не знаете, кто это?

Женщина взяла портрет у меня из рук, и на ее высохшем лице появился слабый румянец.

— Я потеряла его, — сказала она, — и ни разу мне не пришлось в голову поискать здесь. Это мой портрет, написанный много лет назад одним другом.

Я посмотрел на нее, потом на миниатюру. Она стояла в тени, но лицо ее было освещено лампой, и я словно видел ее впервые.

— Как это глупо с моей стороны, — ответил я. — Да, теперь я улавливаю сходство.

ИЗ СБОРНИКА
«ЕЩЕ ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ»
(1898)

О ВЕЛИКОЙ ЦЕННОСТИ ТОГО,
ЧТО МЫ НАМЕРЕВАЛИСЬ СДЕЛАТЬ

Я помню многое, в том числе и такое, что относится к далекому прошлому. Конечно, я не надеюсь, что ты, благосклонный читатель, только еще вступающий в цветущую пору жизни, в тот возраст, который беспечная молодежь называет средним, вспомнишь вместе со мною время, когда большим спросом пользовался некий журнал, именуемый «Мастер-любитель». Цель у него была благородная. Он стремился проповедовать высокую идею независимости, распространять превосходное учение о самопомощи. В одной главе читателю разъяснялось, как банки из-под австралийских мясных консервов превратить в горшки для цветов; в другой главе — как превратить кадку из-под масла в вертящийся табурет для рояля; в третьей — как использовать старые шляпные картонки для устройства жалюзи, — принцип всей системы заключался в том, чтобы изготовлять все, что угодно, из вещей, для этого не предназначенных и как нельзя более неподходящих.

Целых две страницы, как я твердо помню, были посвящены восхвалению подставок для зонтиков, сделанных из старых газовых труб. Не могу представить себе предмет, более непригодный для хранения шляп и зонтов, чем газовая труба; но, если бы таковой существовал, автор, я уверен, уже подумал бы о нем и порекомендовал его своим читателям.

Рамки для картин можно было смастерить из пробок от имбирного пива. Набрали пробок, нашли картину — и дело сделано. Количество имбирного пива, которое требовалось

выпить, прежде чем приступить к изготовлению каждой рамы, а также действие, производимое этим напитком на физическое, психическое и моральное состояние изготовителя, — все это не интересовало журнал. По моим подсчетам, для картины среднего размера потребовалось бы шестнадцать дюжин бутылок. Еще неизвестно, сохранится ли у человека малейшая охота делать раму для картины после выпитых им шестнадцати дюжин бутылок, да и не перестанет ли ему нравиться сама картина. Но это, конечно, вопрос второстепенный.

Одному моему знакомому — молодому человеку, сыну садовника моей сестры, как мог бы выразиться бессмертный Олледорф¹, — удалось осилить достаточное количество имбирного пива, чтобы вставить в рамку своего дедушку, но результат был малоутешительным. В самом деле, жена садовника и та не была удовлетворена.

— Что это за пробки вокруг отца? — было ее первым вопросом.

— Разве ты не видишь? — отвечал сын с некоторым возмущением. — Это рамка.

— Но почему же пробки?

— Потому что в книге сказано — пробки.

Однако слова его не произвели впечатления на почтенную женщину.

— Это теперь и на отца-то не похоже, — со вздохом сказала она. Ее первенец пришел в негодование: ведь никто у нас не любит критики!

— Так на что же это, по-твоему, похоже? — буркнул он.

— Да уж не знаю. По-моему, ни на что, кроме пробок.

Почтенная женщина была совершенно права. Возможно, картины некоторых художников только выиграли бы от подобного обрамления. Я своими глазами видел приглашение на похороны, которому пробковая рамочка придавала почти веселый вид. Но, вообще говоря, в результате рамка подавляла то, что в ней заключалось. Наиболее честные и не лишённые вкуса изготовители таких рам сами были вынуждены с этим согласиться.

— Да, смотреть на это противно, — сказал мне один из них, когда мы, стоя посреди комнаты, рассматривали его

¹ Автор известного в свое время учебника английского языка.

произведение. — Но приятно сознавать, что сделал это собственными руками.

Такое соображение, как я заметил, примиряет нас и со многим другим, помимо пробковых рамок.

Другой мой знакомый, тоже молодой человек, — ибо, надо признать, советами и указаниями «Мастера-любителя» пользовалась по преимуществу молодежь: ведь с возрастом постепенно утрачиваешь смелость и прилежание, — итак, этот молодой человек соорудил кресло-качалку, согласно инструкциям «Мастера-любителя», из двух пивных бочонков. Со всех практических точек зрения то была плохая качалка. Она качалась слишком сильно и в слишком многих направлениях одновременно. Я полагаю, что человек, сидящий в качалке, не расположен качаться беспрерывно, наступает минута, когда он решает: «Ну, пока достаточно, теперь надо немножко посидеть спокойно, чтобы со мной не приключилось чего-нибудь дурного». Но это была одна из тех упрямых качалок, которые таят опасность для человеческого рода и вредят самим себе. Она была убеждена, что ее призвание — качаться и что, не качаясь, она зря тратит драгоценное время. Стоило ей прийти в движение, ничто уже не могло ее остановить — и ничто никогда не останавливало, пока она не опрокидывалась, накрывая собой сидевшего в ней человека. Только это и могло отрезвить ее.

Как-то я пришел в гости, и меня проводили в гостиную, где некоторое время я оставался один. Качалка призывно кивнула мне. Я никак не предполагал, что она была созданием любителя. Я был молод тогда, верил в людей и воображал, что если они и могут браться за дело без знания и опыта, то все же не найдется такого глупца, который стал бы производить эксперименты с качалкой.

Я уселся в нее легкомысленно и беззаботно. И тотчас же потолок мелькнул у меня перед глазами. Я инстинктивно подался вперед. На миг в рамке окна возникли лесистые холмы, взлетели кверху и исчезли. Ковер пронесся передо мною, и я увидел свои собственные башмаки, скрывающиеся подо мною со скоростью около двухсот миль в час. Я сделал судорожное усилие вернуть их. Но, очевидно, перестарался. Я увидел вдруг сразу всю комнату: четыре стены, потолок и пол — одновременно. Это было нечто вроде видения. На моих глазах пианино опрокинулось, и снова

мои башмаки, подметками сверху, промчались мимо, на этот раз у меня над головой. Никогда не доводилось мне наблюдать, чтобы мои башмаки заполняли собою все пространство. В следующее мгновение я их потерял из виду и остановил головою ковер, который как раз пронесился мимо. В тот же миг что-то сильно ударило меня в поясницу. Опомнившись, я предположил, что моим противником, по всем данным, была качалка. Расследование подтвердило эту догадку. К счастью, я все еще находился один в гостиной и поэтому спустя несколько минут был в состоянии приветствовать хозяйку со спокойным достоинством. Я ни словом не обмолвился про качалку. По правде говоря, я предвкушал удовольствие дожидаться прихода другого гостя и посмотреть, как он будет знакомиться с ее особенностями: я с умыслом поставил ее на самом видном и удобном месте. У меня хватило бы выдержки промолчать, однако поддакивать хозяйке, когда она стала расхваливать качалку, было выше моих сил. Я был слишком раздражен всем тем, что перенес.

— Вилли сделал ее сам, — сообщила любящая мамаша. — Не правда ли, очень ловко?

— О да, ловко, — отвечал я, — вполне согласен с вами.

— А ведь он смастерил ее из старых пивных бочонков, — продолжала она с нескрываемой гордостью.

Моя злость, как ни пытался я сдержаться, все возрастала.

— Неужели? — сказал я. — Полагаю, он мог бы найти для них более удачное применение.

— Какое же? — спросила она.

— Да любое! — ядовито заметил я. — Он мог бы опять наполнить их пивом.

Хозяйка посмотрела на меня изумленно. Я чувствовал, что моя позиция нуждается в объяснении.

— Видите ли, — начал я, — это кресло несовершенно по своей конструкции. Полозья чересчур малы и чересчур круто изогнуты, а кроме того, одно из них, если вы заметили, выше другого и меньше в диаметре; спинка расположена под слишком тупым углом. Когда садишься в кресло, то центр тяжести...

Хозяйка перебила меня.

— Вы уже сидели в качалке! — догадалась она.

— Очень недолго, — заверил я ее.

Она изменила тон. Стала оправдываться:

— Мне так жаль, ведь с виду она кажется очень хорошей.

— С виду, конечно, — согласился я, — в этом и проявляется ловкость вашего милого сына. Привлекательный вид усыпляет все подозрения. Ведь такое кресло, если пользоваться им с толком, могло бы служить действительно полезной цели. У нас есть общие знакомые — я не называю имен, но вы знаете, о ком идет речь, — чванные, самодовольные, надменные люди, которых можно было бы исправить с помощью этой качалки. Я бы, на месте Вилли, замаскировал ее механизм какой-нибудь художественной драпировкой, положил бы в виде приманки парочку особенно соблазнительных подушек и получил бы таким образом возможность насаждать в людях скромность и искоренять самонадеянность. Я утверждаю, что, выбравшись из этой качалки, никто не будет чувствовать себя таким важным, как прежде. Произведение милого мальчика может служить автоматически действующим прибором, показывающим, сколь преходяще земное величие. Как средство нравственного воздействия эта качалка призвана доказывать, что нет худа без добра.

Хозяйка слабо улыбнулась — боюсь, что только из вежливости.

— Мне кажется, вы слишком строги, — сказала она. — Если принять во внимание, что мальчик в первый раз взялся за такую работу, что у него нет ни знаний, ни опыта, то, право же, это не так плохо.

С такой точкой зрения я вынужден был согласиться. Мне не хотелось настаивать на том, что молодым людям как раз и нужно приобрести знания и опыт, прежде чем братья за трудное дело, — ведь эта теория так непопулярна.

Однако на первом месте у «Мастера-любителя» была пропаганда ящиков из-под яиц как материала для самодельной мебели. Почему ящиков из-под яиц, этого я никогда не мог понять, но именно ящики из-под яиц были предписаны «Мастером-любителем» в качестве основы домашнего существования. При наличии достаточного количества ящиков из-под яиц и того, что «Мастер-любитель» называл «врожденной сноровкой», любая молодая чета могла смело приступить к мебелировке квартиры. Из трех ящиков получался

письменный стол, еще один ящик служил вам рабочим креслом, по бокам, тоже в ящиках из-под яиц, размещались книги — и вот кабинет ваш был полностью обставлен.

Что касается столовой, то два ящика из-под яиц служили красивой полкой для камина; четыре ящика и кусок зеркала вполне заменяли буфет, меж тем как шести ящиков, небольшого количества ваты и какого-нибудь ярда кретона достаточно было, чтобы обставить так называемый «уютный уголок». Насчет «уголка» не могло быть никаких сомнений: вы садились на угол, вы прислонялись спиной к углу, вы при любом движении натывались на какой-нибудь новый угол. Но уют?.. Допускаю, что ящики из-под яиц могут быть полезны. Даже готов допустить, что они могут служить для украшения. Даже для уюта — никогда! Я ознакомился с ящиками из-под яиц во всех видах. Я говорю о минувших днях, когда весь мир и мы сами были моложе, когда нашим богатством было наше будущее; полагаясь на него, мы без колебаний основывали семейный дом при таких доходах, которые человеку с меньшими надеждами на будущее показались бы совершенно недостаточными. В таких обстоятельствах, не будь ящиков из-под яиц или чего-либо в том же стиле, нам приходилось бы ограничиваться строго классическим убранством — дверным проемом в сочетании с архитектурными пропорциями.

Мне приходилось, как почетному гостю, с субботы до понедельника вешать свою одежду в ящики из-под яиц. На ящик я садился, на ящик ставили передо мной чашку чая. Я ухаживал за дамами, сидя на ящиках. Да, чтобы опять почувствовать, как молодая кровь течет у меня в жилах, я бы согласился сидеть на одних только ящиках из-под яиц до тех пор, пока меня не погребли бы в каком-нибудь ящике из-под яиц, поставив надо мной еще один ящик в виде надгробного памятника. Немало вечеров посидел я на ящиках из-под яиц. Ящики из-под яиц служили мне постелью. В том, что у них есть достоинства, я получил твердое убеждение, и это не каламбур, но провозглашать их уютными — значит просто обманывать людей.

Как необычны были эти комнаты, обставленные самодельной мебелью! Их очертания возникают у меня перед глазами из туманной дымки прошлого. Я вижу бугристый диван; кресла, достойные изобретательности самого Великого

Инквизитора; скамью, всю в выбоинах, которая ночью служит постелью; несколько голубых тарелок, приобретенных где-нибудь в трущобах, неподалеку от Уордер-стрит; крашеную табуретку, к которой почему-то всегда прилипашь; зеркало в раме из шелка; два японских веера, скрещенных под какой-нибудь дешевой гравюрой; чехол для пианино, на котором сестра милой Энни вышила павлиньи перья; скатерть работы Дженни, кузины. Сидя на ящиках из-под яиц, мы мечтали — ведь мы были молодые леги и джентльмены с художественными запросами — о тех днях, когда будем обедать в столовой «чиппендейл», потягивать кофе в гостиной стилия Людовика XIV — и будем счастливы. Что ж, с тех пор мы, как любил говорить мистер Бампус, преуспели — по крайней мере некоторые из нас. Как я убеждаюсь (бывая в гостях у своих друзей), некоторые из нас достигли того, что мы действительно сидим на чиппендейловских стульях за шератоновскими обеденными столами и греемся у камина работы Адама. Но, увы, где же теперь мечты и восторженные надежды, овевавшие нас подобно благоуханию мартовского утра среди убогого убранства третьих этажей? Боюсь, мечты эти покоятся в мусорной куче вместе с ящиками из-под яиц, обитыми кретоном, и грошовыми веерами. Судьба так ужасающе беспристрастна. Одно дает, зато другое отнимает. Она бросала нам несколько шиллингов и надежды на будущее, теперь же она оделяет нас фунтами стерлингов и страхами. Почему мы не сознавали своего счастья, когда, увенчанные приятной самонадеянностью, сидели на своих тронах — ящиках из-под яиц?

Да, Дик, ты высоко вскарабкался. Ты редактируешь большую газету. Ты распространяешь сообщения... ну, такие сообщения, которые твой хозяин сэр Джозеф Банкнот приказывает тебе распространять. Ты учишь человечество всему тому, чему сэр Джозеф Банкнот велит учить. Говорят, в будущем году он получит звание пэра. Я уверен, он заслужил его; и тебе, Дик, быть может, перепадет титул баронета.

Том, ты сейчас идешь в гору. Ты распрощался со своими аллегориями, не находящими спроса. Какой богатый меценат захочет на стенах собственного дома видеть постоянные напоминания о том, что у Мидаса ослиные уши, что Лазарь по-прежнему лежит у ворот? Теперь ты пишешь портреты, и все кругом называют тебя многообещающим худож-

ником. Портрет «Импрессия леди Дездемоны» прямо-таки великолепен. Ее милость вышла на портрете вполне красивой, а вместе с тем это она. Твоя кисть поистине творит чудеса.

Но посреди этих шумных успехов, Том, Дик, старый друг, не вкрадывается ли иногда в твое сердце желание выудить из прошлого те старые ящики из-под яиц, опять обставить ими убогие комнаты в Кемден-Таун и вновь обрести там нашу юность, нашу любовь и нашу веру?

Недавний случай напомнил мне обо всем этом. Я в первый раз пришел в гости к одному знакомому актеру, который пригласил меня в свою квартирку, где он живет со стариком отцом. Я думал, что повальное увлечение самодельной мебелью давно прошло, — и каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что этот дом наполовину обставлен упаковочными коробками, бочками из-под масла и ящиками из-под яиц! Мой приятель зарабатывает не меньше двадцати фунтов в неделю, но, как он мне объяснил, все эти самодельные чудовища — конек его старого отца; и тот гордится ими, словно это экспонаты из Южно-Кенсингтонского музея¹.

Он привел меня в столовую показать очередного уроды — новый книжный шкаф. Трудно себе представить, чем бы можно было сильней обезобразить комнату, вообще говоря, очень мило обставленную. Новый шкаф представлял собою не что иное, как несколько ящичков из-под яиц, о чем и сообщил мне мой приятель, — впрочем, пояснения были излишни. Каждый мог убедиться с первого взгляда, что это именно ящички из-под яиц, и притом плохо сделанные, настоящий позор для выпускавшей их фирмы, ящички, не годные даже для самых скверных яиц, по шиллингу за полторы дюжины.

Мы с хозяином дома поднялись к нему в спальню. Он открыл дверь так, словно мы входили в музей античных гемм.

— Все, что вы здесь увидите, — предупредил он, стоя на пороге, — старик сделал собственными руками, все без исключения.

Мы вошли. Он обратил мое внимание на гардероб.

¹ Музей прикладного искусства в Лондоне.

— Теперь я его придержу, — сказал он, — а вы открывайте дверцу; мне кажется, пол здесь не совсем ровный, шкаф немного шатается.

Несмотря на все предосторожности, шкаф покачнулся, но, убажывая его и приноравливаясь к его характеру, мы достигли цели без всяких неприятных происшествий. Я с удивлением заметил, что в шкафу было очень мало костюмов, хотя мой приятель любит одеться.

— Видите ли, — объяснил он, — я стараюсь по возможности обходиться без него. Я не отличаюсь ловкостью, и, кто его знает, в спешке я мог бы обрушить все на себя.

Последнее было весьма вероятно.

Я спросил, как же он выходит из положения.

— Я обычно одеваюсь в ванной, — ответил он. — Там я храню почти всю одежду. Конечно, старик ничего не подозревает.

Он показал мне комод. Один ящик был наполовину выдвинут.

— Приходится держать его открытым, — сказал хозяин, — в нем-то и хранится все необходимое. Ящики плохо закрываются, или, вернее сказать, закрываются они хорошо, но уж тогда их никак не откроешь. Я думаю, что из-за погоды. Летом, конечно, они будут закрываться и открываться без всякого труда.

Приятель мой большой оптимист.

Но подлинной гордостью спальни был умывальник.

— А что вы скажете об этой штуке? — победоносно воскликнул хозяин. — Верх совсем как мраморный...

Дальше он не распространялся. В увлечении он прикоснулся к верхушке умывальника, и она обрушилась. Бессознательным движением я подхватил на лету кувшин, а вместе с ним и его содержимое. Таз покотился колесом, но все сошло благополучно — пострадали только я и мыльница.

Я был не в состоянии выдать из себя похвалу умывальнику; я чувствовал себя слишком мокрым.

— А как же вы моетесь? — спросил я, когда мы общими усилиями снова установили эту ловушку.

Тут он стал похож на заговорщика, собирающегося выдать тайну. Виновато оглядел комнату; затем на цыпочках подошел к кровати и открыл стоявший между ней и стеною шкафчик. Там хранился жестяной таз и небольшой кувшин.

— Только не говорите старику, — попросил он, — я прячу все это здесь, а когда моюсь, ставлю прямо на пол.

Это и было самое светлое воспоминание, связанное с ящичками из-под яиц, — образ сына, который, обманывая отца, тайком моется на полу за кроватью, вздрагивая при каждом звуке шагов, так как старик в любую минуту может войти в комнату.

Интересно знать, действительно ли все исчерпывается десятью заповедями, как люди добрые думают, и не стоит ли всех их, вместе взятых, одиннадцатая заповедь, призывающая «возлюбить друг друга» самой обычной, человеческой, деятельной любовью? Не могут ли десять заповедей уместиться где-нибудь в уголке этой одиннадцатой? Порой, поддаваясь анархическим настроениям, мы склонны бываем согласиться с Робертом Луисом Стивенсоном в том, что быть дружелюбным и веселым — лучшая религия для повседневной жизни. Мы так озабочены тем, чтобы не убить, не украсть, не пожелать жены ближнего своего, что нам некогда быть просто справедливыми друг к другу в то краткое время, пока мы пребываем вместе в этом мире. Так ли уж верно, что существующий список добродетелей и пороков — единственно правильный и полный? Обязательно ли доброго, бескорыстного человека считать злодеем только за то, что ему не всегда удастся подавить свои природные инстинкты? А человека с черствым сердцем и мелкой душой обязательно ли считать святым только за то, что у него этих инстинктов нет? Не с ложной ли меркой мы, жалкие обыватели, подходим к оценке наших заблудших братьев и сестер? Мы судим их, как критики судят о книгах, не по их достоинствам, а по их недостаткам. Бедный царь Давид! Как бы отозвалось о нем местное Общество охраны нравственности? А Ноя, исходя из наших представлений, обличали бы со всех трибун общества трезвости, — Хама же занесли бы в список почетных прихожан в награду за то, что он не прикрыл наготу отца своего. А святой Петр! Как повезло ему, что остальные апостолы и их учитель не придерживались таких строгих понятий о добродетели, как мы в наше время.

Разве не позабыто нами само значение слова «добродетель»? Прежде оно символизировало доброе начало, заложенное в людях, пусть даже в них коренились и пороки,

как плевелы среди пшеницы. Мы упразднили добродетель и заменили ее добродетельками. Не герой — у него слишком много недостатков, — а безупречный прислужник; не человек, творящий добро, а человек, лишь не уличенный ни в одном скверном поступке, — вот наш современный идеал. В соответствии с этими новыми взглядами самым добродетельным существом на свете следует считать устрицу. Она всегда сидит дома и всегда в трезвом состоянии. Она не шумлива. Она не доставляет хлопот полиции. Насколько я помню, она ни разу не нарушила ни одной из десяти заповедей. Она сама никогда ничем не наслаждается и никогда за всю свою жизнь не дала хотя бы мимолетной радости другим. Могу представить себе, как устрица читала бы наставление льву!

— Слышали вы когда-нибудь, чтобы я, подобно вам, рычала вблизи стоянок и деревень, наполняя ночь ужасом и до смерти пугая мирных людей? — сказала бы она. — Почему вы не ложитесь спать рано, как я? Я никогда не рыщу по устричному садку, не сражаюсь с другими джентльменами-устрицами, не ухаживаю за леди-устрицами, чужими женами. Я никогда не убиваю ни антилоп, ни миссионеров. Почему вы не можете, подобно мне, питаться морской водой и личинками или как они там называются? Почему вы не стараетесь подражать мне?

У устрицы нет дурных страстей, поэтому мы считаем ее добродетельной. Мы никогда не задаем себе вопрос: «А есть ли у нее какие-нибудь благородные страсти?» Поведение льва в глазах порядочного человека сплошь и рядом непростительно. Но разве у него нет и достоинств?

Так ли радушно встретят у врат рая жирного, прилизанного, «добродетельного» человека, как он надеется?

— Ну, кто там еще? — спросит святой Петр, приоткрыв дверь и оглядывая его с ног до головы.

— Это я, — отзовется «добродетельный» человек с ележной, самодовольной улыбкой. — Я явился.

— Вижу, что явились. Но есть ли у вас право на вход? Что вы совершили за свои семьдесят лет?

— Совершил?! — воскликнет добродетельный человек. — Я ничего не совершил, уверяю вас.

— Ничего?

– Ничего; это и есть моя заслуга. Потому-то я и пришел сюда. Я никогда не совершал ничего дурного.

– А какие добрые дела вы совершили?

– Как так – добрые дела?

– Да, добрые дела. Вы даже не понимаете значения этих слов? Кому из людей вы помогли тем, что ели, пили и спали все эти годы? Вы не причинили никакого ущерба – никакого ущерба самому себе. Может быть, если бы вы не опасались ущерба для себя, вы бы совершили и какое-нибудь доброе дело. Там, на земле, насколько я помню, так обычно и бывает. Какое доброе дело вы сделали, чтобы иметь право сюда войти? Здесь не хранилище мумий, здесь обитель мужчин и женщин, живших полной жизнью, творивших добро и, увы, также и зло, – обитель для грешников, которые сражаются за правду, а не для праведников, которые бегут с поля сражения, спасая самих себя.

Однако не для того, чтобы говорить обо всем этом, вспомнил я «Мастера-любителя» и его наставления. В мои намерения входило лишь завести разговор об одном маленьком мальчике, который проявлял исключительные способности, выполняя ненужную работу. Я хочу рассказать его историю, потому что она, как большинство правдивых рассказов, содержит мораль, а истории, не содержащие морали, я считаю просто глупой литературой, напоминающей дороги, которые никуда не ведут и служат лишь больным для моциона.

Этот мальчик, говорят, разобрал однажды на части дорогие часы с недельным заводом и сделал из них игрушечный пароходик. Правда, когда игрушка была готова, она лишь весьма отдаленно напоминала пароход; но, учитывая малую пригодность часового механизма для постройки парохода и необходимость срочно окончить работу, пока не помешали консервативно настроенные люди, лишенные научного энтузиазма, следует признать, что пароход был не так уж плох. Одну гладильную доску и несколько дюжин вертелов мальчик превращал в удобную клетку для кроликов, если только кто-нибудь не успевал хватиться гладильной доски. Из зонтика и газового рожка он делал винтовку, если не со столь точным прицелом, как у Мартини-Генри, то, во всяком случае, более беспощадную. Он мог соорудить фонтан в саду, употребив для этого половину шланга для

поливки, медный таз, взятый с маслобойни, и несколько каминных украшений дрезденского фарфора. Из кухонных столов он мастерил книжные полки, а из кринолинов — самострелы. Он умел запрудить ручей так, что вода заливала всю площадку для крокета. Он знал, как приготовить красную краску, как получить кислород, и еще многое другое, столь же полезное для дома. Кроме всего прочего, он научился изготовлению фейерверков, причем ценою нескольких незначительных взрывов достиг здесь поистине большого мастерства. Если мальчик хорошо играет в крокет, то он нравятся. Если мальчик хорошо дерется, он вызывает к себе уважение. Если мальчик способен нагрубить учителю, он завоевывает всеобщую любовь. Но если мальчик может устроить фейерверк, то его почитают, как некое существо высшего порядка. Пятое ноября¹ уже приближалось, и, заручившись согласием любящей матери, мальчик решил показать всему миру, на что он способен. Уже за две недели до вечера, на который было приглашено много друзей, родственников и школьных товарищей, буфетная превратилась в мастерскую по изготовлению фейерверка. Служанки с ужасом проходили мимо нее, постоянно опасаясь за свою жизнь, и, судя по запаху, можно было вообразить, что сам сатана занял виллу под филиал ада, так как основное помещение было переполнено. Четвертого числа вечером все было готово и несколько образцов было испробовано во избежание какой-нибудь заминки во время праздника. Все оказалось безупречным. Ракеты взвивались к небу и рассыпались звездами, римские свечи бросали в темноту горящие шары, огненные колеса искрились и вертелись, шутихи трещали, и квакуны квакали. В тот вечер мальчик отправился спать счастливым и гордым, и ему пригрезилась слава. Вот он стоит в сиянии фейерверка, и огромная толпа приветствует его. Его родственники, большинство которых, он знал, считали, что из него вырастет идиот, стали свидетелями его торжества; пришел сюда и Дикки Боулз, который всегда смеялся над ним за неумение метко бросать камешки. Девочка из булочной тоже присутствует и видит, какой он умный.

¹ Традиционный английский праздник в память раскрытия «Порохового заговора» (1605 г.). Отмечается шествием, фейерверками и пр.

Наконец торжественный день пришел, и с ним пришли гости. Они сидели на открытом воздухе, закутавшись в шали и плащи; дяди, тети, двоюродные братья и сестры, маленькие мальчики и большие мальчики, маленькие девочки и большие девочки, а также, как пишут в театральных афишах, «поселяне и слуги» — в общей сложности около сорока человек сидели и ждали.

Но с фейерверком ничего не выходило. Почему — не могу объяснить, никто никогда не мог объяснить этого. Кажется, законы природы были отменены именно на этот вечер. Ракеты сразу падали и гасли. Никакими человеческими силами нельзя было добиться, чтобы квакуны воспламенились. Шутихи хлопали один раз и валились в изнеможении. Римские свечи можно было принять за наши английские салвные свечи. Пламя колес напоминало мелькание светлячков. Огненные змеи проявляли так мало живости, что ее не хватило бы даже для черепахи. Изюм панорамы «корабль на море» показалась только одна мачта и капитан, и все исчезло. Удались какие-нибудь один-два номера программы, лишь подчеркнув глупость всей затеи. Маленькие девочки хихикали, маленькие мальчики отпускали шутки, тети и двоюродные сестры восторгались, дяди осведомлялись, все ли уже окончено, и говорили об ужине и расписании поездов, «поселяне и слуги» разошлись, посмеиваясь, снисходительная мамаша говорила: «Ну, ничего» — и рассказывала, как все чудесно удавалось накануне; одаренный ребенок убежал вверх в свою комнату и там облегчил душу рыданиями.

Много позже, когда толпа забыла о нем, он тайком прокрался в сад. Он сел посреди развалин своих надежд и пытался понять, почему его постигло фиаско; все еще недоумевая, он достал из кармана спичечный коробок, зажег спичку и поднес ее к опаленному концу ракеты, которую четыре часа тому назад он тщетно пытался пустить. В одно мгновение она затлела, затем со свистом взвилась к небу и рассыпалась сотней маленьких огоньков. Он пробовал одну ракету за другой — все они прекрасно действовали. Он снова поджег панораму. Все части, за исключением капитана и одной мачты, постепенно возникали из ночного мрака, и наконец в пламенном великолепии предстала вся картина. Искры упали на сваленные в кучу римские свечи, колеса и

ракеты, которые еще недавно решительно отказывались гореть и были отброшены как негодные. Теперь же, покрытые ночным инеем, они внезапно пустились гореть, напоминая грандиозное извержение вулкана. А перед этим величественным зрелищем стоял он, и единственным утешением было ему рукопожатие матери.

В то время все происшедшее было для него таинственной загадкой, но впоследствии, лучше узнав жизнь, он понял, что это было лишь одним из проявлений необъяснимого, но постоянного закона, управляющего всеми делами людей, — на глазах у толпы твой фейерверк не вспыхнет.

Блестящие реплики приходят нам в голову, когда за нами уже закрылась дверь и мы в одиночестве идем по улице или, как говорят французы, спускаемся по лестнице. Наша застольная речь, звучащая столь значительно, когда мы репетировали ее перед зеркалом, оказывается совершенно бездарной при звоне бокалов. Бурный поток слов, в котором мы готовились излить перед нею всю свою страсть, оборачивается бессвязным лепетом, вызывая у нее только смех, — признаться, вполне извинительный.

Я хотел бы, благосклонный читатель, чтобы ты познакомился с теми рассказами, которые я намеревался написать. Ты, конечно, судишь обо мне по тому, что я написал, — хотя бы, например, по этой книжке, но это несправедливо. Я хотел бы, чтобы ты судил обо мне именно по тем рассказам, которые я не написал, но собираюсь когда-нибудь написать. Они так прекрасны; ты сам увидишь: читая их, ты будешь смеяться и плакать вместе со мной.

Они являются ко мне без приглашения, они требуют, чтобы я написал их, но, едва я берусь за перо, они исчезают. Они как будто боятся гласности, как будто говорят мне: «Только ты один будешь нас читать, но ты не должен писать нас; мы слишком неподдельны, слишком правдивы. Мы — как мысли, которые ты не умеешь выразить словами. Может быть, попозже, когда ты лучше узнаешь жизнь, ты напишешь нас».

Если бы я задумал критический очерк о самом себе, то почти наравне со своими ненаписанными рассказами я поставил бы рассказы, начатые мною, но так и не завершенные, сам не знаю почему. Это хорошие рассказы, по крайней мере большинство из них; гораздо лучше тех, что за-

кончены. Может быть, в другой раз, если захочешь, я расскажу тебе начало одного или двух, и ты сам сможешь о них судить. Хотя я всегда считал себя человеком практичным и здравомыслящим, но, странное дело, среди этих мертворожденных детей моего ума, как я замечаю, роясь в шкафу, где покоятся их тощие останки, много рассказов о призраках. Мне кажется, всем нам хочется верить в призраки. Ведь так мир становится куда интересней для нас, наследников всех веков. Год за годом наука, вооружившись метлой и тряпкой, срывает изъеденные молю гобелены, взламывает двери запертых комнат, выпускает свет на потайные лестницы, очищает подземелья, исследует скрытые ходы — и всюду находит только пыль. Мир — этот старый замок с гулками сводами, такой таинственный для нас в детстве, — постепенно утрачивает свое очарование. Король уже больше не спит в горной пещере. Люди проложили туннель через его каменную опочивальню. Мы растрепали ему бороду своей киркой. Мы прогнали богов с Олимпа. В рощах, залитых лунным светом, путники уже не ожидают, со страхом или надеждой, увидеть лик Афродиты, сияющий смертоносной прелестью. Не молот Донара рождает эхо среди скалистых вершин — это грохочет поезд с экскурсантами. Мы очистили леса от фей. Мы выщедили нимф из моря. Даже призраки покидают нас, разогнанные научным обществом психологов.

Впрочем, о призраках, пожалуй, нечего жалеть. Ведь эти старые тупицы только и делали, что звякали своими ржавыми цепями, стонали и вздыхали. Пусть уходят.

А между тем как интересны были бы они, если бы только захотели. Старый джентльмен в кольчуге, живший еще при короле Иоанне, возвращался однажды верхом домой и был, как рассказывают, заколот ножом в спину на опушке того самого леса, который я вижу сейчас из окна; тело несчастного джентльмена было брошено в ров с водой, по сей день называемый Торовой могилой. Сейчас вода во рву высохла, и на его крутых склонах буйно разрослись желтые баранчики; но в те времена, когда стоячая вода в нем достигала двадцати футов глубины, это было, без сомнения, довольно мрачное место. Зачем является он ночью на лесных тропинках, так что при виде его дети, как говорят, безумеют от ужаса, а у крестьянских парней и девушек, возвра-

щающихся домой с танцев, бледнеют лица и смех замирает на губах? Почему вместо этого не приходит он сюда поговорить со мною? Я бы его радушно встретил, предложил бы ему свое кресло, будь он только веселым и общительным. Сколько превосходных историй мог бы он мне поведать! Он участвовал в первом крестовом походе, слышал зычный голос Петра¹, видел лицом к лицу великого Годфрида Бульонского и, быть может, стоял среди баронов при Раннимиде. Поболтать вечерок с таким призраком было бы любопытнее, чем прочесть целую библиотеку исторических романов. Как он провел свои посмертные восемьсот лет? Где побывал? Что видел? Быть может, он посетил Марс? Беседовал с неведомыми существами, которые, возможно, живут в огненной массе Юпитера? Что он узнал из великой тайны? Постиг ли он истину? Или же, подобно мне, он и теперь только путник, стремящийся к неведомому?

А ты, несчастная, бледная монахиня в сером одеянии! Говорят, каждую полночь в окне разрушенной башни появляется твое бескровное лицо и слышно, как внизу, среди кедров, лязгает меч о щит.

Я вполне понимаю вашу печаль, дорогая леди. Оба соперника, любившие вас, были убиты, и вы удалились в монастырь. Поверьте, я искренне сочувствую вам, но зачем бессмысленно тратить ночь за ночью, воскрешая мучительные сцены прошлого? Не лучше ли их позабыть? Боже мой, сударыня, что, если бы мы, живые, всю свою жизнь только причитали и ломали руки, вспоминая обиды детских лет. Ведь все уже в прошлом. Останься он в живых, ваш брак с ним мог быть и несчастлив. Я не хочу сказать ничего плохого, но браки, основанные на самой искренней взаимной любви, иногда оказывались неудачными, как вы, должно быть, и сами знаете.

Право же, послушайте моего совета. Поговорите начистоту с обоими молодыми людьми. Убедите их пожать друг другу руки и помириться. Приходите ко мне, все обитатели холодной мглы, и давайте побеседуем о чем-нибудь интересном.

¹Петротшельник (1050—1115 гг.) — проповедник, один из вдохновителей и участников первого крестового похода.

Зачем так упорно пугаете вы нас, несчастные, бледные призраки! Разве мы не ваши дети? Так будьте же нам мудрыми друзьями. Расскажите мне, как любили юноши в ваши юные годы? Как отвечали девушки на их любовь? Как, по-вашему, очень ли изменился мир? Не встречались ли даже в ваши времена новые женщины, девушки, ненавидящие вечные пальцы и прялку? На много ли хуже жилось челяди ваших отцов, чем свободным гражданам, которые живут в трущобах нашего Ист-Энда и по четырнадцать часов в день шьют домашние туфли, зарабатывая девять шиллингов в неделю? Как, по-вашему, заметно ли усовершенствовалось общество за последнее тысячелетие? Стало оно хуже или лучше? Или осталось в общем приблизительно таким же, разве только что мы называем вещи другими именами? Поделитесь со мною своими наблюдениями!

Впрочем, при слишком частом общении даже призраки могут надоесть.

Представьте себе, что человек проохотился целый день и очень устал. Он мечтает только добраться до постели. Однако не успел он переступить порог своей спальни, как из-за полога кровати раздается замогильный хохот, и усталый охотник подавляет глубокий вздох, готовясь к неизбежному: два-три часа проговорит с ним старый буян сэра Ланваль — тот самый, с волшебным копьем. Мы знаем наизусть все его истории, но он будет рассказывать их, и притом орать вовсю. А что, если в соседней спальне наша тетушка, от которой мы рассчитываем получить когда-нибудь наследство, вдруг проснется и все услышит?! Эти рассказы были, несомненно, хороши для рыцарей Круглого стола, но мы уверены, что тетушка наша их не одобрит, взять хотя бы историю о сэре Агравене и жене бочара! А уж призрак непременно ее расскажет.

Или представьте себе, что горничная входит в комнату и докладывает:

— С вашего позволения, сэра, там вас ждет дама под вуалью.

— Как, опять! — восклицает ваша жена, отрывая глаза от работы.

— Да, мэм. Прикажете провести ее наверх, в спальню?

— Спросите хозяина, — отвечает жена. Ее тон предвещает вам несколько весьма неприятных минут, как только горничная выйдет из комнаты; но что вам остается делать?

— Да, да, пригласите ее наверх, — говорите вы, и горничная выходит, закрывая за собой дверь.

Жена складывает свою работу и встает.

— Куда ты идешь? — спрашиваете вы.

— Иду спать в детскую, — следует холодный ответ.

— Это будет очень неучтиво, — убеждаете вы. — Мы должны быть вежливы с бедняжкой, ведь это, можно сказать, ее комната. Она издавна там появляется.

— Очень странно, — отвечает ваша возлюбленная супруга, — она никогда не появляется в твое отсутствие. Просто непонятно, где же она бывает, когда ты в городе.

Это несправедливо. Вы не можете сдержать возмущение.

— Что за чепуху ты говоришь, Элизабет! — восклицаете вы. — Я всего лишь вежлив с нею.

— У некоторых мужчин такие странные понятия о вежливости, — отвечает Элизабет. — Но, ради Бога, не будем ссориться. Мне просто не хотелось вам мешать. Там, где двое, третий лишний.

С этими словами она удаляется.

А наверху дама под вуалью все еще ждет. Интересно бы знать, сколько времени она здесь останется и что произойдет после ее ухода.

Боюсь, что в нашем мире для вас, призраки, нет места. Помните, как они явились к Гайавате — призраки милых сердцу людей? Он молил их вернуться к нему, утешить его. «И в вигвам они явились, к очагу безмолвно сели, леденя дыханьем воздух и улыбку Миннегаги».

В нашем мире нет места для вас, о несчастные, бледные призраки. Не тревожьте нас. Погрузитесь в забвение. А вы, полная пожилая матрона, теперь, когда ваши поредевшие волосы стали сесть, потускнели глаза, расплылся подбородок, а голос огрубел от резких замечаний и воркотни, без которых, увы, нельзя вести дом, — теперь, прошу вас, оставьте меня. Я любил вас, пока вы были живы. Как были вы милы, как прелестны! Я вспоминаю вас в белом платье, среди цветущих яблонь, но вы умерли, и ваш призрак тревожит мои сны. Лучше бы он меня не посещал.

И ты, старик, скучно глядящий на меня из зеркала, когда я бреюсь, зачем ты неотвязно маячишь передо мной? Ты — призрак веселого парня, моего давнего хорошего знакомого. Останься он в живых, он достиг бы многого. Я всегда верил в него. Зачем ты преследуешь меня? Лучше бы мне вспоминать его таким, каким он был. Я никогда не думал, что он превратится в столь жалкий призрак.

О ТОМ, ЧТО НЕ НАДО СЛУШАТЬСЯ ЧУЖИХ СОВЕТОВ

Как-то поздно вечером, зимою, прохаживаясь по перрону Юстонского вокзала в ожидании последнего поезда на Уотфорд, я заметил человека, ругательски ругавшего автомат. Дважды он грозил автомату кулаком, казалось — он его сию минуту ударит. Повинуясь естественному любопытству, я тихонько подошел поближе. Мне хотелось понять, о чем он говорит. Человек, однако, услышал мои шаги и обернулся.

— Это вы здесь только что были?

— Где именно? — переспросил я в ответ, ибо ходил по перрону уже минут пять.

— Ну здесь же, где мы сейчас стоим! — отрезал он. — Вы что думаете: здесь — это вон там, что ли? — Видимо, он был сильно раздражен.

— Вполне может быть, что я проходил уже по этому месту за время своей вынужденной прогулки по перрону, если вы это имеете в виду. Вам это угодно знать? — отозвался я с подчеркнутой любезностью, ибо мне хотелось пристыдить его за грубость.

— Мне угодно знать, — продолжал он, — с вами я разговаривал минуту назад или не с вами?

— Нет, не со мной, — отвечал я. — Честь имею.

— Вы уверены? — не отставал он.

— Ну, знаете! Разговор с вами не так-то скоро забудешь! — не выдержал я. Меня оскорблял его тон.

— Простите, — с неохотой выдавил он из себя. — Здесь подходил один. Разговаривал. Я думал, что это, может быть, вы.

Я немного смягчился. На платформе, кроме него, никого не было, а до поезда еще оставалось четверть часа.

— Нет, это не мог быть я, — ответил я добродушно. — А что, он вам нужен?

— Да, нужен! — ответил он. — Я опустил пенни в эту щелку, — продолжал он, как видно чувствуя потребность излить душу. — Я хотел получить коробок спичек, но оттуда ничего не выскочило. Я уж этот проклятый автомат и тряс, и ругал. А тут подошел какой-то, ну вот с вас ростом. Послушайте, а это, наверное, были не вы?

— Да нет же, — отвечал я. — Я бы вам сказал, если б это был я. Ну и что же он сделал?

— Он видел, что произошло, или, может быть, догадался. Он сказал: «Капризная штука, эти автоматы! Ими еще, знаете, надо уметь пользоваться». А я ему говорю: «Надо их все собрать и швырнуть подальше в море, вот что!» У меня не было ни одной спички, а я курю. Мне они постоянно нужны. Он мне и говорит: «Иногда монетка застревает. Это значит, что вес ее недостаточен. Тогда нужно опустить вторую. Вторая монетка спускает пружину и сама выскакивает. Так что вы получаете все, что хотели, да еще в придачу монетку. Я всегда так делаю». Объяснение довольно нелепое, но он говорил так уверенно, словно сам этот автомат выдумал. И я его, дурак, послушал! Я опустил еще одну монетку — пенни, как мне тогда казалось, — только сейчас я обнаружил, что это была монета в два шиллинга. Этот безмозглый идиот до некоторой степени был прав. Что-то действительно выскочило из автомата. Не угодно ли — вот полюбуйтесь!

Он протянул мне пакет. Я взглянул на этикетку и увидел, что это леденцы от кашля.

— Два шиллинга и один пенс, — добавил он с раздражением. — Может, купите, а? За треть цены отдам.

— Вы опустили монетки не в ту щель, — предположил я.

— Это я и без вас знаю! — отвечал он, как мне показалось, излишне резко. Собеседник он вообще был не из приятных, и, имея я возможность поговорить с кем-нибудь еще, я незамедлительно бы с ним расстался.

— Ну, деньги, куда ни шло, пропали — и ладно, но на кой черт мне эти проклятые леденцы? Попадись мне сейчас этот болван, я бы запихнул их ему в глотку.

В молчании мы дошли до края платформы и повернули обратно.

— Ведь есть же такие люди! — опять разразился он. — Вечно лезут со своими советами. Боюсь, что когда-нибудь заработаю месяцев шесть за такого вот субчика. Помню, у меня был пони. (Собеседник мой, насколько я мог судить, был мелким фермером; в манере его выражаться было что-то огородное, не знаю, вполне ли вам ясно, что я имею в виду, но все время, пока вы разговаривали с ним, вам лезли в голову какие-то овощные мысли.) Хороший был коняга, уэльской породы. Выносливее животины я никогда не встречал. Всю зиму он пасся у меня на воле, а как-то ранней весной я решил проехаться на нем. Мне нужно было в Амершем по делу. Я запряг его в тележку и стал погонять. До Амершема всего десять миль, но пони оказался норовистым, и к тому времени, когда мы добрались до города, он был уже весь в мыле.

В дверях гостиницы стоял человек.

— Славный у вас пони, — говорит он мне.

— Да так себе, — отвечаю я.

— Очень-то его гонять нельзя. Он еще молод, — поучает он меня.

— Мы проехали десять миль, — говорю я. — Всю дорогу на вожжах висеть пришлось. Я, наверно, вымотался куда больше, чем этот пони.

Я вошел в дом, управился со своими делами и, вернувшись, увидел, что человек все еще стоит на том же месте.

— Ну как, обратно? В гору, стало быть, взбираться будете? — спрашивает он меня.

Почему-то он мне с самого начала не понравился.

— Да, мне нужно на ту сторону. А вы что, может быть, знаете, как добраться до вершины холма, не поднимаясь вверх? Тогда скажите.

— Послушайте моего совета, — говорит он мне, — перед тем как ехать, дайте ему кружку пива.

— Кружку пива? — изумился я. — Да он у меня спиртного в рот не берет.

— Это неважно, — махнул он рукой. — Вы ему все-таки дайте кружку пива. Я знаю этих пони. Он у вас хорош, только еще не объезжен. Кружка пива — и он помчит вас в гору быстрее канатной дороги. И ничего ему не сделается.

Странное дело с этими советчиками. Всегда потом себя спрашиваешь, как это ты не дал такому типу промеж глаз и

не сунул его носом в первую попавшуюся водопойную колоду. А ведь слушаешь их, когда они говорят. Я заказал пива, велел его вылить в полоскательницу и вынес на улицу. Вокруг собралось человек десять. Зубоскальства, конечно, хоть отбавляй.

— Джим, ты его сбиваешь с праведного пути! — кричал один. — Теперь он начнет в карты играть, потом банк ограбит, потом убьет свою мать. В душеспасительных брошюрах говорится, что это всегда начинается со стакана пива.

— Такое он пить не станет, — заметил другой. — Оно же совсем выдохлось, все равно что вода из канавы. Подлей ему свеженького.

— А сигару ему припас? — спрашивал третий.

— В такой холодный день ему бы пользительнее кофейку выпить да закусить поджаренным хлебом, — хихикал четвертый.

Я уж хотел было вылить это пиво или выпить его сам, до чего же глупо скармливать такое добро четырехлетнему пони, но как только этот скот учуял, чем его угощают, он моментально сунул морду в полоскательницу и высосал все разом, не хуже любого христианина. Я прыгнул в тележку и под крики «ура» покатил. Мы благополучно въехали на холм, но тут ему хмель ударил в голову. Мне не раз приходилось отводить домой пьяных мужчин — занятие, скажу я вам, не из приятных. Видел я и пьяных женщин — это еще хуже. Но пьяный уэльсский пони! Не приведи Бог снова встретить что-либо подобное! У него было четыре ноги, поэтому он умудрялся не падать. Но направлять себя он уж никак не мог, а позволить мне это сделать не желал. Тележка оказывалась то у одной обочины, то у другой, а не то останавливалась прямо посредине, поперек дороги. Я слышал, как сзади затренькал велосипедный звонок. Я не посмел повернуть голову, все, что я мог, это крикнуть велосипедисту, чтобы он держался подальше.

— Я хочу вас объехать! — прокричал тот, приблизившись.

— Ничего у вас не выйдет, — ответил я.

— Это почему? — удивился он. — Что вам, вся дорога нужна?

— Вся и даже больше, — отозвался я. — И чтоб, кроме меня, здесь никого не было!

С полмили он ехал за мною по пятам, не переставая ругаться. Несколько раз ему казалось, что он наконец может обогнать меня, и он начинал быстрее работать педалями, но пони всякий раз оказывался у него на пути. Можно было подумывать, что животное делает это нарочно.

— Да ты и править-то не умеешь! — кричал он. Он был прав: я действительно ничего не мог поделать. Я совсем выбил из сил.

— Кого ты из себя строишь? — продолжал он. — Наездника из цирка? (Это был простой парень.) Дурак же хозяин, который доверил упряжку такому сопляку!

К этому времени я уже начал сердиться.

— Что только, что ты орешь на меня? — разозлился я. — Вон пони, ну и ори на него, если без этого не можешь! Я и так замучился! И без твоей брехни! Отстань, тебе говорят! Видишь, он только хуже становится.

— А что с ним? — последовал вопрос.

— Разве не видишь, — ответил я, — он пьян!

Конечно, звучало это довольно глупо, но правда частенько кажется малоубедительной.

— Один из вас пьян. Уж это верно, — ответил он. — Пожди, вот я тебя сейчас выволоку из тележки!

Если бы он только выполнил свою угрозу! Я бы дорого дал, чтобы выбраться из этой злосчастной тележки. Но ему не представилось случая. Пони вдруг шархнул в сторону. А велосипедист, по-видимому, был слишком близко. Послышался вопль, отчаянная ругань, и в ту же минуту меня с ног до головы окатило водой из канавы. Потом эта скотина понесла. Навстречу ехала подвода с венскими стульями, возница дремал наверху. Тоже привычка у этих возниц! Дрыхнут повсюду. Я всегда удивляюсь, что еще мало бывает несчастных случаев. Возница, наверное, так и не понял, что с ним стряслось. Я не мог обернуться и не знаю, чем все кончилось. Я только видел, как он полетел вниз. Когда мы уже наполовину спустились с холма, нас попытался остановить полисмен. Я слышал, как он кричал что-то о недозволенной скорости. За полмили до Чешема мы нагнали группу школьников; они шли парочками, у них это, кажется, «крокодил» называется. Девчонки, наверное, еще сейчас вспоминают об этом. Старушка учительша небось добрый час не могла снова собрать их в кучку.

В Чешеме был базарный день. И ручаюсь, что такого шумного базара у них никогда не бывало — ни до этого случая, ни после. Мы промчались через весь город со скоростью тридцать миль в час. Я еще ни разу не видал в этом городе такого оживления. Обычно это сонное царство. В миле от города нам повстречался почтовый дилижанс. Но мне уже было все равно. Я дошел до такого состояния, когда человеку плевать, что с ним дальше будет. Я испытывал только легкое любопытство. В десяти шагах от дилижанса пони остановился как вкопанный. Я слетел со своего места и очутился на дне тележки. Подняться я не смог. Меня придавило сиденьем. Все, что мне было видно, — это небо да уши пони, когда он вставал на дыбы. Но я слышал все, что говорил кучер. Ему, насколько я мог понять из его слов, тоже пришлось несладко.

— Убери этот цирк с дороги! — вопил он. Будь у него хоть капля здравого смысла, он бы понял, что я ничего не могу сделать. Я слышал, как впереди начали биться лошади. Они всегда так: покажи им одного дурака — и они все начнут свою дурь показывать.

— Отведи его домой и привяжи к своей шарманке! — орал кондуктор.

С одной пожилой женщиной случилась истерика, и она принялась хохотать, как гиена. Пони дернулся и понес снова, и, насколько я мог судить по мелькавшим надо мной облакам, мы проскакали одним махом мили четыре. Потом ему вздумалось взять с разбега забор. Обнаружив, по-видимому, что тележка ему мешает, он начал брыкаться, стараясь разбить ее в щепы. Если б я не видел этого своими глазами, я бы никогда не поверил, что из одной тележки можно наделать столько щепы. Отбив, все, кроме одного колеса и крыла, он понесся дальше. Я остался позади среди прочих обломков и был очень доволен, что мог хоть немного отдохнуть. Пони возвратился только вечером, и я рад был продать его на следующей неделе за пять фунтов. Десять фунтов я потратил затем на свое лечение.

По сей день мне не дают прохода из-за этого пони, а местное Общество трезвости даже устроило по этому поводу лекцию. Вот ведь что получается, когда слушаешься чужих советов.

Я посочувствовал моему собеседнику. Я сам немало потерпел от чужих советов. У меня есть приятель, делец из

Сити. Мы с ним изредка видимся. Ему до страсти хочется, чтобы я разбогател. Как встретит меня где-нибудь возле биржи, сейчас же остановит и говорит: «Вас-то мне и нужно, у меня есть для вас выгодное дельце. Мы тут сколачиваем небольшой синдикат». Он вечно «сколачивает» какой-нибудь небольшой синдикат и за каждую вложенную сотню фунтов обещает тысячу. Участвуй я во всех его синдикатах, я бы уже имел, по моим подсчетам, миллиона два с половиной. Но я не вступал во все эти синдикатики, я вложил деньги лишь в один из них. Это случилось давным-давно, когда я был моложе. Я и по сие время состою в этом синдикате. Мой друг убежден, что в один прекрасный день мои акции принесут мне огромные барыши. Но, поскольку деньги мне нужны сейчас, я охотно уступил бы свой пай подходящему человеку за наличные с большою скидкой. Другой мой приятель знает человека, который неизменно бывает «в курсе всего», что касается скачек. У многих из нас есть такие знакомые. До скачек их обычно слушают разинув рот, а сразу же после финиша разыскивают, чтобы поколотить. Третий мой доброжелатель увлекается вопросами диеты. Однажды он принес какой-то пакетик и с видом человека, который собирается навсегда избавить вас от всех несчастий, вручил его мне.

— Что это? — осведомился я.

— Откройте — увидите, — отвечал он таинственно, словно добрая фея в театре.

Я открыл пакет и заглянул внутрь, но по-прежнему остался в неведении.

— Это чай, — пояснил он.

— А-а, — протянул я, — а я думал, уж не табак ли это?

— Ну, положим, это не совсем обыкновенный чай, — продолжал он, — но вроде чая. Выпейте чашечку, одну только чашечку, и вы никогда больше не захотите никакого другого чая.

Он был совершенно прав. Я выпил чашечку — и после этого уже не хотел никакого чая, я вообще более ничего не хотел, только чтобы мне дали умереть спокойно. Он зашел ко мне через неделю.

— Помните чай, что я вам дал? — спросил он.

— Как не помнить, — ответил я. — Я до сих пор чувствую его вкус во рту.

— Вы не хворали? — спросил он осторожно.

— Было дело, — ответил я, — но теперь уж все прошло. Он, видимо, колебался.

— Ваша была правда, — вымолвил он наконец. — Это действительно был табак. Особый нюхательный табак. Мне прислали его из Индии.

— Не скажу, чтобы он мне очень понравился, — заметил я.

— Я, понимаете, ошибся, — продолжал он. — Должно быть, перепутал пакетики.

— Бывает, — успокоил я его. — Но в другой раз это у вас не пройдет... со мной, по крайней мере.

Советовать мы все умеем. Однажды я имел честь слушать у одного пожилого джентльмена, чьей профессией было давать юридические советы. Советы, надо сказать, он давал всегда отличные. Но, как и большинство людей, хорошо знающих законы, он питал к ним весьма мало уважения. Я слышал, как он однажды сказал человеку, который собирался судиться:

— Мой дорогой сэр, если бы меня на улице остановил грабитель и потребовал мои часы, я бы ему не отдал. Если бы он сказал затем: «Тогда я отниму их у вас силой», — я, несмотря на свой пожилой возраст, ответил бы: «А ну, попробуй!» Но скажи он: «Ладно, в таком случае я подам на вас в суд и заставлю вас их отдать», — я бы незамедлительно вынул их из кармана, вложил ему в руку и попросил его больше об этом не упоминать. И считал бы, что дешево отделался.

И все же этот самый пожилой джентльмен потащил в суд своего соседа из-за дохлого попугая, за которого никто не дал бы и шести пенсов. И это обошлось ему в сто фунтов, как одна копеечка.

— Я знаю, что я дурак, — сознался он. — У меня нет прямых доказательств, что именно его кошка загрызла попугая, но он у меня поплатится за то, что обозвал меня паршивым адвокатикшкой. Провалиться мне на этом месте, если я этого не добьюсь.

Все мы знаем, каким должен быть пудинг. Мы не претендуем на то, чтобы уметь его готовить. Это не наше дело. Наше дело — критиковать повара. По-видимому, наше дело — критиковать множество вещей, создавать которые не наше дело.

Все мы теперь сделались критиками. У меня сложилось определенное мнение о вас, читатель. А вы, вероятно, имеете свое мнение обо мне. Но я не стремлюсь его узнать. Лично я предпочитаю людей, которые если что и хотят сказать обо мне, то говорят это за моей спиной. Помню, я однажды читал лекции, а зал был устроен так, что, уходя, я всякий раз попадал в толпу покидавших зал слушателей. Частенько я слышал, как впереди меня шептали: «Осторожней, он сзади!» Я всегда бываю очень благодарен за подобные предупреждения.

Как-то я с одним писателем пил кофе в Артистическом клубе. Писатель был широкоплечий, атлетического сложения человек. Один из членов клуба, подсев к нам, обратился к нему: «Я только что прочел вашу последнюю книгу. Я вам скажу свое откровенное мнение...» Писатель мгновенно ответил: «Я вас честно предупреждаю, если вы это сделаете, я проломлю вам голову». Мы так никогда и не узнали этого откровенного мнения.

Почти все свое свободное время мы только и делаем, что выказываем свое презрение друг к другу. Мы так высоко задираем нос, что удивительно, как это мы еще ступаем по Земле и не сошли с нашего маленького земного шарика в мировое пространство.

Широкие массы презирают высшие классы. Мораль высших классов ужасна. Если бы высшие классы согласились, чтобы комитет из представителей широких масс поучал их правилам поведения, как это было бы для них полезно! Если бы высшие классы пренебрегли своей выгодой и посвятили бы себя целиком интересам широких масс, последние куда больше одобряли бы их.

Высшие классы презирают широкие массы. Если бы только широкие массы слушались советов, которые дают им высшие классы! Если бы широкие массы жили экономно на свои десять шиллингов в неделю, если бы они совсем не брали в рот спиртного, а если пили, так только старый кларет, от которого не опьянеешь! Если бы все молодые девушки шли в горничные, довольствовались бы пятью фунтами в год и не тратились бы на наряды! Если бы мужчины были согласны работать по четырнадцать часов в день и хором пели: «Господи, благослови хозяина и его семейст-

во» — и знали бы свое место, все обстояло бы как нельзя лучше... для высших классов!

Так называемые новые женщины презирают старозаветных. Старозаветные возмущаются поведением новых. Современные пуритане обличают театр. Театр всячески высмеивает пуритан. Заурядные поэты кричат повсюду о своем презрении к миру. Мир потешается над заурядными поэтами.

Мужчины критикуют женщин. Нам далеко не все нравится в женщинах. Мы обсуждаем их недостатки. Мы поучаем их для их же пользы. Если бы английские жены одевались, как французские жены, умели разговаривать, как американские жены, и готовить, как немецкие жены; если бы женщины были именно такими, какими, по нашему мнению, они должны быть, — трудолюбивыми и терпеливыми, исполненными домашних добродетелей и блестящего остроумия, очаровательными и вместе с тем послушными и менее подозрительными, насколько бы лучше было для них самих... да и для нас тоже! Мы усердно учим их этому, но они нас не слушают. Вместо того чтобы внимать нашим мудрым советам, несносные создания только и делают, что критикуют нас. Мы очень любим играть в школу. Все, что нужно для этой игры, — это парта — ее может заменить дверной порожек, — трость и шестеро других детей. Всего труднее найти этих шестерых. Каждый ребенок хочет быть наставником. Он непременно будет все время вскакивать и заявлять, что теперь его черед быть учителем.

Женщина в наши дни тоже стремится взять трость и усадить мужчину за парту. Она охотно бы кой-чему его поучила. Оказывается, он совсем не таков, каким она его себе представляла; такого она не может одобрить. Для начала он должен избавиться от всех своих естественных желаний и склонностей. Затем уж она возьмет его в свои руки и сделает из него не человека — нет, а что-то гораздо более возвышенное.

Если бы только все слушались наших советов! Каким прекрасным, наверное, стал бы наш мир! А все же интересно, был бы Иерусалим таким чистым городом, как об этом пишут, если бы его жители, вместо того чтобы заботиться о чистоте своих крошечных дворики, вышли бы все на улицу и принялись читать друг другу лекции по гигиене?

С некоторых пор мы взялись критиковать самого Творца. Мир устроен плохо. Мы — плохи. Если бы только он спросил нашего совета в те первые шесть дней, когда создавал мир!

Почему у меня такое чувство, словно нутро мое все выпотрошено и заполнено свинцом? Почему мне претит запах мяса и кажется, что никто во всем свете меня не любит? Потому, что шампанское и устрицы были сотворены неправильно.

Почему Эдвин и Анджелина ссорятся? Потому, что Эдвину от природы достался характер благородный и пылкий, и он терпеть не может, когда ему перечат, в то время как бедняжке Анджелине от рождения свойственно все делать наперекор.

Почему добрейший мистер Джонс оказался на пороге нищеты? Ведь у мистера Джонса имелся капиталец в государственных бумагах, процент с которых приносил ему тысячу фунтов в год. Но явился на его пути агент какой-то компании, большой пройдоха (почему разрешается существовать пройдохам и агентам?), и с проспектом в руках доказал почтенному мистеру Джонсу, что тот может получить на свой капитал сто процентов, если вложит его в одно прибыльное дельце, рассчитанное на ограбление сограждан этого уважаемого джентльмена.

Дельце не выгорело, и ограбленными оказались мистер Джонс и другие пайщики, а не их сограждане, как это предусматривалось в проспекте. Почему только небо терпит такую несправедливость?

Почему миссис Браун бросила мужа и детей и сбежала с молодым доктором? Потому, что создатель ошибочно наделил миссис Браун и молодого доктора непомерно сильными страстями. Ни миссис Браун, ни молодой доктор не виноваты. Если кто из людей и должен быть в ответе, так скорее уж дедушка миссис Браун или какой-нибудь еще более отдаленный предок молодого доктора.

Когда мы попадем в рай, то мы и там, наверное, найдем что покритиковать. Вряд ли нас полностью удовлетворят тамошние порядки. Ведь мы стали такими заядлыми критиками!

Об одном исполненном самомнении юноше, мне помнится, говорили, что он, видимо, полагает, будто всемогу-

щий Господь создал вселенную для того только, чтобы послушать, что он, этот юноша, о ней скажет. Сознательно или бессознательно, но мы все придерживаемся того же взгляда.

Наш век — век обществ взаимного усовершенствования (как это приятно — совершенствовать других), век любительских парламентов, литературных конференций и клубов ценителей театра.

Привычка выкрикивать свои замечания по ходу действия новой пьесы в день ее премьеры отошла в прошлое. Любители театра пришли, видимо, к заключению, что пьесы не стоят критики. Но в дни нашей юности мы предавались этому занятию всем сердцем. Мы шли в театр, побуждаемые не столько эгоистическим желанием приятно провести вечер, сколько благороднейшим стремлением возвысить театральное искусство. Может быть, мы приносили пользу, может быть, мы были нужны. Будем думать, что так. Во всяком случае, с тех пор множество несуразностей исчезло навсегда с театральных подмостков, и возможно, что наша прямая, непосредственная критика этому содействовала. Глупость часто излечивается неразумными средствами.

Драматургу в те дни приходилось считаться с мнением зрителей. Галерка и задние ряды партера проявляли к его пьесам такой интерес, какого сейчас уже не встретишь в театре. Я вспоминаю, как присутствовал на представлении душераздирающей мелодрамы — кажется, в старом Королевском театре. В уста героини, как нам казалось, автор вложил слишком длинные монологи. Где бы и когда бы героиня ни появлялась, она тотчас начинала говорить, и речам ее не было конца. Если ей надо было попросту обругать злодея, она на это тратила по меньшей мере двадцать строк; а когда герой спросил, любит ли она его, она встала и говорила, по часам, три минуты. Каждый раз, как она открывала рот, нас охватывала паника. В третьем акте кто-то схватил ее и засадил в тюрьму. Тот, кто это сделал, был, вообще говоря, нехороший человек, но мы приняли его как избавителя, и зал бурно рукоплескал ему. Мы тешили себя надеждой, что распрощались с героиней на весь вечер, как вдруг откуда-то явился дурак тюремщик, и она принялась его умолять, чтобы он ее выпустил хоть на минуту. Тюремщик, добрый, но чрезмерно мягкосердечный человек, колебался.

— Не вздумайте этого делать! — крикнул ему с галерки какой-то страстный поклонник театра. — Там ей и место! Пускай сидит!

Старый идиот не послушался нашего совета, он принялся рассуждать.

— Просьба-то пустяшная! — вздохнул он. — А она будет счастлива.

— Ну а мы? — возразил с галерки тот же театрал. — Вы ее совсем не знаете. Вы только что пришли, а мы уже целый час слушаем ее болтовню. Сейчас она, слава Богу, замолчала. Ну и не троньте ее!

— О, выпустите меня хоть на одну минуту! — вопила несчастная женщина. — Мне нужно что-то сказать моему мальчику!

— Напишите ему записочку и просуньте сквозь решетку, — предложил кто-то из задних рядов партера. — Мы уж позаботимся, чтобы он ее получил.

— Могу ли я не пустить мать к умирающему ребенку? — продолжал рассуждать тюремщик. — Ведь это будет бесчеловечно!

— Нет, это не будет бесчеловечно, — настаивал тот же голос из партера. — Даже наоборот! Несчастный ребенок и заболел-то от ее болтовни.

Тюремщик так и не послушался нас и под возмущенные крики всего зала выпустил женщину из тюремной камеры. Та тотчас же принялась разговаривать со своим ребенком и говорила около пяти минут, после чего дитя скончалось.

— Ах, он умер! — завопила безутешная мать.

— Счастливчик! — без всякого сочувствия донеслось из зала.

Иногда эта критика принимала форму замечаний, которыми обменивались между собой зрители. Однажды, помню, мы смотрели пьесу, в которой почти не было действия — одни лишь диалоги, причем диалоги довольно нудные. В середине такого вот томительного разговора послышался громкий шепот:

— Джим!

— Что?

— Разбуди меня, когда что-нибудь начнется!

За сим последовало демонстративно громкое храпение. Немного погодя раздался голос второго джентльмена:

— Сэм!

Его приятель, видимо, очнулся.

— Да! Что? Уже? Началось, что ли?

— В половине двенадцатого тебя уже во всяком случае разбудить?

— Да, конечно, будь добр! — И критик вновь захрапел.

Да, мы тогда интересовались театром.

Вряд ли когда-нибудь снова английский театр доставит мне такое же удовольствие, какое я испытывал в нем в былые дни. Буду ли я когда-нибудь еще ужинать с таким аппетитом, с каким я тогда поглощал требуху с луком, запивая ее горьким пивом у стойки в старом «Альбионе»? С тех пор мне много раз случалось ужинать после театра, и порой, когда мои друзья решались раскошелиться, нам подавали изысканные и дорогие кушанья. Их готовил, быть может, повар из Парижа, чей портрет печатался в журналах, чье жалованье исчислялось сотнями фунтов, но я не нахожу в них былой прелести. Какой-то приправы, какого-то аромата в них не хватает.

У природы — своя валюта, и она требует уплаты по своим законам. В ее лавке расплачиваться должны вы сами. Ваши незаработанные средства, ваше унаследованное состояние, ваша удача здесь не котируются.

Вам нужен хороший аппетит. Природа с охотой предоставит его вам.

— Пожалуйста, сэръ, — отвечает она, — могу снабдить вас отменным товаром. Вот здесь у меня настоящий голод и жажда, которые сделают самую простую пищу для вас деликатесом. Вы пообедаете на славу, со вкусом, с аппетитом и встанете из-за стола, чувствуя прилив сил, бодрым и веселым.

— Как раз то, что мне нужно! — в восторге восклицает гурман. — Сколько я должен заплатить?

— Плата, — отвечает госпожа Природа, — поработать как следует с раннего утра до позднего вечера.

Лицо покупателя вытягивается. Он теребит в руках свой пухлый кошелек.

— Нельзя ли заплатить деньгами? — нерешительно спрашивает он. — Я не люблю работать, но я богат. У меня есть средства, чтобы держать французского повара и покупать старые вина.

Природа качает головой:

— Нет, ваш чек я не могу принять. Мне надо платить мускулами и нервами. За эту цену вы приобретете такой аппетит, что обычный ромштекс и кружка пива покажутся вам слаще самого изысканного обеда, пусть даже приготовленного гениальнейшим поваром в Европе. Я могу обещать, что даже краюха хлеба и кусочек сыра будут для вас пиршеством. Соболаговолите только заплатить в моей валюте, ваши деньги здесь не имеют хождения.

Следующим в лавку заходит дилетант. Он бы хотел приобрести здесь вкус к литературе и искусству. Природа готова отпустить и такой товар.

— Вы познаете истинное наслаждение, — говорит она. — Музыка на своих крыльях вознесет вас высоко над земной суетой. Искусство вам приоткроет Истину. По цветущим тропинкам литературы вы сможете бродить, как в собственном саду.

— И сколько вы за это возьмете? — захлебываясь, вопрошает обрадованный покупатель.

— Эти вещи не так уж дешевы, — отвечает Природа. — Взамен я потребую, чтобы вы жили скромно, не гнались бы за мирскою славой, вели бы такую жизнь, в которой нет места страстям, из которой изгнаны низменные стремления.

— Вы ошибаетесь, моя дорогая, — возражает дилетант. — Многие из моих друзей обладают вкусом, но никто из них не платил такой цены. Стены в их домах увешаны картинами. Они громко восторгаются симфониями и ноктюрнами. Книжные полки у них битком набиты первыми изданиями. И все же они богаты, живут в роскоши и следуют модам. Они изрядно заботятся о своем кошельке, и светское общество — предел их стремлений. Нельзя ли мне быть как они?

— Я не торгую таким товаром, — холодно отвечает Природа. — В моей лавке нет места обезьяньим замашкам. Культура этих ваших друзей всего лишь поза, мода дня. Их речи — болтовня попугая. Конечно, вы можете приобрести такую культуру, она стоит очень дешево. Но увлечение кеглями было бы вам во сто крат полезнее и принесло бы неизмеримо больше удовольствия. Мои товары совсем иного рода, боюсь, что мы с вами только теряем время.

Затем входит юноша и, краснея, объявляет, что ему нужна любовь. Старое материнское сердце Природы тепле-

ет, ибо она всегда рада продать этот товар и любит тех, кто приходит за ним к ней. Она облакачивается на прилавок и улыбаясь говорит, что может предложить как раз то, что ему нужно.

И он срывающимся от волнения голосом также спешит узнать цену.

— Это стоит недешево, — объясняет Природа, но в звуках ее голоса юноше слышатся подбадривающие нотки. — Это самая дорогая вещь в моей лавке.

— Я богат, — говорит юноша. — Мой отец упорно трудился, копил деньги и все свое состояние оставил мне. У меня есть счет в банке и акции. Я владею землями и фабриками и готов уплатить любую разумную цену.

По лику Природы пробегает тень. Она кладет ему руку на плечо.

— Спрячь свой кошелек, мой мальчик, — говорит она. — Моя цена не есть разумная цена, и она не исчисляется в золоте. Есть сколько угодно лавок, где охотно возьмут твои банкноты. Но послушайся моего совета, совета старой женщины, — не ходи туда! Товар, который ты там найдешь, способен вызвать у тебя лишь разочарование и принесет тебе только вред. Он дешев, но, как и всякую дешевку, его не стоит покупать. Никто его и не покупает, кроме дураков.

— А на ваш товар какая цена? — спрашивается юноша.

— Самоотречение, нежность, сила, — отвечает престарелая дама. — Любовь ко всему, что пользуется доброй славой, и ненависть к тому, что дурно; мужество, сострадание, самоуважение — вот чем ты можешь купить себе любовь. Спрячь деньги, юноша, они тебе еще могут пригодиться, но на них ты не приобретешь товар в моей лавке.

— Выходит, что я не богаче любого бедняка? — спрашивает юноша.

— Для меня нет ни богатства, ни бедности, как вы это понимаете, — отвечает Природа. — Здесь у меня реальность обменивается на реальность. Ты просишь у меня моих сокровищ. Я требую взамен твой ум и сердце. Твой ум и твое сердце, мой мальчик, а не твоего отца и не другого человека.

— Но как я добуду то, чем надо заплатить?

— Иди в мир. Трудись, страдай, помогай другим. Возвращайся ко мне с тем, что ты зарабатываешь; в зависимости от того, что ты принесешь, мы и сторгуемся.

Так ли неравномерно распределены истинные богатства, как нам кажется? Быть может, судьба и есть истинный социалист? Кто подлинно богат? Кто беден? Знаем ли мы это? Знает ли сам человек? Не гонимся ли мы за тенью, упуская сущность? Возьмем жизнь на ее вершинах. Кто был счастливее, богач Соломон или бедняк Сократ? У Соломона были все блага, о каких только мечтают люди, у него их было, пожалуй, даже слишком много. Сократ почти ничего не имел, кроме того, что он носил при себе. Но это было немало. Если мерить нашей меркой, то Соломона следует причислить к счастливейшим людям в мире, а Сократа — к несчастнейшим. Но так ли это было на самом деле?

А возьмем жизнь на самом низком ее уровне, где целью является одно только удовольствие. Много ли веселее чувствует себя милорд Том Нодди, восседающий в ложе, чем сидящий на галерке простой парень Гарри? Если бы пиво стоило десять шиллингов бутылка, а шампанское четыре пенса кварта, которому из этих двух напитков вы отдали бы предпочтение? Если бы при каждом аристократическом клубе в Вест-Энде был кегельбан, а в бильярд можно бы было играть только в трактирах Ист-Энда, которой бы из этих игр вы предавались, милорд? Разве воздух на Беркли-сквер уж настолько живительнее, чем воздух Севен-Дайлс? Я лично нахожу в воздухе Севен-Дайлс особую пикантность, которой нет на Беркли-сквер. Если вы устали, то так ли велика разница между подстилкой из соломы и тюфячком из конского волоса? Так ли уж зависит счастье от количества комнат, в которых вы живете? Намного ли больше прелести в губках леди Эрминтруд, чем в губках прачки Салли? Вообще, что такое успех в жизни?

ИЗ СБОРНИКА «НАБЛЮДЕНИЯ ГЕНРИ»
(1901)

ДУХ МАРКИЗЫ ЭПЛФОРД

Это одна из тех историй, что рассказывал мне официант Генри — или, как он теперь предпочитает называться, Анри — в длинном зале ресторана при отеле «Риффель-Альп», где я провел как-то тоскливую неделю между двумя сезонами, разделяя в гулкой тишине пустого здания общество двух престарелых девиц, которые целые дни испуганно шептались друг с другом. Композиционный прием, использованный Генри, состоит в том, чтобы начать рассказ с конца, довести его до начала и заключить серединой. Я его отбросил как непрофессиональный. Что же касается стиля — довольно своеобразного, — то его я пытался сохранить, и мне кажется, что рассказ приобрел именно такой вид, какой он имел бы, вздумай Генри сам излагать события по порядку.

Первое мое место было, признаться по правде, в кофейне на Майл-Энд-роуд — ну и что ж, я этого не стыжусь. Всем приходится с чего-нибудь начинать. «Килька» — так мы его звали, настоящего-то имени у него не было, или, во всяком случае, оно даже ему не было известно, а это прозвище к нему как-то очень пристало — всегда продавал газеты рядом с нами: между нашей кофейней и мюзик-холлом на углу. Иной раз, когда случалось мне пропустить рюмку-другую, я, бывало, возьму у него газету, а сам, если хозяина поблизости нет, дам ему кружку кофе и кое-что из того, что оставалось на тарелках у посетителей — такой обмен нас обоих устраивал. Парень он был на редкость толко-

вый, даже для Майл-Энд-роуд, а это неплохая рекомендация. Он умел приглядываться и прислушиваться к нужным людям и давал мне иногда полезные советы насчет скачек, а за это получал от меня шиллинг или там шестипенсовик — как придется. В общем, это был парень из тех, про которых говорят: «Он далеко пойдет».

И вот, представьте себе, в один прекрасный день вдруг входит он к нам с таким видом, будто он по меньшей мере сам владелец кофейни, а под руку с ним девчонка, этакий чертенок лет двенадцати, и оба усаживаются за столик.

— Гарсон! — кричит он. — Какое сегодня меню?

— Меню сегодня такое, — отвечаю, — что ты сейчас же уберешься отсюда вон, а это, — я говорил про девчонку, конечно, — немедленно отведешь туда, откуда взял.

Она была очень грязная, но даже и тогда уже видно было, какая она хорошенькая — глаза огромные и круглые, а волосы рыжие. Во всяком случае, в те времена такие волосы назывались рыжими. Теперь все дамы из высшего света носят этот цвет волос — вернее, стараются как можно точнее воспроизвести его, — и он называется у них «каштановый».

— Генри, — говорит он мне, даже и глазом не моргнув, — боюсь, что вы забываетесь. Когда я стою на краю тротуара и кричу: «Экстренный выпуск!», а вы подходите ко мне со своим полнени, тогда хозяин — вы, а я обязан вам услужить. А когда я прихожу к вам в кофейню, заказываю угощение и плачу за него, то хозяин — я. Вам ясно? Можете принести мне жареной грудинки и два яйца, только, пожалуйста, не прошлогодние. А для леди — жареную треску покрупнее, будьте добры, и кружку какао.

Ну что ж. В его словах была доля истины — он всегда отличался здравым смыслом. Я принес то, что он заказывал. Как эта девчонка расправлялась со всем, что ей подавали, — редкое было зрелище. Видно, она уже несколько дней ничего толком не ела. Она умяла большую треску за девять пенсов вместе со шкуркой, а потом две порции жареной грудинки, по пенни за порцию, и шесть бутербродов — мы называли их «ступеньками» — и две полпинты нашего какао, а это одно могло вполне насытить человека, ведь мы варили его по всем правилам. Видно, Кильке в тот день удалось выручить изрядную сумму. Он так уговаривал ее ку-

шать и не стесняться, как будто бы это было бесплатное угощение.

— Возьми яйцо, — предложил он, как только грудинка исчезла с тарелки. — Съешь одно из этих яиц, и тогда уже ты будешь совсем сыта.

— Кажется, больше я уже не могу, — отвечает она, поразмыслив.

— Тебе, конечно, виднее, на что ты способна, — говорит он. — Может, тебе лучше и не есть этого яйца. Особенно если ты не привыкла жить на широкую ногу.

Я рад был, когда они кончили есть, потому что меня тревожило, как он будет рассчитываться. Но он преспокойно расплатился, да еще дал мне полпенни на чай.

Это был первый раз, что мне пришлось обслуживать их, но, как вы сейчас услышите, далеко не последний. Он после этого часто приводил ее к нам. Имени своего и происхождения она не знала, так что они вполне подходили друг другу. Она рассказала ему только, что сбежала от одной старухи, которая ее била и у которой она жила где-то в Лаймхаусе. Он устроил ее у старушки, снимавшей чердак в том же доме, где он и сам ночевал — когда обстоятельства ему это позволяли, — научил ее выкрикивать: «Экстренный выпуск!» и нашел ей подходящее место на углу. Там, на Майл-Энд-роуд, мальчиков и девочек не бывает. Они там либо младенцы, либо взрослые люди. Килька и Рыжик — так мы ее прозвали — считали, что у них роман, хотя ему было лет пятнадцать, а ей — не больше двенадцати. Ну, что он в нее влюблен, это видно было с первого взгляда. Хотя, конечно, никаких нежностей он себе не позволял. Это не его стиль. Он следил за тем, чтобы она вела себя как следует, она должна была с этим считаться, что, надо полагать, шло ей не во вред, а он в случае чего, не стесняясь, задавал ей трепку. У простых людей это принято, сэр. Чуть что, они дают своей старухе хорошую зуботычину, ну, вот как мы с вами выругались бы или запустили бы в нашу миссис рожком для сапог.

Потом я нашел себе место в городе и ушел из кофейни, так что не видел их обоих лет пять. В следующий раз я их встретил в ресторане на Оксфорд-стрит — это было такое любительское заведение, где всю работу делают женщины, которые ничего не понимают в нашем деле и все время проводят в сплетнях и романах, — я их называю не люби-

тельские, а «любовные» заведения. У них была там такая белобрысая заведующая, которая ничего не слышала, когда вы к ней обращались, потому что все время прислушивалась к тому, что нашептывал ей через прилавок какой-то дряхлый болван. Официантки, видно, считали, что хорошая работа состоит в том, чтобы часами беседовать с посетителями, заказывающими чашку кофе за два пенни, а если появлялся настоящий посетитель и осмеливался действительно что-нибудь заказать, они принимали это как оскорбление. Завитая кассирша целый день любезничала через свое окошечко с двумя молодыми билетерами из соседнего мюзик-холла, которые приходили по очереди, сменяя друг друга. Иногда она отрывалась от этого занятия, чтобы получить деньги с посетителя, а иногда и нет. В жизни мне приходилось бывать в разных подозрительных заведениях, и официанты вовсе не такие слепые совы, как принято думать. Но никогда ни прежде, ни потом не приходилось мне видеть одновременно столько любезничающих парочек, как там. Это была мрачная темная дыра, и влюбленные точно чутьем ее находили и просиживали там часами над несколькими чашками чаю и пирожными «ассорти». «Идиллия» — скажут некоторые, но меня лично это зрелище приводило в самое мрачное расположение духа. Была там одна девушка очень странного вида, глаза красные, а руки длинные и тонкие — просто ужас. Она всегда приходила со своим молодым человеком, таким бледным нервным юношей, в три часа дня. Вот они любезничали так, что я никогда ничего смешнее не видывал. Она щипала его под столом и колола шпилькой, а он сидел и не сводил с нее глаз, точно она — дымящийся бифштекс с луком, а он — голодный бродяга, заглядывающий с улицы в окно. Да, это была удивительная история, как я узнал потом. Когда-нибудь расскажу вам.

Меня наняли в это заведение «на тяжелую работу»; но, поскольку самый тяжелый заказ, какой пришлось мне там слышать, состоял из холодной ветчины и цыпленка, за которым надо было сбегать потихоньку в соседний трактир, видно, я нужен был им больше для вида.

Я уже пробыл там две недели и чувствовал, что все это дело стоит у меня поперек горла, как вдруг однажды входит туда Килька. Он здорово изменился, так что я его сперва и не узнал. Он помахивал тросточкой с серебранным набал-

дашником — эти костыли были тогда как раз в моде, — на нем был шикарный клетчатый костюм и белый цилиндр. Но что меня больше всего поразило, так это его перчатки. Ну, моя внешность, видно, не так сильно усовершенствовалась, потому что он с первого взгляда меня узнал и протянул мне руку.

— А, Генри, — говорит, — я вижу, ты продвинулся в жизни.

— Да, — говорю, пожимая ему руку, — и не стану грустить, если продвинусь еще куда-нибудь из этой лавочки. Но ты-то, видно, сделал блестящую карьеру?

— Да ничего себе, — отвечает, — я журналист.

— Вот как? — говорю. — По какой же части? — Это потому, что я их немало повидал, пока целых полгода работал в одном заведении на Флит-стрит. Ну, так их наряды не имели того великолепия, если можно так выразиться. Оснащение Кильки явно стоило ему кругленькой суммы. Его галстук был заколот бриллиантовой булавкой, которая одна обошлась кому-то — если не ему самому — фунтов в пятьдесят.

— Видишь ли, — сказал он, — я не выбалтываю всяких сведений полиции, я поставляю информацию лицам, которые интересуются скачками. Капитан Киль, может, слышал? Так это я.

— Ну? Тот самый капитан Киль? — говорю. Ясное дело, я о нем слышал.

— Он самый. Ну, так вот, — продолжает он, — это делается очень просто. Иногда лошади, на которых мы советуем ставить, приходят первыми, и тогда, будьте уверены, в нашей газете этот факт не замалчивается. Ну, а если мы промахнулись, то ведь никто не обязан рекламировать свои неудачи, верно?

Он заказал чашку кофе. Он предупредил, что ожидает кое-кого, ну, а пока мы разговорились о старых временах.

— А как поживает Рыжик? — спросил я.

— Мисс Кэролайн Тревельен, — отвечает он, — поживает хорошо.

— Ого, — удивился я, — вы, значит, узнали ее имя и фамилию?

— Да, мы узнали кое-что относительно этой леди, — говорит он. — Помнишь, как она танцевала?

— Смотри что ты имеешь в виду, — отвечаю. — Я видел, как она вертела юбками около нашей кофейни, когда фараона поблизости не было.

— Именно это я и имею в виду. Сейчас это очень модно. Называется «каскадный танец». Завтра она дебютирует в мюзик-холле «Оксфорд». Это она должна сейчас сюда прийти. Так что верь мне, она сделает карьеру.

— Вполне возможно. Это на нее похоже.

— Мы обнаружили еще кое-что относительно нее. — Тут он перегнулся через столик и добавил шепотом, как будто сообщал мне великую тайну: — У нее есть голос.

— Да? — говорю. — У женщин это бывает.

— Да нет. У нее не такой голос: его приятно слушать.

— Надо полагать, это его отличительное свойство?

— Вот именно, сынок.

Через некоторое время она пришла. Я б ее сразу узнал по глазам и рыжим локонам, хотя теперь она была такая чистенькая, что хоть обед подавай в ее ладонях. А одета она была! Мне на своем веку немало приходилось бывать среди аристократов, ну, и я видал герцогинь в более эффектных и, пожалуй, в более дорогих туалетах, но ее платье, казалось, лишь обрамляло и подчеркивало ее красоту. А что она была красавица, это вы можете мне поверить. И ничего удивительного, что всякие вертопрахи слетались к ней с разных сторон, как мухи на сладкий пирог.

И трех месяцев не прошло, как уже по ней сходил с ума весь Лондон — или по крайней мере все лондонские мюзик-холлы. Ее портреты можно было видеть чуть не в каждой витрине, и не меньше половины лондонских газет печатали интервью с ней. Выяснилось, что она — дочь офицера, погибшего в Индии, когда она была еще крошкой, и племянница какого-то австралийского епископа, тоже покойного. Видимо, никого из ее предков в живых застать не удалось, но все они были некогда важными персонами. Образование — без этого нельзя — она получила домашнее под руководством дальней родственницы и рано обнаружила способности к танцам, хотя все ее близкие вначале очень не советовали ей идти на сцену. Ну, и дальше все в этом роде, как полагается в таких случаях. Оказалось, конечно, что она состоит в родстве с одним очень известным судьей, а что касается сцены, так она выступает только для того, чтобы иметь возможность содержать свою бабушку, или, кажется, больную сестру, не помню точно. Удивительный на-род газетчики — что угодно слопают.

Килька не брал ни пенса из ее денег, но, даже будь он ее агентом из двадцати пяти процентов, он и тогда не мог бы делать для нее больше: он все время поддерживал шум вокруг ее имени, и дело дошло до того, что если вы не желали больше ничего слышать про Кэролайн Тревельен, то вам оставалось только лечь в постель и не заглядывать в газеты. Она была повсюду: Кэролайн Тревельен у себя дома, Кэролайн Тревельен в Брайтоне, Кэролайн Тревельен и шах персидский, Кэролайн Тревельен и старая торговка яблоками. Или — если не сама Кэролайн Тревельен, то собачка Кэролайн Тревельен, с которой обязательно происходит что-нибудь необыкновенное: то она теряется, то находится, то упала в реку, — что именно, неважно.

В том же году я перебрался с Оксфорд-стрит в новую «Подкову» — ее как раз тогда заново оборудовали, — и там я их часто видел, потому что они приходили туда завтракать или ужинать, можно сказать, каждый день. Килька, он же капитан Киль, как все его называли, выдавал себя за ее сводного брата.

— Видишь ли, — объяснял он, — нужно же мне быть ей каким-нибудь родственником. Я б, конечно, мог стать просто ее братом, это было бы даже удобнее, да только фамильное сходство между нами недостаточно сильное. У нас разные типы красоты. — И в этом он был, разумеется, прав.

— Почему бы тебе не жениться на ней, — говорю, — и не покончить со всеми осложнениями?

— Я думал об этом, — отвечает он серьезно. — И я прекрасно знаю, что она согласилась бы, если б я подал ей эту мысль до того, как она нашла себя. Но теперь, по моему, это было бы несправедливо.

— То есть как это «несправедливо»?

— Ну, по отношению к ней несправедливо. Я, конечно, многого добился в жизни — из того, что мне по плечу; ну, а она... в общем, она сейчас может выйти за любого лорда. Выбор у нее богатый. Там есть один такой, так я о нем даже справки наводил. Он будет герцогом, если какой-то там младенец испустит дух, чего все ожидают, а уж маркизом он будет при всех условиях, и у него серьезные намерения, это точно. Было бы несправедливо, если б я вздумал стать ей поперек дороги.

— Тебе, — говорю, — конечно, виднее, но мне лично кажется, что если б не ты, то не было бы у нее сейчас никакой дороги, поперек которой можно было бы стать.

— Ну, это все чепуха. Я, конечно, к ней порядком привязан, но не стану заказывать себе могильный камень с фиалками, даже если она никогда не будет миссис Киль. Дело есть дело. И в мои намерения не входит подкладывать ей свинью.

Я часто размышлял о том, что бы она сама сказала, если б он надумал изложить ей свои соображения по этому поводу. Ведь она была хорошая девушка, но только, понятно, ей немного в голову ударило, она же столько читала о себе в газетах, что в конце концов и сама наполовину поверила в эту чепуху. Вот, например, ее родственные связи со знаменитым судьей, они вроде как бы затрудняли ее иногда, и она уже держалась с Килькой не так запросто, как бывало когда-то на Майл-Энд-роуд. А он был не из тех, кто ждет, пока ему скажут.

И вот как-то, завтракая у нас в одиночестве, он вдруг поднимает стакан и говорит:

— Ну, Генри, желаю тебе удачи. Теперь мы с тобой некоторое время не увидимся.

— Это еще что за новости? — говорю.

— Да ничего. Просто мне пора ехать. Я уезжаю в Африку.

— Так. Ну, а как же насчет...

— Все в порядке, — перебивает он меня. — Я это дело устроил — просто пальчики оближешь. Правду сказать, по этому-то я и уезжаю.

Я не сразу понял и подумал было, что и она с ним вместе уезжает.

— Нет, — говорит он. — Она будет герцогиней Райдингширской с любезного согласия того младенца, о котором я рассказывал. Ну, а если нет, она будет маркизой Эллфорд. Это — верное дело. Завтра они без лишнего шума сочетаются гражданским браком, и после этого я уезжаю.

— Какая в этом нужда?

— Никакой нужды, — отвечает. — Просто мне так хочется. Видишь ли, когда я уеду, ничто не будет ее связывать: ничто не помешает ей стать солидной уважаемой аристократкой. А при сводном братце, которому нужно все время быть наготове со всякими рассказами относительно

но своей родословной и наследственных владений — а выговор у него не слишком-то аристократический, — тут рано или поздно обязательно возникнут осложнения. Когда же меня здесь не будет — все станет просто. Понимаешь?

Ну вот, так оно все и произошло. Конечно, когда семейство об этом узнало, скандал был большой, и ловкому адвокату было поручено сделать все возможное, чтобы объявить это дело незаконным. Перед расходами не постояли, можете не сомневаться, но ничего у них не получилось. Им не удалось обнаружить ничего такого, что они могли бы против нее использовать. Она же держалась твердо и помалкивала. Так что им пришлось отступить. Молодожены уехали из Лондона и тихо прожили два года в своем загородном доме и за границей, а потом, когда толки поутихли, они вернулись обратно. Мне часто попадалось в газетах ее имя, про нее всегда писали, какая она очаровательная и любезная и красивая, — видно, родственники маркиза решили примириться с ее существованием.

И вот однажды вечером она пришла в «Савой». На это место я попал только благодаря моей жене, и скажу вам, место это очень хорошее, если кто, конечно, знает свою работу. У меня никогда б не хватило духу туда явиться, если б не моя хозяйка. Она умная женщина, ничего не скажешь. Мне здорово повезло, что я женился на ней.

— Сбрей-ка ты свои усы, нельзя сказать, чтоб они тебя украшали, — говорит она мне, — и сходи попытайся. Только не пробуй объясняться по-иностранному. Говори на ломаном английском и разок-другой пожми плечами. У тебя все это прекрасно получится.

Я сделал, как она советовала. Конечно, заведующий сразу разгадал, что я не иностранец, но я ловко вставлял кое-где «уи, мусье», а им, видно, выбирать тогда не пришлось — очень уж нужны были люди. Как бы то ни было, но меня взяли, я там проработал весь сезон, и это сделало из меня человека.

Ну так вот, входит она однажды в ресторан, настоящая аристократка, в мехах и бриллиантах, и с таким высокомерным видом, что любая природная маркиза могла бы ей позавидовать. Подходит прямо к моему столику и садится. С ней был ее муж, но он только повторял ее приказания.

Ясное дело, я держался так, как будто бы никогда в моей жизни до этого ее не видел, а сам все время, пока она ковырялась с майонезом и потягивала мелкими глоточками белое вино, вспоминал кофейню, треску за девять пенсов и пинту какао.

— Принесите мое манто, — говорит она ему немного погодя. — Мне холодно.

Он тут же встает и уходит.

Она даже головы не повернула и заговорила со мной так, как будто бы просто заказывала что-то, а я почтительно стоял у нее за стулом и отвечал ей в тон.

— Ты получил что-нибудь от Кильки? — спрашивает она.

— Я получил от него одно или два письма, ваша светлость, — отвечаю.

— Брось ты это, — говорит она. — Меня уже тошнит от «вашей светлости». Говори на простом английском языке — мне теперь не часто случается его слышать. Ну, и как он там?

— Да вроде у него все в порядке. Пишет, что открыл там отель и загребает немало денег.

— Хотелось бы мне очутиться с ним вместе за стойкой!

— Вот как? — говорю. — Значит, ничего хорошего из этого не вышло?

— Похоже на похороны, только что без покойника, — отвечает она. — И поделом мне, конечно, за то, что была такой дурой.

Но тут возвращается этот маркиз с ее манто; я говорю: «Сертенман, мадам» — и спешу исчезнуть.

Я часто видел ее там, и при случае она, бывало, перекидывалась со мной словечком. Видно, ей приятно было поговорить на своем родном языке, но мне иной раз было не по себе при мысли, что кто-нибудь может ее услышать.

Потом я получил еще одно письмо от Кильки. Он писал, что приехал ненадолго в Лондон и остановился у Морли; звал меня зайти.

Он не очень изменился, разве только потолстел немного и приобрел еще более преуспевающий вид. Понятно, мы заговорили об ее светлости, и я передал ему то, что она тогда сказала.

— Странные создания эти женщины, — говорит он, — сами не знают, что им нужно.

— Да нет, они прекрасно знают, что им нужно, но только не заранее. Откуда же она могла знать, каково быть маркизой, пока сама не попробовала?

— Жаль, — говорит он, запечалившись. — Я-то думал, это как раз для нее. Я и собрался-то сюда только затем, чтоб взглянуть на нее и удостовериться, что у нее все в порядке. Выходит, лучше бы мне было и не приезжать.

— А сам ты еще не думал о женитьбе?

— Думал. Когда человеку за тридцать, то, можешь мне поверить, скучно ему живется без жены и детишек. А для фальшивки по рецепту Дон-Жуана у меня таланта нет.

— Ты вроде меня, — говорю, — сяду после работы у своего очага с трубочкой и в домашних туфлях — и не нужно мне никаких других удовольствий. Ты вскорости найдешь себе кого-нибудь по душе.

— Нет, не найду. Я встречал некоторых, кто мог бы прийти мне по душе, если б не она. Все равно как те аристократы, что приезжают к нам: они с детства кормились всякими хитростями вроде «*gis de veau à la financier*»¹, так их уж теперь не заставишь питаться беконом с овощами.

Я намекнул ей кое о чем, когда в следующий раз увидел ее у нас, и однажды рано утром они встретились в Кенсингтон-Гарденс — вроде как бы случайно. Что они там сказали друг другу, я не знаю, потому что он в тот же вечер уплыл обратно в Африку, а ее светлость я долго не видел, — был конец сезона.

Когда же я ее опять увидел — в отеле «Бристоль», в Париже, — она была в трауре по своему мужу маркизу, скончавшемуся восемь месяцев тому назад. Он так и не дожил до герцогского титула — младенец оказался покрепче, чем предполагали, и он не сдавался. Так что она осталась всего лишь маркизой, и состояние ее — хотя и немалое — ничего потрясающего собой не представляло, сущие пустяки для этих аристократов. По счастью, меня послали обслужить ее, так как она потребовала кого-нибудь, кто бы говорил по-английски. Она как будто обрадовалась, что встретила меня.

— Ну, — говорю, — надо полагать, ты теперь скоро вступишь во владение тем баром в Кейптауне?

¹ Сладкое мясо «а-ля финансист» (фр.).

— Ты подумай, что ты говоришь, — отвечает она. — Как может маркиза Эплфорд выйти замуж за содержателя отеля?

— А почему же не может, если он ей нравится? Какой смысл быть маркизой, если она не может делать что хочет?

— Вот именно, — сердито отрезала она, — не может. Это было бы нечестно по отношению к их семейству. Нет, я тратила их деньги, я их и теперь трачу. Они меня не любят, но они никогда не скажут, что я их опозорила. У них тоже есть свои чувства, так же как у меня.

— Почему бы тебе не отказаться от этих денег в их пользу? Я слышал, они — народ бедный, так что будут только рады.

— Невозможно. Это у меня пожизненная рента. Пока я жива, я должна получать ее, и, пока я жива, я должна оставаться маркизой Эплфорд.

Она доела суп, отодвинула тарелку и еще раз повторила про себя: «Пока я жива». А потом вдруг подскочила и говорит:

— Честное слово, а почему бы и нет?

— Что — почему бы и нет? — спрашиваю.

— Ничего, — отвечает она. — Принеси мне телеграфный бланк, да поскорее.

Я принес ей бланк, она написала телеграмму и тут же отдала ее портье, а покончив с этим, снова уселась за столик и расправилась со своим обедом.

Ко мне она уже больше почти не обращалась, а я не навязывался.

Наутро она получила ответ, очень разволновалась и в тот же день съехала из отеля. А следующее известие о ней я получил уже из газет, где помещена была заметка под таким заголовком: «Смерть маркизы Эплфорд. Несчастный случай». Там говорилось, что она поехала кататься на лодке по одному из итальянских озер в сопровождении одного только лодочника. Налетел шквал, и лодка перевернулась, лодочник доплыл до берега, но свою пассажирку он спасти не сумел, и даже тело ее не удалось найти. Газета напоминала читателям, что погибшая — урожденная Кэролайн Тревельен, в прошлом знаменитая трагическая актриса, дочь известного судьи в Индии Тревельена.

Дня два я ходил мрачный из-за этого сообщения. Я, можно сказать, знал ее еще ребенком и всегда интересовался ее судьбой. Глупо, конечно, но отели и рестораны от-

части потеряли для меня интерес, потому что теперь уже не было надежды как-нибудь вдруг встретить там ее.

Из Парижа я переехал в Венецию и поступил в один небольшой отель. Жена моя считала, что мне не мешает подучиться немного по-итальянски, а может, ей просто самой хотелось пожить в Венеции. Тем-то и хороша наша профессия: можно поездить по свету. Ресторанчик у них был плохонький, и вот как-то вечером, когда лампы еще не зажигали и посетителей никого не было, я уже решил было почитать газету, но тут вдруг услышал, что отворилась дверь, обернулся и вижу: входит она. Спутать я не мог — она не из таких.

У меня глаза на лоб полезли, а она подходит все ближе, и тогда я прошептал:

— Рыжик! — Это имя почему-то первое пришло мне в голову.

— Она самая, — говорит, и садится за столик против меня, и тут как расхохочется.

Я не мог сказать ни слова, не мог пошевелиться, до того я был ошарашен, и чем испуганнее я глядел, тем громче она хохотала, пока наконец не вошел Килька. На призрака он никак не походил. Наоборот, вид у него был такой, как будто бы он поставил на выигранный номер.

— Ого, да это Генри! — говорит он и хлопает меня по спине с такой силой, что я моментально прихожу в себя.

— Я думал, ты умерла, — говорю я, все еще разглядывая ее. — Я читал в газете: «Смерть маркизы Эплфорд».

— Так оно и есть, — отвечает она. — Маркиза Эплфорд умерла, и слава Богу. Я миссис Киль, урожденная Рыжик.

— Помнишь, ты говорил, что я скоро найду себе кого-нибудь по сердцу? — говорит мне Килька. — И честное слово, ты был прав. Я нашел. Я все ждал, пока встречу кого-нибудь, кто мог бы сравниться с ее светлостью, и, боюсь, долго бы мне пришлось ждать, если бы не наткнулся я вот на нее.

Тут он берет ее под руку, точно так же, помнится мне, как в тот день, когда он впервые привел ее в кофейню. И Бог мой, как же давно это было!

Так кончается одна из тех историй, что рассказывал мне официант Генри. По его просьбе я дал героям вымышленные имена, так как Генри говорит, что Первоклассный Семейный Коммерческий отель капитана Кили в Кейптауне существует по сей день и хозяйка его все та же — краси-

вая рыжеволосая женщина с прекрасными глазами, которую можно принять за герцогиню, пока она не заговорит. Выговор ее все еще отдает слегка улицей Майл-Энд-роуд.

СЮРПРИЗ МИСТЕРА МИЛБЕРРИ

— Нет, об этом с ними лучше не заговаривать, — сказал Генри, стоя на балконе с перекинутой через руку салфеткой и потягивая бургундское, которым я его угостил. — А скажи им — они все равно не поверят. Но это правда. Без одежды ни одна этого не сумеет.

— Кто не поверит и чему? — спросил я.

У Генри была странная привычка рассуждать по поводу собственных невысказанных мыслей, что придавало его разговору характер сплошной головоломки.

Мы только что спорили о том, выполняют ли сардинки свое назначение лучше в качестве закуски или перед жарким. Теперь же я недоумевал, почему сардинки, в отличие от других рыб, обладают особо недоверчивым нравом, и старался представить себе костюм, который бы подошел к немногочисленной сардиньей фигуре. Генри поставил свой бокал и попытался разъяснить мне, в чем дело.

— Это я о женщинах. Им нипочем не отличить одного голого ребенка от другого. У меня сестра в няньках служит, так она вам подтвердит, если вы ее спросите, что до трехмесячного возраста между ними нет никакой разницы. Можно, конечно, отличить мальчика от девочки или христианского младенца от черномазого чертенка; но не следует даже воображать, что, когда они голые, кто-нибудь может с уверенностью сказать, что вот это, мол, Смит, а это — Джонс. Разденьте их, заверните в простыню и перемешайте, и я готов держать пари на что угодно, что вам нипочем не различить их.

Что касается меня лично, я охотно согласился с Генри, однако прибавил, что у миссис Джонс или же у миссис Смит есть, наверное, какой-нибудь секрет для распознавания младенцев.

— Это они вам, конечно, и сами скажут, — возразил Генри. — Я, само собою, не говорю о тех случаях, когда у ребенка есть какое-нибудь родимое пятно или он косит на один глаз. Но что касается младенцев вообще, то все они

похожи друг на друга, как сардинки одного возраста. Я вот знаю случай, когда глупая молодая нянька перепутала в гостинице двух младенцев, и матери до сих пор не убеждены, что у каждой свой ребенок.

— Вы полагаете, — сказал я, — что не было решительно никакого способа отличить одного младенца от другого?

— Блошиного укуса, и того не было, — ответил Генри. — У них были одинаковые шишки, одинаковые прыщики, одинаковые царапины, и родились они чуть ли не в один день, и ни ростом, ни весом не различались. У одного отец был блондин, высокого роста, у другого брюнет, маленького роста. Жена высокого блондина была миниатюрная брюнетка, а жена маленького брюнета — высокая блондинка.

Целую неделю они меняли своих ребят раз по десять в день, споря и крича при этом до хрипоты. Каждая женщина была уверена, что она мать того младенца, который в данный момент молчал, когда же тот начинал реветь, она была опять-таки уверена, что это не ее дитя. Тогда они решились положиться на инстинкт младенцев. Но те, пока были сыты, не обращали на них никакого внимания, а проголодавшись, каждый непременно просился к той матери, у которой был в это время на руках. Они согласились наконец на том, что время само все выяснит. С тех пор прошло три года, и, может быть, впоследствии какое-нибудь сходство с родителями решит этот вопрос. Я утверждаю одно: что бы там ни говорили, до трехмесячного возраста их не отличить одного от другого.

Он умолк и, казалось, погрузился в созерцание далекого Маттергорна, озаренного розовым отблеском вечерней зари.

Генри обладал поэтической жилкой, которая часто встречается у поваров и официантов. Думается мне, что постоянная атмосфера вкусных и теплых яств развивает нежные чувства. Самый сентиментальный человек, которого я когда-либо встречал, был содержатель колбасной на Фаррингдон-роуд. Рано утром он мог казаться сухим и деловитым, но, когда он с ножом и вилкой в руках возился над кипящим котлом с сосисками или над шипящим гороховым пудингом, любой бродяга мог его разжалобить совершенно неправдоподобным рассказом.

— Но самая удивительная история с младенцем произошла в Уорвике в год юбилея королевы Виктории, — про-

должал немного спустя Генри, не отрывая взора от снежных вершин. — Этого я никогда не забуду.

— А это приличная история? — спросил я. — Мне можно ее выслушать?

Подумав, Генри решил, что вреда от этого не будет, и рассказал мне следующий случай.

* * *

Он приехал в omnibusе, с поезда 4.52. У него был с собой саквояж и большая корзина, по моим предположениям, с бельем. Он не дал коридорному притронуться к корзине и сам потащил ее в номер. Он нес ее, держа перед собой за ручки, и на каждом шагу ушибал пальцы о стены. На повороте лестницы он поскользнулся и здорово ударился головой о перила, но корзины не выпустил, только ругнулся и полез дальше. Я видел, что он нервничает и чем-то встревожен, но в гостинице такое зрелище не диво. Если человек за кем-нибудь гонится или за ним кто-нибудь гонится, где же ему и остановиться, как не в гостинице, но, если только по его виду не кажется, что он съедет, не заплатив, на это не обращаешь особого внимания.

Однако этот человек заинтересовал меня своей молодостью и невинным лицом. К тому же я скучал в этой дыре после тех мест, где раньше приходилось работать. А когда в продолжение трех месяцев только и обслуживаешь, что неудачливых коммивояжеров да нежные парочки с путеводителями, поневоле обрадуешься всему, что сулит хоть какое-то развлечение.

Я последовал за вновь прибывшим в его номер и осведомился, не нужно ли ему чего. Он со вздохом облегчения плюхнул корзину на кровать, снял шляпу, вытер лоб и только тогда повернулся ко мне.

— Вы женаты? — спросил он.

Ни к чему бы, кажется, задавать такой вопрос лакею, но, поскольку его задал мужчина, я не встревожился.

— Как вам сказать, — говорю, — не совсем. — Я тогда был только обручен, да и то не со своей женой. — Но это ничего, если вам нужен совет...

— Не в том дело, — перебил он меня. — Только, пожалуйста, не смейтесь. Если б вы были женаты, вы бы лучше поняли меня. Есть у вас здесь толковые женщины?

— Женщины у нас есть, — говорю. — А вот толковые или нет — это как посмотреть. Обыкновенные женщины. Позвать горничную?

— Да, да, — обрадовался он. — Нет, подождите минуточку, сперва откроем.

Он стал возиться с веревкой, потом бросил ее и захохотал.

— Нет, — говорит. — Откройте сами. Открывайте осторожнее, вас ждет сюрприз.

Я-то не особенно люблю сюрпризы. По опыту знаю, что они обычно бывают не слишком приятного свойства.

— Что там такое? — спросил я.

— Увидите, когда развяжете, оно не кусается. — И опять смеется.

Ну, ладно, думаю, рискну, вид у тебя безобидный. А потом мне пришло в голову такое, что я стал и замер с веревкой в руках.

— А там, — говорю, — не труп?

Он вдруг побелел, как простыня, и схватился за каминную полку.

— Боже мой, — говорит, — не шутите подобными вещами, я об этом и не подумал. Развязывайте скорее!

— Мне кажется, сэр, было бы лучше, если бы вы сами раскрыли ее, — сказал я. Вся эта история начинала мне крепко не нравиться.

— Я не могу, — говорит он, — после вашего предположения... Я весь дрожу. Развязывайте скорей и скажите, все ли благополучно.

Любопытство одержало верх. Я развязал веревки, открыл крышку и заглянул в корзину. Приезжий стоял отвернувшись.

— Все благополучно? — спрашивает он. — Жив?

— Живехонек, — говорю.

— И дышит?

— Вы глухи, сэр, если не слышите, как он дышит.

Существо в корзине так сопело, что было слышно на улице.

Он прислушался и успокоился.

— Слава Богу! — сказал он и, облегченно вздохнув, шлепнулся в кресло у камина. — Я совсем не подумал об этом, ведь он целый час трясся в корзине, и ничего не было легче, как задохнуться под одеялом... я никогда больше не буду так безумно рисковать!

— Вы, видно, его любите? — осведомился я.

Он оглянулся на меня.

— Люблю? — повторил он. — Да я же его отец!

И снова принялся хохотать.

— О! — воскликнул я. — В таком случае, я имею удовольствие говорить с мистером Костером Кингом?

— Костер Кинг? Моя фамилия Милберри...

— Судя по ярлыку на корзине, отец этого существа Костер Кинг от Звезды, а мать Джени Динс от Дьявола Дарби.

Он подозрительно посмотрел на меня и поспешил поставить между нами стул. Теперь пришла его очередь подумать, что я помешался. Но, решив, по-видимому, что я не опасен, он подошел и заглянул в корзину. Вслед за этим раздался нечеловеческий вопль. Он стоял по одну сторону корзины, я — по другую. Разбуженная шумом собака поднялась, села и улыбнулась сперва одному, потом другому. Это был бульдог, щенок месяцев девяти, отличный экземпляр.

— Мое дитя! — вопил приезжий, а глаза у него совсем на лоб вылезли. — Это не мое дитя! Что случилось? Я схожу с ума?

— Вроде того, — говорю. — Не волнуйтесь и скажите, что вы ожидали увидеть?

— Мое дитя! — кричал он. — Мое единственное дитя, моего ребенка!..

— Вы подразумеваете настоящего ребенка? — попытался я. — Человеческое дитя? Некоторые так странно выражаются о своих собаках, что сразу и не поймешь.

— Ну конечно, — стонал мистер Милберри. — Самый хорошенький ребенок на свете, в воскресенье ему минуло тринадцать недель. Вчера у него прорезался первый зуб.

Вид собачьей морды приводил его в бешенство. Он ринулся к корзине, и мне с трудом удалось спасти бедное животное от удушья.

— Она не виновата, — доказывал я. — Я убежден, что она огорчена не меньше вашего. Кто-нибудь сыграл с вами шутку: вынул ребенка и посадил собаку, — если вообще тут когда-нибудь был ребенок.

— Что вы хотите сказать?

— А то, — говорю, — что, вы уж простите меня, сэр, но, по моему, люди, которые возят детей в собачьих корзинах, не совсем здоровы. Вы откуда едете?

— Из Бэнбери, — говорит. — Меня хорошо знают в Бэнбери.

— Не сомневаюсь, — говорю. — Вы, видно, из тех молодых людей, которых где угодно будут знать.

— Я — мистер Милберри, бакалейщик с Хай-стрит.

— В таком случае, что вы тут делаете с собакой?

— Не выводите меня из терпенья! — закричал он. — Я вам говорю, что я не знаю. Моя жена приехала сюда ухаживать за своей больной матерью и в каждом письме пишет, что соскучилась по своему Эрику...

— У нее развито материнское чувство, — одобрил я. — Это делает ей честь.

— Поэтому, — продолжал он, — так как я сегодня свободен, я взял ребенка с собой, чтобы доставить ей удовольствие. Моя теща не выносит меня, вот почему я должен был остановиться здесь, а Милли — моя жена — хотела сюда забежать. Я хотел сделать ей сюрприз...

— И вправду будет сюрприз, — подтвердил я.

— Не шутите, — сказал он. — Я теперь сам не свой, я могу нанести вам оскорбление.

Он был прав. Несмотря на весь комизм положения, смех был неуместен.

— Но зачем же, — допытывался я, — вы положили его в собачью корзину?

— Это не собачья корзина, — оскорбился мистер Милберри. — Это корзина для пикников. Я не решился нести ребенка на руках, боясь, что мальчишки на улице меня засмеют. А спать наш малютка мастер, я и подумал, что если устрою его помягче и поудобнее, то он и проспит спокойно всю дорогу. Я взял его с собой в вагон и ни на минуту не спускал с колен. Тут вмешалась нечистая сила. Я утверждаю, что это дело дьявола!

— Не говорите глупостей, — сказал я. — Объяснение должно быть, но надо его найти. Вы уверены, что это та самая корзина, в которую вы уложили ребенка?

Он стал спокойнее; встал и внимательно осмотрел корзину.

— Она очень похожа, — заявил он. — Но я не могу поклясться, что она моя!

— Вы сказали, — продолжал я, — что не выпускали ее из рук. Подумайте!

— Нет, — подтвердил он. — Она все время была у меня на коленях...

— Но это чепуха, — говорю. — Если только вы сами не уложили в нее собаку вместо ребенка! Ну же, припомните все спокойно, — я не ваша супруга, я хочу вам помочь. Может, вы и взглянули разок в другую сторону. Я не обижусь.

Он задумался, и вдруг лицо у него просветлело.

— Клянусь, — говорит, — вы правы! Я на одну секунду оставил ее на платформе в Бэнбери, чтобы купить газету!

— Ну вот, — сказал я, — теперь вы говорите, как разумный человек. И... подождите минутку, если я не ошибаюсь, завтра первый день собачьей выставки в Бирмингеме?

— Кажется, так.

— Ну, теперь мы на следе, — сказал я. — Без сомнения, эта собака, запакованная в корзину, похожую на вашу, ехала в Бирмингем. Теперь щенок оказался у вас, а ваш ребенок — у его владельца. И трудно сказать, который из вас сейчас настроен более радостно. Он, скорей всего, думает, что вы это нарочно подстроили.

Мистер Милберри прислонился головой к спинке кровати и застонал.

— Сейчас придет Милли, — лепетал он. — И мне придется ей сказать, что ребенок попал по ошибке на собачью выставку. Я не решусь на это, не решусь!

— Поезжайте в Бирмингем и постарайтесь его найти. Вы поспеете на 5.45 и вернетесь к восьми!

— Поезжайте со мной! — взмолился он. — Вы хороший человек, поезжайте со мной. Я не в состоянии ехать один...

Он был прав. Его бы первая же лошадь задавила.

— Хорошо, — сказал я. — Если хозяин ничего не будет иметь против...

— Он не будет... он не может! — ломая руки, вопил мистер Милберри. — Скажите ему, что от этого зависит счастье человеческой жизни. Скажите ему...

— Я ему скажу, что от этого будет зависеть прибыль в полсоверена для его кармана. Это его скорее убедит.

Так и случилось, и через двадцать минут я, мистер Милберри и собака в корзине уже ехали в вагоне первого класса в Бирмингем.

Тут только я сообразил, какая трудная работа нам предстоит. Предположим, что я прав и щенок действительно ехал в Бирмингем на выставку. Предположим даже, что кто-нибудь видел, как мужчина с корзиной, отвечающей нашему описанию, выходил из поезда 5.13. Но дальше-то что? Придется, чего доброго, опрашивать всех извозчиков в городе. А к тому времени, когда мы найдем ребенка, будет ли еще смысл его распаковывать? Но выбалтывать свои сомнения я не стал. Несчастный отец чувствовал себя как нельзя хуже. Я вменил себе в обязанность вселять в него надежду. И когда он в двадцатый раз спросил меня, увидит ли он еще раз своего ребенка, я резко оборвал его:

— Да полно вам валять дурака. Еще наглядитесь на свое сокровище. Дети так легко не теряются. Это только в театре бывает, чтобы людям был нужен чужой ребенок. Я знавал в свое время всяких мерзавцев, но чужих детей любому из них мог бы доверить. Вы не надейтесь, что потеряете его. Поверьте моему слову, к кому бы он ни попал, этот человек не успокоится, пока не вернет его законному владельцу.

Такие речи сильно его подбадривали, и, пока доехали до Бирмингема, он совсем воспрял духом. Мы обратились к начальнику станции, и он опросил всех носильщиков, находившихся на платформе, когда прибыл поезд 5.13. Все единодушно показали, что не видели пассажира с подобной корзиной. Начальник станции — человек семейный, узнав в чем дело, телеграфировал в Бэнбери. Кассир Бэнбери помнил только трех мужчин, которые брали билеты на этот поезд. Один из них был мистер Джессап, свечной торговец, второй — неизвестный, ехал в Вулверхэмптон, а третий — сам мистер Милберри. Положение уже казалось безнадежным, когда вмешался какой-то мальчишка-газетчик.

— Я видел старую даму, — объявил он. — Она нанимала извозчика, и у нее была точь-в-точь такая корзина.

Мистер Милберри чуть не бросился мальчику на шею. Мы отправились вместе с ним к извозчикам. Старые дамы с собачьими корзинами не теряются как иголки. Она отправилась во второсортную гостиницу на Астон-роуд. Я узнал все подробности от ее горничной. Старая дама перенесла не менее неприятные минуты, чем мой джентльмен. Преж-

де всего корзина не влезла в кеб, и пришлось поставить ее на крышу. Старая леди страшно волновалась, так как шел дождь, и заставила извозчика закрыть корзину фартуком. Снимая корзину с кеба, ее уронили на мостовую, ребенок проснулся и дал о себе знать отчаянным криком.

— Боже мой, мэм, что это? — ужаснулась горничная. — Беби?

— Да, голубушка, это мой беби! — отвечала дама. Она, видно, не прочь была пошутить — до поры до времени. — Бедняжка, надеюсь, не ушибся?

Старуха заняла номер. Корзину внесли и поставили на коврик перед камином. Хозяйка при помощи горничной стала ее развязывать. Ребенок к этому времени уже вопил не переставая, как паровой свисток.

— Дорогой мой, — причитала старая леди, возясь с веревкой. — Не плачь, твоя мама развяжет тебя как можно скорей. Откройте мой сак и достаньте бутылку молока и несколько собачьих сухарей, — обратилась она к горничной.

— Собачьих сухарей? — изумилась та.

— Да, — засмеялась старуха. — Мой бэби любит собачьи сухари...

Горничная отвернулась, чтобы достать требуемое, как вдруг услышала позади себя глухой стук и, обернувшись, увидела старую леди, распростертую на полу в глубоком обмороке. Ребенок ревел во все горло, сидя в корзине. Совершенно растерявшись, девушка сунула ему собачий сухарь, а сама принялась приводить в чувство старуху. Через минуту несчастная открыла глаза и огляделась. Беби успокоился и, причмокивая, сосал собачий сухарь. Старая дева взглянула на него и порывисто спрятала лицо на груди у горничной.

— Что это? — сдавленным голосом спросила она. — Вот это, в корзине?

— Ребенок, мэм, — ответила горничная.

— Вы уверены, что это не собака? — спрашивает старая леди. — Посмотрите еще раз.

Девушка почувствовала себя не совсем ловко и пожалела, что рядом никого нет.

— Я не могу перепутать ребенка с собакой, мэм, — сказала она. — Это ребенок — человеческое дитя!

Старая леди жалобно захныкала.

— Это, — говорит, — искупление. Я беседовала с моей собакой как с человеком, и теперь все это случилось мне в наказание...

— Что случилось? — спрашивает горничная. Ее, понятно, уже разобрало любопытство.

— Я не знаю, — заявила старуха, садясь на полу. — Два часа тому назад, если только это не был сон, я уехала из Фартингоу с годовалым бульдогом в корзине; вы сами видите, что теперь в ней находится!

— Я что-то не слышала, чтобы бульдоги по волшебству превращались в детей, — говорит горничная.

— Я не знаю, как это делается, — говорит старуха, — да это и неважно. Я одно знаю: я выехала из дому с бульдогом, а он вот во что превратился.

— Кто-нибудь положил его сюда, — сказала горничная. — Кто-нибудь, кому нужно было избавиться от ребенка, собаку вынул, а его положил!

— Тут потребовалась необыкновенная ловкость, — говорит старуха. — Я выпустила корзину из рук не более как на пять минут, пока пила чай в Бэнбери...

— Тогда-то они все и проделали, — говорит горничная. — Ну и ловкачи!

Старая леди, вдруг что-то сообразив, вскочила с полу.

— А я-то в каком положении оказалась! Незамужняя женщина, пойдут сплетни... Это ужасно!

— Хорошенький ребенок! — говорит горничная.

— Хотите взять его себе?

Но горничная не захотела. Старуха уселась и начала размышлять, но чем больше она думала, тем больше запутывалась. Горничная впоследствии уверяла, что, не приди мы вовремя, старуха сошла бы с ума. Человека, доложившего, что джентльмен с бульдогом осведомляется о ребенке, она заключила в объятия и расцеловала.

Мы сейчас же сели на обратный поезд и прибыли в отель за десять минут до прихода ничего не подозревавшей матери.

Милберри всю дорогу не выпускал ребенка из рук. Корзину он отдал мне да еще прибавил полсоверена с условием, что я буду молчать, и я честно выполнил уговор.

Думаю, что и он не рассказал жене о том, что случилось, разве что уж совсем ничего не сообщал.

КАК ЗАРОДИЛСЯ ЖУРНАЛ ПИТЕРА ХОУПА

– Войдите, – сказал Питер Хоуп.

Питер Хоуп был высок, худощав и гладко выбрит, если не считать коротко подстриженных бакенбард, оканчивавшихся чуть-чуть пониже уха; волосы его были из тех, о которых цирюльники сочувственно говорят: «Немножко, знаете, редеют на макушке, сэр», – но зачесаны с разумной экономией, лучшей помощницей бедности. Что касается беля мистера Хоупа, чистого, хотя и поношенного, в нем замечалась некоторая склонность к самоутверждению, неизменно останавливавшая на себе внимание даже при самом беглом взгляде. Его положительно было слишком много, и впечатление это еще усиливалось покроем визитки с расходящимися лапами, которая явно стремилась убежать и спрятаться за спиной своего обладателя. Она как будто говорила: «Я уже старенькая. Во мне нет лоску – или, вернее, слишком много его, на взгляд современной моды. Я только стесняю тебя. Без меня тебе было бы гораздо удобнее». Чтобы убедить ее не расставаться с ним, хозяин визитки вынужден был прибегать к силе и нижнюю из трех пуговиц все время держать застегнутой. И то она каждую минуту рвалась на свободу.

Другой особенностью Питера, связывавшей его с прошлым, был его черный шелковый галстук, заколотый парюю золотых булавок, соединенных цепочкой. Увидав его за работой – скрещенные под столом длинные ноги в серых брюках со штрипками, свежее румяное лицо, озаренное светом лампы, и красивую руку, придерживающую по-

луисписанный лист, — посторонний человек, пожалуй, начал бы протирать глаза, дивясь, что это за галлюцинация, каким образом перед ним очутился этот юный щеголь начала сороковых годов. Но, присмотревшись, он заметил бы на лице щеголя немало морщинок.

— Войдите! — повторил мистер Питер Хоуп, повысив голос, но не поднимая глаз.

Дверь приотворилась, и в комнату бочком просунулось маленькое белое личико, на котором светились яркие черные глаза.

— Войдите, — повторил мистер Питер Хоуп в третий раз. — Кто там?

Пониже лица появилась рука, не слишком чистая, и в ней засаленный суконный картуз.

— Еще не готово, — сказал мистер Хоуп. — Садитесь и подождите.

Дверь отворилась пошире, в нее проскользнула вся фигура и, затворив за собою дверь, присела на кончик ближайшего стула.

— Вы откуда, из «Центральных новостей» или из «Курьера»? — спросил мистер Питер Хоуп, все еще не отрываясь от работы.

Яркие черные глаза, только что приступившие к тщательному осмотру комнаты, начиная с закопченного потолка, спустились пониже и остановились на маленькой, ясно очерченной плешу на голове мистера Питера Хоупа, которая доставила бы ему много горьких минут, если бы он знал о ее существовании. Но полные алые губы под вздернутым носом не разжались.

Вопрос остался без ответа, но мистер Хоуп, по-видимому, не обратил на это внимания. Тонкая белая рука его продолжала скользить взад и вперед по бумаге. К листам, лежавшим на полу, прибавилось еще три. Тогда только мистер Питер Хоуп отодвинул свое кресло и в первый раз посмотрел на вошедшего.

Для Питера Хоупа, старого журналиста, давно знакомого с разновидностью рода человеческого, именуемой «мальчик из типографии», бледные мордашки, лохматые волосы, грязные руки и засаленные картузы были самым обыденным зрелищем в районе подземной речушки Флит. Но тут перед ним было что-то новое. Питер Хоуп не без труда ра-

зыскал под грудой газет свои очки, укрепил их на горбатом носу и, наклонившись вперед, долго с ног до головы осматривал гостя.

— Господи помилуй! Что это?!

Фигура поднялась во весь рост — пять футов с небольшим — и медленно подошла ближе.

Поверх узкой синей шелковой фуфайки с огромнейшим декольте на ней была надета совершенно истрепанная мальчишеская куртка перечного цвета. Вокруг шеи обмотано было шерстяное кашне, оставившее, однако, большой кусок шеи повыше фуфайки открытым. Из-под куртки падала длинная черная юбка, шлейф которой был обернут вокруг талии и подоткнут под ременный пояс.

— Кто вы? Что вам нужно? — спросил мистер Питер Хоуп.

Вместо ответа фигура, переложив засаленный картуз из правой руки в левую, нагнулась и, схватив подол своей длинной юбки, начала заворачивать его кверху.

— Что вы делаете? — воскликнул мистер Питер Хоуп. — Нет, знаете ли, вы...

Но к этому времени юбка исчезла, оставив на виду во многих местах заплатанные штаны, из правого кармана которых грязная рука извлекла сложенную бумагу, развернула ее, разгладила и положила на стол.

Мистер Питер Хоуп сдвинул очки на лоб и вслух прочел:

— «Бифштекс и пирог с почками — четыре пенса; то же (большая порция) — шесть пенсов; вареная баранина...»

— Мне там пришлось служить последние две недели — в трактире у Хэммонда, — последовало разъяснение.

По звуку этого голоса Питер Хоуп понял — так же ясно, как если бы он раздвинул красные репсовые занавески и посмотрел в окно, — что снаружи, на Гоф-сквер, призрачным морем разлился густой желтый туман. В то же время он с удивлением отметил, что у странной фигуры правильный выговор и правильные ударения.

— Спросите Эмму. Она может вам меня рекомендовать. Она сама мне сказала.

— Но милейш... — Мистер Питер Хоуп запнулся и снова прибегнул к помощи очков. Когда же и очки не помогли разрешить загадку, он поставил вопрос ребром:

— Вы мальчик или девочка?

— А я не знаю.

— Как не знаете?

— А не все равно?

Мистер Хоуп встал и, взяв странную фигуру за плечи, дважды медленно повернул ее, очевидно, предполагая, что это может дать ему ключ к загадке. Но напрасно.

— Как вас зовут?

— Томми.

— Томми... а дальше как?

— Да как хотите. Разве я знаю? Меня всякий по-своему зовет.

— Что вам нужно? Зачем вы пришли?

— Вы ведь мистер Хоуп, Гоф-сквер, дом шестнадцать, второй этаж?

— Да, это мое имя и адрес.

— Вам нужно кого-нибудь ходить за вами?

— Вы хотите сказать — экономку?

— Про экономку не было речи. Я говорю: вам нужно кого-нибудь, чтоб ходить за вами — ну, стирать, убирать, мести? Об этом толковали давеча в лавке. Старуха в зеленой шляпке спрашивала тетушку Хэммонд, не знает ли она кого подходящего.

— Миссис Постуисл? Да, я просил ее приискать мне кого-нибудь. Вы, что же, знаете кого-нибудь? Вас кто-нибудь послал ко мне?

— Вам ведь не очень мудреную нужно кухарку? Они говорили, что вы славный, простой старичок и хлопот с вами немного.

— Нет, нет. Я не требователен, только бы была опрятная и приличная женщина. Но отчего же она сама не пришла? Кто она?

— А хоть бы и я! Чем я не гожусь?

— Извините, но...

— Чем я не гожусь? Я умею стелить постели и убирать комнаты и все такое. А что касается стирки, так у меня к этому природенная склонность — спросите Эмму, она вам скажет. Ведь вам не мудреную нужно?

— Элизабет, — позвал мистер Питер Хоуп и, перейдя на другой конец комнаты, стал мешать угли в камине. — Элизабет, как ты думаешь, это во сне или наяву?

Элизабет поднялась на задние ноги и впилась когтями в ляжку своего хозяина. А так как сукно на брюках мистера Хоупа было тонкое, то ответ вышел самый вразумительный, какой только она могла дать.

— Сколько уж мне приходилось возиться с другими людьми ради их удовольствия, — услышал он голос Томми. — Не вижу, почему бы мне не делать того же ради себя.

— Друг мой, я все-таки хотел бы знать, мальчик вы или девочка. Вы серьезно предполагаете, что я возьму вас в экономки? — спросил мистер Питер Хоуп, грея спину у камина.

— Я отлично гожусь для вас. Вы мне дадите постель и харчи и — ну, скажем, шесть пенсов в неделю. А ворчать я буду меньше их всех.

— Полноте, не смешите.

— Вы не хотите меня испытать?

— Конечно, нет! Вы с ума сошли.

— Ну что ж, ваше дело. — Грязная рука потянулась к столу, взяла меню из трактира Хэммонда и приступила к операции, необходимой для того, чтобы снова спрятать его в надежное место.

— Вот вам шиллинг, — сказал мистер Хоуп.

— Нет уж, не надо, а все-таки спасибо.

— Вздор, берите, — сказал мистер Питер Хоуп.

— Нет, лучше не надо. В таких делах никогда не знаешь, что из этого может получиться.

— Как хотите, — сказал мистер Питер Хоуп, кладя монету обратно в карман.

Фигура двинулась к двери.

— Погодите минутку, — раздраженно сказал Питер Хоуп.

Фигура остановилась, уже держась за ручку двери.

— Вы вернетесь обратно в трактир?

— Нет. Там кончено. Меня взяли только на две недели, пока одна из девушек хворала. А нынче утром она пришла.

— Кто ваши родные?

На лице Томми выразилось удивление.

— Вы это про что?

— Ну, с кем вы живете?

— Ни с кем.

— Так за вами некому смотреть? Некому заботиться о вас?

— Что я — младенец, что ли, чтобы обо мне заботиться?

— Куда же вы теперь пойдете?

— Куда пойду? На улицу.

Раздражение Питера Хоупа росло.

— Я хочу сказать: где вы будете ночевать? Есть у вас деньги на квартиру?

— Да, немножко есть. Но на квартиру мне неохота идти, не очень-то там приятная компания. Переночую на улице, только и всего. Дождя сегодня нет.

Элизабет издала пронзительный вопль.

— И поделом тебе! — свирепо крикнул на нее Питер Хоуп. — Как же на тебя не наступить, когда ты вечно суешься под ноги. Сто раз тебе говорил!..

Правду сказать, Питер злился сам на себя. Без всякой к тому причины, память упорно рисовала ему Илфордское кладбище, где в забытом уголке спала вечным сном маленькая хрупкая женщина, чьи легкие не приспособлены были вдыхать лондонские туманы, и рядом с нею — еще более хрупкий, маленький экземпляр человеческой породы, окрещенный в честь единственного сравнительно богатого родственника Томасом — имя самое заурядное, как не раз говорил себе Питер. Во имя здравого смысла, что общего мог иметь давным-давно умерший и похороненный Томми Хоуп с этой непонятной историей? Все это чистейшие сантименты, а сантименты мистер Хоуп презирал всей душой, не он ли написал бесчисленное множество статей, доказывая пагубное влияние сентиментальности на наше поколение? Не он ли всегда осуждал ее, где бы она ему ни встречалась — на сцене или в романе? И все же порой в его уме рождалось подозрение, что, несмотря ни на что, сам он в сущности порядком сентиментален. И каждый раз это приводило его в бешенство.

— Погоди, я сейчас вернусь, — проворчал он, хватая удивленного Томми за кашне и вытаскивая его на середину комнаты. — Сиди здесь и не смей трогаться с места, пока я не приду. — И Питер быстро вышел, захлопнув за собой дверь.

— Немножко тронувшись, а? — обратился Томми к Элизабет, когда звук шагов Питера Хоупа замер на лестнице. К Элизабет часто обращались с разными замечаниями. В ней было что-то располагавшее к доверию.

— Ну, да ладно, чего не бывает в жизни, — бодро резюмировал Томми и уселся, как ему было велено.

Прошло пять минут, может быть, десять. Затем Питер Хоуп вернулся в сопровождении полной, солидной дамы, совершенно неспособной — это инстинктивно чувствовалось — удивиться чему бы то ни было.

Томми поднялся с места.

— Вот то, о чем я вам говорил, — объяснил Питер. Миссис Постуисл поджала губы и слегка покачала головой. Она почти ко всем человеческим делам относилась с таким же добродушным презрением.

— Да, да, — сказала миссис Постуисл, — я помню, я ее видела там. Тогда-то она была девчонкой. Куда ты девала свое платье?

— Оно было не мое. Мне его дала миссис Хэммонд.

— А это — твое? — спросила миссис Постуисл, указывая на синюю шелковую фуфайку.

— Мое.

— С чем ты ее надевала?

— С трико. Только оно изнашивалось.

— С чего же это ты бросила кувыркаться и пошла к миссис Хэммонд?

— Пришлось бросить. Нога подвернулась.

— Ты у кого в последнее время служила?

— В труппе Мартини.

— А раньше?

— У-у, всех не перечтешь!

— Тебе никто не говорил, мальчик ты или девочка?

— Никто из таких, кому можно верить. Одни говорили так, другие так. Смотря по тому, что кому нужно.

— Сколько тебе лет?

— Не знаю.

Миссис Постуисл обернулась к Питеру, брэнчавшему связкой ключей.

— Что же, наверху есть кровать. Ваше дело — решайте.

— Понимаете, — объяснил Питер, понижая голос до конфиденциального шепота, — я терпеть не могу валять дурака.

— Правило хорошее, — согласилась миссис Постуисл, — для тех, кто это может.

— Ну да одна ночь — не велика беда. А завтра что-нибудь придумаем.

«Завтра» всегда было любимым днем Питера Хоупа. Стоило ему назвать эту магическую дату, чтобы воспрянуть

духом. Когда он посмотрел на Томми, на лице его уже не было ни малейшего колебания.

— Ну что ж, Томми, сегодня ты можешь переночевать здесь. Ступай с миссис Постуисл, она покажет тебе твою комнату.

Черные глаза просияли.

— Вы хотите испытать меня?

— Об этом мы потолкуем завтра.

Черные глаза омрачились.

— Послушайте, я вам прямо говорю, не выйдет.

— То есть как? Что не выйдет?

— Вы хотите отправить меня в тюрьму.

— В тюрьму?

— Ну да, я знаю, вы называете это школой. Пробовали уже и до вас. Но только это не пойдет. — Черные глаза сверкали гневом. — Я никому ничего худого не делаю. Я хочу работать. Я могу содержать себя. Я всегда... Какое кому до этого дело?

Если б черные глаза сохранили свое вызывающее, гневное выражение, Питер Хоуп, может быть, и не утратил бы здравого смысла. Но судьбе угодно было, чтобы они вдруг наполнились слезами. При виде их здравый смысл Питера в негодовании удалился из комнаты, и это положило начало многому.

— Не глупи, — сказал Питер, — ты не понимаешь. Конечно, я хочу испытать тебя. Я только хотел сказать, что мы обсудим подробности завтра. Ну перестань же. Экономки не плачут.

Мокрое личико просветлело.

— Вы правду говорите? Честное слово?

— Честное слово. Теперь иди умойся. А потом приготовишь мне ужин...

Странная фигурка, все еще тяжело дыша, поднялась со стула.

— Значит, вы мне дадите квартиру, харчи и шесть пенсов в неделю?

— Да, да. Я полагаю, это будет недорого. Как вы находите, миссис Постуисл?

— И еще платье... или штаны с курткой, — подсказала миссис Постуисл. — Это уж как водится.

— Да-да, конечно, раз это принято... Так вот, Томми, шесть пенсов в неделю и одежда.

На этот раз Питер в обществе Элизабет дожидался возвращения Томми.

— Надеюсь, — говорил ей мистер Хоуп, — надеюсь, что это мальчик. Ты понимаешь, всему виной туманы. Если б у меня тогда были деньги, чтобы отправить его на юг...

Элизабет задумчиво молчала. Дверь отворилась.

— А, вот так лучше, гораздо лучше. Ей-богу, у тебя совсем приличный вид.

Стараниями практичной миссис Постуисл с длинной юбкой было достигнуто временное соглашение, одинаково выгодное для обеих сторон; выше талии наготу скрывал большой платок, искусно скрепленный булавками. Питер, сам до щепетильности аккуратный, с удовольствием заметил, что дочиста отмытые руки Томми совсем не запущены.

— Дай-ка мне свой картуз, — сказал Питер. Он бросил его в ярко пылавший огонь, отчего по комнате распространился странный запах.

— Там в коридоре висит мой дорожный картуз. Можешь пока носить его. Вот тебе полсоверена; купи мне холодного мяса и пива на ужин. Все, что нужно, ты найдешь вот в этом шкафу или где-нибудь на кухне. Не приставай ко мне с расспросами и не шуми. — И Питер опять углубился в свою работу.

— Прекрасная мысль эти полсоверена, — говорил себе Питер. — Теперь «мистер Томми» больше не будет тебя беспокоить. В мои годы завести у себя детскую — безумие! — Перо в его руке брызгало и царапало по бумаге. Элизабет не сводила глаз с двери.

— Четверть часа, — заметил Питер, взглянув на часы. — Я тебе говорил. — Статья, над которой трудился Питер, по-видимому, сильно раздражала его. — Так почему же, — рассуждал он сам с собою, — почему он тогда не взял шиллинга? Притворство, — заключил он, — уловка, ничего больше. Ну, старушка, мы с тобой еще дешево отделались. Прекрасная была мысль дать ему полсоверена. — И Питер даже рассмеялся, чем сильно встревожил Элизабет.

Но в этот вечер Питеру, очевидно, не везло.

— У Пингля все распродано, — объяснил Томми, появляясь с пакетами, — пришлось идти к Бау на Фаррингдон-стрит.

— А, вот что, — сказал Питер, не поднимая головы.

Томми исчез за дверью, ведущей в кухню. Питер быстро писал, наверстывая потерянное время.

— Хорошо, — бормотал он, посмеиваясь, — это ловко сказано. Это им не понравится.

Он писал, сидя за столом, а Томми бесшумно и невидимо сновал сзади, то в кухню, то из кухни. И что-то странное происходило с мистером Питером Хоупом: он чувствовал себя так, как будто долгое время был болен — так болен, что даже сам не замечал этого, — а теперь начинает выздоравливать и узнавать знакомые предметы. Эта солидно обставленная, длинная комната, обшитая дубовыми панелями, хранившая вид старомодного достоинства, такая спокойная, приветливая, — комната, где прошло больше половины его рабочей жизни, — почему он забыл о ней? Она встретила его теперь с радостной улыбкой, как старого друга после долгой разлуки. И улыбались выцветшие фотографии в деревянных рамках на камине и между ними портрет маленькой хрупкой женщины, чьи легкие не могли перенести лондонского тумана.

— Господи помилуй! — сказал мистер Питер Хоуп, отодвигая свой стул. — Тридцать лет. Как, однако, время бежит. Неужели мне уже...

— Вы как пиво любите — с пеной или без пены? — слышался голос Томми.

Питер словно очнулся от сна и пошел в столовую ужинать.

Уже в постели Питера осенила блестящая мысль. «Ну конечно, как я не подумал об этом раньше? Все сразу станет ясно». И Питер сладко заснул.

— Томми, — начал Питер, садясь за стол на следующее утро. — Кстати, что это такое? — И он в недоумении поставил чашку обратно на стол.

— Кофе. Вы ведь сказали кофе приготовить.

— Ах, кофе! Так вот что, Томми, на будущее, если тебе все равно, я буду пить по утрам чай.

— Мне все равно, — любезно согласился Томми, — завтракать-то вам, а не мне.

— Да... что бишь я хотел сказать... у тебя, Томми, не очень здоровый вид.

— А я ничего. Я никогда не болею.

— Может быть, ты не замечаешь. Бывает так, что человек очень нездоров и не знает этого. Я не могу держать у себя человека, если не уверен, что он совершенно здоров.

— Если вы хотите сказать, что передумали и хотите избавиться от меня...

И подбородок Томми моментально задрался кверху.

— Нечего губы дуть! — прикрикнул Питер, напустив на себя ради этого случая такую строгость, что он и сам себе дивился. — Коли здоровье у тебя в порядке, как я надеюсь, я буду очень рад пользоваться твоими услугами. Но это я должен знать наверное. Так уж принято. Так всегда делают в хороших домах. Сбегай-ка вот по этому адресу и попроси доктора Смита зайти ко мне, прежде чем он начнет свой обход. Ступай сейчас же и, пожалуйста, без разговоров.

— Очевидно, с ним так и следует говорить, — сказал себе Питер, прислушиваясь к удалявшимся шагам Томми.

Когда хлопнула наружная дверь, Питер прокрался в кухню и сварил себе чашку кофе.

«Доктора Смита», вступившего в жизнь в качестве «герр Шмидта», но вследствие разницы во взглядах со своим правительством превратившегося в англичанина и ярого консерватора, огорчало только одно обстоятельство — его постоянно принимали за иностранца. Он был коротенький, толстый, с густыми кустистыми бровями и такими свирепыми седыми усами, что дети начинали реветь при виде его и ревели до тех пор, пока он, погладив их по головке, не заговаривал с ними таким нежным голосом, что они умолкали от удивления — откуда взялся этот голос. Он и яркий радикал Питер с давних пор были закадычными друзьями, хотя каждый из них и питал снисходительное презрение к взглядам другого, умеряемое искреннею привязанностью, которую он едва ли сумел бы объяснить.

— Што же такое, по-фашему, с фашей маленькой тэвочкой? — спросил доктор Смит, когда Питер объяснил ему, зачем он его приглашал. Питер оглянулся. Дверь в кухню была плотно закрыта.

— Почем вы знаете, что это девочка?

Маленькие глазки под нависшими бровями стали совсем круглые.

– Если это не тэвочка, зашем ее так отэвать?

– Я не одевал. Я именно хочу одеть – как только узнаю...

И Питер рассказал все по порядку.

Круглые глазки доктора наполнились слезами. Эта нелепая сентиментальность его друга больше всего раздражала Питера.

– Бедняжка! – пробормотал мягкосердечный старый джентльмен. – Само профитение привело ее к вам – или его.

– Какое там провидение! – рявкнул Питер. – А обо мне провидение не позаботилось? Подсунуло мне это дитя улицы – изволь возись с ним.

– Как это похоже на фас, радикалов, – презирать ближний за то, что он не родился в пурпуре и тонком белье!

– Я послал за вами не для того, чтобы препираться о политике, – возразил Питер, усилием воли подавляя негодование. – Я послал за вами, чтоб вы определили, мальчик это или девочка, чтобы я по крайней мере знал, что мне с ним делать.

– И што ше ви тогда стелаете?

– Не знаю, – признался Питер. – Если это мальчик – а мне думается, что это так и есть, – пожалуй, можно найти ему местечко где-нибудь в редакции, конечно, придется сначала немножко пошлифовать его.

– А если тэвочка?

– Какая же это девочка, когда она ходит в штанах? К чему заранее придумывать затруднения?

Оставшись один, Питер зашагал по комнате, заложив руки за спину, прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся сверху.

– Хоть бы оказался мальчик, – бормотал он про себя.

Он остановился перед портретом хрупкой маленькой женщины, глядевшей на него с камина. Тридцать лет тому назад, в этой самой комнате, Питер так же шагал из угла в угол, заложив руки за спину, ловя каждый шорох, долетавший сверху, повторяя те же слова.

– Странно, – пробормотал Питер, – очень странно.

Дверь отворилась. Появилась сначала часовая цепочка, колыхавшаяся на круглом брюшке, а затем и сам доктор. Он вошел и затворил за собой дверь.

— Совсем здоровый ребенок, — объявил он, — лучше нефозможно шелать. Тэвочка.

Два старых джентльмена посмотрели друг на друга. Элизабет, по-видимому успокоенная, замурлыкала.

— Что же я с ней буду делать? — спросил Питер.

— Да, ошень неловкое положение, — сочувственно заметил доктор.

— То есть самое дурацкое!

— У вас некому присмотреть за тэвочкой, когда вас нет дома, — озабоченно соображал доктор.

— А насколько я успел познакомиться с этим созданием, — добавил Питер, — присмотр здесь понадобится.

— Я тумаю... я тумаю, я нашел выход.

— Какой?

Доктор наклонил к нему свое свирепое лицо и с лукавым видом постукал себя указательным пальцем правой руки по правой стороне своего толстого носа.

— Я восьму эту тэвочку на свое попечение.

— Вы?

— Мне это не так трутно. У меня есть экономка.

— Ах да, миссис Уэтли.

— Она тобрая женщина, когда ее узнаешь ближе. Ей только нужно руковотительство.

— Чушь!

— Почему?

— Вам воспитывать такую упрямицу — что за идея!

— Я буту тобр, но тверт.

— Вы ее не знаете.

— А ви тавно ее знаете?

— Во всяком случае, я не ношусь со своими сантиментами — этим только погубишь ребенка.

— Тэвочки не то што мальшики, с ними нужно инаше обращаться.

— Положим, и я ведь не зверь, — огрызнулся Питер. — А что, если она окажется дрянью? Ведь вы о ней ничего не знаете.

— Конешно, риск есть, — согласился великодушный доктор.

— Это было бы недобросовестно с моей стороны, — сказал честный Питер.

— Потумайте хорошенько. Где не бегают маленькие ножки, там нет настоящий home¹. Мы, англичане, любим иметь home. Ви не такой. Ви бесшувственный.

— Мне все кажется, что на мне лежит какое-то обязательство, — сказал Питер. — Девочка пришла ко мне. Я в некотором роде за нее отвечаю.

— Если ви так на это смотрите, Питер... — вздохнул доктор.

— Всякие там сантименты, — продолжал Питер, — это не по моей части, но долг — долг иное дело!

И, чувствуя себя древним римлянином, Питер поблагодарил доктора и распрощался с ним.

Затем он кликнул Томми.

— Ну-с, Томми, — начал Питер Хоуп, не поднимая глаз от бумаги, — отзывом доктора я вполне удовлетворен, так что ты можешь остаться.

— Было вам говорено, — возразила Томми. — Могли бы побережь свои деньги.

— Но только нам надо придумать тебе другое имя.

— Это зачем же?

— Да ведь ты хочешь быть у меня экономкой? Для этого нужно быть женщиной.

— Не люблю бабья.

— Не скажу, чтоб и я его очень любил, Томми. Но ничего не поделаешь. Прежде всего, надо тебе одеться по-настоящему.

— Ненавижу юбки. Они мешают ходить.

— Томми, не спорь!

— Я не спорю, а говорю то, что есть. Ведь правда же, они мешают — попробуйте сами.

Тем не менее женское платье для Томми было заказано и понемногу вошло в привычку. Но привыкнуть к новому имени оказалось труднее. Миловидная, веселая молодая женщина, широко известная под вполне пристойным и добропорядочным именем и фамилией, бывает теперь желанной гостьей на многих литературных сборищах, но старые друзья и до сих пор зовут ее Томми.

¹ Дом, домашний очаг (англ.).

Неделя испытания подошла к концу. Питера, у которого был слабый желудок, осенила счастливая мысль.

— Знаешь что, Томми... я хочу сказать — Джейн, не худо бы нам взять женщину, только для кухни, чтоб варить обед. Тогда у тебя будет больше времени для... для другого, Томми... то есть я хочу сказать — Джейн.

— Для чего «другого»?

Подбородок поднялся вверх.

— Ну, для уборки комнат, Томми, для... для вытирания пыли.

— Мне не нужно двадцать четыре часа в сутки, чтоб убирать четыре комнаты.

— И потом, иной раз приходится послать тебя с каким-нибудь поручением, Томми. Мне было бы гораздо приятнее знать, что я могу послать тебя куда угодно, не нанося этим ущерба хозяйству.

— Да вы к чему это клоните? Ведь я и так полдня сижу без дела, я все могу успеть.

Питер решил проявить твердость.

— Если я что-нибудь сказал, значит, так и будет. И чем скорей ты это поймешь, тем лучше. Как ты смеешь мне перечь! Ах ты!.. — Питер чуть было не выругался, такую решительность он напустил на себя.

Томми, не говоря ни слова, вышла из комнаты. Питер посмотрел на Элизабет и подмигнул ей.

Бедный Питер! Недолго он торжествовал. Пять минут спустя Томми вернулась в черной юбке со шлейфом, перехваченной кожаным поясом, в синей фуфайке с огромнейшим декольте, в засаленной куртке и шерстяном кашне. Алые губы ее были крепко сжаты, опущенные длинные ресницы быстро мигали.

— Томми (*строго*), что это за комедия?

— Чего уж тут! Я вижу, что не гожусь. Недельку подержали, и на том спасибо. Сама виновата.

— Томми (*менее строго*), не будь идиоткой.

— Я не идиотка. Это все Эмма. Она мне сказала, что я умею стряпать. Что у меня врожденная способность. Она мне не хотела зла.

— Томми (*без всякой строгости*), сядь. Эмма была совершенно права. Ты... ты подаешь надежды. Эмма правильно

говорит, что у тебя есть способности. Это доказывает твоя настойчивость, твоя вера в свои силы.

— Так зачем вы хотите взять другую кухарку?

Ах, если бы Питер мог ответить по совести! Если бы он мог сказать ей: «Дорогая моя, я старый, одинокий человек. Я этого не знал до... до очень недавнего времени. А теперь уже не могу об этом забыть. Моя жена и ребенок давным-давно умерли. Я был беден, а то, может быть, мне удалось бы спасти их. Это ожесточило мое сердце. Часы моей жизни остановились. Я сам забросил ключ. Я не хотел думать. Ты добралась до меня сквозь этот жестокий туман, разбудила старые сны. Не уходи, останься со мной», — возможно, Томми, как ни была она горда и самостоятельна, осталась бы без всяких условий, и Питер достиг бы цели без особого вреда для своего желудка. Но кара для тех, кто ненавидит сентиментальность, именно в том и состоит, что они не могут так говорить, даже наедине с собой. И Питеру пришлось изыскивать другие способы.

— Почему я не могу держать двух прислуг, если мне так хочется? — вскричал он с оскорбленным видом.

— Какой же смысл держать двух, когда дел-то всего для одной? Значит, меня вы будете держать из милости? — Черные глаза сверкнули гневом. — Я не нищенка.

— Ты вправду думаешь, Томми... я хочу сказать — Джейн, что ты одна можешь справиться с работой? Ты не будешь в претензии, если я тебя пошлю куда-нибудь как раз в то время, когда тебе нужно будет стряпать? Я ведь вот что, собственно, имел в виду. Некоторые кухарки за это сердятся.

— Ну, так и подождите, пока я начну жаловаться, что у меня слишком много работы.

Питер опять уселся за свой письменный стол. Элизабет подняла голову. И Питеру показалось, что Элизабет подмигнула ему.

Следующие две недели принесли Питеру много волнений, ибо Томми стала подозрительна и всякий раз допытывалась, что это за «дела» такие, которые непременно требуют, чтоб ее хозяин обедал с кем-то в ресторане или завтракал с кем-то в клубе. Подбородок ее моментально поднимался кверху, черные глаза становились угрожающе мрачными. И Питер, тридцать лет проживший холостяком, совершенно неопытный по этой части, смущался, путал, давал

сбивчивые ответы и в конце концов провирался в самом существе.

— Положительно, — ворчал он про себя однажды вечером, распиливая баранью котлету, — положительно, я у нее под башмаком. Этому нет другого названия.

В тот день Питер мечтал о вкусном обеде в своем любимом ресторанчике, со своим милым старым другом Бленкинсопом. «Он, знаешь, Томми, большой гурман, это значит, что он любит, как ты выражаешься, мудреную стряпню!» Но он забыл, что три дня тому назад он ужинал с этим самым Бленкинсопом, причем ужин был прощальный, так как на следующий день Бленкинсоп отплывал в Египет. Питер был не очень изобретателен, в особенности по части имен.

— Мне нравятся независимые характеры, — рассуждал сам с собой Питер, — но в ней этой независимости слишком уж много. И откуда она только берется?

Положение становилось весьма серьезным для Питера, хоть он и не признавался в этом. С каждым днем Томми, несмотря на свою тиранию, становилась для него все более и более необходимой. За тридцать лет это была первая слушательница, которая смеялась его шуткам, первая читательница, убежденная в том, что он самый блестящий журналист на всей Флит-стрит. За тридцать лет Томми была первым существом, за которое Питер тревожился и каждую ночь осторожно крался наверх по скрипучей лестнице, чтобы, затенив рукою свечу, подойти к ее постели и посмотреть, спокоен ли ее сон. Если б только Томми не стремилась непременно «ходить за ним»! Если б она согласилась делать что-нибудь другое!

Питера снова осенила блестящая мысль.

— Послушай-ка, Томми... то есть Джейн, я знаю, что мне с тобой делать.

— Ну, что вы еще придумали?

— Я сделаю из тебя журналиста.

— Не говорите вздора.

— Это не вздор. И, кроме того, ты не смеешь мне так отвечать. Как мой заместитель — это значит, Томми, то невидимое существо, которое помогает журналисту работать, — ты будешь мне очень полезна. Это для меня было бы даже

выгодно, Томми, очень выгодно. Я на тебе много денег наживу.

Этот довод был, видимо, понятен Томми. Питер с тайным удовольствием отметил, что подбородок остался на нормальном уровне.

— Я раз помогала одному продавать газеты, — припомнила Томми, — он говорил, что я шустрая.

— Вот видишь! — с торжеством воскликнул Питер. — Здесь только методы различны, а чутье нужно такое же. И мы возьмем женщину, чтоб избавить тебя от домашних забот.

Подбородок взлетел кверху.

— Я могу делать это в свободное время.

— Видишь ли, Томми, мне придется брать тебя повсюду с собой, ты мне будешь постоянно нужна.

— Вы лучше испытайте меня сначала. Может, я еще и не гожусь.

Питер постепенно усваивал мудрость змия.

— Отлично, Томми. Мы сначала испробуем, годишься ли ты. Может быть, и окажется, что тебе лучше быть поварихой. — В душе он сильно в этом сомневался.

Но семя упало на добрую почву. Первый опыт в области журналистики был сделан Томми совершенно самостоятельно. В Лондон приехал некий великий человек, он остановился в апартаментах, специально для него приготовленных в Сент-Джеймском дворце. И каждый журналист в Лондоне говорил себе: «Вот бы получить у него интервью, как это было бы для меня важно!» Питер целую неделю носил всюду в кармане лист бумаги, озаглавленный: «Интервью нашего собственного корреспондента с принцем Иксом», а дальше — узенький столбец вопросов слева и очень много места для ответов справа. Но принц был человек многоопытный.

— Удивительное дело, — говорил Питер, кладя перед собою на стол аккуратно сложенный лист, — до него совершенно невозможно добраться! Чего я только не перепробовал! Кажется, все хитрости, все уловки... Нет, не берет.

— Вот и старикашка Мартин — тот, что называл себя Мартини, — такой же был, — сообщила Томми. — Как придет, бывало, время платить нам в субботу вечером — ну, нет к нему приступа, и кончено, и никак ты его не поймаешь! А только я его раз перехитрила, — не без гордости похва-

сталась Томми, — и вытянула у него десять шиллингов. Он сам дивился.

— Нет, положительно, — продолжал думать вслух Питер, — по совести могу сказать — нет такого способа, дозволенного или недозволенного, которого я бы не испробовал. — Питер швырнул в корзину заготовленный лист и, сунув в карман записную книжку, отправился пить чай к романистке, которая, как было сказано в постскриптуме ее приглашения, больше всего стремилась избежать широкой известности.

Не успел Питер закрыть за собой дверь, как Томми вытащила лист из корзины.

Час спустя в тумане у Сент-Джеймского дворца стоял мальчишка в заплатанных штанах и куртке перечного цвета с поднятым воротником, восхищенными глазами разглядывая часового.

— Ну, ты, полфунта сажи, что тебе здесь нужно? — осведомился часовой.

— Я все думаю — хлопотно, должно быть, сторожить такую важную птицу.

— Понятное дело, беспокойство, — согласился часовой.

— А как он в разговоре — ничего, обходителен?

— Да как сказать, — часовой переступил с ноги на ногу, — мне-то, собственно, пока с ним не много пришлось разговаривать. Но все-таки ничего, не сердитый. Как присмотришься к нему, ничего.

— Это ведь его окна светятся там, наверху?

— Его. Да ты, братец, уж не анархист ли? Ты лучше скажи.

— Как почувствую, что на меня накатывает, обязательно скажу, — заверил его мальчишка.

Будь часовой более сметлив и проницателен, он мог бы предложить этот вопрос не столь шутовым тоном. Ибо тогда он заметил бы, что черные глаза мальчугана любовно остановились на водосточной трубе, по которой при известной ловкости нетрудно было взобраться на террасу, приходившуюся под самыми окнами принца.

— Хотелось бы мне поглядеть на него, — продолжал мальчик.

— Он тебе что, приятель? — усмехнулся часовой.

— Не то чтобы... а так, больно уж любопытно. На нашей улице только и разговора, что про него.

— Ну, брат, так ты торопись. А то он нынче вечером уезжает.

У Томми вытянулось лицо.

— Как же так? А говорили — в пятницу.

— Ага, это ты в газетах прочел? — Часовой заговорил тоном человека, которому все известно. — Я тебе скажу, что ты можешь сделать. — Наслаждаясь непривычным сознанием собственной значимости, часовой оглянулся вправо, потом влево. — Он уезжает сегодня, совсем один, в Осборн, поездом в шесть часов сорок минут с вокзала Ватерлоо; никто об этом не знает, кроме, конечно, некоторых, — это уж у него такая манера. Он терпеть не может...

В коридоре раздалися шаги. Часовой превратился в статую.

На вокзале Ватерлоо Томми обследовала все вагоны поезда, который должен был отойти в 6.40. Только одно купе сулило кое-какие возможности — огромное купе в конце вагона, ближайшего к служебному. На нем была надпись «занято»; а вместо обычных диванов там стоял стол и четыре мягких кресла. Заметив хорошенько, где находится это купе, Томми прошла по платформе и растаяла в тумане.

Двадцать минут спустя принц Икс быстро прошел через платформу, никем не замеченный, кроме полудюжины услужливых чиновников, и занял оставленное для него купе. Чиновники низко кланялись. Принц Икс по-военному приложил руку к козырьку. Поезд медленно тронулся.

Принц Икс был тучен, хоть и старался скрыть это. Он редко оставался один, но, когда это случалось, он обыкновенно позволял себе, в интересах здоровья, маленькое послабление. До Саутгемптона два часа езды; уверенный, что никто не нарушит его уединения, принц Икс расстегнул пуговицы тугого жилета из очень плотной материи, откинул лысую голову на спинку кресла, вытянул огромные ноги поперек другого кресла и закрыл сердитые маленькие глаза.

На минуту принцу Иксу показалось, что в вагоне сквозит. Но так как это ощущение тут же прошло, он не дал себе труда проснуться. Затем принцу привиделось во сне, будто он не один в салоне, будто кто-то сидит напротив него. Сон этот ему не понравился, и он открыл глаза, чтоб рассе-

ять докучную грезу. Против него действительно кто-то сидел. Маленькое, измазанное существо, отирающее кровь с лица и рук грязным носовым платком. Если бы принц способен был удивляться, он удивился бы.

— Не беспокойтесь, — заверила его Томми, — я вам ничего худого не сделаю. Я не анархист.

Принц усилием мышц сократился на пять-шесть дюймов и начал застегивать пуговицы жилета.

— Как ты сюда попал? — спросил он.

— Это оказалось потруднее, чем можно было рассчитывать, — сказала Томми, отыскивая сухое местечко в своем перепачканном платке и не находя его. — Но это неважно. Все-таки я здесь.

— Если ты не хочешь, чтобы я передал тебя в руки полиции в Саутгемптоне, советую отвечать на мои вопросы, — сухо заметил принц.

Томми не боялась принцев, но слово «полиция» в словаре ее бурной юности всегда звучало устрашающе.

— Мне нужно было до вас добраться.

— Это я уже понял.

— Иного способа не было. Вас трудненько поймать. Вы на этот счет очень ловки.

— Расскажи, как это тебе удалось.

— За Ватерлоо есть маленький сигнальный мостик. Поезд, понятно, должен был пройти под ним. Залезть туда, дождаться поезда — и все. Ночь, как видите, туманная, никто и не заметил. Послушайте, ведь вы — принц Икс, да?

— Я принц Икс.

— С ума бы можно сойти, если бы попасть не на того человека.

— Продолжай.

— Мне было известно, который вагон ваш, по крайней мере можно было догадаться; ну, как он подошел, я и скок вниз. — В виде иллюстрации Томми вытянула вперед руки и ноги, потом опять вытерла платком лицо. — Фонари, знаете, — фонарь подвернулся.

— А с крыши?

— Ну, это уж было не трудно. Там, сзади, есть такая железная штука и ступеньки. Надо только спуститься по ним, потом за угол — и готово. По счастью, ваша дверь была не

заперта. Мне это и в голову не приходило. Послушайте, у вас не найдется носового платка?

Принц вынул платок из-за обшлага и подал Томми.

— Ты хочешь сказать, мальчик...

— Я не мальчик. Я девочка.

Это было сказано грустным тоном. Считая своих новых друзей людьми, на которых можно положиться, Томми поверила им, что она девочка. Но долго еще мысль об утраченной мужской доле вносила нотку горечи в ее голос.

— Девочка!

Томми кивнула головой.

— Гм, — сказал принц, — я много слышал об английских девушках. Я уже было думал, что это преувеличено. Ну-ка, встань.

Томми повиновалась. Это не вполне соответствовало ее привычкам, но под взглядом маленьких глаз, смотревших на нее из-под густых нависших бровей, иного выхода как будто и не было.

— Так. Ну-с, а теперь, раз ты здесь, что тебе нужно?

— Поинтервьюировать вас.

Томми вытащила вопросный лист. Густые брови нахмурились.

— Кто тебя подбил на эту глупость? Назови мне его имя, сейчас же.

— Никто.

— Не лги мне. Его имя?

Маленькие сердитые глаза сверкали гневом. Но у Томми тоже были глаза. И они загорелись таким негодованием, что великий человек положительно спасовал. Это был новый для него тип противника.

— Я не лгу.

— Прошу прощения, — сказал принц.

И так как он, будучи на самом деле большим человеком, обладал чувством юмора, то ему пришло в голову, что разговор в таком духе между государственным деятелем, управляющим делами империи, и дерзкой девчонкой лет двенадцати на вид может в конце концов стать смешным. Поэтому принц придвинул свое кресло к креслу Томми и, путив в ход свой несомненный дипломатический талант, мало-помалу вытянул из нее всю правду.

— Я склонен думать, мисс Джейн, — сказал великий человек, когда рассказ был окончен, — что ваш друг мистер Хоуп не ошибся. Я бы тоже сказал, что ваше призвание — журналистика.

— И вы мне позволите поинтервьюировать вас? — спросила Томми, показав ослепительно белые зубы.

Великий человек встал, опираясь своей тяжелой рукой на плечо Томми, — он и не знал, как тяжела эта рука.

— Полагаю, что вы заслужили это право.

— «Каковы ваши взгляды, — прочла Томми, — на будущие политические и социальные отношения?..»

— Может быть, — предложил великий человек, — мне проще будет написать это самому?

— Ладно, — согласилась Томми, — пишу-то я действительно неважно.

Великий человек придвинул кресло к столу.

— Вы ничего не пропустите, нет?

— Я постараюсь оправдать ваше доверие, мисс Джейн, — торжественно произнес он и взялся за перо.

Только когда поезд замедлил ход, принц кончил писать. Он промокнул написанное, сложил бумагу и поднялся с кресла.

— На обороте последней страницы я прибавил кое-какие указания, на которые я прошу вас обратить особенное внимание мистера Хоупа. А затем я бы желал, чтобы вы мне обещали, мисс Джейн, никогда больше не проделывать таких опасных акробатических трюков, даже ради столь святого дела, как журналистика.

— Понятное дело, если б до вас не так трудно было добраться...

— Я знаю, это я виноват, — согласился принц. — Теперь для меня нет ни малейшего сомнения в том, к какому полу вы принадлежите. И все-таки я хочу, чтоб вы мне дали слово. Обещайте же, — настаивал принц. — Ведь я много сделал для вас — вы и не знаете, как много.

— Ну, ладно уж, — нехотя согласилась Томми. Она терпеть не могла давать обещания, потому что всегда исполняла их. — Ладно, обещаю.

— Вот вам ваше интервью.

Первый фонарь Саутгемптонской платформы осветил лица принца и Томми, стоявших друг против друга. Принц,

пользовавшийся, и не совсем незаслуженно, репутацией человека раздражительного и вспыльчивого, сделал странную вещь: взял в свои огромные лапы измазанное кровью личико и поцеловал его. От колючих седых усов пахло дымом, и этот запах навсегда остался в памяти Томми.

— Еще одно, — строго сказал принц, — обо всем этом ни слова. Понимаете — рта не раскрывать, пока не вернетесь домой.

— Вы что же думаете — я дура? — обиделась Томми.

После того как принц исчез, все вели себя по отношению к Томми ужасно чудно. Все с ней носились, но никто как будто не знал, почему, собственно, он это делает. Люди приходили посмотреть на нее, потом уходили, потом возвращались и опять на нее смотрели. И чем дальше, тем больше росло их недоумение. Иные задавали ей вопросы, но неосведомленность Томми, да еще в сочетании с твердым намерением скрыть то небольшое, что она знала, была так потрясающа, что само Любопытство вынуждено было отступить перед нею.

Ее вымыли, вычистили, накормили отличным ужином и в отдельном купе первого класса отправили обратно на вокзал Ватерлоо, а оттуда в кебе на Гоф-сквер, куда она прибыла уже около полуночи, мучимая сознанием собственной важности — недугом, следы которого сохранились у нее и поныне.

Отсюда все и пошло. С полчаса Томми трещала без умолку со скоростью двухсот слов в минуту, потом неожиданно уронила голову на стол и заснула, ее с трудом разбудили и уговорили лечь в постель. В эту ночь Питер, удобно расположившись в кресле, долго еще сидел у огня. Элизабет, любившая покой, тихонько мурлыкала. Из темных углов к Питеру Хоупу подкрадывалась давно забытая мечта — мечта о совсем особенном, новом журнале, ценою всего один пенни в неделю, издаваемом неким Томасом Хоупом, сыном Питера Хоупа, его всеми уважаемого инициатора и основателя, — замечательного журнала, который будет отвечать давно назревшей потребности развлекать и в то же время воспитывать, доставлять удовольствие публике и барыши издателям. «Неужели ты не помнишь меня? — шептала Мечта. — А сколько мы об этом думали и говорили с то-

бой! Утро и полдень прошли. Вечер еще наш. И сумерки несут с собой надежду».

Элизабет перестала мурлыкать и с удивлением подняла голову. Питер смеялся.

МИСТЕР КЛОДД НАЗНАЧАЕТ СЕБЯ ИЗДАТЕЛЕМ ЖУРНАЛА

Миссис Постуисл сидела на деревянном стуле посреди Роулз-Корта. Когда-то, молоденькой девушкой, миссис Постуисл работала кельнершей в ресторане «Митра» на Чансери-лейн, и поклонники из числа завсегдатаев этого заведения сравнивали ее с тем несколько малокровным типом женщины, который начал тогда вводить в моду один английский художник, впоследствии ставший знаменитостью. С годами она весьма раздалась в ширину, однако лицо ее осталось безмятежным и юным. Оба эти факта, вместе взятые, послужили весьма существенным добавлением к ее доходу. Всякий, кому случилось бы в тот летний вечер пройти через Роулз-Корт, вынес бы оттуда, если только он читал газеты, уверенность в том, что эту женщину, чинно восседающую на деревянном стуле, он где-то уже видел. Объяснение этому отыскалось бы с легкостью, вздумай он перелистать любую из тогдашних иллюстрированных газет. Он увидел бы там фотографию миссис Постуисл, сделанную совсем недавно и снабженную следующей подписью: «Перед употреблением некоего средства против ожирения, рекомендуемого профессором Хардтоном», — а рядом — фотографию миссис Постуисл, тогда Арабеллы Хиггинс, снятую двадцать лет тому назад, с той же подписью, лишь слегка видоизмененной: «После употребления» и т. д. Лицо то же, а фигура — ничего не скажешь — определенно подверглась изменениям.

Миссис Постуисл добралась со своим стулом до середины Роулз-Корта, следуя за лучами заходящего солнца. Маленькая лавочка, над дверью которой красовалась вывеска: «Тимоти Постуисл. Съестные припасы и бакалея», — осталась позади нее, в тени. Старожилы квартала Св. Дунстана сохранили воспоминания о некоем джентльмене в неизменном жилете самых ярких расцветок и с длинными бакенбардами, которого временами можно было видеть за при-

лавком. Всех покупателей он с видом лорда обер-гофмейстера, представляющего новичков ко двору, отсылал к миссис Постуисл, видимо, рассматривая себя самого только как декоративный элемент. Однако за последние десять лет никто больше не видел, чтоб он там еще появлялся, а миссис Постуисл обладала гениальной способностью игнорировать или не понимать те вопросы, которые приходились ей не по вкусу. Подозрения возникали самые различные, но знать никто ничего не знал. Роулз-Корт занялся другими проблемами.

— Удивительное дело, — заметила про себя миссис Постуисл, отрываясь от своего вязанья, чтобы бросить взгляд на лавочку, — если бы я не хотела его видеть, он бы, конечно, появился здесь еще прежде, чем я убрала со стола.

Миссис Постуисл испытывала желание увидеть человека, которого женщины в Роулз-Корте обычно ожидают без особого нетерпения, а именно некоего Уильяма Клодда, сборщика квартирной платы, регулярно появлявшегося здесь по вторникам.

— Наконец-то, — сказала миссис Постуисл, хотя мистер Клодд, только что показавшийся на другом конце двора, не мог ее, конечно, слышать. — Я уж начала опасаться, не споткнулись ли вы в спешке и не расшиблись ли.

Заметив миссис Постуисл, мистер Клодд решил изменить свой обычный порядок обхода и начать с дома № 7.

Мистер Клодд был молодой человек невысокого роста, коренастый и круглоголовый; он вечно куда-то торопился, а в глазах его, в общем-то добрых, таился какой-то хитрый огонек.

— Ах, — с восхищением произнес мистер Клодд, отправляя в карман шесть монет по полкроны, которые ему вручила почтенная леди. — Если бы все были такими, как вы, миссис Постуисл!

— Тогда отпала бы нужда в таких, как вы, — заметила миссис Постуисл.

— Как подумаешь, ведь это просто насмешка судьбы, что я — сборщик квартирной платы, — говорил мистер Клодд, выписывая квитанцию. — Будь моя воля, я бы давно покончил с домовладением, выкорчевал бы с корнем это проклятье страны.

— Вот об этом-то я и хотела поговорить с вами, — сказала его собеседница. — Один мой жилец...

— Не платит, да? Поручите это мне. Он у меня живо раскошелится.

— Не в этом дело, — пояснила миссис Постуисл. — Если случится так, что в субботу утром он не принесет мне денег сам, без напоминания, то я буду знать, что ошиблась и что, значит, сегодня пятница. Если в половине одиннадцатого меня почему-нибудь нет дома, он оставляет деньги на столе в конверте.

— Интересно, не было ли у его мамы еще таких? — мечтательно проговорил мистер Клодд. — Невредно было бы поселить их здесь по соседству. Так что же вы хотели рассказать о нем? Просто вздумали похвастаться?

— Я хотела спросить у вас, — продолжала миссис Постуисл, — как бы мне от него отделаться? Контракт был какой-то странный.

— А почему вы хотите от него отделаться? Он что, шумит много?

— Шумит? Да от кошки в доме больше шуму, чем от него. Ему бы взломщиком быть, большие бы деньги нажил.

— Поздно домой приходит?

— Не было случая, чтоб он вернулся после того, как я закрою лавку.

— Причиняет вам много забот, что ли?

— Да нет, я бы этого не сказала. Я и не знаю никогда, дома он или нет, пока не поднимусь и не постучу к нему в дверь.

— Знаете что, вы уж лучше сами все расскажите, — сказал мистер Клодд. — Если б кто другой вздумал мне такое говорить, я бы сказал, что он не знает, чего хочет.

— Он действует мне на нервы, — заявила миссис Постуисл. — Зайдите на минутку, если вы не очень торопитесь.

Мистер Клодд всегда очень торопился.

— Но, разговаривая с вами, я забываю об этом, — любезно добавил мистер Клодд.

Миссис Постуисл ввела его в маленькую гостиную.

— Разве что самую малость, — поддался мистер Клодд на уговоры. — Жизнерадостность в сочетании с умеренностью — вот мой идеал.

— Я расскажу вам, что случилось, к примеру, вчера вечером, — начала миссис Постуисл, усаживаясь за круглый стол напротив него. — В семь часов вечера ему пришло

письмо. Я видела, как он уходил из дому часа за два до этого, и хотя я все время торчала в лавке, но не видела и не слышала, чтоб он вернулся. Он всегда так. Не жилец, а привидение какое-то. Я открыла его дверь, не постучавшись, и вошла. Поверите ли, он висел под самым потолком, зацепившись руками и ногами за балдахин над кроватью — у него там, знаете, такая старомодная кровать с балдахином на столбиках. Одежды на нем почти что не было, а занят он был тем, что грыз орехи, и тут же запустил в меня целой горстью скорлупы. А потом принялся корчить страшные рожи и что-то быстро бормотать себе под нос.

— Ведь это он просто играет так? Ничего злого, я полагаю? — осведомился заинтересованный мистер Клодд.

— Это продлится неделю, не меньше, — продолжала миссис Постуисл. — Будет воображать, что он обезьяна. На прошлой неделе он был черепахой и ползал на животе по полу, а на спину привязал себе чайный поднос. Как только он попадает на улицу, он становится таким же разумным, как и большинство мужчин — хоть это еще, конечно, не Бог весть что, — но в доме... знаете ли, по-моему, он просто сумасшедший.

— От вас, видно, ничего не утаишь, миссис Постуисл, — восхищенно заметил мистер Клодд. — А в буйство он впадает?

— Не знаю, что получилось бы, если б ему вздумалось вообразить себя чем-нибудь опасным, — ответила миссис Постуисл. — Признаюсь вам, эта игра в обезьяну меня уже немного беспокоит, ведь они чего только не делают, если судить по картинкам в книгах. До сих пор мне жаловаться не приходилось, вот только один раз он вообразил себя кротом, даже завтракал и обедал, не вылезая из-под ковра. А то все больше были птицы, кошки и прочие безобидные твари.

— Как это вам удалось его заполучить? — поинтересовался мистер Клодд. — Пришлось похлопотать как следует, или к вам просто кто-нибудь пришел и научил, где его искать?

— Месяца два тому назад его привез ко мне старый Глэдмен, у которого лавка канцелярских принадлежностей на Чансери-лейн. Сказал, что старик приходится ему каким-то дальним родственником и что он хочет поселить его у кого-нибудь, на чью честность можно положиться, потому что старик слегка придурковат, хотя совсем безобидный.

Ну, а у меня как раз уже шестую неделю пустовала комната, и этот старик-дурачок показался мне кротким, как ягненок, да и сумма была вполне приличная, так что я ухватила за его предложение. Старый Глэдмен сказал, что хочет покончить с этим делом тут же раз и навсегда, и дал мне подписать бумагу.

— Он вам оставил копию? — деловым тоном осведомился Клодд.

— Нет. Но я помню, что там было. У Глэдмена все уже было заготовлено. За семнадцать шиллингов шесть пенсов в неделю я обязана предоставлять ему квартиру и стол в течение всего времени, пока плата поступает регулярно и пока он не причиняет беспокойства или не заболит. Тогда мне казалось, что это вполне приемлемые условия. А теперь выходит, что платит он исправно, а что касается беспокойства, то он ведет себя точно христианский мученик, а не мужчина, и похоже на то, что придется мне до самой смерти держать его у себя.

— Не трогайте его, и через неделю он, может быть, станет плачущей гиеной или ревушим ослом или еще чем-нибудь в таком роде и обязательно причинит беспокойство, — предложил мистер Клодд. — А вы воспользуетесь случаем и избавитесь от него.

— Так-то оно так, — согласилась миссис Постуисл, — ну, а что, если ему взбрет в его, с позволения сказать, голову вообразить себя тигром или быком? Тогда очень может статься, что я не успею воспользоваться случаем, и мне уже ничто не поможет.

— Поручите это дело мне, — сказал мистер Клодд, вставая и оглядываясь в поисках своей шляпы. — Я знаком со старым Глэдменом, я с ним поговорю.

— Может, вы посмотрите у него эту бумагу, — предложила миссис Постуисл, — а потом скажете мне, что вы об этом думаете? Не хотелось бы мне на старости лет превращать свой дом в убежище для умалишенных.

— Можете на меня положиться, — обнадежил ее мистер Клодд на прощание.

Июльская луна уже набросила на мрачный Роулз-Корт свое серебристое покрывало, когда часов пять спустя по неровному тротуару вновь застучали подбитые гвоздями подошвы Клодда. Но мистеру Клодду было не до луны, не до

звезд и тому подобных отвлеченных предметов, у него, как всегда, были дела поважнее.

— Ну, видели этого старого обманщика? — спросила любительница свежего воздуха миссис Постуисл, вводя его в маленькую гостиную.

— Прежде всего, — начал мистер Клодд, сняв шляпу, — правильно ли я понял вас в том смысле, что вы действительно хотите от него избавиться?.. Ого, что это? — вскочив со стула, воскликнул вдруг Клодд, ибо в это самое время прямо над ними раздался глухой удар в потолок.

— Он вернулся через час после того, как вы ушли, — пояснила миссис Постуисл, — и притащил с собою палку, на которые подвешивают занавеси, купил за шиллинг где-то на Клэр-Маркет. Один конец положил на каминную доску, а другой привязал к спинке кресла и теперь пытается обвиться вокруг нее и уснуть в этом положении. Да, да, вы меня поняли совершенно правильно: я действительно хочу от него избавиться.

— Тогда, — сказал мистер Клодд, снова усаживаясь на стул, — это можно будет устроить.

— Слава тебе, Господи! — набожно воскликнула миссис Постуисл.

— Все обстоит так, как я и думал, — продолжал мистер Клодд. — У вашего полоумного старичка — он, кстати сказать, приходится Глэдмену зятем — имеется небольшая рента. Точной цифры мне узнать не удалось, но думаю, что там хватает на то, чтобы платить за его содержание, да еще остается вполне приличная сумма на долю Глэдмена, который всем этим распоряжается. Помещать его в сумасшедший дом они не намерены. Ведь они не могут сказать, что он неимуший, а частное заведение поглотило бы, надо полагать, весь его доход. С другой стороны, сами с ним возиться они тоже не расположены. Я поговорил с Глэдменом без околичностей, дал ему понять, что я в этом деле разобрался, ну и, короче говоря, я готов все взять на себя, при условии, что вы всерьез хотите от него отделаться, и в таком случае Глэдмен готов расторгнуть ваш контракт.

Миссис Постуисл подошла к буфету, чтобы налить мистеру Клодду стаканчик. Новый глухой удар в потолок, свидетельствующий о чьей-то кипучей энергии, раздался как

раз в тот момент, когда миссис Постуисл, держа стакан на уровне глаз, занималась отмериванием жидкости.

— По-моему, это называется причинять беспокойство, — заметила миссис Постуисл, глядя на разлетевшиеся по полу осколки.

— Потерпите последнюю ночь, — утешил ее мистер Клодд, — завтра я его от вас заберу. А пока я бы на вашем месте, прежде чем ложиться спать, подстелил матрас под его насестом. Хотелось бы получить его от вас в приличном состоянии.

— Правильно. И стук будет не так слышен, — согласилась миссис Постуисл.

— За трезвенность, — произнес мистер Клодд и, осушив стакан, поднялся.

— Я так понимаю, что вы это устроили не во вред себе, — сказала миссис Постуисл, — и никто не имеет права осуждать вас за это. Благослови вас Бог, вот что я говорю.

— Мы с ним прекрасно поладим, — пророчески изрек мистер Клодд. — Я ведь люблю животных.

На другой день рано утром к воротам Роулз-Корта подъехал четырехколесный кеб, и в нем поместились Клодд и «Клоддов помешанный» (как его потом называли), а также и все пожитки помешанного, включая упомянутую палку. В полукруглом окне бакалейной лавки опять появился билетик с надписью: «Сдается комната для одинокого», — и несколько дней спустя этот билетик попался на глаза одному долговязому, худошавому, загадочного вида юноше со своеобразной речью, которую миссис Постуисл не сразу научилась понимать. Вот почему в этом районе и по сей день можно встретить любителей так называемой «шотландской» литературы, безутешно блуждающих в поисках Роулз-Корта, который, увы, больше не существует. Но это уже история Шотландца, а мы повествуем о начале карьеры Уильяма Клодда, ныне сэра Уильяма Клодда, баронета, члена парламента, владельца двадцати пяти еженедельных, ежемесячных и ежедневных изданий. В то время мы его звали Верным Билли.

Какие бы выгоды ни принесло Клодду устроенное им частное убежище для умалишенных, никто не мог сказать, что он их не заслужил. Добрейший человек был этот Уильям Клодд — в тех случаях, когда доброта не вредила делу.

— Он ведь безобидный, — утверждал Клодд, рассказывая о старичке одному своему знакомому, некоему Питеру Хоупу, журналисту с Гоф-сквер. — Маленько не в себе, так это со всяким может случиться, если человек целыми днями сидит дома без дела. В детство впал, только и всего. Самое лучшее, по-моему, смотреть на это как на игру и принимать в ней участие. На прошлой неделе ему захотелось быть львом. Понятно, это было неудобно: он ревел, требуя сырого мяса, а ночью надумал бродить по дому в поисках добычи. Но я не стал ругать его, от этого мало толку, я просто взял ружье и застрелил его. Теперь он утка, и я стараюсь, чтобы он подольше оставался ею: купил ему три фарфоровых яйца, положил их возле ванны, и он сидит на них целыми часами. Дай Бог, чтобы со здоровыми было так мало хлопот.

Пришло лето. Клодда нередко встречали под руку с его помешанным, маленьким, пожилым, добродушного вида джентльменом, немного смахивающим на пастора; они вместе расхаживали по улицам и по дворам тех домов, куда Клодд ходил собирать квартирную плату. Их очевидная привязанность друг к другу проявлялась довольно курьезно. Клодд — молодой, с рыжей шевелюрой — относился к своему седовласому, хилому спутнику с родительским снисхождением, а тот время от времени заглядывал Клодду в лицо с трогательной детской доверчивостью.

— Нам теперь гораздо лучше, — уверял Клодд однажды, когда эта парочка встретилась на углу Ньюкасл-стрит с Питером Хоупом. — Чем больше мы бываем на свежем воздухе, чем больше у нас дела и забот, тем это полезнее для нас. Правда?

Добродушный маленький старичок, повиснув на руке Клодда, улыбался и кивал головой.

— Между нами, — мистер Клодд понизил голос, — мы все не так безумны, как о нас думают.

— Не понимаю я этого, — говорил себе Питер Хоуп, идя дальше по Стрэнду (когда-то он долго жил один и с того времени сохранил привычку думать вслух). — Клодд — славный малый, очень славный, но не такой, чтобы даром терять время. Не понимаю.

Зимой Клоддов помешанный заболел. Клодд кинулся к его родственникам на Чансери-лейн.

— Правду вам сказать, — признался ему мистер Глэдмен, — мы не ожидали, что он и столько-то протянет.

— Вас, конечно, интересует рента, — сказал Клодд, о котором его поклонники (а теперь у него их множество, так как он успел сделаться миллионером) любят говорить: «Этот искривленный, прямолинейный англичанин». — Не увезти ли вам его отсюда, от наших лондонских туманов, — может быть, это принесет ему пользу?

Старый Глэдмен, по-видимому, склонен был серьезно обсудить этот вопрос, но миссис Глэдмен, живая, веселая маленькая женщина, уже приняла решение.

— Мы получили с этого все, что могли. Ему семьдесят три года. Какой смысл рисковать верными деньгами? Будь доволен тем, что имеешь.

Никто не может сказать — никто никогда и не говорил, — что Клодд при данных обстоятельствах не сделал всего, что было в его силах. Вероятно, тут уж ничем нельзя было помочь. По внушению Клодда, больной старик играл теперь в сурка и по целым дням лежал смирно. А если он начинал беспокоиться, что вызывало у него кашель, Клодд превращался в страшную черную кошку, выжидавшую только удобный момент, чтобы кинуться на сурка. И, только притаясь и искусно притворяясь спящим, сурок мог надеяться спастись от безжалостного Клодда.

Доктор Уильям Смит (урожденный Вильгельм Шмидт) пожал жирными плечами: «Ми ничефо не можем сделать. Это все наши туманы — единственная вещь, за которую иностранцы вправе нас ругать. Покой, покой прежде всего. Сурок — это прекрасная мысль».

В тот же вечер Уильям Клодд поднялся на третий этаж дома № 16, Гоф-сквер, где жил его друг Питер Хоуп, и весело постучал в дверь.

— Войдите, — сказал решительный голос, явно не принадлежавший Питеру Хоупу.

У мистера Уильяма Клодда издавна была одна честолюбивая мечта — сделаться владельцем или совладельцем газеты. Сейчас, как уже было упомянуто, он издает двадцать пять газет и, говорят, ведет переговоры о покупке еще семи. Но двадцать лет тому назад фирма «Клодд и К°» существовала только в зародыше. Точно так же и Питер Хоуп, журналист, долгие годы лелеял честолюбивую мечту под ста-

рость сделаться владельцем или совладельцем газеты. У Питера Хоупа и сейчас нет ничего, кроме разве уверенности, что, где бы и когда бы ни назвали его имя, оно всегда будит добрые и кроткие мысли, что, услышав его, кто-нибудь, уж наверное, скажет: «Милый старый Питер, какой он был хороший!» Может быть, и такая уверенность тоже чего-нибудь стоит — кто знает? Но двадцать лет тому назад горизонт Питера был ограничен одной улицей — Флит-стрит.

Питеру Хоупу было, по его словам, сорок семь лет, он был мечтатель и ученый. Уильяму Клодду было двадцать три года, он был прирожденный делец, энергичный и ловкий. Встретились они случайно на империале омнибуса, причем Клодд одолжил три пенса на билет Питеру, который забыл свой кошелек дома, и это случайное знакомство постепенно перешло во взаимную симпатию и уважение. Мечтатель дивился и практичности Клодда, и его сметке; юный делец преклонялся перед необычайной, как ему казалось, ученостью своего старого друга. Оба пришли к заключению, что еженедельный журнал с таким редактором, как Питер Хоуп, и таким издателем, как Клодд, обязательно должен иметь успех.

— Если бы нам наскрести хоть тысячу фунтов! — вздыхал Питер Хоуп.

— Как только раздобудем монету, тут же начнем дело, — отвечал Уильям Клодд. — Только помните — уговор дороже денег.

Мистер Уильям Клодд нажал на ручку и вошел. Не закрывая за собою двери, он помедлил на пороге, оглядывая комнату. Он был здесь в первый раз. До сих пор он встречался с Питером Хоупом только на улице или в ресторане, и ему всегда хотелось заглянуть в святилище, где обитает такая ученость.

То была большая высокая комната с дубовыми панелями, с тремя высокими окнами, выходившими на Гоф-сквер; под каждым окном стояло по низенькому мягкому диванчику. Тридцать пять лет тому назад Питер Хоуп — тогда молодой щеголь, с коротко подстриженными бакенбардами, с волнистыми каштановыми волосами, от которых его румяное лицо казалось похожим на девичье, в синей визитке, в жилете с цветочками, в черном шелковом галстуке, заколотом двумя золотыми булавками, соединенными цепочкой, и

в узких серых брюках со штрипками — при соучастии хрупкой маленькой леди в кринолине, пышной сборчатой юбке, низко вырезанном лифе и с длинными локонами, звеневшими при каждом движении ее головы, покупали и расставляли эту мебель в соответствии со строгими требованиями тогдашней моды, истратив при этом гораздо больше, чем они могли себе позволить, как это всегда бывает с молодыми людьми, которым будущее сулит золотые горы.

— Что за чудесный брюссельский ковер! Немножко ярок, — озабоченно качались длинные локоны.

— Краски потом потускнеют, мисс, то есть мадам.

Торговец сказал правду! Только благодаря круглому островку под массивным столом в стиле ампира да экскурсиям в дальние уголки комнаты, где не ступала нога человека, удавалось Питеру вызвать в памяти сиявший всеми цветами радуги ковер, по которому он ходил, когда ему было двадцать один год.

А прекрасный книжный шкаф, увенчанный бюстом Миснервы! Он положительно стоил слишком дорого. Но кивающие локоны были так настойчивы. Ведь надо же держать в порядке все его глупые книги и бумаги; локоны не допускали никаких оправданий неряшливости. Точно так же и красивый письменный стол с бронзовыми украшениями, должен же он быть достоин тех прекрасных мыслей, которые Питер будет записывать, сидя за ним. Или большой буфет, поддерживаемый двумя такими сердитыми львами из красного дерева, он должен быть прочным и крепким, чтобы вынести тяжесть серебра, которое когда-нибудь купит и поставит на нем гениальный Питер.

На стенах несколько картин, писанных масляными красками, в тяжелых рамах. Вообще солидно обставленная, спокойная комната, с той неуловимой атмосферой достоинства, которую находишь только в старинных покоях, где как будто читаешь на стенах: «Здесь обитаю я — Радость и Горе — двуединый близнец». Одна только подробность казалась не к месту в этой серьезной обстановке — висевшая на стене гитара, украшенная смешным голубым бантом, немного вылинявшим от времени.

— Мистер Уильям Клод? — спросил решительный голос.

Клод вздрогнул и затворил за собой дверь.

— Как это вы сразу угадали?

— Так мне подумалось, — сказал решительный голос. — Мы получили вашу записку сегодня. Мистер Хоуп вернется к восьми. Будьте любезны, повесьте пальто и шляпу в передней. Ящик с сигарами на камине. Извините, но я буду работать. Мне надо сначала кончить одно дело, потом я поговорю с вами.

Обладатель решительного голоса продолжал что-то писать. Клодд сделал, как ему было сказано, расположился в кресле у камина и закурил сигару. Ему видно было только голову и плечи особы, сидевшей за письменным столом. Голова была стриженная, с кудрявыми черными волосами. По ниже виднелся белый воротничок с красным галстуком и еще что-то, что могло быть и мальчишеской курткой, сшитой на девочку, и дамской жакеткой, немного мужского покроя, — по-видимому, это был компромисс в духе английской политики. Мистер Клодд заметил длинные опущенные ресницы и под ними яркие черные глаза.

«Это девушка, — сказал он себе, — и прехорошенькая. — Продолжая свой осмотр по нисходящей линии, мистер Клодд дошел до носа. — Нет, — решил он, — это мальчик, и должно быть, порядочный плут».

Особа, сидевшая за столом, удовлетворенно хмыкнула, собрала разбросанные листки рукописи, потом положила локти на стол и, подперев голову руками, уставилась на мистера Клодда.

— Можете не торопиться, — сказал мистер Клодд, — но только, когда кончите, скажите, что вы обо мне думаете.

— Извините, пожалуйста, это у меня такая привычка — уставиться на человека. Я знаю, что это невежливо, и очень стараюсь отучить себя.

— Скажите, как вас зовут, — предложил мистер Клодд, — и я вас прощу.

— Томми, — последовал ответ, — то есть, я хочу сказать — Джейн.

— Вы подумайте хорошенько, — посоветовал мистер Клодд. — Я не хочу влиять на ваше решение, мне нужна только правда.

— Видите ли, — пояснила сидевшая за столом, — меня все называют Томми, потому что это мое прежнее имя. Но теперь меня зовут Джейн.

— Понятно, — сказал мистер Клодд. — А как же мне прикажете звать вас?

Особа за столом задумалась.

— Ну, если из того, что вы с мистером Хоупом затеяли, действительно что-нибудь выйдет, нам придется часто видеться, и тогда, я думаю, лучше зовите меня Томми, как все.

— Так вы знаете о наших планах? Мистер Хоуп рассказывал вам?

— Ну конечно. Ведь я — его негр.

Клодд подумал было, что его почтенный друг основал здесь предприятие, способное составить конкуренцию его собственному.

— Я помогаю ему в работе, — пояснила Томми, снимая с него тяжкий груз сомнений. — В журналистских кругах это называется — негр.

— Понимаю, — сказал мистер Клодд. — Ну-с, Томми, что же вы думаете о наших планах? Я уж, пожалуй, лучше сразу начну вас звать Томми, потому что, между нами говоря, я уверен, что из нашей затеи выйдет толк.

Томми впиалась в него своими черными глазами. Кажется, они пронизывали его насквозь.

— Вы опять уставились, Томми, — напомнил ей Клодд. — Вам, должно быть, нелегко будет отучить себя от этой привычки.

— Я старалась составить себе о вас определенное мнение. Все зависит от человека, который будет вести дело.

— Рад слышать это от вас, — ответил Клодд, всегда довольный собой.

— Если вы очень умны... Вас не затруднит подойти поближе к лампе? Оттуда мне вас плохо видно.

Никогда потом Клодд не мог понять, почему он послушался и почему с первого же дня он всегда делал то, чего хотела от него Томми; единственным его утешением было сознание, что и все остальные были столь же беспомощны перед ней. Он встал и, перейдя длинную комнату, стал навтыжку перед большим письменным столом, чувствуя, что начинает нервничать, — ощущение для него непривычное.

— Вид у вас не особенно умный.

Клодд испытал еще одно новое ощущение: он сразу упал в собственных глазах.

— А между тем чувствуется, что вы умны.

Ртуть в термометре самодовольства мистера Клодда сразу подпрыгнула до такой высоты, что, будь он менее крепким физически, это могло бы вредно отразиться на его здоровье.

Клодд протянул руку:

— Дело пойдет, Томми. Папаша будет поставлять литературу, а мы с вами займемся организацией. Вы мне нравитесь.

На вошедшего в эту минуту Питера Хоупа упала искорка от света, сиявшего в глазах Уильяма Клодда и Томми (или иначе — Джейн), в то время как они пожимали друг другу руки через стол и смеялись, сами не зная чему. И бремя годов упало с плеч старого Питера, и он снова почувствовал себя мальчиком и тоже засмеялся, сам не зная чему. Он отпил глоток из чаши юности.

— Ну-с, папаша, дело слажено! — вскричал Клодд. — Мы с Томми уже обо всем переговорили. С нового года начинаем.

— Вы достали денег?

— Рассчитываю достать. Не думаю, чтобы они ускользнули из моих рук.

— И достаточно?

— Как раз хватит. Принимайтесь за дело.

— У меня тоже немного отложено, — начал Питер. — Собственно, можно было бы и больше отложить, да как-то не получилось.

— Может быть, нам и понадобятся эти деньги, а может быть, и нет. Ваш пай — это ваши мозги.

Некоторое время все трое сидели молча.

— Я думаю, Томми, — начал Питер, — я думаю, что бутылочка старой мадеры...

— Не сегодня, — сказал Клодд, — в другой раз.

— Чтобы выпить за успех, — настаивал Питер.

— Успех одного почти всегда связан с несчастьем другого, — возразил Клодд. — Тут, конечно, ничего не поделаешь, но сегодня не хочется думать об этом. Пора мне домой, к моему сурку. Спокойной ночи!

Клодд пожал им обоим руки и поспешно вышел.

— Я так и думал, — сказал Питер, привыкший размышлять вслух. — Что за странная смесь человек! Ведь он добрый, нельзя быть добрее его к бедному старику. А между тем... Да, Томми, странные существа мы, люди, и женщины

и мужчины, — такая смесь всякой всячины! — Питер рассуждал как философ.

Старый, седовласый сурок скоро докашлялся до того, что уснул навеки.

— Я попрошу вас и миссис быть на похоронах, Глэдмен, — объявил Клодд, забежав в лавку канцелярских принадлежностей. — И Пинсера с собой приведите. Я ему написал.

— Не вижу, какая от нас может быть польза, — проворчал Глэдмен.

— Ну как же! Ведь у него только и было родных, что вы трое; неприлично, если вы не будете на похоронах. И потом, надо прочесть завещание. Может, вам интересно будет послушать:

Глэдмен широко раскрыл свои водянистые глаза.

— Завещание? Да что же ему завещать-то? Ведь у него ничего не было, кроме ренты.

— А вот придете на похороны, все и узнаете. Клерк Боннера тоже будет и принесет с собой духовную, — она хранится у них. Все будет сделано комильфо, как говорят французы.

— Мне бы надо было раньше знать об этом, — начал Глэдмен.

— Я рад, что вы так интересуетесь бедным стариком, — сказал Клодд. — Какая жалость, что он уже умер и не может поблагодарить вас.

— Послушайте, вы! — взвизгнул вдруг старый Глэдмен. — Ведь он был беспомощный, слабоумный старик, не способный сам что-нибудь придумать. Если он под чьим-нибудь влиянием...

— Так, значит, до пятницы, — перебил Клодд. Ему было некогда.

В пятницу на похоронах компания собралась не дружная. Миссис Глэдмен время от времени шипела что-то на ухо своему супругу, тот отвечал ворчанием. В промежутках оба бросали грозные взгляды на Клодда. Мистер Пинсер, тучный джентльмен, имеющий какое-то отношение к палате общин, хранил все время министерское спокойствие. Главный факельщик говорил потом, что он не мог дожидаться, когда все кончится, и уверял, что он в жизни своей не видал таких неприятных похорон: был момент, когда он даже серьезно подумывал переменить профессию.

На квартире Клодда их уже ожидал клерк от юриста. Клодд предложил угощение. Мистер Пинсер позволил себе выпить стаканчик виски, сильно разбавленного водой, и проделал это с видом человека без предрассудков. Клерк налил себе покрепче. Миссис Глэдмен, даже не спросив мужа, отказалась и за себя, и за него. Клодд, пояснив, что он всегда следует добрым примерам, налил себе тоже стаканчик и выпил «за нашу будущую счастливую встречу». Затем клерк приступил к чтению духовной.

Она была не длинна и не сложна, датирована прошлым августом. Оказалось, что старый джентльмен без ведома своих родных владел акциями серебряных копеек, одно время пришедших в упадок, но теперь процветающих. По нынешнему курсу эти акции стоили больше двух тысяч фунтов. Из них пятьсот фунтов старый джентльмен завещал своему зятю, мистеру Глэдмену; пятьсот своему двоюродному брату, мистеру Пинсеру, а остальное своему другу Уильяму Клодду в благодарность за его внимание и заботы.

Мистер Глэдмен поднялся с места: ему было скорее смешно, чем досадно.

— И вы думаете, что мы вам позволим прикарманить таким манером чуть не тысячу двести фунтов? Вы серьезно так думаете? — спросил он мистера Клодда, который сидел, заложив руки в карманы.

— Вот именно, — признался мистер Клодд.

Мистер Глэдмен засмеялся, но от этого смеха никому не стало веселее.

— Честное слово, Клодд, вы забавляете меня — мне прямо смешно.

— Вам всегда присуще было чувство юмора.

— Негодяй! Гнусный негодяй! — взвизгнул мистер Глэдмен, внезапно меняя тон. — Вы думаете, что закон позволит вам таким образом оплести честных людей? Вы думаете, что мы так и дадим вам ограбить себя? Это завещание... — Мистер Глэдмен драматически указал костлявым пальцем на стол.

— Вы намерены его оспаривать? — осведомился мистер Клодд.

На минуту Глэдмен был ошеломлен таким хладнокровием, но скоро оправился.

— Оспаривать!! — пронзительно вскрикнул он. — Вы же не станете оспаривать, что оно написано под вашим влиянием! Ведь вы его продиктовали от слова до слова и заставили этого бедного идиота подписать. Он не способен был даже понять...

— Не болтайте так много! — перебил его Клодд. — Не такой уж у вас приятный голос. Я вас спрашиваю, намерены ли вы оспаривать это завещание?

— Если вы ничего не имеете против, — чрезвычайно учтиво вмешалась тут миссис Глэдмен, — мы еще успеем заставить в конторе нашего адвоката.

Мистер Глэдмен достал из-под стула свой цилиндр.

— Одну минуту, — остановил его Клодд. — Это завещание действительно составлено под моим влиянием. Если вам оно не нравится, значит, не о чем и толковать.

— Само собой, — согласился мистер Глэдмен, сразу смягчившись.

— Присядьте, — предложил Клодд. — Давайте посмотрим другое. — Мистер Клодд повернулся к клерку: — Пожалуйста, мистер Райт, прочтите то, первое, датированное десятим июня.

В первой духовной, такой же короткой и несложной, завещатель отказывал триста фунтов мистеру Уильяму Клодду в знак благодарности за проявленную им доброту, а остальные — Лондонскому королевскому зоологическому обществу, так как покойный всегда интересовался животными и очень любил их; перечисленные же поименно родственники, «которые никогда не выказывали мне ни малейшей привязанности, нисколько обо мне не заботились и уже присвоили себе значительные суммы из моего дохода», не получали ничего.

— Могу добавить, — начал мистер Клодд, видя, что никто не расположен прерывать молчание, — что, предлагая вниманию моего бедного старого друга Королевское зоологическое общество как подходящий объект для его щедрот, я имел в виду подобный же факт, приключившийся лет пять тому назад. Обществу была отказана довольно крупная сумма; родственники оспаривали завещание на том основании, что завещатель был не в своем уме. Обществу пришлось довести процесс до палаты лордов, прежде чем оно наконец выиграло его.

— Как бы там ни было, — возразил мистер Глэдмен, облизывая пересохшие губы, — вы, мистер Клодд, ничего не получите, ни даже этих трехсот фунтов, хоть вы и считаете себя очень умным и ловким. Деньги моего шурина достанутся адвокатам.

Тут поднялся мистер Пинсер и выговорил медленно и отчетливо:

— Если уж нужно, чтобы в нашей семье был сумасшедший, хотя я лично не вижу в этом необходимости, то мне кажется, что это вы, Натаниэль Глэдмен.

Мистер Глэдмен разинул рот от изумления. Мистер Пинсер так же внушительно продолжал:

— Что касается моего бедного старого кузена Джозефа, у него были свои странности, но и только. Я лично готов присягнуть, что в августе этого года он был в здравом уме и вполне способен составить завещание. А другое, помеченное июнем, по-моему, ничего не стоит.

Высказавшись, мистер Пинсер снова сел; к Глэдмену, по-видимому, вернулся дар речи...

— Какая нам польза ссориться? — весело зашебетала в этот момент миссис Глэдмен. — Ведь эти пятьсот фунтов — совершенно неожиданное наследство. Живи и давай жить другим — я всегда это говорю.

— Дьявольски ловко все это подстроено! — выговорил мистер Глэдмен, все еще очень бледный.

— Ничего, у тебя будет чем подбодрить себя, — заметила его жена.

Имея в перспективе лишних пятьсот фунтов, супруги укатили домой в кебе. Мистер Пинсер остался и пировал весь вечер с Клоддом и клерком на деньги Клодда.

Клодду досталось тысяча сто шестьдесят девять фунтов и несколько шиллингов.

Капитал новой издательской компании, «учрежденной в целях издания, печатания и распространения журнала, помещения объявлений, а также выполнения всех прочих связанных с этим функций», составлял тысячу фунтов в акциях стоимостью в один фунт, оплаченных сполна наличными. Из них четыреста шестьдесят три принадлежали Уильяму Клодду, эсквайру; столько же мистеру Питеру Хоупу, № 16, Гоф-сквер; три — мисс Джейн Хоуп, приемной дочери вышеупомянутого Питера Хоупа (настоящего име-

ни ее никто не знал, включая и ее самое), обыкновенно называемой Томми, причем она заплатила за них из собственного кармана после яростной стычки с Уильямом Клоддом; десять — миссис Постуисл, из Роулз-Корта, преподнесенных ей в дар учредителем; десять — мистеру Пинсеру, члену палаты общин (он и до сих пор за них не заплатил); пятьдесят — доктору Смиту (урожденному Шмидт); одна — Джеймсу Дугласу Александеру Мак-Тиру (иначе — Шотландцу), квартиранту миссис Постуисл; эта акция была выдана ему в виде гонорара за поэму «Песня Пера», помещенную в первом номере.

Выбрать название для журнала стоило большого труда. Наконец, отчаявшись, они назвали его: «Хорошее настроение».

МЛАДЕНЕЦ ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД

О новом журнале «Хорошее настроение» люди со вкусом и с понятием говорили, что это самый веселый, самый умный, самый литературный из дешевых еженедельников, какой когда-либо издавался в Англии. И Питер Хоуп, редактор и один из совладельцев его, был счастлив это слышать. Уильям Клодд, издатель и второй совладелец, не приходил в особенный восторг от этих похвал.

— Смотрите, как бы вам не переборщить по части литературности, — говорил Уильям Клодд. — Золотая середина — вот чего надо держаться.

Люди — люди со вкусом и с понятием — говорили, что «Хорошее настроение» заслуживает поддержки читающей публики больше, чем все остальные еженедельные журналы, вместе взятые. Люди со вкусом и с понятием — по крайней мере некоторые из них — шли даже дальше, они подписывались на журнал. Питер Хоуп, уносясь мыслями в будущее, предвкушал богатство и славу.

Уильям Клодд, больше озабоченный настоящим, говорил:

— Не кажется ли вам, милейший, что наше издание слишком уж первосортное, а?

— Почему вы так думаете?

— Да взять хотя бы распространение. За последний месяц мы выручили...

– Если вам все равно, нельзя ли без цифр? – попросил Питер Хоуп. – Цифры меня почему-то всегда угнетают.

– Не могу сказать, чтобы и меня они особенно радовали, – согласился Клодд.

– В свое время придет и это, – утешал его Питер Хоуп. – Надо воспитать публику, поднять ее до нашего уровня.

– Насколько я заметил, публика меньше всего склонна платить за то, чтобы ее воспитывали.

– Что же нам делать?

– А я вам скажу. Нужно взять мальчишку рассыльного.

– Разве это может способствовать распространению журнала? – удивился Питер Хоуп. – И потом, мы ведь решили первый год обходиться без рассыльного. Это только лишний расход. К чему?

– Я имею в виду не просто рассыльного, – возразил Клодд, – а юношу вроде того, с которым я вчера ехал в одном вагоне в Стрэтфорд.

– Чем же он замечателен – этот ваш юноша?

– Ничем. Он читал последний номер «Библиотеки дешевых романов». Это издание покупают по крайней мере двести тысяч человек. И он – один из них. Так он сказал мне. Покончив с книжкой, он вытащил из кармана последний выпуск «Балагура» – в розничной продаже стоит полпенни, распространение тоже имеет большое, до семидесяти тысяч. И читал его, давась от смеха, до самого Стрэтфорда.

– Но...

– Погодите минутку. Я сейчас объясню вам. Этот юноша – представитель читающей публики. Я поговорил с ним. Ему нравятся больше всех как раз те газеты и журналы, которые имеют наибольшее распространение. Он ни разу не ошибся. А остальные – насколько они ему известны – он называет «трухой». Ему нравится то, что нравится массе. Сумейте угодить ему – я записал его имя и адрес, он согласен поступить к нам на восемь шиллингов в неделю, – и вы угодите читателям. Не тем, что просматривают случайный номер, взяв его со стола в курительной клуба, и говорят вам, что «журнал, черт возьми, отличный», но тем, что платят за него пенни и уносят его к себе домой. Вот такие читатели нам и нужны.

Питер Хоуп, талантливый журналист и редактор с идеалами, был шокирован, возмущен. Уильям Клодд, человек деловой, без идеалов, оперировал цифрами.

— И об объявлениях надо подумать, — настаивал он. — Я, конечно, не Джордж Вашингтон¹, но что пользы врать, когда и сам себе не веришь, не говоря уж о других? Доведите мне тираж до двадцати тысяч, и я берусь вам убедить публику, что он перевалил за сорок. Но когда мы и до восьми не можем долезть, у меня руки связаны... совести не хватает.

— Вы давайте публике каждую неделю столбцов двенадцать вполне доброкачественного литературного материала, — вкрадчиво убеждал Клодд, — но подсластив это двадцатью четырьмя столбцами варенья. Только так и можно кормить читателей: воспитывать их незаметно для них самих. А пилюля без варенья? Да они ее и в рот не возьмут.

Клодд умел настоять на своем. Пришел день, когда в редакции «Хорошего настроения» появился Филипп — в обиходе Флип — Твитл, официально в качестве рассылного, на самом деле, без его ведома, в качестве присяжного литературного дегустатора. Рукописи, которыми зачитывался Флип, принимались. Питер стонал, но довольствовался тем, что исправлял в них наиболее грубые грамматические ошибки: опыт решено было провести добросовестно. Шутки и анекдоты, над которыми смеялся Флип, печатались. Питер, для успокоения совести, увеличил свой взнос в кассу помощи неимущим наборщикам, но это помогло ему лишь отчасти. Стихи, вызывавшие слезы на глазах Флипа, шли вразрядку. Люди со вкусом и с понятием жаловались, что «Хорошее настроение» не оправдывает их надежд. Тираж еженедельника медленно, но неуклонно возрастал.

— Вот видите! Я вам говорил! — восклицал ликующий Клодд.

— Прискорбно думать... — начал Питер.

— Думать вообще прискорбно. Отсюда мораль — поменьше думать. Знаете, что мы сделаем? Мы с вами разбогатеем на этом журнале. И когда у нас заведутся лишние день-

¹ Джордж Вашингтон — первый президент США. В хрестоматийных рассказах о его детстве часто говорится о том, какой это был правдивый мальчик.

ги, мы, наряду с этим, будем издавать другой журнал, специально для интеллигентной публики. А пока...

Внимание Клодда привлекла пузатая черная бутылочка с ярлыком, стоявшая на письменном столе.

— Когда это принесли?

— С час тому назад.

— Для рекламы?

— Кажется.

Питер поискал на столе и нашел письмо, адресованное «Уильяму Клодду, эскв., заведующему отделом рекламы журнала «Хорошее настроение». Клодд разорвал конверт и пробежал письмо.

— Прием объявлений еще не кончился?

— Нет. До восьми часов.

— Отлично! Присядьте-ка и черкните об этом пару строк. Только сейчас же, не то забудете. На страничку «После обеда».

Питер сел к столу и поставил в заголовке: «Стр. п. о.».

— А это что, — спросил Питер, — какое-нибудь вино?

— Особый портвейн, который не ударяет в голову.

— По-вашему, это преимущество?

— Конечно. Больше можно выпить.

Питер начал писать: «...обладает всеми качествами хорошего старого портвейна, без его вредных свойств...»

— Я ведь его не пробовал, Клодд.

— Это ничего. Я пробовал.

— И что же? Хорошее вино?

— Отличное. Пишите: «...восхитительное на вкус и бодрящее». Это наверняка будут цитировать.

Питер продолжал писать: «Мы сами отведали его и нашли восхитит...»

— Клодд, ей-богу же, следовало бы и мне попробовать. Ведь я его рекомендую от своего имени.

— Да вы кончайте, а то я не успею сдать в набор. Потом возьмете бутылочку к себе домой и пейте на здоровье.

Клодд, по-видимому, очень торопился. Это только усилило подозрения Питера. Бутылка стояла тут же, под рукой. Клодд хотел было перехватить ее, но не успел.

— Вы не привыкли к таким безалкогольным напиткам, — протестовал он. — Вы в нем не разберетесь.

— Во всяком случае, я почувствую, «восхитительное» оно или нет, — заявил Питер, откупоривая бутылку.

— Объявление в четверть страницы и заказ на тринадцать недель. Не будьте ослом и поставьте бутылку, не то еще опрокинете.

— Я именно и хочу ее опрокинуть, — возразил Питер, сам первый смеясь своей шутке. Он налил себе полстакана и отпил глоток.

— Ну что? Нравится? — свирепо осклабился Клодд.

— Вы уверены... вы уверены, что бутылка та самая? — пролепетал Питер.

— Совершенно уверен. Выпейте еще, а то вы не спрашивали.

Питер рискнул сделать еще глоток.

— Вы не думаете, что его лучше было бы рекомендовать как лекарство, — ну, например, такое, которое не мешает иметь под рукой на случай нечаянного отравления? Это бы их не устроило?

— Подите и предложите им сами. Я умываю руки. — Клодд взялся за шляпу.

— Мне жаль, мне очень жаль, — вздохнул Питер, — но я, по совести, не могу...

Клодд злобно швырнул шляпу на стол.

— Будь она проклята, эта ваша совесть! А о кредиторах своих вы никогда не думаете? Что толку от того, что я для вас из кожи лезу, когда вы на каждом шагу связываете мне руки?

— Не благоразумнее ли было бы, — сказал Питер, — обратиться к более солидным объявителям, которым не нужны такие уловки?

— Обратиться! — фыркнул Клодд. — Вы думаете, я к ним не обращался? Ведь они что овцы. Залучите одного — к нам придет все стадо. А пока вы этого одного, первого, не залучили, остальные и слушать вас не станут.

— Это правда, — задумчиво проговорил Питер. — Я давеча толковал с Уилкинсоном из фирмы Кингсли. Он посоветовал мне попытать счастья у Ландора. Сказал, что, если мне удастся убедить Ландора, чтобы он давал нам объявления, может быть, и он сможет уговорить своих патронов.

— А пойдешь ты к Ландору, он бы посоветовал вам сперва заручиться согласием Кингсли.

— Все в свое время, они придут. — Питер не терял бодрости. — Тираж наш с каждой неделей поднимается. Скоро от них отбоя не будет.

— Не грех бы им поторопиться, — проворчал Клодд. — А то пока у нас нет отбоя только от кредиторов.

— Статьи Мак-Тира обратили на себя общее внимание, — напомнил Питер. — Он обещал мне еще ряд статей.

— Джауит, вот кого бы залучить, — вздохнул Клодд. — Остальные пойдут за ним, как стадо гусей за вожаком. Нам бы только добраться до Джауита, а дальше все будет просто.

Джауит был фабрикант знаменитого «мраморного» мыла. Уверяли, будто на рекламу он тратит четверть миллиона в год. Джауит был столпом и опорой периодической печати. Новые издания, сумевшие заручиться объявлениями о мраморном мыле, жили и процветали; новые издания, которым было отказано в этих объявлениях, хирели и гибли. Джауит — и как бы залучить его; Джауит — и какой бы найти к нему ход; это была главная тема, обсуждавшаяся на совещаниях большинства новых редакций, в том числе и редакции «Хорошего настроения».

— Я слышала, — сказала мисс Рэмсботем, еженедельно заполнявшая последние две страницы журнала «Письмом к Клоринде», которая вела уединенную деревенскую жизнь и которой мисс Рэмсботем, по-видимому, вращавшаяся в высшем свете, рассказывала всякие новости и сплетни, всякие остроумные и неостроумные выходки своих аристократических друзей, — я слышала, — сказала мисс Рэмсботем однажды утром, когда в редакции, как всегда, зашла речь о Джауите, — что старичок неравнодушен к женским чарам.

— Я давно об этом думаю, — сказал Клодд. — Тут бы нужно сотрудницу, а не сотрудника. Уж даму-то, во всяком случае, не вышвырнут за дверь.

— Как знать, — возразил Питер. — Если эта идея прильется, такие господа начнут брать в швейцары женщин с хорошо развитой мускулатурой.

— Ну, это пока они еще додумаются... — не сдавался Клодд.

Помощница редактора насторожила уши. Однажды — уже давно — помощница редактора ухитрилась добиться того, что не удавалось ни одному из лондонских журналистов:

интервью с видным иностранным политическим деятелем. Она этого не забыла — и никому не давала забыть.

— Мне кажется, я бы могла достать для вас это объявление, — сказала помощница редактора.

Редактор и издатель заговорили в один голос очень решительно и твердо.

— А почему нет? Ведь сумела же я тогда проинтервьюировать принца...

— Знаем. Слыхали, — перебил ее Клодд. — Будь я в то время твоим отцом, я бы этого не допустил.

— Как же я мог не допустить? — возразил Питер. — Ведь она мне ни слова не сказала.

— Надо было получше смотреть за ней.

— Усмотришь за ней! Вот погодите, будет у вас своя дочка — тогда узнаете.

— Когда у меня будет дочка, я сумею заставить ее слушаться.

— Ладно! Знаем мы, какие дети бывают у холостяков, — иронически усмехнулся Питер Хоуп.

— Предоставьте это мне, — молила помощница редактора, — на этих же днях вы получите объявление.

— Если ты принесешь его, я брошу его в корзину, — решительно объявил Клодд.

— Вы же сами говорили, что даме это могло бы удаться.

— Даме, но не тебе.

— Почему же не мне?

— А потому.

— Но если...

— Мы увидимся в типографии в двенадцать, — бросил Клодд Питеру Хоупу и поспешно вышел.

— Вот идиотство! — возмутилась Томми.

— Мы редко сходимся, — заметил Питер Хоуп, — но в данном случае я с ним вполне согласен, добывать объявления — вовсе не женское дело.

— Но какая же разница между...

— Огромная разница.

— Вы же не знаете, что я хотела сказать.

— Я знаю, к чему ты ведешь.

— Но позвольте же мне...

— Я и так тебе слишком много позволяю. Пора мне взяться за тебя как следует.

— Я предлагаю только...

— Что бы ты ни предлагала, ты этого не сделаешь, — был решительный ответ. — Если кто придет, скажи, что я буду в половине первого.

— Мне кажется, что...

Но Питер уже ушел.

— Как это на них похоже! — жаловалась Томми. — С ними невозможно разговаривать: когда начинаешь им объяснять что-нибудь, они уходят. Меня это до того злит!

Мисс Рэмсботем смеялась:

— Бедная Томми, как они тебя угнетают!

— Как будто я маленькая! Не сумею сама уберечь себя! — Подбородок Томми задрался кверху.

— Да будет тебе, — успокаивала ее мисс Рэмсботем. — Меня так вот никто не останавливает и ничего мне не запрещает. Я бы охотно поменялась с тобою, если б могла.

— Я бы только зашла в кабинет к старику Джауиту — и через пять минут у меня было бы объявление. Уж я знаю, я умею обращаться со стариками.

— Только со стариками? — смеялась мисс Рэмсботем.

Дверь отворилась.

— Есть кто-нибудь в редакции? — осведомился Джонни Булстрод, просовывая голову в дверь.

— Как будто вы не видите, что есть, — огрызнулась Томми.

— Так уж как-то принято спрашивать, — пояснил Джонни Булстрод, более известный среди друзей под кличкой Младенец, входя и притворяя за собою дверь.

— Что вам нужно? — осведомилась помощница редактора.

— Ничего особенного, — ответил Младенец.

— Не вовремя пришли, теперь только половина двенадцатого.

— Что с вами сегодня?

— Я зла как черт, — призналась Томми.

Детская рожица Младенца приняла сочувственно-вопросительное выражение.

— Мы страшно возмущены, — пояснила мисс Рэмсботем, — что нам не позволяют сбежать на Кэннон-стрит и выманить у старика Джауита, фабриканта мыла, объявление для нашего журнала. Мы уверены, что стоит нам только надеть нашу лучшую шляпку, и он не в состоянии будет отказать нам.

— И вовсе незачем выманивать, — сказала Томми. — Стоило бы только повидаться с ним и показать ему цифры, и он сам прибежит к нам.

— А Клодда он не примет? — спросил Младенец.

— Никого он теперь не принимает и ни в какие новые газеты не хочет давать объявлений, — ответила мисс Рэмсботем. — Это все я виновата. Я имела неосторожность пускать слух, что он не может устоять перед женским обаянием. Говорят, будто миссис Саркитт удалось выпросить у него объявление для «Фонаря». Но, конечно, может быть, это и неправда.

— Жалко, что я не мыльный фабрикант и не имею возможности раздавать объявления, — вздохнул Младенец.

— Да, очень жалко, — согласилась помощница редактора.

— Я бы все их отдал вам, Томми.

— Мое имя — мисс Хоуп, — поправила его помощница редактора.

— Извините, пожалуйста, но я как-то привык уж называть вас Томми.

— Я буду вам очень признательна, если вы отвыкнете от этого.

— Простите...

— С условием, чтоб это не повторялось.

Младенец постоял сперва на одной ноге, потом на другой и, видя, что ничего из этого не выходит, сказал:

— Я, собственно, просто так заглянул — узнать, не нужно ли вам чего.

— Нет, благодарствуйте.

— В таком случае, до свиданья.

— До свиданья.

Когда Младенец спускался с лестницы, детское личико его имело такое выражение, как будто его поставили в угол. Большинство членов клуба Автолика хоть по разу в день заглядывали в редакцию узнать, не нужно ли чего-нибудь Томми. Иным везло. Не далее как накануне Порсон — толстый, неуклюжий, совершенно неинтересный мужчина — был послан ею в Плэстоу справиться о здоровье мальчика из типографии, которому повредило машиной руку. Юному Александру, писавшему такие стихи, что многие в них даже и совсем не находили смысла, было дано поручение обойти всех лондонских букинистов в поисках Мэйтлендовой «Ар-

хитектуры». А Джонни, с тех пор как две недели назад его попросили прогнать шарманщика, который не желал уходить, не получал никаких поручений.

Раздумывая о горькой своей участи, Джонни свернул на Флит-стрит. Тут на него налетел мальчик с картонкой в руках.

— Извините... — мальчуган заглянул в лицо Джонни и прибавил: — Мисс, — после чего, ловко увернувшись от удара, скрылся в толпе.

Младенец, обладавший детски смазливим личиком, привык к такого рода оскорблениям, но сегодня они ему особенно досаждали. Почему у него в двадцать два года, не растут хотя бы усы? Почему в нем росту всего только пять футов и пять с половиной дюймов? Почему проклятая судьба наделила его бело-розовым цветом лица, за который товарищи по клубу дразнят его Младенцем, а уличные мальчишки пристают к нему, выпрашивая поцелуй? Почему у него голос как флейта, более подходящий для... Внезапно у него мелькнула блестящая мысль. Джонни бросилась в глаза вывеска парикмахерской, и он поспешил зайти.

— Постричься, сэр? — осведомился парикмахер, окутывая его простыней.

— Нет, побриться.

— Извините. — Парикмахер поспешил заменить простыню полотенцем. — И часто вы бреетесь, сэр?

— Да.

— Тэк-с... Хорошая сегодня погодка.

— Очень хорошая.

От парикмахера Джонни направился к костюмеру Стинчкумбу на Друри-лейн.

— Я участвую в пантомиме, — объявил ему Младенец. — Пожалуйста, подберите мне полный костюм современной молодой девушки.

— Найдется, — сказал костюмер. — У меня есть как раз то, что вам надо. Пожалуйста.

— Имейте в виду, — предупредил его Младенец, — что мне нужно все, от ботинок до шляпки включительно, — и корсет и юбки, словом, вся обмундировка.

— О, у меня здесь полное приданое. — Костюмер уже доставал вещи из холщового мешка и выкладывал их на прилавок. — Вот, прошу примерить.

Младенец удовольствовался тем, что примерил платье и ботинки.

— Словно на вас шито, — восхищался костюмер.

— Немного широко в груди.

— Это ничего. Подложите парочку полотенец — ничего не будет заметно.

— Вы не находите, что этот костюм слишком криклив?

— Криклив? Помилуйте! Он на редкость элегантен.

— Вы уверены, что тут все, что нужно?

— Будьте благонадежны. Хоть сейчас надевать.

Младенец оставил задаток. Костюмер записал его фамилию и адрес и обещал через час прислать ему вещи на дом. Младенец, вошедший во вкус этой игры, купил себе новые перчатки и сумочку и направился на Боу-стрит.

— Мне нужен дамский парик, светло-каштановый.

Парикмахер предложил ему два на выбор. Второй, по мнению парикмахера, давал полную иллюзию.

— Он выгладит естественнее, чем ваши собственные волосы, ей-богу, сэр, — уверял парикмахер.

Парик тоже обещали прислать через час. Теперь, кажется, все. По пути домой Младенец приобрел еще дамский зонтик и вуаль.

Четверть часа спустя после ухода Джонни Булстрода от костюмера в тот же самый магазин зашел некий Гарри Беннет, актер и также член клуба Автолика. В магазине никого не было. Гарри Беннет постучал тростью об пол и стал дожидаться хозяина. На прилавке лежала целая куча женского платья, а сверху листок с фамилией и адресом. Гарри Беннет от нечего делать подошел ближе и прочел фамилию. Потом разворошил тростью кучу, разбросав по прилавку разные принадлежности дамского туалета.

— Что вы делаете! — воскликнул вошедший в эту минуту костюмер. — Это сейчас надо посылать.

— На кой черт Джонни Булстроду понадобилось это тряпье? — спросил Гарри Беннет.

— А я разве знаю. Должно быть, участвует в любительском спектакле. Это ваш приятель?

— Да. А из него выйдет прехорошенькая девушка. Интересно бы взглянуть.

— Ну что ж, попросите у него билет. Да осторожнее же, не запачкайте.

— Попрошу, — сказал Гарри Беннет и стал выбирать костюм для своей новой роли.

Парик и костюм были доставлены Джонни на квартиру не через час, а через три часа; впрочем, он другого и не ждал. На одеванье ушел почти час, но вот он наконец стоял перед зеркалом, совершенно преображенный. Джонни остался доволен: из зеркала платяного шкафа на него глядела высокая красивая девушка, пожалуй, немного кричаще одетая, но, бесспорно, шикарная.

— Интересно знать, нужно ли сверху надеть пальто, — размышлял Джонни, в то время как солнечный луч, скользнувший в окно, осветил его изображение в зеркале. — Впрочем, пальто у меня все равно нет, так что нечего и раздумывать.

Солнечный луч погас. Джонни захватил сумочку и зонтик и осторожно приотворил дверь. В коридоре ни души. Джонни крадучись спустился с лестницы и на нижней площадке подождал. Из кухни в подвале доносились голоса. Чувствуя себя, словно сбежавший преступник, Джонни тихонько нажал на ручку входной двери и выглянул на улицу. Шагавший по тротуару полицейский обернулся и посмотрел на него. Джонни поспешно отскочил назад и затворил дверь. Послышались шаги: кто-то поднимался из кухни. Очутившись между двух огней и не имея времени раздумывать, Джонни выбрал более близкий путь к спасению и выскочил на улицу. Ему показалось, что вся улица на него сейчас набросится. Навстречу ему скорым шагом шла женщина. Что она ему скажет? Что он ей ответит? К удивлению Джонни, женщина прошла мимо, словно и не заметив его. Не понимая, какое чудо его спасло, он сделал несколько шагов по тротуару. Два юных клерка, обогнавших его, обернулись, но, встретив его испуганный и сердитый взгляд, видимо, сконфузились и пошли своей дорогой. Джонни начинал думать, что люди менее сообразительны, чем он опасался. Приободрившись, он благополучно дошел до Холборна. Здесь былолюдно, но на него никто не обращал внимания.

— Извините, — сказал Джонни, наткнувшись на толстого пожилого господина.

— Это я виноват, — улыбнулся толстяк, поднимая упавшую шляпу.

— Извините, — повторил Джонни минуты две спустя, нечаянно толкнув высокую молодую даму.

— Не худо бы вам полечиться от косоглазия, — строго заметила дама.

«Что это со мной такое? — думал Джонни. — Как будто туман какой перед глазами. Ах да! Это вуаль, черт бы ее побрал».

Джонни решил дойти до конторы «мраморного» мыла пешком. «Так, постепенно, я успею освоиться с этим дурацким костюмом, — думал он. — Надо надеяться, что старикашка будет на месте».

Дойдя до Ньюгет-стрит, Джонни остановился и прижал руки к груди. «Странная какая-то боль, — подумал он. — Сейчас бы коньяку глотнуть, да, наверно, нельзя — народ испугаешь».

«Все время теснит в груди, — уже с тревогой говорил себе Джонни на углу Чипсайда. — Уж не болен ли я?.. Тьфу, да ведь это чертов корсет давит... не удивляюсь, что девицы иной раз бывают так раздражительны».

В главной конторе «мраморного» мыла Джонни приняла чрезвычайно любезно. Мистера Джауита сейчас нет, но он обещался быть к пяти часам. Не уютно ли барышне подождать, или, может быть, она зайдет попозже? Барышня решила — раз уж она здесь — лучше подождать. Вот в этом кресле барышне будет покойнее. Как прикажет барышня — закрыть окно или оставить его открытым? Не желает ли барышня посмотреть последний номер «Таймс»?

— Или «Шутника»? — предложил самый юный из клерков, за что и был моментально выпровожен за дверь.

У многих из старших клерков нашелся повод пройти через приемную. Двое даже остановились, весьма пространно обмениваясь замечаниями о погоде. Джонни начинало это нравиться. Приключение сулило ему много радостей. К тому времени, когда хлопанье дверей и беготня клерков возвестили о приходе шефа, Джонни уже с удовольствием предвкушал свидание с ним.

Оно было кратко и не вполне оправдало ожидания Джонни. Мистер Джауит очень занят, он, собственно, принимает только по утрам, но, разумеется, для дамы... не общит ли мисс...

— Монтгомери.

— Не сообщит ли мисс Монтгомери мистеру Джауиту, чему он обязан удовольствием?..

Мисс Монтгомери сообщила.

Мистеру Джауиту, видимо, было и смешно, и досадно.

— Право же, — сказал мистер Джауит, — это не дело. От нашего брата мужчины мы умеем себя оградить, но если нас атакуют дамы — право же, это даже недоброе дело.

Мисс Монтгомери стала просить.

— Я подумаю, — вот все, что обещал мистер Джауит. — Зайдите ко мне еще раз.

— Когда?

— Какой сегодня день? Четверг? Ну, скажем, в понедельник. — Мистер Джауит позвонил и отечески потрепал по плечу гостью. — Послушайтесь моего совета, барышня, — предоставьте дела нам, мужчинам. Вы хорошенькая девушка. Вы можете устроиться иначе — и лучше.

Вошел один из клерков. Джонни встал.

— Так, значит, в понедельник? — переспросил он.

— В четыре часа. Будьте здоровы.

Джонни ушел, несколько разочарованный, хотя в конце концов дело обошлось не так уж плохо. Как бы то ни было, придется подождать до понедельника, а теперь скорей домой, переодеться и поесть. Он кликнул извозчика.

— Квин-стрит, номер двадцать восьмой... Нет, не так. Остановитесь на углу Квин-стрит и Линкольнс-Инн-Филдс.

— Правильно, мисс, на углу оно, понятное дело, удобнее, сплетен меньше.

— Что такое?

— Не обижайтесь, мисс. Все мы были молоды.

На углу Квин-стрит и Линкольнс-Инн-Филдс Джонни вышел и, думая совсем о другом, машинально сунул руку туда, где он привык находить карман. Потом он опомнился.

«Да взял ли я с собой деньги?» — соображал Джонни.

— Посмотрите в сумочке, мисс, — посоветовал извозчик.

Джонни посмотрел. Сумочка была пуста.

— Может быть, он в кармане, — вслух подумал Джонни.

Извозчик намотал вожжи на ручку кнута и расположился поудобнее.

— Где-нибудь он должен же быть, — бормотал себе под нос Джонни. — Я помню, я видел его. Простите, что заставляю вас ждать, — обратился он к извозчику.

— Не извольте беспокоиться, мисс, дело привычное, мы за подождание берем только по шиллингу за четверть часа.

— Надо же случиться такой глупости... — бормотал Джонни.

Двое мальчуганов и девочка с грудным ребенком на руках остановились, заинтересованные.

— Ступайте отсюда, — сказал извозчик. — Подрастете — тогда узнаете, какие бывают в жизни неприятности.

Мальчуганы отошли немного и опять остановились; к ним присоединилась неряшливо одетая женщина и еще один мальчик.

— Есть! — крикнул Джонни, не в силах удержать восторга, когда рука его наконец скользнула куда-то внутрь. Девочка с ребенком на руках пронзительно захохотала, сама не зная чему. Но радость Джонни мгновенно погасла — дыра оказалась не карманом. Выходило, что карман можно найти, только если снять юбку и вывернуть ее наизнанку.

И тут, когда надежды почти не оставалось, Джонни вдруг нашел его. Увы! Он был пуст, как и сумочка.

— Мне очень жаль, — обратился Джонни к извозчику, — но, по-видимому, мой кошелек остался дома.

Извозчик сказал, что это старая штука, и начал спускаться на землю. Зрители, которых набралось уже одиннадцать человек, насторожились в ожидании скандала. Впоследствии Джонни сообразил, что мог бы предложить извозчику свой зонтик, он стоил, уж конечно, больше восемнадцати пенсов. Но такие мысли приходят в голову задним числом. В данный же момент он видел единственное спасение в бегстве.

— Эй вы, подержите-ка кто-нибудь лошадь! — крикнул извозчик.

Дюжина рук услужливо выхватила у него вожжи, и задремавшая было кляча стала бешено порываться вперед.

— Эй! Остановите ее! — кричал извозчик.

— Упала! — в восторге заорали зрители.

— На подол себе наступила, — пояснила неряшливо одетая женщина. — В этих юбках бегать — не дай Бог.

— Нет, ничего, встала! — взвизгнул юный водопроводчик и в упоении шлепнул себя по ляжке. — Ох, и здорово бежит, черт ее подери!

К счастью, площадь была безлюдна, а Джонни был мастер бегать. Высоко подобрав левой рукой юбки, верхнюю и нижнюю, он мчался через площадь со скоростью пятнадцати миль в час. Мальчишка из мясной лавки кинулся ему наперерез, расставив руки, чтобы загородить дорогу. Мальчишку этого потом три месяца дразнили тем, как «барышня» швырнула его наземь. К тому времени, когда Джонни добежал до Стрэнда, погоня осталась далеко позади. Джонни опустил юбки и перешел на более женственный аллюр. Через Боу-стрит и Лонг-Эйкр он благополучно добрался до Грейт-Квин-стрит и на пороге своего дома покатился со смеху. Приключения его были очень забавны, но все же он не жалел, что они пришли к концу. Даже и самые остроумные шутки могут надоесть. Джонни позвонил.

Дверь отворилась. Джонни хотел войти, но рослая костлявая женщина загородила ему дорогу.

— Вам чего? — осведомилась костлявая женщина.

— Хочу войти, — объяснил Джонни.

— А зачем это вам понадобилось?

Вопрос показался Джонни нелепым, но, поразмыслив, он сообразил. Перед ним была не миссис Пегг, его хозяйка, а, видимо, какая-то ее приятельница.

— Да вы не беспокойтесь. Я живу здесь. Просто я забыл взять с собой ключ, только и всего.

— Тут во всем доме ни одной женщины нет. И не будет, — решительно заявила костлявая женщина.

Все это было очень досадно. Джонни совершенно не предвидел таких осложнений. Он так радовался, что добрался до дому. А теперь придется объяснять... Хоть бы, по крайней мере, не дошло до клуба!..

— Попросите миссис Пегг выйти сюда на минутку.

— Ее дома нет.

— Как, дома нет?

— Уехала в Рамфорд, если желаете знать, с матерью повидаться.

— В Рамфорд?

— Сказано вам — в Рамфорд, чего же еще?..

— Когда... когда она вернется?

— В воскресенье вечером, к шести часам.

Джонни взглянул на костлявую женщину, представил себе, как он будет рассказывать ей истинную, неприкра-

шенную правду, а она не поверит ни единому его слову. И вдруг его осенило.

— Я сестра мистера Булстрода, — робко сказал Джонни. — Он ждет меня, он знает, что я приеду.

— Да ведь вы, кажется, говорили, что живете здесь.

— Я хотела сказать, что он живет здесь, — еще более четко пояснил бедный Джонни, — на втором этаже, вы же знаете.

— Знаю. Есть такой. Но только его сейчас дома нету.

— Дома нету?

— Ушел, еще в три часа.

— Я пройду в его комнату и подожду его.

— Никуда вы не пройдете.

На минуту у Джонни мелькнула мысль отшвырнуть ее и силой войти, но вид у костлявой женщины был грозный и решительный. Выйдет скандал, чего доброго, пошлют за полицией. Джонни часто хотелось увидеть свое имя в печати, но сейчас он такого желания почему-то не испытывал.

— Пожалуйста, впустите меня, — взмолился Джонни. — Мне больше некуда идти.

— А вы погуляйте, проветритесь. Он, наверное, скоро вернется.

— Но дело в том, что...

Костлявая женщина захлопнула дверь. У подъезда ресторана на Веллингтон-стрит, откуда доносились всякие вкусные запахи, Джонни остановился, чтобы собраться с мыслями.

— О черт! Куда же это я девал свой зонтик? Я... нет, нет! Должно быть, я обронил его, когда этот осел хотел меня задержать. Ну и везет же мне, ей-богу!

У следующего ресторана, на Стрэнде, Джонни опять остановился.

— Как же мне дожить до воскресенья вечером? Где я буду ночевать? Дать телеграмму домой? Черт побери, ведь мне же не на что даже телеграмму послать. Вот потеха, честное слово!.. — Сам того не замечая, Джонни стал говорить вслух. — О, поди ты к...

Последние слова Джонни обращены были к долговязому рассильному, вздумавшему было выразить ему сочувствие.

— Вот так здорово! — изумилась проходившая мимо цветочница. — А небось корчит из себя благородную!

Торговец, продававший пуговицы и запонки с ларька на углу, вздохнул:

— Нынче все благородные...

Мысль, сперва неясная, потом все более и более отчетливая, увлекала Джонни по направлению к Бедфорд-стрит. «Почему бы и нет? — говорил себе Джонни. — Пока еще ни у кого не явилось подозрения. Почему именно они должны догадаться? Если они узнают меня, они меня задрамят насмерть, но почему непременно они должны узнать? А что-нибудь предпринять необходимо».

Он быстро пошел дальше. У подъезда клуба Автолика он минутку помедлил, потом набрался храбрости и толкнул входную дверь.

— Мистер Херринг, мистер Джек Херринг здесь?

— Вы найдете его в курительной, мистер Булстрод, — ответил старик швейцар, не поднимая глаз от вечерней газеты.

— Будьте добры, попросите его на минутку выйти сюда.

Старый Гослин поднял голову, снял очки, протер их и опять надел на нос.

— Скажите, пожалуйста, что его спрашивает мисс Булстрод, сестра мистера Булстрода.

Когда старый Гослин заглянул в курительную, там шел серьезный спор о Гамлете — был он помешан или только притворялся.

— Мистер Херринг, вас спрашивает дама.

— Кто меня спрашивает?

— Дама, сэ. Мисс Булстрод, сестра мистера Булстрода.

Она дожидается внизу.

— Я даже не знал, что у него есть сестра, — сказал Джек Херринг, вставая с места.

— Погодите минутку, — сказал Гарри Беннет, — затворите-ка дверь. Не уходите. — Швейцар притворил дверь и вернулся обратно. — Дама в сиреневом платье с кружевным воротничком и тремя воланами на юбке?

— Точно так, мистер Беннет.

— Это он сам — Младенец.

Вопрос о помешательстве Гамлета был мгновенно забыт.

— Я нынче утром заходил к Стинчкumbu, — объяснил Гарри Беннет, — и видел на прилавке полный женский кос-

твом, который собирались отправить Джонни на квартиру. Платье — то самое. Это он вздумал подшутить над нами.

Члены клуба переглянулись.

— Я вижу здесь большие возможности, если только взяться за дело умеючи, — помолчав, заметил Шотландец.

— Правильно, — поддержал его Джек Херринг. — Подождите меня здесь, жаль будет, если мы испортим дело.

Через десять минут Джек вернулся и шепотом стал рассказывать.

— Необычайно грустная история: бедная девушка сегодня приехала из Дербишира повидаться с братом, не застала его дома, оказывается, он ушел в три часа, и она боится, не случилось ли с ним чего-нибудь! Хозяйка уехала в Рамфорд, к матери, и оставила вместо себя какую-то старую каргу, которая не пускает бедняжку в комнату брата подождать его.

— Как это печально, когда невинное, беспомощное существо попадает в беду! — вздохнул Сомервилль, по прозвищу Адвокат-без-практики.

— Это еще не самое худшее, — продолжал Джек. — Бедную девочку обокрали, даже зонтик стащили, и она сидит без гроша, не обедала и не знает, где бы ей переночевать.

— Ну, это он уж того, переборщил, — заметил Порсон.

— Мне кажется, я понимаю, — сказал Адвокат-без-практики. — Случилось вот что. Он решил потешиться над нами, нарядился барышней и вышел из дому, не захватив с собой ни денег, ни ключа от входной двери. Хозяйка, может быть, действительно уехала в Рамфорд, а если даже не уехала, все-таки ему пришлось бы звонить, объясняться. Чего же он просит — соверен займы?

— Даже два.

— Ага, это он хочет купить себе костюм. Не давай ему, Джек. Наш долг — показать ему все безрассудство таких нелепых эскапад.

— Ну, покормить его обедом все же следовало бы, — вставил словечко добрый толстяк Порсон.

— Я предлагаю вот что, — усмехнулся Джек. — Давайте сведем его к миссис Постуисл. Она мне до известной степени обязана — это я устроил в ее лавочке почтовую контору. Препоручим его ее материнским заботам, пусть там пере-

ночует, а завтра мы начнем его «развлекать», и вы увидите — ему первому надоеет эта шутка.

План понравился, семеро членов клуба Автолика пошли проводить «мисс Булстрод» до ее новой квартиры, и все завидовали Джеку Херрингу, удостоившемуся чести нести ее сумочку. Все семеро дали понять «мисс Булстрод», что они душою рады услужить ей, хотя бы из дружеского расположения к ее брату — «удивительно милый мальчик! Правда, умом не блещет, ну да это ведь не его вина». Однако «мисс Булстрод» особой признательности, по-видимому, не чувствовала. Она твердила свое: может, кто-нибудь даст ей займы два соверена, тогда она никому больше не доставит хлопот. Но на это они, в ее же интересах, не соглашались. Джек напомнил ей, что ведь один раз ее уже обокрали. Лондон — город опасный для молодых и неопытных. Гораздо лучше, если они будут оберегать ее и заботиться о ней — много ли девушке надо? Очень неприятно отказывать даме в таком пустяке, но благополучие сестры их дорогого товарища превыше всего. «Мисс Булстрод» сокрушалась, что отнимает у них столько времени. Джек Херринг возражал, что ни один порядочный англичанин не пожалеет о времени, потраченном на то, чтобы выручить из беды прелестную девушку.

Прибыв на место, Джек Херринг отозвал миссис Постуисл в сторонку.

— Это сестра одного нашего хорошего знакомого, — сообщил Джек Херринг.

— Красивая девушка, — одобрила миссис Постуисл.

— Я утром опять зайду. А пока что вы не спускайте с нее глаз и, главное, не давайте ей денег займы.

— Понятно, — сказала миссис Постуисл.

«Мисс Булстрод» отлично поужинала холодной бараниной и бутылкою пива, откинулась на спинку стула, заложила ногу на ногу и, глядя в потолок, мечтательно заметила:

— Интересно знать, какой вкус в папироске. Мне часто хотелось попробовать.

— Прескверный вкус, особенно если кто не привык, — ответила миссис Постуисл, сидевшая тут же, с вязаньем в руках.

— А я слышала, что некоторые девушки курят.

— Ну, это что уж за девушки!

— Я знала одну очень милую девушку, — продолжала «мисс Булстрод», — которая всегда выкуривала папироску после ужина. Она говорила, что это успокоительно действует на нервы.

— Будь она на моем попечении, она бы этого не говорила, — заметила миссис Постуисл.

«Мисс Булстрод» беспокойно заерзала на своем стуле.

— Знаете что? Я не прочь прогуляться перед сном, — сказала она.

Миссис Постуисл отложила вязанье.

— Ну что ж, пойдете.

— Зачем же вам беспокоиться? Вы, наверно, устали.

— Ничуть. Мне тоже будет полезно подышать свежим воздухом.

В некоторых отношениях миссис Постуисл оказалась весьма удобной спутницей. Она не задавала вопросов, а только отвечала, когда ее спрашивали, что в этот вечер бывало нечасто. Через полчаса «мисс Булстрод» сказала, что у нее разболелась голова и, пожалуй, ей лучше вернуться домой и лечь спать. Миссис Постуисл тоже нашла, что это будет самое благоразумное.

— Да уж, конечно, лучше, чем без дела шататься по улицам, — проворчал Джонни, притворяя за собой дверь своей спальни. — Завтра я должен добыть себе папирос, хотя бы для этого пришлось обокрасть ее кассу. Это что же такое? — Джонни на цыпочках подкрался к двери. — Черт побери! Заперла!

Джонни сел на кровать и принялся обдумывать свое положение. «Я, кажется, никогда не выпутаюсь из этой истории!.. — Он расшнуровал корсет. — Слава тебе, Господи! — прошептал он благочестиво, любясь тем, как тело его постепенно принимает нормальные очертания. — Но, кажется, я успею привыкнуть к нему раньше, чем мне удастся от него избавиться».

Ночью ему снились самые нелепые сны.

Весь следующий день — пятницу — Джонни оставался «мисс Булстрод», надеясь, вопреки рассудку, что ему удастся вернуть себе свободу, ни в чем не сознавшись. Весь клуб Автолика, по-видимому, влюбился в него.

«Мне казалось, что я сам слабоват по части женского пола, — размышлял Джонни. — Но эти идиоты! Можно подумать, будто они никогда не видали женщины!»

Они являлись поодиночке и небольшими группами и изъясняли свои чувства. Даже миссис Постуисл, привыкшая все принимать спокойно и без рассуждений, на этот раз сказала Джеку Херрингу:

— Когда это вам надоест, вы меня предупредите.

— Как только мы разыщем ее брата, разумеется, мы тотчас же свезем ее к нему.

— А вы бы поискали его там, где его можно найти.

— Что вы хотите сказать? — удивился Джек.

— А ничего — то, что сказала.

Джек посмотрел на миссис Постуисл. Но лицо у нее было не из выразительных.

— Ну что — как у вас идет дело с почтовой конторой? — осведомился Джек.

— Почтовая контора для меня большое подспорье, и я не забыла, что обязана этим вам.

— Полноте, я не к тому.

Они приносили подарки, недорогие, больше так, для памяти или в знак уважения, — конфеты, букетики, флаконы духов. Сомервиллю «мисс Булстрод» намекнула что, если он действительно хочет доставить ей удовольствие, а не просто «заливает» — за это жаргонное словечко она извинилась, выразив опасение, что позаимствовала его у брата, — то пусть бы он принес ей коробку папирос «Мессани № 2». Сомервилль огорчился. Он, может быть, отстал от века, но... «Мисс Булстрод» оборвала его на полуслове, подтвердив, что так оно и есть, а потом надулась и замолчала.

Юную гостью водили в Музей восковых фигур. Водили на самый верх Монумента. Водили в Тауэр. Вечером ее повели в Политехникум смотреть «Духа Питера».

— Вот этим так весело, — говорили с изумлением и завистью другие туристы.

— Ну, барышне-то не видно, чтобы было очень весело, — возражали более наблюдательные.

— Да, она у них какая-то угрюмая, — соглашались дамы.

Стойкость, с какою «мисс Булстрод» переносила таинственное исчезновение своего брата, повергала ее поклонников в изумление и восторг.

— Может, телеграфировать вашим родным в Дербишир? — предлагал Джек Херринг.

— Ради Бога, не надо! — горячо протестовала «мисс Булстрод». — Они страшно перепугаются. Самое лучшее будет, если вы одолжите мне два соверена и дадите мне возможность вернуться домой.

— Ах нет, что вы! Вас, чего доброго, опять ограбят. Я поеду провожать вас.

Но «мисс Булстрод» уже передумала:

— Может быть, Джонни завтра вернется. Он, вероятно, поехал погостить к кому-нибудь из знакомых.

— Ему не следовало этого делать, раз он знал, что вы приедете.

— Ну уж он всегда такой...

— Если б у меня была молодая и красивая сестренка...

— Ах, как вы мне надоели! Поговорим о чем-нибудь другом.

Джек Херринг в особенности выводил из терпения Джонни. Он, видимо, с первого взгляда был покорен красотою «мисс Булстрод», и вначале это даже забавляло Джонни. В уединении своей девичьей светелки Джонни теперь горько корил себя за то, что своим кокетством поощрял ухаживания Джека. От восхищения Херринг быстро перешел к влюбленности и теперь смотрел совсем идиотом. Настолько, что, не будь Джонни так поглощен своими заботами, это могло бы показаться ему подозрительным. Но после всего случившегося он ничему уже не удивлялся. «Слава Богу, — говорил он себе, гася свечу, — эта миссис Постуисл, кажется, надежная женщина».

В тот самый момент, когда Джонни склонил на подушку усталую голову, его товарищи в клубе обсуждали план увлечений на завтрашний день.

— Я думаю, — говорил Джек Херринг, — самое лучшее будет утречком свести ее в Хрустальный дворец. Утром там никого не бывает.

— А днем в Гринвичский госпиталь, — посоветовал Сомервилль.

— А вечером послушать негритянский оркестр, — предложил Порсон.

— Вряд ли это удобно для молодой девицы, — усомнился Джек. — Они иной раз отпускают такие шуточки...

- Мистер Брэндрем завтра вечером читает «Юлия Цезаря», – сообщил Шотландец ко всеобщему сведению.
- О чем это вы совещаетесь? – спросил только что вошедший Александр-Поэт.
- О том, куда бы повести завтра вечером мисс Булстрод.
- Мисс Булстрод? – не без удивления переспросил Поэт. – Вы говорите о сестре Джонни?
- Вот именно. А ты откуда знаешь? Ведь ты же был в Йоркшире.
- Вчера вернулся. И ехал с нею вместе.
- Ехал с нею вместе?
- Да, от Мэтлок-Бата. Да что с вами со всеми? У вас такой вид...
- Присядь, – пригласил его Адвокат-без-практики. – Давайте обсудим все спокойно.
- Александр, заинтересованный, сел.
- Ты говоришь, что вчера приехал в Лондон с мисс Булстрод. Ты уверен, что это была мисс Булстрод?
- Уверен? Да я ее с детства знаю.
- Когда ты приехал в Лондон?
- В половине четвертого.
- И что же с нею случилось? Куда она должна была ехать с вокзала?
- А я не спросил ее. Видел только, как она садилась в кеб. Я торопился и... что это такое с Херрингом?
- Херринг вскочил и, схватившись за голову, быстро шагнул из угла в угол.
- Не обращай внимания. Мисс Булстрод – ей сколько лет?
- Восемнадцать – нет, уже девятнадцать исполнилось.
- Она такая высокая, красивая?
- Да. А что, с ней что-нибудь случилось?
- Ничего. С нею-то ровно ничего не случилось. Весело проводит время, и только.
- Поэт был рад это слышать.
- Час тому назад, – начал Джек Херринг, все еще сжимая голову руками, как бы для того, чтоб удостовериться, что она на месте, – час тому назад я спросил ее, может ли она когда-нибудь полюбить меня? Как вы думаете, можно рассматривать это как предложение руки и сердца?

Все члены клуба сошлись на том, что это равносильно предложению.

— Но позвольте. Почему же? Я просто так спросил, без всякой цели.

Члены клуба в один голос заявили, что это увертка, недостойная джентльмена.

Времени терять было нельзя. Джек Херринг тут же сел писать письмо мисс Булстрод.

— Но я не понимаю... — начал Поэт.

— Господа, да уведите его куда-нибудь и объясните ему! — простонал Джек Херринг. — Я не в состоянии думать, когда кругом такой шум.

— Но почему же Беннет?.. — прошептал Порсон.

— А где Беннет? — крикнуло сразу несколько голосов. Беннета со вчерашнего дня не видали.

Письмо Джека «мисс Булстрод» получила на другое утро, за завтраком. Прочитав его, «мисс Булстрод» встала и попросила миссис Постуисл дать ей взаймы полкроны.

— Мистер Херринг наказывал мне ни под каким видом не давать вам денег, — сказала миссис Постуисл.

«Мисс Булстрод» протянула ей письмо.

— Прочтите это, и вы, может быть, согласитесь со мной, что ваш Херринг осел.

Миссис Постуисл прочла письмо и принесла полкроны.

— Я бы вам советовала первым делом побриться — конечно, если вам не надоело валять дурака.

«Мисс Булстрод» сделала большие глаза. Миссис Постуисл преспокойно продолжала завтракать.

— Не говорите им! — умолял Джонни. — По крайней мере, сейчас не говорите.

— И не подумаю. Мне-то какое дело.

Двадцать минут спустя настоящая мисс Булстрод, гостившая у своей тетки в Кенсингтоне, изумлялась, читая наскоро набросанную записку, которую доставил ей в конверте рассылный: «Мне нужно поговорить с тобой, наедине. Не кричи, когда увидишь меня. Ничего особенного не случилось. Объясню в двух словах. Любящий тебя брат Джонни».

Двух слов оказалось мало, но в конце концов Младенец все объяснил.

— Долго ты еще будешь смеяться? — спросил он.

— Но ты такой уморительный в этом наряде, — оправдывалась сестра.

— Они этого не находили. Я их здорово провел. Держу пари, что за тобой никогда так не ухаживали.

— А ты уверен, что провел их?

— Приходи в клуб сегодня вечером в восемь часов и увидишь. Может быть, потом я сведу тебя в театр, если ты будешь умницей.

Сам Младенец явился в клуб около восьми часов. Его встретили очень сдержанно.

— Мы уж хотели разыскивать тебя через полицию, — сухо заметил Сомервилль.

— Меня вызвали неожиданно, по очень важному делу. Страшно признателен вам, господа, за все, что вы сделали для моей сестры. Она только что рассказала мне.

— Ну полно, стоит ли об этом говорить?

— Нет, правда, я вам страшно благодарен. Не знаю, что бы она делала без вас.

Члены клуба наперебой уверяли, что это сущие пустяки. Их скромность и упорное нежелание вспоминать о своих добрых делах были прямо трогательны. Они все время старались перевести разговор на другую тему.

— Особенно восторженно она отзывалась о тебе, Джек, — упорствовал Младенец. — Я никогда не слышал, чтоб она кем-либо так восхищалась.

— Ты же понимаешь, голубчик, что для твоей сестры... все, что я был в силах...

— Знаю, знаю, я всегда чувствовал, что ты меня любишь.

— Ну полно же, будет об этом! — умолял Джек Херринг.

— Только вот письма твоего сегодняшнего она как-то не поняла, — продолжал Младенец, игнорируя просьбу Джека. — Она боится, что ты счел ее неблагодарной.

— Видишь ли, — принялся объяснять Джек Херринг, — я опасался, что две-три моих фразы она могла истолковать неправильно. И я написал ей, что бывают дни, когда я как будто не в себе — сам не знаю, что делаю.

— Это неудобно, — заметил Младенец.

— Очень. Вот и вчера был один из таких дней.

— Сестра мне говорила, что ты был очень добр к ней. Сначала ей показалось не очень любезным с твоей сторо-

ны, что ты не хотел одолжить ей немного денег. Но, когда я объяснил ей...

— Конечно, это было глупо, — поспешил согласиться Джек. — Теперь я это вижу. Я сам нынче утром пошел объяснить с ней. Но ее уже не было, а миссис Постуисл советовала мне лучше и не объясняться. Я так ругаю себя...

— Голубчик, за что же ты ругаешь себя? Ты поступил благородно. Она нарочно хотела сегодня зайти в клуб, чтобы поблагодарить тебя.

— Ни к чему это, — сказал Джек Херринг.

— Вздор! — сказал Младенец.

— Нет, право. Ты извини меня, но все-таки я лучше не выйду к ней. Лучше мне с ней не встречаться.

— Да она уже здесь, — возразил Младенец, беря из рук швейцара визитную карточку. — Ей это покажется странным.

— Нет, право, я лучше не пойду, — жалобно повторил Джек.

— Это невежливо, — заметил Сомервилль.

— Иди сам.

— Меня она не желает видеть.

— Как не желает? — возразил Младенец. — Я забыл сказать, что она обоих вас желает видеть.

— Если я ее увижу, — сказал Джек, — я скажу ей всю правду.

— А знаешь, я думаю, это будет проще всего, — решил Сомервилль.

Мисс Булстрод сидела в вестибюле; и Джек и Сомервилль нашли, что ее теперешнее, более скромное платье гораздо больше ей к лицу.

— Вот они, — торжественно возвестил Джонни. — Вот Джек Херринг, а вот и Сомервилль. Представь себе, я едва убедил их выйти повидаться с тобой. Милый старый Джек, он так застенчив.

Мисс Булстрод поднялась с кресла и сказала, что не знает, как благодарить их за всю их доброту к ней. Мисс Булстрод, по-видимому, была очень растрогана, голос ее дрожал от волнения.

— Первым делом, мисс Булстрод, — начал Джек Херринг, — мы считаем необходимым признаться вам, что все это время мы принимали вас за вашего брата, переодетого в женское платье.

— А-а! — воскликнул Младенец. — Так вот в чем дело? Если б я только знал... — Он запнулся и горько пожалел о своих словах.

Сомервиль схватил его за плечи и поставил рядом с сестрой под газовым рожком.

— Ах ты... негодник! — сказал Сомервиль. — Да ведь это все-таки был ты.

Младенец, видя, что игра проиграна, и утешаясь тем, что не он один одурачен, сознался во всем.

В тот вечер — и не только в тот вечер — Джек Херринг и Сомервиль были с Джонни и его сестрой в театре. Мисс Булстрод нашла Джека Херринга «очень милым» и сказала об этом брату. Но Сомервиль, Адвокат-без-практики, понравился ей еще больше и впоследствии, когда Сомервиль, уже утративший право на свое прозвище, подверг ее допросу, призналась ему в этом сама.

Но все это не имеет отношения к нашей истории. Кончается она тем, что в условленный день, в понедельник, мисс Булстрод явилась под видом «мисс Монтгомери» к Джауиту и заручилась для последней страницы «Хорошего настроения» объявлением о «мраморном» мыле на шесть месяцев, по двадцати пяти фунтов стерлингов в неделю.

Из сборника
«ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ В 1905 Г.»
(1905)

СЛЕДУЕТ ЛИ ЖЕНАТОМУ ЧЕЛОВЕКУ
ИГРАТЬ В ГОЛЬФ?

Излишне говорить, что мы, англичане, придаем спорту чрезмерно большое значение, — вернее, это говорилось так часто, что стало общим местом. Того и гляди какой-нибудь радикально настроенный английский романист напишет книгу, рисующую все зло, к которому приводит злоупотребление спортом: запущенные дела, разбитая семья, медленное, но неуклонное истощение мозга — которого и без того было не так уж много, — влекущее за собой частичное слабоумие и прогрессирующее с каждым годом ожирение.

Однажды мне рассказали о молодой парочке, которая решила провести свой медовый месяц в Шотландии. Бедняжка не знала, что ее муж увлекается игрой в гольф (он ухаживал за ней и покорила ее сердце в период вынужденной праздности, вызванной растяжением плеча), иначе она, вероятно, отказалась бы от поездки в Шотландию. Первоначально они задумали совершить путешествие. На второй день супруг вышел прогуляться в одиночестве. За обедом он с рассеянным видом заметил, что им посчастливилось набрести на чудесное местечко, и предложил остаться еще на один день. Наутро после завтрака он раздобыл у швейцара палку для гольфа и сказал жене, что пойдет погулять, пока она причесывается. По его словам, помахивание палкой на ходу доставляло ему развлечение. Он вернулся ко второму завтраку и целый день был не в духе. Сославшись на то, что здешний воздух полезен для его здоровья, он убедил ее отложить отъезд еще на один день.

Она была молода и неопытна и решила, что у мужа не в порядке печень. Она много слышала о болезнях печени от своего отца. На следующее утро, захватив еще несколько палок, он ушел, на этот раз не дожидаясь завтрака, и вернулся к обеду поздно и в не слишком общительном расположении духа. На этом и кончился их медовый месяц, во всяком случае для нее. У него были самые лучшие намерения, но дело зашло слишком далеко. Порок проник ему в кровь, и при виде поля для игры в гольф он забыл обо всем на свете.

Многие, я уверен, слышали историю о священнике, увлекавшемся гольфом, который, промахнувшись, всякий раз не в состоянии был удержаться от ругательства.

— Гольф и служение Богу несовместимы, — сказал один из его друзей. — Послушайся моего совета, Тэммас, и брось его, пока не поздно.

Через несколько месяцев они встретились снова.

— Ты был прав, Джейми! — жизнерадостно закричал священник. — Они здорово мешали друг другу, гольф и служение Господу; я послушался твоего совета и бросил его.

— В таком случае, зачем тебе понадобился этот чехол с палками? — осведомился Джейми.

— Зачем мне палки? — повторил в недоумении Тэммас. — Разумеется, для того, чтобы играть в гольф. — Тут он понял, в чем дело. — Спаси тебя Господь, парень, — воскликнул он, — уж не взбрело ли тебе в голову, что я бросил гольф?

Понятие игры англичанину недоступно. Он превращает спорт в пожизненную каторгу, принося ему в жертву свою душу и тело. Можно перефразировать знаменитое, но неизвестно кому принадлежащее изречение следующим образом: курорты Европы обязаны половиной своих доходов спортивным полям и площадкам в Итоне и тому подобных местах. В швейцарском или немецком санатории на вас обрушиваются чудовищно толстые мужчины и толкуют вам о том, что некогда они были призовыми спринтерами или защищали честь своих университетов в состязаниях по прыжкам в высоту, — теперь эти люди цепляются за перила и стонут, взбираясь по лестнице. Чахоточные мужчины между приступами кашля рассказывают о голах, забитых ими в те времена, когда они были блестящими хавбеками или форвардами. Бывшие боксеры-любители, выступавшие не-

когда в легком весе, а теперь напоминающие телосложением массивные американские бюро с выдвигной крышкой, загоняют вас в угол бильярдной и, недоумевая, почему они не могут подойти к вам так близко, как им хотелось бы, шепотом излагают секрет того, как избежать удара снизу посредством быстрого ухода назад. На больших дорогах Энгадина то и дело встречаются немощные теннисисты, одноногие конькобежцы, отечные наездники, ковьяляющие на костылях.

Эти люди достойны всяческого сожаления. Книги для них бесполезны, потому что за всю свою жизнь они выучились читать только спортивные газеты. В молодости они не слишком утруждали свой мозг и, по-видимому, утратили самую способность мыслить. Они безразличны к искусству, а природа может предложить им лишь то, к чему они более не пригодны. Одетые снегом горы напоминают им, как некогда они отважно спускались с вершин на санках; неровный луг наводит на грустные мысли о том, что они не в состоянии больше держать в руках палку; сидя у реки, они рассказывают вам о лососе, которого им удалось подцепить прежде, чем они подцепили ревматизм; птицы лишь вызывают у них тоску о ружье; музыка воскрешает в памяти крикетное состязание, происходившее много лет назад под бодрящие звуки местного оркестра; живописное кафе со столиками под виноградными лозами будит горькие воспоминания о пинг-понге. Жалко их, конечно, но рассказы их не очень-то занимательны. Человеку, у которого, кроме спорта, есть и другие интересы в жизни, их воспоминания просто скучны, а беседовать друг с другом они не желают. Очевидно, они не совсем верят друг другу.

Мало-помалу наши спортивные игры начинают перенимать иностранцы; будем надеяться, что наш пример послужит им предостережением, и они сумеют остановиться вовремя. Пока что их отношение к спорту вряд ли можно назвать слишком серьезным. Футбол приобретает в Европе все большую популярность. Однако французы все еще не отказались от мысли, что наилучшим ударом является тот, от которого мяч взлетает высоко в воздух, после чего его следует принять на голову. Француз охотнее сыграет головой, чем забьет гол. Если ему удастся загнать мяч в угол, дважды поднять его в воздух на бегу и оба раза принять на

голову, дальнейшее, по-видимому, перестает его интересовать. Пусть мяч забирает кто угодно; он сделал свое дело и счастлив.

Говорят, что в Бельгии вводится крикет; я приложу все старания, чтобы попасть на первую игру. Боюсь только, что неопытные бельгийцы будут первое время останавливать крикетные мячи головой. Убеждение, что голова — наиболее подходящий орган для игры в мяч, очевидно, у бельгийца в крови. Моя голова, рассуждает он, кругла и тверда; мяч тоже. Какая другая часть человеческого тела лучше приспособлена для того, чтобы принимать и останавливать его?

Гольф еще не вошел в моду, но теннис прочно укоренился от Санкт-Петербурга до Бордо. Немцы, со свойственной им основательностью, трудятся в поте лица. Университетские профессора и тучные майоры, встав рано утром, нанимают мальчишек и отрабатывают драйвы слева и удары с лета. Но для французов теннис — пока еще только игра. Им свойственна веселая, непринужденная манера игры, которая так шокирует англичан.

Поддачи французского партнера немало удивляют вас. Случайный перелет за линию на какой-нибудь ярд бывает у всякого игрока, но этот человек, по-видимому, поставил перед собой цель перебить все окна. Вы уже готовы протестовать, но в этот момент веселый смех и бурные аплодисменты зрителей объясняют ваше заблуждение. Он вовсе не стремился подать мяч; он стремился попасть в человека на соседнем корте, который отошел в сторону, чтобы завязать шнурок. В конце концов это ему удалось. Он попал этому человеку в поясницу и сбил его с ног. Присутствующие знайки приходят к единодушному заключению, что более точный удар попросту невозможен. Сам Догерти никогда не был вознагражден более шумными аплодисментами. Доволен даже тот человек, которого сбили с ног; из этого видно, на что способен француз, когда он всерьез берется за игру.

Но честь француза требует удовлетворения. Он забывает о шнурке, он забывает об игре. Он собирает все мячи, какие только удастся найти: свой мяч, ваш мяч, любой мяч, который оказывается под рукой. И тогда он начинает ответный матч. В этот момент лучше всего заползти за сетку. Большинство игроков именно так и поступает; более робкие направляются в помещение клуба, где заказывают себе

кофе и закуривают сигареты. Через некоторое время оба игрока чувствуют себя удовлетворенными. Тогда остальные собираются вокруг них и требуют обратно свои мячи. Это само по себе неплохая игра. Каждый стремится захватить возможно больше своих и чужих мячей — предпочтительно чужих — и начинает бегать с ними по корту, преследуемый улюлюкающими владельцами.

Примерно через полчаса, когда все смертельно устанут, игра — первоначальная игра — возобновляется. Вы интересуетесь, какой счет; ваш партнер быстро отвечает, что счет сорок — пятнадцать. Оба ваши противника бросаются к сетке, где, по-видимому, сейчас начнется драка. Но происходит лишь дружеская перебранка; они сильно сомневаются, чтобы счет был сорок — пятнадцать. Пятнадцать — сорок — вот это вполне возможно; такой счет они и предлагают принять в качестве компромисса. Прения заканчиваются соглашением, что счет «ровно». Так как дело редко обходится без подобного инцидента где-нибудь посередине игры, счет обычно бывает «ровно». Таким образом, обе стороны удовлетворены: никто не выигрывает партию, и никто не проигрывает. Одной игры вполне хватает на целый день.

Кроме того, серьезный игрок неизбежно теряется, по временам неожиданно лишаясь партнера: обернувшись, вы видите, что он беседует с каким-то посторонним человеком. Никто, кроме вас самих, и не подумает возражать против его отсутствия. Противники относятся к этому лишь как к удобному случаю выиграть очко. Спустя пять минут он возобновляет игру. С ним приходит его друг, а также собака друга. Появление собаки игроки встречают с восторгом; все мячи летят в собаку. Пока собака не устанет, у вас нет ни малейшей надежды сыграть. Но все это, несомненно, в скором времени переменится. Во Франции и Бельгии есть несколько прекрасных игроков, от которых соотечественники постепенно переймут более высокий класс. В теннисе французы переживают еще период младенчества. Усвоив правильную точку зрения на эту игру, они вместе с тем научатся посылать мячи не так высоко.

По-моему, всему виной континентальное небо. Оно такое голубое, такое прекрасное; естественно, что оно притягивает к себе. Как бы то ни было, остается фактом, что всякий игрок, будь то англичанин или иностранец, на конти-

ненте стремится запустить мяч прямо в небо. В мое время среди членов английского клуба в Швейцарии был один молодой англичанин, действительно прекрасный игрок. Он не пропускал почти ни одного мяча. Его слабым местом был ответный удар: мяч всякий раз взлетал в воздух примерно футов на сто и опускался на площадке противника. Противник в таких случаях обычно стоял, следя за мячом, этой крошечной точкой в небе, которая все увеличивалась по мере приближения к земле. Люди, пришедшие позднее, пытались заговорить с ним, полагая, что он следит за полетом воздушного шара или орла. Он отмахивался, объясняя, что побеседует с ними позднее, после прибытия мяча. Мяч с глухим стуком падал у его ног, опять взлетал ярдов на двадцать и снова опускался. Когда мяч оказывался на нужной высоте, игрок посылал его через сетку, а еще через мгновение он снова влетал в небо. На соревнованиях я видел, как этот молодой человек со слезами на глазах умолял дать ему судью. Все судьи разбежались. Они прятались за деревьями, добывали себе цилиндры и зонтики, чтобы походить на зрителей, прибегая к любым, пусть самым низким уловкам, лишь бы избавиться от обязанности судить матч этого молодого человека. Если только его противник не засыпал или у него не начинались судороги, игра могла продолжаться целый день. Принимать его мячи мог всякий; но, как я уже сказал, сам он не пропускал почти ни одного мяча. Он неизменно выигрывал; примерно через час его противник терял терпение и старался проиграть. Для него это была единственная возможность пообедать.

Вообще говоря, на теннисный корт за границей приятно смотреть. Женщины здесь уделяют больше внимания своим костюмам, чем наши теннисистки. Мужчины обычно одеты в белоснежную спортивную форму. Как правило, корт расположен в самых красивых местах, а здание клуба весьма живописно; здесь всегда царит смех и веселье. Возможно, класс игры не так уж высок, но самое зрелище восхитительно. Недавно я отправился с одним знакомым в его клуб в предместье Брюсселя. Территория с одной стороны была ограничена лесом, а с трех остальных сторон — *petites fermes* — так называют небольшие наделы, которые обрабатывают сами крестьяне.

Был чудесный весенний день. Все корты были заняты. Рыжая земля и зеленая трава создавали фон, на котором женщины в своих новых парижских туалетах с яркими зонтиками выделялись, подобно прекрасным живым букетам. Вся атмосфера, казалось, была соткана из беспечного веселья, флирта и легкой чувственности. Современный Ватто с жадностью ухватился бы за такой сюжет.

По соседству, отделенная почти невидимой проволочной оградой, работала группа крестьян. Пожилая женщина и молодая девушка, обвязав плечи веревкой, тащили борону, которую направлял высохший старик, похожий на старое чучело. На мгновение они остановились у проволочной ограды и стали смотреть сквозь нее. Получился необычайно сильный контраст: два мира, разделенные этой проволочной оградой — такой тонкой, почти невидимой. Девушка утерла рукой пот с лица; женщина заправила седые пряди, выбившиеся из-под платка; старик с некоторым трудом выпрямился. Так они простояли примерно с минуту, со спокойными, бесстрастными лицами, глядя через эту непрочную ограду, которая рухнула бы от одного толчка их огрубевших от работы рук.

Хотел бы я знать, шевелились ли в их мозгу какие-нибудь мысли? Эта девушка — красивая, несмотря на уродливую одежду. Женщина — у нее было удивительно хорошее лицо: ясные, спокойные глаза, глубоко сидящие под широким квадратным лбом. Старое высохшее чучело — всю свою жизнь он сеял весной семена тех плодов, что достанутся другим.

Старик снова склонился над веревками и подал знак. Группа двинулась вверх по склону холма. Кажется, Анатолю Франсу принадлежат слова: «Общество держится на долготерпении бедняков».

ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ ГОВОРИТЬ ТО, ЧТО ДУМАЕМ, И ДУМАТЬ ТО, ЧТО ГОВОРИМ?

Один мой сумасшедший приятель утверждает, что характерной чертой нашего века является притворство. Притворство, по его мнению, лежит в основе общения людей между собой. Горничная входит и докладывает, что в гостиной находятся мистер и миссис Нудинг.

— О черт! — говорит мужчина.

— Тише! — говорит женщина. — Закройте плотнее дверь, Сюзен. Сколько раз нужно вам говорить, чтоб вы никогда не оставляли дверь открытой?

Мужчина на цыпочках уходит наверх и запирается у себя в кабинете. Женщина проделывает перед зеркалом кое-какие манипуляции, выжидая, пока ей удастся овладеть собой настолько, чтобы не выдать своих чувств, а затем входит в гостиную с распростертыми объятиями и с радушным видом человека, которому нанес визит ангел. Она говорит, что счастлива видеть Нудингов — как хорошо они сделали, что зашли. Что же они не привели с собой еще Нудингов? Где проказник Нудинг-младший? Почему он совсем перестал навещать ее? Придется ей всерьез рассердиться на него. А прелестная маленькая Флосси Нудинг? Слишком мала еще, чтоб ездить с визитами? Ну, что вы! Стоит ли вообще принимать гостей, если приходят не все Нудинги?

Нудинги, которые надеялись, что ее нет дома, которые зашли только потому, что по правилам хорошего тона они обязаны делать визиты минимум четыре раза в год, — принимаются рассказывать о том, как они изо всех сил старались прийти.

— Сегодня, — повествует миссис Нудинг, — мы решили прийти во что бы то ни стало. «Джон, дорогой, — сказала я утром, — что бы ни случилось, сегодня я зайду навестить милую миссис Хам».

По ее словам выходит, что принцу Уэльскому, который хотел нанести Нудингам визит, было сказано, что принять его не могут. Пусть приходит вечером или в какой-нибудь другой день. А сейчас Нудинги собираются провести время по своему вкусу: они собираются навестить миссис Хам.

— А как поживает мистер Хам? — вопрошает миссис Нудинг.

На мгновение миссис Хам погружается в молчание и напрягает слух. Она слышит, как он спускается по лестнице и крадется мимо двери гостиной. Она слышит, как тихо открывается и закрывается входная дверь. И она приходит в себя, как будто пробуждаясь ото сна. Это она размышляла о том, как огорчится мистер Хам, когда вернется домой и узнает, чего он лишился.

И так оно все происходит не только с Нудингами и Хамами, но и с теми из нас, кто не Нудинг и не Хам. Существование всех слоев общества зиждется на том, что люди делают вид, будто все очаровательны, будто мы счастливы всех видеть; будто все счастливы видеть нас; будто все так хорошо сделали, что пришли; будто мы в отчаянии от того, что им, право же, пора уходить.

Что бы мы предпочли — посидеть еще в столовой и докурить сигару или отправиться в гостиную и послушать, как мисс Вопли будет петь? Ну что за вопрос! В спешке мы сбиваем друг друга с ног. Ей, мисс Вопли, право же, не хочется петь, но если уж мы так настаиваем... И мы настаиваем. С очаровательной неохотой мисс Вопли соглашается. Мы стараемся не глядеть друг на друга. Мы сидим, уставив глаза в потолок. Мисс Вопли кончила петь и поднимается.

— Но это так быстро кончилось, — говорим мы, как только аплодисменты стихают и голоса наши становятся слышны. Уверена ли мисс Вопли, что спела все до конца? Или она, шутница, посмеялась над нами и обсчитала нас на один куплет? Мисс Вопли заверяет нас, что она ни в чем не повинна, это автор романса виноват. Но она знает еще. При этом намеке наши лица вновь освещаются радостью. Мы шумно требуем еще.

Вино, которым угощает нас хозяин, — в жизни мы не пробовали ничего лучше! Нет, нет, больше не надо, мы не решаемся — доктор запретил, строжайшим образом. А сигара нашего хозяина! Мы и не подозревали, что в этом будничном мире еще изготавливают такие сигары. Нет, выкурить еще одну мы, право, не в состоянии. Ну, если уж он так настаивает, можно положить ее в карман? По правде говоря, мы не такие уж завзятые курильщики. А кофе, которым поит нас хозяйка! Может быть, она поделится с нами своим секретом? А младенец! Мы едва решаемся вымолвить слово. Обычных младенцев нам случалось видеть и раньше. По правде говоря, особой прелести в младенцах мы никогда не находим и только из вежливости считали нужным выражать на их счет общепринятые восторги. Но этот младенец! Мы просто готовы спросить, где они его достали? Именно такого младенца мы бы сами хотели иметь. А как маленькая Дженет декламирует стишок «У зубного врача»! До этих пор любительская декламация мало что говорила

нашему сердцу. Но тут несомненный гений! Ей нужно готовиться на сцену. Ее мать не вполне одобряет сценическую карьеру? Но мы умоляем ее во имя театра, который не должен лишиться такого таланта.

Каждая новобрачная прекрасна. Каждая новобрачная очаровательна в простом наряде из... дальнейшие подробности смотри в местных газетах. Каждая свадьба — повод для всеобщего ликования. Со стаканом вина в руке мы рисуем перед собравшимися ту идеальную жизнь, которая, мы знаем, уготована молодым супругам. Да и как может быть иначе? Она — дочь своей матери (возгласы «ура!»). Он — да чего там, мы все его знаем (новое «ура!», а также невольный взрыв хохота со стороны дурно воспитанного молодого человека, поспешно заглушенный).

Мы вносим притворство даже в нашу религию. Мы сидим в церкви и через положенные промежутки времени с гордостью сообщаем Господу, что мы — жалкие и ничтожные черви и что нет в нас добра. Нечто в этом роде, полагаем мы, от нас и требуется; вреда нам это не причинит, и считается даже, что доставляет удовольствие.

Мы делаем вид, что всякая женщина порядочна, что всякий мужчина честен — до тех пор, пока они не вынуждают нас, вопреки нашему желанию, обратить внимание на то, что это не так. Тогда мы очень на них сердимся и объясняем им, что такие грешники, как они, нам, людям безупречным, не компания. Горе наше по случаю смерти богатой тетушки просто непереносимо. Торговцы мануфактурой наживают себе целые состояния, содействуя нам в наших жалких попытках выразить отчаяние. Единственное наше утешение состоит в том, что она перешла в лучший мир.

Все переходят в лучший мир после того, как получают в этом все, что только сумеют. Мы стоим у открытой могилы и говорим это друг другу. А священник настолько убежден в этом, что, в целях экономии времени, пользуется маленькой книжечкой с готовыми проповедями, содержащими эту успокоительную формулу. Когда я был ребенком, то обстоятельство, что все попадают в рай, меня весьма удивляло. Стоило только подумать о всех людях, которые уже умерли, и становилось ясно, что рай перенаселен. Я почти сочувствовал Дьяволу, всеми забытому и заброшенному. В моем воображении он рисовался мне одиноким старым джентльме-

ном, который целыми днями сидит у ворот, все еще по привычке на что-то надеется, а может быть, бормочет себе под нос, что, пожалуй, все-таки имеет смысл закрыть лавочку. Моя старая нянька, которой я однажды поведал эти мысли, выразила уверенность в том, что если я и дальше буду рассуждать в таком духе, то меня-то он, во всяком случае, заполучит. Должно быть, я был порочным ребенком. Но мысль о том, с какой радостью он встретит меня — единственное человеческое существо, посетившее его за многие годы, — эта мысль меня в какой-то мере прельщала: хоть раз в жизни я оказался бы в центре внимания.

На всяком собрании оратор всегда «славный парень». Марсианин, прочитав наши газеты, вынес бы убеждение, что каждый член парламента — это веселый, добродушный, возвышенно-благородный святой, обладающий лишь тем минимумом земной человечности, который не дает ангелам вознести его живым на небо. Разве все присутствующие громовыми голосами в едином порыве не провозгласили его трижды этим самым «славным парнем»? Так они все говорят. Мы всегда с неослабевающим вниманием и огромным удовольствием слушаем блестящую речь предыдущего оратора. Когда вам казалось, что мы зевали, это мы просто, разинув рот, впивали его красноречие.

Чем выше стоит человек на общественной лестнице, тем шире должен быть у него пьедестал притворства. Когда что-нибудь печальное происходит с очень важным лицом, окружающим его людям более мелкого пошиба просто больше жить не хочется. А принимая во внимание тот факт, что в этом мире значительных персон более чем достаточно, а также и то, что с ними все время что-нибудь случается, начинаешь удивляться, как это мир до сих пор не погиб.

Однажды некоему хорошему и великому человеку случилось заболеть. В газете я прочел, что вся нация повергнута в печаль. Люди, обедавшие в ресторанах, услышав об этом из уст официанта, роняли голову на стол и рыдали. Незнакомые люди, встречаясь на улицах, бросались в объятия друг другу и плакали, как малые дети.

Я в это время был за границей, но как раз собирался домой. Мне было как-то стыдно возвращаться. Я поглядел на себя в зеркало и был просто шокирован своей внешностью: у меня был вид человека, с которым уже несколько недель ничего плохого не случалось. Я чувствовал, что по-

явиться среди убитых горем соотечественников с такой физиономией значило бы только усугубить их скорбь. Я вынужден был прийти к выводу, что натура у меня — мелкая и эгоистичная. Мне повезло в Америке с одной пьесой, и — хоть убейте меня — мне никак не удавалось принять вид сраженного горем человека. Были моменты, когда — стоило мне только перестать следить за собою — я ловил себя на том, что насвистываю!

Если бы это только было возможно, я задержался бы за границей до тех пор, пока какой-нибудь удар судьбы не настроил меня в унисон с моими соотечественниками. Но у меня было неотложное дело. Первым человеком, с которым мне пришлось говорить на пристани в Дувре, был таможенный чиновник. Можно было предполагать, что горе сделает его равнодушным к таким вещам, как сорок восемь сигар. Ничуть не бывало, он был очень доволен, когда обнаружил их. Он потребовал три шиллинга четыре пенса и, получая деньги, хихикнул. На вокзале в Дувре маленькая девочка расхохоталась, потому что какая-то леди уронила сверток на собаку, но дети, как известно, существа бессердечные — а может быть, она ничего не знала.

Но больше всего меня удивило то, что в вагоне я увидел приличного с виду человека, который читал юмористический журнал. Правда, смеялся он мало — настолько у него хватило порядочности, — но все-таки для чего может понадобиться пораженному горем гражданину юмористический журнал? Я и часа не пробыл в Лондоне, как вынужден был прийти к заключению, что мы, англичане, удивительно сдержанный народ. Накануне, судя по газетам, всей стране грозила серьезная опасность исчахнуть в тоске и погибнуть от горя. Но на следующий день нация взяла себя в руки. «Мы проплакали целый день, — сказали себе англичане, — мы проплакали всю ночь. Пользы от этого было мало. Что ж, давайте опять взвалим себе на плечи бремя жизни». Некоторые из них, как я мог заметить в тот же вечер в ресторане отеля, самоотверженно принялись опять за еду.

Мы притворяемся в самых серьезных делах. На войне свои солдаты каждой страны — всегда самые храбрые в мире. Солдаты враждебной страны всегда вероломны и коварны — вот почему они иногда побеждают.

Литература — это искусство, целиком построенное на притворстве.

— Ну-ка, усаживайтесь все вокруг и бросайте пенни в мою шапку, — говорит писатель, — а я притворюсь, что где-то в Бейсуотере живет молодая девушка по имени Анджелина, самая прекрасная девушка на свете. Далее притворимся, что в Ноттинг-Хилле проживает молодой человек по имени Эдвин, который влюблен в Анджелину.

И тут, если в шапке наберется достаточно пенни, писатель пускается во все тяжкие и притворяется, что Анджелина подумала то и сказала се и что Эдвин совершил всевозможные удивительные поступки. Мы знаем, что все это он измышляет по ходу повествования. Мы знаем, что он измышляет все это, потому что рассчитывает доставить нам этим удовольствие. С другой стороны, сам он должен притворяться, что делает это потому, что, поскольку он художник, он не может иначе. Но мы-то прекрасно знаем, что стоит нам прекратить бросать ему в шапку пенни, как тут же окажется, что он очень даже может иначе.

Театральный антрепренер громко стучит в барабан.

— Подходите! Подходите! — кричит он. — Сейчас мы будем притворяться, что миссис Джонсон принцесса, а старина Джонсон сделает вид, что он — пират. Подходите, подходите, спешите видеть!

И вот миссис Джонсон, притворяясь принцессой, выходит из шаткого сооружения, которое с общего согласия считается дворцом; а старик Джонсон, притворяясь пиратом, раскачивается на другом шатком сооружении, которое с общего согласия считается океаном. Миссис Джонсон притворяется, что влюблена в него, но мы знаем, что это неправда. А Джонсон притворяется, что он ужасный злодей, и миссис Джонсон до одиннадцати часов притворяется, что верит в это. А мы платим от шиллинга до полуфунта за то, чтобы в течение двух часов сидеть и слушать их.

Но, как я уже объяснил вначале, мой друг — человек ненормальный.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЛЮБИМ ИНОСТРАНЦЕВ?

Превосходство иностранца над англичанином заключается во врожденной добродетельности. Иностранцу незачем, подобно нам, стараться быть добродетельным. Ему не приходится с наступлением нового года обещать себе изме-

ниться к лучшему, оставаясь верным своему слову, в лучшем случае, до середины января. Он попросту остается добродетельным в течение всего года. Если иностранцу указано, что входить или выходить из трамвая следует с правой стороны, мысль о возможности войти или выйти с левой никогда не придет ему в голову.

Однажды в Брюсселе я явился свидетелем дерзкой попытки одного своевольного иностранца сесть в трамвай вопреки установленным правилам. Дверь рядом с ним была открыта. Путь претраждала вереница экипажей: пытаюсь обойти вокруг вагона, он попросту не успел бы сесть. Когда кондуктор отвернулся, он вошел и занял место. Удивление кондуктора, обнаружившего нового пассажира, было безмерно. Каким образом он очутился здесь? Кондуктор наблюдал за входными дверями и не видел этого человека. Некоторое время спустя кондуктор заподозрил истину, но все же не сразу решился обвинить своего ближнего в столь тяжком преступлении.

Он обратился за разъяснениями к самому пассажиру: следует ли рассматривать его присутствие как чудо или как грехопадение? Пассажир покаялся. Скорее огорченный, чем рассерженный, кондуктор предложил ему немедленно сойти. В своем вагоне он не потерпит нарушения приличий! Пассажир не пожелал подчиниться, и кондуктор, остановив трамвай, обратился к полиции. Как и положено полицейским, они выросли словно из-под земли и выстроились позади представительного начальника, очевидно — полицейского сержанта. Сначала сержант просто не мог поверить словам кондуктора. Даже теперь, стоило пассажиру заявить, что он сел в трамвай согласно правилам, ему, условно, поверили бы. Так уж устроен здесь мозг у должностного лица, что ему гораздо легче поверить в приступ временной слепоты у кондуктора, чем в то, что человек, рожденный женщиной, умышленно совершил поступок, недвусмысленно воспрещенный печатной инструкцией.

Я бы на месте этого пассажира солгал и избавился от неприятностей. Но он был слишком горд или недостаточно сообразителен — одно из двух — и не желал отступить от правды. Ему предложили незамедлительно сойти и подождать следующего трамвая. Со всех сторон стекались новые полицейские, и сопротивляться при подобных обстоятель-

ствах не имело смысла. Он изъявил согласие сойти. На этот раз он приготовился выйти где положено, но в таком случае справедливость бы не восторжествовала. Раз он вошел не с той стороны, пускай оттуда он и сойдет. В соответствии с этим его высадили в самой гуще движения, после чего кондуктор, стоя посередине вагона, прочел проповедь о том, как опасно входить и выходить вопреки установленным правилам.

Есть в Германии один прекрасный закон, — хотел бы я, чтобы такой закон был и у нас в Англии; по этому закону никто не имеет права разбрасывать бумагу на улице. Один из моих друзей, английский военный, рассказал мне, как однажды в Дрездене, не подозревая о существовании этого закона, он прочитал на улице длинное письмо и разорвал его примерно на пятьдесят клочков, которые бросил на землю. Полицейский остановил его и в самой вежливой форме разъяснил соответствующий закон. Мой друг согласился, что это очень хороший закон, поблагодарил полицейского за разъяснение и заверил, что на будущее он примет сказанное к сведению. Полицейский заметил, что этого вполне достаточно на будущее; однако в данный момент приходилось иметь дело с прошлым, а именно, с пятьюдесятью или около того клочками бумаги, разбросанными по мостовой и по тротуару.

Мой друг с приятной улыбкой признался, что не видит выхода из создавшегося положения. Полицейский, надевшийся более богатым воображением, видел выход. Он предложил моему другу приняться за дело и подобрать эти пятьдесят клочков бумаги. Мой друг — английский генерал в отставке, вида чрезвычайно внушительного, а порой даже надменного. Он не мог представить себе, как это он среди бела дня будет ползать на четвереньках по главной улице Дрездена, подбирая бумагу.

Немецкий полицейский сам согласился, что положение довольно щекотливое. Но если английский генерал не согласен, возможен иной выход. Выход этот заключался в том, чтобы английский генерал, сопровождаемый обычной толпой зевак, последовал за полицейским в ближайшую тюрьму, до которой отсюда не более трех миль. Поскольку сейчас около четырех часов дня, судью, по всей вероятности, они уже не застанут. Но генералу будут предоставлены

все удобства, какие только возможны в тюремной камере, и полицейский не сомневался, что, уплатив штраф в сорок марок, мой друг снова станет свободным человеком на следующий день ко второму завтраку. Генерал предложил нанять мальчика, который подобрал бы бумагу. Полицейский справился с текстом закона и пришел к выводу, что это не допускается.

«Я обдумал положение, — рассказывал мне мой друг, — перебрав все возможности, не исключая также возможность сбить этого субъекта с ног и спастись бегством, и пришел к выводу, что самое первое его предложение включает в себе, в общей сложности, минимум неудобств. Но я никогда не предполагал, что подобрать тонкие бумажки со скользких булыжников окажется таким трудным делом. Это заняло у меня около десяти минут и, по моим подсчетам, доставило развлечение тысяче человек, не меньше. Но имейте в виду, что это очень хороший закон; жаль только, что я не знал о нем заранее».

Однажды я сопровождал некую американскую леди в немецкий оперный театр. В немецком шаушпильхаусе зрители обязаны снимать головные уборы, и опять-таки мне бы хотелось, чтобы такой обычай существовал у нас в Англии. Но американская леди привыкла пренебрегать правилами, установленными простыми смертными. Она объяснила капельдинеру, что войдет в зал, не снимая шляпы. Он, со своей стороны, объяснил ей, что она этого не сделает; оба они разговаривали немного резким тоном. Я улучил момент и отошел в сторону, чтобы купить программу: по моему глубокому убеждению, чем меньше людей замешано в споре, тем лучше.

Моя спутница откровенно заявила капельдинеру, что относится к его словам с полным безразличием и не намерена обращать на него никакого внимания. По-видимому, этот человек вообще не отличался разговорчивостью; возможно также, это заявление еще больше смутило его. Во всяком случае, он ничего не ответил. Он попросту стал в дверях с отсутствующим выражением лица. Ширина двери составляла около четырех футов; ширина капельдинера — около трех футов шести дюймов, а его вес — примерно двадцать стоунов. Как уже было сказано, я отошел, чтобы купить программу, а когда я вернулся, моя спутница держала шляпу в руках и втыкала в нее булавки; вероятно, она вооб-

ражала, что в руках у нее не шляпа, а сердце капельдинера. Она уже не желала слушать оперу, она желала все время возмущаться капельдинером, но окружающие не позволили ей даже этого.

С тех пор она провела в Германии три зимних сезона. Теперь, если она собирается войти в широко открытую дверь в нескольких шагах от нее, ведущую прямо в то место, куда ей нужно попасть, но должностное лицо качает головой и разясняет, что через эту дверь входить нельзя, а нужно подняться двумя этажами выше, пройти по коридору, снова спуститься вниз и таким образом попасть в нужное ей место, она просит извинения за свою ошибку и поспешно уходит, пристыженная.

Правительства континентальных государств вымуштровали своих граждан до совершенства. Основной закон этих государств — послушание. Я охотно верю истории об испанском короле, который чуть не утонул, потому что специальный придворный, обязанностью которого было нырять за испанскими королями, упавшими с лодки, умер, а новый не был еще назначен. На континентальных железных дорогах проезд во втором классе с билетом первого класса карается тюремным заключением. Не могу сказать точно, каково наказание за проезд в первом классе с билетом второго класса, вероятно, смертная казнь, хотя один из моих друзей чуть было не испытал это на себе.

Все обошлось бы вполне благополучно, не будь он столь дьявольски честным человеком. Это один из тех людей, которые гордятся своей честностью. По-моему, собственная честность прямо-таки доставляет ему удовольствие. Он купил билет второго класса до одной из высокогорных станций, но, встретив случайно на платформе знакомую даму, занял вместе с ней место в купе первого класса. Доехав до своей станции, он объяснил все контролеру и, вынув бумажник, предложил уплатить разницу. Его отвели в какую-то комнату и заперли дверь. Признание было записано и прочитано вслух, моему другу пришлось подписать протокол, после чего послали за полицейским. Полицейский допрашивал его не менее четверти часа. Никто не поверил рассказу о встрече со знакомой дамой. Где же сама дама? Этого он не знал. Даму пытались разыскать, но поблизости ее не оказалось. Он высказал предположение (впоследствии под-

твердившееся), что, устав от бесполезного ожидания, она поднялась в горы. За несколько месяцев до этого в соседнем городе анархисты устроили беспорядки. Полицейский предложил обыскать моего друга с целью обнаружения бомб. По счастью, в этот момент на сцену выступил представитель агентства Кука, возвращавшийся к поезду с партией туристов, который взялся в деликатной форме объяснить присутствующим, что мой друг несколько глуповат и не сумел отличить первый класс от второго. Всеми виной красные подушки на диванах: из-за них, войдя в вагон второго класса, он решил, что находится в первом.

Присутствующие вздохнули с облегчением. При всеобщем ликовании протокол был разорван, после чего этот безмозглый контролер пожелал узнать, кто та дама, которая, в таком случае, ехала в купе второго класса с билетом первого класса. Похоже было, что по возвращении на станцию ее ждут серьезные неприятности. Но очаровательный агент Кука снова оказался на высоте положения. Он объяснил, что мой друг, кроме того, еще любит приврать. Рассказывая о своем путешествии в обществе этой дамы, он попросту хвастал. Он хотел только сказать, что был бы не прочь ехать вместе с ней, но не сумел правильно выразиться из-за плохого знания немецкого языка. Ликование возобновилось. Репутация моего друга была восстановлена. Он вовсе не отъявленный негодяй, за которого его сначала приняли, а, по-видимому, всего лишь странствующий идиот. Такой человек вполне заслуживает уважения со стороны немецкого должностного лица. За счет такого человека немецкое должностное лицо даже изъявило согласие выпить пива.

Не только мужчины, женщины и дети, но даже собаки за границей добродетельны от рождения. В Англии, будучи владельцем собаки, вы вынуждены затрачивать большую часть своего времени на то, чтобы разнимать дерущихся псов, ссориться с владельцами других собак относительно того, кто первый затеял драку, объяснять разгневанным пожилым дамам, что не собака загрызла кошку: просто кошка, перебегая дорогу, вероятно, скончалась от разрыва сердца, — убеждать недоверчивых лесников в том, что это не ваша собака, что вы ни малейшего представления не имеете, чья она. За границей жизнь владельца собаки проходит в безмятежном спокойствии. Здесь при виде скандала на гла-

зах у собаки наворачиваются слезы: она торопится прочь и старается разыскать полицейского. При виде бегущей кошки такая собака уходит в сторону, уступая ей дорогу. Иногда некоторые хозяева надевают на своих собак маленькие курточки с кармашками для носового платка и туфельки на лапы. Правда, собаки не носят шляп — пока еще нет! Но стоит снабдить собаку шляпой, и она уж изыщет способ вежливо приподнять ее при встрече с какой-нибудь знакомой кошкой.

Как-то раз в одном континентальном городе я наскочил на уличное происшествие — или, вернее, происшествие наскочило на меня: оно устремилось на меня и захватило меня прежде, чем я успел опомниться. Это был фокстерьер, принадлежавший одной очень юной особе (но об этом мы узнали лишь после того, как основные события уже разыгрались). Она появилась в конце происшествия, едва переводя дыхание: бедная девушка пробежала целую милю, почти не переставая кричать. Увидев все, что произошло, а также выслушав объяснения по поводу того, чего она не могла видеть, девушка разразилась слезами. Будь владельцем этого фокстерьера англичанин, он мигом окинул бы взглядом место действия и тотчас вскочил бы в первый попавшийся трамвай. Но, как я уже сказал, иностранцы обладают врожденной добродетельностью. Когда я уходил, не менее семи человек записывало ее имя и адрес.

Но я хотел рассказать более подробно о собаке. Все началось с невинной попытки поймать воробья. Ничто не доставляет воробью такого удовольствия, как преследование со стороны собаки. Десять раз собаке казалось, что воробей уже пойман. Затем на ее пути попала другая собака. Не знаю, как называется эта порода, но в Европе она очень распространена: бесхвостая собака, которая, когда ее хорошо кормят, напоминает свинью. Однако данный представитель этой породы больше напоминал кусок половика. Фокстерьер вцепился ему в загривок, и оба они покатались на мостовую прямо под колеса проезжавшего мотоцикла. Хозяйка, полная дама, бросилась спасать свою собаку и столкнулась с мотоциклом. Пролетев около шести ярдов, она сшибла с ног итальянского мальчика с лотком гипсовых бюстов.

В жизни мне пришлось испытать немало неприятностей, но я не могу припомнить ни одного случая, в котором не был бы так или иначе замешан итальянский торговец

бюстами. Где эти мальчишки скрываются в минуты спокойствия, остается тайной. Но при малейшей возможности быть сбитыми с ног они появляются на свет, подобно мухам при первых лучах солнца. Мотоцикл врезался в тележку молочника, обломки которой завалили трамвайные пути. Движение застопорилось не менее чем на четверть часа; однако вожатый каждого подходившего трамвая полагал, видимо, что, если он станет звонить с достаточной яростью, этот кажущийся затор рассеется, как мираж.

В английском городе все это не привлекло бы особого внимания. Кто-нибудь объяснил бы, что первопричиной беспорядка явилась собака, и весь ход событий показался бы обычным и естественным. Но эти иностранцы в ужасе вообразили, что чем-то прогневили Всевышнего. Полицейский кинулся ловить собаку. Собака в восторге отбежала назад и с яростным лаем начала скрести мостовую задними ногами, пытаясь вывернуть булыжники. Это напугало няньку, катившую коляску, — и тут я вмешался в ход событий. Усевшись на краю тротуара, между коляской и ревущим ребенком, я высказал собаке все, что я о ней думал.

Я забыл, что нахожусь за границей, забыл, что собака может не понять меня, — я высказал ей все на чистом английском языке, не упустив ни одной мелочи, очень громко и отчетливо. Собака остановилась в двух шагах от меня и слушала с таким выражением эстетического наслаждения, какого мне ни до, ни после этого не приходилось видеть ни на одном лице, собачьем или человеческом. Она упивалась моими словами, словно то была райская музыка.

«Где я слышала это раньше? — казалось, спрашивала она себя. — Этот давно знакомый язык, на котором со мной разговаривали в молодости?»

Она подошла ближе; когда я кончил, глаза ее, казалось, были полны слез.

«О повтори еще раз! — словно молила она меня. — Повтори еще раз все милые старые английские ругательства и проклятия, которые я уже потеряла надежду услышать в этой забытой Богом стране».

Молодая девушка сообщила мне, что фокстерьер родился в Англии. Этим объяснялось все. Собака иностранного происхождения не способна на что-либо подобное. Иностранцы обладают врожденной добродетельностью: вот за это мы их и не любим.

ДУША НИКОЛАСА СНАЙДЕРСА, ИЛИ СКРЯГА ИЗ СААРДАМА

Много лет тому назад в Саардаме, что на Зейдерзее, жил нечестивый человек по имени Николас Снайдерс. Он был скареден, черств и груб и во всем мире не любил никого и ничего, кроме золота. Но и золото он любил не ради его самого. Он любил власть, которую ему давало золото, — возможность тиранить и угнетать, возможность причинять страдания по своей воле. Говорили, что у него не было души, но это неверно. Все люди владеют душой, или, говоря точнее, всеми людьми владеет душа, но душа Николаса Снайдерса была злая. Он жил на старой ветряной мельнице, которая и теперь еще стоит на набережной. Вместе с ним жила только маленькая Христина, она прислуживала ему и вела его домашнее хозяйство. Христина была сиротой. Родители ее умерли, не оставив после себя ничего, кроме долгов. Николас заслужил вечную благодарность Христины, заплатив их долги, всего-то несколько сот флоринов, в расчете, что Христина будет работать на него без жалованья. Так он и жил вдвоем с Христиной, и единственным человеком, когда-либо заходившим к нему по собственной охоте, была вдова Толяст.

Госпожа Толяст была богата и почти так же скупа, как и Николас.

— Почему бы нам не пожениться? — как-то прокаркал Николас вдове Толяст. — Вместе мы стали бы хозяевами всего Саардама.

Госпожа Толяст ответила кудахтающим смехом. Но Николас Снайдерс не любил торопиться.

Однажды он сидел один за своим столом посреди большой полукруглой комнаты, которая занимала половину нижнего этажа мельницы и служила ему конторой. Вдруг раздался стук во входную дверь.

— Войдите! — крикнул Николас Снайдерс.

Тон его был необычно любезен для Николаса Снайдерса. Он не сомневался, что постучал в дверь Ян — Ян Ван-дер-Ворт, молодой моряк, теперь владелец собственного корабля, пришедший просить у него руки маленькой Христины. Николас Снайдерс заранее предвкушал наслаждение, которое он получит, когда повергнет в прах надежды Яна; когда услышит, как Ян сперва будет умолять, а потом неистовствовать; когда увидит, как будет все больше бледнеть красивое лицо Яна, по мере того как Николас станет пункт за пунктом объяснять, что произойдет, если молодой человек вздумает пойти ему наперекор. Во-первых, старую мать Яна выгонят из дома, а его старого отца посадят в тюрьму за долги; во-вторых, начнут без сострадания преследовать самого Яна, а его корабль продадут, прежде чем он успеет выплатить за него все деньги. Такой разговор был по душе Николасу Снайдерсу. Со вчерашнего дня, когда вернулся Ян, он дожидался встречи с ним. Поэтому, будучи уверен, что это Ян, он весело крикнул:

— Войдите!

Но это был не Ян. Это был кто-то, кого Николас Снайдерс никогда раньше не видел. И никогда потом, после этого посещения, Николас Снайдерс не видал его больше. Наступили сумерки, но Николас Снайдерс был не из тех, кто без нужды жжет свечи, поэтому он никогда не мог точно описать наружность незнакомца. Был это как будто старик, но очень живой, судя по его движениям, а глаза — единственное, что Николас разглядел более или менее ясно, — были у него удивительно живые и проницательные.

— Кто вы? — спросил Николас Снайдерс, не скрывая своего разочарования.

— Я — разносчик, — отвечал незнакомец. Голос у него был ясный и нельзя сказать, чтобы неприятный, но чувствовался в нем какой-то подвох.

— Мне ничего не нужно, — ответил Николас Снайдерс сухо. — Затворите за собой дверь да смотрите не споткнитесь о порог.

Но вместо того чтобы уйти, незнакомец взял стул, подвинул его поближе и, очутившись в тени, посмотрел Николасу Снайдерсу прямо в лицо и засмеялся.

— А вполне ли вы уверены, Николас Снайдерс? Уверены ли вы, что вам действительно ничего не нужно?

— Ничего, — проворчал Николас Снайдерс, — кроме того, чтобы вы отсюда убрались.

Незнакомец наклонился вперед и длинной худой рукой шутливо хлопнул Николаса Снайдерса по колену.

— Не нужна ли вам душа, Николас Снайдерс? — спросил он. — Подумайте-ка, — продолжал странный разносчик, не дав Николасу опомниться. — Сорок лет вы упивались радостью, которую приносили вам скупость и грубость. Неужели вам, Николас Снайдерс, не надоело это? Не хочется ли вам чего-нибудь другого? Подумайте, Николас Снайдерс, как приятно сознавать, что вы любимы, что вас благословляют, а не проклинают! Разве не стоит попробовать — просто так, для разнообразия? Если вам новая душа не понравится, вы можете опять стать самим собой.

Вспоминая все это потом, Николас Снайдерс никогда не мог понять одного: почему он сидел, терпеливо слушая болтовню незнакомца, — ведь она ему казалась бредом помешанного. Но в незнакомце было что-то, что заставило его поступить именно так.

— У меня это средство с собой, — продолжал странный разносчик, — что касается цены... — Незнакомец жестом показал, что презирает столь низменные соображения. — Наблюдать результат этого опыта будет для меня достаточной наградой. Я немножко философ. Меня интересуют такие вещи. Смотрите.

Незнакомец нагнулся, достал из своего тюка серебряную фляжку тонкой работы и поставил ее на стол.

— Вкус у него не противный, — сказал незнакомец. — Чуть горьковат; но это не из тех напитков, которые пьют кубками; достаточно небольшого стаканчика — такого, как для старого токайского; нужно только, чтобы люди, желающие поменяться душами, были сосредоточены на одной мысли: «Пусть моя душа перейдет в него, а его — в меня!» Дело очень простое, секрет заключается в самом снадобье. — Незнакомец погладил изящную фляжку, точно это была маленькая собачка.

— Вы, может быть, скажете: «Кто станет меняться душой с Николасом Снайдерсом?» (Казалось, что у незнакомца заготовлены ответы на все вопросы.) Мой друг, вы богаты, вам нечего бояться. Душа — это ведь то, что люди ценят меньше всего. Выберите себе душу и сделайте дельце. Я ставлю вам фляжку и посоветую на прощанье одно: меняться с вами скорее согласится молодой, чем старик; какой-нибудь юноша, которому кажется, что с помощью золота он достигнет всего на свете. Выбирайте себе прекрасную, честную, неиспорченную молодую душу, Николас Снайдерс, и выбирайте скорее. Ваши волосы седеют, мой друг. Вкусите радости жизни, прежде чем умереть.

Странный разносчик засмеялся, встал и поднял свой тюк. Николас Снайдерс не пошевелился и не сказал ни слова, до тех пор пока мягкий стук тяжелой двери не вывел его из оцепенения. Тогда, схватив фляжку, которую оставил незнакомец, он вскочил со стула, собираясь выбросить ее на улицу. Но отблеск каминного огня на ее отшлифованной поверхности остановил его.

— Во всяком случае, самый сосуд представляет ценность, — усмехнулся Николас и отложил фляжку в сторону; зажегши две высоких свечи, он углубился в свою счетную книгу в зеленом переплете. Однако время от времени глаза его обращались туда, где стояла фляжка, полускрытая среди пыльных бумаг. Немного спустя опять раздался стук в дверь, и на этот раз вошел действительно Ян.

Ян протянул через освещенную конторку свою крупную руку.

— Мы расстались в ссоре, Николас Снайдерс. В этом моя вина. Вы были правы. Я прошу вас простить меня. Я был беден. Невеликодушно было требовать, чтобы девочка разделила со мной мою нищету. Но теперь я уже не беден.

— Садитесь, — ответил Николас любезным тоном. — Я слышал об этом. Итак, вы теперь капитан и владелец корабля, он — ваша собственность?

— Он будет моей полной собственностью после еще одного путешествия, — засмеялся Ян. — У меня есть обещание бургомистра Аллярта.

— Ну, обещание — еще не исполнение, — намекнул Николас. — Бургомистр Аллярт небогатый человек, более высокая цена может соблазнить его. Между вами может стать кто-нибудь другой и сделаться владельцем корабля.

Ян только захохотал.

— Да ведь это может сделать лишь какой-нибудь враг, а у меня, благодаря Бога, их, кажется, нет.

— Счастливец! — заметил Николас. — Так мало на свете людей, у которых нет врагов. А ваши родители, Ян, будут жить с вами?

— Мы хотели бы этого, — ответил Ян, — и Христина, и я. Но мать слаба. Она сроднилась со старой мельницей.

— Я понимаю это, — согласился Николас. — Старая лоза, оторванная от старой стены, чахнет. А ваш отец, Ян? Люди что-то болтают... Мельница окупается?

Ян покачал головой.

— Вряд ли когда-нибудь окупится, долги преследуют отца. Но это дело прошлое, я и ему так говорю. Его кредиторы согласились иметь дело со мной и ждать.

— Все? — усомнился Николас.

— Все, насколько я мог узнать, — засмеялся Ян.

Николас Снайдерс отодвинул назад свой стул и посмотрел на Яна с улыбкой на морщинистом лице.

— Значит, вы и Христина уже столкнулись обо всем?

— С вашего согласия, — ответил Ян.

— Разве вам оно нужно? — спросил Николас.

— Мы хотели бы получить его.

Ян улыбался, но тон его голоса был приятен для ушей Николаса Снайдерса. Он очень любил бить собаку, которая ворчит и скалит зубы.

— Лучше не дожидайтесь этого, — сказал Николас Снайдерс. — Вам придется ждать долго.

Ян встал, и краска гнева залила его лицо.

— Значит, ничто не может изменить вас, Николас Снайдерс. Что ж, делайте как хотите, и пусть вас черт заберет, — выпалил Ян. У Яна душа была благородная, смелая, впечатлительная, но чрезвычайно вспыльчивая. Даже у самых лучших душ есть свои недостатки.

— Мне очень жаль, — сказал старый Николас.

— Рад слышать это, — отметил Ян.

— Мне жаль вашу мать, — пояснил Николас. — Бедная женщина, боюсь, она на старости лет останется без крыши над головой. Отсрочка по закладной будет прекращена в день вашей свадьбы, Ян. Мне очень жаль вашего отца, Ян. Вы, Ян, узнали о всех кредиторах, кроме одного. Мне жаль его, Ян. Тюрьма всегда вызывала в нем ужас. Мне жаль даже вас, мой

юный друг. Вам придется начинать жизнь сызнова. Бургомистр Альярт у меня в кулаке. Мне стоит сказать одно слово — и корабль будет мой. Желая вам счастья с вашей невестой, мой друг. Она вам, как видно, очень дорога, вы ведь заплатите за нее высокую цену.

Усмешка Николааса Снайдерса — вот что вывело Яна из себя. Он стал искать, чем бы швырнуть в этот гадкий рот, чтобы заставить его замолчать, и случайно рука его наткнулась на серебряную фляжку разносчика. В то же мгновение рука Николааса Снайдерса также схватила ее. Усмешка исчезла.

— Сядьте, — приказал Николаас Снайдерс. — Давайте поговорим еще.

Что-то в его голосе заставило молодого человека повиноваться.

— Вы удивляетесь, Ян, почему я всегда вызываю гнев и ненависть. Иногда я сам себе удивляюсь. Почему благородные мысли никогда не приходят ко мне, как к другим людям? Слушайте, Ян, что мне взбрело в голову. Я знаю, таких вещей не бывает на свете, но это моя прихоть — мне хочется думать, что они возможны. Продайте мне вашу душу, Ян, продайте мне вашу душу, чтобы я также мог испытать ту любовь и радость, о которых я слышу. Ненадолго, Ян, ненадолго, и я исполню ваше желание.

Старик схватил перо и стал писать.

— Смотрите, Ян, корабль будет вашим, мельница свободна от долгов, ваш отец сможет опять поднять голову. И все, о чем я прошу, Ян, это чтобы вы выпили со мной и пожелали, чтобы ваша душа вышла из вас и сделалась душой Николааса Снайдерса — ненадолго, Ян, лишь ненадолго!

Дрожащими руками старик откупорил фляжку разносчика и вылил вино в два одинаковых стакана. Яна душил смех, но стремительность старика граничила с безумием. Конечно, он сошел с ума, но ведь это не могло обесценить ту бумагу, которую он подписал. Не дело человеку шутить со своей душой, но перед Яном из мрака сияло лицо Христины.

— Вы согласны? — прошептал Николаас Снайдерс.

— Пусть моя душа выйдет из меня и войдет в Николааса Снайдерса! — ответил Ян, ставя на стол пустой стакан.

С минуту они стояли, глядя в глаза друг другу.

И тут пламя высоких свечек, стоявших на заваленной бумагами конторке, заколебалось и погасло, как будто чье-то дыхание задуло их, сперва одну, а потом другую.

— Мне пора домой, — раздался из темноты голос Яна. — Зачем вы погасили свечи?

— Мы можем опять зажечь их от камина, — ответил Николас. Он не прибавил, что сам намеревался задать такой же вопрос Яну. Он сунул их в пылающие дрова — одну, другую; и тени снова заползли в свои углы.

— Разве вы не останетесь повидать Христину? — спросил Николас.

— Нет, сегодня не могу, — отвечал Ян.

— А бумага, которую я подписал, — напомнил ему Николас, — она у вас?

— Я и забыл про нее, — сказал Ян.

Старик взял бумагу с конторки и вручил ему. Ян сунул ее в карман и вышел. Николас заложил за ним дверь на крючок и вернулся к своей конторке, он долго сидел там, положив локти на открытую счетную книгу.

Николас отодвинул книгу в сторону и засмеялся.

— Что за глупость! Как будто такие вещи возможны. Этот парень околдовал меня.

Он подошел к камину и стал греть руки перед огнем.

— Все-таки я рад, что он женится на этой малышке. Славный парень, славный парень!

Николас, должно быть, уснул перед камином. Когда он открыл глаза, уже брезжил рассвет. Он озяб, заоченел, был голоден и очень сердит. Почему Христина не разбудила его и не дала ему поужинать? Уж не подумала ли она, что он решил провести ночь на деревянном стуле? Вот идиотка. Он пойдет наверх и скажет ей через дверь все, что он думает о ней.

Путь наверх лежал через кухню. К его удивлению, там сидела Христина и спала перед погасшим очагом.

— Честное слово, — пробормотал Николас, — в этом доме, кажется, не знают, для чего служат постели.

«Но ведь это не Христина», — подумал Николас. У Христины был вид испуганного кролика, и это всегда раздражало его, а у этой девушки даже во сне было дерзкое выражение, восхитительно дерзкое.

Кроме того, девушка была красива, дивно красива. Право, такой красивой девушки Николас еще не видал. Почему, когда Николас был молод, девушки были совсем другие? Внезапная горечь охватила Николаса, будто он только сейчас понял, что много лет тому назад был ограблен и даже не знал об этом.

Девушка, вероятно, озябла. Николас принес подбитое мехом одеяло и укутал ее.

Что-то такое надо было еще сделать... Мысль об этом пришла ему в голову в то время, когда он покрывал ее плечи одеялом — осторожно, чтобы не побеспокоить ее, — да, что-то надо было сделать, вот только если бы он мог догадаться, что именно? Губы девушки были полуоткрыты. Казалось, она просила его сделать это или, может быть, умоляла не делать. Николас не был уверен. Много раз он отходил и много раз снова подкрадывался к месту, где она сидя спала с таким восхитительно дерзким выражением на лице, с полуоткрытыми губами. Но чего она хотела или чего хотел он сам, Николас не мог догадаться.

Может быть, Христина ему поможет. Может быть, Христина знает, кто эта девушка и как она попала сюда. Николас поднялся по лестнице, проклиная скрипучие ступеньки.

Дверь у Христины была открыта. В комнате никого не было, постель не смята. Николас спустился обратно по скрипучим ступенькам.

Девушка все еще спала. Не сама ли это Христина? Николас стал всматриваться в каждую черту красивого лица. Нет, он не мог вспомнить, чтобы когда-нибудь видел эту девушку. Но на шее у нее — Николас раньше этого не заметил — висел медальон Христины и то поднимался, то опускался от дыхания спящей. Николас знал этот медальон. Это была единственная вещь ее матери, которую Христина отказалась ему отдать. Единственная вещь, из-за которой она спорила с ним. Она никогда не рассталась бы с этим медальоном. Очевидно, это сама Христина. Но что случилось с ней?

Или с ним самим? Вдруг он вспомнил. Странный разносчик! Сцена с Яном! Но ведь все это он видел во сне? Однако на заваленной бумагами конторке все еще стояла и серебряная фляжка разносчика, и два стакана.

Николас попытался думать, но в голове у него все путалось. Солнечный луч, пробравшись через окно, пересек пыльную комнату. Николас вспомнил, что никогда не видал

солнца. Невольно он протянул к нему руки и страшно огорчился, когда оно исчезло, оставив лишь слабый сероватый свет. Он снял ржавые засовы и распахнул большую дверь. Перед ним лежал странный мир, новый мир света и теней, которые влекли его своей красотой, — мир тихих, нежных голосов, которые звали его. И опять им овладело горькое чувство, что он был когда-то ограблен.

— Я мог бы быть так счастлив все эти годы, — ворчал про себя старый Николас. — Вот такой маленький городок я мог бы любить — красивый, тихий, уютный. У меня могли бы быть друзья, старые приятели, у меня могли бы быть дети...

Видение спящей Христины предстало перед его глазами. Она пришла к нему ребенком, не чувствуя к нему ничего, кроме благодарности. Будь у него глаза, которыми он мог бы видеть ее, все было бы по-другому.

Но разве теперь слишком поздно? Ведь он не стар — так уж стар. Для него началась новая жизнь. Она все еще любит Яна, но такого Яна, каким он был вчера. В будущем каждое слово и дело Яна будут вдохновляться злой душой, той, которая была душой Николаса Снайдерса, — это Николас Снайдерс помнит хорошо. Может ли какая-нибудь женщина полюбить эту душу, в каком бы красивом теле она ни была заключена?

Имеет ли он право, как честный человек, обладать душой, которую он, в сущности, выманил у Яна обманом? Да, имеет, ведь это была честная сделка, и Ян получил то, чего хотел. Кроме того, не сам Ян сделал свою душу такой; это простая случайность. Почему одному человеку достается золото, а другому сушеный горох? На душу Яна у него столько же прав, сколько и у самого Яна. Он умнее, он может с ней сделать больше добра. Христина любила душу Яна, пусть же душа Яна завоюет ее, если может. И душа Яна, слушая эти доводы, ничего не нашлась возразить.

Христина все еще спала, когда Николас снова вошел в кухню. Он разжег очаг и приготовил завтрак, а потом тихонько разбудил ее. В том, что это была Христина, уже нельзя было сомневаться. Как только она увидела старого Николаса, к ней вернулось выражение испуганного кролика, которое всегда раздражало его. И теперь оно действовало так же, но раздражение на этот раз он чувствовал против себя самого.

— Вы так крепко спали, когда я вчера вошла... — начала Христина.

— И ты побоялась разбудить меня, — перебил ее Николас. — Ты подумала, что старый скряга рассердится. Послушай, Христина. Вчера уплачен последний долг твоего отца. Это был долг старому матросу, которого я до сих не мог разыскать. Ты теперь не должна больше ни гроша, и, кроме того, от твоего жалованья осталось сто флоринов. Можешь получить их, когда тебе угодно.

Христина ничего не поняла ни тогда, ни потом, и Николас не открыл ей тайны. Душа Яна вошла в очень мудрого старого человека, который знал, что лучшее средство заставить забыть прошлое — это честно жить в настоящем. Одно только с уверенностью знала Христина: что старый Николас Снайдерс таинственно исчез, что на его месте появился новый Николас, который смотрел на нее ласковыми глазами — открытыми и честными, вызывающими доверие. Хотя Николас никогда не говорил этого, Христине пришло в голову, что она сама своим кротким примером, своим облагораживающим влиянием вызвала эту чудесную перемену. И Христине это объяснение не казалось невозможным, оно было ей приятно.

Вид заваленной бумагами конторки стал ненавистен Николасу. Вставая рано утром, он исчезал на целый день и возвращался вечером усталый, но веселый, принося с собой цветы, над которыми Христина смеялась, говоря, что это сорная трава. Но разве в названии дело? Николасу они казались красивыми. В Саардаме дети убегали от него, а собаки при виде его поднимали лай. Поэтому Николас уходил окольными тропинками подальше от города. Дети окрестных деревень скоро узнали доброго старика, который любил, опершись на палку, наблюдать за их играми и прислушиваться к их смеху. Его большие карманы были полны всяких вкусных вещей. Взрослые, проходя мимо, шептали друг другу, как он похож своим внешним видом на старого злого Ника, саардамского скрягу, и удивлялись, откуда он мог прийти. Но не только детские лица научили его улыбаться. Поначалу его смутило, что мир полон на редкость красивыми девушками, а также красивыми женщинами, среди которых все были более или менее достойны любви. Он даже растерялся, но вскоре обнаружил, что, несмотря

на это, Христина оставалась в его мечтах самой красивой, наиболее достойной любви. Тогда каждое красивое лицо стало радовать его: оно напоминало ему Христину.

Как-то раз, когда он пришел домой, Христина встретила его с печалью в глазах. Фермер Бирстраатер, старый друг ее отца, приходил повидаться с Николасом; не застав Николаса, он поговорил немного с Христиной. Какой-то жестокосердый кредитор выгоняет его с фермы. Христина сделала вид, будто не знает, что этим кредитором был сам Николас, но удивлялась, что могут быть такие злые люди. Николас не сказал ничего, но на следующий день фермер Бирстраатер зашел к ней опять — улыбающийся, признательный и несказанно удивленный.

— Но что с ним сделалось? — без конца повторял фермер Бирстраатер.

Христина улыбнулась и ответила, что, может быть, милосердный Бог коснулся его сердца; про себя же она подумала, что, может быть, тут сказалось чье-то хорошее влияние. Удивительная весть разнеслась по всей округе. Христину стали осаждать со всех сторон, и она, видя, что ее посредничество неизменно приносит успех, становилась с каждым днем все довольнее собой, а вместе и Николасом Снайдерсом. Ибо Николас был хитрый старик. Душа Яна, пребывавшая в нем, наслаждалась уничтожением того зла, которое содеяла душа Николаса. Но ум Николаса Снайдера, который остался при нем, шептал: «Пусть девочка думает, что все это ее рук дело...»

Новость дошла и до госпожи Толяст. В тот же вечер она сидела у камина на старой мельнице, а Николас Снайдерс покуривал, сидя напротив нее, и на лице его была написана скука.

— Вы валяете дурака, Николас Снайдерс, — говорила ему госпожа Толяст. — Над вами все смеются.

— Пусть лучше смеются, чем проклинают, — возражал Николас.

— Вы забыли все, что было между нами? — спросила Толяст.

— Хотел бы забыть, — вздохнул Николас.

— В вашем возрасте... — начала госпожа Толяст.

— Я чувствую себя моложе, чем когда-либо, — перебил ее Николас.

— Ваша наружность говорит другое, — заметила его собеседница.

— Разве наружность имеет значение? — сказал Николас. — Самое важное в человеке — душа.

— Ну, и наружность кое-что значит в глазах света, — пояснила госпожа Толяст. — Знаете, если бы я захотела последовать вашему примеру и сделать из себя посмешище, я нашла бы много молодых людей...

— Я не хочу вам мешать, — живо перебил ее Николас. — Вы совершенно правы, я стар, и у меня дьявольский характер. Есть много людей лучше меня — людей, более достойных вас.

— Я не буду утверждать, что их нет, — возразила госпожа Толяст, — но нет никого более подходящего. Девушки для юношей, а старухи для стариков, как я вам не раз говорила. Я еще не лишилась ума, как вы, Николас Снайдерс. Когда вы опять станете самим собой...

Николас Снайдерс вскочил.

— Я всегда был самим собой, — закричал он, — и я намерен им остаться! Кто смеет говорить, что я — не я?

— Я смею, — отвечала Толяст с убийственным хладнокровием. — Не может быть, чтобы Николас Снайдерс был самим собой, когда по прихоти смазливой девчонки он выбрасывает за окно деньги полными горстями. Его кто-то околдовал, и мне жаль его. Она будет вас дурачить ради выгоды своих друзей до тех пор, пока у вас не останется ни гроша за душой, а потом посмеется над вами. Когда вы станете самим собой, Николас Снайдерс, вы будете на себе волосы рвать — попомните мои слова! — И госпожа Толяст вышла, хлопнув дверью.

«Девушки для юношей, а старухи для стариков». Эта фраза долго звенела у него в ушах. До сих пор новое, непривычное счастье наполняло его жизнь, не оставляя места для размышлений. Но слова госпожи Толяст заставили его задуматься.

Неужели Христина дурачит его? Это невероятно. Никогда она не просила его ни о чем для себя или для Яна. Эта злая мысль — порождение злого ума госпожи Толяст. Христина любит его. Ее лицо светлеет, когда он входит в комнату. Она перестала бояться его, место страха занял милый деспотизм. Но та ли это любовь, которой он искал? Душа

Яна в старом теле Ника была молода и горяча. Она желала Христину не как дочь, а как жену. Сумеет ли она завоевать такую любовь, несмотря на тело старого Ника? Душа Яна была нетерпеливой душой. Лучше знать, чем сомневаться.

— Не зажигай свечей, давай потолкуем при свете каминна, — сказал Николас.

И Христина, улыбаясь, пододвинула свой стул поближе к огню. Но Николас сел в тени.

— Ты день ото дня хорошеешь, Христина, — сказал Николас, — становишься все милее и женственнее. Счастлив будет тот, кто назовет тебя своей женой.

Улыбка сбежала с лица Христины.

— Я никогда не выйду замуж, — отвечала она.

— Не зарекайся, девочка.

— Честная женщина не выйдет замуж за человека, которого не любит.

— Но почему она не может выйти за того, кого любит? — улыбнулся Николас.

— Иногда не может, — пояснила Христина.

— В каком же это случае?

Христина отвернулась.

— Если он ее разлюбил.

Душа в теле старого Ника подпрыгнула от радости.

— Он недостойн тебя, Христина. Его новое положение изменило его. Разве не так? Он думает только о деньгах. Как будто в него вошла душа скряги. Он женился бы даже на госпоже Толяст ради ее мешков с золотом, ее земель и многочисленных мельниц, если бы только она согласилась. Неужели ты не можешь забыть его?

— Я никогда не забуду его. Никогда не полюблю другого. Я стараюсь не показывать вида и часто утешаюсь тем, что могу сделать столько добра. Но сердце мое разрывается.

Она встала и, опустившись около него на колени, обвила его руками.

— Я рада, что вы об этом заговорили, — сказала она. — Если бы не вы, просто не знаю, как бы я это вынесла. Вы так добры ко мне.

Вместо ответа он стал гладить своей высохшей рукой ее золотистые волосы. Она подняла на него глаза, они были полны слез, но улыбались.

— Я не могу понять, — сказала она. — Иногда мне кажется, точно вы с ним поменялись душами. Он стал черствым, скучным и грубым, каким были вы прежде. — Она засмеялась и крепко его обняла. — А вы теперь добрый, и нежный, и великодушный, каким он был когда-то. Как будто милосердный Бог отнял у меня возлюбленного и дал мне взамен отца.

— Послушай, Христина, — сказал он. — Ведь главное в человеке душа, а не тело. Разве ты не могла бы полюбить меня за мою новую душу?

— Но ведь я люблю вас, — отвечала Христина, улыбаясь сквозь слезы.

— А могла бы полюбить как мужа?

Свет от камина озарял ее лицо. Осторожно держа это прекрасное лицо в высохших ладонях, Николас взгляделся в него долгим, пристальным взглядом и, прочитав то, что было на нем написано, снова прижал золотистую головку к груди и ласково ее погладил.

— Я пошутил, моя девочка, — сказал он. — Девушки для юношей, старухи для стариков. Итак, несмотря ни на что, ты по-прежнему любишь Яна?

— Я люблю его, — отвечала Христина. — Я не могу иначе.

— И если бы он захотел, ты пошла бы за него, какая бы душа у него ни была?

— Я люблю его, — отвечала Христина. — Я не могу иначе.

Старый Николас сидел один перед угасающим огнем. Что же главное в человеке — душа или тело? Ответ был не так прост, как он предполагал.

— Христина любила Яна, — так бормотал Николас, глядя на угасающий огонь, — когда у него была душа Яна. Она продолжает любить его, хотя теперь у него душа Николаса Снайдерса. Когда я спросил ее, могла бы она полюбить меня, в ее глазах был ужас, хотя душа Яна теперь во мне, она угадала это. Очевидно, действительный Ян, действительный Николас — это не душа, а тело. Если бы душа Христины вошла в тело госпожи Толяст, неужели бы я отвернулся от Христины — от ее золотых волос, от ее бездонных глаз, от ее зовущих губ — ради сморщенного тела госпожи Толяст? Нет, при одной мысли об этом я содрогаюсь. Однако, когда во мне была душа Николаса Снайдерса, вдова не возбуждала во мне отвращения, а Христина для меня ничего не значила. Очевидно, мы любим душой, иначе Ян и сейчас

любил бы Христину, а я был бы скрягой Ником. И вот я люблю Христину и, пользуясь умом и золотом Николаса Снайдерса, вопреки всем желаниям Николаса Снайдерса, делаю то, что — я уверен — приведет его в бешенство, когда душа его вернется в его тело. Ян же больше не думает о Христине и ради земель и многочисленных мельниц госпожи Толяст готов жениться на ней. Ясно, что главное в человеке — душа. Так разве не должен я радоваться при мысли о том, что я возвращаюсь обратно в свое тело, что я жуюсь на Христине? Но я не радуюсь, я чувствую себя очень несчастным. Мне не суждено владеть душой Яна, я чувствую это; моя собственная душа вернется ко мне. Я опять стану черствым, грубым, скупым стариком — таким, каким был раньше, только теперь я буду бедным и беспомощным. Люди будут смеяться надо мной, а я, бессильный сделать им зло, буду их только проклинать. Даже госпожа Толяст отвернется от меня, когда узнает все. И однако я должен это сделать: пока душа Яна во мне, я люблю Христину больше, чем самого себя. Я должен сделать это ради нее. Я люблю ее — я не могу иначе.

Старый Николас встал и взял серебряную фляжку искусной работы из того шкафа, куда он месяц назад спрятал ее.

— Осталось как раз еще два стакана, — задумчиво проговорил Николас, легонько взбалтывая содержимое фляжки около своего уха. Он положил фляжку перед собой на конторку, потом открыл еще раз старую зеленую счетную книгу, кое-что оставалось недоделанным.

Рано утром он разбудил Христину.

— Возьми эти письма, Христина, — приказал он. — Когда ты разнесешь их все, не раньше, ступай к Яну, скажи ему, что я жду его здесь, чтобы переговорить с ним по делу.

Он поцеловал ее, казалось, ему не хочется, чтобы она уходила.

— Я скоро вернусь, — улыбнулась Христина.

— Когда прощаются, всегда говорят, что вернутся скоро.

Старый Николас предвидел, что столкнется с затруднениями. Ян был вполне доволен, он отнюдь не жаждал обратиться опять в сентиментального молодого дурака и посадить себе на шею бесприданницу-жену. Теперь Ян мечтал о другом.

— Пей, парень, пей! — кричал нетерпеливо Николас. — Пей, пока я не изменил своего намерения. Если ты только

хочешь жениться на Христине — она самая богатая невеста в Саардаме. Вот документ, смотри, прочитай его, читай скорее!

Тогда Ян согласился, и они выпили. И опять, как и в первый раз, между ними пронесся ветерок, и Ян на минуту закрыл руками глаза.

Пожалуй, он напрасно сделал это, потому что в тот же миг Николас схватил документ, который лежал перед Яном на конторке. Через секунду бумага уже пылала в камине.

— Я не так уж беден, как вы думали, — раздался каркающий голос Николаса. — Не так уж беден, как вы думали! Я свое опять наживу, опять наживу!

И скряга с отвратительным смехом начал танцевать перед пламенем, вытянув морщинистые руки, чтобы Ян не мог спасти горевшее приданое Христины.

Ян не рассказал об этом Христине. Несмотря на все его уговоры, она попробовала вернуться домой. Николас Снайдерс с проклятиями выгнал ее за дверь. Она ничего не понимала. Одно только было ясно — что к ней вернулся Ян.

— Не иначе как у меня рассудок помрачился, — объяснял Ян. — Пусть добрые морские ветры принесут нам здоровье.

С палубы корабля Яна они смотрели на Саардам до тех пор, пока он не растаял в воздухе.

Христина немного поплакала при мысли, что она никогда больше не увидит Саардама, но Ян утешил ее, а потом новые лица вытеснили воспоминания о старых.

А старый Николас женился на вдове Толяст, но, к счастью, скоро умер, не успев причинить особенно много зла.

Много лет спустя Ян рассказал Христине всю историю, но она звучала слишком невероятно, и Христина — хотя, конечно, не сказала этого — не вполне поверила в нее, решив, что Ян просто хочет как-нибудь объяснить свое странное поведение в течение того месяца, когда он ухаживал за госпожой Толяст. Впрочем, было действительно странно, что Николас в течение того же самого короткого месяца был так не похож на себя.

«Может быть, — думала Христина, — если бы я не сказала ему, что люблю Яна, он не взялся бы опять за старое. Бедный старик! Ну конечно, он поступил так с отчаяния».

МИССИС КОРНЕР РАСПЛАЧИВАЕТСЯ

— Я подразумеваю именно это, — объявила миссис Корнер, — мужчина должен быть мужчиной.

— Но ведь ты бы не хотела, чтобы Кристофер, то есть мистер Корнер, принадлежал к мужчинам подобного сорта, — заметила ее закадычная подруга.

— Я вовсе не говорю, что хочу, чтобы он делал это часто. Но я хотела бы почувствовать, что он способен быть таким мужчиной. Вы сказали хозяину, что завтрак готов? — накинулась миссис Корнер на служанку, внесшую в эту минуту в комнату три вареных яйца и чайничек с чаем.

— Конечно, сказала, — с негодованием ответила служанка. Прислуга виллы «Акация» в Равенскорт-парке вечно пребывала в состоянии негодования, даже молитвы, возносимые ею по утрам и вечерам, были полны негодования.

— И что он сказал?

— Сказали, что сойдут вниз, как только оденутся.

— Никто и не хочет, чтобы он выходил раньше, — сказала миссис Корнер. — Когда я позвала его пять минут назад, он ответил, что надевает рубашку.

— Я думаю, что, если бы вы сейчас спросили еще раз, они ответили бы то же самое, — высказала свое на сей счет мнение служанка. — Они ползали на карачках, когда я заглянула в комнату, и шарили под кроватью, потому что потеряли запонку от воротничка.

Миссис Корнер остановилась, держа в руке чайник.

— Он разговаривал?

— Разговаривал? Не с кем им там говорить. У меня времени нет разговоры разговаривать.

— Я имею в виду — с самим собой, — пояснила миссис Корнер. — Он... он не ругался? — в голосе миссис Корнер прозвучало желание, почти надежда.

— Что вы! Это они-то? Да они и не знают, как ругаться.

— Благодарю вас, — сказала миссис Корнер. — Достаточно. Можете идти.

Миссис Корнер со стуком поставила чайник на стол.

— Даже эта девчонка, — желчно проговорила она, — даже эта девчонка презирает его.

— Возможно, — предположила мисс Грин, — что он ругался, пока ее не было в комнате, а потом перестал.

Но миссис Корнер не собиралась поддаваться утешениям.

– Перестал! Другой ругался бы не переставая.

– Возможно, – намекнула закадычная подруга, всегда готовая взять этого грешника под защиту, – возможно, что он и ругался, но она просто не слышала. В самом деле, ведь если он с головой залез под кровать...

Дверь открылась.

– Простите за опоздание, – жизнерадостно произнес мистер Корнер, врываясь в комнату.

Мистер Корнер считал, что по утрам человек обязательно должен быть жизнерадостным. «Встречай день улыбкой, и он принесет тебе счастье»; вот уже шесть месяцев и три недели миссис Корнер была замужней женщиной и ровно двести два раза слышала она по утрам этот девиз из уст своего мужа, когда он вставал с постели. Разного рода девизы занимали большое место в жизни мистера Корнера. Аккуратно написанные на карточках одного и того же формата, самые мудрые из них были прикреплены к зеркалу и каждое утро поучали его во время бритья.

– Нашел? – спросила миссис Корнер.

– Совершенно не постижимо, – ответил мистер Корнер, усаживаясь к столу. – Я же собственными глазами видел, как она покатилась под кровать. Может...

– Только не проси, чтобы ее искала я, – прервала его миссис Корнер. – Некоторые люди, поползав под кроватью и расшибив голову о ее ножки, наверняка начали бы чертыхаться, – при этом особое ударение было сделано на слове «некоторые».

– Что же, для воспитания характера, – намекнул мистер Корнер, – не вредно время от времени заставлять себя терпеливо выполнять задания, направленные...

– Ну, если ты примешься за одно из своих длинейших предложений, которые ты так любишь, то не успеешь из него выбраться, чтобы поесть, – испугалась миссис Корнер.

– Жаль, если с ней что-нибудь случится, – заметил мистер Корнер, – ее внутренняя ценность, может быть...

– Я поищу ее после завтрака, – вызвалась любезная мисс Грин. – Я очень хорошо умею отыскивать потерянные вещи.

— Охотно верю, — галантно заверил ее мистер Корнер, черенком ложки разбивая яйцо. — От таких ясных глаз, как ваши, мало...

— У тебя осталось всего десять минут, — напомнила ему жена, — кушай же наконец!

— Мне бы хотелось, — сказал мистер Корнер, — хоть раз в жизни договорить до конца.

— Да ты никогда не выговоришься, — заметила миссис Корнер.

— Может, как-нибудь на днях... — вздохнул мистер Корнер.

— Как ты спала, дорогая? Совсем забыла спросить тебя. — Миссис Корнер повернулась к своей закадычной подруге.

— Первую ночь в чужом доме я всегда сплю очень неспокойно, — ответила мисс Грин. — К тому же я думаю, что была несколько возбуждена.

— Очень жаль, — изрек мистер Корнер, — что восхитительное искусство драматурга предстало перед нами не в лучшем из своих образцов. Когда ходишь в театр очень редко...

— Должны же люди развлекаться, — оборвала его миссис Корнер.

— Честное слово, — заметила закадычная подруга, — не помню случая, чтобы я так смеялась.

— В самом деле было забавно. Я и сам хохотал, — признался мистер Корнер. — Вместе с тем я должен отметить, что брат пьянство как тему...

— Совсе он не был пьян, — возразила миссис Корнер. — Просто он был немножко навеселе.

— Дорогая моя, — поправил ее мистер Корнер, — да он и на ногах-то стоять не мог.

— Но был куда забавней, чем некоторые мужчины, которые могут, — отпарировала миссис Корнер.

— Дорогая моя Эми, — указал ей муж, — мужчина вполне может быть забавен и без того, чтобы напиваться пьяным, а также может быть пьяным, не будучи...

— О, гораздо лучше, когда мужчина временами позволяет себе выпить.

— Дорогая моя...

— И тебе, Кристофер, тоже было бы лучше позволять себе... изредка.

— Я бы очень хотел, — сказал мистер Корнер, протягивая пустую чашку, — чтобы ты не говорила того, чего не имеешь в виду. Любой, кто услышал бы тебя...

— Больше всего меня злит, — сказала миссис Корнер, — это когда заявляют, что я говорю то, чего не имею в виду.

— Зачем же ты тогда говоришь?

— Я не... Я в самом деле... Я хочу сказать, что в самом деле имею это в виду, — объяснила миссис Корнер.

— Едва ли ты хочешь сказать, дорогая моя, — настаивал ее муж, — будто и в самом деле думаешь, что было бы лучше, если бы я напивался пьяным... изредка.

— Я сказала не «пьяным», а — «выпивал».

— Но я ведь «выпиваю»... умеренно, — взмолился мистер Корнер. — «Умеренность во всем» — это же мой девиз.

— Знаю, — ответила миссис Корнер.

— Всего понемножку и ничего... — На этот раз мистер Корнер сам прервал свои разглагольствования. — Боюсь, — сказал он, вставая, — что нам придется отложить дальнейшее обсуждение этого интереснейшего вопроса. Если ты, дорогая, не возражаешь, выйдем на минутку в коридор. У меня к тебе несколько мелких вопросов по дому.

Хозяин с хозяйкой протиснулись мимо гостыи и закрыли за собой дверь. Гостыя продолжала есть.

— Я подразумевала именно это, — в третий раз повторила миссис Корнер через минуту, вновь усаживаясь за стол, — я бы отдала все... все на свете, — со страстностью повторяла наша леди, — чтобы Кристофер больше походил на обыкновенного мужчину.

— Но он же всегда был таким... ну, какой он есть, — напомнила ей закадычная подруга.

— Ясное дело, когда ты обручена, то хочется, чтобы мужчина был совершенством. Я совсем не думала, что он собирается им остаться.

— А по мне, так он очень хороший и очень славный, — сказала мисс Грин, — просто ты сама не знаешь, чего тебе нужно.

— Я знаю, что он хороший человек, — согласилась миссис Корнер, — и очень люблю его. Именно потому, что я люблю его, я не хочу за него краснеть. Я хочу, чтобы он был мужественным мужчиной и делал все, что делают другие мужчины.

— Разве все обыкновенные мужчины сквернословят и временами напиваются?

— Ну конечно, — авторитетно подтвердила миссис Корнер, — кому это нравится, чтобы мужчина был мямлей?

— А ты когда-нибудь видела пьяного? — осведомилась закадычная подруга, откусывая кусочек сахара.

— Кучу, — ответила миссис Корнер, слизывая с пальцев варенье.

Это означало, что добрых пять раз в жизни она побывала в театре, выбирая наиболее легковесные формы английской драмы. И когда месяц спустя она впервые увидела своими собственными глазами, как это выглядит в жизни, то не было на свете человека, пораженного этим зрелищем больше, чем миссис Корнер.

Как это произошло, мистер Корнер и сам себе никогда не мог толком объяснить. Мистер Корнер не относился к числу людей, которых приводят в пример на лекциях об умеренности. Свой «первый стаканчик» он пропустил так давно, что уже и вспомнить не мог, когда это было, и чего только не пил с тех пор из многих других стаканов. Но не было еще случая, чтобы он вышел или чтобы его удалось вывести из рамок его любимой добродетели — умеренности.

— Между нами стояла бутылка кларета, — часто вспоминал мистер Корнер, — и мы выпили почти все, что в ней было. А потом он вытащил маленькую зеленую фляжку и сказал, что эту штуку делают из груш и что в Перу ее держат специально для детских праздников. Очень может быть, что он пошутил, но, во всяком случае, я не мог представить себе, как это один-единственный стаканчик... Я все время стараюсь припомнить, мог ли я выпить больше, куда он говорил. — Этот вопрос не давал покоя мистеру Корнеру.

Этот «он», который, вероятно, заговорил мистера Корнера до такого ужасного состояния, был его дальний родственник, некий Билл Дэмон, служивший первым помощником на пароходе «Ла Фортуна». В полдень они совершенно случайно «столкнулись» на Леденхолл-стрит, впервые за многие годы, прошедшие с далекой поры их детства. «Фортуна» должна была на следующее утро выйти из доков Св. Екатерины и взять курс на Южную Америку, и кто знает, когда они встретятся вновь. Судьба, бросив их друг другу в объятия, совершенно определенно, как на это указал мистер Дэмон, высказалась за то, чтобы вечером они вдвоем

уютно пообедали в каюте капитана «Фортуны». Вернувшись в контору, мистер Корнер послал в Равенскорт-парк срочное письмо с удивительным сообщением, что он, возможно, не вернется домой раньше десяти вечера, а в половине седьмого он в первый раз направил свои стопы в сторону, противоположную той, где находились его дом и миссис Корнер.

О чем только не болтали друзья! В конце концов они разговорились о женах и возлюбленных. Несомненно, помощник капитана Дэмон имел за спиной обширную и разнообразнейшую практику. Они рассказывали, вернее, помощник рассказывал, а мистер Корнер слушал, об оливковых красавицах Карибского моря, о кареглазых страстных креолках, о белокурых Юнонах калифорнийских долин. У помощника были свои теории по вопросу о подходе и обращении с женщиной, — теории, которые, если положиться на его слова, были тщательно проверены на практике и выдержали испытание. Новый мир открывался мистеру Корнеру — мир, где прелестные женщины с собачьей покорностью поклонялись мужчинам. Последние, хотя и любили их в ответ, однако знали, как оставаться их господами. Мистер Корнер сидел как зачарованный, холодное осуждение в нем постепенно таяло, и под конец вместо него ключом закипело горячее сочувствие. И только время оборвало повесть о приключениях первого помощника. В одиннадцать часов кок напомнил им, что с минуты на минуту на борт придет капитан с лоцманом. Мистер Корнер, пораженный тем, что уже столь поздний час, долго и нежно прощался со своим родственником, а потом обнаружил, что доки Св. Екатерины — самое запутанное место, из какого ему когда-либо приходилось выбирать. И под одним из фонарей в районе Майнорис мистера Корнера вдруг осенило, что его не ценят по достоинству: миссис Корнер никогда не говорит и не делает ничего похожего на то, что говорят и делают красавицы Карибского моря, униженно старающиеся выразить свою всепоглощающую страсть к джентльменам, которые, насколько мог судить мистер Корнер, ничуть не лучше его. Слезы навернулись на глаза мистера Корнера, когда он стал припоминать, какие вещи говорит миссис Корнер и как она себя ведет с ним. Заметив, что его с пристальным вниманием разглядывает полисмен, он смахнул слезы и поспешно направился дальше. Пока он расхаживал по платформе станции Мэншен-Хаус, где дуют веч-

ные сквозняки, мысль о причиненном ему зле заговорила в нем с новой силой. Почему он не видит в миссис Корнер и следа собачьей привязанности? Он сам, горестно убеждал себя мистер Корнер, — он сам виноват в этом. «Женщина любит своего господина. Это ее инстинкт, — в задумчивости бормотал он про себя. — Да будь я проклят, — думал он, — если поверю, что она хоть на минуту чувствует во мне своего господина».

— Проваливай, — сказал мистер Корнер толстому юнцу, который только что остановился перед ним, широко разинув рот.

— Но мне очень нравится слушать, — возразил толстый юнец.

— Кого это слушать? — удивился мистер Корнер.

— Вас, — ответил толстый юнец.

Путь из города до Равенскорт-парка неблизок, но мысль о предстоящей перестройке всей жизни миссис Корнер и его собственной настолько поглотила мистера Корнера, что он и на секунду не задремал и все время находился в возбужденном состоянии. Когда он сошел с поезда, его беспокоили, главным образом, три четверти мили слякоти, которые лежали между ним и его решимостью тут же раз и навсегда объясниться с миссис Корнер.

Вид виллы «Акация», говоривший о том, что все уже в постели и спят, еще больше взвинтил мистера Корнера. По-собачьи преданная жена поджидала бы его, думая, не понадобится ли ему чего-нибудь. Мистер Корнер, следуя совету бронзовой таблички, прибитой на его собственной двери, не только постучал, но и позвонил. Поскольку дверь не распахнулась мгновенно, он продолжал дергать за звонок и стучать. На втором этаже открылось окно лучшей спальни комнаты.

— Это ты? — спросил голос миссис Корнер. В нем и в самом деле слышалась страсть, но совсем не та, какую жаждал внушать мистер Корнер. Это только подлило масла в огонь.

— Нечего разговаривать со мной, высунувшись из окошка, будто тебе здесь серенады распевают. Сходи вниз и открой мне дверь! — закричал мистер Корнер.

— Разве у тебя нет своего ключа? — спросила миссис Корнер. Вместо ответа мистер Корнер снова набросился на дверь.

Окно закрылось. Прошло некоторое время, и вдруг дверь распахнулась так внезапно, что мистер Корнер, все

еще стоявший, вцепившись в дверной молоток, буквально влетел в дом.

Миссис Корнер сошла вниз, уже приоткрывшись сделать кое-какие замечания. Она не предвидела, что мистер Корнер, всегда такой медлительный, тоже окажется подготовленным, и даже лучше ее.

— Где ужин? — возмущенно потребовал мистер Корнер, все еще придерживаясь за молоток.

Миссис Корнер, пораженная до того, что лишилась дара речи, стояла и смотрела на него широко открытыми глазами.

— Где ужин? — повторил мистер Корнер, к этому времени уже совершенно искренне удивлявшийся, почему ему не приготовили ужина. — Что это значит, все легли спать, когда хозяин еще не п-п-поужинал?

— Что-нибудь случилось, дорогая? — раздался на ближайшей площадке лестницы голос мисс Грин.

— Ну, входи же, Кристофер, — умоляла миссис Корнер, — пожалуйста, входи и дай мне закрыть дверь.

Миссис Корнер была одной из тех молодых леди, которые обожают не без грациозной надменности властвовать над теми, кто привык с готовностью им подчиняться. Эти леди легко поддаются испугу.

— Я... желаю... ж-жареных почеч с гренками, — пояснил мистер Корнер, сменив молоток на вешалку для шляп, о чем он, впрочем, тут же пожалел, — и д-да-вайте без р-р-разго-ворчи-ков. Понятно? Не желаю ничего слышать.

— Господи, что же мне делать? — зашептала своей закадычной подруге до смерти перепуганная миссис Корнер, — в доме почеч нет и в помине.

— Я бы лично сварила ему парочку яиц, — подсказала услужливая подруга, — и насыпала бы на них побольше кайенского перца. Скорее всего, он и не вспомнит.

Мистер Корнер позволил увести себя в столовую, служившую одновременно гостиной и библиотекой. Обе леди спешили поскорее разжечь кухонную плиту. Им помогала одетая на скорую руку служанка, чье хроническое негодование, судя по всему, растворилось именно тогда, когда вилла «Акация» в первый раз дала ей повод вознегодовать по-настоящему.

— Никогда бы в жизни не поверила, — шепотом призналась побелевшая миссис Корнер. — Никогда.

— Сразу видно, что в доме есть мужчина, а? — щебетала восхищенная служанка. Миссис Корнер ответила ей пощечиной и этим чуточку облегчила душу.

Служанка вновь обрела невозмутимость, однако операции миссис Корнер и ее закадычной подруги отнюдь не ускорились, поскольку каждую четверть минуты до них доносились рыканье мистера Корнера, отдававшего дополнительные распоряжения.

— Я боюсь входить к нему одна, — сказала миссис Корнер, когда все было расставлено на подносе. Поэтому закадычная подруга последовала за ней, прикрываемая с тыла служанкой.

— Что это такое? — нахмурился мистер Корнер. — Я же велел приготовить котлеты.

— Прости, дорогой, — заикаясь, ответила миссис Корнер, — но в доме нет мяса.

— В образцово поставленном хозяйстве, какое, полагаю, ты заведешь в будущем, — продолжал мистер Корнер, наливая себе пива, — всегда должны быть бифшкетты. Пмаешь? Бифшкетты.

— Постараюсь запомнить, дорогой, — сказала миссис Корнер.

— Не кажется ли тебе, — произнес между двумя глотками мистер Корнер, — что ты ведешь хозяйство совсем не так, как положено?

— Но, дорогой, я попытаюсь... — взмолилась миссис Корнер.

— Где твои книги? — внезапно потребовал мистер Корнер.

— Мои книги? — в изумлении повторила за ним миссис Корнер.

Мистер Корнер грохнул кулаком по столу, и все в комнате, включая миссис Корнер, подпрыгнуло.

— Не водите меня за нос, моя милая, — сказал мистер Корнер, — вы прекраснаете, что ямьюду ваши книги по ведензияйству.

Книги оказались в ящике шифоньера. Миссис Корнер вытащила их и дрожащей рукой протянула мужу. Открыв наугад одну из них, мистер Корнер сдвинул брови и склонился над ней.

— Не кажется ли тебе, моя милая, что ты не умеешь складывать? — сказал мистер Корнер.

– Ме-меня, когда я была девочкой, считали способной по арифметике, – запинаясь, пролепетала миссис Корнер.

– То – когда девочкой, а то – сколько будет двадцать семь и девять? – свирепо спросил мистер Корнер.

– Тридцать восемь... семь, – начала путать перепуганная миссис Корнер.

– Знаешь ты умножение на девять или не знаешь? – загремел мистер Корнер.

– Знала, – всхлипнула миссис Корнер.

– Считай! – скомандовал мистер Корнер.

– Девятью один – девять, – начала бедняжка, рыдая, – девятью два...

– Пр-р-жай! – мистер Корнер был неумолим.

Она продолжала – чуть слышно, монотонно, изредка сдавленно всхлипывая. Наводящий тоску однообразный ритм, должно быть, сделал свое дело. Когда совсем потерявшаяся от страха миссис Корнер подошла к «девятью одиннадцать – девятью девять», мисс Грин украдкой показала ей на стол. Миссис Корнер испуганно глянула и увидела, что глаза ее господина и повелителя закрыты. Откуда-то из головы его, покоившейся между пустым кувшином из-под пива и судком, исходил нарастающий храп.

– Ничего с ним не будет, – сказала мисс Грин. – Запрись в своей комнате и ложись спать. Утром Харриет и я позаботимся о завтраке. А тебе лучше не попадаться ему на глаза.

И миссис Корнер, благодарная за то, что кто-то подсказал ей, как быть, беспрекословно повиновалась.

К семи часам утра наполнившие комнату потоки солнечного света заставили мистера Корнера сначала заморгать глазами, потом зевнуть и наконец приоткрыть один глаз.

– Встречай день улыбкой, – сонно пробормотал мистер Корнер, – и он...

Мистер Корнер внезапно приподнялся и огляделся кругом. Это не кровать. На полу у его ног разбросаны осколки стакана и черепки кувшина. Опрокинутый судок и раздавленные яйца придали скатерти новый колорит. В ушах какой-то звон. С чего бы это? В конце концов мистер Корнер вынужден был прийти к заключению, что кто-то пытался приготовить из него салат – и при этом переложил горчицы. Некий шум заставил мистера Корнера перенести свое внимание на дверь. Через узенькую щелочку в комнату за-

глядывало зловеще серьезное лицо мисс Грин. Мистер Корнер поднялся. Мисс Грин проскользнула в комнату, прикрыла за собой дверь и встала, загородив ее спиной.

— Надеюсь, вы знаете, что... что вы натворили? — начала мисс Грин.

Говорила она замогильным голосом, и несчастный мистер Корнер похолодел.

— Я что-то начинаю припоминать, но не очень отчетливо, — признался он.

— Вы явились домой в пьяном... совершенно пьяном состоянии, — довела до его сведения мисс Грин, — в два часа ночи. И так расшумелись, что, наверное, пол-улицы подняли на ноги.

С пересохших губ мистера Корнера сорвался тяжелый вздох.

— Вы потребовали, чтобы Эми приготовила вам горячий ужин...

— Я — потребовал! — мистер Корнер обратил свой взор на стол. — И она — приготовила!

— Вы так неистовствовали, — объяснила Грин, — что мы, все трое, до смерти перепугались.

Глядя на сидящую перед ней жалкую фигуру, мисс Грин поверить себе не могла, что всего лишь несколько часов назад этот человек мог самым настоящим образом нагнать на нее страху. И только сознание долга удержало ее от смеха.

— Сидя здесь и поедая ужин, — безжалостно продолжала мисс Грин, — вы заставили Эми показать вам ее хозяйственные книги.

К этому времени мистер Корнер уже прошел ту стадию, когда его еще можно было чем-нибудь поразить.

— Вы прочитали ей нотацию по поводу ее умения вести хозяйство. — В глазах закадычной подруги миссис Корнер загорелся огонек. Но, сверкнув в тот момент перед мистером Корнером молния, он не заметил бы ее.

— Вы заявили, что она не умеет складывать, и заставили ее отвечать таблицу умножения.

— Я заставил ее... — в голосе мистера Корнера не было и тени эмоции, будто он просто констатировал факт. — Я заставил Эми отвечать таблицу умножения?

— Умножение на девять, — кивнула мисс Грин.

Мистер Корнер опустил на стул и окаменелым взором уставился в будущее.

— Как же быть? — произнес мистер Корнер. — Она же ни за что не простит меня, уж я-то ее знаю. Но, может быть, вы шутите? — вскричал мистер Корнер, на секунду почувствовав проблеск надежды. — Я в самом деле сделал это?

— Вы сидели на том же стуле, что и сейчас, и поедали вареные яйца, а она стояла перед вами и отвечала таблицу умножения. Под конец вы заснули, и я уговорила ее пойти спать. Было уже три часа, и мы полагали, что вы не будете против. — Мисс Грин подвинула стул, села и, положив локти на стол, посмотрела на сидевшего через стол от нее мистера Корнера. В глазах закадычной подруги миссис Корнер, несомненно, играли веселые огоньки. — Но это же было всего один-единственный раз, — подсказала мисс Грин.

— Вы думаете, она может простить меня? — воскликнул мистер Корнер.

— Нет, не думаю, — ответила мисс Грин. На лице мистера Корнера отразилось соответственное падение обратно в область низких температур. — Я думаю, что самым лучшим выходом для вас будет простить ее.

Эта мысль даже не позабавила его. Мисс Грин оглянулась, чтобы убедиться, что дверь закрыта, и на секунду прислушалась, нет ли кого поблизости.

— Вы еще не забыли, — мисс Грин в дополнение к этим мерам предосторожности говорила шепотом, — о чем мы беседовали за завтраком в то первое утро, когда я к вам приехала? Тогда еще Эми сказала, что лучше бы вы изредка выпивали.

— Да, да, — мистер Корнер начал припоминать. — Но ведь она сказала только «выпивать», — в ужасе вспомнил он.

— Ну что же, вы как раз и «выпили», — продолжала свое мисс Грин. — Кроме того, она не имела в виду «выпивать». Она подразумевала самое настоящее пьянство, да не хотела называть его своим именем. После вашего ухода мы еще говорили об этом. Она сказала, что отдала бы все на свете, чтобы вы больше походили на обыкновенного мужчину. А обыкновенный мужчина именно таким ей и представляется.

Недогадливость мистера Корнера выводила мисс Грин из себя. Она перегнулась через стол и встряхнула его.

— Неужели вы не понимаете? Вы же сделали это нарочно, чтобы проучить ее. Это она должна просить у вас прощения.

— Вы думаете?

— Я думаю, что если вы поведете дело как следует, то сегодняшний день принесет вам удачу, о какой вы и мечтать не смеете. Уходите из дома до того, как она проснется. Я не буду говорить ей ничего. Да и не успею: мне нужно поехать на Паддингтонский вокзал к десятичасовому. Когда вы вечером вернетесь домой, во что бы то ни стало заговорите первым.

И мистер Корнер, не успев сообразить, что он делает, поднялся и в восторге поцеловал мисс Грин.

Вечером миссис Корнер сидела в гостиной, поджидая мистера Корнера. Одета она была так, будто собралась в дорогу, а в уголках ее рта легли знакомые Кристоферу морщинки, один вид которых заставил его сердце юркнуть в пятки.

К счастью, он вовремя оправился и приветствовал ее улыбкой. Ему не удалось улыбнуться, которую он репетировал целый день, но одно то, что он улыбнулся, так потрясло миссис Корнер, что слова замерли на ее устах. Это дало ему неосценимое преимущество заговорить первым.

— Ну как, — весело начал мистер Корнер, — как это тебе понравилось?

На какое-то мгновение миссис Корнер испугалась, что новый недуг ее мужа уже перешел в хроническое заболевание, но его все еще улыбающееся лицо успокоило ее страхи, в отношении последнего во всяком случае.

— Когда бы ты хотела, чтобы я еще раз «позволил себе»? Ну-ну, — продолжал мистер Корнер, заметив недоумение жены, — пожалуйста, не говори мне, что не помнишь, о чем шла речь за завтраком в первый день приезда Милдред. Ты тогда намекнула, что я был бы куда привлекательнее, если бы изредка «выпивал».

Мистер Корнер, пристально наблюдавший за женой, заметил, что прошлое постепенно всплывает в ее памяти.

— Мне не представлялось до сих пор случая угодить тебе, — пояснил мистер Корнер, — поскольку я старался сохранить ясность мысли для работы и знал, какой эффект это может произвести на меня. Вчера я сделал все, что было в моих силах. Надеюсь, ты осталась довольна мною. Хотя я был бы тебе очень признателен, если бы ты могла удовольствоваться — разумеется, только на первое время, покуда я несколько не привыкну — тем, что подобные представ-

ления будут повторяться не чаще раза в две недели, — добавил мистер Корнер.

— Ты подразумеваешь... — начала миссис Корнер, вставая с места.

— Я, моя дорогая, подразумеваю, — сказал мистер Корнер, — что почти с первого дня нашей супружеской жизни ты не скрывала, что считаешь меня мямлей. Все твои представления о мужчинах почерпнуты из глупых книг и еще более глупых пьес. Ты страдаешь от мысли, что я не похожу на них. Ну что же, я показал тебе, что, если ты настаиваешь, я могу походить на них.

— Но ты же ни чуточки не был похож на них, — возразила миссис Корнер.

— Я сделал все, что было в моих силах, — повторил мистер Корнер, — не все люди созданы одинаково. То, что ты видела, было моим вариантом «пьяного».

— Я не говорила «пьяный».

— Но ты подразумевала это, — прервал ее мистер Корнер. — Беседовали мы тогда о пьяных. Мужчина в пьесе был пьян, и ты полагала, что он забавен.

— Он действительно был забавен, — настаивала миссис Корнер, заливаясь слезами, — именно такого пьяного я и имела в виду.

— Его жена, — напомнил ей мистер Корнер, — что-то не находила его забавным. В третьем действии она угрожала ему, что вернется к матери, а это пришло в голову и тебе, если судить по твоему дорожному платью.

— Но ты... ты был так гадок, — прохныкала миссис Корнер.

— Что же я проделывал? — поинтересовался мистер Корнер.

— Ты пришел и принялся колотить в дверь...

— Да-да, припоминаю, я захотел поужинать, и ты приготовила парочку яиц. Что же произошло дальше?

Воспоминание об этой кульминации унижений придало ее голосу нотку подлинного трагизма.

— Ты заставил меня отвечать таблицу умножения. На девять...

Мистер Корнер посмотрел на миссис Корнер, миссис Корнер посмотрела на мистера Корнера, и на некоторое время в комнате воцарилось молчание.

– Ты... ты и в самом деле был немножко... того, – нерешительно промолвила миссис Корнер, – или только... прикидывался?

– В самом деле, – сознался мистер Корнер. – Первый раз в жизни. Если ты удовлетворена, то и в последний.

– Прости меня, – сказала миссис Корнер, – я вела себя очень глупо. Пожалуйста, прости меня.

ЧЕГО СТОИТ ОКАЗАТЬ ЛЮБЕЗНОСТЬ

– Но ведь оказать любезность ничего не стоит, – убеждала мужа маленькая миссис Пенникуп.

– Зато она соответственно и расценивается, моя милая, – возразил мистер Пенникуп, аукционист с двадцатилетним опытом, имевший полную возможность наблюдать, как относятся люди к различным проявлениям чувств.

– И слушать не хочу, Джордж, – упорствовала жена, – пускай это неприятный, сварливый старый грубиян – я не отрицаю, но все равно ведь человек уезжает, и мы, вероятно, никогда его больше не увидим.

– Если бы я допускал хоть малейшую возможность встретиться с ним вновь, – заметил мистер Пенникуп, – я бы завтра же распрощался с англиканской церковью и стал методистом.

– Не говори так, Джордж, – укоризненно сказала жена, – Господь может услышать тебя.

– Доведись Господу услышать старого Крэклторма, он бы мне посочувствовал, – заявил мистер Пенникуп.

– Бог посылает нам испытания для нашего блага, – пояснила жена, – они учат нас терпению.

– Ты-то не церковный староста, – отпарировал мистер Пенникуп, – ты ничем не связана с этим человеком. Ты слышишь его только тогда, когда он стоит на церковной кафедре и вынужден хоть несколько себя сдерживать.

– Ты забываешь о благотворительных базарах, Джордж, не говоря уже об украшении церкви, – напомнила миссис Пенникуп.

– Благотворительные базары бывают только раз в году, – отвечал мистер Пенникуп, – и в это время твой собственный характер, как я заметил...

— Я всегда стараюсь помнить, что я христианка, — превала его маленькая миссис Пенникуп. — Я не прикидываюсь святой, но если когда-нибудь и скажу что-либо дурное, то потом всегда пожалею, ты ведь знаешь это, Джордж.

— Именно это я и хотел сказать, — согласился с нею муж. — Да, уж если приходский священник за какие-нибудь три года добился того, что его прихожанам стал ненавистен самый вид церкви, — здесь что-то неладно.

Миссис Пенникуп, приятнейшая маленькая особа, положила на плечи мужу свои пухлые, все еще хорошенькие ручки.

— Не думай, дорогой, что я не сочувствую тебе. Ты выносил все с таким достоинством. Порой я просто сама удивляюсь, какую выдержку ты проявлял в большинстве случаев, а ведь чего только он тебе не говорил.

Мистер Пенникуп невольно принял позу, олицетворяющую торжество добродетели, наконец-то удостоенной признания.

— Что касается до нас, грешных, — заметил мистер Пенникуп смиренно-гордым тоном, — то с личными оскорблениями еще можно было бы примириться... хотя, впрочем, — прибавил церковный староста, внезапно поддаваясь человеческой слабости, — не очень-то приятно, когда в ризнице тебе во всеуслышанье, через весь стол, говорят, будто бы ты умышленно оставил себе для сбора пожертвований левую часть церкви, чтобы незаметно миновать свою собственную семью.

— Но ведь наши дети всегда держат наготове трехпенсовые монетки! — возмутилась миссис Пенникуп.

— Подобные вещи он говорит исключительно для того, чтобы доставить человеку неприятность, — продолжал церковный староста, — а то, что он делает, просто нет сил терпеть.

— Ты хочешь сказать «делал», мой милый, — смеясь, поправила маленькая женщина. — Теперь с этим уже покончено, мы скоро от него избавимся. Я думаю, дорогой, что если разобраться хорошенько, то виной всему его больная печень. Ты помнишь, Джордж, еще в самый день его приезда я обратила внимание, какое у него одутловатое лицо и неприятное выражение рта. Ведь больные печенью ничего не могут с собой поделать, мой милый. Надо смотреть на них как на несчастных и жалеть их.

— Я бы еще простил его выходки, если бы не видел, что они доставляют ему несомненное удовольствие, — промолвил церковный староста. — Впрочем, как ты уже сказала, дорогая, он уезжает, и единственно, о чем я мечтаю и молю Бога, — это никогда больше не встретить человека, подобного ему.

— Ты должен навестить его, Джордж, мы пойдем к нему вместе, — настаивала добрая маленькая миссис Пенникуп. — Как-никак он целых три года был нашим приходским священником, и теперь так уезжать отсюда, зная, что все рады от него избавиться... бедняге должно быть очень неприятно, как бы он ни хорохорился.

— Ну, ладно, — согласился мистер Пенникуп, — только я не стану говорить ему того, чего на самом деле не чувствую.

— Вот и прекрасно, — смеясь, ответила жена, — лишь бы ты не говорил того, что чувствуешь. И что бы ни произошло, мы должны сдерживаться, — предупредила маленькая женщина. — Помни, это ведь в последний раз.

У маленькой миссис Пенникуп намерения были добрые и поистине христианские.

Преподобный Август Крэклторп в следующий понедельник должен был покинуть Вичвуд и, как искренне надеялся он сам и вся его паства, никогда больше не появляться даже поблизости. До сих пор обе враждующие стороны и не пытались скрывать обоюдной радости по поводу предстоящего расставания. Возможно, преподобный Август Крэклторп, магистр искусств, оказался бы не бесполезным для англиканской церкви в каком-нибудь ист-эндском приходе, пользующемся дурной славой, или, скажем, где-нибудь в далеком миссионерском стане, среди языческих орд. Там, пожалуй, могли бы сослужить службу его врожденное стремление противоречить всем и каждому, его упорное пренебрежение к взглядам и чувствам других людей, его вдохновенная уверенность в том, что все, кроме него, непременно ошибаются, и присущая ему поэтому всегдашняя готовность действовать и говорить, не зная страха. Но в живописном маленьком Вичвуде, расположенном среди Кентских холмов, в этом излюбленном пристанище удалившихся от дел торговцев, старых дев среднего достатка, исправившихся представителей богемы, в которых пробудился дремавший доселе инстинкт добропорядочности, — здесь вышеупомянутые свойства преподобного Крэклторпа

приводили только к неприятностям и раздорам. За последние два года его прихожане, при поддержке некоторых других вичвудцев, кому тоже случилось иметь дело с достопочтенным деджльменом, не раз пытались обиняком, при помощи недвусмысленных намеков внушить ему, какую сильную, все возрастающую неприязнь вызывает он в них как священник и человек. Положение достигло крайней напряженности, когда ему официально объявили, что, раз нет другого выхода, придется послать к епископу делегацию из наиболее уважаемых прихожан. Это убедило наконец преподобного Августа Крэклторпа в том, что он потерпел полный провал как духовный наставник и утешитель вичвудцев. Преподобный Август Крэклторп уже подыскал и обеспечил себе возможность заботиться о другой пастве. На следующее воскресное утро он назначил свою прощальную проповедь, и, казалось, все сулило ему успех. Набожные жители Вичвуда, уже много месяцев как переставшие посещать церковь Святого Иуды, предвкушали наслаждение — сознать, слушая преподобного Августа Крэклторпа, что слушают его в последний раз. Преподобный Август Крэклторп приготовил проповедь, которая обещала произвести должное впечатление своей ясностью и прямотой. Ведь у прихожан вичвудской церкви Святого Иуды, как и у всех смертных, были свои недостатки. Преподобный Август льстил себя мыслью, что не упустил ни одного из этих недостатков, и заранее испытывал удовольствие, представляя себе, какую сенсацию произведет его речь, начиная от «во-первых» и кончая «в-шестых, и последних».

Однако все дело испортил порывистый характер маленькой миссис Пенникуп. В среду днем преподобный Август Крэклторп занимался в своем кабинете, когда ему доложили о приходе мистера и миссис Пенникуп; заставив их подождать в гостиной пятнадцать минут, он наконец вышел с холодным, суровым выражением на лице и, не подавая руки, попросил объяснить, возможно более кратко, по какому поводу его оторвали от занятий. У миссис Пенникуп речь была приготовлена заранее. В ней было все, что нужно, — и ничего больше. Миссис Пенникуп собиралась упомянуть — без всякого подчеркивания, как бы между прочим, — о том, что долг каждого из нас — при любых обстоятельствах вести себя по-христиански; что наша приятная обязанность — прощать и забывать обиды; что, вообще го-

воря, обе стороны виноваты; что расставаться нужно всегда мирно, — короче говоря, что она, миссис Пенникуп, и ее муж Джордж, готовый сам это подтвердить, сожалеют о всех своих словах и поступках, которые могли обидеть преподобного Августа Крэклторма, и хотели бы на прощанье пожать ему руку и пожелать ему счастья. Однако, встретив у преподобного Августа такой холодный прием, миссис Пенникуп почувствовала, что все слова столь тщательно подготовленной речи развеялись по ветру. Ей оставалось либо удалиться молча, с оскорбленным видом, либо положиться на вдохновение минуты и придумать что-нибудь новое. Она избрала последнее.

Сначала она говорила запинаясь. Ее супруг, чисто по-мужски, в самый трудный момент оставил ее без всякой поддержки и усердно вертел дверную ручку. Стальной взгляд преподобного Крэклторма не только не расхолаживал миссис Пенникуп, но, наоборот, действовал на нее как удар шпоры. Он придавал ей пылу. Нет, она заставит преподобного Августа Крэклторма выслушать ее. Она принудит его понять, какие добрые чувства ею руководят, если даже придется трясти его за плечи, чтобы внушить ему это. Спустя пять минут преподобный Август Крэклторм, сам того не замечая, расцвел от удовольствия. Спустя еще пять минут миссис Пенникуп замолчала, но не потому, что ей не хватало слов, — ей не хватало дыхания. Преподобный Август Крэклторм стал ей отвечать, и неожиданно для него самого голос его дрогнул от волнения. Из-за миссис Пенникуп все осложнилось. Он думал, что покинет Вичвуд с легким сердцем, теперь же, когда он узнал, что, во всяком случае, один человек из его прихода понимает его (ведь он убедился, что миссис Пенникуп понимает его и сочувствует ему), когда он узнал, что по крайней мере одно сердце (а именно сердце миссис Пенникуп) проникнуто к нему теплым участием, — теперь все, чего он ждал, как блаженного избавления, превращалось для него в источник постоянной печали.

Мистер Пенникуп, увлеченный красноречием жены, добавил, запинаясь, несколько слов от себя. Из них явствовало, что мистер Пенникуп всегда только и мечтал о таком прекрасном священнике, как преподобный Август Крэклторм, но какие-то недоразумения всегда возникают в жизни. Равным образом и преподобный Август Крэклторм в ду-

ше, оказалось, всегда уважал мистера Пенникупа. И если иногда из его слов можно было заключить обратное, то это, мол, происходило вследствие бедности человеческого языка, не способного передать все тонкости мысли.

Затем последовало приглашение к чаю. Мисс Крэклторп, сестра преподобного Августа — особа поразительно похожая на него во всех отношениях, если не считать того, что брат ее был гладко выбрит, а она носила небольшие усики, — была приглашена украсить общество своим присутствием.

Долго бы еще тянулась беседа, если бы миссис Пенникуп не вспомнила, что ей предстоит вечером купать маленькую Вильгельмину.

— Я сказала больше, чем собиралась, — заметила на обратном пути миссис Пенникуп своему мужу Джорджу, — но я была слишком взволнована.

Слух о визите Пенникупов облетел весь приход. Другие дамы сочли своим долгом доказать миссис Пенникуп, что она не единственная христианка в Вичвуде. Они опасались, как бы миссис Пенникуп не слишком возомнила о себе. Преподобный Август с простительной гордостью повторял на память некоторые отрывки из речи миссис Пенникуп. Но пусть миссис Пенникуп не воображает себя единственным человеком в Вичвуде, способным на великодушные поступки, которые ей ничего не стоят. И другие дамы могли бы наговорить всяких приятных пустяков, даже, вероятно, с большим искусством!

Их мужья, надев лучшие одежды и получив строгие наставления, как себя вести, вынуждены были присоединиться к нескончаемой процессии сокрушенных прихожан, стучавшихся в дом священника.

За время, прошедшее с четверга до субботнего вечера, преподобный Август, к своему большому удивлению, был принужден сделать вывод, что пять шестых прихожан любили его всегда, с самого начала, им только не представлялось до сих пор случая выразить свои подлинные чувства.

Наконец наступил чреватый событиями воскресный день. Выражая преподобному Августу Крэклторпу сожаление, заверяя его в своем уважении, до тех пор почему-то скрываемом, истолковывая свои, по видимости, грубые поступки как проявление особенно нежных чувств, все отнимали у него столько времени, что он лишен был малейшей

возможности подумать о чем-либо другом. Только войдя в ризницу в одиннадцать часов без пяти минут, он вспомнил о своей прощальной проповеди. Мысль о ней преследовала его все время, пока шла служба. Выступить с таким словом после всего того, что открылось ему за последние три дня, было невыносимо. Ведь с подобной воскресной проповедью, казалось ему, Моисей мог бы обратиться к фараону накануне исхода евреев из Египта. Было бы бесчеловечно громить этой проповедью подавленных горем прихожан, которые боготворят его и так скорбят о его отъезде. Преподобный Август перебирал в памяти отрывки из своей речи, надеясь, что хоть некоторые из них могут пригодиться в подправленном виде. Таковых не оказалось. Вся проповедь состояла сплошь из таких фраз, что ни одной из них, несмотря на все ухищрения, нельзя было придать приятный смысл.

Медленно взбираясь по ступенькам кафедры, преподобный Август Крэккторп не имел ни малейшего представления о том, что он сейчас будет говорить. Солнечный свет падал на обращенные к нему лица прихожан, заполнивших церковь до последнего уголка. Никогда еще преподобный Август Крэккторп с высоты церковной кафедры не видел своих прихожан такими счастливыми, такими жизнерадостными. Он вдруг почувствовал, что ему не хочется их покидать, да и они тоже не хотят разлучаться с ним, в этом не могло быть сомнения. Ведь иначе их надлежало бы считать скопищем самых бессовестных лицемеров, когда-либо собиравшихся под одной крышей. Преподобный Август Крэккторп отбросил это мимолетное подозрение как внушенное нечистым духом, свернул лежавшую перед ним аккуратную рукопись и отложил ее в сторону. Прощальная проповедь была не нужна. Еще не поздно все повернуть по-иному. Преподобный Август Крэккторп первый раз говорил с кафедры экспромтом.

Преподобный Август Крэккторп сказал, что охотно берет вину на себя. Он-де легковерно полагался в своих суждениях на свидетельства нескольких человек из прихода, чьи имена здесь нет нужды называть, на людей, которые, он надеется, когда-нибудь еще пожалеют о всех вызванных ими недоразумениях, хоть сам он по-христиански и прощает этих братьев своих, — и он допустил мысль, что прихожане церкви Святого Иуды питают к нему личную неприязнь. Он хочет всенародно принести извинения в своей неволь-

ной ошибке. Он несправедливо судил об уме и сердце вичвудцев. Теперь он узнал из их собственных уст, что их оклеветали. Они не только не хотят его отъезда, но, напротив, очень огорчились бы разлукою с ним — это совершенно очевидно. Получив теперь уверенность в уважении к нему и даже, можно сказать, благоговении со стороны большинства прихожан, — уверенность, надо признаться, несколько запоздалую, он ясно видит, что может по-прежнему заботиться об их духовных нуждах. Покинуть столь преданную паству означало бы выказать себя недостойным пастырем. Непрерывный поток сожалений по поводу его отъезда, изливаемых перед ним за последние четыре дня, заставил его в конце концов призадуматься. Что ж, он останется с ними, но при одном условии.

Море людей там, внизу, заволновалось, что более внимательному наблюдателю напомнило бы судорожные движения утопающего, готового ухватиться за любую соломинку. Но преподобный Август Крэкклторп был занят только своей речью. Приход, говорил он, очень велик, а он уже не молод. Пусть дадут ему в помощники какого-нибудь добросовестного и энергичного человека. У него есть на примете такой человек, его близкий родственник, готовый за небольшое вознаграждение, о котором и говорить не стоит, занять эту должность. С церковной кафедры неуместно обсуждать подобные вопросы, но позднее, в ризнице, он будет рад побеседовать с теми из прихожан, кто пожелает туда зайти.

Во время пения гимна большинство прихожан было взволновано только одним вопросом — как побыстрее выбраться после службы из церкви. Еще оставалась слабая надежда, что преподобный Август Крэкклторп, не получив себе помощника, сочтет необходимым, ради сохранения собственного достоинства, отряхнуть со своих ног прах этого прихода, щедрого на чувства, но безнадежно скупого, когда дело коснется кармана.

Однако то воскресенье было злополучным днем для прихожан церкви Святого Иуды. Еще нельзя было и помышлять об уходе из церкви, как вдруг преподобный Август поднял руки, облаченные в широкие рукава стихаря, и попросил позволения ознакомить свою паству с содержанием короткой записки, только что ему переданной. Он, мол, уверен, что после этого все пойдут домой с чувством радо-

сти и благодарности в сердце. Среди них находится человек, достойный быть образцом христианской благонамеренности и делающий честь англиканской церкви.

При этих словах все увидели, как залился краской один толстый приземистый человек, бывший лондонский суконщик, оставивший оптовую торговлю в Ист-Энде, чтобы жить на покое, и совсем недавно обосновавшийся в помещицком доме.

Вновь прибывший ознаменовал-де свое вступление в их среду столь щедрым даром, что это послужит блестящим примером для всех богатых людей. Мистер Хорэшио Купер... — тут достопочтенный джентльмен запнулся, видимо не разбирая почерка.

— Купер-Смит, сэр, двойная фамилия, — тихим шепотом подсказал суконщик, все еще красный от смущения.

Мистер Хорэшио Купер-Смит прибегнул (здесь голос преподобного Августа зазвучал увереннее) к весьма достойному средству сразу же привлечь к себе сердца сограждан: он выразил желание платить помощнику священника целиком из своего собственного кармана. При таких условиях больше не может быть речи о разлуке преподобного Августа Крэклторма со своими прихожанами. Преподобный Август Крэклторм надеется до самой смерти быть пастором церкви Святого Иуды.

Вероятно, ни из какой церкви не выходили прихожане более торжественно и степенно, как из вичвудской церкви Святого Иуды в то памятное воскресное утро.

— Теперь у него будет больше свободного времени, — сказал своей жене, поворачивая за угол Акейша-авеню, младший церковный староста мистер Байлз, удалившийся от дел оптовый торговец скобяными товарами, — больше свободного времени, чтобы дать нам еще больше почувствовать, какой он для нас бич и вечный камень преткновения.

— А если еще этот «близкий родственник» смахивает на него...

— Так оно и есть, можешь не сомневаться, иначе он и не подумал бы взять его в помощники, — выразил уверенность мистер Байлз.

— Ну, встречусь я теперь с этой миссис Пенникул, уж я с ней поговорю! — воскликнула миссис Байлз.

Но что толку было в этом?

Из сборника
«МАЛЬВИНА БРЕТОНСКАЯ»
(1916)

УЛИЦА ГЛУХОЙ СТЕНЫ

С Эджвер-роуд мне почему-то захотелось свернуть в переулок, который вел к западу. Молчаливые его дома прятались в глубине палисадников. На штукатурке каменных ворот виднелись обычные названия. В слабом свете сумерек с трудом можно было разобрать слова. Была тут и «Вилла зеленых раки», и «Кедры», и трехэтажный «Горный приют», увенчанный странной башенкой с остроконечной крышей, похожей на колпак гнома. В довершение сходства наверху, под самым карнизом, вдруг засветились два небольших окна, как будто два злобных глаза, сверкнув, уставились на прохожего.

Переулок сворачивал вправо и заканчивался небольшой площадью, пересеченной каналом, через который был переброшен низкий горбатый мост. И здесь повсюду — все те же безмолвные дома с палисадниками. Фонарщик зажигал один за другим фонари на набережной канала, и некоторое время я глядел, как из темноты постепенно выступают его очертания. Немного дальше, за мостом, канал расширялся в небольшое озеро с островом посередине. Продолжая свою прогулку, я, вероятно, сделал круг, так как в конце концов оказался на том же самом месте. За все время пути мне не встретилось и десятка прохожих. Наконец я решил, что пора возвращаться в Паддингтон.

Мне показалось, что я иду той же дорогой, которая привела меня сюда, но, должно быть, меня сбил с толку слабый свет фонарей. Впрочем, мне было все равно. За каждым поворотом этих безмолвных улиц мне чудилась тайна, как будто за опущенными шторами слышались глухие шаги, а за призрачными стенами — неясный шепот. Изредка отку-

да-то доносился смех и тут же замирал, потом где-то вдруг заплакал ребенок.

Проходя мимо особняков, тянувшихся по одной стороне короткой улицы, напротив какой-то высокой глухой стены, я заметил, что занавеска в одном из окон приподнялась, и в нем показалась женщина. Единственный газовый фонарь, освещавший улицу, находился как раз напротив этого дома. Сначала мне показалось, что я вижу лицо девочки, потом я взглянул еще раз и подумал, что это старуха. При слабом освещении краски терялись, в голубоватом холодном свете фонаря лицо женщины казалось мертвенно-бледным.

Замечательны были ее глаза. Быть может, оттого производили они такое впечатление, что, вобрав в себя весь этот свет и сосредоточив его в себе, они стали неестественно большими и блестящими. Быть может, оттого, что глаза эти были слишком велики по сравнению с ее лицом, таким нежным и тонким. Наверное, она заметила меня, потому что занавеска снова опустилась, и я прошел мимо.

Не знаю почему, но этот случай мне запомнился. Внезапно приподнятая штора, как занавес маленького театра, неясные очертания почти пустой комнаты и женщина, стоящая как будто у самой рампы, — так рисовалась эта картина в моем воображении. Но прежде чем драма началась, занавес опустили. Сворачивая за угол, я обернулся: штора снова приподнялась, и я опять увидел силуэт тоненькой фигурки, прильнувшей к оконному стеклу.

В это время какой-то человек чуть не сбил меня с ног. Он был не виноват. Я остановился слишком внезапно, и он не успел посторониться. Мы извинились друг перед другом, ссылаясь на темноту. Но, очевидно, мое воображение разыгралось, потому что я представил себе, что этот человек, вместо того чтобы идти своей дорогой, повернул обратно и следует за мной. Я дошел до угла и резко обернулся, но его нигде не было видно, а я вскоре вышел опять на Эджвер-роуд.

Раза два, гуляя в свободное время по городу, я пытался отыскать полюбившуюся мне улицу, но напрасно. И все это, вероятно, вскоре изгладилось бы из моей памяти, если бы в один прекрасный вечер, возвращаясь из Педдингтона домой по Хэрроу-роуд, я не встретился лицом к лицу с моей незнакомкой. Я не мог ошибиться. Она выходила из рыбной лавки, и ее платье почти коснулось меня. Совершенно

бессознательно я последовал за ней. На этот раз я старался примечать дорогу, и не прошло и пяти минут, как мы очутились на улице, которую я так безуспешно искал. Должно быть, я каждый раз бродил в каких-нибудь ста ярдах от нее. Когда мы дошли до угла, я замедлил шаг. Женщина не заметила меня; в тот момент, когда она поравнялась с домом, какой-то человек вышел на свет, падавший от уличного фонаря, и присоединился к ней.

В тот вечер я встретился с друзьями за холостяцким ужином, и так как впечатление от этой встречи было еще свежо в моей памяти, я рассказал о ней. Не помню, как начался наш разговор, — кажется, мы спорили о Метерлинке. Я рассказал, как поразила мое воображение внезапно поднятая штора окна. Словно я очутился в пустом зрительном зале и на мгновение стал свидетелем драмы, которую актеры разыгрывали втайне ото всех. Потом разговор перешел на другие предметы, а когда я собрался уходить, один из моих приятелей спросил меня, в какую мне сторону. Он предложил немного пройтись пешком, я не возражал, тем более что вечер был прекрасный. Когда мы очутились на малооживленной Харли-стрит, мой приятель признался, что пошел со мной не только ради удовольствия побыть в моем обществе.

— Любопытные иногда происходят вещи, — начал он, — представьте себе, сегодня мне пришел на память один случай из судебной практики, о котором я ни разу не вспоминал за одиннадцать лет. А тут еще вы так живо описали лицо этой женщины, что я подумал, неужели это она?

— Меня поразили ее глаза, — сказал я. — Я никогда не видел таких глаз.

— Представьте себе, что я тоже помню только ее глаза, — ответил он. — Вы могли бы отыскать эту улицу?

Некоторое время мы шли молча.

— Может быть, это покажется вам нелепым, — начал я наконец, — но меня беспокоит мысль, что я могу чем-нибудь повредить ей. Что это за дело, о котором вы говорите?

— В этом отношении вы можете быть совершенно спокойны, — ответил он. — Я был ее защитником, если только мы говорим об одном и том же лице. Как она была одета?

Его вопрос показался мне лишеным всякого смысла. Не мог же он в самом деле думать, что она будет одета так же, как одиннадцать лет тому назад.

— Не обратил внимания, — сказал я. — Кажется, на ней была блузка. — Но тут я вдруг вспомнил. — Действительно, что-то странное было в ее одежде. Что-то вроде широкого бархатного банта на шее.

— Я так и думал, — сказал мой приятель. — Без сомнения, это она.

Мы как раз дошли до Мерилебон-роуд, откуда наши дороги расходились.

— Если не возражаете, завтра днем я зайду за вами, — сказал он, — мы побродим немного вместе.

На следующий день он действительно зашел за мной в половине шестого. Мы вышли и скоро добрались до нашей маленькой улочки, уже освещенной единственным фонарем. Я показал ему дом, и он пересек улицу, чтобы посмотреть номер.

— Так и есть, — сказал он, вернувшись ко мне. — Сегодня утром я навел справки. Шесть недель тому назад ее условно выпустили до срока.

Он взял меня под руку.

— Нет смысла околачиваться здесь. Сегодня занавес не поднимется. Ничего не скажешь, это было очень умно — поселиться в доме прямо напротив фонаря.

В этот вечер мой приятель был занят; позднее он рассказал мне эту историю или, вернее, ту часть ее, которая была ему известна в то время.

* * *

Это случилось в самом начале кампании за создание зеленых кварталов на окраине города. Один из первых таких кварталов возник близ Финчли-роуд. Местечко только начинало отстраиваться. Одна из улиц — Лейлхем-Гарденс — едва насчитывала десяток домов, и то еще не заселенных, за исключением одного. Это была пустынная и безлюдная окраина, выходявшая прямо в открытое поле. В конце недостроенной улицы шел крутой спуск к пруду, за которым сразу же начинался лес. Единственный обитаемый дом принадлежал молодым супругам Хепворт.

Муж был человеком весьма красивой и приятной наружности. Он не носил ни усов, ни бороды, и поэтому трудно было определить точно, сколько ему лет. Зато возраст

его жены ни в ком не вызывал сомнений, она казалась почти девочкой. Предполагали, что ее муж человек слабовольный и нерешительный. Так, по крайней мере, утверждал комиссионер по продаже домов. Он говорил, что Хепворт то принимал решение, то неожиданно менял его. Джетсон, комиссионер, почти потерял надежду с ним договориться. Но затем вмешалась миссис Хепворт, и дом на улице Лейлхем-Гарденс был все-таки закреплен за ними. Хепворту не нравилось, что дом стоит слишком уединенно. Он говорил, что дела часто вынуждают его надолго уезжать из дому, и он боится, что жена в это время будет чувствовать себя неспокойно. Он упорно стоял на своем, но жена, отведя его в сторону, что-то долго шепотом говорила ему, и он наконец согласился, несмотря на свое явное нежелание.

Это был прехорошенький, очень уютный, небольших размеров дом. Казалось, он пришелся по вкусу миссис Хепворт. Она уверяла, что дом, в довершение всех своих достоинств, будет им как раз по карману, в то время как другие дома слишком дороги. Молодой Хепворт мог представить необходимые гарантии, но никто их не потребовал. Дом был продан на обычных для компании условиях. Чтобы выплатить задаток, мистер Хепворт выписал чек, должным образом оплаченный. Остальная сумма была обеспечена стоимостью самого дома. Юриисконсульт компании, с согласия Хепворта, представлял обе стороны.

Хепворты переехали в начале июня. В доме у них была только одна спальня. Служанки они не держали, но нашли женщину, которая приходила к ним работать ежедневно с утра и до шести часов вечера. Джетсон был их ближайшим соседом. Его жена и дочери частенько заходили к Хепвортам в гости и утверждали, что муж и жена премилые люди. Между младшей дочерью Джетсона и миссис Хепворт даже завязалась нежная дружба. Молодой Хепворт был неизменно очарователен, он явно старался казаться любезным, но у Джетсонов почему-то сложилось мнение, что он постоянно не в своей тарелке. Они говорили, правда уже впоследствии, что он производил впечатление человека, который чем-то угнетен.

Однажды был такой случай. Джетсоны провели вечер в гостях у своих новых друзей. Часов в десять, когда они собрались уходить, вдруг послышался стук в дверь. Потом оказа-

лось, что это помощник Джетсона — он уезжал наутро с первым поездом, и ему нужно было уточнить с Джетсоном некоторые вопросы. Но как только раздался стук в дверь, ужас искажил черты Хепворта. Он бросил на жену взгляд, полный отчаяния. Джетсонам показалось при этом, что в глазах молодой женщины мелькнуло презрение, которое тут же сменилось жалостью. Возможно, однако, что это было плодом их воображения, или, что скорее всего, обсуждая это событие впоследствии, они незаметно для себя внушили друг другу эту мысль. Миссис Хепворт поднялась со стула и сделала несколько шагов к двери, но Хепворт остановил ее и вышел сам. И тут-то, по свидетельству помощника Джетсона, Хепворт повел себя очень странно. Вместо того чтобы открыть парадную дверь, он, должно быть, вышел с черного хода, обогнул дом и незаметно подкрался к нему сзади.

Джетсоны долго ломали себе голову над тем, что бы все это могло значить, особенно презрение, мелькнувшее в глазах миссис Хепворт. Им всегда казалось, что она обожает мужа, и уж если кто-нибудь из них любил другого больше, то, безусловно, она. Кроме Джетсонов, у них не было ни друзей, ни знакомых. Никто из соседей, очевидно, не считал своим долгом заходить к ним в гости, а что касается людей посторонних, то их и вовсе никто никогда не видел на улице Лейлхем-Гарденс.

Но однажды такой посторонний явился. Случилось это незадолго до Рождества.

Джетсон возвращался из своей конторы на Финчли-роуд. Целый день в воздухе стоял легкий туман, и с наступлением темноты он густой белой массой опустился на землю. Свернув с Финчли-роуд, Джетсон заметил впереди себя человека в длинном желтом плаще и мягкой фетровой шляпе. Джетсон почему-то решил, что это моряк, — должно быть, на эту мысль его навел плотный непромокаемый плащ. Незнакомец свернул на Лейлхем-Гарденс. Проходя мимо фонаря, он оглянулся на столб, отыскивая надпись с названием улицы, и в яркой полосе света Джетсон отчетливо увидел его лицо. Очевидно, он убедился в том, что это та самая улица, которую он ищет. Дом Хепвортов был все еще единственным жилым домом на Лейлхем-Гарденс, и Джетсона разобрало любопытство — он остановился на углу и

стал наблюдать. Вполне естественно, что на всей улице только в доме Хепвортов горел свет. Человек подошел к калитке, чиркнул спичкой и осветил номер дома. Удостоверившись, что это тот дом, который ему нужен, он отворил калитку и прошел по дорожке к парадной двери.

Однако, вместо того чтобы позвонить или постучать дверным молотком, он, к удивлению Джетсона, три раза ударил в дверь тростью. На стук никто не вышел, и Джетсон, чье любопытство дошло до предела, перешел на другую сторону улицы, чтобы удобней было наблюдать. Человек дважды повторил свои три удара, каждый раз все громче и громче; на третий раз дверь наконец отворилась. Джетсону не видно было, кто ее отворил. Он увидел только часть стены в передней, то место, где крест-накрест висела пара морских тесаков над картиной с изображением трехмачтовой шхуны, которую Джетсон хорошо помнил. Дверь приоткрыли настолько, чтобы в нее мог проскользнуть человек, и тут же снова закрыли. Джетсон пошел было своей дорогой, но почему-то вздумал оглянуться. Дом был погружен в полную темноту, хотя минутой раньше Джетсон собственными глазами видел свет в одном из окон нижнего этажа.

Впоследствии подробности эти оказались исключительно важными, но в тот вечер Джетсону и в голову не пришло усмотреть в этом что-то необычайное. Из того, что за полгода никто не навещил Хепвортов, еще не следовало, что никто из родственников или знакомых так и не пожелает это сделать. Может быть, незнакомец решил, что легче достучаться собственной палкой, чем шарить в поисках звонка в такой туманный вечер. Хепворты обычно находились в комнате, расположенной в глубине дома. Поэтому весьма возможно, что кто-нибудь из них потушил свет в передней с целью экономии. Дома Джетсон рассказал об этом случае, но не как о чем-то примечательном, а просто из желания посплетничать. Никто не обратил внимания на этот рассказ, кроме его младшей дочери, в то время восемнадцатилетней девушки. Она спросила отца, как выглядел незнакомец, а немного позже незаметно выскользнула из комнаты и убежала к Хепвортам. Но Хепвортов она не застала — во всяком случае, на ее стук никто не вышел. Девушке стало жутко: тишина, в которую были погружены дом и сад Хепвортов, показалась ей неестественной.

На следующий день к Хепвортам зашел сам Джетсон, беспокойство его дочери отчасти передалось и ему. Его встретила миссис Хепворт. В своем показании на суде Джетсон утверждал, что в это утро он был поражен ее бледностью. Миссис Хепворт как будто предвидела вопрос, который вертелся у него на языке, поэтому сразу сказала, что они с мужем получили весьма неприятные известия и всю ночь провели без сна. Хепворта неожиданно вызвали в Америку, и она в самом скором времени должна будет последовать за ним. Миссис Хепворт сказала Джетсону, что немного погодя придет к нему в контору, чтобы распорядиться относительно дома и мебели.

С точки зрения Джетсона, рассказ миссис Хепворт вполне правдоподобно объяснял появление незнакомца. Выразив сочувствие и пообещав сделать все от него зависящее, Джетсон откланялся. Вскоре после полудня миссис Хепворт действительно появилась у него в конторе. Она принесла ему ключи от дома, оставив один себе. Она попросила Джетсона продать мебель с аукциона, а что касается дома, то пусть продаст его на любых условиях. Она постарается еще повидать его до отъезда, а если это не удастся, то напишет и сообщит ему свой адрес. Во время этой беседы она казалась совершенно спокойной. Напоследок она сказала Джетсону, что уже заходила к нему домой и простилась с его женой и детьми. Выйдя из конторы, она села в киб и поехала обратно на Лейлхем-Гарденс — собираться в дорогу. В следующий раз Джетсон увидел ее уже на скамье подсудимых. Ее судили за соучастие в убийстве мужа.

* * *

Тело было обнаружено в пруду, в каких-нибудь ста ярдах от того места, где обрывалась недостроенная улица Лейлхем-Гарденс. На соседнем участке строили дом, и один из рабочих, зачерпывая бадьей воду, уронил в пруд часы. Шаря по дну пруда граблями в поисках часов, он с товарищем случайно вытащил на поверхность клочки одежды. Это возбудило подозрение, и пруд был самым тщательным образом обследован. Если бы не часы, никто бы так и не узнал о случившемся.

Для того чтобы труп не всплыл, убийцы подвесили к нему несколько тяжелых утюгов, нанизав их на цепь с зам-

ком, и он глубоко увяз в мягком илистом дне пруда. Так он и остался бы там, пока окончательно не разложился. Ценные золотые часы, доставшиеся молодому Хепворту от отца, — Джетсон вспомнил, что сам Хепворт рассказывал ему об этом, — оказались на своем обычном месте, в кармане. Нашлось на дне пруда и кольцо с камеей, то самое кольцо, которое Хепворт носил на среднем пальце. Одним словом, убийство, по всей вероятности, принадлежало к разряду преступлений, совершенных в состоянии аффекта. Обвинитель утверждал, что совершил его человек, который до замужества миссис Хепворт был ее любовником.

Явные улики против подсудимой никак не вязались с одухотворенной красотой ее лица. Этот контраст поражал каждого, кто находился в зале. Выяснилось, что она некоторое время работала по контракту с английской труппой цирковых артистов, гастролировавших в Голландии, а лет семнадцати поступила в качестве певицы и танцовщицы в кабачок весьма сомнительной репутации, в Роттердаме. Место это посещали главным образом моряки. Один из них, англичанин по имени Чарли Мартин, взял ее оттуда, и в течение нескольких месяцев она жила с ним в дешевой гостинице, на другом берегу реки. Спустя некоторое время они покинули Роттердам и поселились в Лондоне, в районе Поплар, неподалеку от доков.

Именно здесь, в Попларе, всего за десять месяцев до убийства, она познакомилась с молодым Хепвортом и вышла за него замуж. Какая участь постигла Чарли Мартина, никто не знал. По общему мнению, прокутив все деньги, которые у него были, он вернулся к своему основному занятию, хотя его имя почему-то не значилось ни в одном корабельном списке.

Никто не сомневался в том, что Чарли Мартин был тот самый человек, за которым захлопнулась дверь дома Хепвортов в тот вечер, когда Джетсон наблюдал за ним. Судя по описанию Джетсона, это был плотный красивый мужчина с рыжей бородкой и усами. Днем его видели в Хэмстеде, он обедал в маленьком кафе на Хай-стрит. Официантка, которая обслуживала его, рассказала на суде, что посетитель сразу же обратил на себя ее внимание, — вызывающий, дерзкий взгляд и рыжая вьющаяся бородка, видимо, произвели на нее большое впечатление. Он обедал как раз в то

время, когда в кафе бывает мало посетителей, от двух до трех часов. По словам девушки, незнакомец вел «приятные разговоры» и «отпускал шуточки». Он рассказал, что приехал в Англию всего три дня тому назад и что в этот вечер надеется повидаться со своей милой. Последние слова сопровождались хохотом, но девушке показалось, что в его взгляде появилось что-то угрожающее, однако возможно, что это произошло ей в голову лишь впоследствии.

Естественно было предположить, что именно страх перед возможным возвращением этого человека так угнетал Хепворта. Судебное обвинение настаивало на том, что три удара в дверь — не что иное, как условный знак, и что дверь открыла женщина. Был ли муж в то время дома или они его ждали — установить не удалось. Он был убит выстрелом в затылок, очевидно, человек, который стрелял, заранее все обдумал.

Труп был обнаружен спустя десять дней после убийства, и за это время след убийцы окончательно затерялся. Правда, почтальон видел его в районе Лейлхем-Гарденс около половины десятого. Они налетели друг на друга в тумане, но человек тут же отвернулся.

Что касается мягкой фетровой шляпы, в ней не было ничего особенного, но почтальон хорошо запомнил длинный непромокаемый плащ желтого цвета. Лицо он видел только мельком, однако совершенно убежден в том, что оно было гладко выбрито. Это последнее показание удивило суд, но недоумение рассеялось, как только выступил следующий свидетель. Женщина, которую нанимали Хепворты, рассказала, что в то утро, когда миссис Хепворт собиралась уезжать, ее не пустили в дом. Миссис Хепворт встретила ее у двери, заплатила деньги за неделю вперед и объяснила, что больше не нуждается в ее услугах. Джетсон, решив, что легче сдать дом внаем вместе с мебелью, послал за этой женщиной и приказал ей как следует прибрать все помещение. И вот, сметая щеткой мусор с ковра в столовой, она обнаружила несколько коротких рыжих волосков. Прежде чем выйти из дома, этот человек побрился.

Возможно, что длинный желтый плащ понадобился ему для того, чтобы направить поиски по ложному следу. Как только он сослужил свою службу, убийца, очевидно, бросил его. Отделаться от бороды было бы не так просто. Неиз-

вестно, какими окольными путями пробирался человек, ясно только то, что в контору молодого Хепворта, на Фенчерч-стрит, он попал ночью или, в крайнем случае, рано утром. Миссис Хепворт, очевидно, снабдила его ключом от входной двери.

Похоже на то, что именно здесь он сбросил шляпу и плащ и переоделся в платье убитого. Конторщик Хепворта — Эленби, человек пожилой и, как говорится, приличной наружности, привык к тому, что его хозяин неожиданно уезжал по делам фирмы, которая занималась поставкой оборудования для морских судов. В конторе постоянно находились пальто и чемодан, приготовленные в дорогу. Обнаружив наутро, что вещей нет, Эленби решил, что хозяин уехал с первым поездом. Возможно, что через несколько дней он бы и спохватился, если бы не получил телеграмму от хозяина, так по крайней мере он думал в то время. В ней говорилось, что Хепворт в Ирландии и пробудет там еще несколько дней. Не было ничего удивительного в том, что поездка Хепворта затягивалась, и раньше случалось, что он отсутствовал по целым неделям, наблюдая за оборудованием корабля. В конторе между тем не случилось ничего такого, что требовало бы его вмешательства. Телеграмма была послана из Чаринг-Кросса в самый напряженный час дня, и служащие телеграфной конторы не могли припомнить ничего о подателе этой телеграммы. Эленби сразу же признал в убитом своего хозяина, к которому, казалось, был очень привязан. О миссис Хепворт он не мог сказать почти ничего. Пока шло дознание, ему два или три раза пришлось встретиться с ней. До этого он ничего о ней не знал.

Но что действительно казалось необъяснимым, так это поведение самой женщины во время процесса. Кроме формального утверждения: «Я не виновна», — она не делала никаких попыток защитить себя. Те незначительные факты, которые могли послужить ей на пользу, были получены защитой не от нее самой, а от конторщика Хепворта, Эленби, и, надо думать, он сообщил их не из сочувствия к обвиняемой, а в память погибшего хозяина. Только раз чувство на минуту взяло верх над равнодушием. Это случилось после того, как защитники, раздраженные ее упорством, тщетно старались заставить ее сообщить некоторые подробности, которые могли оказаться для нее полезными.

— Но ведь он мертв! — воскликнула она тоном, в котором прозвучало что-то похожее на торжество. — Мертв, понимаете, мертв, а до остального мне нет дела!

Правда, тут же она извинилась за свою вспышку, но при этом сказала:

— Пусть все останется так, как есть, вы ничем не можете мне помочь.

Ее поразительное хладнокровие — вот что восстановило против нее и судьбу, и присяжных. Представить себе только, что убийца спокойно брился в столовой рядом с еще не остывшим телом ее мужа! Должно быть, он брился безопасной бритвой Хепворта! Это она принесла ему бритву и зеркало, позаботилась о воде и мыле, дала ему полотенце, а потом, когда он побрился, тщательно все прибрала... Только несколько рыжих волосков незаметно прилипли к ковру, и она их не заметила. А утюги, подвешенные к телу, чтобы не дать ему всплыть? Такая мысль не могла прийти в голову мужчине. А цепь с замком, на которой они держались? Только женщина знала, что все эти вещи имеются в доме. Должно быть, это она придумала план с переодеванием в конторе Хепворта, снабдив убийцу ключом. Ей же первой пришла в голову мысль спрятать тело в пруду. И пока он, спотыкаясь под тяжестью своей страшной ноши, выходил из дома, она придерживала дверь, а потом с опаской поглядывала по сторонам и прислушивалась к всплеску воды в пруду.

Очевидно, она решила последовать за убийцей и поселиться с ним вместе! А история, которую она выдумала про отъезд мужа в Америку? Если бы все сошло благополучно, она бы ей пригодилась. Выехав с улицы Лейлхем-Гарденс, женщина поселилась в маленьком доме в Кентиш-Тауне под именем миссис Говард, выдав себя за хористку и жену актера, который якобы находится в гастрольной поездке. Для большего правдоподобия она поступила в какой-то театрик и участвовала в одном из представлений. Как видно, женщина ни на минуту не теряла присутствия духа. Ни один человек не переступил порога ее комнаты, и ни одно письмо не пришло на ее имя. Она рассчитала каждый час своей жизни. Над трупом ее убитого мужа обдумывали они свои дальнейшие планы. Суд признал ее виновной «как соучастницу преступления» и приговорил к пятнадцати годам каторжных работ.

Таковы были события, происшедшие одиннадцать лет тому назад. Заинтересованный помимо собственной воли, мой приятель собрал кое-какие дополнительные сведения. Наводя справки в Ливерпуле, он узнал, что отец Хепворта был судовладельцем, предпринимателем средней руки, человеком, хорошо известным в городе, где все относились к нему с уважением. В последние годы жизни он уже не занимался делами. Умер он за три года до убийства сына. Мать Хепворта всего на несколько месяцев пережила своего мужа. Кроме убитого сына, которого звали Майклом, у них было еще двое детей. Старший сын жил где-то за границей, в колониях, дочь вышла замуж за офицера французского флота. Они либо не знали о случившемся, либо не хотели, чтобы их имя было замешано в подобном деле. Молодой Майкл пытался сделать карьеру архитектора и, говорят, преуспел в этом. Но со смертью родителей он исчез из поля зрения своих земляков, и вплоть до самого суда ни один из его прежних знакомых ничего не знал о его дальнейшей судьбе. Одно из обстоятельств, ставших известными моему приятелю, сильно его озадачило. Выяснилось, что конторщик Хепворта — Эленби — в свое время был доверенным лицом его отца!

Мальчиком поступил он на службу к Хепворту-старшему, и, когда тот отошел от дел, Эленби с его помощью начал собственное дело по изготовлению оборудования для судов. Ни один из этих фактов не стал известен суду. Эленби не подвергался перекрестному допросу, казалось, в этом не было нужды. Между тем моего друга поразило то обстоятельство, что сам Эленби не пожелал открыть суду столь важные подробности. Правда, есть основания думать, что он не захотел впутывать в это дело сестру и брата покойного. Имя Хепворт довольно распространенное на Севере, и, возможно, Эленби надеялся избавить семью от позора.

Что касается женщины, то моему приятелю удалось узнать очень немного, кроме того, что уже было известно. Подписывая контракт с мюзик-холлом в Роттердаме, она сообщила агенту, что она круглая сирота и что отец ее, англичанин по происхождению, был музыкантом. Поступая на работу, она, возможно, не знала ее характера в подобного рода заведениях. Поэтому такой человек, как Мартин, с его красивым лицом и подкупающими манерами моряка, да

вдобавок еще англичанин, должен был показаться ей желанным избавителем.

Она, наверное, страстно его любила, и похоже было на то, что молодой Хепворт, безумно увлеченный ею — она способна была вскружить голову любому мужчине, — воспользовался отсутствием Мартина и обманул ее, убедив, что Мартина нет в живых. Бог его знает, что он мог придумать, лишь бы заставить ее выйти за него замуж. Возможно, что убийство в ее глазах было своего рода возмездием.

Но, если даже все это было и так, ее невозмутимое хладнокровие казалось ненормальным. Ведь она вышла за него замуж и прожила с ним почти целый год. Джетсоны утверждали, что она производила впечатление горячо любящей жены. Нет, она не могла бы изо дня в день играть эту роль.

— Тут что-то не так, — сказал мой приятель. Мы сидели у него в кабинке, снова и снова обсуждая эту историю. На столе лежала открытая папка с делом одиннадцатилетней давности. Мой приятель ходил взад и вперед по комнате, засунув руки в карманы, и «думал вслух». — И это «что-то» ускользнуло от нашего внимания, — говорил он. — Странное чувство возбудила во мне эта женщина в тот момент, когда ей выносили приговор. Она стояла с таким видом, будто это не приговор, а триумф. Нет, она не играла заученную роль! Если бы во время суда она хотя бы притворилась, что раскаивается, мне бы удалось убедить суд сократить ей наказание до пяти лет. Но она, казалось, не могла скрыть огромного облегчения при мысли, что он мертв, что рука его уже никогда не коснется ее. Я думаю, она узнала что-нибудь такое, что превратило ее любовь к нему в ненависть.

Да и в поведении убийцы есть что-то загадочное, — эта новая мысль пришла ему в голову, пока он стоял у окна и смотрел на реку. — Она-то уплатила по счету и получила расписку, а ведь его все еще разыскивает полиция. Он всякий раз рискует головой, когда приходит к ее дому узнать, приподнята ли занавеска.

Потом его мысль начала работать в другом направлении.

— Опять же непонятно, почему он допустил, чтобы она в течение десяти лет была заживо погребена на каторге, а сам тем временем расхаживал на свободе. Почему он не появился на суде, когда против нее выдвигали все новые и

новые улики, хотя бы только для того, чтобы поддержать ее? Казалось бы, из чувства простой порядочности этот человек должен был дать себя повесить.

Он сел, придвинул папку, но, даже не заглянув в нее, продолжал:

— Или его свобода — это награда, которую она требовала за свою жертву? Только надежда на то, что он будет ждать ее, могла бы дать ей силы пережить такие страдания. Я представляю себе человека, который любит женщину, но соглашается на такие условия, принимая их как наказание за совершенное преступление.

Теперь, когда мой приятель снова заинтересовался этим делом, он, казалось, ни о чем другом не мог думать.

С тех пор как мы оба ходили к дому этой женщины, я дважды был на той улице и в последний раз опять видел, как приподнялась занавеска ее окна. Моего приятеля мучило желание встретиться лицом к лицу с человеком, который приходил к ней. Он говорил, что представляет его себе красивым, смелым и властным. Но, кроме этого, в нем должно быть что-то особенное, то, что заставило такую женщину, как она, чуть ли не продать собственную душу ради его спасения.

У нас была только одна возможность осуществить это. Человек всегда шел со стороны Эджвер-роуд. Незаметно держась на другой стороне улицы и наблюдая за его приближением, можно было рассчитать время так, чтобы встретиться с ним как раз у фонаря. Не повернется же он и не пойдет обратно при виде нас, это значило бы выдать себя. По всей вероятности, он ограничится тем, что примет безразличный вид и пройдет мимо, а потом, в свою очередь, будет наблюдать за нами, пока мы не скроемся из виду.

Казалось, судьба была к нам благосклонна. В обычный час занавеска приподнялась, и немного погодя из-за угла показался человек. Через несколько секунд мы тоже вошли в переулок. Очевидно, наша затея удавалась, мы сойдемся с ним у фонаря. Он шел нам навстречу, сгорбившись и низко опустив голову. Мы не сомневались в том, что он пройдет мимо дома. Но, к нашему удивлению, он остановился и толкнул калитку. Еще мгновение — и мы увидим только его спину. В два прыжка мой приятель нагнал его. Он положил руку ему на плечо, и человек обернулся. Перед нами был

старик с морщинистым лицом и спокойными, немного слезящимися глазами.

Мы были так ошеломлены, что несколько секунд не могли произнести ни слова. Наконец мой приятель, сделав вид, что перепутал дом, пролепетал несколько слов, прося извинить его за ошибку. Но стоило нам завернуть за угол, и мы дружно расхохотались. Вдруг мой приятель оборвал смех и с изумлением посмотрел на меня.

— Да ведь это же Эленби! Конторщик Хепворта!

Это казалось чудовищным и совершенно необъяснимым. Эленби был для Хепворта больше чем служащий. Семья относилась к нему, как к близкому другу. Отец Хепворта помог ему начать собственное дело. Что касается убитого, Эленби всегда питал к нему искреннюю привязанность, в этом были убеждены все, кто знал его. Что же все это могло значить?

Адресная книга лежала на камине. Это было уже на следующий день, после полудня я зашел к моему приятелю домой. Когда я увидел ее, меня вдруг осенило. Я подошел и взял ее.

— Вот — «Эленби и К°», пароходный поставщик, адрес конторы — улица Майнорис.

Может быть, Эленби помогает ей во имя погибшего хозяина, стараясь вырвать ее из рук убийцы? Но почему? Она ведь была там, когда он стрелял в ее мужа! Как может Эленби видеться с ней после всего, что произошло?

Или он знает что-то такое, чего никто не знал? Что стало известно ему уже позднее? Что могло бы оправдать ее чудовищное равнодушие?

Но что же это такое? Преступление было так тщательно продумано, так хладнокровно осуществлено. Прежде чем выйти из дома, убийца побрился! Это последнее обстоятельство особенно возмущало моего друга. В столовой не было зеркала, и женщина должна была принести его сверху. Непонятно только, почему он брился в столовой, а не поднялся в ванную комнату, где обычно брился Хепворт и где все было под рукой?

Все эти бессвязные мысли приходили ему в голову, пока он задумчиво шагал из угла в угол. Вдруг он остановился и посмотрел на меня.

— Почему в столовой? — спросил он.

Послышался знакомый звон ключей — это мой приятель позванивал ими в кармане, он всегда так делал, когда кого-нибудь допрашивал. И вдруг мне показалось, что я и в самом деле что-то знаю об этом, и, не успев хорошенько подумать, я ответил:

— Быть может, потому, что легче принести бритву вниз, чем тащить мертвое тело наверх?

Мой приятель облокотился на стол, его глаза блестели от возбуждения.

— Представьте себе маленькую гостиную, уставленную безделушками, — сказал он, — все трое стоят у стола. Хепворт нервно барабанит пальцами по спинке стула. Упреки, насмешки, угрозы. Молодой Хепворт, слабохарактерный, под гнетом постоянного страха, таким знали его все, дрожащий и бледный, как полотно, не в силах поднять глаза. Женщина переводит взгляд с одного лица на другое. Опять в ее глазах презрение и, что хуже всего, жалость! Если бы только он не трусил! И наконец роковая минута: тот, кому суждено быть убитым, с презрительным смехом поворачивается спиной к своему собеседнику, и властный взгляд больше не преследует и не пугает его.

Именно в этот момент он и должен был выстрелить. Пуля, если вы помните, попала в затылок. Должно быть, Хепворт не раз рисовал себе эту встречу, иначе зачем бы ему держать заряженный револьвер, это вовсе не в обычаях владельцев пригородных участков. Он сжимал его в руке до тех пор, пока его не охватили бешеная ненависть и страх перед этим человеком. Слабым людям свойственны крайности. Он убил его потому, что ему ничего другого не оставалось. Слышите, как стало тихо после выстрела? Мужчина и женщина склонились над убитым, судорожно ощупывая его, слушают, бьется ли сердце. По всей видимости, человек был сражен наповал. На ковре не осталось следов крови. Дом стоит на окраине, и выстрела никто не слышал. Но как избавиться от трупа? А пруд? Он совсем рядом, в сотне ярдов от дома!

Мой приятель придвинул к себе папку с делом, которая все еще лежала на столе среди других бумаг, и перелистал несколько страниц.

— Что может быть проще? На соседнем участке строят дом. Тачек сколько угодно. К пруду проложена дорога из досок. Глубина воды в том месте, где был обнаружен труп, четыре фута шесть дюймов: стоит только слегка запрокинуть тачку — и тело соскользнет в воду. Минуту они напряженно думают. Нужен груз, иначе он поднимется и выдаст. Груз должен быть очень тяжелым, чтобы тело погружалось все глубже и глубже в мягкую тину и осталось там до тех пор, пока не сгниет.

Еще минуту, ведь нужно продумать все до конца. А вдруг, несмотря на все предосторожности, цепь соскользнет и тело всплывет на поверхность? Рабочие постоянно ходят к пруду за водой — что, если они его увидят?

Не забудьте, убитый все время лежит на спине, они перевернули его, чтобы послушать, бьется ли сердце. Должно быть, они закрыли ему глаза, им не очень-то нравилось их выражение.

И тут-то женщина заметила сходство. Ведь оба они когда-то лежали рядом с ней с закрытыми глазами. Может, она давно заметила, как удивительно эти двое похожи друг на друга. Нужно положить ему в карман часы Хепворта, а на палец надеть кольцо. Остается борода, если бы не она, впечатление было бы полное.

Тихонько крадутся они к окну, приподнимают штору. За окном все еще густой туман. Вокруг ни души, мертвая тишина. Времени хватает.

Теперь нужно скрыться отсюда и переждать. Нужно надеть желтый плащ, может быть, кто-нибудь видел, как человек в желтом плаще вошел в дом, пусть видят, что он отсюда вышел. Потом можно будет свернуть его и бросить в какой-нибудь темный угол или оставить в вагоне поезда. А теперь скорей в контору и сидеть там до прихода Эленби. Ему можно верить, он предан, как собака. Деловой человек, он скажет, что нужно делать.

Мой приятель отшвырнул папку и рассмеялся.

— Все продумано! — воскликнул он. — А ведь никому из нас, дурацев, это и в голову не пришло.

— Действительно, когда вы говорите, все как будто на своем месте, — начал я, — но можете вы представить себе, чтобы Хепворт, тот самый Хепворт, о котором вы мне говорили, сидел рядом с распростертым на полу телом убитого и преспокойно разрабатывал план побега?

— Нет, — ответил он, — но я представляю себе ее, женщину, которая день за днем хранила упорное молчание, пока мы бились вокруг нее, приходя в ярость от ее упрямства. Женщину, которая сидела как каменное изваяние три часа кряду, пока старик Катбиш в своей речи пытался изобразить ее как современную Иезавель и которая, стоя, выслушала приговор, обрекающий ее на пятнадцать лет каторжных работ. У нее был торжествующий вид! Она вышла из зала легкой походкой, как будто спешила на свиданье к возлюбленному. Клянусь, она сама побрила мертвеца, — добавил он. — Хепворт непременно бы порезал его.

— Так это Мартина она так ненавидела, — сказал я, — вы помните этот восторг при мысли, что он наконец мертв.

— Да, — задумчиво произнес мой приятель. — Она и не пыталась это скрыть. Но любопытно, почему они так похожи? — Он взглянул на часы. — Хотите пойти со мной?

— А вы куда?

— Мы его еще застанем. В контору «Эленби и К°».

* * *

Контора помещалась на последнем этаже старого дома в тупике на улице Майнорис. Долговязый парень, рассыльный при конторе, сказал нам, что Эленби вышел, но к вечеру непременно будет. Мы присели у камина, в котором едва горел огонь, и стали ждать. Уже смеркалось, когда наконец заскрипели ступеньки лестницы.

Прежде чем войти в комнату, Эленби секунду помедлил. Он, очевидно, сразу же узнал нас, но как будто бы не удивился. Потом, извинившись, что заставил нас ждать, пригласил войти в соседнюю комнату.

— Возможно, вы не помните меня, — начал мой приятель, как только за нами закрылась дверь. — Полагаю, что до вчерашнего вечера вы ни разу не видели меня без парика и мантии, они так меняют внешность. Я был старшим защитником миссис Хепворт.

Трудно было ошибиться. В старческих, тусклых глазах мистера Эленби мелькнуло что-то похожее на облегчение. Должно быть, вчерашний случай заставил его настроиться.

— Вы были очень добры, — тихо сказал он. — Миссис Хепворт чувствовала себя слишком подавленной в то вре-

мя, чтобы выразить лично свою признательность, но, поверьте, она очень благодарна вам за все ваши усилия помочь ей.

Я заметил легкую усмешку на губах моего друга, или мне это показалось?

— Я должен извиниться перед вами за вчерашнюю бестактность, — продолжал он, — но, когда я заставил вас обернуться, я был уверен, что увижу перед собой человека гораздо моложе вас.

— Я принял вас за сыщика, — мягко заметил Эленби. — Надеюсь, вы извините меня, я очень близорук. Конечно, это могут быть только мои предположения, но, уверяю вас, миссис Хепворт не виделась с человеком по имени Чарли Мартин и ничего не слышала о нем со дня... — Эленби секунду колебался, — со дня убийства.

— Это было бы довольно трудно, — сказал мой друг, — принимая во внимание, что Чарли Мартин давно лежит на Хайгетском кладбище.

Старик вскочил, как ужаленный. Он был бледен и дрожал с головы до ног.

— Зачем вы пришли сюда?

— Видите ли, — продолжал мой приятель, — это дело интересовало меня не только с профессиональной точки зрения. Быть может, виной этому молодость и необыкновенная красота миссис Хепворт, ведь и мне в то время было меньше лет, чем сейчас. Мне кажется, что миссис Хепворт ставит своего мужа в очень опасное положение, разрешая ему приходить к ней. Полиции известен адрес, и в любую минуту за ней может быть установлена слежка. Если бы вы были так добры и рассказали все подробности дела, я бы мог правильно оценить обстановку. Мой опыт адвоката, а если нужно, то и моя помощь к услугам миссис Хепворт.

Эленби, видно, овладел собой.

— Извините, — сказал он, — я отпущу рассыльного.

Эленби вышел, и немного погодя мы услышали, как он повернул ключ в замочной скважине. Вскоре он снова вошел в комнату, разжег огонь в камине и рассказал нам начало всей этой истории.

Человека, которого похоронили на Хайгетском кладбище, тоже звали Хепворт, только не Майкл, а Алекс.

Он с детства отличался вспыльчивым, грубым нравом и полной беззастенчивостью. Судя по тому, что рассказал нам Эленби, Алекс едва ли походил на человека цивилизованного общества. Его скорее можно было принять за какого-нибудь пирата из далекого прошлого. Безнадежными оказались все попытки заставить его работать, если у него была хоть малейшая возможность жить на чужой счет. Его близким не раз приходилось оплачивать его долги, пока наконец они не отправили его в колонии. К сожалению, родители не могли постоянно содержать его, и, как только он промотал деньги, которые ему выдали при отплытии из Англии, он вернулся, и снова начались угрозы и проклятья. Встретив на этот раз решительный отпор, он, казалось, пришел к выводу, что ему ничего другого не остается, как заняться подлогами или воровством. Чтобы спасти сына от наказания, а семью от позора, родителям пришлось пожертвовать всеми своими сбережениями. Горе и стыд, по словам Эленби, в течение нескольких месяцев свели в могилу сначала отца, а потом и мать Хепворта. Этот удар лишил Алекса всего, что он уже, без сомненья, считал своей собственностью, и, так как сестра, к счастью, была для него недосягаема, он поспешил избрать козлом отпущения своего брата, Майкла. Майкл, слабохарактерный и застенчивый, быть может, все еще по-мальчишески восхищаясь силой и красотой старшего брата, уступил, как глупец. Требования, конечно, все возрастали, и Майклу стало легче на душе, когда оказалось, что брат его замешан в каком-то отвратительном преступлении. Теперь уже сам Алекс был заинтересован в том, чтобы скрыться. Майкл снабдил его необходимой суммой денег, хотя и сам был небогат, и брат покинул Англию, дав торжественную клятву больше не возвращаться.

Все эти горести и заботы сломили молодого Хепворта. Он почувствовал, что не может больше работать в своей области. Единственное, о чем он мечтал, — это навсегда порвать все нити, связывающие его с прошлым, и начать жить сначала. Тут-то Эленби и предложил ему перебраться в Лондон и вложить небольшие остатки своего капитала в дело по поставке оборудования для пароходов. Имя Хепворт

пользовалось известностью в деловых кругах, и Эленби, приняв это в соображение, но главным образом из желания вызвать у молодого Хепворта интерес к делу настоял на том, чтобы фирма получила имя «Хепворт и К°».

Не прошло и года с тех пор, как они начали вести дело совместно, когда возвратился Алекс, опять требуя денег. Однако на этот раз Майкл, действуя по советам Эленби, решительно отказал ему, и Алекс понял: его карта бита, больше он не выжмет из брата ни гроша. На некоторое время он оставил его в покое, но вскоре Майкл получил письмо, в котором Алекс в самых трогательных выражениях рассказывал брату, что он очень болен и умирает с голоду. Он умолял брата зайти к нему, если не ради него самого, то хоть ради его молодой жены.

Таким образом они впервые услышали о женитьбе Алекса. Майкл начал было надеяться, что это событие благотворно отразится на поведении брата, и, вопреки советам Эленби, решил пойти. В жалкой каморке в Ист-Энде Майкл застал жену брата, самого Алекса дома не оказалось. Он пришел значительно позже, когда Майкл уже собрался уходить. Должно быть, именно тогда, сидя вдвоем с миссис Хепворт, он услышал рассказ о ее жизни.

Она познакомилась с Алексом Хепвортом, или, как он тогда называл себя, Чарли Мартином, в Роттердаме, в кабачке, куда нанялась в качестве певицы. Он стал ухаживать за ней. Алекс мог казаться очень приятным, стоило ему только захотеть. Юность и красота девушки, несомненно, произвели на него впечатление, и в первое время в его ухаживании чувствовались искреннее восхищение и страсть. Она согласилась стать его женой, но главным образом из желания поскорее вырваться из той среды, в которую попала. Почти ребенок, она готова была на все, лишь бы не видеть страшных ночных оргий в том вертепе, куда забросила ее судьба.

Он не женился на ней, так, по крайней мере, она думала. В первый же раз, как он напился, он бросил ей в лицо фразу, из которой она поняла, что церемония была простым маскарадом. К несчастью, это оказалось ложью. Им всегда руководил трезвый расчет. Очевидно, видя в ней прочный залог своего будущего существования, он позаботился, чтобы брак их был оформлен строго законным порядком.

Трудно выразить словами весь ужас ее жизни с этим человеком, как только прошла новизна их отношений. Бант,

который она носила на шее, прикрывал ужасный шрам — это он в припадке бешенства чуть не перерезал ей горло, когда она отказалась зарабатывать для него деньги на улице.

И вот, очутившись снова в Англии, она твердо решила уйти от него. Пусть он последует за ней, пусть убьет ее — не все ли ей равно?

Дело кончилось тем, что ради нее Хепворт опять предложил брату помощь, но с условием: Алекс уедет, и уедет один. Тот согласился. Казалось, он испытывал нечто вроде раскаяния, но, должно быть, про себя ухмылялся. Он был хитер, и в его воображении уже вставала картина неминуемого. Мысль о шантаже, конечно, зародилась у него тогда же. Угроза в любой момент разоблачить двоемужество — вот оружие, с которым он до конца своих дней мог жить спокойно, зная, что ему обеспечен постоянный и все увеличивающийся доход.

Майкл достал брату билет второго класса на пароход, отплывающий в Южную Африку, и проводил его до самой пристани. Конечно, рассчитывать на то, что Алекс сдержит слово, не приходилось, но можно было надеяться, что ему проломят череп в какой-нибудь пьяной драке. Так или иначе, некоторое время он не будет мозолить глаза, да и несчастную женщину, ее звали Лола, оставит в покое. Через месяц после отъезда брата Майкл женился на ней, а еще через четыре месяца они получили письмо от Алекса, адресованное миссис Мартин «от любящего мужа Чарли», который выражал надежду на то, что в самом скором времени будет иметь удовольствие с ней увидеться.

Наведя справки через английского консула в Роттердаме, они убедились, что угроза эта не шуточная. Брак, заключенный по всей форме, навсегда связывал ее с Алексом.

В тот вечер, когда было совершено убийство, все произошло почти так, как описал мой приятель. Утром Эленби застал своего хозяина в конторе. Там Хепворт и прятался до тех пор, пока не рискнул наконец покинуть свое убежище, выкрасив волосы и оставив маленькие усики.

Если бы смерть Алекса произошла при других обстоятельствах, Эленби посоветовал бы Хепворту отдать себя в руки закона, сам Хепворт страстно желал этого. Но преступление носило слишком явные следы предумышленности, если принять во внимание и заряженный револьвер, который почему-то оказался в их доме, и то облегчение, кото-

рое они должны были почувствовать со смертью Алекса. Тот факт, что Хепворты купили дом в стороне от всякого жилья, тоже, казалось, говорил о том, что они все заранее подготавливали. Если бы даже защите и удалось доказать непреднамеренность убийства и спасти Хепворта от веревки, все равно его неизбежно ждали долгие годы каторжных работ.

К тому же неизвестно, спасло бы это от наказания женщину или нет. Странная гримаса судьбы, но даже в этом случае она в глазах закона все еще считалась бы женой убитого, а убийца — ее любовником.

Она настояла на своем. Молодой Хепворт скрылся в Америку. Там он без всякого труда, конечно под чужим именем, нашел себе работу в конторе какого-то архитектора, а позднее начал собственное дело. Они не виделись со дня убийства и встретились снова только три недели тому назад.

Мне не довелось еще раз увидеть эту женщину, но мой приятель, кажется, заходил к ней. Хепворт уже вернулся в Америку, а моему приятелю удалось выхлопотать для нее разрешение полиции, по которому она снова была совершенно свободна. Иногда вечером я прохожу по той самой улице, где впервые ее увидел. И всякий раз меня охватывает странное чувство, будто я попал в пустой театр, где только что окончилась драма.

ЛАЙКОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

Она навсегда осталась в его памяти, какой предстала перед ним впервые: одухотворенное маленькое лицо, коричневые маленькие ботинки, которые едва касались носками земли, и маленькие руки в золотисто-коричневых лайковых перчатках, сложенные на коленях. Он не знал, что заметил ее, — просто одетая, маленькая, похожая на ребенка девушка, одна на скамейке между ним и заходящим солнцем. Но даже если бы он заинтересовался ею, робость помешала бы ему взглянуть на нее. А между тем едва он прошел мимо, как ясно и отчетливо представил ее себе: бледное, с нежным овалом лицо, коричневые ботинки и маленькие ручки в золотистых перчатках, лежащие одна на другой. Проходя по Брод-Уок и через Примроуз-Хилл, он видел ее силуэт на фоне заката, видел ее задумчивое лицо, нарядные

коричневые ботинки и маленькие руки в золотистых лайковых перчатках, сложенные на коленях. А когда солнце опустилось за высокие трубы пивоваренного завода по ту сторону Суис-Коттедж, видение исчезло.

На следующий вечер она вновь была там, на том же месте. Обычно он шел домой по Хэмстед-роуд и лишь изредка, в погожие вечера, выбирал более длинный путь по Риджент-стрит и через парк. Но в пустынном, тихом парке он особенно остро чувствовал свое одиночество.

Он дойдет лишь до Большой Вазы, рассуждал он сам с собою. Если он ее не увидит (совсем не обязательно ей сидеть там), то свернет на Олбени-стрит. Там, по крайней мере, множество газетных киосков с дешевыми книжонками в ярких обложках, антикварных магазинов с выцветшими гравюрами и старыми картинами — будет на что посмотреть, чем отвлечься. Но, чуть ли не от самых ворот заметив ее, он понял, как был бы разочарован, если бы место перед клумбой красных тюльпанов оказалось незанятым. Он остановился неподалеку, делая вид, что рассматривает цветы. Хотелось взглянуть украдкой на нее. Лишь на один миг ему удалось это сделать, но, осмелившись вторично поднять глаза, он встретил ее взгляд, или, быть может, ему только показалось, и, вспыхнув, он поспешил прочь. И снова, как и в первый раз, она всюду была с ним, перед его глазами. На каждой свободной скамейке он отчетливо видел ее на фоне заката: бледное, тонкое лицо, коричневые ботинки и золотистые перчатки, лежащие одна на другой.

Правда, в этот вечер на нежных ее губах мелькала робкая, чуть заметная улыбка. И на этот раз видение не покидало его, пока он, пройдя Куинс-Кресцент и Молден-роуд, не свернул на Карлтон-стрит. В подъезде было темно, и по лестнице он поднимался ощупью, но, открывая дверь своей тесной комнатки на третьем этаже, он вдруг почувствовал, что сегодня ему не страшно одиночество, которое ждет его дома.

Целыми днями в темной конторе на Эбингдон-стрит, в Вестминстере, где он ежедневно с десяти до шести переписывал прошения и дела, он обдумывал, что скажет ей, подыскивал слова, которые помогли бы завязать разговор. Проходя по Портленд-плейс, он мысленно повторял их. Но стоило ему увидеть вдали золотистые перчатки, как все слова куда-то исчезали, и он, глядя прямо перед собой, прохо-

дил мимо нее быстрыми шагами, и только у Честерских ворот вновь вспоминал заученные слова. Так это продолжалось бы очень долго, но вот однажды вечером ее не оказалось на обычном месте. Ватага шумных ребятишек играла там. И ему показалось, что цветы и деревья сразу поблекли. Сердце сжалось от страха, и он поспешил дальше без всякой цели, лишь бы куда-то идти. Но сразу за клумбой герани он увидел ее, она сидела на складном стуле, и он, внезапно остановившись перед ней, сказал резко:

— А! Вот вы где!

Совсем не так думал он к ней обратиться, но вырвавшаяся у него фраза послужила его цели куда лучше.

— Там дети, — пояснила она, — им хотелось поиграть, вот я и решила пересесть подальше.

Он, не раздумывая, сел на стул рядом с ней, и им казалось, что они знают друг друга очень давно, с тех пор как между Сент-Джонс-Вуд и Олбени-стрит разбили сад.

После этого они каждый вечер подолгу сидели там, прислушиваясь к страстному, переливчатому посвисту дрозда, к призывной песне скворца, к песне радости и надежды.

Он любил ее милую застенчивость. Если на улице женщина бросала на него вызывающий взгляд или соседка по столику в дешевой закусочной откровенно заигрывала с ним, он весь как-то съеживался и становился на редкость неуклюжим. А ее робость придавала ему уверенности. Это она, почти испуганная, опускала глаза под его пристальным взглядом, вздрагивала от прикосновения его руки, рождая в нем сознание силы, радость мужской нежной власти. А он настаивал на том, чтобы побыть с нею наедине, подальше от других, и с беззаботностью человека, для которого деньги ничего не значат, платил за стулья.

Как-то раз, проходя через Пикадилли-Серкус, он остановился у фонтана, заглядевшись на большую корзину с ландышами, внезапно пораженный каким-то сходством их белых маленьких головок с ней.

— Купи цветочков, милый. Вот увидишь, они придутся по нраву твоей девчонке! — бросила, ухмыляясь, торговка и протянула ему букет.

— Сколько? — спросил он, тщетно стараясь не покраснеть. Торговка, грубое доброе существо, на секунду задумалась.

— Шесть пенсов, — ответила она, и он купил ландыши. Запроси она шиллинг, и он заплатил бы. «Дура я, дура...» — выругала себя цветочница, пряча деньги в карман.

Он торжественно преподнес ей цветы и смотрел, как она прикалывала букетик к блузке. Любопытная белка, оставившись на бегу, склонила головку набок и тоже наблюдала за ней, словно недоумевающая, какой толк может быть в таком припасе. Она не благодарила его словами, но, когда повернулась к нему, он увидел слезы в ее глазах, и маленькая рука в лайковой перчатке осторожно потянулась к его руке. Он задержал эту маленькую руку, но она поспешно отдернула ее.

Ему полюбились ее маленькие перчатки, хотя они были старенькие и зашитые во многих местах. И хорошо, что они лайковые, будь они нитяные, какие носят девушки ее круга, ему было бы неприятно подумать о том, чтобы поцеловать их. Он любил маленькие коричневые ботинки, которые, вероятно, стоили дорого, так как все еще были нарядны. Ему нравилась и ее изящная кружевная оборочка, и простые, но всегда чистые чулки, еле видневшиеся из-под длинного, облегающего платья. Так часто он видел девушек крикливо, вызывающе одетых, но с красными руками и в нечищенных ботинках. Многие из них, пожалуй, были даже красивы и уж во всяком случае привлекательны, конечно, если человек не слишком требователен и не обращает внимания на мелочи.

Он любил ее голос, столь непохожий на резкий говор других людей, резавший ему слух, когда они парочками, громко смеясь и болтая, проходили мимо. При виде ее быстрых, полных грации движений ему вспоминались горы и стремительные потоки. В своих маленьких коричневых ботинках и перчатках, в платье, тоже коричневом, но только более темного оттенка, она напоминала ему лань. Нежный, кроткий взгляд, едва уловимые, мягкие движения, никогда не покидавшее ее личико выражение испуга, словно она всегда была готова к внезапному бегству. И ему захотелось назвать ее так. Ни один из них и не подумал спросить имя другого, это, казалось, не имело значения.

— Моя маленькая лань, — шепнул он, — я все боюсь, что ты вдруг топнешь своими каблучками о землю и умчишься прочь.

Она засмеялась и придвинулась к нему чуть-чуть поближе. И это тоже было движение лани. В детстве он видел ланей совсем близко, когда подкрадывался к ним в горах.

Они нашли, что между ними очень много общего. Оба были одиноки, хотя у него и жили где-то на севере дальние родственники. Для нее, как и для него, домом была тесная комнатка. «Вон там», — показывала она, охватывая движением маленькой ручки в лайковой перчатке северо-западный район; и он не спрашивал у нее более точного адреса.

Ему очень легко было представить себе этот район: узкая улочка где-то возле Лиссон-Гроув или немного дальше в сторону Харроу-роуд. Обычно он прощался с ней на окружной аллее парка, с ее тихими, прекрасными деревьями и богатыми особняками, и долго смотрел ей вслед, пока маленькая, напоминающая лань фигурка не растворялась в сумерках.

Ни друзей, ни родных у нее не было, и она не помнила никого, кроме бледной, похожей на девочку матери, которая умерла вскоре после переезда в Лондон. Владелица дома, женщина пожилая, оставила ее у себя помогать по хозяйству; а когда она лишилась этого последнего убежища, добрые люди пожалели ее и подыскали ей другую работу. Работа была не тяжелая и оплачивалась неплохо, но почему-то ей не нравилась. Он догадывался об этом по тому, как внезапно она обрывала начатый разговор. Она пыталась найти что-нибудь другое, но это ведь трудно без протекции и без денег. Да и жаловаться там не на что, разве только... и она умолкала, сжимая маленькие руки в перчатках, а он, видя ее горестный взгляд, менял тему разговора.

Ну что ж, это не страшно! Он возьмет ее оттуда. Было приятно думать, что он протянет руку помощи этому маленькому, хрупкому созданию, чья слабость давала ему силу. Ведь не вечно же прозябать ему клерком в конторе. Он будет писать стихи, повести, пьесы. Он уже немного заработал на этом. Он делился с ней своими надеждами, и ее горячая вера вдохновляла его. В один из вечеров он читал ей свой труд, она внимательно слушала, искренне смеялась там, где было смешно, а когда голос его дрожал, горло сжималось от волнения и он не в силах был продолжать, слезы стояли и в ее глазах. Так впервые он познал сочувствие друга.

Кончилась весна, наступило лето. И вот однажды произошло большое событие. Сначала он не мог понять, чем

вызвано это странное чувство. В ней появилось что-то новое, неуловимое, как аромат цветов. Казалось, она держит себя как-то иначе, горделивее. Только при прощании, взяв ее руку, он понял, в чем дело, — она была в новых перчатках. Перчатки все того же золотисто-коричневого цвета, но такие гладкие, мягкие и прохладные. Плотно, без единой морщинки облегая ее ручки, они подчеркивали их изящество и красоту линий.

Смеркалось, и, если не считать широкой спины полицейского, они были совсем одни в аллее, на своем любимом месте. Внезапно он опустился перед ней на колени, как это делают в романах и пьесах (а иногда и в жизни), и прижался к маленькой ручке в лайковой перчатке долгим и жарким поцелуем. Послышались чьи-то шаги, и он поспешно поднялся. Она стояла неподвижно, дрожа всем телом, а в глазах ее был испуг. Шаги приближались, но случайный прохожий был еще за поворотом дорожки. Молча, торопливо она обняла его и поцеловала. Это был странный, холодный и все же страстный поцелуй. Затем без единого слова она повернулась и пошла прочь. Он смотрел ей вслед, пока она не свернула у Ганноверских ворот. Но на этот раз она не оглянулась.

Словно барьер встал между ними после этого поцелуя. Все же на следующий вечер она с обычной улыбкой пришла на свидание, только в глазах ее все еще таился страх; и когда она села рядом с ним и он взял ее руки, ему показалось, что она отшатнулась. Это было инстинктивное, бессознательное движение. И вновь оно напомнило ему горы, и стремительные потоки, и лань с печальными глазами, отбившуюся от стада, которая может подпустить близко, но, когда протянешь руку, чтобы ее погладить, вся затрепещет и умчится прочь.

— Ты всегда надеваешь перчатки? — спросил он несколько дней спустя.

— Да, — ответила она тихо, — когда выхожу на улицу.

— Но мы не на улице, — возразил он. — Мы в саду. Может быть, ты снимешь их?

Она ничего не ответила, только, нахмутив брови, посмотрела на него так, словно пыталась прочесть его мысли. Но на обратном пути, не доходя до ворот, она опустилась на последнюю скамейку и жестом пригласила его сесть ря-

дом. Спокойно расстегнула она лайковые перчатки, сняла их и отложила в сторону. И тогда он впервые увидел ее руки.

Если бы он посмотрел на нее, то увидел бы, как гаснет слабая искра надежды, увидел горькую муку в кротких глазах, наблюдающих за ним, — и он, наверно, попытался бы скрыть ужас, физическое отвращение, которое так ясно отразилось на его лице и в невольном движении, когда он отодвинулся от нее. Руки были маленькие, красивой формы, но грубые, словно опаленные раскаленным железом, с кровавыми страшными мозолями и стертými ногтями.

— Мне следовало бы показать их тебе раньше, — сказала она просто, надевая перчатки. — Как глупо. Мне следовало бы знать.

Он старался успокоить ее, но запинался, не находя нужных слов.

— Это от работы, — сказала она, когда они пошли к выходу. Руки стали такими вскоре после того, как она начала работать. Если бы только она могла уйти оттуда раньше! Но теперь! Теперь уж ничего не поделаешь...

Они подошли к воротам, но на этот раз он не провожал ее взглядом, не ждал, как обычно, когда она махнет ему рукой на прощание и скроется из виду; оглянулась она или нет — он так и не узнал.

На следующий день он не пошел на свидание. Десятки раз бессознательно доходил он почти до самых ворот парка, а потом спешил прочь, быстро шагая по убогим улицам и, как слепой, натываясь на прохожих. Бледное любимое лицо, тоненькая детская фигурка, маленькие коричневые ботинки призывали его. Если бы только прошел ужас перед ее руками!

Душа художника содрогалась при воспоминании о них. Обтянутые изящными гладкими перчатками, они казались ему такими красивыми, и он мечтал о том дне, когда сожмет их в своих руках, лаская и целуя.

Возможно ли было забыть о них, примириться с ними? Надо подумать... надо уйти подальше от этих шумных улиц, от людей, которые, казалось, насмеялись над ним. Он вспомнил, что сессия парламента закрылась и работы в конторе немного. Можно попросить отпуск... начальство согласится.

Он уложил немного белья в рюкзак. В горы, к стремительным потокам! Там он найдет покой.

И вот, после долгих скитаний, однажды вечером он случайно повстречался с молодым врачом. У хозяйки гостиницы должен был родиться ребенок, и врач ждал внизу, когда его пригласят. Они разговорились, и вдруг одна простая мысль поразила его. Почему же он не подумал об этом раньше?

Поборов застенчивость, он спросил доктора, от какой работы могут быть такие раны. Он описал их, видя перед собой в темных углах комнаты эти бедные, жалкие маленькие руки.

— О! Причин сколько угодно, — голос врача звучал деловито. — При обработке льняного волокна и даже льняной ткани в определенных условиях. Во многих производствах в наши дни применяются химикалии. Все эти виды новой фотографии, дешевая цветная репродукция, химическая чистка и крашение, травление по металлу. От этого предохраняют резиновые перчатки. Следовало бы ввести их повсюду. — Врач, казалось, был расположен продолжать свои разглагольствования.

— Но излечимо ли это? Есть какая-нибудь надежда? — перебил он.

— Излечимо? Надежда? Разумеется. В том случае, когда поражены только руки, излечить вполне возможно. Действие вредных веществ на кожу, осложненное малокровием. Возьмите ее оттуда, дайте ей возможность дышать свежим воздухом и соблюдать диету, лечите самыми простыми средствами, мазью или еще чем-нибудь. Обратитесь к местному врачу, он пропишет лекарство, и в три-четыре месяца все пройдет.

Он чуть не забыл поблагодарить молодого врача. Ему хотелось куда-то бежать, кричать, прыгать, размахивать руками. Была бы возможность, он уехал бы той же ночью. Он проклинал себя за причуду, из-за которой так и не узнал ее адреса. Ведь можно было бы послать телеграмму. Всю ночь он не спал, а на заре отправился в путь. Он пешком прошел десять миль до ближайшей железнодорожной станции и едва дождался поезда. Весь долгий день ему казалось, что поезд еле-еле тащится, но наконец показался Лондон.

Было еще рано, но он и не подумал зайти домой. Оставив рюкзак на вокзале, он отправился в Вестминстер. Хотелось, чтобы все осталось прежним, а все эти дни со времени их последнего свидания оказались бы просто кошмар-

ным сном. Сдерживая себя, чтобы не бежать, он подошел к парку в обычный час их встречи.

Он ждал долго, ждал до тех пор, пока не закрыли ворота, но она не пришла. С самого утра где-то в глубине его сознания таился страх, что она не придет, но он гнал его прочь. Наверно, она больна, может быть, разболелась голова, а может, просто устала.

И на следующий вечер он снова успокаивал себя теми же мыслями. Предположить иное у него не хватало духу. И так было каждый раз. Прошло много таких вечеров, он потерял им счет. Иногда он садился и смотрел на дорожку, по которой она приходила, потом поднимался, шел к воротам, смотрел по сторонам и снова возвращался. Как-то он остановил сторожа и расспросил его. Да, сторож отлично помнит ее — молодая леди в лайковых перчатках. Она приходила один или два раза, может, и больше, он не уверен, — и ждала. Нет, по ней не видно было, что она расстроена. Просто сидела здесь. Побродит немного, побродит и возвращается опять, а когда наступит час закрывать ворота, уходит. Он оставил свой адрес сторожу. Тот обещал дать знать, если увидит ее.

Иногда вместо парка он бродил по убогим улочкам в районе Лиссон-Гроув и дальше, по ту сторону Эджвер-роуд, пока не наступала ночь. Но так и не нашел ее.

Может быть, деньги помогли бы, думал он, терзаясь своей бедностью. Безответный, громадный город, хранящий миллионы тайн, казалось, глумился над ним. Он истратил на объявления несколько фунтов, которые ему удалось наскрести, но не рассчитывал на ответ и не получил его. С чего бы она стала читать объявления в газетах!

Через некоторое время и парк, и даже улицы вокруг стали ему ненавистны, и он переехал в другую часть Лондона в надежде забыть. Но он не мог побороть себя. Часто перед его глазами внезапно вставала эта картина: широкая тихая аллея с чопорными деревьями и яркими клумбами цветов, и она, озаренная последними лучами заката. И вновь он видел маленькое, одухотворенное лицо, нарядные коричневые ботинки и маленькие руки в золотисто-коричневых лайковых перчатках, сложенные на коленях.